VÝBOR Z LITERATURY ČESKÉ

XIX. A XX. STOLETÍ

inslav

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ЧЕШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

XIX-XX ВВ.

Составители:
Л. С. КИШКИН, С. В. НИКОЛЬСКИЙ,
А. П. СОЛОВЬЕВА

Допущено
Министерством высшего образования СССР
в качестве учебного пособия
для государственных университетов

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Москва 1958

inslav

8 ч 2ш
К-46
БИБЛИОТЕКА
Института
Языкознания
А Н. ССР
53623

inslav

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемая хрестоматия ставит своей целью ознакомить студентов и лиц, изучающих чешскую литературу и язык, с лучшими образцами чешской классической и современной литературы. Книга составлена с учетом университетской программы по истории чешской литературы.

При отборе писателей и произведений составители исходили из стремления представить в книге важнейшие этапы и тенденции развития чешской литературы в ее передовых, демократических проявлениях. В хрестоматию включены произведения, показательные для литературного процесса в целом и творческого облика отдельных писателей, при этом в ряде случаев учитывалось наличие советских изданий произведений чешских писателей в оригиналах. Материал расположен в хронологическом порядке.

Хрестоматия состоит из четырех разделов, отражающих общую периодизацию развития чешской литературы: 1. Литература эпохи чешского национального возрождения (конец XVIII в. — 1848 год); 2. Литература периода от революции 1848 года до образования Чехословацкой республики (1848—1918); 3. Литература периода Чехословацкой буржуазной республики и антифашистского сопротивления (1918—1945); 4. Литература народно-демократической Чехословакии. К каждому разделу дается справка, характеризующая в основных чертах литературные явления в их взаимосвязи с общественной жизнью данного периода.

В тех случаях, когда творчество того или иного писателя не укладывается в рамки одного периода, место писателя в хрестоматии определяется временем создания его основных произведений.

Художественным текстам в книге предпосланы краткие критико-биографические справки, содержащие основные сведения о жизненном и творческом пути писателя. Отрывки из больших произведений сопровождаются пояснениями, необходимыми для понимания приведенных текстов.

Произведения каждого автора располагались, как правило, в хронологической последовательности. Однако в ряде случаев тексты размещены с учетом жанрово-тематических особенностей. Даты, стоящие под произведениями, означают время их написания или публикации. Даты отсутствуют лишь в тех случаях, когда их не удалось установить.

inslav

Так как книга предназначена для лиц, в общих чертах знакомых с чешской историей и культурой, в примечаниях даны лишь самые необходимые пояснения.

Рукопись книги была обсуждена на заседании кафедры Славянских литератур Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Составители благодарят за советы и замечания товарищей И. Е. Калашникову, П. А. Клейнер, Р. Р. Кузнецову, А. И. Павловича, С. А. Шерлаимову, а также всех, принявших участие в обсуждении хрестоматии.

inslav

Первый раздел

ЭПОХА НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

(конец XVIII века — 1848 год)

inslav

inslav

Период с последней четверти XVIII в. до середины XIX получил в истории чешского народа название национального возрождения. Это было время, когда в Чехии, входившей в состав Австрийской империи Габсбургов, зарождались и развивались капиталистические отношения, ширилось антифеодальное и национально-освободительное движение народных масс. Мощное крестьянское восстание 1775 года явилось как бы прологом ко всему периоду чешского национального возрождения.

Чешская общественная жизнь конца XVIII — начала XIX вв. характеризуется крутым подъемом борьбы за права чешского языка, за самобытную национальную культуру. Как известно, к XVIII столетию культурная жизнь Чехии пришла в упадок. Длившийся веками чужеземный гнет и политика ассимиляции, проводившаяся колонизаторами, почти приостановили развитие чешской письменности. Высшие классы и значительная часть городского населения были онемечены. Традиции самобытной культуры продолжали жить в это время, главным образом, в народном творчестве. Однако с подъемом антифеодального и национального движения чешская культура как бы возрождается (отсюда термин «национальное возрождение»). Народу Чехии пришлось отстаивать и развивать ее в тяжелых условиях преследований и гонений.

Конец XVIII — начало XIX вв. были временем создания современного чешского литературного языка. Большое значение в этом отношении имела деятельность ученых-филологов Йозефа Добровского и Йозефа Юнгманна.

Чешская литература в период национального возрождения прошла славный путь развития от первых стихотворений и публицистических опытов на современном чешском языке до создания классических произведений, ставших могучим оружием в освободительной борьбе народа.

Вначале (последняя четверть XVIII, первые два десятилетия XIX вв.) усилия чешских литераторов были направлены, главным образом, на то, чтобы раскрыть литературные достоинства чешского языка, доказать возможность создания чешской национальной литературы и театра.

Первыми чешскими поэтами эпохи национального возрождения были Вацлав Там и Антонин Пухмайер. Организованные ими первые литературные издания ставили своей целью объединение чешских литераторов.

Борьба за право народа говорить и писать на родном языке находится в центре внимания литературной общественности того времени. Литература отражает антифеодальные, антиклерикальные настроения демократических кругов чешского общества. В 20—30-е гг. с дальнейшим ро-

inslav

стом патриотического самосознания и антифеодального движения эти идеи получают еще большее развитие.

К концу 10-х — началу 20-х годов относится возникновение прогрессивно-романтических тенденций в литературе, представленной именами Й. Юнгманна, В. Ганки, Й. Линды, Я. Коллара и Фр. Л. Челаковского.

Создание самобытной чешской литературы, близкой народу, помогающей ему в борьбе против ассимиляции, было основным требованием эстетики того времени. В тесной связи с этим требованием находился исключительный интерес чешских писателей к фольклору, чешскому и других славянских народов, особенно ярко проявившийся в творчестве Челаковского. «Нам поет народ» — говорил от имени чешских и словацких литераторов Ян Коллар. Именно общественно-исторический опыт и культура трудового народа были той почвой, на которой вырастали лучшие образцы чешской национальной литературы.

Ведущей темой литературы эпохи национального возрождения была тема борьбы против чужеземного гнета, которая разрабатывалась писателями, как правило, на материале из истории чешского и других славянских народов.

Закономерным явлением общественной и культурной жизни этого периода была также идея культурного сближения славянских народов, в частности, идея дружбы чехов, словаков и русских. Эта идея, уходящая своими корнями в далекое историческое прошлое, стала особенно популярной среди западных и южных славян после победы русского народа над Наполеоном, поднявшей престиж славянских народов. В единении славян чехи и словаки видели залог сохранения своей национальной самобытности, залог грядущего освобождения от чужеземного гнета. Эту мысль особенно ярко выразил в своей поэзии и публицистике Ян Коллар.

Национально-освободительные идеи представителей чешского романтизма были неразрывно связаны с антифеодальными, антиабсолютистскими идеалами, с мечтой о демократизации общественного строя. Ярким примером тому служит революционно-романтическая поэзия К. Г. Махи (30-е гг.), в которой звучит требование национальной свободы и свободы личности, выражен бунт против феодально-сословной морали.

Эстетика прогрессивного романтизма (явления реакционного романтизма не получили в Чехии заметного развития) прокладывала пути чешской реалистической литературе, которая начинала формироваться в предреволюционные 40-е годы.

В это время в Австрии происходит дальнейшее обострение классовых и национальных противоречий. К 1844 г. относятся первые волнения чешских рабочих. Предреволюционные настроения общественности отразились в творчестве передовых писателей, углубив понимание ими действительности, сделав более конкретными и целенаправленными их общественно-политические идеалы. Усиливается социально-обличительный пафос литературы. Дальнейшим шагом в развитии прогрессивной эстетики были статьи чешского литератора и революционного деятеля Карела Сабины, а также основоположника чешской классической драматургии Йозефа Каетана Тыла. В ряде положений они предвосхищали эстетику критического реализма. Творческий облик Тыла характеризуется глубоким интересом писателя к вопросам социального неравенства. Его лучшие произведения по-

inslav

священы теме вооруженных выступлений народа против национального и социального гнета.

Важнейшее значение для развития чешской литературы имела революция 1848 года, обнажившая конфликты общественной жизни в Австрии. Несмотря на то, что в событиях 1848 г. в Чехии руководящие позиции вскоре заняла либеральная буржуазия, вступившая в сговор с реакционным дворянством и Габсбургами, борьба народных масс и прогрессивная идеология радикально-демократического лагеря оказали огромное воздействие на развитие литературы.

В предреволюционные и революционные годы формируются и выступают с первыми произведениями младшие современники Тыла: чешские писатели-классики Карел Гавличек-Боровский, Йозеф Фрич, Божена Немцова и другие. В их творчестве, обогащенном опытом революционных событий, реалистический метод получил свое дальнейшее развитие и утверждение.

inslav

VÁCLAV THÁM

ВАЦЛАВ ТАМ

(1765 — ок. 1816)

Вацлав Там — поэт и драматург — был одним из первых культурных деятелей эпохи чешского национального возрождения.

Там родился в Праге. Окончив Академическую гимназию, он служит чиновником, затем работает в редакции газеты, принимает участие в организации чешских любительских спектаклей.

В 1785 г. по инициативе Тама был издан сборник стихотворений („Básně v řeči vázané", в двух выпусках). Этот сборник состоял из старочешских, а также переводных и оригинальных стихотворений самого Тама и других поэтов. Цель сборника — доказать на конкретных примерах возможность создания национальной чешской литературы.

Сборник Тама явился попыткой объединения чешских литераторов. Выход его принято рассматривать как первое значительное явление в создании новой чешской литературы.

Предисловие Тама к сборнику исполнено ненависти к угнетателям чешского народа, к гонителям культуры — иезуитам, к высшим сословиям вообще. Идеями рационализма и просветительства проникнуты суждения Тама о клерикалах — «поповской твари в нашем просвещенном столетии». В стихотворении поэта «Деревенская жизнь» („Život venkovský") в его высказываниях о помещиках и управляющих, которые «угнетают простой народ», «обагряют руки в крови невинных», слышатся отзвуки настроений чешского крестьянства. Выступая против религиозного мракобесия, Там боролся за создание светской литературы. В сборнике была представлена и любовная лирика.

В 1790 г. Там оставляет службу. С этого времени его деятельность неразрывно связана с развитием отечественного театра. Национальный чешский театр, так же как и литература, создавался в условиях гонений со стороны колонизаторов. Вацлав Там был талантливым актером и режиссером, переводчиком и автором драматических произведений. Пьесы Тама не сохранились. Известно, однако, что сюжеты их большей частью были заимствованы из чешской истории (патриотическая драма в 5 актах «Бржетислав и Итка, или Умыкание из монастыря» — „Břetislav a Jitka aneb Unos z kláštera", «Власта и Шарка, или Девичья война под Прагой» — „Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy" и др.). Демократизм и патриотическая направленность пьес Тама снискали ему особую популярность среди простого народа.

С 1799 г. Там был уволен из театра и стал бродячим актером, жил в бедности и лишениях. Умер в Галиции во время своих скитаний.

inslav

ŽIVOT VENKOVSKÝ

Já jsem živ v mé samotnosti
na svém vzdáleném statku,
prázden šedivé starosti,
všeho i nedostatku.
Slávou městskou pohrdávám,
marnou urozeností,
všecek se jenom oddávám
milé přirozenosti.
Žádný mne venku nemejlí,
povyku též nečiní,
aniž se kdo ke mně chejlí,
jenž mi škoditi míní.
Ježto v velkých městech všudy,
jdu-li tam neb jdu-li sem,
stojím-li zde nebo tudy,
přece jist nikde nejsem.
Ne-li kdo ke mně přistoupí,
anť se mně dříve klaní,
pak mne celého oloupí,
bráním-li se, mne raní.
Neb jestli mne rychlé vozy
někde snad nepřejedou,
a zlí lidi, jenž jsou mnozí,
lstivě mne nezavedou.
Správce vrchní, plný tuku,
nádherně si tam kráčí,
jenž v krvi svou skrbnou ruku
nevinných lidí máčí.
Chtí-li se před ním vymlouvat,
on jim káže odejít:
„Což? — Mně chcete vy odmlouvat?
Do vězení! — Tak chci mít. —“
Lhostejnost, kvasy a lenost
panují tam s lakotou,
tvrdě pak spí spravedlnost,
zastíněná mrákotou.
Dvořan s hvězdou zlatou vidí,

inslav

že ho všickni slavějí,
nevěda však, že se lidi
jen té hvězdě klanějí —
protož sobě vykračuje
pyšněj než král, jeho pán,
sprostné lidi potlačuje,
každý jest jen jeho man[1].
Zvučně řehtá jeho váček,
celý se zlatem třpytí,
třese se před ním sedláček,
poctivý se ho štítí.
Chodec každý pevně věří,
že almužny nabude,
když stojí u jeho dveří —
on ho vzpurně odbude.
Mrzáku, věkem sešlému,
pracovati on velí,
lenochovi pak mladému
všeho, co chce, udělí.
Jen když umí skotačiti
a poklony šoustati,
jak čamrda se točiti,
sliny panské lízati.
Má-li vznešeného otce
a v svém měšci peněz dost,
tu se mu staví vysoce
k všem hodnostem zlatý most.
Hned dojde ouřadu svého,
byť třebas nic neuměl,
místo smyslu rozumného
řezanku v své hlavě měl.
Nevěrnost má svého místa
ve všech městech velikých;
žena často není jistá
přede lstí mužů cizích.
Muž manželky nemiluje,
pod rukou jiné hledí,
když se domů navracuje,
u ní zas jiný sedí.

inslav

Jiných v manželství neřádů
tuto ani nepovím.
Šetřím-li pak městských řádů,
nic se tomu nedivím:
neb tam již zasnouben bývá,
když na kolíbce leží,
nemluvňátko svatbu mívá,
neschází nic, jen kněží.
Když přichází k dospělosti,
bývá chován v samotě,
tím nenabude smělosti,
živ jsa v pouhé slepotě,
tak dlouho, až mu rodiče
choti jeho přivedou,
a pustíc jeho vodiče,
do světa ho uvedou.
Svatým svazkem jsa již svázán,
vidí v něm krásné tváře,
zapomene, nač byl tázán
při svatbě u oltáře.
Do jiné se zamiluje,
tu teprv srdce cítí,
vším snaženstvím usiluje,
by ji mohl již míti. —
O tom venku nic nevědí,
přirozenost je vodí,
každý jen své vorby hledí,
ostatní se přihodí. —
Vezmu si, kterouž si zlíbím,
chudou nebo bohatou,
věrnost, lásku jí hned slíbím
pravou, věčnou a svatou.
Když mne ráno na procházku
jasné slunce vyloudí,
slyším tu rozdílnost hlásků,
nebo každý pták soudí,
že líp nežli druhý zpívá,
a tak se s ním potýká,
v tom srdce radost nabývá,

inslav

milostí se roztýká.
Lidé na pole chodějí,
voly v pluh zapřahují,
dobytek k pastvě vodějí,
vesele prozpěvují.
Stavím-li se u domečku,
kde má Filis[1] přebývá,
ona stojí u stromečku
a po mně se již dívá —
kde s ní začasto sedávám,
z její strany nevstanu,
hubiček jí na sta dávám
a zas tolik dostanu.
V městech má ten velkou slávu,
kterýž má krásné domy,
nezměnil bych za ně trávu
a v štěpnici mé stromy,
jichžto ovoce nám chutná
líp než jídlo strojené;
večeře jest věru smutná,
při níž nespokojené
svědomí jest a myšlení,
jenž se skoro nachází
všudy, kde na břicha jmění
a na hodech neschází.
Ty nás od horka chránějí,
hýbáním svým chladějí
a líbezně zavánějí,
když větry zlevna vějí.
Tu oba dlouho mlčíme
a na sebe hledíme,
ptáčata zpívat učíme,
že jsme šťastní, vidíme!
Červené jsou její líce,
rozpálené horkostí,
žádajíc vždy víc a více
přerozkošné milosti.
Ňádra její se zdvíhají,
oči ohněm svítějí

inslav

a najevo mně dávají,
co mi říci nechtějí. —
Kdo necítil těch radostí,
pochopit jich nemůže,
pocítit jich do sytosti
toliko onen může,
kdo nepokažené srdce
a svědomí čisté má;
kdožkoli však to míti chce,
ten ať městu výhost dá.

1785

inslav

ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER
АНТОНИН ЯРОСЛАВ ПУХМАЙЕР

(1769—1820)

Антонин Ярослав Пухмайер — поэт и филолог конца XVIII — начала XIX вв. Он родился в Тыне над Влтавой в семье ремесленника. Учился в гимназии в Будейовицах и в университете в Праге, затем стал сельским священником.

Литературная деятельность Пухмайера неразрывно связана с ростом национального самосознания, характеризующим чешскую общественную жизнь того времени. Еще в университете вокруг Пухмайера группировалась патриотически настроенная молодежь, ставившая своей задачей борьбу за развитие чешского литературного языка и создание национальной литературы. Пухмайер организовал издание чешских литературных альманахов: «Собрание стихотворений и песен» („Sebrání básní a zpěvů"; I том — 1795, II том — 1797) и «Новые стихотворения» („Nové básně" — 1798, 1802 и 1814). В альманахах Пухмайера участвовали поэты Чехии, Моравии и Словакии. Всех их принято объединять под общим названием пухмайеровской школы, первой поэтической школы эпохи возрождения.

inslav

В творчестве Пухмайера представлены различные жанры: ода, баллада, басня, лирические стихотворения. Поэтом создан жанр патриотической оды. Наиболее известны его стихотворения: «Ода на Яна Жижку из Троцнова» („Oda na Jana Žižku z Trocnova", 1802), посвященная великому гуситскому полководцу, «На язык чешский» („Na jazyk český", 1818) и «Голос чеха» („Hlas Čecha"), воспевающие родную речь чешского народа.

Определенное место в его творчестве занимает также анакреонтическая лирика, явившаяся своего рода протестом против средневекового аскетизма.

Пухмайеру принадлежат значительные заслуги в разработке чешского стихосложения. Опираясь на теоретические работы крупного чешского ученого-языковеда Й. Добровского, Пухмайер первый в чешской литературе применил различные тонические размеры (до этого в Чехии писали метрическими размерами).

В целях развития чешской литературы Пухмайер сознательно использует опыт восточнославянских литератур. Им переведено много басен с польского языка. Поэт интересовался также героико-эпическими произведениями Хераскова и перевел одну из его од. Он призывал поэтов-соотечественников обратиться к восточнославянским литературам, которые для чешской литературы могут стать «богатейшей жилой чистого золота».

Пухмайеру принадлежит ряд лингвистических работ, в том числе и по русскому языку. В 1805 г. им была издана так называемая «Русско-чешская грамматика». В 1820 г. с предисловием Добровского вышла его большая грамматика русского языка.

ÓDA NA JANA ŽIŽKU Z TROCNOVA

Kdo zvláště předčí v boji nad vlastence
a vlasti slavně poslouží,
ten nezvadlého, bobkového věnce
a písně chvalné zaslouží.
Čímž lépe se mu odslouží?
O blaze mně, můj duch že toho muže,
an v chrámě živé paměti
se bude věčně třpytěti,
i rekovné i slavné činy může
teď věrnou písní opěti.

O Žižko! První mezi Čechy reku!
Ty hrozný Husův mstiteli!
Cos k slávě vlasti, v lítém boje vzteku

2—1469

БИБЛИОТЕКА
Института
Языкознания
А Н. СССР
inslav

těch potřel všech, co hleděli,
by zhasnouc zašla v popeli.
Tys důkaz jasný všemu podal světu,
co, láskou k vlasti ztuženo,
co české může rameno;
i mužstvím tvým (ó bodejž v stálém květu!)
jmě české bylo zvěčněno.

Ha! Což to vidím? Nač ta Němcův hejna,
ten koní dusot, zbraní zvuk?
Zde statný Odry bydlitel i Rejna,
tu valný horačiny pluk
se s Alp a s Apenýnu shluk.
Kam chvátá Uher, soused bratra Lecha?
Kam cviční nesou Sasíci
i ostrý meč i sudlici?
Ti všickni na odpapežence Čecha
svou mužnou zbrojí pravici![1]

Již zástup ten se, probůh, do Čech valí
jak černá mračna kobylek.
Kdož na ty zhoubce, tvé co štěstí kalí,
dá tobě, vlasti, posilek
a volný oddech, odchvilek?
Tu hlučné vojsko, ano vztekem supá,
jak povodeň se rozlije,
co zaskočí, to vyžije;
jich hřmotné koňstvo luka, rolí zcupá
a řeky valné vypije.

Tu hlas tvůj, Žižko, po vší vlasti jdoucí,
všech věrných Čechů posvolá.
Kdož mužné ruce, srdnatosti vroucí
a tomu ohni odolá,
co v srdcích jejich plápolá?
Jakž hoří chtiví na ty cizozemce!
Tys přišel, zhlíd, se postavil
a šik svých Čechů opravil.

inslav

Jak vicher plívy, rozprášil jsi Němce,
a sebe s Čechy oslavil.

Ty žatecké až podnes stojí planě
i brodské stojí rozhory,
kdes, jak chrt prudký plaché žene laně,
hnal s rekovnými Tábory
ty baby Němce za hory.
Tvůj Žižkov pyšné připomíná Praze,
jak tvář se její vzjasnila,
když Sasy kolit spatřila
a tím, již těžce oddychajíc, blaze
dchu volnějšího nabyla.

Teď v Němcích, mstě se za to pohanění,
že Šváb se do Čech vyřinul
a Hus, Čech slavný, tam, kde Rejn se pění,
tak přehanebně zahynul,
svůj praporec jsi rozvinul.
Vy saské, svědčte, záchebské i valy
i rakouské vy pahorce,
jak s vysokého sochorce
s tím českým lvem tam chlubně plápolaly
ty pěkné české praporce!

Ta sláva jasná, hlučnou držíc troubu
a na perutech pověsti
tvých mužných činů milou letí chloubu
všem světům v známost uvésti
a rozhlasem tě roznésti.
Kde v vojště strašné zahučí tvé jméno,
tam za tím zvukem vzápětí
hned strach a hrůza zaletí.
Tvým již je jménem vojsko ochromeno,
a než tě zhlídne, v rozvětí.

O Žižko! Slavný, k tomu slepý reku!
Vždy jako věrná družina
se na tě smálo v krutém války jeku,
ač zrádná, štěstí, ženina.

inslav

Kde rovný tobě hrdina?
To štěstí svrhlo reka Hannibala,
ač slavně potřel u Kany
ty lidohromce Římany[1];
tys vždy a všudy, kde se bitva stala,
zbil škodně Čechům Germány.

Tak jasným slávy osloněný bleskem
když domů, světu k závisti
se vítězným a hlučným vracel vřeskem
a na milé nes ratisti
Čech hojné z Němec kořisti:
jakž radostným tě každý vítal hlasem,
kde který Čech byl vlastenec,
muž, dítě, panna, mládenec;
a bobek tobě vděčná vlast tím časem
i růže vila u věnec.

Ach, jakžs ten věnec, v střevách vlasti brodě,
svých bratří krví pokropil,
kdyžs potom zle, vše lidství s sebe shodě,
se zbraně na ni uchopil
a dost jí želů natropil!
Načs zemanům a mnichům páchal škodu,
a pustě vzteku otěže,
hnal na tvrze a na věže?
Čis mněl, že jest to ještěrčího rodu,
zde pověr, skrejš, tam loupeže?

V těch rozvalinách, které smělce nutí,
an v ně se pustí, k outěku,
cos přehrozného dnem i nocí kutí:
tyť podadí, věk od věku,
vždy strašný obraz člověku.
Jak strašně větry šimějíce hučí
skrz ty tvé zhouby paměti!
Tu často v noci slyšeti,
když hrozná v tmavé sova díře skučí,
hu! duchy smutně úpěti.

1802

inslav

VÁCLAV HANKA
ВАЦЛАВ ГАНКА
(1791—1861)

JOSEF LINDA
ЙОЗЕФ ЛИНДА
(1789—1834)

Большим событием в чешской литературной жизни было появление так называемых Краледворской и Зеленогорской рукописей (1817 и 1818 гг.). Их авторами были Вацлав Ганка и Йозеф Линда, совместно создавшие оба произведения.

Вацлав Ганка был известным культурным деятелем своего времени, филологом, издателем произведений старочешской письменности, переводчиком на чешский язык «Слова о полку Игореве», сербских народных песен. Ганка много сделал для установления и расширения культурных связей чехов с другими славянскими народами. Однако его патриотический энтузиазм, симпатии к России постепенно, особенно с конца 10-х—начала 20-х годов, все более уступали место царофильству и панславистским взглядам (идее политического объединения славянских народов под властью русского царизма).

В 10-е годы Ганка издал два сборника стихотворений — «Двенадцать песен» („Dvanáctero písní", 1815) и «Песни Ганки» („Hankovy písně", 1819); за исключением нескольких стихотворений, воспевавших деятелей гуситского движения, сборники содержали любовную лирику.

Йозеф Линда, поэт и журналист, был человеком более прогрессивных взглядов, чем Ганка. Патриотическое воодушевление сочеталось у него с симпатиями к представительному образу правления. Он был знаком с трудами Руссо и Монтескье, чешского социалиста-утописта Бернарда Больцано.

Литературные интересы Линды были связаны с чешской историей. Патриотические, свободолюбивые идеалы воплощены в его романтической повести «Сияние над язычеством» („Záře nad pohanstvem", 1819) и драме «Ярослав из Штернберка в борьбе против татар» („Jaroslav ze Šternberka v boji proti Tatarům", 1823).

Самыми значительными произведениями Ганки и Линды явились Краледворская и Зеленогорская рукописи. Авторы перевели их на старочешский язык, переписали на пергаменте и выдали за древние памятники. Подложность рукописей была доказана лишь через 50 лет. В рукописях воспевалось время независимости чешского народа, борьба против иноземных завоевателей, красочные древнеславянские обряды и обычаи. В стихотворениях Краледворской рукописи созданы образы мужественных князей-

inslav

воителей и народных героев (Славой, Забой). Это были одни из первых произведений чешской поэзии, в которых изображалась вооруженная борьба за свободу родины.

Зеленогорская рукопись переносит читателя во времена легендарной княжны Либуше и рисует колоритную, романтизированную картину древнечешского государства во главе с благородной и мудрой правительницей. В своей работе над произведениями Ганка и Линда обращались к чешским историческим хроникам, произведениям славянского героического эпоса, к «Слову о полку Игореве» и «Истории государства Российского» Карамзина. Рукописи сыграли большую роль в развитии чешской литературы. Образы их вдохновляли деятелей чешской культуры: писателей, художников, композиторов.

LUBUSIN SOUD

„Aj, Vletavo, če mútíši vodu?
če mútíši vodu strebropěnú?
Za tě lutá rozvlajaše búria,
sesypavši tuču šíra neba,
oplákavši glavy gor zelených,
vyplákavši zlatopiesku glínu?“

„Kako bych jáz vody nemútila,
kegdy sě vadíta rodná bratry
rodná bratry o dědiny otné.
Vadíta sě kruto mezu sobú
lutý Chrudoš na Otavě krivě,
na Otavě krivě zlatonosně,
Stiaglav chraber na Radbuzě chladně;
oba bratry, oba Klenovica,
roda stara Tetvy Popelova,
jenže pride s pleky s Čechovými
v sieže žírné vlasti prěs tri rěky.“

Priletieše družna vlastovica,
priletieše od Otavy krivy,
sěde na okence rozložito,
v Lubušině otně zlatě sědlě,
sědlě otně, světě Vyšegradě,
běduje a narícaje mutno.

inslav

Kdy sie slyše jejú rodná sestra,
rodná sestra v Lubušině dvoré,
sprosi kněžnu utr Vyšegradě:
na popravu ustaviti pravdu,
i pognati bratry jeja oba,
i súditi ima po zákonu.

Káže kněžna vypraviti posly:
po Svatoslav ot Lubice bielé,
ideže sú dúbraviny uné,
po Lutobor s Dobroslavska chlemca,
ideže Orlicu Labe pije,
po Ratibor, ot gor Krekonoší,
ideže Trut pogubi saň lutu,
po Radovan ot Kamena Mosta,
po Jarožír ot bred vletoréčných,
po Střězibor od Sázavy ladny,
po Samorod se Mže strebronosné,
po vsie kmeti lechy i vladyky,
i po Chrudoš i po Stiaglav bratry
rozvaděma o dědiny otné.

Kda sě sněchu lěsi i vladyky
v Vyšegradě (v Lubušině sědlě),
prokní stúpi rozenia — dlě svégo:
stúpi kněžna v bělě stvúci rizě,
stúpi na stól oten v slavně sněmě.

Dvě věglasně děvě (vystúpistě),
vyučené věščbám vítězovým:
u jednej sú desky pravdodatné,
u vtorej meč krivdy kárajúcí,
protiv ima plameň pravdozvěsten,
i pod nima svatocudná voda.

Poče kněžna s otna zlata stola:
„Moji kmeté, lěsi i vladyky!
se! bratroma rozrěšite pravdu,

inslav

jaže vadíta sě o dědiny,
o dědiny otné mezu sobú.

Po zákonu věkožizných bogóv
budeta im oba v jedno vlásti,
či sě rozdělíta rovnú měrú.
Moji kmeté, lěsi i vladyky!
rozrěšite moje výpovědi,
budetě-li u vás po rozumu.
Nebudetě-l' u vás po rozumu,
ustavite ima nový nález,
ký by smieril rozvaděna bratry."

Klaněchu sě lěsi i vladyky,
i počechu ticho govoriti,
govoriti ticho mezu sobú,
i chváliti výpovědi jeje.

Vsta Lutobor s Dobroslavska chlemca,
je sě tako slovo govoriti:
„Slavná kněžno s otna zlata stola!
Výpovědi tvoje rozmysléchom,
seber glasy po národu svému."

I sebrastě glasy děvě súdně,
sbierastě je u osudie svaté,
i dastě je lěchóm provolati.

Vsta Radovan ot Kamena mosta
je sě glasy číslem prěgliedati,
i věčinu provolati v národ.
v národ k rozsúzeniu na sněm sboren:

„Oba rodna bratry Klenovica,
roda stara Tetvy Popelova,
jenže pride s pleky s Čechovými
v sieže žírné vlasti prěs tri rěky,
směrita sě takto o dědiny:
Budeta im oba v jedno vlásti!"

inslav

Vstanu Chrudoš ot Otavy Krivy,
žleč sě jemu rozli po utrobě,
trasechu sě lutostiú wsi údi,
máchnu rukú, zarve jarým túrem:

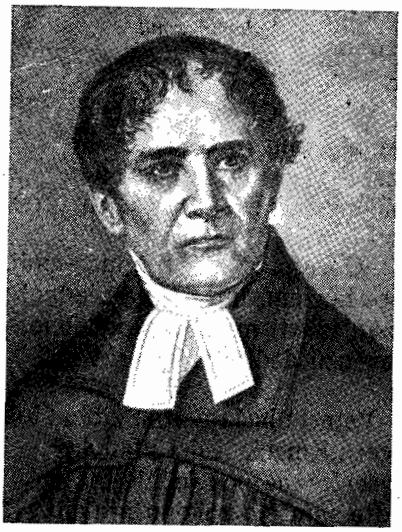
„Gore ptencem, k nimže zmija vnori!
gore mužem, imže žena vladne!
Mužu vlásti mužem zápodobno,
prevěncu dědinu dáti pravda.“

Vsta Lubuša s otna zlata stola,
vece: „Kmeté, lěsi i vladyky!
slyšeste zdě poganěnie moje;
suďte sami po zákonu pravdu.
I nebudu vám súditi svády.
Volte muža, mezu sobú rovna,
ký by vládl vám po želězu (krutu).
Dievčie ruka na vy k vládě slabá!“

Vsta Ratibor ot gor Krekonoší,
je sě tako slovo govoriti:
„Nechvalno nám v Němcěch iskati pravdu:
u nás pravda po zákonu svatu,
juže prinesechu otci naši
v sieže (žírné vlasti prěs tri rěky)“.

Rukopis Zelenohorský
a Královédvorský

inslav



JAN KOLLÁR

ЯН КОЛЛАР

(1793—1852)

Ян Коллар вошел в историю литературы как «певец славянской взаимности». Идея дружбы и единения славянских народов определяла всю литературную деятельность Коллара.

Поэт родился в центральной Словакии в с. Мошовце в семье крестьянина. Самостоятельно зарабатывая на жизнь, Коллар учился сначала в Баньской Быстрице и Братиславе, затем в Пруссии в Иенском университете. Возвратившись в 1819 г. на родину, он принял сан священника протестантской церкви и стал проповедником словацкой общины в Будапеште. В последние годы жизни (1849—1852) Коллар был профессором славянской археологии в Венском университете.

Наиболее плодотворный период литературной деятельности Коллара — 20—30-е гг., когда он был непосредственно связан с жизнью простого народа.

Словак по национальности, Коллар писал свои произведения на чешском языке, которым словаки пользовались до создания своего литературного языка. Первым литературным выступлением Коллара был сборник «Стихотворения» („Básně", 1821). В это же время он пишет ряд эпиграмм и патриотических стихов, которые при жизни поэта не публиковались и ходили в списках, в частности, стихотворение «Патриот»

inslav

(„Vlastenec"). Основное содержание стихов Коллара составляет протест против чужеземного гнета, обличение лжепатриотизма дворянства.

Центральным произведением Коллара является его лиро-эпическая поэма «Дочь Славы» („Slávy dcera"), состоящая из нескольких сот сонетов. Она вышла в 1824 г. и затем, дополненная новыми сонетами, в 1832 и 1845 гг. В этом произведении поэт воспевает героическую борьбу славянских народов за свободу, их древнюю культуру, скорбит о порабощенном положении западных и южных славян, призывает славянские народы к единению и предсказывает им будущее освобождение. В образе богини Славы поэтом воплощена мысль о родине *Славии* и о *славном* героическом прошлом славян.

Поэма состоит из пяти частей. Её поэтическую канву в первых трех частях составляет воображаемое путешествие поэта по славянским землям, воспоминания о событиях истории славян, в двух последних частях — посещение ада и рая. Этот фантастический момент введен для того, чтобы воспеть лучших представителей славянских народов — полководцев, культурных деятелей, заклеймить врагов славянства — захватчиков и тиранов. В частности, в рай Коллар поместил Гуса, Жижку, Суворова, Минина, Пожарского, Костюшку и других деятелей славянской истории.

Поэта в его путешествии сопровождает Минна. В лице этой героини, с одной стороны, опоэтизирована реальная возлюбленная поэта, с другой — создан образ славянки, пламенной патриотки, олицетворяющий любовь поэта к родине и славянству.

Немало внимания Коллар уделил в своей поэме России, призывая братские славянские народы сплотиться вокруг русского народа. Однако это отнюдь не было призывом к политическому подчинению славян русскому царизму. Поэт стоял за культурное сближение славянских народов, признавая вместе с тем за каждым славянским народом права самобытной, самостоятельной нации («племени»). Идею «славянской взаимности» и любовь поэта к России буржуазные литературоведы безосновательно смешивали с панславизмом, тогда как творчество Коллара, певца угнетенных славян, при всей его исторической ограниченности, сказавшейся в известной идеализации исторического прошлого и настоящего славянства, проникнуто истинным гуманизмом, требованием свободы и равноправия для всех народов. В поэме, в частности, с глубоким сочувствием упоминаются угнетенные североамериканские индейцы, а также индийцы и греки. «Цепи кующий рабам — сам есть невольник и раб», — восклицает Коллар.

Поэма Коллара оригинальна по своей художественной форме. Интонации гимна, прославляющего героическое прошлое славянских народов, сменяются в поэме гневными обвинительными строфами, обращенными к поработителям славян. Поэт проявил себя большим мастером лирических монологов и сложной монументальной аллегории в фантастических картинах ада и рая. Поэма, классицистически строгая по форме, проникнута пафосом романтической мечты.

В 1836 г. вышел трактат Коллара «О литературной взаимности между различными племенами и наречиями славянской земли» („O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými").

inslav

В своем сочинении Коллар намечает конкретную программу культурного сближения славянских народов. Эта программа включала создание кафедр славистики во всех славянских университетах, взаимное изучение основных славянских языков, организацию славянских библиотек, обмен литературой, устройство съездов ученых-славистов и т. д. Значительная часть этих мероприятий была нереальна в то время. Однако трактат Коллара, как и его художественные произведения, в первую очередь поэма «Дочь Славы», сыграли важную роль в борьбе за дружбу и культурное единение славянских народов.

Большое внимание уделял Коллар собиранию словацких народных песен. Часть из них он издал вместе со знаменитым чехословацким ученым П. Шафариком. В 1834—35 гг. поэт самостоятельно выпустил двухтомное собрание словацких песен — «Народные песни» („Národnie zpievanky").

SLÁVY DCERA

Předzpěv

Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím,
někdy kolébka, nyní národu mého rakev.[1]
Stůj, noho! posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš,
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled,
neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku,
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.[2]

Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou
v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil.
Horší nežli divé války, hromu, ohně divější,
zaslepenec na své když zlobu plémě kydá.
Ó věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící,
ó krajino, všeliké slávy i hanby obraz!
Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevěrné,
od Dunaje k hltným Baltu celého pěnám:
krásnohlasý zmužilých Slovanů kde se někdy ozýval,
aj, oněměl ť už, byv k úrazu zášti, jazyk.

A kdo se loupeže té, volající vzhůru, dopustil?
Kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé?
Zardi se, závistná Teutonie, sousedo Slávy,
tvé vin těchto počet spáchaly někdy ruce,
neb krve nikde tolik nevylil černidlaže žádný
nepřítel, co vylil k záhubě Slávy Němec.

inslav

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.
Nechť ruce, nechť by jazyk v okovy své vázal otrocké,
jedno to, neb nezná šetřiti práva jiných.
Ten kdo trůny bořil, lidskou krev darmo vyléval,
po světě nešťastnou války pochodni nosil:
ten porobu slušnou, buď Goth, buď Skýta, zasloužil,
ne kdo divé chválil příkladem ordě pokoj.

Kde jste se octly, milé zde bydlivších národy Slávů,
národy, jenž Pomoří tam, tuto Sálu pily?
Sorbů větve tiché, Obodritské říše potomci,
kde kmenové Vilců, kde vnukové jste Ukrů?[1]
Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím,
než mé darmo oko v Slávii Slávu hledá.

Rci, strome, chráme jejich rostlý, pode nímž se obětné
dávnověkým tehdáž pálily žertvy bohům:
kde jsou národové ti, jejich kde knížata, města,
jenž první v severu zkřísili tomto život?
Jedni učíce chudou Europu plachty i vesla
chystati a k bohatým přes moře vésti břehům,
kov tu jiní ze hlubin stkvoucí vykopávali rudných,
více ku poctě bohům nežli ku zisku lidem.
Tam ti neúrodné rolníku ukázali rádlem,
by klas neslo zlatý, brázditi lůno země.
Lípy tito, svěcený Slávě strom, vedle pokojných
cest sadili, chládek by stlaly vůkol i čich.
Muž syny města učil stavěti, v nich vésti kupectví,
a mlaď svou učily tkávati plátno ženy.

Národe mistrovský, jakové pak máš za to díky?
Rozškubaný hnusné zpotvořenosti věnec.
Jak včely med zavoníc kradné se do úle cizího
stádně hrnou a pak matku i dítky bijí:
tak tu domu vlastní podroben pán, chytře mu vlezlý
soused ovil těžký smutně o hrdlo řetěz.
Kde spanilá v zelených hájích pěla píseň Slovanka,
už hlaholem zpěvná ústa umlkla němým.

inslav

Kde z mramoru stály hromného paláce Peruna,
z troskotaných sloupů teď psota chlévy dělá.
Kde k nebi své věžila staroslavná Arkona[1] týmě,
zlomky drobí teď tam hostě cizího noha.
Rozbořené želejí zdi chrámů Retry[2] pověstné,
kde čněly, už ryje tam hnízdo si ještěr a had.

Slávy syna k bratrům přišlého v ty kraje nezná
brat vlastní, aniže vděčně mu tiskne ruky.
Řeč ho cizí zarazí ze rtů a tváři slovanské,
zrak mu lže Slovana, sluch klamy bolně kazí.
Neb tak přehluboko vtlačila znaky Sláva synům svým,
místo že jich vymazat nikde nemůže ni čas.
Jak dvě řeky, spojilo když i jich vody jedno řečiště,
přece i po drahné cestě je barva dělí:
rovně tyto zmatené násilnou národy vojnou
až posavád loučí dvůj očividně život.
Odrodilí synové však své sami matce začasto,
bič macechy hříšné oblizujíce, lají.
Nejsou ni Slované životem, nejsou ani Němci,
půl toho, půl toho jen jak netopýři mají.
Tak peleší v krajinách osmanské plémě helenských,
koňský na vznešené vstrkna Olympy ocas.
Tak porušil zištný Europčan dva světy Indů[3],
za vzdělanost vzav jim ctnost, zemi, barvu i řeč.
Národ i čest zmizely, s jazykem bohové zde zanikli,
jen sama zůstává příroda nezměněna.
Les, řeky, města a ves změniti své jméno slovanské
nechtěly, než tělo jen v nich, ducha Slávy není.

Ó, kdo přijde tyto vzbuditi hroby ze sna živého?
Kým přiveden slušný k své bude vlasti dědic?
Kdo rce to nám místo, kde cedil svou někdy za národ
krev Miliduch[4], kdo na něm sloup mu památky složí?
Kde hněvivý novotám, otcovskou prostotu bráně,
válčícím Slovanům Kruk po slovansku velel.
Neb kudy vítězný máchal meč v půtce Bojislav
a v pokoji šťastnou zákony řídil obec.

inslav

Už jich více není! S rachotem surového rekovské
  články jejich zhoubný láme oráče lemeš.
Stíny jejich na dvou se časů hněvajíce ničemnost,
  ve mhle sivé těchto zřícenin úpně vyjí.
Úpně vyjí, že osud posavád se smířiti váhá
  a vnuka krev lecjak tam hnije, tam se mění.
Jak muselo v tom by studené být k národu srdce,
  jenž by tu slz nad kostmi milenky nelil.

Avšak umlkni, tichá, na budoucnost patři, žalosti,
  osluněným rozptyl mráčky myšlének okem.
Největší je neřest v neštěstí láti neřestem,
  ten, kdo kojí skutkem hněv nebe, lépe činí.
Ne z mutného oka, z ruky pilné naděje kvitne,
  tak jen může i zlé státi se ještě dobrým.
Cesta křivá lidi jen, člověčenstvo svésti nemůže,
  a zmatenost jedněch časte celosti hoví.
Čas vše mění, i časy, k vítězství on vede pravdu,
  co sto věků bludných hodlalo, zvrtne doba.

40.

Včera večer se nás na knížecí
  hvězdárně houf drahný nasbíral,
  správce skla dal, oči protíral,
  an mu z úst se učná slova mecí;
každý za ním oči na visecí
  po obloze hvězdy upíral,
  jen sám já jsem k zemi pozíral
  na korunu tu všech světských věcí.
„I co hledíš ty tam na zem nízkou?“
  řeknou hvězdáři a přátelé.
  „„Hvězdu novou odkryl jsem a blízkou!“ “
Hned i oni zrak tam obrátili
  a pak po hádce Ji umělé
  za nejkrašší všickni vyhlásili.

inslav

46.

Co jest slunce jitru spanilému,
měsíc noci, hvězda plavcovi,
kvítek včele, voda mřenovi,
slavíkovi hájek zpěvavému;
co jest čerstvý chládek pocestnému,
ovci tráva, křídla orlovi,
koruna a berla královi:
to jest srdci milenka má mému;
co jest jaro mezi roku díly,
perla mezi kovy drahými,
mezi větry zefyreček milý;
co jest růže mezi květinami,
palma mezi stromy jinými:
to jest Ona mezi panenkami.

47.

Sláva krásou libé řeči Polku,
vděkem ozdobila Srbinku,
Slovačku pak, naši rodinku,
zpěvem úst a srdcem bez okolku;
V Rusku panství, v českou skryla holku
smělost k hrdinskému účinku,
ale každou krás těch květinku
ještě v celém chtěla míti spolku:
káže tedy, aby podle směru
spojil Milek, její kochánek,
ony částky v jednu Slávy dceru:
proto se tu, jako v moři řeky,
divně spolu všechněch Slovanek
objímají ctnosti, krásy, vděky.

50.

Jedna matka měla nebohatý
statek, na něm roli s úrodou;
soused zloděj, bydle za vodou,
přišel a vzal všecko, nestydatý.

inslav

Slala syna aspoň na požatý
lán ten klasy sbírat za škodou,
a aj, na strništi náhodou
našel ještě klas on ryzozlatý.
‚Totě bájka!‘ asnad někdo zvolá,
‚plná šumilebých pověrek!‘
Neníť, bratře, nýbrž pravda holá;
Sláva totiž jest ta hospodyně,
klasník já a zlatý paběrek
zašlých Srbů jest má přítelkyně.[1]

63.

Nechci zlata, nápoje a jídla,
titulů a korun žádati,
chceš-li mi však čeho dopřáti,
Slávo, matko milá! dej mi křídla,
na nichžto bych všudy, kde jsou sídla
bratrů Slávů, mohl létati,
Čechové k vám, Srbi, Chorvati,
potom kde jsou Visly, Volgy zřídla.
Tak, jak motýl s květu na květ létá,
podnebím bych létal v krajinách
veškerého slavenského světa;
tou bych pastvou věčně oči bavil
a všem kmenům, po všech rodinách
zpěvem matku jako dceru slavil.

176.

Jestli Slávy rumy ještě vstanou
rukou vaší, příští potomci,
věřte zkušenému vědomci,
jehož ústa tu k vám radu vanou:
‚Zřiďte obec, jedním jménem zvanou,
pevnou, ať ji cizí holomci,
svornou, ať ji vlastní lakomci
nezbourají novou zase ranou;

inslav

údy mnohé, hlavu jednu mějte,
vyrostlou však z těla vašeho,
černé s bílým nikdy nemíchejte!
To nás cestou posud vedlo křivou,
vy se chraňte bludu našeho,
a vlast stvořte čistou, trvanlivou.‘

254.

Když tak po všech místech znamenitých
zříme s této hory homolné,
až tam na krajiny okolné,
až tam do vod Visly pramenitých
na březích té řeky rozložitých
kozlátko se páslo svévolné,
neřády a skoky zápolné
v nezbednostech čině potočitých,
nato orel s dvěma orlicemi
přiletěvše, slabé zvířátko
rozdrápali na tré s údy všemi.
‚Co to,‘ zhýknu, ‚za divadlo nové?‘
A můj druh dí: „Ono kozlátko
Polsko jest a orli mocnářové.“

255.

Aj, jak pyšně tvůj se zlatověžný
Kreml, Moskvo svatá, blýskoce!
Jak skví dávno se a vysoce
krásou města celý sever sněžný!
Než hle! Sláva nejprv palác něžný
Roztopčinův ohněm ztroskoce,
potom v celém městě široce
sype jiskry, vatří plamen běžný,
‚Pověz, medle, matko jasnočelá:
jaké příčiny tě musely
k takovému skutku pobízeti?‘
„Světlo slepcům rozžati jsem chtěla,
by už přece jednou viděli,
kdo jsem já a co jsou moje děti!“

inslav

256.

Slávie! ó Slávie! ty jméno
sladkých zvuků, hořkých památek,
stokrát rozervané na zmatek,
aby vždycky více bylo ctěno.
Od Uralů Tatrům na temeno,
v pouštěch, kde má rovník počátek,
až kde slunka mizí dostatek,
království jest tvoje rozloženo!
Mnoho's nesla, avšak křivdy činů
nepřátelských všecky přežila,
ba i špatný nevděk vlastních synů.
Tak, když jiní snadno v půdě měkké,
ty jsi trůny sobě tvrdila
na století rumích dlouhověké.

258.

Všecko máme, věřte, moji drazí
spoluvlastenci a přátelé,
to, co mezi velké, dospělé
v člověčenstvě národy nás sází:
zem i moře pod námi se plazí,
zlato, stříbro, ruky umělé,
řeč i zpěvy máme veselé,
svornost jen a osvěta nám schází!
Dejte nám tu s duchem všeslavosti,
a aj, národ máte viděti,
jaký nebyl ještě v minulosti.
V prostředku se mezi Řekem, Britem
naše jméno bude blyštěti
na sklepení světa hvězdokrytém.

259.

Slávové! vy ducha nesvorného,
živí v rozbrojích a hryzotě,
jdite všickni spolu jednotě
od uhlí se učit řeřavého:

inslav

ve hromadě svazku společného
dokud to jest, hoří v teplotě,
hasne každý uhel v samotě,
odervaný ode druha svého.
Učiňte tu radost milé matce,
Rusi, Srbi, Češi, Poláci,
žijte svorně jako jedno stádce!
Tak vám vojna lidožerná vládce,
tak vlast neroztrhnou chytráci,
a váš národ prvý bude vkrátce.

374.

Co z nás Slávů bude o sto roků?
Cože bude z celé Evropy?
Slavský život na vzor potopy
rozšíří svých všudy meze kroků;
a ta, kterou měly za otroků
jen řeč křivé Němců pochopy,
ozývati se má pod stropy
paláců i v ústech samých soků;
vědy slavským potekou též žlabem,
kroj, zvyk i zpěv lidu našeho
bude modným nad Seinou i Labem;
ó, kýž i já raděj v tu jsem dobu
narodil se panství slavského,
aneb potom vstanu ještě z hrobu!

1824

VLASTENEC

Mlčteže už raději, pro Boha, křiklouni daremní,
jenž z učených „vlasť! vlasť!“ skuhřete kradmo chyžek.
Nic tu chabé lkání, nic řeč neprospěje prázdná,
národu jen zmužilé srdce pomůže a čin.
Zda s břehu kvílících lenivého množstvo diváků
loď, již bouře žene k rokli, uchrániti můž?

inslav

Příroda sic slzy, však též dala ňádra rekovská,
k ozdobě tam ty ženám, než tato ke cti mužům.
Za vlasť, za svobodu kročejem volným sobě kráčí
sam nesa král ve chrám smrti se Kodrus[1] oběť.
Manlius odmrštil, na skřek hus, Brenna divého
se zdi nohu, chtící lézti na Říma hlavu[2].
Skutkem udatný Tell[3] sebe sám, syna svého i vlasť svou
zvěčnil, nímž svobody, trýzniče potra, dobyl.
Pryč tedy křik, meč sem do pravé, do levé mi korouhev
dejte novou, ať též umru za národ a vlasť.
Za mnou nezcizená řícejte se, srdce slavjanská,
ať, čeho Evropa všímati nechce, čije.
Však my ušlé za moře k bídným rudy loupiti Indům
nechceme, nic Peru, nic Mexika kletby do nás;
nechť se pro východu rvou koření a šperky kramáři,
hodno-li medle, by dvou krev za to tekla světů?
Slušno-li mříti tisícům, by své jméno v Egyptě
na vznešené chvasták psal pyramídy jeden?
My dražších pokladův, my vlastní národu práva,
my chceme vlasť a obec: tať-li se žebrati má?
Žebrati? Ha, pronikej studený mé pot těla kosti!
Lid-li je vám, čili vy knížata dána lidu?
Ó, smutný člověčenstva osud! Když pravdu tu uzná
svět: že člověk mrtvá leckoho koupě není.
Hlas komu náš do němého milý darmo zněje srdce,
hlas mateřin! Jakž ten svých bude dítek otec?
Však budiž i zmařilému tomu kleto národu věčně,
jenž živě své cítí rány a léčiti dlí.
Hleďte, jak od hnízda křídlem jestřába dravého
věrný družce holub, sám hyna radše, tepe.
Neb divoký řetězem slyštež jak lomcuje otrok,
tam v Ohia[4] zlostné váleje louži katy.
A v řeřavém skvostné moři jak sídlo plyne čárů:
Xante,[5] kdes větší ve světě měl sokyni?
Zardite tím skutkem sesterské Moskvy se, bratří,
tak, hle, drahý svobody sloup si ta z ohně dělá.
Ba jdite jen k blízkým otcův svých slávy památkám,
nezdařilých špatné vyznati hanby synův.

inslav

Učte se tam, za milou jak žíti a mříti sluší vlasť:
nechcete-li — kliďte z lůna jejího se preč!
Vlasť dary vám, aby jí svobody jste vy dar dali, dává,
vy však pod jarmem lkáti volíte cizím?
Zdaž kovu rovně jiným nenosí, by se rámě slavjanské
též cvičilo vlastní kouti si berlu i meč?
Zdaž nesupl, klenutou nám též kyna k válce bojovný
hřívou vzdor Arabům, na vraha pomstu hřebec?
Jestliže pak co chybí, velikou nahraďte to myslí;
smrť samu, hle, předčil z Žižkovy kůže buben.[1]
Nestřite mi k těše tu, přísní mravohromci, „poslušnost"!
Ej, co ta? Jen mrzký plášť zženilosti vaší.
Věčně-li děcko budem? Veliký bez národu národ?
Vlastenec, an co Cikán, an co Žid obce nemá?
Měj Němec, Anglia měj, Frank, Vlach měj své meze vlasti,
kým slávskou právem k své vy taháte roli?
Důvody vlády hledáš? Kde je větší ve světě národ?
Předky? Labe s Dunajem snad pili dříve vašich.
Přece co ke štvanici schovaný lev, jen na cizinské
mláď nám se spanilá nechtě bojiště vleče.
O, kýž se v storukého celý Briaréa[2] obrátím,
kýž mi deset z každé pěsti vykvete mečův!
Sám za tě bych v prudkém bojuje směle ohni mladosti,
otčino, roztřískal pouta, jež úpně nosíš,
nestana, až bych sem lilium, zde měsíce i orly
vetknul, Slávo, na tvé týmě, Vyšehradu zeď!

NÁPISY[3]

Některým

Že Slovany slujete, proto nemněte, že slovo pouhé,
bez věci, již Slovana hned velikého dělá.

Horlič

Národ tak považuj, jediné jako nádobu lidství,
a vždy, voláš-li „Slovan", nechť se ti ozve „člověk".

inslav

Národní písně

Že vzdělanosti nemá náš lid, cizozemci mluvíte!
Jakž? Vy musíte lidu zpívati, nám pěje lid.

Zpěvačnost Slováků

Úšklebo, nekřič nám, že oper, že nemáme divadla.
Vy zdi, my máme celé v létě divadlo pole.

Návěští potomkům

Bratři, nesuďte o nás, co a jak jsme psáti my mohli;
nýbrž jen, co a jak jsme směli, suďte o nás!

Proroctví

Až dokavád trůnům svět slouží, ne světu trůny,
tam nebude s lidstvem na světě dobře dotud.

Zvelebování národů

Nač my, prosím, našemu šlechtictvu křivdu činíme?
Sice na národ nic, dbá ale více na rod.

Zmatek řeči

Ten nečasům těmto sluje občan ctný a pobožný,
jenž doma tiše sedí; ven kdo vykoukne — buřič!

Určení

Ne pluhy, ne droty, ne dřevo jest, ani plátno, olejky,
cíl člověka, Slované, než rozum a svobody!

inslav

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ
ФРАНТИШЕК ЛАДИСЛАВ ЧЕЛАКОВСКИЙ

(1799—1852)

Франтишек Ладислав Челаковский, один из крупнейших поэтов первой половины XIX в., вместе с Яном Колларом стоит у истоков всей чешской классической литературы.

Родился Челаковский в с. Страконице в семье плотника. Несмотря на большие материальные невзгоды, он оканчивает университет, после чего служит домашним учителем и библиотекарем в различных дворянских семьях. В 1834—35 гг. становится редактором газеты «Пражске новины» и литературного приложения к ней «Ческа вчела». Однако в конце 1835 г. за смелое и резкое высказывание в газете о царе Николае I поэт был лишен этого места. После нескольких лет бедствий Челаковский уезжает во Вратиславль (ныне Вроцлав), где преподает славянские языки в университете. Лишь в 1849 г. он возвращается в Прагу. Последние три года жизни он читает лекции в Пражском университете.

Общественно-политические и эстетические воззрения Челаковского в основе своей определились общественным опытом мелкой буржуазии и крестьянства и отражали стихийную ненависть народных масс к шляхте, духовенству, монархии. Поэт сочувствовал революционным выступлениям во Франции в 1830 г.

Челаковский внес большой вклад в формирование эстетики прогрессивного романтизма: в своих литературно-критических выступлениях и

inslav

поэтических произведениях он разработал программу развития самобытной чешской литературы на основе народного творчества.

Литературная деятельность Челаковского была подчинена задаче культурного сближения славянских народов. Он был страстным певцом дружбы чехов и словаков с русским народом.

В 20-е гг., опубликовав первый сборник своих стихов «Смешанные стихотворения» („Smíšené básně", 1822), Челаковский стал заниматься почти исключительно переводами и изданием славянских песен. В 1822—25—27 гг. поэт выпустил трехтомное собрание «Славянских народных песен» („Slovanské národní písně"), где были представлены в его поэтическом переводе песни восточных, западных и южных славян. Он переводит также литовские песни и ряд русских былин. Позже, в 1852 г., Челаковский издает большое собрание славянских пословиц «Мудрость славянских народов в пословицах» („Mudrosloví národu slovanského v příslovích").

В 1829 и 1839 гг. Челаковским были изданы циклы оригинальных стихотворений «Отзвук русских песен» („Ohlas písní ruských") и «Отзвук чешских песен» („Ohlas písní českých"), прочно вошедшие в сокровищницу чешской классической поэзии. Автор стремился в этих циклах передать идейный смысл и художественное звучание песенной поэзии русского и чешского народов в ее основных жанрах. Толчком к созданию первого цикла явились события русско-турецкой войны 1828—29 гг., с которой порабощенные славянские народы связывали надежду на освобождение. Основное содержание сборника составляет борьба русского народа против чужеземных захватчиков. Эта тема освещается по мотивам русских былин и звучит как гимн героической истории русского народа. Сборник нес чешскому читателю идеи освободительной борьбы.

Тема национально-освободительной борьбы представлена и в цикле «Отзвук чешских песен» (стихотворение о гуситском полководце Прокопе Голом). В отличие от первого цикла в нем преобладают стихотворения лирического характера. Челаковский первый создал яркую романтическую балладу («Томан и лесная вила» — „Toman a lesní panna"). В ряде стихотворений этого цикла нарисован образ чешского крестьянина.

Создавая лирические произведения по мотивам фольклора, Челаковский в обоих циклах стремился показать духовную красоту и моральную силу простого народа, внеся тем самым серьезный вклад в развитие чешской демократической литературы и литературного языка.

Челаковскому также принадлежит лирическая поэма «Столистая роза» („Růže stolistá"), состоящая из ста строф. В поэме любовные мотивы органически переплетаются с темой патриотизма.

Челаковский был автором большого количества эпиграмм. Сатирический характер носит и его прозаическое произведение «Примечательные письма незаметных людей» („Patrné dopisy nepatrných osob", 1830), в котором высмеивается низкопоклонство перед всем иноземным, а также романтическая драма «страха и ужасов».

Челаковский был первым в Чехии переводчиком Пушкина, Крылова и других русских поэтов и положил начало регулярным переводам произведений русской литературы. В 30-е гг. он издал свои переводы под общим названием «Из антологии русской поэзии».

inslav

BOHATÝR MUROMEC

Oj za horami, za vysokými,
za těmi lesy, za hustými,
a za lesy hustými lichvinskými[1]
vyletoval jasný, mladý sokol
na rychlých křídlech až pod oblaky,
a za tím za sokolem tři jestřábi,
tři zbojci-jestřábi jsou se hnali;
oni sokola obletovali,
oni k sokolu doletovali,
ostré zobce mu do těla zatínali,
až jsou oni sokola k zemi strhli,
a strhnuvše tak do smrti ubili.

Oj za horami, za vysokými,
za těmi lesy, za hustými,
a za lesy hustými lichvinskými
na koni se ubíral dobrý mládec,
on ne kvapem jel, a jen pojížděl
křížem ruce složiv, hlavu přikloniv,
jak by po šírém poli hoře rozsíval.
I vzali se odněkud, přiskákali
tři jezdci, všickni sobaky tatarské;*
a oni dobrého mládce obskočili,
ze zad, z boku, zepředu naň doráželi,
ostré šavle mu do těla zatínali,
až jsou oni mládence s koně strhli,
a strhnuvše tak do smrti ubili.

Počali Tataré mládce svlíkati
z oděvu jeho drahého, stříbrného,
tož ze stříbrného i zlatého,
a jali se v jeho oděv děliti,
ubitému jinochu se posmívati. —
A zpod lesa, lesa hustého

* Sobaky = psi, epithet v písních Tatarům, bývalým podmanitelům Ruska, dávaný.

inslav

vzav se tu odněkud kůň vyjíždí,
on nevyjíždí, on větrem letí,
a na tom na koni bohatýr Muromec,
Muromec ze slavného města Muroma.
Jedva Tatary zahlídnul, tři sobaky,
on z toulu vynímá kalenou střelu,
střelu pustí s tětivy hedbávné,
střela ta se zaryla v bílá ňádra,
v bílá ňádra prvního Tatařína.
A Muromec vytasil meč ocelový,
mečem tím ocelovým rozpůlil
v dvě půle druhého Tatařína.
A třetí Tatařín na kůň vyskočiv
utíká maní nemaní v šíré pole,
i bylo se Muromci čemu smáti,
i bylo bohatýru takto mluviti:
„Hoj, kdo přede mnou utíká v šíré pole,
na toho já meče netasívám,
za tím já střely kalené nepouštívám,
a pouštívám tě, můj koni bujný!“
Tomu hlasu kůň bujný porozuměl;
on prvním skokem — do půl pole,
on druhým skokem — do Tatařína,
a třetím skokem — Tataru přes hlavu;
i valí se, padá Tatařín k syré zemi,
na kusy lebka jeho roztřepena,
tož rázným kopytem koně bujného.

A vrátil se Muromec k dobrému mládci,
k mládci tomu dobrému, ubitému;
on vykopal hrob v šírém poli,
do toho hrobu tělo položil,
za duši jeho se pomodlil,
a schytav a svázav koně tatarské
on s nimi ujížděl ve svatou Rus.

Ohlas písní ruských, 1829

inslav

ČURILA PLENKOVIČ[1]

K sídelnímu to městu, ke Kyjevu
přijíždí statný mladoň na sivém koni,
na siváku kosmatáku — hříva do země,
a byl on bohatýr Čurila Plenkovič;
on dobrý mládec navštívil otce, matičku,
ne na dlouhý čas — na tři měsíce,
navštíviv je vracuje se službu konat
u jasného sluníčka Vladimíra,
u toho-liž hosudar-kněze laskavého
po dávnému stolničit* obyčeji.

I bude on mládec uprostřed pole,
i bude on bohatýr před Kyjevem —
nad pokrytými sněhem horami
černý k oblakům havran nevyletuje;
a nad paláci bělokamennými
černá korouhev po větru plyne,
černá korouhev, znamení žalostné.
„Snad-liž to skonal laskavý Vladimír kněz?
A skonal-li, Hospodine, spas duši jeho,
neskonal-li, dlouho podrž mezi námi;
snad laskavá kněžna Apraxějevna —
zesnula-li, Hospodine, spas duši její,
a živa-li, dlouho na zemi zachovej;
čili tvá nás, Hospodine, stihla ruka —
dej pro milost sílou jen naplniti se,
dej svatou Rus od zkázy uchrániti.“

A skáče on Čurila do bran kyjevských,
i letí po dlouhých po ulicích,
po ulicích dlouhých, širokých náměstích.
Na ulicích — ni vidu, ni sluchu,
na náměstích — ni kroku, ni skoku,

* Bohatýrům, k stolování kněze Vladimíra náležejícím, bylo za povinnost pána svého obveselovati, s ním hodovati, a zvláště ku každé službě důležité, neboli hrdinskému činu na pohotově býti, což se *stolničiti* jmenovalo.

inslav

jak by vymřel celý slavný Kyjev,
nikoho tu mládec nepotkává:
a potkává jen dva rodné bratry,
Vasku a Michajla, kupecké syny.
„Hoj, an jste vy dva rodní bratří,
Vaska a Michajlo, synové kupečtí,
postavte vy přede mnou vše rovná slova,
a popříč nestavte ani slovíčka.
Čemuž ve starém slavném Kyjevě
není více radosti, veselosti
po způsobu dávnému, předešlému?
Čiliž skonal laskavý Vladimír kněz,
či laskavá kněžna Apraxějevna,
či ruka boží svatou Rus stihla?“
Jemu v odpověď dva rodní bratří:
„Hoj, an jsi ty Čurila Plenkovič!
Ani neskonal laskavý Vladimír kněz,
ani laskavá kněžna Apraxějevna,
leč ruka boží svatou Rus stihla.
Čiliž tobě neznámo, nevědomo,
jaké žaloby a bídy na nás došly,
jak přiletěl to odněkud to ze stran severních
do našich zemí loupežník pták Velikán
a Velikán to pták Velikánovič:
kam usedne, jakby hora na horu,
křídlem zatřese — bory zašumí,
a on pták Velikán Velikánovič
pit k mořím, řekám nechodívá;
třikrát udeří zobanem v matku syrou zemi,
a voda ze země proudem se valí,
proudem se valí, pramen zanechává.
Stáda volů a koní on požírá
jakby slepice zrnéčka ječná, ovesná,
stáda ovcí — jakby hrstku máku.
A zajde-li on pták Velikán Velikánovič
na ruské vesnice, na městečka,
on domy, chalupy rozhrabává,
a z rumu na potravu těla lidská
jakoby mravenečky vyhrabává:

inslav

tož to padlo veliké hoře na svatou Rus,
i na laskavého kněze Vladimíra.
Bylo — Vladimír kněz poslal, vypravil
tři sta mládců do jediného
na zlého toho ptáka Velikána,
všech on pozobal do jediného,
a jediný se smutnou zprávou se vrátil,
odtud strach a veliké hoře nastalo.“ —
A Čurila Plenkovič důmyslen byl,
chytrostí a rozumem hlava naplněna,
chytrost ta se rodila v Nověhradě,
a rozum se vyučil v slavném Kyjevě,
zaprosil on dvou bratrů, kupeckých synů,
s ním se vrátiti v paláce Vladimírovy.

I bude on mládec na knížecím dvoře,
koně svého siváka, kosmatáka
za uzdu hedvábnou váže k dubovému sloupu;
sám do světlého spěchá večeřadla,
modlí se k obrazu Spasitelovu,
a před knězem i přede kněžnou
bije čelem, k zemi se sklání,
i na všecky na čtyry strany.
Ach, nestalo více světlého večeřadla,
podlaha pokryta všecka sobolinou,
tož sobolinou, černou bobrovinou;
neviděti na stolech bělodubových
drahé kamky červené barvy,
a viděti sukno černé barvy.
Sám pak sudar Vladimír, laskavý kněz,
on nevesel sedí a neradosten,
veselé oči pomračily se,
jasné čelo potruchlivělo,
černé kudry po šíji se rozhrnuly.
Dobrému mládci srdcem se hnulo,
síla bohatýrská v něm se rozjařila,
i nemluví mládec Čurila Plenkovič
ni slova ke knězi Vladimíru,
a mluví on ke knížatům, bojarům:

inslav

„Hoj, an jste vy knížata, bojaré!
Já mládec vás zvu na rychlé koně,
a dozývám vás na ostré meče
proti tomu ptáku Velikánu,
tož Velikánu Velikánoviči.“
Všickni bojaré, knížata odmlčeli se,
větší za menšího schovávali se,
a neschovávali se dva rodní bratří,
Vaska a Michajlo, synové kupečtí.

Oni za mládcem z večeřadla šli,
na širokém dvoře koně sedlali,
a on sám mládec Čurila Plenkovič
od hlavy k nohoum — lítá ocel,
po boku meč ostrý, v pasu dva nože;
i skočili mládci na rychlé koně,
vyskočili z Kyjeva — v poli prach sloupem.
Přihnali se tři mládci k vysoké hoře,
na ní pták Velikán — hora nad horou,
on pták nebdí, a on pták dřímá,
hlavu pod levým křídlem skrývá.
Ne šeří vlci po poli rozskákali se,
a tři mládcové po lesu rozháněli se,
bujného tura za rohy uchvátili,
nožem Čurila tomu turu prsy proklal,
prsy proklal a dva bratří kůži stáhli,
do tuří kůže jej Čurilu zašili.
Zašili oni Čurilu se vší zbraní,
i se vši silou jeho bohatýrskou,
a jej pod horou na pole položili,
sami koně po lesu rozpustili,
sami bratří na vysoký dub vylezli,
a v hustých sebe větvích ukryli.

Leží Čurila bohatýr v šírém poli,
leží z ranní rosy do poledne
a v poledne pták Velikán procítnul,
v šírém poli zrnéčko to zahlídnul,
zrnéčko to Čurilu v tuří koži.

inslav

A on pták Velikán s hory nesletuje,
on s hory na dolinu — čtyry kroky;
sezobnul on zrnéčko-bohatýra,
a po více těch zrnéčkách se ohlíží.

Hoj divu, divu to velikého!
Všickni větrové, vichrové rozvětřili se,
všecky bouře, hromové rozbouřili se,
syrý bor, doubrava travou poléhá;
pták Velikán křídloma to rozmachuje,
on k nebi povylétnul — slunce pomrklo,
on k zemi padá — oblaky na zem trhá;
i zahřměla máť země velikým pádem,
a od hřmotu velikého dva rodní bratří,
kupečtí synové, s dubu upadli,
Vaskovi v těle dvě žebra ve dvé,
Michajlo z pádu toho do smrti kulhal.

A pták Velikán Velikánovič
on po druhé rozjařil se, rozlítil se,
tož to velikou bolestí v útrobě své;
on bez paměti skáče, běží
přes řeky, hory, lesy, dolinečky,
až i on k zemi hlavou dopadává,
rozperutiv se křídloma doklepává,
a vše neblíže to, nedále půl versty
od slavného sídelního města Kyjeva.
A jasné sluníčko Vladimír kněz,
laskavý Vladimír kněz se kněžnou Apraxějevnou
i s bojary všemi z oken se dívá;
kněz se kněžnou divu podivili se,
bojaré s knížaty polekali se,
a z boku toho ptačího ostrým mečem
Čurila bohatýr si dvéře protíná,
po sivém peří k zemi skáče,
on do Kyjeva do bílých paláců přiběhne,
knězi a kněžně pokloní se,
a knížatům a bojarům nekloní se.
Promluví tu laskavý Vladimír kněz:

inslav

„Hoj, an jsi ty Čurila Plenkovič!
Čím mně tebe mládce podarovati,
čím mně tobě bohatýru odměniti se
za službu tu velikou, přeochotnou,
a za veliký skutek bohatýrský? —“

Jak mu odpovídá Čurila Plenkovič:
„Aj, jsi ty laskavý Vladimír kněz,
a nevíš, čím mne mládce podarovati,
čím mně to bohatýru odměniti se?
Ty dej nanositi černé země
na tělo ptáka Velikána Velikánoviče,
a ty kaž mi vystavěti na tom vrchu
nový palác — okna proti tvojím;
a sloupy u paláce ne ze dříví,
ale z brků křídel Velikánových;
a prahy u paláce ne rybí kost,
ale zoban to ptáka Velikána;
a střecha to na paláci ne z cihel dobrých,
ale z drobného peří tohož ptáka. —“

I kázal mu vystavěti Vladimír kněz,
nový palác po jeho žádosti,
po jeho to vůli bohatýrské;
i byl vesel, radosten Vladimír kněz,
nosilo se medové pití,
nosila se cukrová jídla, —
a to staré pověsti, tak se to dálo.

Ohlas písní ruských, 1829

LÁSKA NAD BOHATSTVÍ

Já večer s mojím milým se viděla,
a já s ním se po dolině vodila.

Mluvili jsme dvě slovíčka radostná,
radostná dvě slovíčka, tři žalostná.

A já s drahým do půlnoci seděla,
v oči mému rozmilému hleděla.

inslav

Oh, vy oči, jasné oči milého,
co já musím pro vás oči snášeti!

Kdo nás viděl? — Světlý měsíc v oblacích.
Kdo nás slyšel? — Ticho noční slyšelo.

Přece ráno matička to věděla,
co jsem večer s milým druhem mluvila,
bila, lála a se mnou se vadila.

Oh, matičko, nevaďte se, nelajte!
Nechtějte mě nemilému chovati,
a raděj mě za milého provdati.

Vy-li snad jste milovala bez lásky,
s otcem naším bez srdce věk trávila?

Milejší-li, dceru míti bohatou,
a bohatou v syrou zemi skládati,
nežli šťastnou po celý věk vídati?

Ohlas písní ruských, 1829

TOMAN A LESNÍ PANNA*

Večer před svatým Janem
mluví sestra s Tomanem:
„Kam pojedeš, bratře milý,
v této pozdní na noc chvíli
na koníčku sedlaném,
čistě vyšperkovaném?“

* Starodávní jméno Víly, u jižních Slovanů po tu dobu běžné, přišlo dávno v zapomenutí u našeho národu (již v XVII. století Rosa a Pešina ji jménem řecké Hekate vykládají!), ačkoliv podstatou svou Víla po některých krajích posaváde jest známa i našemu sprostému lidu, přijavši u něho nazvání Lesní panny. Kroj a podoba lesních panen v prostonárodních báchorkách a pohádkách rozdílně se líčí. Mně ze všech obrazův přijatý v této básni nejlépe se líbil. Vypravuje se též o lesních pannách, že tu noc před svatým Janem Křitelem největší mají moc nad člověkem, a protož není rádno vydávati se té doby do polí, mnohem méně do lesa.

inslav

„Do Podhájí k myslivci
musím ke své děvčici;
znenadání nemám stání,
zas mě čekej o svitání.
Dej, sestřičko, dej novou
košiličku kmentovou,
kamizolku růžovou.“

Jiskra padla pod koníčkem,
sestra volá za bratříčkem:
„Slyš, Tománku, radu mou,
nedávej se doubravou:
Objeď dolem k Svaté hoře,
ať nemám po tobě hoře,
dej se raděj v zápolí,
ať mě srdce nebolí.“

Nejel Toman doubravou,
dal se cestičkou pravou;
a v Podhájí u myslivce
nový domek jedna svíce,
hostí mnoho pospolu,
jizba plna hovoru.

Smutkem Toman obklopen
patří s koně do oken:
děvče láskou jen rozplývá,
na ženicha se usmívá;
otec jedná námluvy,
matka hledí obsluhy.
Jedli, pili, rozprávěli,
dobrou vůli spolu měli,
žádný na to nic nedbal,
kůň že venku zařehtal,
a mládenec zavzdychal.

Panna jenom snoubená
najednou se zarděla;
svědomí ji přece tlačí,

inslav

šeptá cosi sestře mladší.
Sestřička od večeře
vyšla rychle za dvéře:
„Na věky se, Tomane,
milá s tebou rozstane,
jinému se dostane.
Najezdil jsi se k nám dosti,
dnes tu máme bližší hosti,
hledej sobě jinde štěstí.“

Toman koněm zatočil,
v šíré pole poskočil,
zaťal zuby, smračil čelo,
kolem všecko neveselo.
Půlnoc byla, měsíc zašel,
sotva jezdec cestu našel;
prudce hned, pak loudavě
ubíral se k doubravě.
„Všecky krásné hvězdičky
ze tmy jsou se prosypaly,
proč vy, moje mladé dni,
ve tmách jste se zasypaly!“

Jede, jede doubravou,
les šumí mu nad hlavou,
větřík chladný z noci fouká,
nad ouvalem sova houká;
koník blýská očima,
koník stříhá ušima.

Cupy dupy z houštiny
letí jelen v mejtiny,
na jelínku podkasaná
sedí sobě Lesní panna;
šaty půl má zelené,
půl kadeřmi černěné,
a ze svatojanských broučků
svítí pásek na kloboučku.

inslav

Třikrát kolem jak střela
v běhu koně objela,
pak Tomanovi po boku
vyrovnává v plavném skoku:
„Švarný hochu, nezoufej,
bujným větrům žalost dej,
jedna-li tě opustila,
nahradí to stokrát jiná.
Švarný hochu, nezoufej,
bujným větrům žalost dej!“
To kdy panna zpívala,
v oči se mu dívala
Lesní panna na jelenu,
Toman cítí v srdci změnu.

Jedou, jedou pospolu
měkkým mechem do dolu,
panna Tomanu po boku
vyrovnává v plavném skoku:
„Švarný hochu, skloň se, skloň,
jenom dále se mnou hoň!“
líbí-li se ti mé líce,
dám radostí na tisíce.
Švarný hochu, skloň se, skloň,
jenom dále se mnou hoň;
To když sladce zpívala,
za ruku ho ujala;
Tomanovi rozkoš proudem
prolila se každým oudem.

Jedou, jedou dál a dál
podlé řeky, podlé skal,
panna Tomanu po boku
vyrovnává v plavném skoku:
„Švarný hochu, můj jsi, můj!
k mému bytu se mnou pluj;
světla denního v mém domě
věčně nezachce se tobě.

inslav

Švarný hochu, můj jsi, můj —
k mému bytu se mnou pluj!"

To kdy panna zpívala,
v ústa jezdce líbala,
v náručí ho objala.
Tomanovi srdce plesá,
uzdu pouští, s koně klesá
pod skalami prostřed lesa.

Slunce vyšlo nad horu,
skáče koník do dvoru,
smutně hrabe podkovou,
řehce zprávu nedobrou.
Sestra k oknu přiskočila,
a rukama zalomila:
„Bratře můj, bratříčku můj!
kde skonal jsi život svůj!"

1831 (Ohlas písní českých, 1839)

POCESTNÝ

Je to chůze po tom světě —
kam se noha šine:
sotva přejdeš jedny hory,
hned se najdou jiné.

Je to život na tom světě —
že by člověk utek:
ještě nezažil jsi jeden,
máš tu druhý smutek.

Což je pánům! ti na voze
sedí pěkně v suše,
ale chudý, ten za nimi
v dešti, blátě kluše.

Ej, co já ďbám na té cestě
na psoty a sloty,

inslav

jen když já mám zdravé nohy,
k tomu dobré boty.

Však na pány v krytém voze
taky někdy trhne:
jednou se jim kolo zláme,
jindy vůz se zvrhne.

A krom toho — až své pouti
přejedem a přejdem,
v jedné hospodě na nocleh
pán nepán se sejdem.

1831 (Ohlas písní českých, 1839)

ČESKÝ SEDLÁK

Ty český sedláčku,
vychytralý ptáčku!
po zpěvu, po peří,
blázen, kdo ti věří.

Sedlák jde z hospody,
cesta mu nestačí;
když přijde před pána,
což je hned jinačí.

Škrabe se za uchem,
potírá si čelo,
jak by půl dušičky
z něho vyletělo.

„Jemnost pantatínku!
letos není loni —
já řku... toto vono...
bída nouzi honí.“

inslav

Před pánem stejská si,
za vraty vejská si, —
strčil urozenost
s rozumem do kapsy.

1830 (Ohlas písní českých, 1839)

STASA ČARODĚJNICE

Utopte ji, upalte ji,
kantorovic Stasu,
ať nekouzlí, nečaruje
naši mladou chasu.

Běda tomu, Stasa komu
čáry na krk hodí,
jak to kuřátko po dešti
schlípeně si chodí.

Devět hochů otrávila
jedem černých očí,
a okolo desátého
svět se kolem točí.

Devět hochů popálila
plamenem svých tváří,
a čtyrem se zima s horkem
po těle rozráží.

Sám pan správce od ní chřadne,
v tejle ho cos píchá,
k srdci ruku pořád tiskne,
ku měsíčku vzdychá.

Utopte ji, upalte ji,
kantorovic Stasu,
než okouzlí, očaruje
všecku naši chasu.

Ohlas písní českých, 1839

inslav

KALENDÁR A NE FARÁR
(PO SLOVENSKU)

Synu milý, bodaj zvážal,
čo pan farár dněska kázal!
Kázal: pomni, človeče,
na smrť, něžli pritěče,
ver ta tvoja mladosť
skoro utěče.

„Ej, co já dbám na farára,
já sa trímám kalendára:
napred mámy masopost,
potom teprv prijdě puost,
na memento mori
ešče času dosť.“

1833 (Ohlas písní českých, 1839)

KOSMOPOLITSTVÍ

Jest to věru podivný lid,
jenžto zůve se kosmopolit:
mezi ohněm a vodou smlouvy strojí,
lásku, nenávist v jedno pojí.

1840

SVOBODA TISKU

Dle vůle v tom věku zmotchaném
že psáti ovšem nesmíte? —
Vše psáti volno; ve psaném
jen když nic nepravíte.

1840

K RUSŮM

Ty drahé žeňte po svých rozpusty, drabanty,
hofmejstry německé, franské guvernanty,
již vychovávají vám modné loutky, fanty:
vy ctěte svoje mamky, vzdávajíc jim díky,
ty aspoň pěstují vám veliké básníky.

1843

inslav

KAREL HYNEK MÁCHA

КАРЕЛ ГИНЕК МАХА

(1810—1836)

Карел Гинек Маха, крупнейший чешский прогрессивный романтик, родился в небогатой семье пражского мельника. Учился он в гимназии, а затем на юридическом факультете Пражского университета. В студенческие годы Маха много путешествовал по Чехии, побывал в Италии. После окончания университета он поступил на службу в юридическую канцелярию в г. Литомержице. Умер поэт в возрасте двадцати шести лет.

Жизнь Махи была связана с демократической средой городских низов, под влиянием которой формировались его общественно-политические воззрения и литературные вкусы. Важную роль в духовном развитии поэта сыграло революционное польское восстание 1830 г. С некоторыми из польских эмигрантов Маха был знаком лично. Идеи революционного освобождения Чехии от чужеземного гнета вдохновляли Маху и его товарищей по университету. Совместно с К. Сабиной Маха участвовал в организации тайных политических кружков среди ремесленников и рабочих.

В поэзии Махи явственно звучат романтически-бунтарские мотивы, его герой — человек, бросающий вызов обществу. Это романтическое, не вполне целенаправленное бунтарство отражает в своеобразном преломлении протест поэта против феодально-сословных порядков, против аскетической католической морали, сковывающей личность. Тот же смысл имеют в творчестве Махи страстные гимны любви, красоте жизни.

Маха — автор значительного количества лирических стихов, романтических баллад, стихотворного цикла «Отзвук национальных песен» („Ohlas národních písní"). В стихотворениях Махи (например, «Баллада» — „Baláda", «И не шумите...» — „Aniž křičte...") звучит призыв к вооруженной борьбе за свободу родины.

Центральное произведение Махи — романтическая поэма «Май» („Máj", 1836). Герой поэмы Вилем, человек сильных чувств и страстей, изгнанный из дома и ставший предводителем разбойников, оказывается невольным убийцей своего отца, соблазнившего его возлюбленную. Моральные терзания Вилема, сделавшегося жертвой роковой ошибки, мрачные картины заключения и казни чередуются в поэме с проникновенными описаниями майской природы, гармония которой как бы противостоит неустроенности человеческого общества.

Глубоко эмоциональные, лирические картины природы проникнуты мыслью о бесконечности мира, о вечной красоте жизни. Маха обогатил чешскую литературу ярким изображением человеческих чувств и переживаний, нарисовал образ человека, жаждущего свободы, рвущегося из душной атмосферы своей эпохи. По отзывам современников Махи, с образом «страшного господина лесов» читатели связывали мысль о борьбе за социальное освобождение.

inslav

По сравнению со своими предшественниками Маха значительно расширяет арсенал поэтических средств, обогащает лексику, вводит новые словосочетания, метафоры и т. д. Тонкая звуковая инструментовка стиха придает его поэзии исключительную музыкальность.

Перу Махи принадлежит ряд прозаических произведений. Противопоставление света, аристократии людям природы, беднякам лежит в основе повести «Цыгане» („Cikáni"), написанной под определенным влиянием одноименной поэмы Пушкина.

В повести «Маринка» („Marinka") автор создает на фоне будничной и нищенской жизни пражских предместий образ талантливой бедной девушки, умирающей от туберкулеза. В повести заметны реалистические тенденции.

Махе принадлежит первая в чешской литературе попытка создания жанра исторического романа. Им был задуман роман из эпохи гуситского движения. Правда, Маха успел написать лишь несколько фрагментов, небольшая часть которых, озаглавленная «Кршивоклат» („Křivoklat"), была им опубликована в журнале Тыла «Кветы».

BALÁDA

Pokraj skály jinoch sedí,
v jeho rukou harfa dřímá;
prvním jitrem v dálku hledí—
vyskočí i takto hřímá:

„Pohřbi harfu, hloubi černá;—
pevný meč mi v pravou ruku;
vzhůru! za mnou! mládež věrná!
skončíme ať vlasti muku!"

Letí harfa mezi skály— —
posledně zavzdechne sobě;—
„ „Dobrou noc!" " zdól strůny vály
na svého co pěvce hrobě;

„Bílá horo, Bílá horo!
odstři příkrov, jenž tě krýje,
jitro tvé již svítá skoro,
naše krev tvou vinu smýje.

inslav

Sněžka zdvíhá čelo jasné,
Krákonošů lampa plane!—
Krvavé až zoře zhasne,
zlaté Čechů slunce vstane!"

V okruh vlasti zavzní plesy,
hučí jitrem řeky vzdmuté;
české zavzní v kolo lesy,
i za lesy zvony duté.

1832—1833

*

Aniž křičte, že vám stavbu bořím,
jenž by sama v krátkém padla čase;
neb kdy základ krysy rozlézají,
celý dům se větrem již kolíbá,
jehož krov se k zemi skoupě shýbá,
jakou schránu střechy jeho dají?—
A kdy nové stavení má státi,
zdaliž rádno stavbu zase jinou
ze základu u vysokost hnáti,
předešlé který byl pádu vinou?
Protož buď i základ vyvržený,
nový základ vložte v zemi plodnou,
na něm nový dům buď založený,
jehož střechy přede bouří škodnou
i před parnem denním vás uchrání. —
Kdyby však před stavby ukončením
konec vzala stavba s mojím bděním
(spaní člověk mdlý se neubrání).
Pak na místo mistra zesnulého
některý z učenců jeho vstane,
ti přikročí v dráze znamenané
k ukončení stavení nového.

inslav

MAJ

Čechové jsou národ dobrý!
Nešťastný, jenž v nouzi lká,
nechť se k Čechovi obrátí,
ten mu rychlou pomoc dá;
byť i Čecha nepřítelem,
nešetří Čech jeho vin.
Čechové jsou národ dobrý,
a Ty Čechů věrný syn!...

Sbor

Věrný syn i bratr náš,
statné Čechů srdce máš!

Čechové jsou národ věrný,
věrnost jejich první čest;
vlasti své i svému králi
Čech i v smrti věrný jest.
Bůh můj — král můj — vlasti moje!
poslední je Čecha vzdech.
Čechové jsou národ věrný,
a Ty syn jich — věrný Čech!

Sbor

Věrný Čech i bratr náš,
věrné Čechů srdce máš!

Věrný syn jsi Čechů kmene,
věrný bratr bratřím svým;
jazyk český je i Tobě
otců drahým dědictvím.
České hory — české doly —
české luhy — český háj —
šírá vlasť — ta česká země
nejmilejšíť Tobě ráj.

Sbor

Věrný Čech jsi — vlastenec,
protož vděčný u věnec
květ Ti vije Čecha máj!

inslav

I.

Byl pozdní večer — první máj —
večerní máj — byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
I světy jich v oblohu skvoucí
co ve chrám věčné lásky vzešly;
až se — milostí k sobě vroucí
změnivše se v jiskry hasnoucí —
bloudící co milenci sešly.
Ouplné lůny krásná tvář —
tak bledě jasná jasně bledá,
jak milence milenka hledá —
ve růžovou vzplanula zář;
na vodách obrazy své zřela
a sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,
jenž k sobě šly vzdy blíž a blíž,
jak v objetí by níž a níž
se vinuly v soumraku klín,
až posléz šerem vjedno splynou.
S nimi se stromy k stromům vinou. —
Nejzáze stíní šero hor,
tam bříza k boru k bříze bor
se kloní. Vlna za vlnou
potokem spěchá. Vře plnou —
y čas lásky — láskou každý tvor.

inslav

Za růžového večera
pod dubem sličná děva sedí,
se skály v břehu jezera
daleko přes jezero hledí.
To se jí modro k nohoum vine,
dále zeleně zakvítá,
vzdy zeleněji prosvítá,
až v dálce v bledé jasno splyne.
Po šírošíré hladině
umdlelý dívka zrak upírá;
po šírošíré hladině
nic mimo promyk hvězd nezírá.
Dívčina krásná, anjel padlý,
co amarant na jaro svadlý,
v ubledlých lících krásy spějí.
Hodina, jenž jí všecko vzala,
ta v usta, zraky, čelo její
půvabný žal i smutek psala. —

Tak zašel dnes dvacátý den,
v krajinu tichou kráčí sen.
Poslední požár kvapně hasne,
i nebe, jenž se růžojasné
nad modrými horami míhá.
„On nejde! — již se nevrátí! —
Svedenou žel tu zachvátí!“
Hluboký vzdech jí ňádra zdvíhá,
bolestný srdcem bije cit,
a u tajemné vod stonání
mísí se dívky pláč a lkání.
V slzích se zhlíží hvězdný svit,
jenž po lících co jiskry plynou.
Vřelé ty jiskry tváře chladné
co padající hvězdy hynou;
kam zapadnou, tam květ uvadne.

Viz, mihla se u skály kraje;
daleko přes ní nahnuté
větýrek bílým šatem vlaje.
Oko má v dálku napnuté. —

inslav

Teď slzy rychle utírá,
rukou si zraky zastírá,
upírajíc je v dálné kraje,
kde jezero se v hory kloní,
po vlnách jiskra jiskru honí,
po vodě hvězda s hvězdou hraje.

Jak holoubátko sněhobílé
pod černým mračnem přelétá,
lilie vodní zakvétá
nad temné modro; tak se čile —
kde jezero se v hory níží —
po temných vlnách cosi blíží,
rychle se blíží. Malá chvíle,
a již co čápa vážný let,
ne již holoubě či lilie květ,
bílá se plachta větrem houpá.
Štíhlé se veslo v modru koupá,
a dlouhé pruhy kolem tvoří.
Těm zlaté růže, jenž při doubí
tam na horách po nebi hoří,
růžovým zlatem čela broubí.
„Rychlý to člunek! Blíž a blíže!
To on, to on! Ta péra, kvítí,
klobouk, oko jenž pod ním svítí,
ten plášť!“ Již člun pod skálou víže.

Vzhůru po skále lehký krok
uzounkou stezkou plavce vede.
Dívce se zardí tváře bledé;
za dub je skryta. — Vstříc mu běží,
zaplesá — běží — dlouhý skok —
již plavci, již na prsou leží —
„Ha! Běda mi!“ Vtom lůny zář
jí známou osvítila tvář;
hrůzou se krev jí v žilách staví.
„Kde Vilém můj?“
„„Viz,““ plavec k ní
tichými slovy šepce praví,

inslav

„„tam při jezeru vížka ční
nad stromů noc; její bílý stín
hlubokoť stopen v jezera klín;
však hlouběji ještě u vodu vryt
je z mala okénka lampy svit;
tam Vilém myšlenkou se baví,
že příští den jej žití zbaví.
On hanu svou, on tvojí vinu
se dozvěděl; on svůdce tvého
vraždě zavraždil otce svého!
Msta v patách kráčí jeho činu. —
Hanebně zemře. — Poklid mu dán,
až tváře, jenž co růže květou,
zbledlé nad kolem obdrží stán,
až štíhlé oudy v kolo vpletou.
Tak skoná strašný lesů pán! —
Za hanu jeho, za vinu svou,
měj hanu světa, měj kletbu mou!“ “

Obrátí se. — Utichl hlas —
Po skále slezl za krátký čas,
při skále člun svůj najde.
Ten rychle letí, co čápa let,
menší a menší, až co lílie květ
mezi horami po vodě zajde.

Tiché jsou vlny, temný vod klín,
vše lazurným se pláštěm krylo;
nad vodou se bílých skví šatů stín,
a krajina kolem šepce: „Jarmilo!“
V hlubinách vody: „Jarmilo! Jarmilo!!“

Je pozdní večer, první máj —
večerní máj — je lásky čas.
Zve k lásky hrám hrdliččin hlas:
„Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!!“

II.

Klesla hvězda s nebes xýše,
mrtvá hvězda siný svit;
padá v neskončené říše,

inslav

padá věčně v věčný byt.
Její pláč zní z hrobu všeho,
strašný jekot, hrůzný kvíl.
„Kdy dopadne konce svého?“
Nikdy — nikde — žádný cíl.
Kol bílé věže větry hrají,
při níž si vlnky šepotají.
Na bílé zdě stříbrnou zář
rozlila bledá lůny tvář;
však hluboko u věži je temno pouhé;
neb jasna měsíce světlá moc
uzounkým oknem u sklepení dlouhé
proletši se změní v pološerou noc.
Sloup sloupu kolem rameno si podává
temnotou noční. Z venku větru vání
přelétá zvražděných vězňů co lkání,
vlasami vězně pohrává.
Ten na kamenný složen stůl
hlavu o ruce opírá;
polou sedě a kleče půl
v hloub myšlenek se zabírá.
Po měsíce tváři jak mračna jdou,
zahalil vězeň v ně duši svou;
myšlenka myšlenkou umírá.

„Hluboká noc! ty rouškou svou
teď přikrýváš dědinu mou,
a ona truchlí pro mě! —
Že truchlí? — pro mě? — pouhý sen!
Ta dávno neví o mně.
Sotvaže zítra jasný den
nad její lesy vstane,
já hanebně jsem odpraven,
a ona — jak v můj první den —
vesele, jasně vzplane.“

Umlknul; po sklepení jen,
jenž nad sloupy se zdvíhá,
dál, dál se hlas rozlíhá;

inslav

až — jakby hrůzou přimrazen —
na konci síně dlouhé
usne v temnotě pouhé.

Hluboké ticho té temnosti
zpět vábí časy pominulé,
a vězeň ve snách dny mladosti
zas žije dávno uplynulé.
To vzpomnění mladistvých let
mladistvé sny vábilo zpět;
a vězně oko slzy lilo,
srdce se v citech potopilo; —
marná to touha v zašlý svět.

Kde za jezerem hora horu
v západní stíhá kraje,
tam — zdá se mu — si v temném boru
posledně dnes co dítko hraje.
Od svého otce v svět vyhnán
v loupežnickém tam roste sboru.
Později vůdcem spolku zván
dovede činy neslychané,
všude jest jméno jeho znané,
každémuť: „Strašný lesů pán!“
Až posléz láska k růži svadlé
nejvejš roznítí pomstu jeho,
a poznav svůdce dívky padlé
zavraždí otce neznaného.
Protož jest u vězení dán;
a kolem má být odpraven
již zítra strašný lesů pán,
jak první z hor vyvstane den.

Teď na kamenný složen stůl
hlavu o ruce opírá,
polou sedě a kleče půl
v hloub myšlenek se zabírá;
po měsíce tváři jak mračna jdou,
zahalil vězeň v ně duši svou,
myšlenka myšlenkou umírá.

inslav

„Sok — otec můj! vrah — jeho syn,
on svůdce dívky mojí! —
Neznámý mně. — Strašný můj čin
pronesl pomstu dvojí.
Proč rukou jeho vyvržen
stal jsem se hrůzou lesů?
Čí vinu příští pomstí den?
Čí vinou kletbu nesu?
Ne vinou svou! — V života sen
byl jsem já snad jen vyváben
bych ztrestal jeho vinu?
A jestliže jsem vůlí svou
nejednal tak, proč smrtí zlou
časně i věčně hynu? —
Časně i věčně? — věčně — čas —“
Hrůzou umírá vězně hlas
obražený od temných stěn;
hluboké noci němý stín
daleké kobky zajme klín,
a paměť vězně nový sen.

„Ach — ona, ona! Anjel můj!
Proč klesla dřív, než jsem ji znal?
Proč otec můj? — Proč svůdce tvůj?
Má kletba —“ Leč hluboký žal
umoří slova. Kvapně vstal;
nocí řinčí řetězů hřmot,
a z mala okna vězně zrak
zalétá ven za hluky vod. —

...Hluboké ticho. — Z mokrých stěn
kapka za kapkou splyne,
a jejich pádu dutý hlas
dalekou kobkou rozložen,
jako by noční měřil čas,
zní — hyne — zní a hyne —
zní — hyne — zní a hyne zas.

„Jak dlouhá noc — jak dlouhá noc —
Však delší mně nastává. — — —

inslav

Pryč myšlenko!“ — A hrůzy moc
myšlenku překonává. —
Hluboké ticho. — Kapky hlas
svým pádem opět měří čas.

„Temnější noc! — — — Zde v noční klín
ba lůny zář, ba hvězdný kmit
se vloudí — — tam — jen pustý stín,
tam žádný — žádný — žádný svit,
pouhá jen tma přebývá.
Tam všecko jedno, žádný díl —
vše bez konce — tam není chvíl,
nemine noc, nevstane den,
tam času neubývá. —
Tam žádný — žádný — žádný cíl —
bez konce dál — bez konce jen
se na mne věčnost dívá.
Tam prázdno pouhé — nade mnou,
a kolem mne i pode mnou
pouhé tam prázdno zívá. —
Bez konce ticho — žádný hlas —
bez konce místo — noc — i čas — — —
to smrtelný je mysle sen,
toť co se „nic“ nazývá.
A než se příští skončí den,
v to pusté nic jsem uveden. — — —
Vězeň i hlas omdlívá.

A lehounce si vlnky hrají
jezerní dálkou pode věží,
s nimi si vlnky šepotají,
vězně uspávati se zdají,
jenž v hlubokých mrákotách leží.

Strážného vzbudil strašný hřmot,
jejž řetězů činí padání;
se světlem vstoupil. — Lehký chod
nevzbudil vězně z strašných zdání.
Od sloupu k sloupu lampy svit

inslav

dlouhou zalétá síní,
vzdy bledší — bledší její kmit,
až vzadu zmizí její moc,
a pustopustá temná noc
ostatní díl zastíní.
Leč nepohnutý vězně zrak —
jak by jej ještě halil mrak —
zdá se, že nic nezírá;
ač strážce lampy rudá zář
ubledlou mu polila tvář,
a tma již prchla čírá.
On na kamenný složen stůl
hlavu o ruce opírá,
polou sedě a kleče půl
znovu v mdlobách umírá;
a jeví hlasu šepot mdlý,
že trapnýť jeho sen i zlý.

„Duch můj — duch můj — a duše má!“
Tak slova mu jednotlivá
ze sevřených ust plynou.
Než však dostihne ucho hlas,
tu slova strašná ničím zas —
jakž byla vyšla — hynou.

Přistoupí strážce, a lampy zář
před samou vězně vstoupí tvář.
Obličej vězně — strašný zjev —
oko spočívá nehnuté,
jak v neskončenost napnuté,
po tváři slzy — pot a krev;
v ustech spí šepot — tichý zpěv.

Tu k ustům vězně ucho své
přiklonil strážce bázlivé;
a jak by lehký větřík vál,
vězeň svou pověst šepce dál.
A strážný vzdy se níž a níž
ku vězni kloní — blíž a blíž,

inslav

až ucho s usty vězně spojí.
Ten šepce tíše — tíš a tíš,
až zmlkne — jak by pevně spal.

Leč strážný nepohnutě stojí,
po tváři se mu slzy rojí,
ve srdci jeho strašný žal. —
Dlouho tak stojí přimrazen,
až sebrav sílu kvapně vstal,
a rychlým krokem spěchá ven.
On sice — dokuď ještě žil —
co slyšel, nikdy nezjevil,
než navzdy bledé jeho líce
neusmály se nikdy více.

Za strážným opět temný stín
zahalil dlouhé síně klín;
hlubokou nocí kapky hlas
svým pádem opět měřil čas.

A vězeň na kamenný stůl
složený — klečí — sedí půl.
Obličej jeho — strašný zjev —
oko spočívá nehnuté,
jak v neskončenost napnuté,
po tváři slzy — pot — a krev.

A ustavičně kapky hlas
svým pádem dále měří čas.
A kapky — vod i větrů zpěv
vězňovi blízký hlásá skon,
jenž myšlenkami omdlívá. —
Z dálky se sova ozývá,
a nad ním půlnoc bije zvon...

III.

Nad temné hory růžný den
vystav májový budí dol,
nad lesy ještě kol a kol —

inslav

lehká co mlha — bloudí sen.
Modravé páry z lesů temných
v růžové nebe vstoupají,
i nad jezerem barev jemných
modré se mlhy houpají;
a v břehu jeho — v stínu hory —
i šírým dolem — dál a dál —
za lesy — všude bílé dvory
se skvějí; až — co mocný král,
ohromný jako noci stín
v růžový strmě nebes klín —
nejzáz vrchů nejvyšší stál.

Ledvaže však nad modré temno hor
brunatné slunce rudě zasvitnulo,
tu náhle ze sna všecko procitnulo,
a vesel plesá vešken živý tvor.
V jezeru zeleném bílý je ptáků sbor,
a lehkých člůnků běh i rychlé veslování
modravé stíny vln v rudé pruhy rozhání.
Na břehu jezera borový šumí háj,
z něj drozdů slavný žalm i jiných ptáků zpěv
mísí se u hlasy dolem bloudících děv;
veškeren živý tvor mladistvý slaví máj.
A větru ranního — co zpěvu — líbé vání
tam v dolu zeleném roznáší bílý květ,
tam řídí nad lesy divokých husí let,
tam zase po horách mladistvé stromky sklání. —
Leč výjev jediný tu krásu jitra zkalí.
Kde v šíré jezero uzounký ostrov sahá,
z nějž města malého i bílé věže stín
hlubokoť stopený v zelený vody klín,
náramný křik a hřmot mladým se jitrem vzmahá
a valný zástup se z bran mala města valí.
Z daleka spěchá lid — vzdy větší zástup ten —
vzdy větší — větší jest — vzdy roste tento pluk;
nesmírné množství již. — Vzdy větší jeho hluk.
Nešťastný zločinec má býti vyveden.

inslav

Teď z mala města bran vojenský pluk vychází,
povolným krokem on zločince doprovází,
jenž v středu jeho jde jak jindy ozdoben.
Utichl množství hluk — leč znovu počne zas,
a mnohý v hluku tom vynikne silný hlas:

„To on, to on! Ta péra, kvítí,
klobouk, oko, jenž pod ním svítí!
Ten jeho plášť, to on, to on! To strašnýť lesů pán!“
Tak lidem ode všech voláno bylo strán;
a větší vzdy byl hluk — zbouřených jako vod —
čím blíže zločince zdlouhavý vedl chod.
Kolem něj zástup jde — co nebem černý mrak,
z něho — co blesku svit — v slunci se leskne zbraň.
Volně jde nešťastný — upřený v zemi zrak.
Z městečka zvonku hlas. Množství se modlí zaň.

Na břehu jezera malý pahorek stojí,
na něm se dlouhý kůl, na kůlu kolo zdvíhá.
Blíž strmí kolmý vrch, na vrchu vrchol dvojí,
na vyšším vrcholi bílá se kaple míhá.
U volném průvodu ku kapli přišel sbor;
všickni teď ustoupí — zločinec stojí sám.
Posledněť vyveden v přírody slavný chrám,
by ještě popatřil do lůna temných hor,
kde druhdy veselý dětinství trávil věk;
by ještě jedenkrát v růžový nebe klín
na horu vyveden, před bílé kaple stín,
nebe i světů všech pánovi svůj vzdal vděk.
Umlknul vešken hluk, nehnutý stojí lid.
a srdce každého zajímá vážný cit.
V soucitu s nešťastným v hlubokém smutku plál
slzící lidu zrak obrácen v hory výš,
kde nyní zločinec, v přírody patře říš,
před Bohem pokořen v modlitbě tiché stál.

Vyšlého slunce rudá zář
zločince bledou barví tvář,

inslav

a slzy s oka stírá,
jenž smutně v dálku zírá.
Hluboko pod ním krásný dol,
temné jej hory broubí kol,
lesů věnec objímá.
Jasné jezero dřímá
u středu květoucího dolu.
Nejblíž se modro k břehu vine,
dále zeleně zakvítá,
vzdy zeleněji prosvítá,
až posléz v bledé jasno splyne.
Bílé dvory u velkém kolu
sem tam jezera broubí břeh.
V jezeru bílých ptáků sbor,
a malých člůnků rychlý běh,
až kde jezero v temno hor
v modré se dálce níží.
Loďky i bílé v břehu dvory —
věž — město — bílých ptáků rod —
pahorky v kolo — temné hory —
vše stopeno ve lůno vod,
jak v zrcadle se zhlíží.
Tam v modré dálce skály lom
květoucí břeh jezera tíží,
na skále rozlehlý je strom —
starý to dub — tam — onen čas,
kde k lásce zval hrdliččin hlas,
nikdy se nepřiblíží. —
Nejblíže pahorek se zdvíhá,
na něm se kůl a kolo míhá.
Po hoře — na níž stojí — háj
mladistvý hučí — smutný stesk —
nad šírým dolem slunce lesk,
a ranní rosa — jitřní máj.

To vše zločinec ještě jednou zřel,
to vše, jež nyní opustiti měl,
a hluboký srdce mu žel uchvátí;
hluboce vzdechne — slza slzu stíhá —

inslav

ještě jednou — posledně — vše probíhá,
pak slzavý v nebe svůj zrak obrátí.
Po modrém blankytu bělavé páry hynou,
lehounký větřík s nimi hraje;
a vysoko — v daleké kraje
bílé obláčky dálným nebem plynou,
a smutný vězeň takto mluví k ním:
„Vy, jenž dalekosáhlým během svým,
co ramenem tajemným zemi objímáte,
vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,
vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe,
v tiché se slzy celí rozplýváte,
vás já jsem posly volil mezi všemi.
Kudy plynete u dlouhém, dálném běhu,
i tam, kde svého naleznete břehu,
tam na své pouti pozdravujte zemi.
Ach zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlasť jedinou i v dědictví mi danou,
širou tu zemi, zemi jedinou! —
A až běh váš onu skálu uhlídá,
kde v břehu jezera — tam dívku uplakanou —“
Umlkl již, slza s slzou se střídá.
Teď s výše hory s vězněm kráčí pluk
širokou stezkou v středu mlada borku,
doleji — dole — již jsou na pahorku —
a znovu ztichl šíra množství hluk.
Přichystán již popravce s mečem stojí,
jedenkrát ještě vězeň zdvihl zrak,
pohlédl vůkolím — povzdechl — pak
spustiv jej zas — k blízké se smrti strojí.
Obnažil vězeň krk, obnažil ňádra bílé,
poklekl k zemi, kat odstoupí, strašná chvíle —
pak blyskne meč, kat rychlý stoupne krok,
v kolo tne meč, zločinci blyskne v týle,
upadla hlava — skok i — ještě jeden skok —
i tělo ostatní ku zemi teď se skloní.
Ach v zemi krásnou, zemi milovanou,
v kolébku svou i hrob svůj, matku svou,

inslav

v vlasť jedinou i v dědictví mu danou,
v šírou tu zemi, zemi jedinou,
v matku svou, v matku svou, krev syna teče
po ní.

Po oudu lámán oud, až celé vězně tělo
u kolo vpleteno nad kůlem v kolo pnělo,
i hlava nad kolem svůj obdržela stán;
tak skončil života dny strašný lesů pán;
na mrtvé tváři mu poslední dřímá sen.
Na něj se dívajíc — po celý dlouhý den
nesmírné množství v kol mala pahorku stálo;
teprv až k západu schýlivši slunce běh
veselo v mrtvý zrak sťaté hlavy se smálo,
utichl jezera šírý — večerní břeh.

Nad dálkou temných hor poslední požár plál;
v hluboké ticho to měsíce vzešla zář,
stříbřící hlavy té ubledlou mrtvou tvář
i tichý pahorek, jenž v břehu vody stál.
Města jsou vzdálená co bílý v modru mrak,
přes ně v kraj daleký nesl se mrtvý zrak,
v kraj, kde co dítě on — Ó krásný — krásný věk!
Daleko zanesl věk onen časů vztek,
dalekoť jeho sen, umrlý jako stín,
obraz co bílých měst u vody stopen klín,
takť jako zemřelých myšlenka poslední,
tak jako jméno jich, pradávných bojů hluk,
dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,
zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,
zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt,
vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,
to jestiť zemřelých krásný dětinský čas.

Je pozdní večer — druhý máj —
večerní máj — je lásky čas,
hrdliččin zve ku lásce hlas:
„Viléme! Viléme!! Viléme!!!“

inslav

INTERMEZZO II

Stojí hory proti sobě,
z jedné k druhé mrak přepnutý
je, co temný strop klenutý,
jednu k druhé pevně víže.
Ouvalem tím v pozdní době
ticho, temno jako v hrobě.
Za horami, kde pod mrakem
ve vzdálí se rozstupují —
v temné dálce, něco níže
kolmé skály k sobě blíže
než hory se sestupují,
takže siným pod oblakem
skály ouzkou bránu tvoří.
Za tou v dálce pode mrakem
temnorudý požár hoří,
dlouhý pruh v plamenné záři
západní rozvinut stranou,
po jehožto rudé tváři
noční ptactvo kola vedší,
jako by plamennou branou
nyní v dálku zalétalo.
Hasnul požár — bledší — bledší,
až se šírošíré nebe
noční rosou rozplakalo,
rozsmutnivši zem i sebe.

V hlubokém ouvalu klínu,
ve stověkých dubů stínu,
sbor u velkém kole sedí.
Zahalení v pláště bílé,
jsou to druzi noční chvíle.
Každý před se v zemi hledí
beze slova, bez pohnutí,
jak by kvapnou hrůzou jmutí
v sochy byli proměnění.
Večerních co krajin pění,
tichý šepot — tiché lkání —
nepohnutým kolem plynul,

inslav

tichý šepot bez přestání:
„Vůdce zhynul! — vůdce zhynul!“ —

V kotouči jak vítr skučí,
nepohnutým kolem zvučí:
„Vůdce zhynul! — vůdce zhynul!“ —

Jako listů šepotání
pode skálou při ozvěně,
znělo kolem bez přestání,
jednozvučně, neproměnně:
„Vůdce zhynul! — vůdce zhynul!“ —

Zachvěly se lesy dalné,
ozvaly se nářky valné:
„Pán náš zhynul! — zhynul!! — zhynul!!!“ —

1836

MARINKA

Dějství druhé

Noc přešla a uplakané jitro vzešlo nad probuzenou Prahou. Já jsem ještě za tmy vstával, chystaje se k návštěvě, o jaké se mi, na rukou u stolku spícímu, po celou noc snilo. Srovnal jsem si vlasy, přičesal licousy kolem obličeje a načernil jsem vousiska nad i pod pyskama. Bylo osm hodin na Staroměstské rádnici dne 10. srpna 1833, kdy jsem, přecházeje Staroměstské náměstí, k Františku se blížil.

Za čtvrt hodiny byl jsem na Františku; deštivé oblaky přešly a jasné slunce, slibující parný den, hrálo po vlnách Vltaviných. Kolem někdejšího kláštera svaté Anežky přišel jsem brzy na místo naznačené.

Byl to malý, nízký domek v ouzké, zábradlím přepažené uličce, v kterou po malém kopečku vyšlapaná cestička vedla. Hluboká, široká strouha táhla se uličkou před tím domkem a jednotlivé prkno sloužilo, jako zdvihací most v pevný hrad, za přechod v nízká dvírka jeho. Přespříč uličky od toho domku

inslav

k jinému, jemu podobnému na protější straně byl provaz natažen a parné slunce hrálo po rozvěšeném na něm prádle, které však velmi sešlé bylo.

Několik uličníků spouštělo jednoho z druhů svých, na provaze jako závaží se houpajícího, v hlubokou strouhu pro mič, který jim opodál hrajícím do ní byl zapadl. Vtom z domku toho vystoupila polonahá ženština, jedinou sukni přes rozhrnutou košili a na hlavě plachetku proti slunci zavázanou majíc; i spatřivši, jak hlučný sbor naději její v hlubokou strouhu vpouští, hnala se po ouzké lávce, nerázným hrozíc koštětem dobyvatelům pokladu svého, kteří blízké, ne sice hromo-, ale přece bití uhlídavše, na outěk se dali, nešťastné závaží v strouhu pustivše, které ihned až po krk v strouze se pohroužilo.

Rozlícená matka naději svou, pro lepší zdar pohnojenou, jako psíka na provaze vysmejkla, a za hromosvod električnosti své jej považujíc, co Jupiter druhý blesky svými do něho mlátila, až kolem stříkající z něho bláto vyvěšené prádlo jí nečistě vybílilo. Posléze se nebohému hromosvodu přece zdařilo utrhnouti se, který ihned dosáhnuté svobody ne zle užívaje do řeky pospíchal. — Utichlé jsem se doptával po příbytku dívčiny mně píšící a maně jsem nalezl v ní matku její, která právě poblátěného bratříčka mého přes noc utvořeného ideálu vybivši, nemohla pochopiti, proč by takovýto pán, kterého pro neobyčejný oděv za cizince držela, se po té, jak se s důmyslným usmáním vyjádřila, nedochcíplé děvce doptával. Nehrubě s takovou odpovědí spokojený kráčel jsem po houpajícím se prknu v nízký domek a brzo se na lehké klepání moje u malých dveří jemné „Vstupte“ ozvalo.

Stál jsem v malém pokojíku. Na měkkém sedadle, s hlavou v ruku opřenou, seděla ona. Ano, to byla ona! — to byla Marinka! — Kdo viděl Goethovu Mignonu od Schadowa malovanou?— Tak byla Marinka, rovně tak! — a jména Marinka i Mignon hrála na neurčitých pyskách mojích, kterým bych ji z jmen těchto měl pojmenovati. Já neviděl nic kolem sebe než ji; — tak byla se mi zjevila ve snách mých, tak žila v duchu mém; tak jsem uvykl ji milovati v obraze Mignony.

Černé, prosté vlasy padaly v těžkých kadeřích kolem bledého, vyzáblého obličeje, který znak veliké krásy nesl, na bílý čistý šat, jenž nahoře až ke krku zapjat, dole až k malé lehounké

inslav

nožce dosahoval, vysokou, štíhlou jevě postavu. Černý opasek svíral outlé tělo a černá sponka přepínala krásné, vysoké bílé čelo. Nic ale nedosáhlo krásy plamenných černých, hluboko pod čelem ležících očí; ten výraz smutku a touhy žádné péro nenaznačí.

Zaražený zůstanu u dveří státi; — ona lehko pozdvihla hlavu, a smutným mě pozdravujíc usmáním, pravila: „Já vás již znám. Neviděla jsem vás sice nikdy, ale oko vaše v této chvíli všecko mi praví, cokoliv kdy ruka vaše psala.“ Dost možná, že tomu tak bylo; neb já v této chvíli nevěděl jsem, co oko mé činí, — já jsem neviděl ničeho a obyčejná smělost zcela mne opustila. Po chvíli k sobě přišedšímu pokynula mi k sezení, a já vezma nízkou stoličku, posadím se; — ó, já bych byl před ní klekl!

Teď teprva ohlídnu se po sednici. Smutně to zde vyhlíželo, a dlouho jsem nemohl bídné vůkolí s postavou, pohledem a oblekem jejím srovnati. Roztlučené okno bylo papírem zalepeno a nad rozlámaným stolkem rozestřel malý pavouček jemné sítě své po zčernalé mokré stěně. V koutě stála třinohá židlička mimo stolice bez lenochu, u polozbořených kamen jediné prázdné sedadlo. Vzadu stálo zpukřelé, bídné lůžko rozestláno a několik hliněných bílých talířů, zeleně a temně přibarvených, na malé poličce nade dveřmi bylo ostatní nářadí, naproti kterému velké, nákladné fortepiano, blíž okna postavené, mě u velikou pochybnost postavilo, zdaž dívku tuto za chudou považovati, čili dle obleku jejího posuzovati mám.

Mluvili jsme málo, ale pevně jeden na druhého hleděl; onen hudebník, — proč se vzpouzí péro mé to psáti? — onen — žebrák v Kanálské zahradě byl jí otcem, otcem dobrotivým. — Někdy bohatý, sklesl bezvinně v tak velkou chudobu; — a jsa vdovcem i domnívaje se, že by žádný jeho nemocné Marince tak věrně neposloužil, oženil se po druhé; než macecha její, s kterou jsem při vchodu mluvil, jen samých nátisků jí činila a nešťastná Marinka neměla pro potěchu svou nic, než z někdejšího bohatství pozůstalé fortepiano, a jak mně pravila, spisy mé. Po chvíli jsem seděl při ní na malé stoličce a ona mi rozhrnovala lehkým prstem vlasy s čela. My jsme se znali dávno, my jsme rozuměli jeden druhému i beze slova promluvení. Ona mi vyřkla svou dávnou touhu mě seznati, leč jen vědomí, že zítra

inslav

již dalekou cestu chci nastoupiti, a blížící se do honu konec života jejího donutil ji, ač mě a povahu mou dobře znala, ku kroku smělšímu. Ona věděla, určitě věděla čas, v kterém nevyhnutelně pojíti musí; čas ten nebyl daleko, a přece mi vyjevila, jak náramně miluje život tento, jak trudno jí v tak mladém věku tak krásnou opustiti zem.

Já nebyl v stavu ani slzy umořiti, a proto tím hůře svírala bolest prsa má. Stranou skloniv hlavu na sepjaté ruce, zůstal jsem velmi smutný ležeti; — ona vstavši blížila se zdlouhavým mdlým krokem k fortepianu, jehožto libý zvuk až posud nevychází z mysli mé. — Hrála! — ó jak smutně! jak smutně! — Hra její zdála se mi býti úvodem k některé písni; zvedna hlavu ohlídnu se po ní. Obraz nezapomenutý. Až posud vidím bílý její šat, černou sepjatý páskou; až posud mi v očích tkví outlá nožka její, řídící silnější neb jemnější zvuk stroje; až posud a vždy zřím bledý, smutný, krásný obličej tento, tyto černé kadeře, padající kolem velebného čela, přepjatého černou sponkou, a o tom smutném výrazu černého oka i v hrobě někdy sníti se mi bude. Outlé prsty sotva se dotýkaly jí spřízněného stroje, a strůny, jak by jí rozuměly, mluvily tak smutně — tak smutně — co oko její. Ona zpívala. — Mou píseň. Tato postava, líbozvuk fortepiana, krásný hlas a píseň, kterou jsem, sám nejhlouběji cítě, psal, — kdo to pochopí, zná bouři citů mých, jaká tenkráte hrozila rozbíti prsa má...

1834

inslav

JOSEF KAJETÁN TYL

ЙОЗЕФ КАЕТАН ТЫЛ

(1808—1856)

В истории развития чешского национального театра, литературы и журналистики имя Тыла занимает почетное место. Он выступал как талантливый драматург, автор рассказов и повестей из современной жизни и прошлого, как один из основателей чешского национального театра, режиссер, актер, редактор прогрессивных литературных журналов, литературный и театральный критик и переводчик.

Тыл родился в г. Кутная Гора в семье бедного портного, бывшего полкового музыканта. Он кончил гимназию в г. Градце Кралове, где его литературными занятиями руководил преподававший там известный драматург В. К. Клицпера. Некоторое время Тыл изучал философию в Пражском университете, но тяжелое материальное положение вынуднло его бросить занятия. Он становится актером бродячей труппы.

В 30-е годы Тыл — инициатор создания и редактор нескольких литературных журналов. Наиболее известным из них был журнал «Кветы» („Květy"), в котором печатались прогрессивные писатели того времени — Маха, Сабина, Рубеш, Эрбен и др. Наряду с их произведеннями в журнале печатались также переводы из сочиненнй Пушкина, Гоголя, Мицкевича, статьи о Россни. В эти же годы Тыл начинает писать свои повести, рассказы н пьесы. В 1834 г. появилось его первое значительное

inslav

произведение — пьеса «Фидловачка»* („Fidlovačka"), в которой реалистически изображен быт пражского мещанства и жестоко осмеяно его преклонение перед всем иностранным. В пьесе слепой музыкант поет песню «Где моя родина?» („Kde domov můj?"), которая была положена на музыку композитором Ф. Шкроупом и впоследствии стала национальным гимном.

В 1846—51 гг. Тыл ведал чешским репертуаром Пражского Ставовского театра (ныне имени Тыла).

Всю свою жизнь Тыл посвятил борьбе за создание чешского национального театра. В 30-е годы он становится организатором чешского любительского театра в Праге (У Каетана).

Революция 1848 г. необычайно способствовала расцвету творчества Тыла. В это время он выступает в передовой прессе, пишет свои лучшие пьесы, овеянные дыханием революции. Многие пьесы настолько горячо воспринимались зрителями, что спектакли нередко принимали характер политических демонстраций. С наступлением реакции некоторые пьесы Тыла были запрещены цензурой, а за писателем установлен полицейский надзор. В 1851 г. он был вынужден покинуть Прагу и снова стать бродячим актером. Тыл умер в глубокой нищете, затравленный преследованиями австрийского правительства. Из богатого творческого наследия Тыла особую ценность представляют его пьесы — «Кровавый суд, или Кутногорские рудокопы» („Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři", 1847) и «Ян Гус» („Jan Hus", 1848), пьесы-сказки «Волынщик из Стракониц» („Strakonický dudák", 1847), «Упрямая женщина» („Tvrdohlavá žena", 1849), «Видение Иржика» („Jiříkovo vidění", 1849) и др. Сюжетом для первой пьесы послужило восстание кутногорских рудокопов против угнетателей-феодалов в XV веке, однако по существу она была насыщена предреволюционными настроениями чешского народа, отзвуками волнений пражских рабочих 1844 г. Впервые в истории чешской литературы в пьесе Тыла рабочие становятся главными героями произведения.

Пьеса-сказка «Волынщик из Стракониц», органически связанная с чешским народным творчеством, проникнутая чувством страстного патриотизма, является одной из лучших пьес чешской драматургии. В пьесе выражен протест против бесчеловечности капиталистических порядков, нарождавшихся в то время в Чехии, против всесильной власти денег. Тыл воспевает жертвенную и чистую любовь простого человека к родной земле, к родному народу. Драматург показывает, что лишь на родине человек может быть по-настоящему счастливым и полезным своему народу.

В пьесе «Ян Гус» изображено начало революционного гуситского движения, нарисованы величественные образы Гуса и Жижки, смелых защитников прав чешского народа.

Тыл явился создателем новых жанров в чешской драматургии: исторической драмы, бытовой комедии, пьесы-сказки. Он отказался в своем творчестве от традиционных единств места, времени и действия, выдвинув принцип единства содержания. Тыл нарисовал целую галерею ярких реа-

* Фидловачка — сапожный инструмент; так же был назван и цеховой праздник сапожников.

inslav

листических народных характеров. В драматическую ткань произведения автор включает песни, помогающие ему раскрыть содержание пьесы и внутренний мир героев. Живой сочный язык этих героев переплетается с романтически-возвышенной речью сказочных персонажей.

«Без громадной, вдохновенной и самоотверженной деятельности Тыла мы не могли бы представить себе развитие чешского театра», — писал Юлиус Фучик. Лучшие пьесы Тыла до сих пор не сходят со сцен чешских театров.

В своих лучших повестях и рассказах Тыл изображает жизнь простых чешских людей — городской бедноты, крестьян, патриотически настроенной интеллигенции («Бедные люди — „Chudí lidé", 1849, «Вор» — „Zloděj", 1849, «Бедная девушка и сын богача» — „Chudé děvče a bohatý synek", 1847 и др.). В них писатель горячо выступает в защиту искренних и бескорыстных человеческих чувств, человеческого достоинства, подавляемых и унижаемых властью богатства.

Участник пражского восстания, разделявший идеалы радикального лагеря революции 1848 г., Тыл всей душой ненавидел власть имущих, боролся за национальную свободу народа. Правдиво изображая быт и нравы всех слоев чешского общества, вскрывая национальные и социальные противоречия своего времени, создавая привлекательные образы «маленьких людей», Тыл приближался к реализму. Однако его наивная вера в возможность торжества справедливости путем нравственного перевоспитания угнетателей трудящихся ограничивала его реализм, привнося налет идиллличности, сентиментальности и порождая условные, нежизненные ситуации и образы.

В статьях, посвященных вопросам литературы и театра, Тыл выдвинул ряд принципов реалистического искусства. Он считал, что содержанием искусства должна быть жизнь во всей ее сложности. Высказываясь за правдивое искусство, Тыл боролся за развитие принципиальной профессиональной критики.

KDE DOMOV MŮJ?

Kde domov můj?!
Voda hučí po lučinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadě stkví se jara květ,
Zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země —
Česká země — — domov můj!

Kde domov můj!?
Znáte v kraji bohumilém
Tiché duše v těle čilém.

inslav

Jasnou mysl, znik a zdar,
A tu sílu vzdoru zmar;
To je Čechů slavné plémě —
Mezi Čechy — — domov můj!

1834

KRVAVÝ SOUD ANEB KUTNOHORŠTÍ HAVIŘI

В этой пьесе Тыл нарисовал восстание рудокопов Кутной Горы в XV веке. Решившись на открытую борьбу с феодалами, они дружно бросают работу и покидают Кутную Гору, зная, что хозяевам нелегко сразу их заменить. Однако, не выдержав голода, они по совету одного из вожаков восстания — Опата — идут на переговоры. Поверив обещаниям хозяев, рудокопы возвращаются на работу, отдав в их руки в качестве залога своего «примерного» поведения десять товарищей; однако заложники были казнены. Концовка пьесы искусственна: король восстанавливает справедливость.

Приведенная сцена, начинающая пьесу, рисует рабочих, возмущенных бесчинством хозяев и готовых восстать против их власти. Наиболее смелым и решительным представляется молодой углекоп Вит. Старый, пользующийся всеобщим уважением Опат выступает как сторонник переговоров и «законных» действий.

Вторая сцена передает спор этих шахтерских вожаков о методах борьбы.

Jednání první

Výstup první

ŠIMON: Dař Bůh!
VŠICKNI: Dejž Bůh! (*Jinak se ale nepohnou.*)
ŠIMON: Dobrého zdraví! — Nu, copak to znamená? Zabloudil jsem někam do zakleného zámku? či je to hřbitov poctivé kavny havířské? Vymřelo Kutnohorské tovaryšstvo?
VÍT (*zprudka vstane*): Ba, je to proklatá zařezanost! Raději si dát pemrlicí všeckny zuby vytlouct nežli snášet tohle tajné hryzení — to přežvykování žluče a utrejchu.
ŠIMON: Bezpochyby počítáte, co vám dnešního lunu vypadne? dáte-li si zejtra alespoň škubánky bez perníku navařit?
HOLÝ: Ano, Šimone! máme strach, že nám dnes opět něco utrhnou, aby si vlastní měšec nacpali; máme strach, že bude ta zejtřejší boží neděle den hněvu a skřípení zubů —

inslav

ŠIMON: A dětského pláče a ženského bědování! Ano, tím jsi ty požehnaný mezi tovaryšstvem.

HOLÝ: U všech čertů, je ti moje bída k smíchu?

ŠIMON (*chopí ho prudce za ruku*): Tak jako moje! K smíchu, ano, že bych si vlastní srdce vytrhnul a těm hladovým jestřábům hodil, aby se ním udávili. Ale dobře se nám děje! Proč je necháváme tak hospodařit. My si mohli dávno pomoci, kdybychme nebyli baby v perkytlích.

(*Zvonění na havíře utichne.*)

VÍT (*jenž vzadu popocházel, přijde kupředu*): Dej sem ruku! Tys to řekl, co mi tuhle pod levým žebrem již dávno burácí. Ani katův holomek nevláčel by se pokojně s prázdným břichem, kdyby viděl, že mu jiní z plné mísy kradou. Či chcete snad konečně hladem jazyk vyplazovat a zlodějům ruce olizovati, když vstanou od kvasu, který si za vaše mozoly vystrojili? I to ať jsem raději kusem vypálené škváry, kterouž může každý odkopnout.

HOLÝ: To my také povídáme a víme, co bychme chtěli; ale mezi vůlí a skutkem je velká propast a do té —

ŠIMON: Do té bysi mohl slítnouti a krk zlomiti, ano! Ale mně by to bylo milejší, nežli tyhle ustavičné strachy o kus bídného chleba a to zlořečené šizení královských důchodů.

(*Venku se počne nábožný zpěv havířů.*)

OPAT (*jenž byl až dosud vpopředu tiše seděl, nyní se vzchopí*): Ticho, tovaryši a přátelé! Šichta se počíná! Obraťte mysl od pozemských věcí k nebeským!

OSTATNÍ (*smeknou, a vroucně k nebi hledíce, vpadnou do zpěvu*):

Hospodine na vysosti,
na sluhy své pohlédej,
sešli světlo do temnosti,
ruce naše požehnej!

(*Po zpěvu odcházejí všickni vážně i s Opatem.*)

VÍT (*zdrží Simona*): Nepouštěj z mysli, co jsi povídal; já to budu také v mozku převářet. Po druhé šichtě na mne počkej; něco promluvíme.

ŠIMON: Jen abychme mluvením nezabili, co chce být živo jednáním. (*Odejde.*)

inslav

VÍT: Kdyby bylo možná Opatem zatřásti! Kdyby on se k tomu postavil a slovo řekl, byl by plamen na střeše a posvítil by pánům na počty, že by oslepli.

Jednání druhé

Výstup šestý

Opat. Předešlí.

OPAT (*kvapně vystoupí*): Dař Bůh, přátelé!
VŠICKNI: Dejž Bůh, otče Opate!
VÍT: Dejž Bůh! Teď je všecko dobře; s tebou poroste naše důvěra!
OPAT: Na mne se nespolehejte! S hrůzou jsem doslechl, čeho jste se odvážili!
ŠIMON: Skoč oko nebo zub; my to měli už dávno udělat.
VÍT: Jedenkrát to musí prasknout!
OPAT: Prasknout? A tím se má vrátit přirozený pořádek? Tím chcete učiniti opravu? Ale já vám povídám, že sami sobě škodu strojíte. Bídně se máte, to je pravda; ale tímto sbíháním dovršíte hněv svých nepřátel.
VÍT: Však my ho zkrotíme. My se nesletěli jako vrabci, aby nás pouhé plácnutí ruky zase zaplašilo.
OPAT: Tedy myslíte na skutečný spor? Myslíte na svržení zákonů a na prolití krve?
VÍT: Pro nás tu nejsou zákony, protože s námi podle nich nenakládají; a poteče-li krev, bude to zkažená — ze vředů našich hor.
OPAT: Divý člověče! Pamatuj, že je veliký rozdíl mezi tím, jak spravedlivý člověk práva svého hájí, a mezi tím, jak se běsný pes ze řetězu utrhne! Pamatujte, tovaryši, že nám ještě vypálení Malína, pohubení sousedního místa vyčítají, které si naši otcové, ač ne bez příčiny, na svědomí uvalili. Nevázanou chasou nás nazývají; jaký ortel pronesou nad námi, budete-li v lůně vlastního města zuřiti a jako psa matky rozdírati, ježto vás laskavě kojily? Domácí nesváry? Strašlivé slovo a duše má se děsí jeho obsahu.

inslav

VÍT: Kdož mluví o domácích nesvárech? My hledáme jenom spravedlnost a tu nám musí Vlaský dvůr zjednati; co je nám do města.

OPAT: Tedy očité vzbouření proti mužům, ježto nám ustanovil milostivý král? vzpouzení proti náměstníkům jeho posvěcené osoby? To je stejná tíže na váhu vašeho provinění. My se jich nesmíme dotknouti!

VÍT: Ale raději zcepenět!

LANA: Tobě je snadno mluvit; ty nevíš, co je bída.

OPAT: Příteli, ty mluvíš těžké slovo! Myslíš ty, že leží všechen cit jenom v hladovém žaludku? To bych tě mohl arci hned rozveseliti, kdybysi mohl vesel býti při žalosti tovaryšů. Tu máš můj měšec; vypuď ze sebe všechnu outrpnost a lidské politování — tu máš, je ti přáno!

LANA: Opate, — neubližuj mi!

VÍT: Toť aby si raději ruku uťal, kdo by se tuto chvíli jednoho groše dotknul! Zde není bída jedinou příčinou. Já nemám ženu a děti jako tuhleti; ale mě hryže to *hanebné otročení nelidským nátiskům*!

OPAT: A kdož je na světě, jehož by žádné péče, žádné utrpení nehryzly? Proto se nesmí hned z vykázané koleje vysmeknouti. Neodvažujme se ničeho, dokud nezkusíme, co se nechá zkusiti; snášejme, jak se co nechá snášeti, — a žádejme pokojně, aby nás páni jednou vyslechli. Bude-li ale tato prosba nadarmo, tedy vypravme posly ku královské milosti. Vladislav je pán srdce dobrého, i miluje Horu a bohdá že nás vysluší. Jenom se nesbíhejme po městě a neděsme nevinné občany!

1847

STRAKONICKÝ DUDÁK

Герой пьесы — молодой талантливый музыкант Шванда — отправляется в поисках богатства и славы бродить по свету. Мать Шванды, лесная фея Россава, и ее подруги наделяют волынку Шванды чудесной силой, символизирующей материнскую любовь и любовь к родной земле. Самоотверженность невесты Шванды Доротки и Россавы, преданная дружба народного музыканта-патриота Канифоля помогают Шванде пройти через тяжелые испытания и вновь обрести родину и счастье.

inslav

В приведенной сцене солдат Сабелька, развращенный городской «цивилизацией», прославляет власть денег. Шванда решается идти по свету в поисках богатства. Канифоль тщетно пытается отговорить его от этой затеи.

Jednání první

Výstup druhý

KALAFUNA: Ale copak je to, mládenci? Střelil do vás někdo jako do vrabců na hrachovišti, že máme na holé stěny zevlovat? Hezky do kola, sousedé! Zahrajeme vám něco od podlahy.

ŠAVLIČKA: Buď rád, skřípale, že tě nikdo neposlouchá!

KALAFUNA: Skřípale? Hehe, kdybych tě neznal, Šavličko, myslil bych, že mi chceš dělat žluč. Já jsem starý primarius!

ŠAVLIČKA: Ty? To si přijď k nám primariusa poslechnout, když přijede takhle ňáký z Babylonu — nebo odkuďsi. Ten hraje, až potí krev, a poslouchači dostávají křeče.

KODĚRA: Ale jdi!

KALAFUNA: Hehe! — To by byla pěkná muzika!

ŠAVLIČKA: To *je* taky muzika. Právě v tom vězí teď všechno umění. Teď se nesmí hrát (*napodobí housle*) tidli diti, tidlity — to by nabral; nynčko to musí chodit: šrum, šrum! to padají tolary!

KODĚRA: Tolary?

ŠAVLIČKA: Teď se vydělávají muzikou zlořečené peníze.

KALAFUNA: Že se vydělávají?

ŠAVLIČKA: Mangari — jako smetí! Takový muzikant, když to umí podle nejnovější noty, smete za večer tisíce.

ŠVANDA (*sebou trhne*): Tisíce?

KALAFUNA: To je čtverák!

ŠAVLIČKA: Hotové tisíce; našinec to ví, mívá při tom také pšouresy.

KODĚRA: Ale jdi!

ŠAVLIČKA: Nosí vlaské bubny, pulpity a tak dále — člověk je na vojně a má fiňáry. Tisíce, povídám, za večer!

ŠVANDA: A nač takový člověk hraje?

ŠAVLIČKA: Nač? Nu — na ledaco —

inslav

ŠVANDA: Také na dudy?
ŠAVLIČKA: Na du — hahaha! To by ještě scházelo!
KODĚRA: Pročpak? Vždyť je to kus poctivé muziky. Dudy pocházejí z časů —
ŠAVLIČKA: Krále Holce, když byla za groš celá ovce.
KODĚRA: Aťsi! Však ono by neškodilo, kdyby nám bylo z těch časů ještě více zbylo než dudy. Ale ten český svět se celý převrátil, tancuje po hlavě — i tuhle náš lid začíná už jaksi po jiné muzice uši nastrkovat; ale dokud jsem já rychtářem, musí držet na dudy. A co se týče města, myslím, že by si tam mohli také jednou uši dudami namastit.
ŠAVLIČKA: Inu, z jedné strany máte skoro pravdu. Nynější svět žádá rohaté věci — dávaly se koncerty už na drnkačku, proč by to nešlo taky jednou s dudami? Mangari! Ale umět by musel člověk něco — rozumíme?
KALAFUNA: I což je o to! Švanda to zná z fundamentu; dnes to arci není pozorovat, protože mu tlačí láska vosrdí — hehe! a z toho pochází krátký dech.
ŠAVLIČKA: Ach, proto věší chocholku jako zmoklý kapoun — haha! Inu arci, láska je hladový strávník, ale vidíš, milý dudáku, kdybysi něco uměl, mohl bysi do světa a vydělat peníze — potom bys neměl s láskou žádné hořkosti; nebo peníze dokážou, nač si jen pomyslíš! Našinec to musí vědět, vždyť je na vojně.

PÍSEŇ

Peníze jsou páni světa,
dukát, to je pravý rek,
a co někdy stotka umí,
to by člověk sotva řek.
Třebas ty byl motovidlo,
že bys oslí uši nes:
přece najdeš chvály sídlo —
jenže to jde do peněz.

Chce-li košťál mladou kůstku,
kancelářský správců hlas,
chce-li forman čerstva jezdit,
musí míti kolomaz.

inslav

Žoldy! volá muž i žínka,
s prázdnou rukou žádný ples;
i ta boží křepelinka
tluče pořád: Pět peněz!

Železnice, parostroje,
krámy, domy, fabriky —
to teď roste jako z vody
podle nové praktiky.
Měj si ale rozum v pachtu,
důl i hory světa zlez:
přec nenajdeš šťastnou šachtu —
jsi-li chudák bez peněz.

Chceš-li zkusit ženskou věrnost,
chceš-li zkoumat přítele,
chceš-li změřit panskou lásku
nebo světské fortele:
všecko najdeš, není veta,
víru na hřeb nepověs;
jenom vejdi na trh světa —
ale nechoď bez peněz.

Peníze jsou hever světa,
silou svojí pravý div;
bez nich darmo cíle hledáš,
třeba jsi byl sto let živ.
Jen až půjdem ku armádě
s tichým srdcem do nebes —
ano, jen v tom jednom pádě
dojdem cíle bez peněz!

(*Jde zas do hospody, a ostatní za ním — jen Kalafuna a Švanda zůstanou vpředu.*)

KALAFUNA: Jářku, Švando — budeme zde čumět za minet? Pojď, snad cvrkne někdo desetníkem.

ŠVANDA: Jdi jen sám, já nemám dechu — mně je tuhle (*sahá si na srdce*), jako by mi chtěly všechny měchy prasknout. Neslyšel jsi, že má jiný za muziku tisíce?

inslav

KALAFUNA: Snad je také potřebuje. Přej mu je!
ŠVANDA: Já je potřebuju taky!
KALAFUNA: I jdi, my máme dost — hehe! když nedělá žaludek bandurskou.
ŠVANDA: Já chci ale víc! Půl tolaru mi nestačí, za to nemůžu holce ani šněrovačku koupit —
KALAFUNA: A ty bys jí koupil také rád čepeček — ó však my víme. Ale bez šněrovačky se můžete mít také rádi.
ŠVANDA: Můžete! Co mi to pomůže, když mi dá šenkýř na stůl plný džbánek a já se ho nesmím dotknout? Dorotčin tatík mi hrozí, že mi sraží zadek jako zajíci.
KALAFUNA: To jsou tak hloupé řeči tatíků, nemůže-li hoch hned plný pytlík na stůl hodit. Já budu snad také takový mumloun, až mi ty moje kuřata dorostou.
ŠVANDA: Ale já vím, co udělám! Tady do toho kozlího měchejře už ani nefouknu, ale půjdu do světa a přinesu si tisíce.
KALAFUNA: He! he! — kdyby to byly hniličky, proč ne! to bys jich mohl někde plné kapsy nasbírat.
ŠVANDA: O, jen se posmívej, já půjdu přece! Bez Dorotky tu nemám beztoho žádné radosti. Já měl už dávno sírky táhnout, nynčko to nahlížím. Když vydělá jiný peníze s drnkačkou, seženu já taky něco dudama — a kdyby to byl jenom jeden tisíc.
KALAFUNA: Ty zpropadené tisíce ti zmatou ještě kolečka. Podívej se na mne; já neměl ani zlámanou grešli — hehe, když jsem si mou sedmou svátost namlouval — máma chtěla vzít na mne koště — a já dostal holku přec. Jenom trpělivě.
ŠVANDA: Já nemám takovou račí krev!
KALAFUNA: To je chyba.
ŠVANDA: A těm našim chlupáčům dudy už také jaksi nevoní. Pryč tedy — hejdy do světa — tam jsou tolary! Dělej ty jen zatím sám tady muziku a louskej bídu; já budu shánět tisíce. (*Odejde.*)
KALAFUNA (*za ním*): Počkej alespoň do pozejtřka — zejtra máme ještě sousedskou!...

1847

inslav

ZLODĚJ

Kdo v teplém hnízdě sedíš, neodsuzuj člověka jedním rázem, když z nouze něco hloupého, něco nedovoleného vyvede. Kdož ví, co bys ty vyvedl, kdyby ti hladem žaludek kručel a kdyby ti mráz kosti lámal. Sedíš-li na hedvábné pohovce, uprostřed všeliké hojnosti, tuť je to věru pouhá hříčka, když všemu zlému pokušení odoláš; ale na holé slámě, při bídě a hladu je velmi těžko zůstat poctivým člověkem. To je taková pravda, že jí nebude upírat, koho Bůh jen dost málo zdravými smysly obdařil; a přece u veřejném životě a řízení skoro nic neplatí. Kdyby něco platila, musela by také chudoba pocty a odměny docházet, ne jenom bohatství, to jest, pro ctnostnou chudobu bylo by ustanoveno i řádné uznání, ale ne jenom pokuta pro hříšnou, jako teď.

Z následujícího pravdivého příběhu poznáš, milý čtenáři, z jakých nepatrných příčin mnohdy zločin pochází.

*

Pavel Novotný narodil se v krajském městě. Otec jeho byl zednický tovaryš a živil ženu i své čtyry děti arci nuzně, ale poctivě. Žena mu přitom pilně pomahala, neboť byla dobrá pradlena. Dva starší synové dali se také na zednické řemeslo, děvče šlo dost časně do služby, a takž zůstal doma Pavel samojediný. Matka měla svého nejmladšího velmi ráda, ale nezkazila ho daremným mazlením nebo nadržováním, jakož to bohužel ženy často i v nižších třídách dělají.

Když chlapec dorostl, že měl jít na nějaké řemeslo, neokazoval žádné chuti k zednictví. To se mu nelíbilo, že měl pořád jen ve vejšce, na lešení stát, na slunci, na větru se hmoždit, a přitom věčným tovaryšem, otrokem cizí vůle být; zdálo se mu to rovněž tak nebezpečné jako obtížné, a protož by byl rád někam jinam vklouzl.

„Ty starý!“ řekla jednou žena k Novotnému. „Z Pavla bude špatný zedník, on nemá k tomu kusa srdce. Musíme hledět, abychme ho někam jinám strčili. On může být z něho řádný řemeslník, může být jednou mistrem, svým pánem, a kdo ví, nebude-li nám to na stará kolena prospěšné!“

„Z toho kluka byl by nejlépe krejčí,“ řekl na to muž; „on je už takový filigrán pro jehlu. Ale kdo mi ho vezme do učení zadar-

inslav

mo? Já nemám mezi krejčími žádného známého. Chce-li bejt kluk ale ševcem a ta ševcovina je vskutku dobré, vejnosné řemeslo — no, to bych věděl prostředek. Ale kluk by musel do Prahy."

„Do Prahy?" opakovala matka, i bylo na ní vidět, že to tuze ráda neslyší.

„No, no, jen se nelekej!" řekl Novotný. „Věčně nemůžeš mít svého mazánka na krku, a u mého bývalého kamaráda Loukoty bude se míti kluk dozajista dobře. Když jsem byl minulou zimu v Praze, dal mi sám tak něco na srozuměnou, kdybych prej měl nějakého prince, že by se chtěl naučit řádných pár bot udělat, abych prej mu ho dal, že uvidím, co z něho vyvede — nota bene, ze starého přátelství všecko zadarmo."

Matka nemohla nic namítat, a Novotný psal ihned mistru Loukotovi, s kterým byl za svého času na vandru, jestli by nemohl vzít jeho Pavla do učení. Ten odepsal, jen aby hoch přišel, a tuť neměla pečlivá matka nic důležitějšího na práci, než aby Pavlovi pár kousků prádla spravila a nějakou drchničku na postel stloukla. Ze své zimní sukně dala mu ještě honem kalhoty a kazajku udělat. Pak mu vyjednala za půl zlatého místo na voze u člověka, kterýž každý týden do Prahy jezdil a všelijaké zboží dovážel i přivážel; ano ten člověk byl tak ochotný, že se uvolil chlapci, v Praze docela neznámému, cestu k jeho nastávajícímu mistrovi okázat.

Pavlovi bylo už skoro jedenáct let, když jel do Prahy. I měl hlavu plnou myšlének, neboť slýchal odjakživa o tom městě přepodivné věci povídat, a byl nyní velmi žádostiv ty věci seznat, a poněvadž přijel Oujezdskou branou, mistr Loukota ale vlastně v Karlíně, v tom velikém předměstí u Prahy zůstával, tedy musel hned naprvníkráte přes celé město putovat, a to měl arci mnoho co koukat a leckde se zastavovat.

Vozka z krajského města nemohl s ním jít až na místo, poněvadž měl mnoho jiného a pro sebe důležitějšího, vejnosnějšího běhání; ale popsal mu nejrovnější cestu až k Pořické bráně, a potom prej mu již každý poví, kde mistr Loukota přebývá.

Po mnohém poptávání a okazování kousku papíru, na němžto měl příbytek mistrův napsaný, dostal se šťastně až k domu, kde Loukota zůstával. Na zdi visela tabule s malovanou botou a německým nápisem, že je tam ten a ten „šumachrmajstr".

Loukota bydlel přes dvůr v druhém patře. Pavel se rábal

inslav

nahoru, a když se pak nahoře několikráte otočil jako holub na báni, nevěda hned kudy kam, zahlídl konečně na jedněch dveřích cedulku, i seslabikoval na ní jmeno „Loukota“ — a zaklepal potom, jak mu bylo už doma řečeno. Za dveřmi se ozval hrubý mužský hlas, kterýž zvolal: ‚Herein!‘ — (byl také jeden z těch, kteří se to nemohou živou mocí naučit, aby jako Čechové po česku: ‚Vejděte‘ volali) — a hned nato začalo malé dítě plakat. Pavel otevřel jaksi ostýchavě, vykoktal, kdo je a proč přichází, a odevzdal ještě několik řádků od otce.

„Ach, vítáme se, vítáme, pane študente!“ řekl mistr, kterýž se zdál být velmi dobrosrdečný, a odložil dílo. — „No, pojď jen dál ode dveří. Tam nebude tvé místo.“ — Potom se obrátil k své manželce, kteráž seděla v koutě u postele a dítě chovala. „Tu se podívej, Baruško! To bude tvůj pomocník. Podívej se, nemáš-li v almárce kousek másla, abys mu ho na krajíc chleba namázla. On bude mít po cestě vytřesený žaludek.“

Laskavá slova mistrova se chlapci líbila, ale pohled na paní mistrovu jeho radost jaksi ochladil. Ona byla sice ještě mladá i dost hezká žínka, ale v tvářích neměla nic laskavého. I bručela nyní cosi, ale jen tak polohlasitě, o daremném žroutu, položila dítě mužovi do rukou a chtěla jít ven. Dřív si ale ještě Pavla lépe prohlídla; poněvadž shledala, že je už hezký vejrostek, potěšila se, že jí bude moct vodu nosit a dříví štípat, a tím se jaksi uspokojila. Nato šla do kuchyně a za chvíli přinesla krajíček chleba, na němžto se něco lesklo, co mělo jako máslo vypadat.

Podle toho poznal Pavel arci hned, že není doma, a poněvadž byl po cestě opravdu při apetitu, tedy ten krajíček brzy pochoval. Potom byl ihned do nového stavu a hospodářství uveden. Především mu ale vysvětlovala paní mistrová, co bude mít pro ni na práci, z čehož vysvítalo, že byl její děvečkou a chůvou. Chlapci to nechtělo na počátku jaksi do hlavy; když se pak ale s jinými učedníky seznámil, tu viděl, že se má ještě mnohem lépe nežli jiní; neboť to byli větším dílem jen mistrovi poslíčkové, běhouni a tahouni; ale Pavla přidržoval mistr také pilně k řemeslu. I s mistrovou byl chlapec později spokojen. Ona byla sice vždycky přísná a nelitovala nějakého pohlavku, když nebyl Pavel o pěti hodinách již z postele a na nohou, když nešel hned pro čerstvou vodu a když nerozdělal brzy oheň, aby se mohla cikorie uvařit; zato mu dávala ale dost jíst a nekrájela mu tuze tenké krajíčky.—

inslav

Takto strávil asi dvě leta v učení. I byl veselý pacholík, obratný při jídle a při práci. Mistr Loukota byl s ním docela spokojen, a také to dvakráte jeho rodičům oznámil.

Jednoho dne ráno při snídani počítal mistr s mistrovou peníze, kteréž měli druhého dne odvést za nájem. I shledali, že se jim pět zlatých nedostávalo, ačkoli to nemohla mistrová pochopit, jak se ve svých počtech tak zmejlila, že myslila, že mají všecko pohromadě.To ji velice dopalovalo; mistrovi to bylo také nemilé.

„Víš-li co, Baruško?" řekl posléz. „Já pošlu své hodinky na študie (jak se v Praze žertem říká; vlastně to ale znamená tolik, že je chtěl poslat do veřejné zastavárny). Pět zlatých na ně dostanu."

Ale to se mistrové nelíbilo; ona se zařekla kdy co do zastavárny poslat, protože se jí tam jednou pěkný angorový šátek přeležel. „To nechci," řekla. „Snad najdeme ještě jiné pomoci. A pozejtří je neděle; kdybychom šli někam do zahrady a někdo by na tobě pozoroval, že nemáš hodinky — kdovíco by si pomyslil."

„Nu, tedy dojdu k domácímu pánu," odpověděl mistr, „a řeknu mu, aby měl do pondělka strpení. Zatím si přijde tuhle podhořanský rychtář pro boty."

„Ne, ne, to také nejde," řekla mistrová. „Domácímu nedávej dobrého slova. On mluvil ondyno s naší sousedkou a zdržoval se nad tím, že mám zas nový klobouk a tu novou šálu, jako by měl našinec jenom v pytli chodit. On by ti dal třeba nějakou špičku. Ne, ne, to nejde. On je hrozně neotesaný."

„Hm," řekl zas mistr a pošupoval svou čepíčku s ucha na ucho — „to je šlakovitá historie. Jak si pomoct! Arci — kdybych mohl dnes podhořanskému boty odvést, bylo by po všem; on platí hned hotovými. Od něho dostanu půl osma zlatého. Ale on nepřijde až v neděli."

„Víš-li co?" řekla mistrová s vyjasněnou tváří. „Boty jsou hotovy; pošleme je rychtáři, a do večera máme peníze. Pavlík si může udělat procházku a donést boty na místo."

Loukota se podíval na Pavla, kterýž právě ty mnohdy jmenované boty ještě cídil, aby se jak náleží leskly, a řekl po malém rozmyšlení: „To nejde; ono je to pro něj tuze daleko. Skoro tři hodiny cesty. Mohlo by se mu něco přihodit."

„E, copak by se mu přihodilo," řekla mistrová, kteráž bývala v tom ohledu tvrdohlavá. „Nebuď bláhový! Hoch je silný a zdravý. Jen ho nech jít. Ale honem; jiné pomoci beztoho není."

inslav

Pavlovi se to ponavržení také líbilo; on dostal chuť se jedenkráte proběhnout, a poněvadž právě slunce svítilo, tedy ho to tím více vábilo. I nabízel se tedy sám, že půjde, a když se pak ještě jednou mistrová ozvala, poddal se Loukota a řekl, aby šel. A za malé půlhodinky nato jechal vskutku Pavel z domu a nesl na rameně špagátem svázané, lesknoucí se boty. Mistrová mu strčila do kapsy dva krajíce s máslem a mistr mu dal dva groše na nějaké ovoce.

Pavel byl se vším až nadmíru spokojen, i myslil, že je až nazbyt jídlem zaopatřen; za ty dva groše chtěl si tedy zvláštní béne udělat. Pyšně vyšlapoval si prostřed lidnatého Karlína a hleděl hrdě, když potkal kamaráda učedníka, který se vlekl s nůší kamenného uhlí.

I šel takto asi hodinu a nešetřil svých nohou. Tu se v něm ale počal žaludek ozývat: čerstvé povětří, rychlá chůze ho probudily; chlapec byl ale povážlivý a upokojil se myšlénkou, že je k jídlu ještě tuze časně. I šel zas hodný kus dále, ale tu ho začal hlad již tak nelitostně upomínat, že vytáhl své krajíce a jedním toho zlého hosta utišil.

Mezitím vystoupilo slunce již hezky vysoko, a letní parno doléhalo na Pavla tak velice, že se mu pot s čela valil; přitom dostal také náramnou žízeň, poněvadž se ani po své suché snídani nenapil. I ohlížel se dychtivě, kde by se mohl napít, an přišel k hospodě, kteráž stála zrovna vedle silnice. Před hospodou byla studně. Radostně k ní přistoupil, chtěje si okovem trochu vody vytáhnout; ale okov byl na řetízku přivázaný — bezpochyby proto, aby nemohl každý vodu nabírat, a takž zůstal milý Pavel bez ochlazení. Před stavením nebylo živé duše vidět, kterouž by byl o napití poprosil, a do hospody vejít, k tomu neměl smělosti, poněvadž jaktěživ v takových místech nebýval. I posadil se do stínu, pod strom naproti hospodě, aby si alespoň trochu odpočinul, a pak si myslil, že snad přece někdo vyjde, kterého by mohl požádat, aby mu dal trochu vody.

Na hospodě visela tabule s nápisem: ‚Zde je dobře vyleželé pivo k dostání‘ — i byla na ní plná sklenice vymalovaná. Pavel hleděl s vyprahlým jícnem na to malování, jako židé po zaslíbené zemi, i myslil si, jak by asi okřál, kdyby měl sklenici piva. Konečně mu to nedalo pokoje, i sebral se, dodal si zmužilosti a vešel do šenkovny. Chtěl prosit o trochu vody; ale vida, že sedí

inslav

u stolu několik mužů, kteří mají džbánky s pivem před sebou, zastyděl se jaksi, a věda, že má dva groše v kapse, řekl, aby mu dali sklenici piva. Vlídná hospodská mu ji také hned přinesla i řekla, aby se posadil. On to učinil — a napil se potom s takovou chutí, že byla sklenice hned dopolo prázdná. I oddechl si z hlubokosti a cítil ve všech žilách občerstvení. Posilnil se, ale přitom musel také svůj dvougroš vystrčit. Hospodská mu dala dvoukrejcar nazpátek; on se sebral a vyšel zase na silnici.

Několik kroků šlo to pomalu, protože se mu bylo pivo jaksi do nohou vrazilo; potom se v něm ale rozehřálo a nohy začaly pod ním jen tancovat. I byl veselé mysli, a ze samé radosti, že mu cesta tak dobře ubíhala, vytáhl druhý krajíc a měl ho za několik minut v žaludku. „E copak!“ řekl sám k sobě. „Teď musím být už co nevidět u rychtáře, a ten mě nenechá dozajista tak zprázdna odejít!“ A v této sladké naději daroval i svůj dvoukrejcar slepému mrzákovi, kteréhož vedlo malé dítě žebrotou.

Zatím přicházelo však poledne, slunce pálilo, a nežli se dostal Pavel do vsi, vykouřilo se mu již zase pivo z nohou i z hlavy, a žízeň ho trápila poznovu. Celý uhřatý dorazil k rychtářovi. Ten se divil, že mu Loukota takový kus cesty dílo posílá, byl ale rád, že si nemusel v neděli sám do města pro boty; také je hned obul, zprůboval, zaplatil a šel zase po své práci v hospodářství.

Pavel zaobalil peníze, totiž devět dvacetníků, do papíru a strčil je do kapsy. Přitom mu však napadl ten kus cesty, kterouž měl před sebou, takže z toho jakési strachy dostával a jaksi bojácně se chvilku po sednici ohlížel. Rychtářka pozorovala na něm, že mu leží něco na srdci, a řekla: „Ušel jste se asi, chudáčku, není-li pravda? Budete mít žízeň? Počkejte, sedněte si, já vám dám trochu mléka.“ Pavel se nenechal dvakráte pobízet, ale uvelebil se honem ke kamnům, a selka mu přinesla hrneček mlíka. On je chutě vypil, poděkoval se, a vydal se zas na cestu.

Tenkráte šel zvolna; bylo horko k nevydržení, a silnice jako šňůra, prázdná, ani stromu, ani keříčku po stranách. Konečně, za druhou vsí, stály sem tam stromy, košaté jeřáby. I sedl si pod jeden na trávník a zemdlený usnul.

Když se zase probudil, dostal hrozné leknutí. Zdáloť se mu, že stojí slunce už tuze nízko; že tedy kdoví kolik hodin prospal, a poněvadž ho zas také hlad upomínal, neměl žádné pochybnosti, že je už tuze pozdě. I sebral se tedy a chtěje promeškaný čas

inslav

vynahradit, začal vykračovat, co mu jen nohy stačily. Brzo se potil, že mu celé potůčky přes čelo a tváře běžely; ale on na to nedbal, neboť se bál, že mistra rozhněvá a zvláště mistrovou, která na peníze už jako na spasení čekala.

Jako uštvaný zajíc přiběhl Pavel k hospodě, kde se byl ráno na sklenici piva zastavil. Celý umdlený sedl si zase na to samé místo, kde byl ráno seděl; chtěl si jenom několik minut odpočinout; ale sotva se usadil, tu mu bylo, jako by měl nohy po tom běhu přetřískané, a když chtěl vstát, tedy cítil, že pod ním klesaly. To pocházelo všecko odtud, že byl takové chůzi nezvyklý. I zůstal tedy sedět, a seděl, ačkoli měl strachy, co doma řeknou; seděl, přemejšlel, až si povšimnul, že se kloní slunce k západu. Tu ho napadla bázeň, že domů nedojde, a tím se mu pomátly všechny další myšlénky. Najednou mu napadlo, že by si mohl dát něco jíst a pít, aby se posilnil a domů došel, a že by to mohl z peněz zaplatit, kteréž má u sebe, že nebude snad tak zle. Ale hned na to vzpomněl si zas také, že by to byl hřích, že by to byla krádež, poněvadž by těch několik grošů mistrovi nijak vynahradit nemohl. Aby tedy všemu pokušení ušel, vzchopil se honem a vlekl se co možná nejrychleji dále.

Ale plačky dovlekl se ledva do půl cesty, a již se počalo smrákat. Hlad a žízeň ho trápily, že to nemohl již snest, a přehlušovaly všeliký hlas napomínajícího svědomí. Tu dorazil zase na hospodu, a nevěda ani co dělá, vešel do šenkovny, a zrovna ke stolu, kde hosté večeřeli.

„Dejte mi také něco takového," řekl k hospodskému a ukázal přitom na talíř, z něhož silný forman jedl.

„Máš peníze?" ptal se hospodský malého hosta.

„Mám," řekl Pavel a měl za chvíli plný talíř i sklenici piva před sebou. On nevěděl, jak a co se s ním děje, ale jedl a pil jako pomatený, až byl nasycen. Potom přicházelo teprva předložení. Bázlivě ptal se, co je dlužen? Dělalo to půl zlatého. I vytáhl mistrovy dvacetníky a dal jeden hospodskému. Ten mu dodal a chlapec strčil třesoucí se rukou peníze do kapsy. Potom šel dále.

Nynčko necítil žádného ztrmácení; tělesní slabost nebyla už tak veliká, aby byla vejčitky svědomí přehlušila. Neboť Pavel byl jinak dobrý, řádný chlapec — a poznával nyní vinu svou. I běžel chvíli jako střelený; ale když se přibližoval ku Praze, krátil se jeho krok, a najednou se zastavil. Vědomí zlého skutku

inslav

padlo mu jako skála na srdce; i začal hořce plakat a nevěděl, jak vstoupit před mistra a před mistrovou. Jmenovitě mu naháněla přísnost této poslední přeukrutný strach. I loudal se až k domovu, ale když přišel ke vratům, neměl tolik zmužilosti, aby tam byl vešel. Srdce jeho bylo sevřeno nevýslovnou ouzkostí, i kradl se podle stavení zase dál a zase nazpátek; konečně si ale sedl za rohem na kámen a začal hlasitě plakat.

Bylo již hodně tma a sotva na několik kroků co rozeznat. Lucerny na domech hořely velmi pořídku.

Tu šel okolo Pavla trochu větší vejrostek, zastavil se u něho a chvílku ho poslouchal. — „No, co pak brečís na ulici?" řekl potom. „Totě hůř nežli stará baba. Bezpochyby jsi dokázal něco hloupého? No, jen tu seď a čekej, až přijde policajt a strčí tě do díry."

Slova *policajt* a *do díry* pomohly Pavlovi zase na nohy. On se jich ulekl, že by byl hned někam do lesů zaběhl, jen aby se mu nic nestalo. I obrátil se tedy a chtěl domů; ale když přikročil ke vratům, tu mu sklesly nohy, že nemohl dále. Třásl se na celém těle a viděl, jak nahoře už mistr s potěhem stojí, a slyšel, jak mu mistrová domlouvá, aby ho utloukl. Tu k němu přistoupil onen vejrostek a začal na něj mluvit, aby prej mu pověděl, co se mu přihodilo; jestli něco dokázal, že mu dá dobrou radu, jen aby prej mluvil.

Pavel si ho začal trochu bedlivěji prohlížet a shledal, že vypadá jako mladý pocestný tovaryš, a poněvadž vlídně rozprávěl, dodal si konečně srdce a pověděl mu po dlouhém okolkování, co se mu bylo stalo.

Neznámý tovaryš ho pozorně poslouchal, a řekl potom: „Ah tak! Takové historie znám. Teď nemůžeš domů, kamaráde, to bys nabral! Mistr by tě nejdříve sprášil, že by v tobě zdravé kosti nezůstalo; potom tě dá zavřít. To dostaneš ještě jednou mrskanec, až z tebe krev poteče, a potom tě dají na šup."

„Ale Ježíš Maria!" zvolal Pavel ve smrtelné ouzkosti. „Copak si mám počít? Copak jsem měl hladem a žízní pojít? To musím tedy zrovna do vody skočit."

„To bys tomu dal! To bysi byl hodný osel!" smál se tovaryš. „Jsi zdejší?"

„Nejsem," řekl Pavel s usedavým pláčem.

„Dobrá," odpověděl druhý — „tedy ti něco povím. Pojď se

inslav

mnou; já nemám sice také ještě žádného místa, kde bych zůstal přes noc; ale však my ještě něco nalezneme a dobře se vyspíme. Ráno se vydáš na cestu k rodičům, povíš jim co se ti stalo, oni mistrovi těch pár grošů nahradějí — a všecko bude v pořádku."

Ustrašenému Pavlovi zdálo se to navržení velmi dobré, i umínil si, že tak učiní, aby ušel vejprasku a hanebnému zavření.

Vejrostek ho zavedl nato do hospody, o které Pavel jaktěživ nic nevěděl; namluvil mu, že je to dobré, jisté a pohodlné místo a že se tam mohou zdržet, nežli bude čas, aby šli spat.

Byla to veliká sednice a plna kouře, takže v ní říkaje ani hořící svíčky pozorovati nebylo; prodávali tam pivo i kořalku, potom jitrnice, brambory a paznehty. Hosté vypadali trochu podezřele; byli jaksi špinaví a otrhaní a dělali veliký hluk.

Pavel se té společnosti na začátku ulekl; ale když mu vejrostek pořád domlouval, tedy si dodal konečně zmužilosti, hlavně pak proto, an viděl, že mu ti lidé nic neudělají, neboť jeho nový kamarád byl s nimi dobře známý. Neměl však ještě kuráže, aby si byl něco poručil. I učinil to tedy tovaryš a dal nalejt dvě skleničky kořalky, jak pravil, k napravení žaludku. Pavel se na začátku zdrahal, neboť byl jakživ kořalku nepil; ale kamarád se mu smál, i nutil ten jed tak dlouho do něho, až si dal říct a také pil. Ale ta kořalka vstoupila chlapci brzo do hlavy, tak sice, že počal být veselý, ano rozpustilý, že si dal ještě sám nalejt, že zpíval písničky a bubnoval po stole, až mu těžká hlava klesat počala. Tu ho vzal kamarád pod paždí a vyšel s ním na čerstvé povětří, i vedl ho až k městským hradbám, mezi Konskou a Žitnou bránu, kdež byla ve příkopech tráva posekaná. Tam sklesl chlapec tak, že o sobě skoro ani nevěděl, a v okamžení tvrdě usnul.

Na druhý den ráno cítil, že ho někdo přes záda uhodil. I trhnul sebou, otevřel oči a zděšený vyskočil. Slunce mu svítilo již do očí. V prvním okamžení nevěděl, co se to s ním děje; ale brzo se vzpamatoval, vzpomněl si na včerejšek, a vida, že stojí před ním člověk od finanční stráže, jenž tu ve své službě obcházel, dostal náramný strach. Vzpomněl si na to, co mu byl včera kamarád o policajtech, o díře a o mrskanci povídal, a vrhnul se na kolena a prosil: „Ach Ježíš Maria, nezavírejte mě. Vždyť to nebylo víc nežli několik grošů. Moji rodiče to zaplatějí. Tuhle můj dobrý kamarád to dosvědčí."

inslav

Při těch slovech se ohlídnul po svém nočním soudruhovi, ale shledal k svému hroznému ustrnutí, že tu nebylo po něm ani památky.

Muž od finanční stráže ho pozorně poslouchal. — „I podívejme se,' řekl potom, „to jsem chytil nějakého zralého ptáčka. No, jen když to víme, to ho tak hned nepustíme. Hejdy do města!"

Přitom se na něj tak zaškaredil, že Pavel na celém těle ztrnul, honem vyskočil a se sklopenou hlavou ke bráně kráčel, kam mu tento, jako s nebe spadlý policajt jíti poroučel. — Chlapec plakal, až mu srdce usedalo. To jaksi hrozného muže pohnulo; myslil si v duchu: „No, ten kluk se nezdá být docela zkažený!" I začal se ho tedy vyptávat a Pavel nelenil, ale pověděl všechno dost obšírně, co ho bylo včera potkalo, a skončil pak těmito slovy: „Nic víc jsem neutratil — a tuhle mám ty ostatní peníze, které patřejí mému mistrovi."

Přitom sáhl do kapsy a chtěl vyndat dvacetníky, kteréž byl u rychtáře do papíru zaobalil. Ale tu se lekl poznovu, jako by ho byl někdo nožem pichnul — po dvacetníkách nebylo ani památky. Jeho noční kamarád mu je vyfouknul. I začal křičet a naříkat, ale mužovi od finanční stráže tu bylo velmi podezřelé, držel to za šejdy a lež, a v okamžení zmizela z něho všechna outrpnost.

„Nu počkej, taškáři!" pravil přitom a dal mu ještě štilec, „však oni ti dají co proto, a já se přimluvím, aby ti ani zbla neslevovali. Já tě naučím lidem pohádky na nos věšeti."

A když přišli do brány, odevzdal hocha policajtovi. Ten zaklel, až se mu od huby zakouřilo, a zatočil svou lískovkou, jako by měl chuť kůži mu vyklepat.

„Žejbruj se, taškáři!" osopil se na něj. „Zrovna přede mnou, a budeš-li chtět dělat bazamáty, tedy tě zmaluju, že tě ani vlastní matka nepozná, kteráž tě beztoho někde za plotem sebrala. Ta holota myslí zrovna, že je našinec jenom pro ni na světě!"

S těmi slovy ho strčil a vedl na policii — nebo jak se v Praze říká, „na policajdirekci". Ubohý chlapec šel a nevěděl ani kam; on vůbec nevěděl, co se to s ním děje, a plakal zase, neboť připomenutí na jeho dobrou matku projelo mu srdce jako ostrý meč. On sice ještě prosil, spínal ruce, ale to nebylo nic naplat; policajt mu nevěřil, finančník ho nazýval fikaným lhářem, a lidé, kteří šli okolo, se divili, že je mladá krev již tak zkažena.

inslav

Konečně byl doveden do vazby a tam zavřen k čeledi, kteráž byla dílem skutečně při krádeži, dílem při jiných špatných kouskách zastíhnuta. Jmenovitě tam sedělo několik vejrostků, jenž byli v mnohých hanebnostech již dozráli, a ti si vzali nováčka Pavla hned do prádla; vyptávali se nejdříve outrpně, potom s ním tropili žerty, nadávali ouřadům a kleli na boháče, jako by mohli tito dělat, co se jim líbí, a jako by chudý lid schválně všude utlačovali. Mimo to byly tam však a starší osoby zavřeny, na kterých již ani dobrého vlasu nezbývalo, a ty vedly vespolek tak hanebné a oplzlé řeči, že Pavlovi na začátku rozum trnul; ale při svém živém duchu vpravil se brzo i do těchto rozprávek, smál se pak jejich povídkám a poslouchal i jejich vyučování.

V prvních dnech byl jenom jednou mistrovi Loukotovi představen, dílem proto, že se sám k němu hlásil, dílem proto, že mistr ztrátu svého učedníka i peněz ohlásil, pak ale arci ničeho o něm věděti nechtěl, když takový zlodějský kousek vyvedl; i stál pevně na tom, aby byl chlapec potrestán. On sám nebyl by snad tak tvrdé srdce okázal, ale byl k tomu donucen — a to od své ženy. Ta dováděla zrovna jako lítá saň, když Pavel onoho večera nepřišel a mistr potom své hodinky na študie poslat musel.

„Krk mu zakroutím, tomu zatracenému panchartovi!“ klela ve své náhlosti. „Hnáty mu přetluču! Z domu mě musí — a to na minutu!“

„No, no, kdož ví, co se mu přihodilo!“ vymlouval ho ještě mistr prvního večera. „Snad si udělal na noze puchýře a musel zůstat u rychtáře. Však on zejtra přijde.“

Ale když Pavel na druhý den nepřicházel — když bylo již poledne, a on se ještě neokazoval, tu začal arci také hlavou vrtět, začal bručet a ze samé starosti i zlosti rozběhl se k rychtáři. Když tam ale zvěděl, že kluk s penězi odešel, tedy se rozpálil velikým hněvem, a když se mu konečně doneslo, že je učedník jeho zavřený, tu vypuknul arci hněv plamenem, ačkoli se v něm chvílemi také něco ozývalo, co nemohlo Pavlovo zblouzení pochopit.

Slovem, on se hocha neujal, aby se byl pravdy od něho dověděl, aby ho byl sám potrestal; ale na dorážení své domácí tyranky nechal ho v rukou spravedlnosti, kteráž ho podržela čtrnácte dní u vyšetřování a pak ho ještě na týden odsoudila. A tak se

inslav

stalo, že Pavel jako zloděj do vězení nepřišel, ale že jako nastávající z něho vyšel.

Zlé semeno ujalo se bujně v mladém chytlavém srdci.

Když vyšel z vězení, nedovolilo se mu, aby se déle v městě zdržoval, poněvadž o něm Loukota ani slyšet nechtěl; i poslali ho tedy domů šupem.

Ale jak měl nešťastný chlapec před otce vstoupit, kterýž byl nadmíru přísný muž?

„Ten tě zabije," řekl Pavlovi již ve vězení člověk prohnaný a smál se při tom plným hrdlem. „A kdyby tě jen zmodřil, že bys odlezl a se vykřísal, copak myslíš, krtku, že to doma vydržíš? Ani na ulici nebudeš smět vyjít, ani se lidem okázat. Prstem budou po tobě okazovat, plívat budou po tobě. Holečku, kdo jednou na těchhle prknech spal, pro toho není už jinde ani místečka."

Tato slova zněla Pavlovi v uších, když ho vedl policajt z brány; i umínil si, dělej co dělej, že musí upláchnout, domů že nepůjde, zabít že se nenechá. A když ho dovedli na štaci, kde ho měl již letitý člověk dále vést, myslil se už mladý žáček ze školy zlodějské: „Počkej, tobě upláchnu!"

I stalo se také. Jakoby nic uhnul se na silnici, když kolem živé duše vidět nebylo, a byl skokem v žítništi. Dráb skočil arci za ním a křičel, ale kdež byl už rychlonohý Pavel! Jako zajíc sem tam po polích a — čeho se jeho průvodce nejmíň nadál — hned zase zpáteční cestou ku Praze. Tenkráte ho žízeň a hlad tak netrápily; chytře zůstal v poli až do soumraku ležeti, a potom dorazil za tmy až do předměstí a potloukal se tak dlouho, až nalezl zas krčmu, do kteréž ho byl onoho nešťastného večera ten poctivý kamarád zavedl. Tam nalezl jeho přátele, a nouze ho donutila, že se s nimi smluvil, a chytráci vidouce mladíkovu čipernost, vzali ho rádi za učedníka. Druhou noc nato byl už s nimi, když se jistému kupci ze dvora do krámu vloupali.

Totoť je psáno podle vlastního vyznání nešťastného Pavla, když ho již po druhé do pražského kriminálu vezli; byl na deset let odsouzen, poněvadž ho prvnější tresty již napraviti nemohly.

Vypravovat jeho kousky při novém řemesle nebyl oučel těchto řádků; my chtěli na něco jiného pozornost upoutat, a dej Bůh, by se nám to alespoň dílem bylo povedlo. Dejte pozor! Jak malé, nepatrné bývají někdy příčiny — a jak veliké, hrozné následky!

1849

inslav

Второй раздел

ОТ 1848 ГОДА ДО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(1848—1918)

inslav

inslav

Второй раздел охватывает более чем полувековой период развития чешской литературы от революции 1848 года до образования самостоятельной Чехословацкой республики в 1918 году. За это время в общественной и культурной жизни Чехии произошли значительные изменения.

События 1848 года обусловили процесс поляризации демократических и реакционных сил в чешской литературе. По мере развития классовой и национально-освободительной борьбы этот процесс все более усиливался

В годы жестокой реакции, наступившей после революции и продолжавшейся целое десятилетие, австрийское правительство стремилось задушить любое проявление чешской культуры. Однако, несмотря на гонения и репрессии, именно в это время создали свои лучшие произведения писатели, сформировавшиеся в революционную эпоху — Й. Фрич, К. Гавличек-Боровский, Б. Немцова и другие, творчеством которых, наряду с произведениями Тыла, представлен первый этап развития реализма в Чехии. Творения этих писателей сыграли большую роль в борьбе народа против гнета австрийской монархии, в борьбе за чешскую национальную литературу. Важное значение для развития реалистической чешской литературы середины XIX в. имели альманахи «Лада Ниола» („Lada Niola", 1855) и «Май» („Máj", 1858). В этих изданиях принимали участие передовые писатели того времени: Й. Фрич, К. Сабина, Б. Немцова и вступившие в литературу Ян Неруда, В. Галек, Р. Майер и др.

Одной из форм борьбы за национальную литературу и утверждение реализма в период разгула реакции были многочисленные переводы произведений русских писателей, в первую очередь — Пушкина и Гоголя.

Шестидесятые годы отмечены новым большим подъемом национального движения, охватившего широкие народные массы, в том числе рабочих. На массовых демонстрациях и митингах («таборах») выдвигались не только национальные, но и социальные требования. По определению Зденека Неедлы, «национально-освободительное движение 60-х гг. было одним из самых ярких событий в истории чешского народа и чешской культуры». Национальное движение 60-х гг. вызвало заметное оживление всей культурной жизни в Чехии. В это время возникает ряд новых периодических изданий (журналы «Картины жизни» — „Obrazy života", «Кветы» — „Květy" под ред. Галека, газета «Народни листы» — „Národní listy"; в 70-е годы журналы «Люмир» — „Lumír", «Кветы» — под ред. С. Чеха и С. Геллера — и др.), создаются различные культурные общества и объединения (в частности, «Умелецка беседа» — „Umělecká beseda"), сыгравшие положительную роль в развитии литературы.

inslav

Следующий период характеризуется некоторым спадом национального движения и усилением буржуазно-националистической пропаганды. Вместе с тем, 70—80-е гг. были временем быстрого роста классового сознания чешских рабочих, периодом проникновения в их среду марксистских идей. В 1878 г. была основана чешская социал-демократическая партия. Жестокие правительственные репрессии 80-х годов не могли приостановить растущей борьбы чешского рабочего класса против национальной и австрийской буржуазии, которая с наступлением империализма становится все более реакционной. Не сломил революционного духа пролетариата и оппортунизм верхушки социал-демократии.

Вторая половина XIX века является в чешской литературе периодом утверждения и расцвета критического реализма.

Писатели-реалисты, представители демократического лагеря литературы, Ян Неруда, В. Галек, Й. Сладек, С. Чех, А. Ирасек и др. отразили в своих произведениях, во всем многообразии конкретно-исторических проявлений, протест и борьбу народа против социального и национального гнета. Характерной чертой их творчества является жизнеутверждающий гуманизм, оптимистическая устремленность в будущее, подлинная народность.

Большую роль в развитии чешского реализма сыграли теоретические статьи Сабины, Галека и, особенно, Неруды, которые призывали писателей к изучению и правдивому изображению действительности, отстаивали принципы национальной самобытности в искусстве.

В литературе 60—80-х гг. интенсивно развиваются прозаические жанры. Рассказы и повести создают В. Галек, Ян Неруда, К. Светла, С. Чех и др. С историческими романами выступает А. Ирасек, З. Винтер и др. Жанр поэмы разрабатывает в своем творчестве С. Чех. В эти годы и позже получает развитие национальная традиция создания поэтических циклов «песен» гражданского содержания, возникает и утверждается жанр социальной реалистической баллады (Ян Неруда, В. Галек, Й. Сладек). С развитием рабочего движения в литературе появляется новый герой — чешский пролетарий (стихи С. Чеха, Р. Майера, Й. Сладека и др.). Жизнь трудовых слоев города нашла свое яркое отражение в стихах, рассказах и очерках Яна Неруды. Процесс расслоения чешской деревни, быт и труд крестьянства занимает большое место в творчестве В. Галека, С. Чеха, А. Ирасека, К. В. Райса, Т. Новаковой и др.

В 70—80-е гг. зарождается пролетарская поэзия. Первые видные деятели социал-демократической партии Л. Запотоцкий (1852—1916), Й. Б. Пецка (1849—1897) и др. были авторами революционных стихов и песен, которые пользовались большой популярностью и являлись действенным политическим оружием в руках борющихся рабочих.

Большого подъема достигло рабочее и национально-освободительное движение в Чехии в 90—900-е гг. Одним из основных требований рабочих, поддержанным всеми прогрессивными слоями общества, было требование всеобщего избирательного права.

В 1894 г. классовая и национальная борьба настолько усилилась, что в Праге вновь, как и в 60-е гг., было введено осадное положение, отмененное лишь два года спустя.

inslav

Русская революция 1905—1907 гг. оказала громадное воздействие на развитие революционного движения в Чехии. Борьба русского рабочего класса и трудового крестьянства послужила примером для чешских трудящихся. Вопреки желаниям оппортунистического руководства социал-демократической партии, по стране прокатилась волна стачек и демонстраций, в результате которых в 1907 г. был введен закон о всеобщем избирательном праве.

В конце XIX века Чехия вступает в стадию империалистического развития. В литературе этого периода еще более обостряется процесс размежевания демократической и реакционно-буржуазной культуры.

Изучая жизнь народа, ряд писателей-демократов сближается с рабочим движением. Свои симпатии чешскому пролетариату выражали Ян Неруда (очерк «1 мая 1890 г.») и С. Чех (сборники стихов «Утренние песни», «Новые песни», поэма «Песни раба»), видевшие в пролетарии «героя будущего». К теме борьбы рабочих обращается в своем творчестве А. Сташек. В своих «Силезских песнях» П. Безруч создает типический конкретно-исторический образ чешского рабочего-шахтера. В обстановке напряженной освободительной борьбы 90-х гг. Ирасек пишет романы-эпопеи из истории массовых народных движений эпохи гуситства и национального возрождения («Против всех», «Ф. Л. Век» и др.). В духе реализма развивалась в конце века и чешская драматургия (исторические и бытовые пьесы А. Ирасека, комедии Л. Строупежницкого, драма братьев Мрштиков «Мариша» и др.).

Буржуазное влияние на развитие культуры сказалось в распространении идей национализма, космополитизма, индивидуализма, теории чистого искусства. Чешские декаденты объединялись вокруг журнала «Модерни ревю» („Moderní revue“) (редактор А. Прохазка, ведущий критик Й. Карасек). С этим изданием были тесно связаны поэты-символисты: О. Бржезина, К. Главачек и др. Труды идеолога чешской буржуазии Т. Г. Масарика оказали вредное влияние на развитие литературы конца XIX — начала XX вв., в частности, на творчество талантливого поэта Й. С. Махара.

В 1896 г. в журнале «Розгледы» („Rozhledy“) группа молодых чешских литераторов (так называемая «чешская модерна» — „moderna česká“) Й. Махар, А. Сова, О. Бржезина, Ф. Кс. Шальда и др., представлявших различные направления в литературе, опубликовала свой манифест. Наряду с критикой буржуазных порядков, в нем отстаивались принципы индивидуализма, отрицалось значение традиций национальной культуры и т. д. Вскоре эта группа распалась. В прозе А. М. Шимачека, К. М. Чапека-Хода, изображавших моральное разложение буржуазного общества, проявились натуралистические тенденции. Сложность литературного процесса на рубеже XIX—XX вв. наглядно прослеживается в творчестве таких талантливых поэтов, как Я. Врхлицкий, Ю. Зейер, А. Сова, создавших произведения высокой идейной и эстетической ценности, но не избежавших декадентских влияний.

Реалистическая и зарождавшаяся пролетарская литература этого периода противостояла реакционным литературным явлениям. В последние годы XIX — начале XX вв. в литературу вступило новое поколение чешских писателей, связавших свою жизнь с борьбой рабочего класса —

inslav

С. К. Нейман, И. Ольбрахт, М. Майерова, Я. Гашек. Уже в своих ранних произведениях они стремились по-новому, с пролетарских позиций, глубоко и всесторонне раскрыть действительность. В годы первой мировой войны передовые чешские писатели выступали с патриотическими произведениями, призывали народ к борьбе за государственную самостоятельность Чехии и демократизацию общественной жизни.

В борьбе против реакционной буржуазной литературы конца века прогрессивным чешским писателям оказывали действенную помощь известные к этому времени в Чехии труды русских революционных демократов по эстетике, а также лучшие произведения русской реалистической литературы второй половины XIX века (от Толстого до молодого Горького).

Развивая лучшие традиции национальной литературы, используя опыт передовых зарубежных писателей, чешские писатели-демократы своими лучшими реалистическими произведениями прокладывали пути социалистической литературе, качественно новой и вместе с тем преемственно связанной со всей прогрессивной литературой прошлого.

inslav

JOSEF VÁCLAV FRIČ
ЙОЗЕФ ВАЦЛАВ ФРИЧ

(1829—1890)

Йозеф Вацлав Фрич — поэт, публицист и революционный деятель — посвятил всю свою жизнь борьбе за политическую свободу народа. Он был одним из руководителей радикально-демократического лагеря во время революционных событий 1848—1849 гг. в Праге и сражался на баррикадах против войск контрреволюционного генерала Виндишгреца. Фрич принимал участие в организации студенческих легионов национальной гвардии. Австрийское правительство приговорило его к смертной казни, которая затем была заменена тюрьмой. Отбыв срок заключения в Комарно, Фрич в 1854 г. возвратился в Прагу, где стал инициатором создания прогрессивного литературного альманаха «Лада Ниола» (1855).

Материал, подготовленный Фричем для второго номера альманаха, но не изданный по политическим причинам, вошел в альманах «Май» (1858), продолжавший линию «Лады Ниолы». В 1856 г. Фрич инсценировал «Тараса Бульбу» Гоголя. Спектакль звучал как апофеоз борьбы против чужеземных захватчиков.

В 1858 г. Фрич был снова арестован, а в 1859 г. ему было предписано покинуть Чехию. Двадцать лет поэт жил вдали от родины.

inslav

В конце 50—60-х годов Фрич проявляет особый интерес к революционной деятельности Герцена. Он совершил специальную поездку в Лондон, где неоднократно встречался с Герценом. Он называл его «главным глашатаем правды о России», «активным борцом за освобождение мужика». Фрич несколько раз пытался организовать за границей издание свободного журнала типа герценовского «Колокола», который звал бы чешский народ на борьбу против австрийской монархии. Одним из таких изданий был журнал «Чех», издававшийся Фричем в начале 60-х гг. в Женеве.

В 1877 г. Фрич предпринял поездку в Россию и в течение некоторого времени жил в Петербурге, где сблизился с передовой русской литературной общественностью. Лишь в 1879 г. Фрич получил возможность вернуться на родину.

Несмотря на известные идейные колебания Фрича в сторону либерализма, он сыграл чрезвычайно важную роль в развитии освободительного движения чешского народа.

Фрич выступал против реакционного романтизма. В своей повести «Праздничная жизнь», помещенной в альманахе «Лада Ниола», он писал: «Я враг нездорового, не связанного с реальным миром, совершенно бесцельного романтизма...». Фрич заявлял, что литература должна быть «...верным зеркалом того, чем живет человечество в современную эпоху».

Поэзия Фрича носила ярко выраженный революционно-романтический характер. Его стихотворения, написанные между 1848 и 1860 гг. и объединенные позже в сборник «Песни из крепости» („Písně z bašty"), овеяны духом гневного боевого протеста против самодержавного гнета. Поэт славит революционную борьбу чешского народа в 1848 г. и резко обрушивается на контрреволюционную либерально-буржуазную партию (стих. «Народ и чернь» — „Lid a lůza"). В ряде стихотворений Фрича воспет героизм гуситов, смело выступавших против объединенных сил европейской феодальной и католической реакции. Лирический герой стихотворений Фрича — гордый и смелый борец против тирании, предпочитающий смерть неволе.

Фричу принадлежат четыре тома мемуаров — «Воспоминания» („Pamětí"), изданные в 1886—87 гг. и содержащие богатый материал из общественно-политической и литературной жизни второй трети XIX в.

Поэт переводил на чешский язык произведения Байрона, Гейне, Беранже, Некрасова, Шевченко и др. классиков мировой литературы.

VZPOURA

Vládče duchů, křehkým tvorům
nepochopitelný velikáne,
tvou-li mocnost pomním, tu mi hrůzou
málomocnou trpká slza skane.
Proč jsi vdechl v malicherné červy
veletouhy neukojitelné?

inslav

Proč jim bludičkou nesmrtelnosti
stavíš cíle nedostižitelné?
Proč jsi v zvíře nízké, vilné
vložil titánské ty snahy?
Bys nás, když se nimi pobouříme,
rozšlápl před svými práhy?
Chceš, by vlastní naší ničemnosti
vědomí nás hryzlo, soužilo?
Aby srdce božské velebnosti
tvé se naší bídou bavilo?! —
Odpusť, odpusť, otče na nebesích,
jestliže mi ústa zhřešily —
tvá to vina! Tvou to vůlí
city mé se slovem vzbouřily!
Doufáš-li, že chtíč a rozkoš
přehluší v nás tyto snahy,
zkus to! Kdo však nepodlehne,
ten tvé záměry prohlédne,
aby vřadil tebe, místo
služby pokorné, najisto
mezi své a lidstva — vrahy!

1846

VZDORNÁ LYRA

Lyro, kdys tak věrná, družko žití mého,
nemáš pro mne více tónu těšivého?
Choulíš se, že v ruce tobě zasvěcené
octly se i meče bojem zkrvácené?
Vzdorně-li mi nechceš útěchy podávat,
nehlesneš-li sama písně bojechtivé,
strhnu s tebe struny jemné, věčně tklivé,
ocelem ti stáhnu tílko choulostivé,
mečem jen chci tóny z tebe vyvolávat.

1848

Z VĚZENÍ ROKU 1850

Zazni, písni teskna žalu mého,
třeba duše z bolů hlubokosti
poletěla bujných na perutích

inslav

časem v marnou říši smělých snů:
Mrtvě kráčí dál ta doba našich dnů
a volnosti hlas — jako by navždy utich.

Otčino má drahá! což se před krutostí
vrahů budeš věčně kořit v prach?
Nevzbudí tě ze sna staletého
žádná bolest, žádná rána více,
kterých na tě sype lítý vrah?
Zhaslas navždy, Slávy nám denice?
Dohřměly jste navždy, zbraně táboritů —
dozněly jste navždy, písně orebitů?

Národ dřímá — a má kletba: *žíti.* —
Vlast umírá — a má duše cítí,
že se blíží soudů okamžení! —

Slávie! čas neváhá s porodem,
a lid, jenž své síly vědom není,
není hoden slouti národem!

1850

OREL

Rci mi, orle bystrozraký,
rci mi, jak umíráš?
Či ty mroucím, kalným zrakem
do mraků pozíráš? —

Rci mi, orle bystroletý,
či svou peruť skládáš?
Aneb snad jak duše moje
v letu mřít si žádáš? —

Ani v letu ani v mdlobě,
orel neumírá;
on svým jasným smělým zrakem
v mraky nepozírá.

inslav

Jen před sluncem, hrdou silou,
peruť svou rozkládá,
letí k nebi, a od něj tam
věčný život žádá.

1851

NÁRODNÍ HYMNA

Bože! slyš ty Rakušáky,
jak se tobě rouhají;
pro své černožluté znaky[1]
pomoc tvou jak vzývají!
Jen když císař pán
jim je zachován,
každý z nás ať hyne rád!
Chraň ho, bože, chraň,
požehnej mu zbraň,
nám dej bídu, mor a hlad! —

By si zahrál na vojáky,
bratry, otce z lidu vzal,
do rukou jim dal bodáky,
otroky z nich nadělal.
Zatím rodina,
bídná chudina
podpory své zbavená,
z vlastní krve své
splácí daně své
hroznou nouzí sklíčená.

Dvě stě let a déle tomu,
cos nás, bože, opustil,
co jsi Habspurskému domu
nám krev píti dopustil.
Velký bože náš,
dlouho shovíváš!

inslav

Rci, kde béřeš trpělivost svou?
Dosť jim shovíval,
nechraň nám je dál,
zatrať tu podlou chasu Kainovou!

Raků[1], draků těch zobáky
krmíš tukem člověčím;
proč ty lačné živíš ptáky?
Čím jsme zavinili, čím?
neustále jen
bodrý Čechův kmen
že tak stíháš hněvem svým?
Dvouhlavý ten ďas
rdousí, bije nás.
Kryje se sám i mocným slovem tvým!

Na kolenou tě prosíme,
bys Habspurky zatratil;
ať si zoufat nemusíme,
bys nám víru navrátil.
Věrných Čechů svých
zbav těch vrahů zlých,
by tvůj národ zkáze nepropad.
Nás teď, bože, chraň,
nám dej prach i zbraň;
budem tě za to chválit napořád!

1858(?)

MISTR

Jan Hus, ten jest a zůstane nám heslem,
to jméno nás i z hrobu vyvolá.
Valí se dým a plamen plápolá:
to naše hvězda, plavci, hněte veslem!

Dusíte nás, vy sovy, a my pějem.
Kostnickou hranici či zříte tam?
To světlo rozžehli jste sami nám,
nuž, divte se, že za tím světlem spějem.

inslav

A přídem-li tam pozdě, najdouc všude
jen pusté ticho, bratří, na co lkát?
Hrabte se v půdě, tu nám nechal kat —
i svatá hlína ta nám drahá bude.

I vám teď bude drahá! V pekla s vámi!
Katujte, mučte, duste, palte nás,
z těch plamenů k nám volá Mistra hlas;
a padnem-li — vy propadnete s námi!

1859

KALICH[1]

Pozdvihni kalich náš — znak slávy nesmrtelné,
ať jasnou nadějí v budoucnost vedeni
najdeme touhy cíl, té neuhasitelné —
pak zavdej nám a pij — pohár to nadšení!

Pozdvihni kalich náš — ten pohár utrpení;
před soudný světa stůl ať předstoupíme s ním,
ať našich vrahů smích tam v úpění se změní;
připijme si a buď to pomsty znamením.

Pozdvihni kalich náš — ten důkaz hanby naší,
kypíť on slzami a kletbou našich žen,
ten pohled stále nám ať spánek s oka plaší,
neznejme klid a mír, až vypijem i ten.

Pozdvihni kalich náš — krví ho naplníme;
on láskou, odvahou nám žíly prožene,
on písní nadchne nás, že v boj se dostavíme,
a vítěz probudí pak otce milené.

Pozdvihni kalich náš — tu hvězdu táboritů,
ať kouzlem bratrství nás vede k volnosti,
ať slávy naší pln se vznese k nebes štítu,
kdos boží bojovník — pak zpij se radostí!

1859

inslav

SLOVAN

Ba otrok — rab je Slovan; však tím otrokem
byl i ten bůh na kříži.
Vždy stíhán, zrazen, souzen, bičován;
budoucnost přece nosil v tom velkém srdci svém.
Od malé hrstky žen a chátry litován
i k zemi kles, pod hrozna kříže tíží,
a přece sám nad sebou nezaplakal.
Nepohled zhynul — byl i pochován —
tam v hrobě však odil se věčným životem,
by celý svět — i peklo z tmy vylákal.
Strážníci, pozor! Vzkříšení se blíží! —

Ba otrok, rab je Slovan — ale Spartakus
měl také duši v sobě —
hrozíte se vyhrůžky takové?
Jsme také nazí, sprostí — přec máme citu kus
a poznali jsme, čí jsme bídní sluhové
a starý svět že jedním krokem v hrobě.
Nedáme s mrtvolou se pochovávat,
nám kynou noví, mocní bohové.
Rab zlámal okovy — teď, světe, s ním to zkus;
neradno bylo k zábavě mu dávat
meč do rukou; ten meč teď platí *tobě.*

Ba otrok, rab je Slovan — ale hodina
i nám i vám již bila!
Upřímnost, lásku, víru, statečnost,
ba vše, čím oplývala ta slávská rodina,
vydrala vaše nám nenávist, zuřivost,
a slávu naši v hanbu potopila.
Jak dusno bylo nám tím živořením
v okovech zlých, kde byla hříchem ctnost,
kde hlad byl otcem nám a sestrou chudina,
kde zrada spásou, láska umučením...
až nadějná jen zoufalost nám zbyla!

Ba otrokem byl Slovan — *bílým otrokem*
a kles pod jarma tíží.

inslav

Nastává soud: všech pánů hrozný pán,
ten osud neúprosný, zeptá se v hněvu svém,
proč vámi Slovan v pluh byl zapřahán,
proč posmíván a rozpřažen na kříži.
Vy plémě Kainů, co mu odpovíte? —
„Do rukou jeho buď náš život dán,
on dobrý — všecko zlé nesplácel nikdy zlem!“
Možná! Jen pozor, ať se nezmýlíte,
a držte v paměti, že soudný den se blíží!

1860

DUMKA

Jsem sám, co družku mám jen hluchou noc,
té zazvučím teď tesknou píseň svou:
Kdo přijde věrné stráži na pomoc,
až zrána outokem se poženou?

Jsem sám — a tábor bratrů daleký,
ba přál bych jim ten tichý, klidný sen;
však hrůza, spějí-li tam na věky
a přeslechnou-li mroucí stráže stén.

Jsem sám — a věru rád tu zahynu,
jen píseň má ať k bratrům zaletí,
a probudí tu milou družinu,
by prapor náš nepadl obětí.

Jsem sám — a padnu rád, však prapor svůj,
ten musím věrným rukoum odevzdat.
Nuž probuď, ozbroj muže, lide můj,
bych pokojně moh za vás umírat.

1860

ČESKÝM JEZOVCŮM

Ne, není míru mezi námi,
pelešíte s katanami! —
Co nám zradou, vám to věrné,

inslav

co nám bílé, vám to černé:
nuž, jaká tedy shoda s vámi,
a co chcete mezi námi?! —

Nám bratřím láska v srdce vpsána,
vám jen shůry zvěstována;
ctíme boha v potu tváři,
ale vy jen při oltáři —
Nuž, jaká tedy shoda s vámi,
a co chcete mezi námi?! —

Jakým to drzým, smělým čelem
chlubíte se českým tělem? —
vzdechů, slov a kostí dosti,
zdaž i ducha do sytosti?
Nuž, jaká tedy shoda s vámi,
a co chcete mezi námi?!

Ne, není shody mezi bloudem
a tím živým světa proudem;
mezi jasnou pravdou boží
a tou lží, co pop tam vloží!
Nuž, jaká tedy shoda s vámi,
a co chcete mezi námi?!

Nejeden zrádce ten vám svatý,
čtete mše za naše katy;
co nám slávou, vám to žalost,
co nám smrtí, vám to radost:
nuž, jaká tedy shoda s vámi,
a co chcete mezi námi?! —

Snoubíte dýku naostřenou
s naší ránou rozjítřenou;
z pouhé lásky, kvůli míru
dodáváte síly štíru:
nuž, jaká tedy shoda s vámi,
a co chcete mezi námi?!

inslav

Když ale chcem a budem žíti,
nač nám vaše jedy píti?
Ani dýkou medem hladkou
smrt nám nezmění se v sladkou:
nuž, jaká tedy shoda s vámi,
a co chcete mezi námi?! —

1861

*

Co neví lid, jak by to nikdo nevěděl
Co nepochopí, na to nebuď pomyšleno:
Co vnikne v lid, jen s ním a proň buď provedeno,
však nutno též, by lid nad tím svým dílem bděl!

Blaník, 1869

LID A LŮZA[1]

Kdy ještě nadšený — tak často zklamaný
lid v plné důvěře k vám pozvedal svou hlavu,
ochoten z cesty sám uklízet balvany
a přenechati vám z vítězství čest a slávu,
tu sobě každý z vás radostně ruce mnul
a národ veškerý vám — *statným lidem* slul!

Zapomněl dobrý lid, že za dnů březnových,[2]
an po svých „přirozených" marně se ozíral,
z jich úkrytů jen zpupný provázel ho smích,
když v chvíli rozhodné tam v houfech se ubíral,
kde pevnou rukou sám svou českou věcí hnul.
Ha, tehdy pražský lid vám ještě *lůzou* slul!

Však sotvaže tam národ-vítěz promluvil
a zvětřili jste, že mu nové vzešlo ráno,
hned řadou každý z vás se v čelo postavil
a za své prohlásil, co bez vás vykonáno;
ač pyšně na hlavách vám hřebínek se vzpnul,
přec národ najednou vám *statným lidem* slul.

inslay

I šli jste bojovat za práva národů
až k břehům Dunaje, kdež pro obtíže
s různými paragrafy, zaprouc svobodu,
dopracovali jste až do Kroměříže![1]
A vlak když odtamtud se s vámi k Praze hnul,
čím to, že český lid vám zas jen *lůzou* slul?

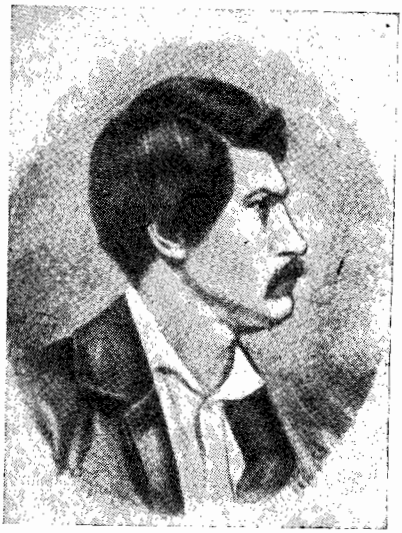
Za mříží, u vyhnanství zatím trčeli
vás neopatrnější lidu zastáncové;
vy bezpečni jste pro vlast krásně mlčeli,
až náhle hromem, bleskem svitly nám dny nové —
a národ zázrakem an poznovu k vám lnul,
pojednou zase vám *statečným lidem* slul!

Nebylo národa na světě nad Čechy,
dokavád slepě vám se k vozům zapřahoval;
však sotva rozváživ ty vaše „úspěchy"
bezcestím pokročiti dál se rozpakoval,
hned běda každému, jenž včas vás prohlédnul —
zvlášť lidu, který vám zas pouhou *lůzou* slul.

Tak vašich rozmarů dosavád hříčkou jen
zůstával bodrý lid pod nulou tlakoměru;
však bohdá nyní že nadobro probuzen
již vale dá i vám i pochybnému směru.
Až potuď a ne dál! Jeť čas, aby se hnul —
on *lidem* zůstane, byť vám jen „lůzou" slul.

1888

inslav



KAREL HAVLIČEK BOROVSKÝ

КАРЕЛ ГАВЛИЧЕК-БОРОВСКИЙ

(1821—1856)

Первый крупный чешский сатирик Карел Гавличек-Боровский родился в местечке Борово близ Немецкого Брода (ныне Гавличкова) в семье торговца. Окончив гимназию, он занимался философией в Пражском университете, а затем поступил в архиепископскую семинарию. В 1841 г. за свои свободолюбивые взгляды будущий поэт был исключен из семинарии. Он решает посвятить себя литературе. В течение года Гавличек путешествует по Чехии, Словакии, Моравии, изучая народное творчество.

Взгляды Гавличка-Боровского складывались в предреволюционный период 40-х годов. Уже в ранних своих публицистических статьях и стихотворениях поэт резко выступает против чужеземного гнета, абсолютистских порядков и религии.

В 1843—44 гг. поэт жил в России, служил домашним учителем в семье профессора С. П. Шевырева. Попав в славянофильскую среду, Гавличек многого не понял в русской действительности, не увидел России Белинского и Герцена. Однако его очерки «Картины России» („Obrazy z Rus", 1844—50 гг.) отражают враждебность писателя к русскому самодержавию, к паразитизму дворянства и его симпатии к простому народу. В России Гавличек увлекается Гоголем. Позже он стал активным пропаганди-

inslav

стом его творчества в Чехии. Между 1845 и 1849 гг. Гавличек-Боровский перевел целый ряд произведений русского сатирика, в том числе «Мертвые души».

По возвращении на родину Гавличек-Боровский редактирует газету «Пражске новины» и литературное приложение к ней «Ческа вчела».

Противоречивой была позиция писателя в период революционных событий 1848 г., в которых он принял активное участие. По своей политической программе Гавличек-Боровский тяготел к позициям либеральной буржуазии, разделяя принцип австрославизма: сохранение Австрийской империи с предоставлением Чехии автономных прав. Однако с наступлением реакции в 1849 г. Гавличек, в отличие от деятелей либерально-буржуазной партии, отошедших от политической жизни, развернул активную борьбу против австрийского правительства, нарушившего свои конституционные обещания и восстановившего абсолютистский режим. В газете «Народни новины» („Národní noviny"), созданной писателем еще в марте 1848 г., он выступает с резкой критикой правительства. В начале 1850 г. газета была закрыта, и Гавличек, переехав в Кутну Гору, начал издавать газету «Славянин» („Slovan"). В это же время он собрал свои публицистические статьи и опубликовал их в сборниках «Дух национальной газеты» („Duch národních novin") и «Кутногорские послания» („Epištoly kutnohorské"). Сборники были направлены против абсолютизма и церкви.

Австрийское правительство расправилось с Гавличком-Боровским, сослав его в декабре 1851 г. на окраину Австрийской империи, в глухой уголок Тироля — Бриксен. Через четыре года Гавличек-Боровский вернулся из ссылки тяжело больным и вскоре умер (1856).

Основное литературное наследие Гавличка-Боровского составляют его сатирические поэмы «Крещение святого Владимира» („Křest svatého Vladimíra"), «Тирольские элегии» („Tyrolské elegie"), «Король Лавра» („Král Lavra"), а также многочисленные эпиграммы и патриотические стихотворения. (Все три поэмы создавались или завершались в ссылке. В Чехии они ходили в списках и были опубликованы лишь много лет спустя). Мишенью едкой сатиры поэм Гавличка был абсолютистский полицейский режим и религия.

В основу «Тирольских элегий», рисующих произвол австрийских властей, легла история ареста самого поэта, которая приобретает в поэме обобщенное звучание. Поэма проникнута болью поэта за порабощенную и истерзанную родину и представляет собой яркую сатиру на жестокую, но подорванную в своей основе австрийскую монархию. Торжествующий обличительный смех поэта, не сломленного репрессиями, как бы предвещает падение самодержавия. Стихотворная сказка «Король Лавра» — талантливая сатира на коронованного деспота. В неоконченной сатирической поэме «Крещение святого Владимира» хорошо показана социальная роль религии, помогающей держать в повиновении народные массы. Бог (в поэме — Перун) изображен слугой светской власти; при необходимости его устраняют и заменяют другим. Гавличек высмеивает различные общественно-политические институты абсолютистского государства — суд, министерства и т. п. Из цензурных соображений поэт обращается к эпизоду крещения Руси. Однако с действительной историей древней Руси содер-

inslav

жание поэмы не имеет ничего общего. Поэма в гротескной сатирической форме обличает абсолютистскую Австрию.

В течение всей своей жизни Гавличек создавал эпиграммы антиклерикальной и антимонархической направленности. «Бога нет, и царь не должен быть», — восклицает поэт в одной из эпиграмм.

Гавличек был непримиримым врагом сентиментальной и бездейственной поэзии. В своих критических статьях он боролся за боевую тенденциозную литературу. Критерием ценности художественных произведений была для Гавличка верность действительности.

Гавличек обогатил чешскую литературу новым жанром сатирической поэмы и достиг большого мастерства в эпиграммах. Новаторство поэта проявилось также в широком использовании им мотивов и художественных средств фольклора для создания сатирических образов. Гавличек-Боровский был первым чешским поэтом-реалистом и сыграл важную роль в формировании реалистического направления в чешской литературе.

TYROLSKÉ ELEGIE

I.

Sviť měsíčku, polehoučku
skrz ten hustý mrak,
jak pak se ti Brixen líbí? —
Neškareď se tak!

Nepospíchej, pozastav se,
nechoď ještě spat:
abych s tebou jen chvilinku mohl
diškurýrovat.

Nejsem zdejší, můj měsíčku,
toť znáš podle křiku;
neutíkej, nejsem treu und bieder,[1]
jsem zde jen ve cviku.

II.

Jsemť já z kraje muzikantů,
na pozoun jsem hrál,
a ten pořád ty vídenské pány
ze sna burcoval.

inslav

By se po svých těžkých prácech
hodně vyspali,
jednou v noci kočár policajtů
pro mne poslali.

Dvě hodiny po půlnoci —
když na třetí šlo,
tu mi dával žandarm u postele
šťastné dobrýtro.

Se žandarmem slavný ouřad
celý v parádě,
pupek kordem pevně obvázaný,
zlato na krágle.

„Vstávají, pane redaktor,
nelekají se,
jdeme v noci, nejsme však zloději,
jenom komise. —

Ode všech z Vídně pozdravení,
pan Bach[1] je líbá,
jsou-li prý zdráv, a tuhleto psaní
po nás posilá.“

Já jsem i na lačný život
vždycky zdvořilý:
„Odpusť, slavná císařská komise,
že jsem v košili.“

Ale Džok, můj černý buldok,
ten je grobián,
na habeas corpus tuze zvyklý —
on je Angličan.

Málem by byl chlap přestoupil
jeden paragraf,
již na slavný ouřad zpod postele
uďál: Vrr, haf, haf!

inslav

Hodil jsem mu tam pod postel
říšský zákoník;
dobře, že jsem měl ten moudrý nápad,
již ani nekvík. —

III.

Občan zvyklý na pořádek —
bylo to v prosinci —
především jsem si obul punčochy
v slavné asistenci.

Pak jsem teprv četl psaní —
však ho tuhle mám —
rozumíš-li ouřední němčině,
přečti si ho sám.

Bach mi píše jako doktor,
že mi nesvědčí
v Čechách zdraví, že prej potřebuju
změnu povětří.

Že je v Čechách tuze dušno,
horké výpary,
mnoho smradu po té oktrojírce[1],
holé nezdraví.

Že on tedy schvalně pro mne
kočár sem poslal,
abych se hned na státní outraty
na cestu vydal.

A žandarmům že nařídil,
ať mne hodně nutí,
kdybych nechtěl ze skromnosti přijmout
jeho nabídnutí.

inslav

IV.

Což je dělat? Že pak musím
hloupý zvyk ten mít,
že nemohu žandarmům s flintami
pranic odepřít!

Dedera[1] mne také nutil,
abych jel jen hned,
že by chtěli Brodští, až se vzbudí,
třeba — s námi jet.

Pravil mi, že nemám s sebou
zbraně žádné brát,
než že oni mají nařízení
mne ochraňovat.

Že mám též, pokud jsme v Čechách,
inkognito jet, —
sic nám dají dotěraví lidé
hrůzu komis hned.

Ještě mi dal pan Dedera
více moudrých rad,
dle nichž se Bachovi pacienti
mají spravovat.

Tak mne vábil jak Siréna,
až jsem obul boty,
oblík vestu, kabát, pak i kožich —
dříve však kalhoty!

Koně a žandarmi stáli
dávno před domem:
„Milí braši, maličké strpení,
hned již pojedem!“

V.

Ó měsíčku, však ty ženské
dobře znáš a víš,

inslav

jaký s nimi člověk na tom světě
    často mívá kříž.

Takés mnohého loučení
    tajným svědkem byl,
ty znáš líp než každý novelista
    hořkost těchto chvíl.

Matka, žena, sestra, dcerka —
    malá Zdenčinka,
stály okolo mne v tichém pláči:
    hořká chvilinka.

Já jsem sice starý kozák,
    v půtkách tužený:
tenkrát jsem měl trochu těsná prsa
    a zrak zkalený.

Vtisknul jsem však poděbradku
    silně do čela,
aby se těm policajtům slza
    nezablyštěla.

Neb ti všichni blíže dveří
    posud stáli stráž,
aby měla tato smutná scéna
    císařskou štafáž!

VI.

Trubka břeští, kola hrčí,
    jedem k Jihlavi,
vzadu, abysme nic neztratili,
    klušou žandarmi.

Ten borovský kostelíček
    stojí na vršku,
skrze lesy smutně na mne hleděl:
    „Jsi to, můj hošku?

inslav

Pode mnou jest tvá kolíbka,
já tě viděl křtít,
starému vikáři ministrovat,
pilně se učit.

Táhnout světem na zkušenou,
pak s pochodní jít,
naší chase plamenem veselým
na cestu svítit.

Vidíš, jak ty roky plynou,
znám tě třicet let:
ale, chlapče, jaké to obludy
vidím s tebou jet?" —

VII.

Když jsme jeli přes Jihlavu,
měl jsem Špilberk v mysli,
za Lincem zas myšlénky na Kufstein[1]
z hlavy mi nevyšly.

Teprva když jsme nechali
Kufstein vpravo stát,
začla se mi alpejská krajina
příjemnější zdát.

Hloupá jízda, milý brachu,
když se neví kam:
veselé ty trouby postillonů
jsou jen bídný klam.

Všude kolomaz a všude
přepřahovalí:
Kdybyste radš ve Vídni přepřáhli
a namazali![2]

Telegraf je přece jenom
hezký vynález!

inslav

Ten před námi všude, než jsme přišli,
ohlášení nes.

By nám mohla policie,
starostlivá máti,
všude, dříve než tam přijedeme,
kamna rozehřáti.

Nesmím ale zapomenout
Budějovice,
tam Dedera koupil mělnického[1]
čtyry lahvice.

Čili se v něm vlastenecké
hnuly myšlénky?
Čili doufal, že to pro mne bude
Lethe na Čechy?

Mělnické jsem dávno dopil,
piju vlaské zas;
ale zdá se, že je v obou stejný
nepokojný kvas.[2] —

VIII.

Teď, měsíčku, nechme elegie
a přejděme v heroický tón;
nebo co ti chci teď vypravovat,
to byl čertův shon.

Cesta z Reichenhallu do Waidringu,
ty ji musíš taky dobře znát,
ta se nedá žádnou ordonancí
přeoktrojovat.

Hory, skály ohromnější ještě
než je hloupost mezi národy,
vedle cesty propast bezedná jak
drška armády.

inslav

Temná noc jak naše svatá církev
a my jedem s kopce jako mžik;
darmo křičí Dedera: „Drž koně!“ —
prázdný je kozlík.

Kočár praští a koně ve větru,
již je ďábel horempádem nese,
a postillon někde tam za kopcem
do dýmky si křeše.

Dolů jako s věže, cesta plytká,
vůz jak šipka klouže hý a hat,
snad má chuť nás někde do propasti
internýrovat?

Och, to byla pro mne chutná chvílka!
Neboť neznám žádnou větší slast,
nežli vidět slavnou policii
ouzkostí se třást!

Napadnul mi — jsemť já čtenář bible —
o Jonáši smutný příběh ten,
jak jej z loďky k utišení bouře
vyhodili ven.

„Metejme los!“ pravím, „mezi námi
musí někdo velký hříšník být,
a ten k usmíření nebe musí
z vozu vyskočit.“

Jen to vyřknu, ejhle, policajti
ani svědomí nezpytovali
a kajičně vyrazivše dvířka,
z vozu vyskákali. —

Ach, ty světe, obrácený světe!
Vzhůru nohama ve škarpě leží stráž,
ale s panem delinkventem samým
kluše ekypáž!

inslav

Ach, ty vládo, převrácená vládo!
Národy na šňůrce vodit chceš,
ale čtyrmi koňmi na opratích
vládnout nemůžeš! — —

Bez kočího, bez oprati, potmě,
u silnice propast místo škarpy,
tak jsem cválal sám a sám v kočáře
jako vítr s Alpy.

Svěřiti svůj osud také jednou
koňům splašeným se já mám bát,
občan rakouský? Což se mi může
horšího již stát?

Tak jsem s chladnou resignací v hlavě,
v hubě ale vřelou cigáru,
čerstvěj než cár ruský přijel k počtě
v dobrém rozmaru.

Tam jsem zatím — mistr delinkventů! —
bez ochrany povečeřel hezky,
než za mnou stráž s odřenými nosy
přikulhala pěšky.

Já spal dobře, ale policajti
měli tu noc ve Waidringu zlou,
mazali si spiritusem záda,
nosy arnikou.

To je konec této epopeje,
k níž jsem nepřibásnil ani chlup,
všechno ti dosvědčí ve Waidringu
postmistr Dahlrupp.

IX.

Přijeli jsme do Brixenu
bez vší turbací,
krajská vláda dala Dederovi
na mne kvitanci.

inslav

Místo mne ten kus papíru
vrátili do Čech,
mne zde černý, dvouhlavatý orel
drží v klepetech.

Krajskou vládu, podkrajského,
žandarmerii,
ty mi dali za anděle strážce
v té Siberii.

1852

KŘEST SVATÉHO VLADIMIRA

Legenda z historie ruské

ZPĚV III.

Vojenský soud

Bože, kýž jsem policajtem,
to je vyražení!
Koho chce, toho si chytne
a dá do vězení.

Každý si ho musí vážit;
kdo naň zaškaredí,
pro urážku policajta
ve štokhauzu sedí.

Ctěte, hoši, policajty!
Ouvej, jak to bolí!
Stát vyplácí krejčím metlou,
ale ševcům holí.

Slyšte, lidé, pro výstrahu
mé smutné zpívání,
že se proti policajtům
sám bůh neubrání.

inslav

Už ho vedou svázaného,
všechno ve mně hrká!
Dva ho táhnou za ramena,
jeden vzadu strká.

„Jenom mne po humnech veďte,
však já s vámi pudu,
nedělejte mi ve městě
veřejnou ostudu!“

Ale na humnech u strouhy
paní Perunice
zapírala Peruňátku
něco na sukničce.

Jak poznala svého pána,
hned se s hrozným křikem
na pochopy obořila
mokrým lavičníkem.

Ale Perun, dobrotisko,
sám ji napomíná:
„Schovej, ženo, meč do pochvy,
přišla má hodina!“ —

Policajti s Perunicí
na humnech se vadí:
u dvora se zákonníci
o Peruna radí.

A již Perun upoutaný
v šatlavě nocuje:
juristům se z paragrafů
žádný nešikuje.

Neboť ten, kdo zákony ďál,
neměl ani zdání,
že cár vezme někdy boha
do vyšetřování.

inslav

Ráno přišla apelace
k cáru celá bledá,
že se proti Perunovi
zákon najít nedá.

Cár se na ně zle osopil,
řek jim, že jsou osli,
poslal hned pro vojenský soud
do kasáren posly.

Vojenský soud, to je samec,
soudí, jen se práší:
on má všechny paragrafy
v jedné patrontaši.

Vojenský soud na civilní
dívá se zvysoka,
nesoudí podle zákonů
všechno jen od oka.

Vojenský soud má žaludek
zdravý jako štika:
nevinného na komando
stráví jak vinníka.

Vojenský soud z ničeho nic,
jako ňáký tvůrce,
nález právě potvrzený
měl jako na šňůrce:

Že *dle vyšlé proklamace*
komandujícího
a *dle „ostatních zákonů"*
svodu hrdelního

pro urážku první třídy
Jeho Veličenství,
pro vzpouru, nemravné řeči,
pro neposlušenství

inslav

Perun bůh jest odsouzený
k provazu dle práva,
že však k utopení v Dněpru
milost se mu dává;

bude ale pro výstrahu
neposlušné chase
vlečen k řece po ulicích
na konském ocase. —

Právě jeden žurnalista
seděl také v díře,
protože se bohu rouhal
a psal proti víře;

soud jej odsoudil, použiv
té příležitosti,
k stejnému trestu s Perunem
kvůli nestrannosti.

ZPĚV V.

Bezbožnost v Rusích

Tak se z maličké příčiny
stala velká mela:
ruský národ neměl boha,
církev ovdověla.

Nám by byla lehká pomoc,
toť je stará vesta!
Teď již umí každý kaplan
dělat bohy z těsta.

Ale — Rusi o těch kumstech
ještě nevěděli:
když si boha utopili,
žádného neměli.

inslav

Počali se všichni báti
strašlivých následků
neb žádný nic takového
neslyšel od předků! —

Ale svět je pořád stejný,
lidé ho nezmění:
plivni si stokrát do moře,
ono se nezpění.

Tak i v Rusku bez Peruna
ve starém pořádku
běžela světská mašina
jak na kolovrátku.

Staří lidé umírali,
děti se rodily,
hodní lidé pracovali,
a ochlasti pili.

Hrušky zrály o Jakubě
a na podzim švestky:
když se hodně vypršelo,
bylo zase hezky.

Slunce svítilo jen ve dne,
měsíc jenom v noci:
v letě bylo cáru horko
při vší jeho moci.

Žito se muselo síti,
tráva rostla sama,
šlechta pracovala hubou,
sedláci rukama.

Kdo zaplatil, měl u pánů
všudy dobrou přízeň,
hlad si zaháněli jídlem,
ale pitím žízeň.

inslav

Všecky řeky byly mokré
a kamení tvrdé:
chalupnice hubovaly,
že jsou selky hrdé.

Šlechtic neobcoval s mužským
měšťanského rodu:
ale šenkýři míchali
přec do piva vodu.

Mladí lidé pospíchali,
staří šli pomalu:
na každou špetku radosti
přišla špetka žalu.

Kdo měl málo, tomu braly
velké pijavice:
moudrých lidí bylo málo,
ale hloupých více.

Kdo byl taškář za Peruna,
taškařil zas dále:
a kdo byl poctivá duše,
dřen byl neustále.

Neboť svět je pořád stejný,
lidé ho nezmění,
plivni si stokrát do moře,
ono se nezpění.

Tak i v Rusku bez Peruna
ve starém pořádku
běžela světská mašina
jak na kolovrátku.

Ale církevní mašinka,
ta se zarazila,
neboť kněžům u pytlíku
zaťata jest žila.

inslav

Sedlák, ten jest odjakživa
vychytralý kvítek,
hned si z toho utopení
vyhlídli užitek.

Přestali desátky dávat,
také na modlení,
ani štolu, ani na mše,
když prej pánbůh není.

Na oféry nechodili,
při funusech ticho:
kostelníci mřeli hladem,
kněžům zplasklo břicho. —

Tu hned tekla krev z obrazů,
děly se zázraky;
čistá panna porodila
čtyry mladé draky.

Báby viděly znamení
na nebi a všude:
prodávaly staré sukně,
že soudný den bude.

Báby viděly znamení
na nebi i v dírách,
slyšely potopu světa
hučet ve všech škvírách.

Po svatbě se narodilo
dítě za čtvrt léta:
kupujte, lidi, měchejře
na potopu světa!...

1848—1854

SATYRY A EPIGRAMY

Demonstratio miraculorum[1]

Div-li, že pět chlebů, dvě rybice
nasytily lidstva na tisíce:
vždyť pak podnes ještě tyto divy
tolik tisíc černých pánů živí.

inslav

Selský

Farář dělá z chleba a vína
pro duše selské
tělo a krev:
sedlák dělá tělem a krví
pro tělo kněžské
víno a chléb.

Otec a matka

Bůh, náš otec, pro chování
deset nám dal přikázání,
ale církev, naše máť,
zkrátila je v jedno: „Plať!“

Etymologický

Odkud vzalo — zkouším žáky —
jméno Rakous počátek? —
„Od *raků*, neb oni taky
chodí pořád nazpátek!“

Erdengötter[1]

Vidím mezi Pánbíčkem a knížaty
vždy větší analogii:
tak na příklad Pán Bůh stvořil psy
a knížata tajnou policii.

Demokratický

Nechoď, Vašku, s pány na led,
mnohý příklad máme,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.

inslav

Ruská konstitucí

Odjakživa dovoluje
ruský cár velmožům,
míti třeba tisíc duší,
jenom žádný rozum.

Nejkratší symbolum

Motto: *„Co jest císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu.“* Ferdinand II.

Řeknu vám, až budu smít:
neníť Bůh a císař nemá být.

Bájka politická

Ve Švejcarech v demokratickém kraji,
kde si na republikány hrají,
sed si vedle orla vrabčík smělý dosti,
začimčařiv cosi o rovnosti.
Orel polknul vrabce místo naučení,
že přec nikdy vrabec orlu roven není.

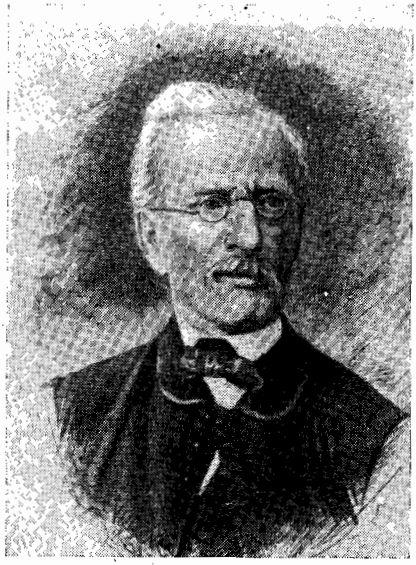
Poeta laureatus[1]

Slavils na své idylické lýře
Mléko, trávu, kozy a pastýře:
pročež kladem na tvou hrobku
věnec slávy z kozích bobků.

Zle, matičko, zle!

Poctivému hrozí jenom hlad,
zloději zas jenom šibenice:
český literát
má trampot více;
jemu hrozí hlad
i šibenice.

inslav



KAREL JAROMÍR ERBEN
КАРЕЛ ЯРОМИР ЭРБЕН

(1811—1870)

Видный поэт, этнограф и фольклорист Карел Яромир Эрбен родился в городке Милетине, в семье сапожника. Зарабатывая на хлеб уроками, он окончил гимназию в Градце Кралове и поступил в Пражский университет. Уже в ту пору юноша увлекался изучением исторических памятников народной поэзии. Окончив университет, Эрбен служил чиновником, занимался лингвистическими исследованиями, собирал произведения народного творчества, сотрудничал в национальном издательстве Ческа Матице. В 1851 г. Эрбен был избран архивариусом города Праги.

В период революции 1848 г. Эрбен, будучи человеком довольно умеренных политических взглядов, поддерживал программу либерально-буржуазной партии. В годы жестокой реакции он отходит от политической жизни и целиком отдается научной и литературной деятельности, носившей национально-просветительский характер. Он издает памятники старочешской литературы, в частности, сочинения Гуса.

Сборник стихотворений Эрбена «Букет» („Kytice", 1853), созданный по мотивам чешской народной поэзии и национальных легенд, был задуман поэтом и прозвучал как протест против гонений, которым подвергался чеш-

inslav

ский народ, как свидетельство его бессмертия и творческой силы. Лучшие стихотворения сборника — «Букет» („Kytice"), «Пророчица» („Věštkyně"), «Золотая прялка» („Zlatý kolovrat") и др., отражающие здоровую мораль народа, исполнены оптимизма и веры в будущее Чехии. В стихотворении «Пророчица», завершающем сборник, предсказано грядущее освобождение чешского народа от чужеземного гнета. Правда, художественную силу отдельных стихотворений сборника снижают христианско-морализаторские тенденции автора.

Особой популярностью пользуется стихотворная сказка Эрбена «Золотая прялка», ставшая в Чехословакии хрестоматийным произведением. Блестяще используя изобразительные средства народных сказок, Эрбен воплотил в «Золотой прялке» один из характерных идейных мотивов чешского фольклора: в сказке гневно осуждается преступление, совершаемое ради богатства.

Из стихотворений Эрбена, вошедших в сборник «Букет» при последующих изданиях, следует отметить патриотическую «Песнь о победе у Домажлиц лета 1431» („Píseň o vítězství u Domažlic léta 1431"), сатирически изображающую беспорядочное бегство крестоносцев и римского кардинала под натиском гуситского войска, а также проникнутое глубоким жизнелюбием стихотворение «Первая майская ночь» („První májová noc"). Эрбен, большой мастер баллады, достиг высокого совершенства в динамическом развертывании действия, в создании особого поэтического настроения, в зарисовках типического чешского пейзажа. Его произведения отличаются своеобразием ритмического рисунка, напевностью и музыкальностью. Опыт Эрбена в создании баллад был использован последующими поколениями поэтов (Ян Неруда, Иржи Волькер и др.).

Эрбен был также автором большого количества сказок в прозе, в основу которых легли мотивы чешских, русских и украинских народных сказок. Одной из лучших сказок Эрбена является сказка «Царь Хорь» („Král Tchoř", 1862), в которой в аллегорической форме высмеяна политика жестокого гнета, проводившаяся в Чехии австрийским императором.

Из эрбеновских изданий народно-поэтических текстов особенно важно его трехтомное собрание «Чешских народных песен» („Písně národní v čechách", 1841—1845), «Простонародные чешские песни и пословицы» („Prostonárodní české písně a říkadla", 1864), «Сто простонародных славянских сказок и преданий в оригинальном тексте» („Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních", 1856). Более половины этого собрания занимают русские сказки.

Эрбен питал глубокие симпатии к русскому народу и проявлял живейший интерес к русской культуре. Он был знаком с рядом русских ученых-славистов. В 1867 г. поэт посетил Московскую этнографическую выставку. Он называл русский народ «глубоко искренним, сердечным народом». В конце 60-х гг. Эрбен перевел на чешский язык несторовскую летопись, «Слово о полку Игореве» и «Задонщину».

Еще в 50-е гг. Эрбен был избран членом-корреспондентом русской Академии наук.

inslav

KYTICE

Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.

I zželelo se matce milých dítek;
duše její se vrátila,
a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jímž mohylu svou pokryla.

Poznaly dítky matičku po dechu,
poznaly ji a plesaly;
a prostý kvítek, v něm majíc útěchu,
mateří-douškou nazvaly. —

Mateří-douško vlasti naší milé,
vy prosté naše pověsti!
natrhal jsem tě na dávné mohyle —
komu mám tebe přinésti?

Ve skrovnou já tě kytici zavážu,
ozdobně stužkou ovinu;
do šírých zemí cestu ti ukážu,
kde příbuznou máš rodinu.

Snad že se najde dcera mateřina,
jíž mile dech tvůj zavoní;
snad že i najdeš některého syna,
jenž k tobě srdce nakloní!

1851—1852 (Kytice, 1853)

ZLATÝ KOLOVRAT

I.

Okolo lesa pole lán,
hoj jede, jede z lesa pán,
na vraném bujném jede koni,
vesele podkovičky zvoní,
jede sám a sám.

inslav

A před chalupou s koně hop!
a na chalupu: klop, klop, klop!
„Hola hej! otevřte mi dvéře,
zbloudil jsem při lovení zvěře,
dejte vody pít!“

Vyšla dívčina jako květ,
neviděl také krásy svět;
přinesla vody ze studnice,
stydlivě sedla u přeslice,
předla, předla len.

Pán stojí, nevěda, co chtěl,
své velké žízně zapomněl;
diví se tenké, rovné niti,
nemůže očí odvrátiti
s pěkné přadleny.

„Svobodna-li jest ruka tvá,
ty musíš býti žena má!“
dívčinu k boku svému vine —
„ „Ach pane! nemám vůle jiné,
než jak máti chce.“ “

„A kde je, děvče, máti tvá?
Nikohoť nevidím tu já.“ —
„ „Ach pane! má nevlastní máti
zejtra se s dcerou domů vrátí,
vyšly do města.“ “

II.

Okolo lesa pole lán,
hoj jede, jede zase pán;
na vraném bujném jede koni,
vesele podkovičky zvoní,
přímo k chaloupce.

A před chalupou s koně hop!
a na chalupu: klop, klop, klop!

inslav

„Hola! otevřte, milí lidi,
ať oči moje brzo vidí
potěšení mé!“

Vyšla babice, kůže a kost:
„„Hoj, co nám nese vzácný host?“ “
„Nesu ti, nesu v domě změnu,
chci tvoji dceru za svou ženu,
tu tvou nevlastní.“

„„Hoho panáčku! div a div!
kdo by pomyslil jaktěživ?
Pěkně vás vítám, vzácný hoste,
však ani nevím, pane, kdo jste?
Jak jste přišel k nám?“ “

„Jsem této země král a pán,
náhodou včera zavolán:
dám tobě stříbro, dám ti zlato,
dej ty mně svoji dceru za to,
pěknou přadlenu.“

„„Ach pane králi! div a div!
kdo by se nadál jaktěživ?
Vždyť nejsme hodny, pane králi!—
kéž bychom záslužněji stály
v milosti vaší!

Ale však radu, radu mám:
za cizí — dceru vlastní dám;
jeť podobna té druhé právě
jak oko oku v jedné hlavě —
její nit — hedbáv!“ “

„Špatná je, babo, rada tvá!
Vykonej, coť poroučím já:
zejtra, až den se ráno zjasní,
provodíš dceru svou nevlastní
na královský hrad!“

inslav

III.

„„Vstávej, dceruško! již je čas,
pan král již čeká, bude kvas:
však jsem já ani netušila —
nu bodejž dobře pořídila
v královském hradě!“ “

„Stroj se, sestřičko moje, stroj,
v královském hradě bude hoj:
vysoko jsi se podívala,
nízko mne, hleďte, zanechala —
nu jen zdráva buď!“

„„„Pojď již, Dorničko naše, pojď,
aby se nehněval tvůj choť:
až budeš v lese na rozhraní,
na domov nezpomeneš ani —
pojď jen honem, pojď!“ “ “

„Matko, matičko! řekněte,
nač s sebou ten nůž béřete?“ —
„„Nůž bude dobrý — někde v chladu
vypíchnem oči zlému hadu —
pojď jen honem, pojď!“ “

„Sestro, sestřičko! řekněte,
nač tu sekeru nesete?“ —
„„Sekera dobrá — někde v keři
useknem hnáty líté zvěři —
pojď jen honem, pojď!“ “

A když již přišly v chlad a keř:
„„„Hoj, ty jsi ten had, tys ta zvěř!“ “ “
Hory a doly zaplakaly,
kterak dvě ženy nakládaly
s pannou ubohou!

„„„Nyní se s panem králem těš,
těš se s ním, kterakkoli chceš:

inslav

objímej jeho svěží tělo,
pohlížej na to jasné čelo,
pěkná přadleno!“ “ “—

„Mamičko, kterak udělám?
kam oči a ty hnáty dám?“ —
„ „Nenechávej jich podlé těla,
ať někdo jich zas nepřidělá —
radš je s sebou vem.“ “

A když již zašly za tu chvoj:
„ „Nic ty se, dcero má, neboj!
však jsi podobna té tam právě
jak oko oku v jedné hlavě —
neboj ty se nic!“ “

A když již byly hradu blíž,
pan král vyhlíží z okna již;
vychází s pány svými v cestu,
přivítá matku i nevěstu,
zrady netuše.

I byla svatba — zralý hřích,
panna nevěsta samý smích;
i byly hody, radování,
plesy a hudby bez ustání
do sedmého dne.

A když zasvítal osmý den,
král musí jíti s vojsky ven;
„Měj se tu dobře, paní moje!
já jedu do krutého boje
na nepřítele.

Navrátím-li se z bitvy zpět,
omladne naší lásky květ!
Zatím na věrnou mou památku
hleď sobě pilně kolovrátku,
pilně doma předl!“

inslav

IV.

V hluboké pusté křovině
jak se tam vedlo dívčině?
Šest otevřených proudů bylo,
z nichž se jí živobytí lilo
na zelený mech.

Vzešlo jí náhle štěstí moc,
nynčko jí hrozí smrti noc:
tělo již chladne, krev se ssedá —
běda té době, běda, běda,
když ji spatřil král!

A tu se z lesních kdesi skal
stařeček nevídaný vzal:
šedivé vousy po kolena —
to tělo vloživ na ramena,
v jeskyni je nes.

„Vstaň, mé pachole, běž, je chvat,
vezmi ten zlatý kolovrat;
v královském hradě jej prodávej,
za nic jiného však nedávej,
nežli za nohy.“ —

Pachole v bráně sedělo,
zlatý kolovrat drželo.
Královna z okna vyhlížela:
„„Kéž bych ten kolovrátek měla
z ryzího zlata!““

„„Jděte se, matko, pozeptat,
zač je ten zlatý kolovrat?““ —
„Kupte, paničko! drahý není,
můj otec příliš nevycení:
za dvě nohy jest.“

„„Za nohy? ajaj, divná věc!
Ale já chci jej míti přec:

inslav

jděte, mamičko, do komory,
jsou tam ty nohy naší Dory,
dejte mu je zaň.“ “

Pachole nohy přijalo,
do lesa zpátky spěchalo. —
„Podej mi, chlapče, živé vody,
nechť bude tělo beze škody,
jako bývalo.“

A ránu k ráně přiložil,
a v nohou oheň zas ožil,
a v jeden celek srostlo tělo,
jako by vždycky bylo celo,
bez porušení.

„Jdi, mé pachole, k polici,
vezmi tu zlatou přeslici:
v královském hradě ji prodávej,
za nic jiného však nedávej,
nežli za ruce.“ —

Pachole v bráně sedělo,
přeslici v rukou drželo.
Královna z okna vyhlížela:
„ „Och, kéž bych tu přesličku měla
ke kolovrátku!

Vstaňte, mamičko, s lavice,
ptejte se, zač ta přeslice?“ “ —
„Kupte, paničko! drahá není,
můj otec příliš nevycení,
za dvě ruce jest.“

„ „Za ruce!? divná, divná věc!
Ale já ji chci míti přec:
jděte, mamičko, do komory,
jsou tam ty ruce naší Dory,
přineste mu je.“ “

inslav

Pachole ruce přijalo,
do lesa zpátky spěchalo. —
„Podej mi, chlapče, živé vody,
nechť bude tělo beze škody,
jako bývalo.“

A ránu k ráně přiložil,
a v rukou oheň zas ožil;
a v jeden celek srostlo tělo,
jako by vždycky bylo celo,
bez porušení.

„Skoč, hochu, na cestu se měj!
mám zlatý kužel na prodej:
v královském hradě jej prodávej,
za nic jiného však nedávej,
nežli za oči.“

Pachole v bráně sedělo,
zlatý kuželík drželo.
Královna z okna vyhlížela:
„„Kéž bych ten kuželíček měla
na tu přesličku!

Vstaňte, mamičko, jděte zas,
ptejte se, zač ten kužel as?““ —
„Za oči, paní! jinak není,
tak mi dal otec poručení,
za dvě oči jest.“

„„Za oči?! neslýchaná věc!
A kdo je, chlapče, tvůj otec?““ —
„Netřeba znáti otce mého:
kdo by ho hledal, nenajde ho,
jinak přijde sám.“ —

„„Mámo, mamičko! co počít?
a já ten kužel musím mít!
Jděte tam zase do komory,

inslav

jsou tam ty oči naší Dory,
ať je odnese.“ “

Pachole oči přijalo,
do lesa zpátky spěchalo. —
„Podej mi, chlapče, živé vody,
nechť bude tělo beze škody,
jako kdy prvé.“

A oči v důlky položil,
a zhaslý oheň zas ožil;
a panna vůkol pohlížela —
však nikoho tu neviděla,
než se samotnu.

V.

A když byly tři neděle,
král jede z vojny vesele:
„A jak se máš, má paní milá!
a zdalis pomětliva byla
mých posledních slov?“

„„Och! já je v srdci nosila,
a hleďte, co jsem koupila:
jediný mezi kolovraty,
přeslici, kužel — celý zlatý,
vše to z lásky k vám!“ “

„Pojď se, má paní, posadit,
upřeď mi z lásky zlatou nit.“ —
Ke kolovrátku chutě sedla,
jak zatočila, celá zbledla —
běda, jaký zpěv!

„„Vrrr — zlou to předeš nit!
Přišla jsi krále ošidit:
nevlastní sestru jsi zabila,
údův a očí ji zbavila —
vrrr — zlá to nit!“ “

inslav

„Jaký to kolovrátek máš?
a jak mi divně na něj hráš!
Zahraj mi, paní, ještě znova,
nevím, co chtějí tato slova:
před, má paní, před!“

„„Vrrr — zlou to předeš nit!
Chtěla jsi krále ošidit:
pravou nevěstu jsi zabila,
a sama ses jí učinila —
vrrr — zlá to nit!““

„Hó, strašlivě mi, paní, hráš!
Nejsi tak, jak se býti zdáš!
Zahraj mi, paní, do třetice,
abych uslyšel ještě více:
před, má paní, před!“

„Vrrr — zlou to předeš nit!
Přišla jsi krále ošidit:
sestra tvá v lese, v duté skále,
ukradla jsi jí chotě krále —
vrrr — zlá to nit!“

Jak ta slova král uslyšel,
skočil na vrance, k lesu jel;
hledal a volal v šíré lesy:
„Kdes, má Dorničko! kde jsi? kde jsi?
kdes, má rozmilá?“ —

VI.

Od lesa k hradu polí lán,
hoj jede, jede s paní pán;
na vraném bujném jedou koni,
vesele podkovičky zvoní,
na královský hrad.

I přišla svatba zase zpět,
panna nevěsta jako květ;

inslav

i byly hody, radování,
hudby a plesy bez ustání
po tři neděle.

A což ta matka babice?
a což ta dcera hadice? —
Hoj! vyjí čtyři vlci v lese,
každý po jedné noze nese
ze dvou ženských těl.

Z hlavy jim oči vyňaty,
ruce i nohy uťaty:
co prve panně udělaly,
toho teď na se dočekaly
v lese hlubokém.

A což ten zlatý kolovrat?
jakou teď píseň bude hrát? —
Jen do třetice zahrát přišel,
pak ho již nikdo neuslyšel,
ani nespatřil.

1844 (Kytice, 1853)

VĚŠTKYNĚ[1]

Ulomky

Když oko vaše slzou se zaleje,
když na vás těžký padne čas,
tehda přináším větvici naděje,
tu se můj věští ozve hlas.

Nechtějte vážiti lehce řeči mojí,
z nebeť přichází věští duch;
zákon nezbytný ve všem světě stojí,
a vše tu svůj zaplatí dluh.

inslav

Řeka si hledá konce svého v moři,
plamen se k nebi temení;
co země stvoří, sama zase zboří;
avšak nic nejde v zmaření.

Jisté a pevné jsou osudu kroky,
co má se státi, stane se;
a co den jeden v své pochová toky,
druhý zas na svět vynese.

*

Viděla jsem muže na Bělině vodě,
praotce slavných vojvodů,
an za svým pluhem po dědině chodě
vzdělával země úrodu.

Tu přišli poslové od valného sněmu,
a knížetem jest oráč zván,
oblekli oděv zlatoskvoucí jemu,
a nedoorán zůstal lán.

Položil rádlo a propustil voly:
„Odkud jste vyšli, jděte zpět!“
a své bodadlo zarazil tu v poli,
aby pučilo v list i květ.

Pojala voly nedaleká hora —
podnes ji značí vody rmut;
a suchá holi lískovice kora
vydala trojí bujný prut.

A pruty zkvětly a ovoce nesly:
leč dospěl jenom jich jeden;
druhé dva zvadly a se stromu klesly,
nevzkřísivše se po ten den.

Slyšte a vězte — nejsouť marné hlasy!
vložte je pilně na paměť:

inslav

nastane doba, přijdou zase časy,
kdež obživne i mrtvá sněť.

Obě ty větve v ušlechtilém květu
vzmohou se šíře, široce,
a nenadále ku podivu světu
přinesou blahé ovoce.

Tu přijde kníže ve zlatě a nachu,
aby zaplatil starý dluh,
a vyndá na svět ze smetí a prachu
Přemyslův zavržený pluh.

A z duté hory ven povolá voly
i zase k pluhu přiděje,
a zanedbanou doorá tu roli
a zlatým zrnem zaseje.

I vzejde setí, jaře bude kvésti,
bujně se zaskví zlatý klas:
a s ním i vzejde země této štěstí,
a stará sláva vstane zas...

*

Vy, kdo znajíce otců slavné činy
jimi se rádi chlubíte:
tam na pilíři v Praze půl hrdiny
u mostu státi spatříte.[1]

Hlava zvětrala i spláchly ji deště,
a prsa rozbil švédský boj;
než břich a nohy stojí potud ještě,
i pošetilé pýchy stroj.

Nemluvte marně: „Starobylých věků
zpukřelé, vetché kamení!“
Vězte, že toto dnešních vašich reků
osudné jesti znamení!

inslav

Slyšte a pilně važte moje slova:
S nadějí nic se nenoste,
leč nad tím břichem vřelé srdce znova
a pravá hlava naroste!

1849—1852

PÍSEŇ O VÍTĚZSTVÍ U DOMAŽLIC LÉTA 1431

(Zpívá se jako: Bylatě jedna matička)

Pojďte, poslyšte, přátelé,
zpívám pověsti veselé,

o věcech, které se děly,
abyste všickni věděli.

Přijeltě z Říma kardinál,
ten o Čechy zlou radu vzal.

Měl v jedné ruce krucifix,
za sebou Němců sto tisíc.

„Bíte, zabíte, neleňte,
Čechy kacíře vypleňte!

Bíte a palte napořád:
já dám odpustců, co kdo rád!"

Už od Bavor, už Němci jdou,
zlou pověst nesou před sebou.

Už k Tachovu se zblížili,
osady všecky spálili.

„Pospěšte, bratří! pospěšte,
nás ubožátek potěšte!

Pomozte vlasti nevinné,
ať jmeno české nezhyne!"

Čechové, když to slyšeli,
v hromadu vojska sráželi.

inslav

Jedno to vojsko Táboři,
ať vrahy Němce pokoří.

Druhé to vojsko Sirotci,
dobře se zvedli po otci.

Třetí to vojsko od Prahy:
ať nesou pomstu na vrahy.

Od Plzně už se zdvíhá prach —
na vrahy Němce přišel strach.

Čechové jdou, už jsou tu hned —
a vrahy Němce jak by smet.

Co měli, v poli nechali,
úprkem domů jechali.

A kdo se zpozdil ve křoví,
našel tu svůj hrob hotový.

Pušky a špíže hromady,
stříbro i zlaté poklady,

korouhve i papežský list:
vše přišlo Čechům na kořist.

A kam se děl pan kardinál?
kde má klobouček? kam ho dal?

„Hoj! když mi bylo běžeti,
uváz mi v lese na sněti —
Čech kacíř bude věděti!“

1860—1861

J. J. SREZNĚVSKÉMU[1]

Buď si Moskva, buď si Praha:
jedna jenom vlast nás pojí.
A kdy naše vlast nám drahá,
zůstaneme vždycky svoji!

1841

inslav

KRÁL TCHOŘ

Bývaly prý v Čechách někdy časy, ale je tomu už dávno, kde každá slepičí obec také byla svým pánem; každá měla svůj dvůr a své smetiště, kde slípky mohly bez překážky hrabati, a měla také svého staršího kohouta, kterýž ji řídil. Co která slípka vyhrabala, bylo její; a když kohout našel zrnko nějaké, svolal k němu všecky své slípky a pak ho nechal jedné, kterou měl nejradši, anebo slupnul to zrnko sám; a jestliže se která slípka proto rozhněvala, klovnul ji a pak byla spokojena. Jakmile někde kohout na dvoře zakokrhal, kokrhali po něm všickni kohouti v celé dědině. Tak to chodilo mnohé věky v nejlepší kázni a bázni a svornosti.

I přihodilo se tehdáž na neštěstí, že žáby kuňky počaly sobě oškliviti své staré řízení; i kuňkaly, kuňkaly, až si vykuňkaly za krále nohatého čápa. To vidouce kohouti a slípky, nechtěli vzadu zůstati za kuňkami a pravili, že by bylo dobré, aby také měli svého vlastního krále. I svolali se na obecný sněm a počali rokovati, co a jak? a byli všickni potud jedné mysli. Když ale přišlo na to, kdo bude králem? tu počaly mezi nimi hádky a rozbroje; neb nikdo nechtěl trpěti, aby druhý nad ním panoval, ale raději chtěl každý sám panovati nade jinými. I počali se kohouti jeden na druhého zpínati a štípali se, až se peří s nich sypalo a hřebeny jim krvácely. Tu poradil jim jeden starý vážný kohout, že by bylo nejlépe, aby si pro zachování pokoje vzali nějakého mocného krále z ciziny; a hned jim jmenoval pana tchoře, ten že je zubatý, silný pán, kterého se každý báti bude, a ten zajisté že mezi nimi učiní pokoj a dobrý řád. I zalíbila se ta rada všem, a hned poslali k panu tchořovi, aby s ním o to udělali pořádnou smlouvu. Pan tchoř, vyrozuměv jich žádosti, měl se k nim velmi přívětivě a povolně; sliboval, že je zachová při všech jejich právech a starobylých svobodách, že je bude chrániti před luňákem, kterýž jim děti unáší, před kunou, kteráž jim vejce pije, i před vrabci zloději, kteří jim před samým nosem zrní kradou; sliboval také, že pěkné, velké kohouty udělá svými královskými radami, komorníky a jinými důstojníky. I líbilo se to všem, co sliboval, slípkám i kohoutům, a s velikou slávou posadili pana tchoře na svůj královský trůn a byli rádi, že mají tak mocného a dobrotivého krále.

Netrvalo dlouho a zachtělo se panu králi tchoři slepičí krve.

inslav

I umínil si na některého svého poddaného vyhledati nějakou vinu, aby ho pak pod tou zástěrou mohl zakousnouti a krev jeho vycucati; neb nechtěl ještě zjevně ukázati svou pravou tchoří povahu, aby si kohoutův a slípek nerozplašil. I povolal k sobě milostivě jednoho pěkného, tučného kohouta a ptal se ho, zdali nic necítí? Kohout byl dobrá, poctivá duše a řekl upřímně: „Rač, Vaše Milost královská, odpustiti, cítím náramný smrad.“ Byl to smrad, kterým všickni páni tchořové zapáchají, byť i na slepičím trůně seděli. „Ho, drzý, hanebný padouchu!“ osopil se na něho tchoř, „tak-li se opovažuješ svému králi a pánu vůči mluviti?“ a chňap! jediným rázem ukousl kohoutovi hlavu a pak mu vycucal krev. Potom povolal k sobě druhého a ptal se ho též, zdali nic necítí? Kohout vida tu bezhlavé tělo svého tovaryše a ústa Jeho Milosti tchořovské zmazané krví, poznal, že dobře není. I počal se strachem velikým po celém těle třásti a nemohl ani slova promluviti. „Proč se třeseš?“ osopil se na něj král, „tuším, že nemáš dobrého svědomí? pověz, co cítíš.“ Kohout sebral všecky své síly, poklonil se hluboce a řekl tenkým, slaďoučkým hláskem: „Královská Milosti! cítím přelíbeznou vůni.“ — „Ho, zrádce ošemetný!“ zkřikl král zuřivě, „chceš lichocením zastříti své padoušství?“ a chňap! ukousl mu hlavu zas a krev vycucal. Tchoř měl sice už nyní dost, ale ta hračka s kohouty dělala mu potěšení; a proto povolal si ještě jednoho kohouta a také se ho tázal, co cítí? Ale ten byl chytrák; viděl tu sice dobře ty dva bezhlavé a také pozoroval něco na královských vousech jako krev, ale dělal se neviďa. I uklonil se zdvořile několikrát a odpověděl panu králi opatrně: „Rač odpustiti, Vaše Milost královská! dostal jsem náramnou rýmu z letošního vlhkého počasí, a proto, bohužel! ničehož necítím.“ Pan král vida, že se mu kohout z nastrojené smyčky vyvlekl, a nemaje v nenadání na něj nic jiného pohotově, ráčil se dobrotivě usmáti a propustil jej v milosti.

1862

inslav

BOŽENA NĚMCOVÁ

БОЖЕНА НЕМЦОВА

(1820—1862)

Божена Немцова, крупнейшая представительница первого периода развития чешского реализма, родилась в Вене, в семье конюшего. Детство и юность она провела в Чехии, в местечке Ратиборжице у Ческе Скалице, где окончила начальную школу. В дальнейшем писательница пополняла свои знания самостоятельно. Семнадцати лет она была выдана замуж за акцизного чиновника Й. Немца, разделявшего взгляды чешских патриотов. В связи с частыми перемещениями мужа по службе, Немцовой довелось жить во многих городах Чехии (в Литомышли, Праге, Домажлицах и др.), что значительно обогатило ее представления о жизни народа. В начале 40-х гг. в Праге писательница познакомилась с К. Я. Эрбеном, К. Гавличком-Боровским, поэтом-переводчиком Вацлавом Бендлом и другими деятелями чешской культуры. К этому времени относятся и первые литературные опыты писательницы. Характерно ее большое внимание к народному творчеству.

Среди первых произведений Немцовой значительное место занимали сказки, созданные по народным мотивам. В 1846 г. писательница выпускает свою первую книгу «Народные сказки и повести» („Národní báchorky a pověsti"). В это же время в печати появляется и ряд других произве-

inslav

дений Немцовой, главным образом, рассказов из жизни трудового крестьянства («Долгая ночь» — „Dlouhá noc“, «Тоска по родине» — „Domácí nemoc“, «Деревенская картинка» — „Obrázek vesnický“ и др.).

В 1847 г. были опубликованы очерки Немцовой «Картины из окрестностей Домажлиц» („Obrazy z okolí Domažlického“). С большой любовью рисуя в них жизнь чешских крестьян, Немцова не только изображает горе и нужду бедняков, но и осуждает их угнетателей.

Будучи близкой по своим взглядам к радикально-демократическому крылу участников революции 1848 г., Немцова во время революционных событий активно участвовала в антиправительственных демонстрациях, призывала крестьян к выступлению против абсолютизма. В памфлете «Сельская политика» („Selská politika“), написанном в 1848 г., писательница выступила с резкой критикой конституции, провозглашенной австрийским правительством, указывая на то, что она ничего не дала трудящимся.

В конце 40-х гг. Немцова познакомилась с идеями утопического социализма, что отразилось на ее дальнейшем творчестве, помогло ей глубже осознать классовые противоречия чешской действительности. «Чем больше богатеет одна часть населения, тем больше бедствует и беднеет другая», — писала она впоследствии. Однако, реалистически рисуя обличительные картины социального неравенства (помещиков и крестьян, полупролетарских элементов города и буржуазии), резко осуждая тунеядство, паразитизм, писательница в ряде произведений высказала мысли о возможности устранения противоречий между богатством и нищетой путем морального самоусовершенствования богатых.

В период реакции, наступившей в Чехии после революции 1848 г., литературная и просветительская деятельность Немцовой вызвали нападки со стороны официальной печати. Писательница подверглась травле, за ней был установлен полицейский надзор. Для Немцовой наступили тяжелые годы нужды и полуголодного существования. Но это не сломило ее. Именно в этот период создала она наиболее значительные из своих произведений, с появлением которых в чешскую литературу входит жизнь деревни и ее обитателей — простых сельских тружеников.

Главный герой произведений Немцовой — чешский крестьянин. С его общественных позиций, в основном, и выступает писательница в своих центральных произведениях: повестях «Бабушка» („Babička“, 1855), «В замке и около замка» („V zámku a v podzámčí“, 1857), а также в известных рассказах «Карла» („Karla“, 1855), «Дикая Бара» („Divá Bára“, 1856) и др. Воспевая в своих произведениях любовь к труду и родной земле, рисуя богатство и красоту духовного мира простого человека, Немцова показывает, что носителем здоровой морали является именно он, труженик земли. В повестях реалистически изображены резкие социальные контрасты чешской деревни, помещичья эксплуатация, социальный протест крестьян (контраст как прием изображения очень характерен для художественного метода писательницы).

В ряде рассказов («Барушка» — „Baruška“, «Сестры» — „Sestry“ и др.) Немцова обращается к теме жизни служащих, мелких чиновников, городской бедноты.

inslav

Повести и рассказы Немцовой воспроизводят правдивые картины быта, нравов и обычаев чешского крестьянства. Писательница знакомит читателя с народными легендами и преданиями, песнями и сказками, проникновенно изображает чешскую природу. Герои ее книг говорят живым народным языком. Писательница мастерски использует образность чешской разговорной речи. Художественное своеобразие творчества Немцовой наиболее полно проявилось в ее повести «Бабушка», одном из самых популярных и любимых произведений в Чехии.

Значительное место в творчестве Немцовой занимают ее выступления против мещанской морали и обывательских вкусов («За чашкой кофе» — „Kávová společnost").

Немцова была горячей поборницей дружбы и единства чешского и словацкого народов. Целый ряд произведений писательницы посвящен изображению жизни словаков: «Картины из жизни словаков» („Obrazy ze života slovenského"), «Зволенские леса» („Kraje a lesy v Zvolensku"), «Хижина у подножия гор» („Chyše pod horami") и др.

Заботясь о создании и развитии чешской национальной литературы, Немцова живо интересовалась творчеством зарубежных славянских писателей, в частности Пушкина и Гоголя.

Не сумев в силу исторических условий подняться до понимания всей суммы социальных задач, стоящих перед трудящимися, Немцова одной из первых в чешской литературе выступила в их защиту. Творчество Немцовой сыграло выдающуюся роль в становлении чешской реалистической прозы.

BABIČKA

В лице главной героини повести — бабушки, женщины из народа, писательница показала превосходство моральных качеств трудового человека над аристократами. Одной из главных черт характера бабушки является ее любовь к труду, без которого она не может жить. Бабушка одарена тонким умом, горячо любит свою родину и народ, бережно хранит народные традиции, ее симпатии всегда на стороне угнетенных. В приводимой ниже главе показана тяжелая судьба чешских крестьянок и их борьба за свое счастье.

XIV.

Bylo to za několik dní po prvním máji; byl čtvrtek, děti neměly školu a pomáhaly babičce v zahrádce zalívat květiny a víno, které se již po zdi zelenalo. Šly si také zalít svoje stromky; ony měly ten čtvrtek vůbec mnoho práce, neboť tři dni neprohlížela Barunka svoje panny, chlapci nemohli prohnat koníky, vozy, flinty a míče ležely v koutku. V holubníku také nebyli, a králíky krmi-

inslav

la Adelka. Ve čtvrtek muselo se vše vynahradit. Babička hotova jsouc se zalíváním, nechala děti hrát, sedla na drnové sedátko pod modrý bez a pustila se do přádla, neboť nebyla zvyklá ani chvíli zahálet. Byla smutná, ani si nezpívala, ani si nevšímala černé slepice, která vešla otevřenými vrátky do zahrady, a když nikdo nebránil, na záhonku si hrabat začala. Sivá husa pásla se u plotu, žluté její housátka prostrkovaly hlavičky plotem, všetečně do zahrady nahlížejíce; babička měla je velmi ráda, ty housátka, a teď si jich ani nevšimla. Na kolikero stran myšlénky její zabíhaly. Přišel zvěst z Vídně od Jana, že nepřijedou v polovici máje, komtesa Hortensie že se těžce roznemohla. Dá-li jí bůh zase zdraví, pak že by snad paní kněžna se podívala na panství, jisto však že to není. Paní Terezka, když list přišel, plakala, děti také plakaly. Vilím měl na dveřích jen několik čárek ještě k smazání, a tu najednou bylo všecko těšení nadarmo. A ta dobrá, milá Hortensie aby měla umřít, to jim nešlo ani do hlavy; nezapomněly při žádném modlení obětovat otčenáš za její uzdravení. Ale což děti spokojily se zase, paní Terezka však, beztoho málomluvná, ještě méně mluvila, a kdykoliv babička do pokoje k ní přišla, viděla ji uplakanou. Posílala ji tedy raději na návštěvy, aby se vyrazila; ona byla babička vůbec ráda, když Terezka někam si vyšla, neboť viděla předobře, že se přece jen dceři v osamělém staveníčku mnohdy stýská a že by raději živa byla v hlučném světě, jemuž po mnohá léta byla uvykla. V manželství byla velmi šťastna, ale to zlé bylo při tom, že Jan největší část roku ve Vídni trávit musel a ona ve strachu a stesku bez něho žít musela. A nyní neměla vidět manžela, děti otce snad celý rok. „Pro život zas život," povídala si babička. S Janem chtěla přijeti Johanka, druhá dcera babiččina; chtěla se přijít na matku podívat, s ní se potěšit a také poradit, neboť se měla vdávat. Velice se již babička těšila, a nyní měla též po naději. Mimo to vše trápil ji Mílův odvod. Míla byl švarný, upřímný hoch, Kristla byla hodné děvče, babička je měla oba velmi ráda, byla by přála, aby se za sebe dostali. „Když se rovný k rovnému sejde, bývá shoda a pánbůh sám radost má z takového manželství!" říkala. Avšak i té radosti hrozila těžká rána, Míla šel ráno s ostatními k odvodu. To všecko leželo babičce v hlavě, a proto byla smutná.

„Babičko, jen se dívejte, Černá tu hrabe. Počkej, ty opice!

inslav

Vššša!" ozval se Barunčin hlas, a babička, pozdvihnouc hlavu, viděla slepici letět ze zahrady a na záhonku vyhrabaný důl. — „To je kůže, jak si chytře přišla! Vezmi hrábě, Barunko, a oprav záhonek. Hleďme ji, a husy jsou tu také. Ono mne to volá, je čas, šlo by to na hřad, já se trochu zapomněla. Musím jim nasypat." To řkouc odložila babička vřetánko a šla si nakrmit drůbež. Barunka zůstala v zahrádce, srovnávala záhon. Za chvíli přišla Kristla. „Jste tu sama?" ptala se nahlídnouc přes plot. — „Jen pojď dále, babička přijde hned, šla sypat drůbeži," zvala Barunka. — „Kdepak je matka?" — „Šla do města navštívit kmotřinku; to víš, maminka pláče, poněvadž tatínek snad ani letos nepřijede, proto babička maminku raději posílá, kde by se trochu vyrazila. My se všecky tolik na tatínka těšily, a na komtesu také, a všecko nám sklaplo. Chudák Hortensie!" Po těch slovech Barunka, klečíc na jednom koleně na cestičce, opřela loket o druhé koleno, a položíc si hlavu do dlani, zamyslila se. Kristla sedla pod bez, ruce sepjaté položila v klín, hlava jí sklesla na prsa. Byla všecka ztracena, oči od pláče opuchlé. — „To musí být zlá nemoc ta hlavnice; jestli ona umře, ach bože! Kristlo, ty jsi neměla nikdy hlavnici?" ptala se po chvilkovém pomlčení Barunka. — „Ne, já jsem jaktěživa nestonala; ale teď bude po mém zdraví veta," smutně odpověděla Kristla. Tu se teprv Barunka dobře na ni podívala, a vidouce změněnou její tvář, vyskočila, popošla k ní ptajíc se: „Co je ti? Což je Míla odveden?" Kristla místo odpovědi pustila se do štkání. Vtom přišla babička nazpět. „Už se vrátili?" ptala se rychle. — „Nevrátili ještě," zakroutila Kristla hlavou; „ale vždyť je darmo dělat si naděje. Lucka se prý zapřisáhla, že když ona Mílu nedostane, ani já ho dostat nemám. Co ona chce, to rychtář udělá, on je na ni tuze pyšný, a pan správce udělá zase mnoho kvůli rychtáři. Správcovic slečinka nemůže zapomenout, že byl milovník její od Míly pohaněn, přilívá též žluči, a je všeličeho ještě, milá babičko, co mi naději bere." — „Ale vždyť pak tatík Mílův byl na kanceláři, a jak slyším, nesl s sebou hezkých pár zlatých; byla by tedy přece čáka." — „Pravda, to jediná naše naděje, když ho vyslechli, že snad přece pomohou; ale stalo se již nejednou, že vyslechli a nepomohli; řekli zkrátka, že to nešlo, a člověk musel být spokojen." — „Snad se to Mílovi nestane; a kdyby přece, myslila bych, aby otec jeho ty peníze, co obětuje na úplatky, když by se nepodařilo, sebral, tvůj tatík aby ostatní při-

inslav

dal a Mílu vyplatili dle práva; měli byste po starosti." — „Kdyby nebylo kdyby, milá babičko. Za jedno jsou peníze, co starý Míla již nyní dal, ty tam, za druhé nemá můj tatík na hotovosti víc, než co potřebuje do živnosti, a byť měl i Jakuba dost rád a vzít si ho mi dokonce nebránil, přece by mu bylo milejší, aby mu zeť do živnosti přinesl, a ne odnesl. A konečně dejme tomu, že by je i chtěl sehnat, Míla je hrdé nátury, nechce ode mne čehož přijmout, nedopustil by, aby ho můj tatík vyplatil." — „On si snad myslí: ‚Dostaneš-li velikého věna, bude ti, muži, poroučet žena,' a tomu se každý hrdý muž vyhýbá, milá holka; tu by mu ale povolnost k necti nesloužila. Ostatně nač mluvit o něčem, co snad udělat potřeba nebude, a kdyby byla, stěží se vykonat dá." — „Chyba, veliká chyba, že se to stalo s tím Taliánem; já se tomu tenkráte smála, teď ale nad tím pláču," pravila Kristla. „Kdyby toho nebylo, byl by se dostal Míla do dvora, dvě léta byl by tam sloužil a zprostil se vojny. To mne nejvíc trápí, že já vlastně vinna jsem."

„Bláhová, proč bys vinila se, jako by tuhleta sedmikráska za to mohla, když bychom, obě ji chtíce mít, o ni se pohádaly. Tož bych já se musela též vinit, že jsem přivedla mého nebožtíka do podobné nesnáze; byla to skoro podobná případnost jako u tebe. Milá brachu, cožpak člověk, když ho hněv, žehravost, láska aneb jakákoli vášeň uchvátí, má tolik kdy, aby se s rozumem radil? Tu chvíli kdyby po něm bylo, nebude dbát. A což je to všecko platno, i ten nejdokonalejší člověk podléhá slabostem." — „Babičko, vy jste již lonský rok o svátku pana Proška řekla, že váš nebožtík podobného cos dokázal, zač utrpěl, a nyní jste se zmínila zase; já zapomněla jako na smrt tázat se vás od té doby, povězte mi to nyní. Ujde chvíle, přijdem na jiné myšlénky, a sedí se tu pod tím bezem až milo," prosila Kristla. — „Třebas," řekla babička; „ty Barunko, jdi a dej pozor po těch dětech, ať mi to nejde k vodě!" Barunka odešla a babička začala: „Byla jsem děvčice vyrostlá již, když začala Marie Terezie s Prusem vojnu. O něco se nepohodli.*) Císař Josef s vojskem přitáhl k Jaroměři a Prus položil se u hranic. V celém okolí bylo vojsko rozloženo i po vesnicích. V naší živnosti měli jsme několik sprostých vojáků a jednoho důstojníka. Byl to člověk lehké mysli, z těch, jimž se zdá, že hned každé děvče do svých tenat vpletou jako pavouk mouchu. Já ho

* Spor o dědictví bavorské 1777.

inslav

zkrátka odbyla, ale on si z mých slov ničeho nedělal, střásl je se sebe jako rosu. Když řeč nic neprospěla, zařídila jsem si všechny pochodky tak, abych se s ním nikdež potkat nemusela samotná. To víš, jak to je, že musí děvče kolikrát za den běžet tu na pole, tu na trávu, že odejdou domácí a nechají ji samotnou, zkrátka, že není zvyk ani potřeba, aby kdo děvčata hlídal, že se musí hlídat samy, a tu naskytne se příležitosti dost pro svůdného člověka k pronásledování. Ale pánbůh mne chránil. Na trávu chodívala jsem časninko zrána, když ještě všecko spalo. Já od mladosti časně ráno vstávala, matka mi vždy říkala: ‚Kdo časně vstává, tomu pánbůh dává.‘ Měla pravdu, kdybych ani jiný užitek z toho byla neměla, tedy radost. Když jsem vešla zrána do sadu nebo do pole a viděla travičku pěkně zelenou, porosenou, srdce se mi na ni smálo. Každé kvítečko stálo jako panna, s pozdviženou hlavičkou, s vyspalýma očkama. Všude čpěla vůně, z každého lístečku, z každé travičky. Ptáčkové, chudinci malí, nade mnou se vznášeli, zpěvem pánaboha chválíce; jinak všude svaté ticho. Když pak začalo slunce za horami vycházet, bývalo mi vždy, jak bych v kostele stála, zpívala jsem si a práce mi šla od ruky jak by hrál. Jednou tedy zrána kosím, bylo to v sadu, tu slyším za sebou: ‚Pomáhej pánbůh, Madlenko!‘ Ohlídnu se, chci říci ‚Dejž to pánbůh!‘, ale nemohla jsem leknutím promluvit, srp mi vypadl z ruky.“ — „Byl to ten důstojník, ne?“ vskočila jí do řeči Kristla. — „Počkej jen, pomalu,“ pokračovala babička; „nebyl to důstojník, sice bych byla srp nepustila. To bylo radostné leknutí. Jiří stál přede mnou! Musím ti říci, že jsem ho tři léta neviděla. To víš, že byl Jiřík syn naší sousedky Novotné, té samé, co se mnou byla, když jsme s císařem Josefem mluvily?“ — „Ano, to vím, také jste nám povídala, že místo kněze z něho se stal tkadlec.“ — „No ano, to byl jeho strýc vinen; hochovi šlo učení jak by hrál, kdykoliv tatík pro něho do Rychnova jel, vždy slyšel jen chválu o něm. V neděli, když byl doma na vakacích, čítal místo mého tatíka, který byl přece výborný čtenář, sousedům z bible a tak mu to šlo, že jsme s radostí poslouchaly; Novotná říkávala: ‚Jako bych toho hocha už viděla kázat.‘ My se všichni k němu chovali, jako by již vysvěcen byl, kde která co dobrého dělala, poslala mu, a jestli se omlouvala Novotná: ‚Ale bože, co my vám zase dáme‘, říkaly: ‚Až bude Jiřík panem páterem, dá nám požehnání.‘ My spolu rostli, co jeden to druhý, ale když přišel o druhých, třetích vakacích, neměla jsem

inslav

už k němu té smělosti, styděla jsem se ho, a když mnohdy za mnou přišel do sadu a mermomocí mi pomohl trávu nést, dělala jsem si z toho hřích, že mu v tom povoluju, opakovala jsem mu, že se to pro pana pátera nesluší, ale on se mi smál; to prý ještě kolik košů vody uteče, než on kázat bude! Bývá tak, že lidé míní, a pánbůh mění. Najednou, když byl na třetích vakacích, přišlo vzkázání z Kladska od strýce Jiříkova, aby tam k němu přišel. Byl ten strýc tkadlec, tkal krásné činované věci; tím si vydělal hezkých pár zlatých, a že neměl žádných dětí, vzpomněl si na Jiříka. Kmotra nechtěla ho poslat, ale tatík sám jí domlouval, aby ho nechala jít, že to může být k jeho štěstí a bratr otcův že má přece jakési právo k němu. Šel; kmotra a můj tatík ho provázeli, jdouce spolu do Vambeřic na pouť. Oni přišli zpátky, Jiřík tam zůstal. Stýskalo se po něm všem, mně ale a kmotře nejvíc, jenže ona o tom mluvila a já se nikomu nepochlubila. Strýc slíbil, že se bude o něho starat jako o svého. Kmotra myslila tedy, že chodí v Kladsku do škol; těšila se již, že dostane co nevidět první posvěcení, a medle — Jiří za rok přišel domů se podívat co vyučený tkadlec! Kmotra plakala až hrůza, ale co dělat, Jiří ji prosil a přiznal se, že neměl pražádnou chuť na kněžství jít, ačkoliv by byl rád dál študýroval. Ale strýc že mu to vymluvil, že mu představil, jak dlouho by se musel nuzovat a potloukat po školách, po úřadech, nežli by došel kousku chleba, domlouval mu, aby se chopil řemesla, to že ho uživí záhy, řemeslo že je zlaté dno, a tím lepší pro něho, když i jinak je cvičen. Zkrátka, Jiří dal si říci, učil se tkalcovství, a že se všeho s celou chutí uchopil, prospíval i v řemesle. Strýc mu dal v roce za vyučenou; pak poslal ho do světa na zkušenou, a sice nejprve do města Berlína k svému známému, kde se měl ještě dotvrdit. Jiří ale stavil se dříve ještě v Čechách u nás. Tenkráte mi přinesl tuten růženec z Vambeřic.“ To řkouc vytáhla babička ze záňadří klokočový růženec, který nikdy neodložila, chvilku se na něj s pohnutím dívala, pak zas políbíc ho schovala a pokračovala dále: „Můj otec neměl Jiřímu za zlé, že se dal na řemeslo, domlouval Novotné, aby si z toho nic nedělala, že ji naděje zmehla. ‚Kdoví, k čemu to dobré,‘ povídal; ‚nechte ho, jak si udělal, tak bude mít. Třebas cucky přepřádal, jen když svému dílu bude rozumět a zůstane poctivým, hodným člověkem, pak zaslouží takovou čest jako kterýkoli pán.‘ Jiří byl rád, že se kmotr na něho nehněval, neboť ho měl co vlastního otce.

inslav

I Novotná si dala říci — jakpak by nedala, vždyť to bylo její dítě, které milovala, nemohla tedy chtít, aby se cítilo nešťastné ve svém stavu. Pobyl u nás Jiří několik dní, pak odešel do světa a tři léta jsme ho neviděli a hrubě ani o něm neslyšeli, až se to ráno přede mnou vyskytl. Můžeš si myslit, jakou radost jsem měla. Hned jsem ho poznala, ačkoliv se velice změnil; vysoký byl neobyčejně, přitom tak pěkně urostlý, že by těžko bylo rovně mu pohledat. Sehnul se ke mně, vzal za ruku a povídá, proč jsem se ho tak lekla? ‚Jak se neleknout,' řku, ‚vždyť jsi se tu octnul, jak bys s oblak spadl. Odkud jsi přišel a kdy?' — ‚Jdu přímo z Kladska, strýc se bojí, poněvadž všude tam verbujou, aby mne někde nesebrali verbíři; poslal mne, sotva jsem se ze zkušené vrátil, do Čech a myslí, zde že se snáze skryju. Protloukl jsem se šťastně přes hory, a tu jsem.' — ‚Ale propánaboha,' povídám mu, ‚jen aby tě tu nesebrali; co říká máma?' — ‚Já ji ještě neviděl. Ve dvě hodiny s půlnoci jsem dorazil na místo. Nechtěl jsem mámu budit. Lehneš si na trávu pod Madlenino okno, ona je raná, počkáš, až vstane, pak půjdeš, myslil jsem a lehl si na zelenou peřinu. Opravdu o tobě se darmo neříká ve vsi: Než skřivan zpívat začne, Madlena nese trávu domů. Sotva svítá, a ty už kosíš. Já tě viděl u studně mýt, česat se, a sotva že jsem zdržet se mohl, abych k tobě nepřiskočil; když jsi se ale modlila, nechtěl jsem tě vytrhovat. Ale teď mi pověz, jestli mne máš ještě ráda?' Takovou řeč vedl; jak jsem měla jinak říci, nežli že mám, vždyť pak jsme se měli rádi od mladosti a jaktěživa mi na jiného myšlénka nepřišla. Trochu jsme povídali, pak vklouzl Jiří do chalupy k mámě, já zase šla povědít tátovi, že přišel. Tatík byl moudrý člověk, jemu se nelíbilo, že Jiří přišel v takovou nebezpečnou dobu. ‚Nevím,' povídal, ‚jestli zde ujde bílému kabátu; co možného bude, uděláme, abychom ho uklidili; jen žádnému neříkejte, že je tu.' Novotná, ačkoliv měla velikou radost, měla přitom přece hrozný strach, neboť byl Jiří k rekrutýrce vypsán a jen tím ušel, že nevěděl nikdo, kde je. Tři dni seděl ukrytý na hůře v seně. Přes den byla u něho máma, navečer vklouzla jsem i já k němu a vespolek jsme si potom o všeličem povídali. Měla jsem takový strach o něho, že jsem chodila celé dni jako zmámená ovce a zapomněla důstojníku se vyhýbat, takže jsem mu několikrát přišla do rány. On mysle snad, že se chci dobřit, začal hned zpívat starou notou; nechala jsem ho mluvit, ani jsem mu nepřišla tak zhruba jako kdy jindy, protože jsem se bála o

inslav

Jiříka. Jak povídám, Jiří byl ukryt; mimo mne, jeho mámu a mé rodiče nevěděl nikdo o něm; třetí večer jdu z chalupy, trochu jsem se u Jiříka déle zdržela, bylo už ticho všude a hodně tma, tu mi vběhne do cesty důstojník. Vyčíhal mne, že chodím večer ke kmotře, a tu si u sadu na mne počkal. Co dělat? Mohla jsem jen křiknout, ale Jiří na hůře každé hlasité slovo byl by zaslechl a svolat ho jsem se bála. Spolehla jsem se na svoji sílu, a když si nedal důstojník říci po dobrém, pustili jsme se spolu na pěst. Nesměj se, holka, nesměj, nekoukěj na mne, jaká nyní jsem; bylať jsem ovšem nevelká, ale sporá, ruce moje, zvyklé na těžkou práci, byly tvrdé. Byla bych mu dobře odolala, kdyby byl ve vzteku nezačínal na mne lát a hřešit. Tím se prozradil, a najednou jako hromová rána octl se mezi námi Jiří, popadna ho za chřtán. Slyšel hřešení, vykoukl z vikýře, v polotmě mne poznal a také hned vikýřem dolů skočil, div to věru, že hlavu nesrazil. Ale což on pomyslil nač, nedbal, kdyby pod ním i hranice byla hořela. — ‚Je to způsob s poctivým děvčetem se tu v noci prát, pane?‘ křičel Jiří. Já ho chlácholila, prosila, aby pomyslil, v čem je, ale on držel pána jako v kleštích, zlostí se třesa. Přece si ale dal říci. ‚V jiné chvíli a na jiném místě bychom si něco jiného pověděli, ale není zde k tomu čas, tedy slyšte a pamatujte. To děvče je mojí nevěstou; nebude-li mít budoucně před vámi pokoj, promluvíme spolu jinak. Nyní jděte!‘ Poté přehodil pána přes vrátka jako hniličku; mne pak vzal okolo krku a povídá: ‚Madlenko, pamatuj na mne, pozdravuj mámu a buďte tu zdrávi, musím tu chvíli pryč, sice mne chytí. Nebojte se o mne, já znám každou stezku a jistě se protluču do Kladska, kde se přece nějak ukryju. Prosím tě, přijď do Vambeřic na pouť, tam se shledáme!‘ Než jsem se vzpamatovat mohla, byl ten tam. Já běžím hned k Novotné povědít, co se stalo; jdeme k našim, všichni jsme byli jako beze smyslu. Každého šumotu jsme se lekali. Důstojník rozeslal vojáky na všecky cesty, nepoznaje Jiřího myslil, že je přespolní a že ho někde natrefí, ten ale jim šťastně uklouzl. Vyhýbala jsem se pánovi, jak jsem jen mohla, ale on nemoha se jinak pomstít, ostouzel mne po vsi, jako bych špatné děvče byla. Znali mne všickni, nepodařilo se mu. Na štěstí přišel rozkaz, aby se vojsko hnulo zpět, Prus vtrhl přes hranice. Ono z celé té vojny nic nebylo, sedláci říkali jí ‚koláčová‘, protože prý vojáci, když snědli po vesnicích koláče, domů se vrátili.“

inslav

„A jak se dělo s Jiřím?" ptala se Kristla s napnutostí poslouchajíc. — „Nevěděli jsme o něm ničehož až do jara, poněvadž s těmi nepokoji nikdo nepřecházel. Byli jsme jako na trní. Přišlo jaro — a ještě nic; vydala jsem se na pouť, jak jsem byla Jiříkovi slíbila. Šlo více známých a naši mne jim dali na starost. Vůdce náš byl kolikráte v Kladsku, a tatík mu nařídil, aby mne tam dovedl, on tam znal každý kout. ‚Stavíme se u paní Lidušky, abychom se trochu spořádali,' řekl vůdce, když jsme přišli do města. Vešli jsme do malé hospody na předměstí. K paní Lidušce zacházeli všickni, kteří z Čech přišli; ona byla z naší krajiny. Tenkráte se ještě v Kladsku mluvilo všude česky, než to bývá tak, že se lidé rodilí z jedné krajiny rádi hledají. Paní Liduška nás s velikou radostí přivítala, museli jsme do její sedničky. ‚Jen se posaďte, já tu jsem hned, jen trochu vinné polívky vám přinesu,' pravila ochotně a ztratila se ze dveří. Já měla srdce jako v kleštích, byla to radost, že se s Jiřím shledám, i strach, že se mu snad cos přihodilo zatím, co jsme o něm neslyšeli. Tu najednou zaslechnem venku známý hlas pozdravovat paní Lidušku a ji zase volat: ‚Jen dále, pane Jiříku, jsou tam poutníci z Čech!' Dvéře se rychle otevřely a v nich se ukázal Jiří, avšak zhlídnouc ho, zůstala jsem jako hromem omráčená. Byl ve vojenském šatu. Mně se dělaly mžitky! Jiří mně podal ruku, vzal do náručí a skoro s pláčem povídal: ‚Vidíš, Madlenko, já jsem nešťastný člověk; sotvaže jsem uchopil se řemesla a střásl se sebe, co se mi nelíbilo, již mám zase nové jho na krku. Z deště jsem utekl a dostal se pod okap. Kdybych v Čechách byl, alespoň bych sloužil svému císaři pánu, a zde sloužit musím cizému.' — ‚Proboha tě prosím, cos to dovedl, že tě vzali?' povídám mu. — ‚Inu milá, mladost nerozum. Nevěřil jsem zkušenému strejci, když jsem od vás utekl, všude se mi stýskalo, všecko bylo mi proti mysli. Šel jsem jednou v neděli s několika kamarády do hospody, nedbaje na žádné domluvy. Pili jsme, až jsme se opili, tu přijdou do hospody verbíři.' — ‚Ti lotři,' vskočila mu do řeči paní Liduška, která právě polívku přinesla; ‚kdyby pan Jiřík byl u mne býval, nebylo by se mu nic stalo; já ty jejich klamy mamy netrpím u mne; však pan strýc jinám nejde než k Lidušce. Inu, člověk má svědomí; ten mladý lid — inu co je dělat, když to nemá rozumu. Už si z toho nic nedělejte, pane Jiříku, jste čistý hoch, náš král má rád velké vojáky, nenechá vás dlouho bez hůlky.' — ‚Ať je to již jak chce,' začal Jiří,

inslav

‚co se stalo, stalo se. My nebyli svoji, verbíři nás obalamutili, a když jsem vystřízlivěl, byli jsme já a Lehotský, můj nejmilejší kamarád, vojáky. Myslil jsem, že si hlavu strhnu, ale co dělat. Strýc také naříkal dost; konečně přemýšlel, jak by se alespoň celá ta věc zlepšit dala, když ne napravit. Šel k generálovi a to uprosil, že jsem zůstal zde, že se co nejdřív kaprálem stanu a — no, to si povíme ještě. Jen mi teď nedělej těžké srdce, jsem rád, že tě vidím.‘ Museli jsme se potěšit, jakkoli se dalo. Později dovedl mne Jiří k strýcovi, který nás rád viděl. Večer přišel také jeho kamarád Lehotský, hodný to člověk. Však si zůstali s Jiřím věrni až do smrti. Jsou už oba na věčnosti, a já tu ještě jsem.“

„Vy jste se už domů nevrátila, babičko, viďte, dědeček si vás vzal?“ vytrhla Barunka, která se byla dávno již vrátila, babičku ze zamyšlení, do něhož padla při vzpomínce na ony blaženě strávené chvíle při tomto shledání. — „Inu ovšem, nechtěl jinak dát. Dovolení k ženění, to bylo to, co mu ještě strýc vymohl. Čekali jen, až přijdem na pouť. Jiří na noc odešel, já zůstala noclehem u strýce. Byl to dobrý staroušek, pánbůh mu dej nebe. Druhý den časně ráno Jiří přiběhl a dlouho se strýcem se o něco radili. Pak přišel ke mně a povídá: ‚Madlenko, řekni mi upřímně, na dobré svědomí, máš mne tak ráda, abys se mnou i zlé snášela, otce i matku opustila?‘ Já řku, že mám. Když ano, tedy zůstaň zde a buď mojí ženou,‘ povídá a uchopí mne za hlavu a líbá. Nikdy mne nelíbal, není ten zvyk mezi námi, ale to samou radostí nevěděl chudák ani, co dělá. ‚Ale co řekne máma, co řeknou naši?‘ povídám a srdce se mi třáslo radostí a teskností. — ‚Co by říkali, vždyť nás mají rádi, vždyť nebudou chtít, abych se usoužil.‘ — ‚Ale můj bože, Jiříku, přece nám musí dát rodiče požehnání.‘ — Jiří neříkal na to nic, ale strýc přistoupil k nám, poslal Jiříka ven a povídá: ‚Madlenko, tys nábožná děvčice, líbíš se mi, vidím, že bude Jiří šťasten a že ne darmo po tobě si naříkal. Já bych mu bránil, kdyby to byl jiný člověk, ale on má svoji hlavu. Kdyby mne nebylo, byl by si zoufal, když ho odvedli, já trefil ho potěšit, a sice tím, že jsem mu vymohl dovolení k ženění. Nemohu zůstat ve lži. Do Čech nesmí; a kdybys ty zase domů šla, kdožví zdali by tě vaši nepřemlouvali. Až budete svoji, pak pojedem spolu do Olešnice, a rodiče ti požehnání neodeprou. Poutníkům dáme s sebou list. Pozejtří budete mít oddavky ve vojenské kapli, já budu zastávat místo vašich rodičů a beru si to zodpovídání na svědomí.

inslav

Madlenko, podívej se na mne, mám hlavu jak sníh, myslíš, že bych něco udělal, z čeho bych nemohl před bohem odpovídat?' Tak mi řekl strýc a slze mu tekly po tvářích. Svolila jsem ke všemu. Jiří div se nezbláznil radostí. Neměla jsem více šatstva, než co jsem měla na těle. Jiří mi hned koupil sukni, kabátek a granáty na krk k oddavkám, ostatní mi zaopatřil strýc. Jsou to ty samé granáty, co mám, mezulánka naháčové barvy a oblakové barvy kabátek. Poutníci odešli, strýc jim dal s sebou list, že tam několik dní zůstanu a s ním přijedu, více nepsal nic. ,Lepší bude, když si to povíme,' mínil. Třetí den ráno jsme měli oddavky, vojenský kněz nás oddával. Paní Liduška byla starosvata, Lehotský byl mládkem, jeho sestra družice, strýc a ještě jeden měšťan svědky, ostatně tam nebyl nikdo. Paní Liduška nám vystrojila snídaní, a tak jsme ten den v bázni boží a v radosti strávili, vzpomínajíce jen na naše domů. Paní Liduška škádlila Jiříka u stolu, ustavičně mu říkala: ,Vy vy, pane ženichu, ani vás nepoznávám, to není ten zamračený pan Jiřík; ale není divu, že vám tvář září!' Mluvilo se sem tam, jak to už bývá. Jiří chtěl hned, abych u něho zůstávala, strýc tomu ale nedopustil, až se prý vrátíme z Čech a z vambeřické pouti. Za několik dní jsme jeli do Olešnice, já a strýc. To divení, že jsem ženou, a matčin pláč, že je Jiří vojákem, nemohu vám popsat. Moje máma lomila rukama a ustavičně naříkala, že ji chci opustit, do ciziny jít za vojákem, až mi přitom vlasy vstávaly. Tatík ale vždy rozumný a moudrý rozhodl. ,Teď konec,' prál; ,jak si ustlali, tak budou spát. Mají se rádi, ať spolu zkoušejí; ty, mámo, víš, žes pro mne opustila také otce i matku, a to je určení každého děvčete. Kdo za to, že Jiříka potrefila ta nehoda. Ostatně tam není služba dlouhá, až si tu robotu odbude, může přijít sem. A vy, kmotra, upokojte se, Jiřík je moudrý hoch a stýskat se mu nebude, o to se už postaral. Ty, Madlo, neplač, pánbůh ti dej štěstí, a s kým jsi šla k oltáři, s tím abys šla do hrobu.' Těmi slovy dal mi tatík požehnání a slze ho polily. Mámy také plakaly. Moje máma, jakživa o vše starostlivá, měla hlavu plnou. ,To je rozum od tebe,' kárala mne, ,nemá tam kouska peřin, ani nářadí, ani šat, a vdá se. Co jsem na své nohy vstala, jsem neviděla takový obrácený svět.' Dostala jsem pořádné vybytí, a když jsem měla všecko v pořádku, vrátila jsem se k Jiříkovi a neopustila ho až do smrti. Ta nešťastná vojna, kdyby té nebylo, mohl tu být ještě. Vidíš, že vím, milá holka, co je radost i co je

inslav

žalost, že vím, co je mladost i nerozum," dokončila babička, položíc s mírným usmáním suchou ruku na Kristlino kulaté rámě.

„Mnoho jste zkusila, babičko, ale byla jste přece šťastna, dostala jste to, co srdce žádalo. Kdybych věděla, že budu i já po všem trápení šťastna, ráda bych je snášela, a byť musela i na Mílu čtrnácte let čekat," pravila Kristla. — „Budoucnost má bůh v rukou. Co bude, to bude, tomu se, holka, nevyhneš, a nejlíp, když se odevzdáš pevnou důvěrou do vůle boží!" — „Jakpak jinak; ale člověk se nemůže mnohdy vzpamatovat, a jestli mi Jakuba odvedou, budu naříkat. S ním odejde všecka radost, s ním moje jediná podpora ztracena." — „Jak to mluvíš, Kristlo, nemáš-li otce?" — „Mám otce hodného, pánbůh mi ho zachovej, ale je přece již starý, broukavý. Již letos ustavičně chtěl, abych šla za muže, by ho měl kdo zastat; což budu dělat, až jestli Jakuba odvedou? A já si přece jiného nevezmu, a kdyby se všickni na hlavu postavili, pracovat budu do úpadu, aby neměl tatík co broukat, a když to nepůjde — nepůjde, vdávat se nebudu. Ach babičko, vy ani nevěříte, jaké já mám trápení v té hospodě! Nemysletež na práci, bože zachraň, z té já si málo dělám, ale to, co musím mnohdy přeslechnout, to mne mrzí." — „A od toho si nemůžeš pomoci?" — „Prosím vás, jak? Kolikrát jsem řekla otcovi: ‚Vidíte, tatíku, tak a tak to je, netrpte takových hostů,' ale on nerad komu co řekne, nerad by si hosty zradil, a tu mně vždy říká: ‚Prosím tě, holka, řekni, co chceš, jen nebuď hrubá, ať se hosté nezradí, víš, že je to naše živnost.' Nemám být hrubá a nevlídná; jsem-li přívětivá, stanu se zase v lecjaké hubě ohryzkem; veselá, zpěvavá, jak jsem vždy byla, sotva budu, co si tedy počnu? Kdyby to byli jen nějací darmotlachové, já bych je brzy sklidila, ale pan správec a písař ze zámku, to jsou hořcí hosté, těch mám plný žaludek. Já se vám to stydím říci, jak mne ten starý kozel pronásleduje, a jako by mi to někdo šeptal, že on si dá záležet, aby dostal Mílu s krku, protože ví, to že je můj obránce, že se bojí, aby se mu nestalo to co Taliánovi. Dělá, jak by chtěl rychtářovi udělat vděk, ba zase za dceru mstí se, vždy ale, filuta, myslí na sebe. Tatík se ho bojí a máma, chudák, to víte, jako by již na světě nebyla, víc leží než chodí, té nemohu s takovou věcí přijít. Kdybych vdaná byla, všecko by to bylo jinačí; když se mi někdo nelíbil, řekla jsem jen Mílovi, a jestli ho nemohl vystrnadit, pozoroval ho, že si netroufal ten člověk hrubě na mne kouknout. Ach

inslav

babičko, kdybych já vám to mohla vypovědít, jak on mne má rád a já jeho, ale to se nedá," a děvče, podeprouc lokte o kolena, vložila tvář do dlaní a zamlčela se.

V tom samém okamžení vstoupil tiše, nepozorován Míla do zahrádky. Jeho krásná tvář byla bolestí rozryta, jasné oči zkaleny; tmavokaštanové kučery, okolo čela se točící, byly ustřihány, místo furiantské vydrovky měl na hlavě vojenskou čepici, na ní struček jedličí. Barunka se Míly lekla, babičce sklesly ruce do klínu, tvář jí zbledla a tiše zašeptala: „Potěš tě pánbůh, hochu!" Když ale Kristla hlavu pozdvihla a Míla ruku jí podávaje skoro bezzvučným hlasem řekl: „Jsem voják, za tři dni musím do Hradce!", padla mu beze smyslu do náručí.

1855

KAVOVÁ SPOLEČNOST

Pan rada odcházeje: „Tedy zase visita. Proklaté visity — já si nemohu kabát koupit — dluhů plno — ale visita musí být. — Já ti to jednou všecko vyházím!" — S takovou přitlačí si pan rada klobouk na hlavu a bouchne dveřmi.

„Ty — ty vyházíš — hubou!" ušklíbne se po něm paní radová, obrátí se k slečně Kamile, své dceři, která čte právě zajímavý román od Paul de Kocka — porouči jí: „Teď nech čtení a pojď mi pomoci, máme je tu hned na krku — und ich will nich di Schond haben! — aby se řeklo, jako o Burgermeistrové, že se musí na kafe čtyry hodiny čekat."

„Prosím tě, mutr, dej mi s tím pokoj!" odpoví slečna, ani se nepohnouc. — Radová chce něco odpovědít, vtom ale přichází do dveří služka. „Jejich milosti," vyřizuje, „nenesu cukr, ani rum, ani to thé, kupec mi to nechtěl na dluh dát, dokud jejich milosti nezaplatí starý dluh!" — ‚Impertinentní chlap. Nemohla jít k jinému, ona hloupá?" hněvá se milost. — „I jejich milosti, ti druzí by mě vyhodili, ten je z nich ještě nejzdvořilejší," usměje se služebná.

„No, tedy šla k němu, řekla, že se nechám uctivě poroučet, aby měl ještě do prvího strpení, že se s ním spořádám." — Služka odejde. — „To je nace, — takový škandál člověku dělají pro pakatel!" hněvá se radová a jde chystat na stůl. Slečna si nevšímá, co se kolem ní děje, tváře jí hoří roznícením, oko se jí kalí; najed-

inslav

nou ale položí hlavu do dlaní, oči zavře, ruka s knihou sklesne do klína.

„Ich bitt 'ich — cožpak jsi u té knihy usnula? — Jdi se ustrojit alespoň, abychom byly v ordnunku a ty drchny aby neměly o čem klepat. — Richtuj si trochu kokšle — víš, že přivede dnes Herr von Oslova toho, co s tebou na bále tolik tancoval, — jak pak — no wie heisst er denn, je to prý Gutbesitzra syn z lantu[1].“

Slečna se trochu ze svého polosnění probudí, protahuje se chvilku, zívá — pak knížku schová do stolku, zvolna vstane a povídá: „Mutr, já jsem mud — wie zerschlagen!“ — Na to jde ke stolu, prohlíží všechny talíře, vezme s jednoho koblihu a začne jíst. — „Prosím tě, neber mi to,“ ulekne se radová, „ich hobs gezahlt — pro každou jedna, tři by zbyly — aby se nezdálo jako bych je měla scélovány. Kdopak by se jich dokrmil, apotekrová by sama vlka snědla — a stará Klepanda, das weist — ta na to konto ani neobědvá!“

„Auch die! — proč tu, mutr, zveš? Je to cugmein osoba.“ — „No, das war schon — abych ji nepozvala — ta by krásně klačovala.“ — „A co budem smáčet ke kafi, mutr, hast keine Kipfel?“ — Služebná zaslechne poslední slovo a povídá pro sebe: „Budete smáčet děvečky.“ — Dále pak vyřizuje, že viděla milostpaní půlmistrovou z domu vycházet. — To trhne matkou i dcerou, obě pospíší, by sebe i vše ostatní zrichtovaly.

Po chvíli.

Slečna sedí s načesanými kokšlemi, drží v ruce vyšívání. Paní radová má Kopfputz — a ještě sem a tam něco opravuje. Tu najednou ozve se přede dveřmi šust, šum, šepot, služebné vyběhnou z kuchyně, je slyšet asi desetkrát po sobě opakování: „Poníženě ruku líbám.“ — Paní radová si povídá: „No, — endlich — už jsou tu — slyším kuňkavý hlas fraile Lídi.“ — Klepání na dvéře, paní radová volá „herein“! — přiskočí ke dveřím, slečna s rozestřenou náručí běží proti fraile Lídi, paní radová objímá a líbá jednu paní za druhou, jakoby srdečností se rozplynout chtěla.

Paní radová: „Erlauben, Frau von Burgermeister — to je ten nový profét, co dostali z Prahy? — Wunderschon — krásně jim pasuje — inu, to je hned vidět, co je gusto — tady ti krejčí!“

Paní Burgermeister: „Ach, kdopak by zde si dál šít! — Ale

inslav

zdá se mi, že je zu einfach[1] — koštoval mě sto zlatých stříbra — a kdo to na něm vidí? — Za čtrnáct dní bude mít každá řemeslnická holka takový profét."

Paní doktorová: „To je to nejhorší, že nemůže člověk nic pro sebe mít — hned to každá má. Pomyslejí — moje mlíkařka, — ona se mne onehdy ptá, v kterém krámu v Praze kupuju klobouky a parasolky, chce na léto dceři koupit; že prý když na to vynaloží, aby to bylo důkladné. — Pomyslejí — já myslela, že mne šlak trefí."

Slečna Kamila: „Nein, das ist unerhort!"

Paní Klepanda: „Taková motyka, ta potřebuje klobouk!"

Slečna Kamila šeptá slečně Lídi: „Sama byla také motyka — děvka!!" — Slečna Lídi se ušklíbne. Paní radová pobízí paničky k sezení. Paničky se upejpají, žádna nechce sednout na první místo a žádna nesedá na poslední — konečně se přece rozesednou a začnou plést. Slečny sedí opodál u stolku blíže okna, vyšíváním se zaměstnávajíce a chvilkami tiše spolu šeptajíce.

Paní radová k paní Burgermeisterové: „Fraile Kády a fraile Fíny jely tedy do Nebylova k obrštovic?"

„Jo; Fraile Lipy sama pro ně přijela," povídá purkmistrová. — „To jsou unzertrennlich, ty holky. — Mají tam dnes tanzunterhaltung!"

Slečna Kamila šeptá slečně Lídi: „Poslouchej! unzertrennlich, ty holky! — Včera mi povídala Káďa, že ty šaty, co měla Lysa na bále, nebyly novy, že byly barveny najplavem — že jí to koštovalo groš stříbra — pomysli, to je špína."

„Ach, nicht moglich — přui Teufl — groš stříbra, — obarvené šaty to takového bálu! — A k čemu byla Káďa ustrojena a Fína, — měly toho na sobě — jako Plméslové. — Kokety, kdyby nebyly u obrštů oficíři, však by se k nim nešmajchlovaly."

„Wundert mich — že tam není doktorka," tichounko šeptá Kamila, aby to řečená paní, u stolu sedící, neslyšela; „vždyť ona má — ein intimes Verháltnis — s obrlaitnantem Séblklirem — celý svět si o tom povídá!"

„Však kdyby ho netraktirovala, nechtěl by ji, starou kobzu. — Slečny se ušklebují.

Paní Klep.: „Ale s tou malířkou — to mi nejde ani do hlavy — já to znám tu rotu — jak to pár grošů má, chce to vylízt výš než člověk, který má přece bildunk. — Ale oni jí přece, paní

inslav

z doktorů, neřekli o tom krámu; — já bych jí vyvedla na vrch makovice."

Paní dokt.: „Gott bewohr[1]—já jí nepověděla, ale moje panská jí to po straně řekla. — Je to smutná věc, že nedostane člověk poctivou, upřímnou služku. Každá nás po straně šidí."

Paní apatykářová: „I to mají takový ungebildet Folk všecko dohromady — žádná za nic nestojí. Já devětkrát ten rok vekslovala — a jeden větší čert než druhý — kradly, pomlouvaly, mlsaly a neplechy tropily." — Paničky se usmějí a Lídi šeptá Kamile: „Ať řekne pravdu — že je sama čert, skoupá a žárlivá. Nám taky děvečku přemluvila a pak ji vyhnala — a tu měla mutr zrovna ráda."

Paní radová: „Takové štěstí — jako Skalická, nemá žádná z nás — u té se každá drží — ich kann nicht begreifen, že se každý k ní táhne. — Přece unsereiner také ví, co dělat."

Paní komisařka: „Jo, to holt každá neumí; vždyť jsou mužští také do ní všichni zblázněni."

Paní kancelistová polohlasitě: „Ona je dobrá, s každým vlídně mluví — a je prý vzdělaná."

Paní Burgerm. urputně: „I jdou — mlčej, vždyť ji neznají, to se jen tak mluví; hrdá je, sotvaže se mnou onehdy mluvila. Gebildet — pěkně gebildet, já přece vím, co je bildunk, mám Weltkenntnis, — ale jak se ona chová, to jsem neviděla, to není pěkný Aufführung. — Já bych se byla lieber kdo ví kde viděla než u ní neulich, jak jsme byly zvány na čaj."

Paní Klep.: „Ten čaj, co si to vzpomínají za módy — je to brynda — to je mně milejší šálek kafe."

Paní apatyk.: „Já držím s nima, Frau von Klepanda — člověk se toho nic nenají." (Paničky se smějí.)

Paní komisařová: „Ale to je první, co slyším Frau von Burgermeister, že byli u Skalické. Byla jsem čtyry dny na venku pozvaná na masopust u přátel mého muže — to vědí, sprostí lidé, — člověk jim to nemůže odepřít — měla jsem dost dlouhou chvíli. Jsem neugierig — prosím jich, jak se unterhaltovali u Skalických, copak tam viděli, kdo tam byl?" — „Nejvíc mužští, to vědí, také páni z Prahy — auffuhrovala mi je co literáci." — „Literáci!" — ozve se paní Klepandová, „hm, to je toho, to jsou takoví co zpívají na kruchtě?" — Slečna Kamila se ušklíbne a povídá: „Ne, Frau von Klepanda, — literát je co píše knihy."

inslav

„Hm, tak jsou to písaři — také nic nóbl[1],“ odpoví zase paní Klepandová.

„Nóbl — ani řeč,“ pohodí paní purkmistrová opovržlivě hlavou. „Kdybych to byla věděla zum voraus, zajisté by tam Kády ani Fíny nesměly jít. Ti mužští, ono se to tam chová jako doma — o nějakém solid betragen ani řeč. Já myslila, páni z Prahy, no to se budou děvčata dobře bavit (tady prosím jich, pro ně mnoho unterhaltunku není), — ale litovala jsem toho.“ — „Copak tam dělali, prosím jich,“ — vyzvídá komisařová, „že prý je tam hrozně frei tón, — škandální, — já nechci, pánbůh chraň, pomlouvat, ale tak se povídá.“

„Je to pravda, je im hochsten Grad unschicklich; když jsem tam vešla, poklonil se každý jako panák dřevěný, ruku políbit ani jim nenapadlo — a hned všecko „vy slečno“, — my byly v největším Verlegenheitu — kdo pak se zná do jejich vymyšlené řeči — a pak tu impertinenci — říct, že bychom ji měly umět. Ich bitt Sie! — A to ještě všecko nic. Konečně začal jeden z těch pánů hrát na piano; — vzpomnělo si to tancovat. Tancovali. Já seděla v Sitzzimru — pak jsme šly také do salonu — pomyslejí, koho vidím za mojí dcerou tancovat! — Ne, to by neuhádly — panskou od Skalických s jedním z těch literáků!“

„Ach, das ist infam — to je škandál — že se nestydí!“ — tak a jinak zaznělo v shromáždění.

„Ich sag's Ihnen,“ pokračovala purkmistrová — „že jsem nevěděla hanbou, kde jsem — moje dcera se služkou v jednom kole! Já ji také hned vytrhla z kola, ustrojily jsme se a šly štandepéde domů. — Jiná paní by se entschuldigovala — že se stal irunk — ale ona mi ještě řekla do ksichtu — moji visitu že snadno entberuje.“

„To je vidět, že nemá ta osoba dobrý rozum,“ ozvala se Klepanda.

„To řekl pan z Oslova také,“ pravila paní radová, „že není při dobrém rozumu. — Má být überspannt; schon ihre Sproche. — Vždyť jí není rozumět, když mluví česky. — Přece člověk taky umí dobře česky — ale to je cu moc.“ „Taky kouří!“ uštěpačně prohodila Lídi.

„Kouří!“ spráskla ruce paní Klepandová — „kouří, kdo to jaktěživ slyšel — aby ženská kouřila!“

„Ach, slečna Kamila také kouřila,“ usmála se doktorka. „Pan

inslav

obrlaitnant Séblklir to povídal jedenkrát u nás, že jí to ajncik' krásně slušelo."

„Kdoví, koho viděl pan obrlaitnant — vždyť on se na slečinky ani nedívá," odsekla Kamila.

V tom zaklepáno na dvéře a na dovolení vešli do pokoje dva pánové; jeden měl velký nos, druhý byl velice červený. První byl pan Dlouhý, druhý pan z Oslova.

Pan z Oslova, který byl již ve společnosti znám, hned začal s dámami se bavit; paní purkmistrovy ptal se na slečny s přiměřeným komplimentem, paní doktorky, jak se bavila na bále, paní komisařku litoval, že měla venku dlouhou chvíli, ujišťoval, že ji společnost na bále pohřešovala, paní Klepandové mluvil o její Amině, čtvernohém to mazlíčku, paní kancelistová se ho ptala, co by měla dětem udělat, že se nastydly, paní lékárnice si stěžovala, že byly na bále špatné koblihy. — A pro každou musel mít pan z Oslova odpověď, radu a poklonu; byl začátečník, dostal se teprve do města co praktický lékař, a tudy mu bylo protekcí třeba. — Paní purkmistrová i paní radová byly mu velice nakloněny, dílem, že měly dcery, dílem, že byl velice uhlazený, zdvořilý člověk a nikdy jinak nepřišel do visity, než co živý obrázek národního žurnálu. Druhý doktor nenadělal s nimi mnoho ceremonií, byl již ženat a přišel k pacientkám třebas v juchtových botách, nad čímž se paní purkmistrová vždy velice mokirovala.

Když se pobavil s paničkami, obrátil se k slečnám, jež zatím s panem Dlouhým o bále mluvily. Pan z Oslova, — paničky ho raději jmenovaly „Herr von", krásněji to jméno do uší znělo, než jednoduché „doktor", — se hned vpletl do řeči a pomohl slečnám kritisovat. Rád by byl řekl ještě jednou slečně Kamile, že byla královnou plesu, kdyby nebyla přítomna paní purkmistrová a slečna Lídi, které to byl již také řekl. — Přece to věděl ale chytře nastrojit, že vytáhl z kapsy zvadlou kytičku, a Kamile ji ukazuje, pošeptal, „to že je ta od ní, a věčně že ji bude na srdci nosit." — Po té intrádě strčil ji zase šikovně do kapsy, aby to paní purkmistrová ani paní komisařka nepozorovaly — a slečna Kamila všecka blažena sladce se na něho usmála a trošku si vzdychla. — Slečna Lídi zatím snažila se zase být co možná milostnou k panu Dlouhému a mluvit co nejlépe česky, neboť ji pan Dlouhý ujišťoval, že přijde ještě jednou řeč česká do módy, mluvil jí o měkkosti české řeči, uváděje co důkaz, že nyní rodiče nejdříve nechá-

inslav

vají učit děti česky, aby si pro druhé řeči jazyk oblomily. — Paní radové se to nelíbilo, že ten Gutsbesitzru syn více s Lídi mluví, než s Kamilou, byla by to přece jen lepší partie než doktor, který nic nemá; — přetrhla tedy řeč otázkou, kdy budou dávat pánové ty Tanzunterhaltunky a jaké to bude? — „Herr von Oslova je Ausschus, ne?" zeptala se paní purkmistrová.

„Ano, milostpaní, já i pan Dlouhý, můj přítel." — „No, tedy nám povědí, jak to bude a kdo všecko tam bude?" vyzvídala paní Klepandová.

„Jak ráčíte vědět, staví se už sto let na zdejší radnici věž a posud nesešly se prostředky k tomu, aby se mohla dostavět; i usneslo se několik mladíků zdejších a okolních z pouhé vlastenecké lásky, s povolením slavného magistrátu, k tomu účelu dát tři besedy. Bude to na střelnici — vojenská banda bude hrát — vchodného bude dvacet krejcarů stříbra."

„To bude ale při tom jídlo zadarmo?" ozve se paní apatykářka.

„Ne, prosím, milostpaní, co kdo sní, musí si zaplatit, ale muzikantům se nemusí platit, a dámy pozvem zadarmo. — Zítra začnem zvát, každý v jednom díle města, — katalog mám již zde!" — dokončil pan Dlouhý.

„Kdo pak tam bude všecko; — bude přece společnost nóbl?" vyzvídala paní purkmistrová.

„Já sám, milostpaní, nejsem tak znám zde v společnosti, ale rokovalo se o tom v celém shromáždění, a tedy doufám, že bude květ společnosti vybrán," zdvořile se uklonil pan Dlouhý.

„Pozvou také paní Skalickou?" ptala se dále paní purkmistrová.

„O, zajisté, ona je paní o naši vlast zasloužilá, kupuje všecky české knihy, mnoho jich i čte, mluví česky, a když některý vlastenec přijde sem, každého pozve na čaj." Paničky zůstanou sedět, ani žádná nemrká, paní purkmistrová je ale červenější a červenější, krčí nos, ohrnuje pysk, konečně vyrazí zlostně: „Kde Skalická je, tam já nepůjdu, — ani své dcery nedovolím!" — „Já také ne — já též ne — ani já!" — ozývalo se ve společnosti. — Pan Dlouhý seděl jako ohrable, nos se mu zdelšil o kolik coulů — nevěděl ani, čí je, a prosil ještě horší, každá chtěla povídat, každá věděla něco na paní Skalickou — každé ublížila, každou urazila nanejvýš. — Jedna jí vytýkala, že není hospodyně, druhá, že

inslav

vede svobodný život — třetí, že je koketa, čtvrtá, že kouří, pátá, že si z nikoho nic nedělá, šestá, že má „ein intimes Verhältnis“ — sedmá to a osmá ono — jediná kancelistová mlčela. — Konečně přišel pan z Oslova k slovu. — „Milostpaní, neračte se horšit, tomu se udělá konec; pro jednu osobu nesmí trpět společnost, a dokonce, když dává pohoršení celému městu. Nesmíme dopustit, aby se něžný a cudný cit našich dam urážel. Já myslím, že mi, příteli Dlouhý, přisvědčíš?“

„Ano, já to zítra v shromáždění přednesu, aby se paní Skalická nezvala.“

„Tak ať cítí, jaký trest následuje, když se chce vymknout z koleje našeho života,“ doložil pan z Oslova. — Společnost mu přisvědčí, usmívají se zase všechněch tváře, slečna Lídi tiskne panu Dlouhému ruku a slibuje mu, že bude na besedě deklamovat jednu báseň. — V tom vkročí do dveří pan rada, společnost ho vítá, on se na vše strany klaní, paní purkmistrové líbá ruku — své manželce dá hubičku. Zatím je káva uvařena, slečna Kamila začne nalívat, a ke kávě smáčejí paničky rohlíčky a „děvečky“.

1855

V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ

В повести «В замке и около замка» мы встречаемся с одним из наиболее ярких в творчестве Немцовой примеров изображения социального контраста жизни крестьян и землевладельцев. Первая и вторая главы повести особенно характерны в этом отношении, в них сопоставляется роскошная жизнь буржуазно-помещичьей семьи Скочдополе и нищенское существование батраков: с одной стороны — барская собачонка Джоли, которую кутают в атласное одеяльце и кормят куриными котлетами, с другой — голодающие, не имеющие крова, вдова каменщика Караскова и ее дети. Художественная сила повести снижена идиллической концовкой. Стремясь провести мысль о необходимости «исправления» богатых, писательница заставляет жестокую барыню Скочдополе как бы переродиться и стать на путь благотворительности.

I.

V zámku bylo práce a běhu o překot. — Klíčnice provětrávala pokoje, zahradník snášel květiny k ozdobení jich; rovnalo se, čistilo se po zámku i po dvoře, by vrchnost vše v nejlepším pořádku našla. — Čekali paní na druhý den.

inslav

„Bude veselejší život," těšil se zámecký lid. — „Dá pánbůh, bude snad i více výdělků," povídali si chudí lidé a řemeslníci v podzámčí. — Druhý den ráno přijelo služebnictvo, pak vozy panské, na nichž naloženy byly vaky a bedny. — Odpoledne vyjížděl na vršek, na němž pěkný zámek ležel, pohodlný cestovní kočár, v němž seděla milostpaní Skočdopolová ze Springenfeldu[1]. — Naproti ní po koních seděla komorná její, mamsel Sára, na kozlíku u kočího panská, panna Klárka, a vedle milostpaní ležel miláček její. — Nebyl to manžel, ani bratr, ani přítel — byl to Joli, anglický psíček nejmenšího druhu, s dlouhýma ušima, srsti jak aksamit jemné, bílé, černé a hnědé barvy, zvířátko to velmi roztomilé. — To byl panin mazánek!

Dokud býval ještě pan Skočdopole panem Skočdopolem a lidé o něm více nevěděli než že je bohatý, chodilo to v domě jinak; paní neměla mazlíčka, ani komornou, nebylo zámku, nebylo tolik služebnictva, nebylo koní ani chrtů; pan Skočdopole nejezdíval na lovy, nezval hosti, a pánové nepřijížděli k nim ven užít zdravého povětří. — Ale když se panu Skočdopolovi peníze hromadily, že nevěděl kam s nimi, aniž věděl, mnoho-li jich má, znelíbilo se paní to sprosté jméno Skočdopole — naváděla pana manžela tak dlouho, až jí koupil přídavné jméno „von Springenfeld". — To se milostpaní velice líbilo, znělo to zcela jinak, a od té doby ji nikdo nesměl pojmenovat sprostým hlavním jménem, nechtěl-li se zbavit její milosti. — „Veliký pták i velikého hnízda potřebuje." — Titul byl, muselo být i panství. — Za peníze se všecko spraví. Koupilo se panství, koupili se koně, chrti, najalo a opremovalo se služebnictvo, jelo se do lázní, dávaly se hostiny, bály. — Kdo má koláč, najde i družbu — našlo se přátel dost a dost — zvlášť oněch cizopásků, kteří se živí z tuku jiných. — Pán ze Springenfeldu platil za honetního kavalíra, a paninu krásu, dobrý vkus, vtip a bůh zná co všecko, vychvalovali do nebes. — Paní ze Springenfeldu nebyla paní nehezká, ale že se zdála hezčí, než byla, k tomu hlavně přispívala její komorná mamsel Sára. — Ale také jí mnoho platu dávat musela na rok a mnoho darů, aby si ji udržela; — jen tímto lákadlem dostala ji od hraběnky jedné, která měla pověst nejelegantnější dámy hlavního města — a u níž byla Sára jen druhou panskou a ne velmi dobře placená, ale za to řeklo se: je u hraběnky, — a proto se zdráhala vstoupit do služby k novopečené šlechtičně. —

inslav

Peníze ale srdce její hrdé obměkčily. Mamsel Sára byla paninou důvěrnicí, a když řekla Sára: „Tak by to mělo být, tak jsme to měli v našem zámku“ (to myslila svoji předešlou paní), tu to hned paní ze Springenfeldu nechala udělat, jak Sára řekla, aby vše bylo jako u hraběnky. — Jedenkráte řekla Sára: „Psíčka by měla mít vaše milost. Měli jsme u nás (to jest u hraběnky) také jednoho, dostali jsme ho z Anglicka — ach rozkošný můj Joli! — nemohu naň zapomenout!“ — a tu začala o něm vypravovat, doložíc, že takové psísko mít patří k nóbl tónu. — Paní ze Springenfeldu hned se pídila po psíčku, a jeden dobrý přítel, chtěje se bohaté paní zavděčit, objednal jí žádaného mazánka a dal za něj osmdesáte dukátů. Myslil si, že mu budou dobře splaceny, a věru se nemejlil, neboť tím darem získal si paninu přízeň. — To bylo radosti, dokonce když mamsel Sára řekla, že je krásnější než hraběnčin. — Daly mu jméno Joli — jako hraběnčinu — a ustanovil se pro jeho pohodlí a rozkoš jistý řád, který se přísně musel zachovávat. Dohled nad ním měla mamsel Sára. — V ložnici mamsel Sáry na měkounké lenošce ležel polštář hebký, aksamitem potažený a na tom Joli líhal. — Ráno, když mamsel Sára snídala, snídal i on, kávu neb smetánku, a po snídaní donesla ho Sára k paní, aby se s ním trochu potěšila. Když se paní oblékala, dostal ho pod ochranu lokaj; jsouc se strojením paní hotová, vykoupala psíka, učesala, zaobalila do tenkého prostěradla, přikryla modrou atlasovou pokrývkou, která již k tomu určena byla, a nechala na polštáři uschnouti. Psísko, navyklé mazlení, nechalo sebou dělat, co chtěly. Potom šla s ním trochu na procházku do zahrady, aneb když byly v hlavním městě, vyjely s ním v kočáře. — V poledne měl k druhému snídaní trochu zadělávaného masa a ve čtyry hodiny sekaninku z prsíček kuřích, koroptvích nebo jiného lehko záživného masa. To se denně střídalo, aby se mu nepřejedlo. Lokaj vždy na porcelánovém talíři jídlo mu na stůl přinesl a prostřel, jinak by se psísko bylo jídla ani netklo, a po obědě musel mu hubu utřít. — Ostatní hodiny dne uběhly mu hejčkáním, hraním, až ho zase Sára na lůžečko uložila. — Jestli se trefilo, že nechtěl Jolínek hrát ani žrát, tu se domnívaly, že je nemocen a hned se poslalo k lékaři. — Když byly na panství, nebylo tak lehko s předpisem a měly již vždy recept s sebou. — Lékař byl sice hodný a šikovný muž, ale psíka nikdy léčit nechtěl; mamsel Sára ovšem radila, aby mu paní z Springenfeldu vzala deputát, že to paní

inslav

hraběnka také tak udělala lékaři a že ještě rád přišel, anebo aby si vzala domácího lékaře, ale v tom ji paní poslechnout nemohla, na venku nebyl jiný lékař na zavolání a domácího lékaře si vydržovat bylo jí přece trochu drahé. — V hlavním městě to bylo jinak, tam nebyli všickni lékaři tak pedantičtí, a našel se, který milostpaní za několik dukátů i pro psíčka prášek předepsal.

Jedenkráte se paní ze Springenfeldu roznemohla — a Joli byl celé dny, co ležela, smuten a u postele její ležel. — To paní pohnulo. — Mamsel Sára povídala, že hraběnčin Joli též tak smuten byl, když se hraběnka jednou roznemohla, a že hraběnka tenkráte tak pohnuta byla, že určila psíčkovi doživotní pensi pěti set zlatých, když by ji přežít měl. — To se paní ze Springenfeldu velmi zalíbilo — a za vznešeným příkladem hraběnčiným i ona taktéž ustanovila pět set zlatých stříbra pro psa, kdyby déle živ býti měl než ona, a pět set tomu, kdo ho chovat bude, — a to vše písmem svým i pečetí dotvrdila.* — Mamsel Sára, jestli psíka dříve si předcházela, potom ještě víc. — Když se pověst o tomto podivném závětu v kruzích přátel paní z Springenfeldu roznesla, všickni chválili nejen panskou štědrost její, ale i ušlechtilý cit, který v tomto ustanovení se jevil. — Přirovnávali ji jedné kněžně, která dostavši koně krásného od svého miláčka, schvalně maštal pro něho samého vystavět dala, v níž byly dubové parkety, mramorový žlab, žebřiny i stojany polírované. — Měl i svého sluhu, — a když se jí vrch koně jezdit zneliibilo, nesměl nikdo více naň sednout. Jen ho na procházku vodili, žemlemi a otrubami krmili, každý den dostal kus cukru; a takové pohodlí by měl až do smrti, ustanoveno bylo též písemně...

II.

Zámek stál na vršku a pod ním leželo městečko. Řeka tekoucí okolo města u paty vršku dělala hranice mezi majetností panskou a městskou a jedním pramenem jejím bylo město kolkolem obehnáno. — Obyvatelé městečka dělili se na tři třídy. Do první třídy počítali se zámožní hospodáři, co měli svůj dům, dvorec a hodně polí a jejichž paní a dcery klobouky nosily a v parádním pokoji kávové společnosti dávaly.

* Žádná pohádka, úplná pravda.

inslav

Z těch boháčů volila se obyčejně městská rada a starosta dle rady starého přísloví: „Kde peníze, tu i rozum!“ — Do druhé třídy počítali se chudší řemeslníci, co měli jen kousek pole a domek; těch ženy nosily se v čepcích a velmi za zlé jim to měla ta první třída, jestli dovolili dcerám klobouky nosit, rovnajíce se jejich dcerám. — Třetí třída konečně byla tak zvaná luza, podruhovina, která živa byla „z ruky do úst!“. — Tuto by chtěl kdo přirovnat v čemkoli s třídou první, bylo by největší urážkou pro ni bývalo, — když podruhyně milostpaní z první třídy ruku políbila, honem si ji utřela, aby se jí od polibku nečistého nepoškvrnila, aneb jí nastrčila jen rukáv.

Dvorce boháčů a baráky chudších řemeslníků byly z většího dílu u vody, na valech. V každém tom dvoru bylo po několika komorách, schválně pro podruhy zřízených; komory ty byly tmavé, v každé bylo malinké okynko, podlaha zádná, ani kamna nebo pec. Ohřívat se v zimě a vařit svoji potravu chodili tito podruzi do velké ratajny k nádvorníku. Za takovou komoru musel podruh platit dvanácte zlatých stříbra nájmu do roka; za tu lacinou činži ale byl zase zavázán majiteli dvora, u něhož bydlel, pracoval po celý rok za jistou mzdu, a jinam do práce, byť se mu byla i výnosnější naskytla, najímat se nesměl. Ale který podruh měl četnou rodinu, přišel mu i ten zlatý stříbra měsíčně za těžko platit, zvlášť v zimě, kde práce málo bylo a menší plat; protož si brali buď jen nocleháře, kteří u nich noc přespali a jen za noc jim platili, neb soudruhy, kteří s nimi bydleli ustavičně, aby jim snadněji ta činže přišla. Někteří zase bydleli u chalupníků v komorách, kde také víc neplatili a nikomu zavázáni nebyli. V každé takové komoře měli podruzi i svoje sklady zimní poživy. Pod lůžkami byly vykopány jámy a v těch měli zásoby bramborů.

Bylo to za pěkného rána, nedlouho po tom, když paní do zámku přijela, když ve dvorci z komory tmavé, ztuchlinou zapáchající, žena vyšla s dvěma dětma. Jedno nesla v náručí, druhý, chlapec asi sedmi- nebo osmiletý se jí vedl za sukně, nesa malý raneček v druhé ruce. — Oděv její i oděv dětí byl chatrný, pln záplat, ale čistý. — Za ní v patách vycházela druhá žena a za tou několik dětí se vleklo.

„Jak povidám, milá Karásková,“ hovořila tato, „mileráda dopřála bych vám toho noclehu i dále, třebas jste mi nic dát nemohla, ale toť sama vidíte, že jsme jako v jíše. Já mám pět dětí,

inslav

švakr tři, vy dvě, velkých osob je nás pět, pomyslite, co tu lidu. Vždyť víte, jak jsme těsně líhali. V zimě je aspoň tepleji, ale v letě je dušno. Pán tu včera poroučel nádvorníkovi, aby nás nespalo mnoho pohromadě, že prý zase v Praze lidé mřou na choleru, aby to nepřišlo sem, jak povídám. A nádvorník také hřeší, když si beřeme nocleháře, že prý je to peleš a že mu kradou!" „I bože bože," vzdychla si žena, slovy těmi bolestně dotknuta, a bledá, vychudlá tvář se jí zbarvila studem.

„To si z toho nic nedělejte, osobo, na vás nikdo nemyslí, jak povídám, ale víte, jak to chodí; musí trpět nevinný s vinným. Jsou lidé zlí i dobří, kdo lehce věří, snadno pochybí, proto dobře, když má člověk oči vpřed i vzad. Nádvorník musí za všecko stát, jemu se za zlé brát nesmí, neboť je pán zlý. Jak povídám, vy jste byla ale vždy poctivá a počestná osoba, na vás nikdo nemyslí, a ráda bych vás tu nechala, kdybych směla, — jak povídám. Ale snad se jinde obejdete. Tu máte na cestu." Při těch slovech vyndala podruhyně ze zástěry několik v popelí pečených bramborů a ženě je podala.

„Zaplať vám to pánbůh vše, co jste mi udělali, nastokrát — a dej vám stálé zdraví. Spánembohem!" vzlykala žena, vycházejíc ze dvorce.

„Už nebudeš u nás spát, Vojtěchu?" volaly děti za chlapcem. Ten se ale neohlídl.

„Nechala bych ji tu," řekla podruhyně, „ale co, ona mi tu umře — je na zhasnutí — a já bych ji pak musela nechat pohřbít. Jak povídám. Člověk má sám s sebou co dělat, — vždyť ona najde někoho, kdo se jí ujme." —

Zatím rychle, co síla její stačila, pospíchala bledá žena po valech okolo dvorců k mostu. Uprostřed mostu podepřela se o zábradlí, a oko její divě jaksi pohlíželo dolů na tiše plynoucí řeku. —

„Mamičko," ozval se chlapec Vojtěch, „uvažte mi Josífka na záda, já ho ponesu, vás bolejí ruce; pojďte, tamhle u kříže na lukách svítí slunečko, tam se ohřejem, — pojďte, mamičko, nebuďte tak smutná —, třebas nám nedali nocleh, můžeme spát venku, je už teplo!" —

„Ach dítě, kdybychom raději všecky tři spali u tatínka v hrobě, bylo by pro nás nejlíp," vzdychla žena, přitiskla malé k srdci a dala se do pláče. Vojtěch plakal s ní a tak plačící kráčeli zvolna přes most na druhou stranu. V posledním dvorci u mostu vá-

inslav

zalo několik dělnic povřísla a ustavičně mezi sebou o všeličem hovořily. Když šla Karásková okolo vrat, viděly ji. „Kam pak se ta s těmi dětmi vleče?“ povídaly si. „Kam, něco si vydělat,“ řekla jedna.

„Tam by si vydělala, ani bez chleba na nůž,“ zasmála se jiná.

„Neobtěžuj si svědomí, Kateřino,“ okřikla ji stará jedna, „Karásková byla živná osoba, dokud vládla, — ale nyní je chudák jako krucifix. Je ubohá k politování — muže ztratit, do bídy přijít, nemocná být a žádná pomoc, to je něco říci!“

„Trvám, už půl roku má tu zimnici?“

„Ba půl roku,“ ozvala se zase stará, „a zbejt se jí nemůže a přitom dítě kojí a do úst nic než brambor. Ženy, ta je k politování. — Když si pomyslím, co to bylo za děvčici, krev a mléko, a jako čamrda, a čistá vždycky jako kvítí. To se paničky o ni draly, každá ji chtěla mít za panskou, umí ona také pěkně s jehlou zacházet.“

„Kdyby si byla jen s tím Karáskem svět nezkazila, to pochybila.“

„Inu ženy,“ ozvala se jiná, „vždyť jsme tu ženy — víme, jak to chodí, když se mají dva rádi — a jsou mladí. Já, — nu, co bych to neřekla, také jsem to dokázala, na mojí svatbě také věnce nevily.“ — „Bodejť bys zapírala, co je na bíle dni,“ ozvala se tu uštěpačná.

„Inu holečku, každý se k pravdě nepřizná, — mohla bys říci slečně Stazičce pravdu, — ta by ti vycinkala — a je to také na bíle dni. — No, každý musí odnést za své; však se já dost nařvala pro to. My bychom se byli vzali dříve, ale to pořád že nic nemáme, kterak živi budem, abych ho nechala a začali ho zrazovat. Jednou k nám přišel a já břečela a žalovala si mu na tu chudobu. ‚I jdi mi, Andulko,‘ povídá mi, ‚chudý člověk a neveselý, to je pravá bída; má dost bohatý se smutkem co dělat. — Jen ty buď veselá, a mějme se rádi, třeba bychom se nenajedli, přece se vyspíme!‘ — Já si to vzala také nalehko, když jsem ho měla ráda, a padli jsme oba v lehkost.“

„To je pravda, tvůj muž je vždycky vesel, ten srdce nezarmoutí.“

„To je jeho,“ opakovala, „že se zasměje a zazpívá; říká, že je to jeden plat, jako by břečel. — Já ale se hanbila a byla bych se ráda dala oddat, — ale to jsme měli tolik platu, že jsme nemohli

inslav

sehnat od oddavek, — a Jiří říkal: ‚My jsme svoji, můžem čekat, když nás zadarmo neoddají.‘ — Mě to ale trápilo, — když je člověk, kdyby i pánbůh odpustil, — a to nemluvně také — přece jen tak v opovržení u lidu. I dodala jsem si srdce, — šla k panu kaplanovi a prosila ho o radu; když jsem mu všecko řekla, povídal, abych k němu Jiříka poslala. Šel tam tedy a pan kaplan nám to zapravil všecko sám. Za tři neděle byli jsme svoji, a pak nám taky Vašíčka zadarmo okřtil.“

„Ten pan kaplan je hodný k chudým, to je pravda. A co říkal Jiří?“

„Byl také rád, to on se jen tak dělal, jako by mu to bylo jedno. On má také pana kaplana rád, a když něco potřebuje k dílu nebo nějakou posílku, to on, kdyby noc nastavit měl, jinému to nepřepustí.

„Inu, u tebe to bylo jinak,“ ozvala se zase stará, „ale u Karáskové to bylo také jinak; to víte, že jeho máma bránila, že prý její syn je zedník, že si vydělá hezký groš, že si může vzít řemeslnickou dceru, a ne podruhovu. Je už na věčnosti — ale byla to baba. — Ne a ne! a nechtěla dát dovolení, pan kaplan na ni, pan učitel; ale pánbůh chraň, hlava jako zeď. — A co z toho pošlo? Karásek přece Kateřinu nenechal — a obtížila si svědomí hříchem. — Už potom chtěla jít Kateřina zase s dítětem k ní prosit, aby jim dala požehnání, ale ona jí vzkázala, že ji koštětem vyžene i s parchantem, a poctivý vlas na ní nenechala, až se Kateřina umořit mohla nad tím žalostí.“ —

„To byla jedubaba!“ přetrhly některé staré řeč.

„Ba, však on to syn také těžce nesl a chtěl jít už odtuď pryč, kdyby v tom byl pánbůh prostředek neudělal, že starou k sobě vzal. Na smrtelném loži teprv se poznala a dala jim požehnání.“

„A měla ta baba peníze?“ ptala se Andula.

„I toto, — trochu toho odění a co tak na ten pohřeb stačilo, nic více po ní nezůstalo.“

„A nač byla tak pyšná?“

„Že byla její máma radního pána dcera a strýc její že je kdesi děkanem. Nakašlat jí na to. Moje teta má prý kdesi mlejn, ale co je mi do toho, — když mně nemele. — Taková příbuznost platná jako stará plachta. — Ano ano, proto si nechtěla stará Karásková ten svůj vznešený stav s podružským smíchat a děti svoje sužovala. — Potom si ulehčili a dobře se jim vedlo, Josef si hezký

inslav

groš vydělal, a Kateřina měla od paniček díla dost, a toho chlapce Vojtěcha si pěkně šatila. Já je ráda viděla, když šli z kostela spolu a toho chlapce si vedli, pěkně jim to slušelo. — Ty můj bože, jak jim to dlouho trvalo; když se nynčko na ni podívám, je mi do pláče. Také jsem jednou od ní sukni dostala a hrnéček polívky ne jednou; kdyby nebyl člověk starý a tak chudý, že sám co do úst dát nemá a kam hlavu položit, já bych se s ní rozdělila. Dokud byla v sednici, chodila jsem k ní, posloužila jí leckdy, ale když musela do komory, přestalo všecko a ona také nic přijmout ode mne nechtěla, řkouc, že sama nic nemám.

„Bože," začala jedna zase, když přestala, „až mne zima pochází, když si vzpomenu, jak to lešení s Karáskem spadlo. Byla jsem zrovna pro něco tam v ulici, a tu křičí lidé: ‚Ježíš Maria, lešení u Opršálků spadlo, Karásek je zabit!' — Já ji vidím, ona byla jako křída, když tam běžela. Kdyby ho byl pánbůh raději hned k sobě vzal, než to dlouhé trápení, — bylo by jí alespoň těch pár zlatých zůstalo a nemusela by žebrat."

„Ale prosím vás," pravila ona stařena, „ono se vám to řekne, ale kdo koho rád má, dá poslední krůpěj krve. — Ona byla ráda, že jí ho živého přinesli, a jak pak ráda mu sloužila a dnem a nocí pracovala, jen aby mu všecko pohodlí zaopatřit mohla. Vždy říkala, i třebas mrzák byl, že by si nežalovala, jen kdyby jí ho pánbůh nechal. V tom čase pomohl jí pánbůh s tím malým, ale ani to jí ještě nesklátilo. — Když ale po deseti týhodnech muž přece umřel, jako by jí žíly podťal. Ulehla, a od té doby leda se vlékla."

„Ale pomáhali jí prý dost, paní Opršálková, co se při jejím domě Karásek poranil, prý jí ustavičně posílala?"

„Moje ženy, kdo z darův se šatí, bez sukně chodí. — Dlouho štědrým být, věc obtížná. — A doprošovat se, k tomu Kateřina není. Už prodala mnoho, když ještě on žil; vytrhněte komáru nohu, jsou hned i střeva venku, to víte. — Pak její nemoc, nevládnost — a tu to máte."

„Ale přece měla šití mnoho od paní."

„Měla, měla, dokud zůstávala v hezké sednici; když ale musela do komory, tu jí nechtěly svěřit šití, leda nějakou správku nebo pletení punčoch, copak si přitom vydělá? — Konečně se takový smutný nemocný člověk s dvěma dětmi stane každému obtížným. Chtěli si vzít Vojtěcha za pasáka hus, a že ho nechtěla dát, začali

inslav

jí nadávat, že co si myslí o sobě — a že nezasluhuje dobrodiní. A co by si chudák bez toho chlapce počala, on jedině jí to dítě opatruje, když sama nemůže. — Inu, co je to platno, teď je jí už dokonce zle, — kdopak se tak chudého člověka ujme? Jen pánbůh — jen ten jí pomůže. Kdo neví, co je zle, ten neuvěří!"

„Ba ani nebude mít pomalu kde hlavu skrýt, kdo nemá svou komoru; vždyť prý dnes pán tu byl, abychom nebrali nocleháře a mnoho nás pohromadě nespalo, že prý se zase ukazuje ta morová nemoc?"

„Já tu byla sama," odpověděla ta uštěpačná, „když pán ráno přišel; přivstal si — povídal, abychom nebrali nocleháře, abychom si komory provětrávali, abychom prý všecku neřest nesnědli. — Ale já jsem vám ho, zlaté ženy, zpražila. — I jářku: milostpane, my budem raději jíst kus masa a knedlík než kopřivy, lebedu a brambor, — jen nám račte tolik platit, abychom si to mohli koupit; bohatý jí, co chce, chudý, co má. — Komory bychom provětrávali, nemůžem ale otevřít okna, protože, jak ráčíte vědět, jedna tabulka jen je, ta je v rámci zadělaná, rámec přibitý ke zdi. Dvéře otevřeny nechat nemůžem, aby nám někdo tu trochu, co máme, nevzal, když celý den doma nejsme. A ty brambory bychom neměli v komoře, kdybychom je směli jinde mít. Také si nebudem držet nocleháře, milostpane, když se nám sleví z činže. Ani vám neřekl my tvy, pěkně šel, jako když ho pes kousne. — Mně se ale odlehčilo — myslela jsem si, teď to víš!"

„Ono se žádnému umříti nechce, ani chudému, neřku-li bohatému; ale smrti neuteče, ani ji křížem neodžehná, ani neodmodlí, pánbůh-li na něho vzpomene. Pročpak nám tedy nepomohou, když se o nás bojí!" řekla stará.

„I což myslíte, že štěká pes pro ves, i ne — to pro sebe. Mají strach o svou kůži. K čemu by nám ale pomáhali, dokud ještě hladem neumřeme; potom bude dost času," prohodila zase ta uštěpačná.

„No vidíme," začala zase stará, „lonského roku, jak se ta kometa ukazovala, povidali lidé, že to neznamená nic dobrého. Tu to máme. Ženy zlaté, čím dále tím hůř; pánbůh nás chraň a neopouštěj."

„Ba, kdybychom neměly doufat v pánaboha, kam bychom se poděly v té bídě a psotě. Ty můj pane, vždy se o chudého každý otře."

inslav

„A kdyby nebylo chudobných, ani by slunce nehřálo," prohodila zase ta ostrá.

„Tyť jsi ještě od prvnějška jakási rozkvašená," řekly jí druhé.

„Ó já mám svrchu na našeho pána, a je to pravda, třicet rýnských za tu komoru, je to láce! Když nám chtějí nějakou milost prokázat, aby nám alespoň spravili byt jako pro lidi, a ne pro dobytek, za ty peníze. My nebudem tu dlouho, ať se o jiného dělníka stará; — půjdem na panské. — Člověk tam také mnoho nedostane, ale za takového ošlapka přece není jako zde, — alespoň kdo hodně dělá, dostane pořádný plat, a můj muž zastane kus díla i při tom, že se má špatně, a kdyby nic jiného nebylo, nebude mi nikdo vyčítat děti, to já mu nemohu ani odpustit, — a proto jsem mu dala dnes sama výpověď, aniž jsem na muže čekala; však on mi to schválí."

„I prosím tě!" divily se všechny.

„Kdopak si to nechá líbit, aby člověku i děti vyčítal, toť je proti pánubohu. — Víte ale, so jsem mu řekla?"

„Nevíme, povídej co — ty máš, Doroto, šlakovitou kuráž!"

„Když mně vám o té čistotě začal, a já mu pověděla, šel, ale nejspíše ho to mrzelo, i vrátil se zase, a že prý ztratilo kuře, že budem vědět, kdo je vzal. — Pomyslíte; já bych mu byla s chutí do té pazderny vjela. Povídám, že to nemáme my na starosti, že o něm nevíme, a nechť jsem nehodna svého jména, vím-li."

„Ale vždyť ho včera nádvorníkova uvařila, viděla jsem to," ozvala se jedna.

„No, tu to máte, — ale kdyby mu to i řekl, on to nevěří. No já řekla, že nevím. I tu on začne klít, a že máme každý půl kopy dětí, že se beztoho jen pelešíme — a pak že nemáme tomu co dát, že krademe a oni by nás živili. I jářku" — a přitom si Dorota, odhodivši povříslo, boky podepřela, a oči jí jen sršely — „jářku: vždyť on pánbůh ví, proč nám více dětí svěřuje, než pánům, — na nás, na chudobých svět stojí — a ještě jsem mu hodně vyčtla, a konec koncem bylo, že jsem mu vypověděla."

„Dobře jsi udělala, však my to asi co nejdřív také uděláme. — Ty můj bože — i těch dětí nám nepřejou, — a kdo by na ně pracoval, kdyby nás nebylo?"

inslav

„No to — z našich mozolů tyjou. A našinec ani se nenají, neohřeje, neoděje — a ještě mu to má být vyčtěno. Můj bože, kdypak se na nás dostane.“

„Jen nechte, ženy, i k nám přijde království nebeské; za chudými jde pánbůh!“ ozvala se stará.

„No vy tam, zapomněly jste na práci, a držíte sněm? Co máte k vyjednávání?“ ozval se ode vrat nádvorníkův hlas.

„Práce je hotova a sněm je ukončen; — škoda, že jste nepřišel dříve, mohl jste poslouchat, co jsme vyjednávaly!“ odsekla mu Dorota, odhodivši poslední povříslo na hromadu k ostatním.

1857

inslav

JAN NERUDA

ЯН НЕРУДА

(1834—1891)

Один из основоположников чешского реализма, талантливый поэт, прозаик, публицист и литературный критик Ян Неруда родился и провел большую часть своей жизни в Праге. Его отец, отставной солдат, содержал небольшую лавочку. Мать помогала семье, зарабатывая поденной работой. Окончив Академическую гимназию, Неруда поступил в Пражский университет. Затем, в связи с тяжелым материальным положением семьи, он вынужден был служить некоторое время мелким чиновником в пражских канцеляриях. Свои богатые наблюдения над миром чиновников писатель использовал в дальнейшем во многих своих произведениях. С конца 50-х годов Неруда целиком посвятил себя литературной деятельности.

Мировоззрение Неруды и его эстетические взгляды сложились под влиянием идей революции 1848 года, мощного общественно-национального подъема в Чехии в 60-е годы. Осознав, что общество разделено на два враждебных лагеря, что «один человек имеет миллионы, чтобы миллионы людей не имели ни гроша», писатель безоговорочно встал на сторону угнетенных и неимущих. Страстный патриот и демократ, он был убежден, что все культурные и материальные ценности нации созданы трудящимися.

inslav

Развивая реалистические традиции творчества Тыла, Немцовой, Гавличка, Неруда начал последовательную борьбу за реалистическое национальное искусство. Он требовал от художника тщательного изучения жизни и правдивого ее изображения, гражданского мужества и высокого художественного мастерства, знания достижений мировой культуры. Большую роль в борьбе за чешскую реалистическую литературу сыграли предпринятые по инициативе Галека и Неруды издания альманаха «Май», а также литературных журналов «Картины жизни», «Кветы» и «Люмир» („Obrazy života", „Květy", „Lumír"). В течение всей своей жизни Неруда активно сотрудничал в газете «Народни новины» („Národní noviny") в качестве очеркиста и литературного критика.

Критические статьи Неруды содействовали укреплению реализма не только в литературе, но и в музыке, в театральном и изобразительном искусстве. Неруда много сделал для организации литературной жизни в Чехии во второй половине XIX века. В 1883 г. он организовал массовое, доступное для широких слоев читателей издание лучших образцов чешской поэзии.

В борьбе за реализм Неруда опирался на русскую и западноевропейскую классическую литературу. Знакомство с произведениями Гоголя, Гончарова, Островского, Гейне, Беранже и др., правильное понимание сущности их творчества сказалось в лучших произведениях Неруды.

Первым поэтическим сборником Неруды был цикл «Кладбищенские цветы» („Hřbitovní kvítí", 1857). Наряду с интимно-лирическими стихами в духе романтической поэзии, сборник содержит первые образцы гражданской лирики Неруды. В этих стихах выражен протест против политической и идеологической реакции, наступившей в Чехии после 1848 года. Линия гражданской поэзии находит свое развитие в дальнейших сборниках поэта. В «Книгах стихов» („Knihy veršů", 1867) собраны стихи разнообразной тематики. Многие из них — исповедь горячего патриота, готового пожертвовать ради счастья и свободы родного народа своей жизнью («Чешские стихи» — „České verše").В известном стихотворении «Всему был рад я» („Vším jsem byl rád") Неруда поднимает вопрос о месте и роли поэта в обществе, считая, что он должен быть самоотверженным певцом народной борьбы, надежд и страданий. Опираясь на фольклор и опыт Эрбена, разработавшего жанр баллады, Неруда создает яркие образцы чешской реалистической баллады, в которых убедительно изображает социальные конфликты современного ему общества, обрекающие простых людей Чехии на нищету и бесправие (баллады сборников «Книги стихов» и «Баллады и романсы» — „Balády a romance", 1883). В балладах особенно ярко проявилась одна из характерных черт нерудовского стиля — лаконичность и меткость слова. Неруда широко пользуется диалогом как средством раскрытия характера героя. Диалог придает динамичность развитию действия и помогает сохранить простоту, эмоциональность и естественную интонацию разговорной речи. В сборнике «Космические песни» („Písně kosmické", 1878) поэт выступает с патриотической философской лирикой, проникнутой духом материалистического мироощущения. Сборник «Простые мотивы» („Prosté motivy", 1883) — образец интимной и пейзажной лирики поэта, отличающейся непосредственностью, выразитель-

inslav

ностью поэтических образов и языка. Последний сборник Неруды — «Песни страстной пятницы» („Zpěvy páteční"), издан посмертно в 1896 г. Название его символично. В христианской религии «страстная пятница» — день мучений распятого Христа, но за мучениями следует «светлое воскресение». В пламенных, полных высокого патриотического пафоса стихах рисует Неруда страдания своего угнетенного народа, высказывая непоколебимую веру в его светлое будущее.

В историю чешской прозы Неруда вошел своей повестью «Босяки» („Trhani", 1871), сборниками рассказов «Арабески» („Arabesky", 1864) и «Малостранские повести» („Povídky malostranské", 1878).

Повесть «Босяки» посвящена изображению жизни сезонных рабочих на постройке железной дороги. Писатель выступил против их эксплуатации, бесправия и нищеты, показав общность их социальной судьбы и интересов. Тяжелому положению чешских рабочих-кустарей посвящен очерк «В краю нищеты и горя» („Výlet do kraje bídy", 1866). В лучших рассказах сборников «Арабески» и «Малостранские повести» Неруда высмеял косность и ограниченность чешских обывателей, изобразив жизнь и нравы мелкой чешской буржуазии преимущественно одного из районов Праги — Малой Страны, которая выступает как обобщенный образ пошлости и обывательщины. Обличая торгашескую, буржуазную сущность малостранцев, показывая их обывательский страх перед всем новым, их раболепие перед деньгами и властью, Неруда противопоставил им образы цельных людей из народа. Впервые в чешской прозе Неруда сатирически изобразил мир чиновников. «Малостранские повести» являются лучшим прозаическим произведением Неруды, в котором с наибольшей полнотой проявилось художественное мастерство писателя-реалиста.

Творчество Неруды ярко свидетельствует о том, что на протяжении всей жизни он был близок к трудовому народу. Свой творческий путь он завершил известным очерком «1 Мая 1890 года», в котором приветствовал политические выступления чешского пролетариата. Не видя еще конкретных путей борьбы пролетариата, писатель угадал в нем ту силу, которая изменит общественную ситуацию во всем мире.

Юлиус Фучик, высоко оценив идейное богатство творчества Яна Неруды, завещал грядущим поколениям любовь к великому чешскому поэту, смотревшему далеко в будущее.

Имя чешского писателя избрал в качестве своего псевдонима один из крупнейших поэтов современности, известный борец за мир Пабло Неруда.

Z ČASŮ ZA ŽIVA POHŘBENÝCH[1]

(Roku 1852)

Rád bych zapěl novou bujnou píseň
nešťastnému svému národu,
ale každý tón se vzbuzující —
mrtvé dítě — zemře v zárodu.

inslav

Rád bych zapěl píseň, jež by bratrům
línou krev ve plamen rozproudila;
ale prsa jak by křečovitě
přede slova mrzké hradby zdila!

Co mám zapět! Mám pět otců slávu,
mám o slávě předků zazpívat?
O dobách, v nichž lid náš ještě uměl
pro svobodu krev svou prolívat?
Nesmím myslit na ty boje slávy,
nesmím myslit na tu velkou dobu,
svoboda, již národům jsme dali,
bídně přivedla náš národ k hrobu!

Zašlost naše — pancíř zrezavělý,
v němž se mnohý kluk teď kolíbá,
kterýž, sotva kolébce že odrost,
pro chléb psotě nohy zulíbá.
Snad by bylo líp bez vší té slávy,
velikouť má hanby naší vinu,
sen o slávě prchnul by co mlha
a přemnohý přikročil by k činu!

Mám pět o nynějšku bratrům písně,
mám pět tklivou jara obnovu?
Jakž to možno, když už za odměnu
slyším v píseň řinkot okovů?
Smíme dýchat, ne však o tom mluvit,
smíme mluvit, ne však vlastní řečí,
smíme žíti, však jen skromně, skrytě,
bojovat též — ale v jaké seči!

Mám pět budoucnost! Ach zrak můj teskný
děsná mlha náhle obklopí,
a z té mlhy proud přehořkých slzí
náhle mořem zpěv můj zatopí.
Myšlénky tvé, lide — mrtvé děti —
budoucnost tvá zrádcům sluje zrada,
a kdo v budoucnost chce věřit pevně,
ten nechť napřed k špalkům hlavu skládá.

inslav

Národe můj, národe můj milý,
rád bych zapěl zpěv svůj labutí,
rád bych zhynul, kdybych věděl, že tím,
zdržím chrámu tvého sesutí.
Národe můj, lide přenešťastný,
zašlost tvá už ztlívá někde v koutě,
budoucnost tvá pod katovým mečem,
přítomnost tvá v těžkém, bídném poutě!

VŠIM JSEM BYL RÁD!

Ba nač bych osudu snad svému lál,
že zahrával si mnou zde jako míčem,
že hned mne hladil, hned mne šlehal bičem,
že že mne ledacos už udělal
od skromné otázky až hrdé ku odvětě,
že padl jsem a vstal zas nastokrát —
já ledačím už byl v tom božím světě
a čím jsem byl, tím jsem byl rád.

Mne osud do kolébky tvrdé dal,
pak na kazajku záplatu mi přišil,
pláč trpký novým jenom pláčem tišil
a jenom zkrátka mne vždy spořádal.
Však kolem pýcha, pýcha — ach ta krutě hněte
já začal jsem do panských synků prát —
ba ledačím jsem byl v tom božím světě
a čím jsem byl, tím jsem byl rád.

A k bídě zas mně osud sílu dal,
že vykročil jsem v život volným krokem,
a síla rostla každým dnem a rokem,
až z chlapce zcela svůj se muž pak stal
muž skromný v otázce, však hrdý při odvětě,
jejž nikdo nesmí v nízkou službu brát —
já ledačím jsem byl v tom božím světě
a čím jsem byl, tím jsem byl rád.

inslav

Když tedy byl jsem, co tak sluje muž,
hned pěkné dívky — přírody jak zvykem —
mne učinily svojím zahradníkem
a luzně prály: Služ nám, muži, služ;
nadšeně pěstuj, co tak mile na nás květe,
kvést věčně chce a přece musí zrát —
já ledačím jsem byl v tom božím světě
a čím jsem byl, tím jsem byl rád.

Však osud pravil: Do jistých jen dob!
Až přijde ti to velké milování,
smrt vyrvi dívku tvému celování,
ty žij a v prsou svých nos její hrob.
A třeba touha, mráz i hloupý výsměch hněte,
ty sám a sám se máš jen žitím brát —
já ledačím jsem byl v tom božím světě,
též kryptou musím býti rád.

Mně řekl osud: Českým pěvcem buď,
pěj jen, co sluší nešťastnému lidu,
stesk zoufalý a žhavou jeho bídu,
tvá píseň lásky trpkostí svou rmuť,
buď krutě zimna v nejparnějším lidstva letě,
tvůj lid má hojit, tobě srdce drát —
já ledačím jsem byl v tom božím světě
a čím jsem byl, tím jsem byl rád.

A dále řekl: Prostý voják buď!
Co přední stráž stůj v stálé pracné tísni,
nepřátel slina oko tvoje třísni,
a kámen zloby v tvoji bouchej hruď.
Cit s sebou vše, co národ tvůj kde bolem hněte,
tisíckrát raněn zmírej nastokrát —
já ledačím jsem byl v tom božím světě
a čím jsem byl, tím jsem byl rád.

Snad osud lecjaký má ještě sen:
však stál jsem vždy, kde svaté stálo právo,
a v mysli mé i v prsou všechno zdrávo —

inslav

nechť nový cíl dá tedy nový den,
zas začniž znovu osud, jakby od dítěte,
jinými do mne, mnou do jiných prát —
nechť čímkoli jsem ještě v božím světě,
čím budu kdy, tím také budu rád.

Knihy veršů, 1867

*

A chceš-li ještě, osude,
za volnost mého lidu
mít bledé, suché oběti,
nuž, mne uvrhni v bídu.

A chceš-li, mocný osude,
snad život ještě míti,
nuž, můžeš ruce krvavé
v mém srdci sobě smýti.

A drahou matku žebrat nech
a pohaň otce v hrobě,
jen svobodu, ach svobodu
dej bratřím v brzké době.

A vyrvi lásku, královnu
z života mého bájí,
jen svobodu, ach svobodu
ať bratři moji mají!

Knihy veršů, 1867

PÍSNĚ KOSMICKÉ

XVII.

Měsíček že je mrtvý muž?
A jeho pilné zaměstnání
při svaté lidstva osvětě?
Pak není širém ve světě
nad takové skonání!

inslav

Chtěl bych, až jednou dokonám,
— odpusťte hvězdné touze —
jak Měsíc svítit lidstvu dál —
tak dlouze — ach tak dlouze!

XXIV.

Dík budiž Vám, zlaté hvězdičky,
dík za jeden ze všech darů,
že umím lidmi zatočit
vesele do rozmaru!

Že dovedu někdy alespoň
mžik mladistvé ranní záře
a živý poblesk radosti
do české vkouzlit tváře.

Což — což je ta mysl národa
tak ztýrána, potrápena,
bojácná jako děťátko,
tichounká jako pěna!

Což — což je ta lidu mého líc
tak zsínale, mrtvě bledá,
kdo jednou na ni pohlédnul,
více mu spáti nedá!

Ach když po té tváři dojemné
jen okamžik úsměv skáče —
co na tom, že pak humorist
do koutku jde a pláče!

XXVI.

Vzhůru již hlavu, národe,
k nebi své zdvihni oči!
Viz: jsou tam i malé hvězdičky,
kol nichž se velké točí!

inslav

Toť prostě tím: ty maličké
z jadrného jsou fládru,
ale ty velké a poslušné
jen z plynových jsou hadrů.

Troufám, že při té myšlénce
srdce ti povyskočí —
nuž — buďme tou malou hvězdičkou,
kol níž se velké točí!

Jde to, ach jde! Jen každý hleď
k vlastnímu dobře jádru:
bude-li každý z nás z křemene,
je celý národ z kvádrů!

1878

*

Náš kraj se ženil dnes, bral oblohu si slíčnu,
a vyzkušení lidé staří praví,
že kdo chtěl přihlídnout, moh vidět tuze,
jak oba dávno již jsou láskou žhaví,
moh lesklé zřít jich hledy, slastné chvění,
moh pozorovat, jaké mají schůze
za lesův obzorem, ba až tam hory na temeni.

Hned zrána obláčkové, bílí jako z vlny,
po širém nebi sem tam houfně stáli,
a nato k pochodu se seřadili
jak šnůry perel, v nekonečnou dáli.
Pak na nevěstu šlojíř dali barvy šedé,
a na vůz s vranými ji mraky posadili
prach ve kotoučích letí po zemi a svatba jede.

Před svatbou muzika svou jásavou hrá píseň,
bouř do koní svým modrým pere bleskem,
hrom po nebesích z těžkých kuší střílí —
a svatba kpředu jede s divým třeskem.
Kde lidská obydlí, již okna otvírají

inslav

a honem za svatbou si povyhlédnout pílí
a šepcí s úsměvem si blaženým: „Bůh žehnej kraji!“

Již svatba přelítla, jen skvoucí deštná vléčka
se za nevěstou táhne ku obzoru.
Jak vínku zdoba vpůli roztržená,
od hory temene až dolů k boru
hle! květoucí se duha oble kloní,
a pod ní, bouřným deštěm osvěžená,
zoraná pole krásně jako čerstvý chleba voní.

Prosté motivy, 1883

BALÁDA O POLCE

(Dle vzdáleného motivu)

Na návsi je převeselo! Polka sedí v zlatých saních,
Před nimi dva vraní koně, plno pestrých pentlí na nich,
nad nimi jak v mladém jaře tisíc písní vzduchem jásá,
kolem nich se tísní, víří, skáče, plesá veská chasa.
Polka sedí v zlatých saních, chce až k vzdálenému městu —
„Nuže, jeď už, milá polko, šťastnou cestu, šťastnou cestu!
Ti se budou v pyšném městě, co to přišlo ze vsi, dívat,
budou nožičkama šoupat, boky vzpínat, bujně zpívat!“
Polka jede — polka jede.

Hlasně bičem svojím práskla — je to cesta, je to jízda!
Pod saněmi sníh si zpívá, po stromích kdos písně hvízdá,
kámen radostí se válí, ba i tamta hora šedá
bok si skalnou pěstí vzpírá, podle taktu hlavu zvedá.
A ta polka — je to holka. Je-li pak kde druhá v světě,
v očích hvězdičky jí hoří, po tvářích jí růže květe,
veselostí v mladém těle každá žilka jinou hraje,
věčně je jí do zpívání, do skoku a do mumraje.
Polka jede — polka jede.

Dofičeli pozdě k městu, koníci už samá pěna —
ej jakž večer město smutno! Vrata zimně pozamčena,

inslav

náměstí jak vymeteno, ulice tak hluše pusty,
pod střechami tma jak v pytli, nad střechami mlhy husty.
Polka na zem seskočila, sníh si s lesklých tváří stírá —
Což tu není nikdo kolem, kdože hostům odevírá?"
rozhlídla se po staveních, přistoupila ku okénku,
uvnitř hlas se ozval hrubý: „Kdo to na nás klepá
venku?" —
„Polka jede — polka jede. —"

„Slyšíš, ženo, polka jede! Vejdi dál, můj milý hosti,
doufám, že Ti dům náš celý bude ihned po libosti!
Hned tu budeš jako doma: mladý muž a žena mladá,
pod krovem nám dudy visí, strop se z samých houslí skládá;
stěny plny klarinetů, v každém koutě basa bručí,
dvéře do noty nám vržou, kamna k tomu fagot hučí.
Honem, ženo, pospěš městem, sezvi bohaté i chudé,
sezvi nám sem staré, mladé, ohlašuj a zvěstuj všude:
Polka jede — polka jede!"

Přišlo k polce město celé! „Pěkně vítám," chudý řekl,
bohatý vzal klobouk s hlavy, král i korunu svou smekl.
Jak se polka roztočila, král chyt králku, kníže kněžku,
Jozífek vzal Kačku za pás, Toník kýv si na Anežku.
Hej ten výskot, hej ta vřava! Tisícům se svítí oči —
je to přelud nebo pravda — vždyť i světnice se točí —
stěna sem tam otáčí se, kamna sem tam potácejí,
lavice se nadzdvihují, trámy v stropě obracejí —
polka jede — polka jede!

Balády a romance, 1883

ROMANCE O JAŘE 1848[1]

Čas oponou trhnul — a změněn svět!
Kam, kam padlo lidstvo staré?
Ej kamkoli tázavý letěl hled,
Vše nové, tak mladě jaré!
A ve vzduchu šuměla divná báj
a pěl nám ji sad, pěl ji haluzný háj,

inslav

i pěl nám ji údol i horstva tem,
a pěla ji celá širá zem
a pěli jsme: „Volnost — volnost!“

Tak lesklá teď čela, tak kyprý ret
a pohled tak vlhce řásný,
krev na rubín mladla, sval změnil se v květ
a každý byl člověk krásný!
Nám ve jedno splývala noc a den,
den samá byl tužba, pln záře sen —
my chvěli se, nevěděli oč,
my smáli se, nevěděli proč —
ach, příznaky první lásky!

Jak ku svatbě hluknul se mužstva roj,
druh druhovi ruku třímal,
a jásavě kupředu šel ten voj,
byť osud i v děla hřímal.
Kde klobouk tam péro, kde bok tam zbraň —
kdo tyranem, prchni, chraň se, chraň,
jeť ztracen, kdo ve smích by statnost bral,
z těch každý by stokrát život dal
„Za národ i lidstvo celé!“

I příroda všude se leskla kol,
den každý jak vyhejčkaný,
měl modroučkou na sobě kamizol
a zlatem byl obetkaný.
Kraj celý jak bálová síň se skvěl,
kdes pod zemí hudba, vždyť tančil, kdo šel —
sám pánbůh nás pokynem k tanci zval
a blažen se nad námi usmíval:
„Nuž konečně lidmi tedy!“

Prosté motivy, 1883

VE LVÍ STOPĚ

Byl podvečer. My v poušti, na oasy kraji.
Tak ticho kol! I Arabi, již jindy bujně hrají,
dnes mlčí schouleni; jak teskný zjev!
„Co je vám, muži?“ — „Pane, zde byl lev.“ —

inslav

„Že lev? A kdy?“ — „To, pane, těžko říci,
snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci;
však jisto jest: sem spěla jeho chůze!
snad cítíš, kraj jak po něm ztrnul v hrůze!“

Jak necítil bych! Vždyť jsem z české země.
Ten divný strach, ten promluvil již ke mně:
Kdy nejbujněj jsem vykročil si, vráz
až k srdci zasáhnul mi náhlý mráz.
Jak by se kolem skalné hory ptaly:
„Co v zemi obrů chceš, ty muži malý?“
Jak udiven by pohléd na mne kraj ten němý:
„Jsi sláb — přespříliš sláb jsi na mne českou zemi!“

Pout tíži cítíme a jsme přec na svobodě —
strach běží po lidech, mrak běží po přírodě,
zpěv před věky se naposledy zdvih
a odletěl a kdesi v modru ztich.
Vždyť i v ta šerá vlků našich hejna
se zabořila plachá bázeň stejná,
ač věčný hlad je rve a krvežízeň mučí,
ke skále tlačí se a jenom psovsky skučí.

Jak na poušti, kde lev si lehl polem,
po sirých Čechách teskno dýše kolem.
Jen jednou krajem tím šel národ lev[1],
jen jednou, před dávnem hřměl jeho řev,
a sama země slouchá s zatajeným dechem,
zda hrůzný hrom ten ještě nevrátí se echem,
a co kde dýše, choulí se v své skrýši
a s chvěním cítí: jsme zde ve lví říši.

Zpěvy páteční, 1883—1891

LÁSKA

Srdce to lidské — ach bože, přebože —
za zlobu móže snad, za lásku nemóže!

Že prý jsi, národe, božím tom na světě
jako to bodláčí, v cestě jež zakvěte,

inslav

jako to děťátko, které se z chudiny
zrodilo za těžké, neblahé hodiny.
Takému dítěti, nouze jež kolíbá,
Každý se ve světě zdaleka vyhýbá,
a kdo se přiblíží, blíží se v pohaně:
„Kéž jsi se zalklo už, proklaté cikáně!“

Ej co ty řeči! co všechny ty klevety!
Letím Ti, miláčku národe, v ústrety,
jako ta dívčice, lidská ta pěnice,
milenci letí vstříc v horoucí písničce:
„Hledím Ti v oči, byť světu se rouhaly.
Hladím Ti ruce, byť hadi v nich šlehali.
Rty moje na Tvojich hladově ulpějí,
byť jsi měl po retech jedových krůpějí.
Rámě mé toužebně hrdlo Tvé ovíjí,
byť Ti zlá choroba visela na šíji.

Nejsi však, nejsi, jak lidé tě dělají:
ruce a šíje Tvá sněžně se bělají.
Nejsi, jak říkají, zvětřilý v chudobě,
na prsou matky své slýchal jsem o Tobě:
tlouklo tak měkounce srdce to mateří
ptačí jak srdéčko, ustlané do peří.
Nejsi, jak říkají, zlotřilý v porobě,
v očích své matičky čítal jsem o Tobě:
povídka dojemná o zlatém člověku,
jehož bůh zachovej od věků do věků!

Koho bych miloval širém tom na světě!?
Srdce je vždycky ach srdcem jen dítěte —
do stáří, do skonu volá si po matce.
Přežil jsem matku svou, žiju jen památce,
přežil jsem lásku svou, měl ji tak nakrátce —
všechno jsem oplakal, zase se osvěžil —
Tebe bych, národe, Tebe bych nepřežil!

Zpěvy páteční, 1883—1891

inslav

JEN DÁL!

Z bouřného času jsme se narodili
a krok za krokem v bouřných mračnech jdem
vstříc hrdě vznešenému svému cíli,
šíj kloníce jen před svým národem.
My věděli, co na nás cestou čeká;
byť hrom však bil a mráz nám v kosti vál —
toť jenom česká hudba odevěká,
my při ní půjdem kpředu — dál, jen dál!

S tím národem, jenž je tak čistý, jasný,
jak byl by z rukou božích vyšel dnes;
jenž dosud v prsou nese idól žasný,
byť byl i před věky již za něj kles!
Za volnost lidskou — *v nás* kdys rozekvětla! —
dnes stojí Čech, jak druhdy za ni stál:
ta myšlénka, která nás ve hrob smetla,
zas k slávě vznese nás — jen dál, jen dál!

Jen dál! Čas nový chce mít činy,
den nový vzešel k nové práci nám,
jeť sláva otcův krásný šperk pro syny —
však kdo chceš ctěn být, dobuď cti si sám!
Kde přítomnost jak dítě pozasteskla,
vše dávná sláva, byť v ní démant hrál,
je za korábem jenom brázda lesklá —
napněte lana — vzhůru plachty — dál!

Pryč se vzdechy, již umlkněte, rety,
že přízeň doby není jasna tak!
Což růže neodvírá svoje květy,
když mezi ní a sluncem rozstřen mrak?
Pryč s klímotem již u kormidla lodi:
kdo chvíli stál, již stojí opodál,
den žádný dvakráte se nenarodí,
čin dvakrát nezraje — jen dál, jen dál!

Nám slunce jako jiným skráně zdobí,
nám po noci jak jiným vzchází den,

inslav

jsme jako jiní syny velké doby —
to žádá však si celých mužů jen!
Pojď sem, pojď sem, ty milounký náš hosti,
by truchlý rej náš plesem zas se zdál,
ty zlatá naděj, smavá troufalosti,
nes prapor náš, my s jásotem jdem dál!

My nevíme, co budoucnost nám chová —
však ještě žije českých bitev bůh,
a pro vítězství veliká a nová
je dosud širý dost ten český luh!
A chce-li bůh snad dát kdys nové seče —
nám stačí hlas husitský na chorál,
dost v zemi železa na dobré meče,
i v krvi železo — jen dál, jen dál!

Ach hleďme pilně ke korábu svému,
jsme jeho plaňky, hřeb jsme svěrný v něm,
a věrně, toužně přilneme-li k němu,
zas šťastna záhy bude Česká zem!
Však byť měl Čech již všechno ve svém klínu,
čeho si v nejbujnějších snech svých ždál —
to lidské moře nezná odpočinu.
Ty též ho neznej, stále měj se k činu,
dál, národe náš drahý, věčně dál!

Zpěvy páteční, 1883—1891

VÝTEČNÍCI

My jsme všichni velcí pani,
my jsme všichni velcí svatí,
žijem, tyjem, národ platí
našich hříchů na pokání.

Žijem, tyjem k slávě boží,
národ hyne k slávě naší,
a co zbude pod trnoží,
obětujme vlasti, braši!

inslav

KDE DOMOV MŮJ?[1]

[:Kde domov můj?:]
Tam kde pivováry strmí,
a kde Sádsko husy krmí,
kde mělnické vinice
lidem dělaj opice,
jež malínský křen zas spraví,
[:mezi křeny *domov* můj!:]

[:Kde domov můj?:]
Tam kde Nemci na mráz troubí,
kde svoboda hledá houby,
kde len ještě nedorost
lepším Čechům pro radost,
kde na slovo šibenice,
[:tam — ach na ní domov můj.:]

Z TÁBORA KONSERVATIVNÍHO

Co koupil jsem si každý rok,
též letos sobě koupím,
a byl-li hlup jsem každý rok,
též letos budu hloupým!

TAKÉ ÚSUDEK O „BRANIBORECH"[2]

„Ta hudba nemůže a nesmí za nic stát!
Za prvé: není tam nic do skoku,
za druhé: je to hudba pokroku,
za třetí: Smetana je demokrat
a skoro z každé jeho arie
se na nás šklebí demokracie!"

PAN RYŠÁNEK A PAN SCHLEGL

I.

Bylo by směšné, kdybych pochyboval, že některý z mých čtenářů nezná malostranský hostinec u Štajniců. Přední to tamější restaurace: první dům za mosteckou věží vlevo, roh ulice Mostecké a Lázeňské, velká okna, skleněné velké dvéře. Jediná

inslav

restaurace, která se směle postavila do nejveřejnější ulice, otvírajíc se k tomu ještě přímo na chodník, — všechny restaurace ostatní jsou buď ve vedlejších ulicích, nebo se do nich vchází domem, nebo mají alespoň před sebou podloubí, v pravé malostranské skromnosti. Proto také pravý Malostraňák, syn těch tichých, zamlklých ulic, plných poetických zákoutí, k Štajnicům nejde. Chodí tam vyšší úřadníci, profesoři, důstojníci, jež tam na Malou Stranu zavála náhoda a brzy snad zase odtamtud odvěje, s nimi pak jen málo ještě pensistů, několik starých, bohatých domácích pánů, kteří živnost svou dávno již odevzdali jiným, a dost. Ráz byrokraticko-aristokratický.

Již před lety, když jsem byl ještě drobným gymnasistou, byla společnost u Štajniců podobného výlučného rázu, přec ale v jistém ohledu jiná. Abych zkrátka řekl, byl to malostranský Olymp, kde se scházeli malostranští bohové. Je to zcela bezpečné faktum z historie, že bohové vyrůstají přímo ze svého lidu. Jehovah byl bůh zamračený, zlý a mstivý, ukrutný a krvežíznivý, jako celý národ židovský. Řečtí bohové byli elegantní a duchaplní, krásní a veselí, Hellenové ve všem všudy. Slovanští bohové — pardon, my Slované neměli dost plastické síly ani na ustrojení velkých států, ani na vytvoření zcela určitých bohů, naši bývalí bohové jsou nám dnes vzdor Erbenům a Kostomarovým pořád ještě mlhavou skupinou, samá měkkost, samá neurčitost. Ale snad někdy napíšu článek zvláštní, to se rozumí, že schválně duchaplný, o té paralele boho-lidské, zde chci jen říci, že bohové scházející se u Štajniců byli nade všechnu pochybnost praví bohové malostranští. Malá Strana — beru domy i lid — má cosi tichého, důstojného, starobného, řekněm i podřímlého do sebe, a v to vše byli také vhaleni onino páni, i v tu podřímlost. Arci byli to také úřadníci, vojíni, profesoři, pensisté jako dnes, ale tenkrát ještě nesmýkalo se úřadnictvem a vojskem tak ze země do země, otec dovedl syna v Praze nechat vystudovat, pomohl mu tu do úřadu, udržel ho tu protekcí napořád. Když postáli někteří ti štajnicovští hosté chvilku spolu venku na chodníku, pozdravil je každý kolemjdoucí občan, znal je.

Nám gymnasistům byl ale Olymp u Štajniců tím více Olympem, že na něm byli také všichni naši staří profesoři. Staří! Nač říkat staří! Znal jsem je všechny dobře, ty bohy naší milé Malé Strany, a zdálo se mi vždy, že z nich ze všech nebyl ani jediný

inslav

nikdy mlád — či vlastně že vypadali již co děti asi zrovna tak, jen snad o něco menší.

Vidím je všechny před sebou jako dnes! Předně pan apelační rada. Dlouhý, suchý, a nesmírně vážený. Byl ještě v úřadě činný, ale nedovedl jsem se nikdy domyslit, jaká as je ta činnost jeho. Když jsme šli o desáté dopoledne ze školy, vycházel teprv ze svého domu v Karmelitánské ulici a šel vážně do ulice Ostruhové, do vinárny Čardovy. Když jsme měli ve čtvrtek odpůldne prázdno a vztekali se po Mariánských hradbách, procházel on se tu v sadech. A o páté odpůldne vcházel již k Štajnicům. Umiňoval jsem si pevně, že budu pilný a že se stanu také takovým apelačním radou, ale pak jsem na to nějak zapomněl.

Pak jednooký pan hrabě. Na Malé Straně nebyla o hrabata sice nikdy nouze, ale ten jednooký byl nejspíš jediný, který chodil do malostranského hostince, alespoň tenkrát. Velký, kostnatý, svěže červené barvy, kratičkých bílých vlasů, s černou sponkou přes levé oko. Stával před Štajnici na chodníku třeba dvě hodiny, a když jsem musil kolem něho, šel jsem obloukem. Ona totiž příroda dala šlechticům jistý profil, kterému se říká aristokratický a jenž je činí velmi podobny dravým ptákům. Pan hrabě mně také vskutku připadal jako ten sokol, který s ukrutnou důsledností denně vždy o dvanácté v polednách s uloveným holubem na svatomikulášskou báň zasedal a zde svou kořist rval, že peří z ní až dolů na náměstí lítalo. Chodil jsem kolem pana hraběte tedy obloukem, měl jsem nejasný strach, že mne klofne hlavou.

Pak tlustý pan štábní lékař, ještě nikoli přestárlý, ale již na výslužbě. Povídalo se o něm, když jakás velmi vysoká osobnosť kdys prohlížela pražské nemocnice a ledacos podotýkala, on že té vysoké osobnosti řekl, že ničemu nerozumí. Dán proto do výslužby a zároveň do naší lásky, neboť my hoši měli jsme tlustého toho pána pak za hotového revolucionáře. Byl ale také přívětivý, švitorný. Když potkal hocha, který se mu líbil — hoch ten mohl být také děvčetem —, zastavil ho, pohladil ho po tváři a pak mu řekl: „Pozdravuj doma tatínka," třeba ho neznal.

Pak — ale ne! Ti všichni staří sestárli znenáhla ještě více a pak umřeli —nevyvolávejme stíny z hrobů. Vzpomínám s rozkoší na ty hrdé chvíle, které jsem mezi nimi trávil, na ten pocit samostatnosti, mužnosti, ano velkosti, když jsem, stav se posluchačem vysokých škol, po prvé a bez bázně před profesory vstoupil

inslav

k Štajnicům mezi ty bytosti vznešené. Mnoho si mne nevšímaly, to je pravda. Abych tak řekl, skoro nic. Jen jednou se v běhu několika neděl stalo, že pan štábní lékař, jda kolem mého stolku již domů, řekl ke mně: „Ano, ano, mladý muži, pivo dnes nestojí za nic, ať si říkají titam co chtějí!“ a přitom kývnul hlavou pohrdlivě nazad po těch, s kterými byl právě seděl. Hotový Brutus! Troufám si tvrdit, že by po případu i samému Caesarovi byl dovedl vrhnout do tváře urážku, že nerozumí pivu.

Zato jsem sobě všímal já jich. Mnoho jsem od nich neslyšel, ale mnoho jsem na nich pozoroval. Považuju se jen za chudou kopii bytostí těch, ale cokoliv je na mně vznešeného, od nich to mám. Přede všemi však zůstanou mně nezapomenutelni mužové dva, ti se vryli v srdce srdce mého. Pan Ryšánek a pan Schlegl.

Ti dva se nemohli ani cítit. — Ale již musím prosit zase za odpuštění, já raděj o nich začnu jinak.

Když se vstoupí k Štajnicům z ulice Mostecké, jsou v přední místnosti, kde kulečníky stojí, vpravo tři okna, která hledí do ulice Lázeňské. Do výklenku každého toho okna postaven malý stolek a k němu lavička do podkovy; mají tu vždy tři lidé místo, jeden zády k oknu, druzí dva na koncích podkovy proti sobě, nebo kdyby se těmto zachtělo také sedět zády k oknu, sedí pak tedy obličejem ke kulečníku obráceným a baví se díváním na hru.

V třetím tom okně od vchodu vpravo seděli všeobecně vážení občané pan Ryšánek a pan Schlegl den co den navečer vždy od šesti do osmi. Místo jejich bylo vždy pro ně prázdno; aby se byl snad někdo jiný odvážil zasednout kdy místo někomu navyklé, to patřilo vůbec k věcem, jež řádný a mravný Malostraňák byl by od sebe odmítl rozhodně co přímou nemožnost, poněvadž — nu poněvadž se to nedalo ani myslet. Místo zrovna u okna zůstalo vždy prázdno, pan Schlegl seděl na tom konci podkůvky, který je blíž vchodu, pan Ryšánek na konci protějším, loket od sebe. Oba seděli vždy odvráceni od okna a tedy napolo také odvráceni od stolku i od sebe a dívali se na kulečník; k stolku se obrátili, jen když se chtěli napít nebo dýmku si nacpat. Jedenáct let již zasedali tak den co den. A po těch jedenácte let nepromluvili na sebe ani slova, ba ani si jeden druhého nevšimnul.

Po Malé Straně byla známa krutá zášť, v jaké měl jeden druhého. Nepřátelství mezi nimi bylo staré a nesmiřitelné. Také byla známa příčina. Prapůvod všeho zlého, ženská. Milovali tutéž.

inslav

Napřed se byla klonila k panu Ryšánkovi, jenž byl již déle obchodníkem samostatným, pak spočívala netušeným obratem náhle v objetí pana Schlegla. Snad proto, že byl pan Schlegl skoro o deset let mladší. Stala se paní Schleglovou.

Byla-li paní Schleglová takovou kráskou zvláštní, že to omlouvalo páně Ryšánkův trvalý bol a napotomní věčné mládenectví jeho, nevím. Už byla dávno na pravdě boží, zemřela hned v prvním šestinedělí, zůstavujíc po sobě dcerku. Snad že byla ta obrazem jejím. V době, o které mluvím, byla slečna Schleglova as dvěmecítma let stara. Znal jsem ji, přicházela často návštěvou do patra nad námi ku setníkovic Poldýnce, k té, co na ulici při každém dvacátém kroku klopýtla. Říkali, že slečna Schleglova je kráskou. Možno, ale takhle pro architekta. Všechno na pravém svém místě, všude na ní nejpravější rozměr a při všem věděl člověk proč. Ale pro jiného než architekta — k zoufání. Její obličej se pohnul právě tak málo jako fasáda na paláci. Její oko bylo bez významu lesklé jako právě umyté okno. Její ústa, ostatně pěkná jako drobná arabeska, odvírala se pomalu jako vrata, pak buď zůstala dokořán nebo se zavírala rovněž pomalu. K tomu ta pleť jakoby právě teprv čerstvě obílená. Možno, že teď, žije-li, už není tak krásna, ale že je hezčí: podobné budovy jsou hezčí zvětralé.

Lituju čtenáře, že mu nedovedu vyprávět, jak se as dostali pan Ryšánek a pan Schlegl dohromady k tomu stolku ve třetím oknu. Nějaká tím byla vinna kletá náhoda, která chtěla starcům ztrpčit den co den. Když je ta neznámá náhoda tam sesadila, udržela je po prvé na místě as mužná jich pýcha. Po druhé se sesedli as ze vzdoru. Pak seděli na důkaz své neoblomnosti a aby se neřeklo. A teď už dávno nahlížel u Štajniců každý, že pro ně oba je to již otázkou mužné cti a popustit že nemůže žádný.

Přicházeli k šesté hodině, ten dnes o minutu dřív, ten zejtra. Pozdravili zdvořile na všechny strany a každého, jen jeden druhého ne. Sklepník jim odebral v letě klobouk a hůl, v zimě huňatou čepici a plášť a pověsil to na hřebík za jich místem. Pak svlečený zakýval jako holub svrchním tělem — staří lidé mají to kývání v obyčeji, když chtějí usednout —, pak se opřel jednou rukou o svůj roh stolku (pan Ryšánek tedy levou rukou, pan Schlegl pravou) a pomalu si sedli zády k oknu, obličejem ke kulečníku. Když přišel tlustý hostinský, stále se usmívající a bre-

inslav

bencující, nabízet první poslušný šňupec, musel u každého zaklepat na pikslu znovu a znovu pronést poznámku, že máme dnes venku krásně. Sic by byl druhý již šňupce nevzal a slov přeslechl. Nikdy se nepodařilo komukoli rozmlouvat s oběma najednou. Nikdy sobě nevšiml ani za mák jeden druhého, to individuum za stolkem pro něho vůbec nebylo.

Sklepník postavil před ně po sklenici piva. Po chvilce — ale nikdy ne najednou, pozorovaliť se ovšem vzájemně vzdor vší nevšímavosti — obrátili se k stolku, vyndali z náprsní kapsy velkou, stříbrem kovanou pěnovku, ze šosu váček naplněný tabákem, nacpali, zapálili a odvrátili se od okna zas. Tak seděli po dvě hodiny, vypili po třech sklenicích piva, pak se zdvihli, ten dnes o minutu dřív, ten zejtra, zastrčili dýmku, schovali váček, sklepník je oblékl a oblečený poroučel se všem, jen svému sousedovi ne.

Zasedal jsem schválně k stolu stranou vedle kamen. Viděl jsem panu Ryšánkovi a panu Schleglovi takto přímo do tváře a mohl jsem je pohodlně a nenápadně pozorovat.

Pan Ryšánek býval obchodníkem s kanafasem, pan Schlegl obchodníkem se železným zbožím. Teď už oba byli obchodu co bohatí domácí páni zanechali, ale tváře jejich pořád jaksi připomínaly zaměstnání dřívější. Obličej páně Ryšánkův připomínal mně vždy bíle a červeně pruhovaný kanafas, pan Schlegl mně celý připadal jako omžený kupecký hmoždíř.

Pan Ryšánek byl větší, sušší a jak praveno starší. Nevězel již jaksi v dobré kůži, byl často sláb, spodní čelist jeho úst mimovolně se již odlučovala a svěšovala. Šedivé oči užívaly skel, zabraných do černé kosti. Hlavu pokrývala světlá vlásenka a podle nezcela zešedlého obrví bylo možno soudit, že pan Ryšánek býval blondýnem. Tváře byly vpadlé a bledé, tak bledé, že dlouhý nos se proto červenal až do karmínu. Z tétéž příčiny as bývala na jeho konci kapka, slza, vyřinulá mu ze samého vnitra. Co svědomitý biograf musím podotknout, že pan Ryšánek hleděl tu slzu setřít někdy pozdě, když už byla skanula do soucitného klínu.

Pan Schlegl byl zavalitý, myslím, že byl bez krku. Hlava jeho byla jako puma; vlas silně prošedlý, černý; obličej kde oholen, tam modročerný, kde bezvousý, tam růžový, kus svítivého masa a pak kus tmy, jako potemnělá podobizna od Rembrandta.

inslav

Měl jsem rozhodnou úctu k těm dvěma heroům, ano obdivoval jsem se jim. Jak zde seděli, sváděli den co den velkou bitvu, krutou, neuprosnou. Válčili zbraněmi svými: mlčením jedem prosáklým, opovržením nejtěžším. A bitva zůstávala věčně nerozhodnuta. Kdo konečně as postaví nohu svou na krk přemoženého soupeře! Pan Schlegl byl fysicky silnější, vše na něm bylo krátké, úsečné, když promluvil, znělo to jako s věže bác! Pan Ryšánek mluvil měkce a rozvláčně, byl sláb, ale mlčel a nenáviděl se stejnou hrdinností.

II.

Stalo se něco.

Bylo ve středu před nedělí Jubilate, když přišel a usedl pan Schlegl. Usedl, nacpal si a odfoukl oblak dýmu, valící se jako z výhně. Teď vstoupil hostinský a přímo k němu. Zaklepal na pikslu a podával šňupec. Když pak zase pikslu zavřel a jí zatřás, podotknul hledě přitom ke dveřům: „Dnes pana Ryšánka tedy neuvidíme."

Pan Schlegl neodpověděl, s kamennou lhostejností hleděl přímo před sebe.

„Povídal tamhle pan štábní lékař," vypravoval hostinský dále a stál teď zas ke dveřím zády; při obratu byl zrak jeho přejel přes tvář páně Schleglovu. „Vstával ráno jako jindy z postele, tu ho náhle chytne taková zimnice, musel hned zas do postele, a honem pro doktora, honem. — Zapálení plic. — Už tam byl dnes štábní lékař třikrát u něho — starý člověk, nu ale — je v dobrých rukou. Doufejme!"

Pan Schlegl zachrochtnul při zavřených rtech. Nemuknul, nepohnul zrakem. Hostinský šel o stůl dále.

Vpil jsem se teď v tvář páně Schleglovu. Dlouho zůstala bez nejmenšího pohnutí, jen rty se otvíraly a vypouštěly kouř a někdy se svezl troubel z koutku do koutku. Pak přistoupil k němu nějaký známý. Rozhovořili se a pan Schlegl se několikráte hlasitě smál. Byl mně protivný ten smích jeho.

Vůbec se dnes choval pan Schlegl rozhodně jinak než jindy. Jindy přibitý k svému místu jako voják ku své strážní budce, dnes toulavý, neposedný. I do kulečníku se dal s panem Köhlerem, kupcem. Měl štěstí při každé partii až po dublé, a přiznám

inslav

se, že jsem mu to skoro přál, že zakončujícího dublé nesvedl ani jednou a zde že ho pan Köhler vždycky pak dohonil.

Pak zas usedl, kouřil a pil. Když někdo k němu přistoupil, mluvil pan Schlegl hlasitěji a v delších větách než kdy jindy. Neušlo mně ani nejmenší jeho hnutí, viděl jsem jasně, že má vnitřní potěšení, že nemá nejobyčejnějšího soucitu s nepřítelem v chorobě, zprotivil se mně.

Několikrát šlehnul jeho zrak obloukem ku kredenci, u níž seděl pan štábní lékař. Zajisté že by mu ruku stiskl, jen aby si nedával s tím nemocným příliš mnoho práce. Zlý člověk, rozhodně zlý.

K osmé hodině odcházel pan štábní lékař. Zastavil se u třetího stolku. „Dobrou noc," pravil, „musím dnes ještě jednou k Ryšánkovi. Je potřebí opatrnosti."

„Dobrou noc," odtušil pan Schlegl chladně.

Dnes pil pan Schlegl čtyry sklenice a setrval do půl deváté.

Minuly dny, minuly týdny. Po chladném, mhouravém dubnu přišel teplý květen, překrásné jaro měli jsme toho roku. Když je krásný květen, je na Malé Straně ráj. Petřín je obalen bílým květem, jako by všude kypělo z něho mléko, a celá Malá Strana je vhalena ve vůni bezu.

Pan Ryšánek byl již vyvázl z nebezpečí. Jaro působilo teď na něho jako balzám. Již jsem ho potkával procházejícího se v sadech. Kráčel pomalu, opřen o hůl. Dřív suchý, byl teď ještě nepoměrně sušší, spodní jeho čelist byla teď již stále svislá. Podvázat mu bradu šátkem, zatlačit mdlé oči a položit ho do truhly. Ale znenáhla se přece sbíral.

K Štajnicům nechodil. Tam královal u třetího stolku pan Schlegl pořád sám a točil se a seděl jak chtěl.

Konečně, byl již konec června a právě den sv. Petra a Pavla, vidím pojednou pana Ryšánka a pana Schlegla zase tu pohromadě. Zas seděl tu pan Schlegl na své místo jako přibitý a oba byli obráceni zády k oknu.

Sousedé a známí přicházeli a podávali panu Ryšánkovi ruku. Každý ho upřímně vítal, stařec se příjemným rozčilením chvěl, usmíval se, mluvil co nejjemněji, byl měkký. Pan Schlegl hleděl na kulečník a kouřil.

Když po chvílích osamotněl, vždy se pan Ryšánek trochu zahleděl ku kredenci, kde seděl jeho lékař. Vděčná duše.

inslav

Právě se tam zase zahleděl, a tu pohnul pan Schlegl náhle hlavu trochu stranou. Zrak jeho lezl pomalu od podlahy po panu Ryšánkovi vzhůru, přes špičatá jeho kolena až ku ruce, která tu ležela na rohu stolku jako koží potažená kostra; chvilku spočinul na ruce té, pak zas se kradl výš, až se dotknul svislé čelisti, zbědovaného obličeje — jen se dotknul a již zrak se mihnul pryč a hlava se zas narovnala.

„I zdrávi vstali — to je radost," spustil hostinský, přicházející teprv odněkud z kuchyně nebo ze sklepa. Jakmile byl vstoupil a spatřil pana Ryšánka, zrychlil k němu krok. „Tedy zase zdráv a náš, no zaplať pánbůh!"

„No chválabohu, chválabohu," usmíval se pan Ryšánek, „ještě jsem tomu uklouznul. Už se cítím jak náleží."

„Pan Ryšánek ale nekouří — ještě žádná chuť na tabáček?"

„Dnes mám tak po prvé nějak chuť, zakouřím si."

„Tak tak, to je dobré znamení," zavřel pikslu, zaklepal, podal zas panu Schleglovi s nějakou poznámkou a šel.

Pan Ryšánek vyndal dýmku a sáhl pak do šosu pro váček. Zavrtěl hlavou, sáhnul tam po druhé, po třetí, pak zavolal drobného sklepníka k sobě. „Doskoč ke mně, víš kde bydlím? Zde na rohu, ano. Řekni, aby ti dali můj váček s tabákem, musí ležet na stole." Kluk si poskočil a odběhnul.

Pan Schlegl sebou teď hnul. Vztáhl pravici pomalu po otevřeném svém váčku a přitáhl jej skoro před pana Ryšánka. „Je-li libo — já mám tříkrálový s červeným," pronesl způsobem svým úsečným a pak si odchrochtnul.

Pan Ryšánek neodpovídal. Pan Ryšánek nepohleděl. Hlava jeho zůstala odvrácena, kamenně lhostejna jako po celých jedenácte let.

Několikrát se mu ruka zachvěla, ústa se zavřela.

Pravice páně Schleglova zůstala na váčku přimrazena, oko jeho připnulo se k zemi, teď bafnul, teď zahrčel hrdlem.

Již tu ale byl sklepníček zpět.

„Děkuju, už mám vida váček svůj," poděkoval teprv teď pan Ryšánek panu Schleglovi, ale nepohlédl. „Kouřím také tříkrálový s červeným," dodal po chvilce, jako by cítil, že přec musí ještě něčeho dodat.

Nacpal si, zapálil a bafnul.

inslav

„Chutná?“ zavrčel pan Schlegl hlasem stokrát drsnatějším než obyčejně.

„Chutná, — zaplať pánbůh.“

„No zaplať pánbůh,“ opakoval pan Schlegl. Kolem úst trhaly se mu svaly jako blesky po tmavé obloze, a honem dodal: „Už jsme se tu o vás báli.“

Teď teprv obrátil pan Ryšánek pomalu hlavu k němu. Oči obou mužů se potkaly.

A od té doby mluvili pan Ryšánek a pan Schlegl u třetího stolku spolu.

1875 (Povídky malostranské, 1878)

VÝLET DO KRAJE BÍDY

I.

V Hořovicích byl „kravál“ jak to nazývaly listy vídeňské, peštské, berlínské atd., vůbec listy ve všech místech, kdekoli kravály patří k událostem zajímavějším — a to je skoro všude. Ihned přišly dvě setniny vojska z Hostomic. Přibližujíce se rozstoupli se, obemkli celé město, vcházeli do města všemi výběžky a uličkami jeho. Měli příkaz, aby zástupy lidstva vzbouřeného sehnali k radnici. I přivedli tedy všechny, koho potkali, na radnici. Všichni ti zajatci byli dohromady počtem dva a pustili je ihned zase na ulici, protože to byli městští ponocní. Hořovice byly již zase tichy. Pět nebo šest těch opilců, kteří byli se židovským kupcem se hašteřili, bylo zatknuto od měšťanů a ostatní chudé obyvatelstvo hořovické, pověstní ti v novějších dobách cvočkáři, vyspávali se sílu na robotu příštího dne a zaspávali svou bídu. Ti lidé nejsou s to dělat kravály: málo hodin spí a mnoho hodin se prací udírají — ani na jídlo nepotřebují právě času!

Jedeš-li po dráze kolem Hořovic, vypadá město po pahrbku rozložené, s tím tmavým lesíkem nad sebou a s tím ručejem v údolí, se zámečkem vlevo a se svými nalepenými domečky vpravo „na drahách“ jako jesle. Zvlášť v zimní večer, když sníh stráně vroubí a hravá světýlka v oknech proskakují, je obraz rozkošný. Od Hořovic kupí se zimavé pahrbky k jižní i severní straně.

inslav

Rozkošná jsou tu údolí, půda dosti úrodná, nahoře lesy bohaté, dole bystré vody, krajina je již od přírody určena k průmyslu, k práci, k výdělku. Jenže je té práce naseto příliš mnoho, výdělek pak že roste tu spoře a bídně jako neživný mech na prahnoucí nahé skále! „Když bůh práci rozdává rukama *oběma* — čím má pak žehnat!?"

Jděte tam všichni, kdož jste spokojeni, když lid pracuje a jenom pracuje, kdož nepřispíváte mu ničím, ani radou, a když radou, tedy pouhou, nepotřebnou frází! Všechna vaše mravná pořekadla objeví se zde ve své nicotě. Pravíte-li, že „práce nás chrání před nouzí", nuže — zde je práce obrovská, nouze ale ještě větší! Pravíte-li, že „práce je nejlepší přítel člověka, že mu dodává nové síly", nuže — zde práce učinila z celého kraje obrovský chorobinec, kraj mrzáků, kteří jsou na mizině s duševní i hmotnou silou svou! Kladivo kovářské umučilo dvě generace.

Nemáte-li pojmu o tom, co je mrzáctví, jděte sem, kde není takřka člověka rovného, kde vychrtlé údy a zvýšená, zhrbatělá lopatka zdají se být pravidlem přírody, kde rovný člověk zdá se býti nepravidelností. Když Sue vylíčil v „Misteriích" svých brusiče drahokamů, od práce zmrzačelého, zaslzely statisíce očí útlocitných čtenářek. Zde máte tisíce takových nebohých —pláč jim nepomůže, toho mají sami dost, nejsou-li i na pláč již příliš unavení — pomáhejte jinak!

Nemáte-li pojmu o tom, co je hadr a záplata na záplatě, jděte sem, kde lidé nosí na sobě co sváteční pokrývku to, co ve své zetlelosti hodilo by se spíše jakožto mrva na pole. Smutné některé události obrátili zřetel celé země na nahotu této krajiny. Dobročinní lidé sbírají peníze, sbírají šat; zde je ale mnoho dobročinnosti potřebí, pouhý náběh nestačí, krajině musí se pomoci důkladně. Dobročinných jednotlivců domácích bylo také zde vždy dosti, pomáhali, kdy mohli, a nemohli-li častěji, přispívali alespoň jednou za týden, když houfy žebráků, třicet až čtyřicet hlav čítající, chodí pospolitě „pátkovat". V chudé, vyhladovělé krajině ani nepomůže několik prostředně zámožných jednotlivců.

Uznává se již obecně, že musí pomáhat celá země, veškeré obyvatelstvo hledí k řádnému vyšetření nebohé té krajiny. Vyšel jsem sobě také z Prahy tam, abych pohleděl do zmořeného oka pracující bídy. Zvědavost pouhá mne zajisté nepudila, zvědavost by zde byla v mravním ohledu velmi citelně potrestána. Chudoba

inslav

je ovšem „vždy a všude stejna“, stejně dojemna; zde se ale vrcholí chudoba i dojem z ní! —

Hořovice jsou v ohledu našem jaksi centrum, z něhož vybíhají smutné paprsky po údolích na čtyry až pět hodin cesty. V Hořovicích je ale mezi hřebíkářskými pracovníky také bída poměrně největší, ač může-li při bídě tak velké býti ještě „poměru“. Jeden nebo dva krejcary činí celý „poměr“, trochu více nebo méně hladu činí celý rozdíl. Namáhavá práce od dětinstva, zmažení v ohni za dne, mráz na loži v noci, nedostatek potravy činí všechny hřebíkáře neschopnými k práci jiné než hřebíkářské. Na vsi ale přece dovede žena a dítě nějakou maličkost po polích sebrat, ve městě jsou však pouze a pouze obmezeni na bídný výděleček svůj z kovadliny. Jsou neschopni k práci jiné, a kdyby byli třeba jen trochu schopni, snad by sobě právě polní práce nevšímali, neboť jsou — měšťáci. Každý zná aristokratický nádech, jaký má i nejchudší „měšťák“ naproti „venkovanu“; kdož by se tomu nebohému lidu divil, nedovede-li ostře myslit, kryje-li nahotu svou alespoň třpytným nádechem domyslu!

V městech tedy jako v Hostomicích a Hořovicích je poměrně ještě větší bída než na vsích. V Hořovicích mají ktomu ještě o něco namáhavější práci. Zde vzrostli „cvokaři“ již na „kováře“, kteří dělají jen obchodní čísla *větších* hřebíků, „šindeláky“, „pantováky“, „podkováky“, jak je jmenují.

Ač jsou Hořovice cvokařskými domky jako by vroubeny, je těchto přece ještě celá zvláštní čtvrt na západní straně Hořovic, na tak zvaných „drahách“. Zde je domek vedle domku, vlastně domek pod domkem nalepen. Všechny ty domky jsou stejně bídny, stejně rozedrány, stejně slepy.

V této části tichého města panuje ruch a život, ale život zvláštní. Zde jedná a mluví kladivo, lidé nemají ani času ani chuti k rozpravám, i ty děti před domky, slaby a nemocny, hrají sobě tiše a mlčelivě, jako by jen z donucení činily zadost odvěkému pravidlu, že čas dětinství je čas hry.

Věčné to bušení není nikdy a nikdy přerváno písní. Píseň odstěhovala se odtud již dávno k lidem šťastnějším, a přece je ten nezpěvný, smutný lid velmi, velmi dobrý lid.

Zeptejte se úřadu, zeptejte se kohokoli; sám úřad vám řekne: „Lid ten je dobrý!“ —

inslav

II.

Otevřené, vždy níž než niveau půdy ležící dvéře vedou dovnitř kovářské dílny. Že jsou domky na svahu, vypadá také mnohý domek jako jednopatrový; nahoře je komůrka, skromné bydlíčko, nebo i komůrky dvě, druhá ale pronajata třeba taktéž kováři, který z výdělku ani na stravu nestačícího také ještě nájem platí. V jednopatrových domcích možno do kovárny buď po žebříku z hořejšího obydlí, buď přímo po svahu vrchu.

Vejdeš do dílny a pozdravíš — ani tě třeba v prvním okamžiku hned neslyší, takový je spěch v práci. Kladiva lítají vzhůru dolů, jiskry proletují prostorou, tělo bušičovo kývá se v přísném taktu sem a tam. Několik ran na rozžhavený konec železného prutu a hrot je přiostřen, několik jen ran železo zplošťujících a hlavička je hotova; ale kolik tisíc musí být hřebů denně ukováno a co se tu sesumuje ran! Mezi výhní a kovadlinou putují železné pruty v stejných odstavcích času nekonečně sem a tam, rudy přicházejí na kovadlinu, zčernaly do výhně.

Chodil jsem od domku k domku. Málokde rozdílu nepatrného, málokde cos novostí poutavého. Všude týž spěch v práci, tatáž vynucená neúnavost, takže člověk bojí se pozdržet o okamžik déle, aby na pracovnících nehřešil. Takový horoucí spěch bývá snad na lodi v bouři, když jedná se o nasazení života za život; zde se jedná jen o zachování lodičky chatrné, nazvané „dnešek“, zde není bouře, zde je klid, vzdor bušení strašný klid: kdyby se ale lodník tomu klidu poddal, zhyne hladem.

Jen dvě tři otázky zde tomu mistru, který pracuje s tovaryšem a dvěma učedníky, synky svými, napohled as dvanáctiletými.

„Mnoho-li jste s to denně vyrobit?“

„Inu, my čtyři zpracujem dvě váhy železa denně (50 liber)“.

„A co takto vyděláte čtyři dohromady?“

„Za váhu dostanem třicet krejcarů.“

Tedy na jednoho patnáct krejcarů denně! — „A těch šedesát krejcarů zůstane vám cele?“

„Ano — totiž mimo to, co přijde na uhlí a nádobí, a uhlí je drahé.“

„Mnoho-li hodin musíte průměrně denně pracovat?“

„Celý den, pane, totiž co my nazýváme *dnem* — někdy začínáme ve tři hodiny ráno.“

inslav

Jaká to dojemná, až k rozechvění dojemná prostota v takovém výroku: „Co my nazýváme dnem!“ Ohlídneš se ostýchavě po těch malých bušičích, kteří neměří den podle slunce a léta snad ani dle jediné radosti.

„Jak jsou staří ti hošíci vaši?“

„Ten zde je sedmnáct, druhý šestnáct let.“ A měls je za dvanáctileté!

Rekrutýrka mívá v celém zde kraji nejsmutnější výsledky. Stejně bídně daří se ale také vývoji pohlaví ženského. Děvče sotvaže ze školy vyšlé postaví se ke kovadlině, pracuje a mrzačí právě tak jako hoch. Hoch a děvče buší proti sobě, chatrně oděni, někdy až příliš chatrně; moralita tím také neprospívá.

Ostatně oněch patnáct krejcarů na den, jejž jen oni „dnem nazývají“, to jsou ještě poměry pravidelné, „dobré“. Přicházejí doby, kdy místo patnáct krejcarů obdrží pracovník jen potravy za patnáct krejcarů, a snad i tu musí ještě výdělku popustit za potravu nutnou. A přicházejí doby, kdy oheň tělo bušičovo buď smahem svým, buď nešťastnou jinou náhodou pochromí, kdy nemoc se dostaví a bušič dlouho třeba „krempíruje“ (jak se zde churavění říká) a jen máloco pracovati může. A přijdou doby, kdy vůbec není poptávky po práci, kdy přestává práce nadobro. Pak nastává zoufalost, a zoufalost — vždyť není třeba teprv vypočítávat, čeho ten tygr „zoufalost“ nazvaný schopen je, ba snad by se vypočítat ani nedalo!

Ba tak leckteří jsou zde lidé, kteří stále zápaší na rozhraní zoufalosti. Viděl jsem jednoho bušiče, který pracoval sám a sám. Byl malý, vychrtlý, slabý. Pracoval neúnavně a vydělává *nanejvýš* denně dvacet krejcarů. Žena je v pražské nemocnici, doma má pro „plačtivou radost“ čtyry neb docela pět dětí; nejstarší z nich nemůže ještě ani do školy, nemáť ani let ani košilky, nejmladší je pouhé nemluvně. Vešel jsem také do jeho příbytečku — byl jsem rád, když jsem zase vyšel! Malinká komůrka s holými, nečistými stěnami, s okny zalepenými, podlahou co nejbídnější. Místo lože několik prken s hadry, co nádoba to střep, místo spižírny v koutě hromádka jak ořech velkých zemčat. Toho člověka se neptejte, mnoho-li vydělá a jak se mu daří; slovo se mu zachytne v hrdle, oko se zalije —a je tak strašno muže vidět plakat!

Arciť, oči těch ostatních, „šťastnějších“! Je to vždy jen ne-

inslav

skonalá bída, která na tebe z oka bušičova hledí. Stálá ta bída je jen jedna, svět těch bušičů je tak malý, tak obmezený, že jej i bídák brzy až na dno promyslí. „Jaký je svět kolem tebe, takové jest oko tvé," praví kdesi básník — a z oka bušičova hledí na tebe chladnost, plná zralost, duševní hotovost — hotovost se životem, se vším!

„V prázdném měšci je více moudrosti než v naplněném vaku," dí české přísloví humoristicky. Zde se humor zvrátil na tragičnost!

1866

MÁJ 1890

„Byl první máj...."

Račte odpustit, že začínám také já ještě tou naší poeticky sice líbeznou, přece však jen až přespříliš otřepávanou frází! Když to ale tentokráte věru jinak nejde! Rok co rok se těch Máchových slov užívá kolem 1. Máje sice tisíců a tisícůkráte po Čechách; ale letos — a teď dovolte, abych už zase užil hodně běžné, hodně otřepané fráze: já chtěl bych mít jenom tolik zlatek, kolikrát zrovna *letos* byla u nás slova ta pronesena, a to často jen jakoby mimovolně — jako ve snu — tichounkým šeptem —

Ano: Byl první Máj 1890! A kdo jej co muž dozralý, myslivý prožil, do dnů svého života na něj nezapomene!

Bylo by zajímavo číst nějaké česky psané, pravou poesií ozářené, hlubokými, vskutku „lidskými" myšlénkami prosycené „Mysterium", v němž by vystupovali jednotliví hlavní dnové celého roku a mezi sebou řečnicky zápasili, který že z nich je tedy nad jiné, který je *přední*.

Aby předstoupil na př. den Nového roku. Ale ne ten pustý, z ciziny k nám přenesený, s hlavou těžkou a vířivou, s obřadnosti hluchou a protivnou, plný lží a plný dotěrné sobeckosti! Nýbrž český den novoroční, jaký dýše dosud u nás na vesnici. Kdy je v domácnosti tak ticho, tak svato. Kdy všude tak čisto, všechno včera hned uklizeno a obstaráno, a koná se jen nejnutnější, neodkladná práce. Kdy druh s druhem mluví tak mírně, skoro jen pološeptem, a chrání se, aby ničím nepohněval, nepodráždil. Kdy oblekou do kostela oděv svůj nejpěknější a tam se tak vroucně

inslav

modlí, a pak až do nového pracovního rána je doma všem zas tak blaze, tak krásně!

Aby předstoupil den Štědrovečerní, jinde den plný trhového hluku, den neobyčejných, nákladných hodů, den vzájemných, překvapujících darů — u nás na vesnici obraz jen chudého našeho života, ale zlatého, rodinného štěstí. Kdy po dni věnovaném obyčejnému šumu nastává večer tichý, lidé po špičkách, aby nebylo hluku, scházejí se ve světnici a zasedají za stůl, spokojeně pojídají své houbové polívky, maštěných krupek, výražkových vdolků, pařeního sušeného ovoce — ale pak se ihned a ještě blíže k sobě sesedají a vypravují si všeliké ty podivné zkázky, o časech bývalých, o zemích vzdálených, o tom jak narozen spasitel, a jak byla svatá noc náhle plna denního jasu, a andělé zpívali, a jak lid chudý pospíchal k Betlému a byl první, který poklonil se vykupiteli, první, který poznal, že v rovnosti lidské leží lidstva spasení — a kdy je pak všem poslouchajícím i povídajícím, jako by už skutečně rozjasňovalo se jim nad hlavami a svítalo to spasení, a oni povstávají a pokřižují se a jsou pospolu na „jitřní" — vstříc novému ránu — —!

Aby předstoupil Úterý masopustní, sprovázený hudbou a zpěvem, způsobující, že každé oko veselostí se leskne, noha si dupne, srdce si poskočí a ústa vejsknou! Aby předstoupil a s ním závodil den 1. Aprile, žertovný, podskočný, plný žertů a kudrlinek, samá rolnička a posměšná píšťala.

Aby předstoupil den 1. Května. Ověnčený mladou, brčálovou zelení. S vonnou konvalinkou v lesknoucích se vlasech. Se slavičí písní na chvělém rtu. Se žhoucí jiskrou lásky v roztouženém oku.

Tisíce básníků už ho opěvovalo. Miliardám lidských srdcí pomohl k rychlému, blaženému tluku. Přece by as nevěděl, co že určitého dovedl by na prospěch svůj pronést. Jeho oborem je sice širá říše krásy a lásky, ale jeho působení děje se jen ve skrytosti, v tichých houštinách lesních, v nitru probouzejícího se poupěte, v rozvírajících se srdcích. On nemiluje hluku a šumu. On není pro vířivou společnost, pro zábavu houfnou: je pro něžný pohled dvojích jen očí, pro sladký šepot dvojích jen rtů.

Vskutku také — ovšemže náhodou — opravdová, těžkopádná historie lidstva doposud se u něho téměř ani nezastavila, u 1. Května. Totiž — až do nedávna! Až přišel 1. Květen 1851 a ote-

inslav

vřel první Výstavu Světovou a v ní spojil veškeré národy náhle v jediný kruh.

A neuplynulo ani čtyřicet let a přišel už 1. Květen 1890. Věru, kdož jsme se ho dočkali, že jsme dožili se nejpamátnějšího 1. Května lidských dějin. Ba snad že nejpamátnějšího dne těch lidských dějin vůbec!

Klidným, železným krokem přirazily 1. Května 1890 bataillony dělnické, přečetné, nepřehledné, a vřadily se do lidského šiku, aby již provždy stejným postupem šly s námi ostatními za vznešenými lidskými cíli, stejně oprávnění, stejně obtížení, stejně blažení.

Byl to postup mohutný, neodolatelný, jako když se hrnou vlny okeánu. Kdo přihlížel, porozuměl, co „síla elementární" znamená! I když přenesena na věc duševní, mravní!

Zvláštní den! Podivná nálada! Nikoli strach — ach ne, toho mně nepřipadla ani možnost — ale takové divné očekávání čehosi neurčitého, naprosto neznámého zachvělo také mými všemi nervy. Pocit nikoli příjemný. Pamatuju se jen na dva momenty ve svém životě, kdy — ač podoba s nynějším momentem třetím není takto pražádná — jsem měl pocit přece stejný: totiž před tím „něčím neurčitým, neznámým". Po prvé roku 1848, v oněch hodinách, kdy Praha byla bombardována; tu se týž pocit probouzel a udržoval mezi jednotlivými výstřely pumových hmoždířů. A po druhé roku 1866, onoho dopoledne, kdy Prusové se blížili Praze.

Zvláštní den! Takový tichý, těžký, „zařezaný". Ulice se zcela jinou tváří. Žádné vyzývavé čepice buršácké. Žádné ekypáže, ba ani drožky. Žádní páni. Žádné dámy. Jenom tak, kdo musil, a mezi těmi také my, které chudý dělník klamně počítá mezi „pány", ale pravý pán dobře mezi „dělníky".

Tu se pojednou začalo hrnout lidstvo směrem od Prašné brány: dělníci se ubírali z karlínské schůze na pražský tábor.

Šel jsem schválně proti všemu proudu.

Červené odznaky, červené kravaty — klikatým bleskem projela mozkem vzpomínka na Komunu, na rudé prapory anarchistů! Po prvé jsem ji viděl na lidech, tu temně rudou barvu světového sociálního hnutí: zachvěl jsem se. Ku podivu — ku podivu! — tytéž barvy: černá na temně rudé půdě, které vlály nad hlavami husitů, bojovníků za svobodu náboženskou, tytéž barvy

inslav

vlajou dnes nad hlavami bojovníků za úplnou rovnost občanskou!

Davy se hrnou. Ne husté, schvalně pořídlé, tím nekonečnější. Všechno v oděvu svátečním, čisté, lesklé. V rukou lehýnké sváteční hůlky, „špacírky". Některé ruce, asi zrovna ty nejmozolnější, ale nechtící dnes, ve „svátek", tu svou drsnotu ukazovat, i v kožených rukavičkách.

Davy se hrnou nepřetržitě, ale šum je jen nepatrný. Dělníci jdou skoro mlčky, jako když je vídáme chodit houfně navečer z práce: zamlklé, na slovo skoupé, s tváří opravdovou — a dnes docela tak železně opravdovou! Nu, jenom se podívej — vidíš: tady ji máš už označenu na tváři, tu „elementární sílu"! Ale ani při tom nezatrneš! Cítíš, že síla je ovládána měrnou myšlénkou. A pojednou — jakoby zázrakem — pojednou jsi porozuměl tomu letošnímu „prvnímu Máji", pojednou vidíš, že veškerá posavadní situace společenská i politická jediným trhnutím se dnes pozměnila, ale nejen už pro dnes!

A nekonečným proudem davy hrnou se dále a spěchají na Střelecký ostrov, na ten svůj tábor. Porokují si tam nějakou hodinku pospolu. Nejprv o umenšení denní své práce. Domnívajíť se, že pánbůh, když má pro ně napořád obě své ruce plničky práce, nemá pak arci, čím by jim žehnal. Nu, požehnej vám pánbůh!

Ale na ulicích vzdor táboru proudění už neubylo. Ne za dne a ne za večera. Ba lidstva všude od hodiny k hodině více a více. Statečné, nepopíratelné vzezření sváteční! Dělníci pak už pyšně se svými ženuškami po pravém boku: na tvářích úsměv spokojený, v oku radostnou jiskru. A s nimi a mezi nimi Praha ostatní, taktéž spokojená, taktéž radostná.

Zvláštní — ba prazvláštní den! Věru, i ta příroda všude vůkol jakoby pod zákonem stejným! Ráno dusivá mlha, vzduch šedý, tak těžký — pak najednou se vyhouplo slunce a bylo tak jasné, tak zlaté, tak blažené —

Byl první Květen roku 1890!

1890

inslav

ŠKODLIVÉ SMĚRY[1]

...Všeobecná mravní velikost jest jen tenkráte možná, když se snažení po ní zároveň se se snahou po materiálním blahobytu lidstva spojí — jen v souzvuku s tímto může ona platně a trvale vzkvést. Zklamal by se ale, kdo byl hned napřed, hned nyní chtěl systematicky o obém pojednávat. Všechny skoro systémy filosofické byli posud lidmi promyšleny a vymyšleny, kteří života nepoznali a z nepatrných a nedostatečných zápisků jiných lidí, neupravených ani dle požadavků a potřeby myslících a abstrahujících těch mužů, na praktické upotřebení svých idejí pomýšleli. Uvedly-li se tyto příznivými okolnostmi v život, ukázala se pak teprve jejich nepraktičnost, lidé trpěli pro sny některého snilce a lidstvo se potácelo zase dle jiného nějakého systému dále, aby nových trpkých zkušeností nabylo a konečně k tomu přivedeno bylo, by samo ze sebe, ze zkušenosti všech jednotlivců pravidlům se teprve učilo a systém utvořilo.

Jest především zapotřebí, abychom se lidi znát naučili, život jejich a tedy také jejich potřeby, radosti i žaly prozkoumali, potřebujeme tedy na př. hlavně věrné povídky ze života, obrazy lidí ve všech poměrech, sbírky pravdivých příkladů, zkušeností, nevymyšlené a skutečné. Jakmile však někdo život tak líčiti počne, jakým skutečně jest, povstane náhlý pokřik, že kreslí obrazy nemravné; lidé dobře vědí, jak nízce stojí a jak bídní často jsou, nemají ale té srdnatosti, aby vlastní rány obnažili a tím zahojení jejich umožnili. Poněvadž vědí, co asi mravnost jest, myslejí, že se spíše působiti může stálým vykládáním o pojmu mravnosti než vyhledáváním, poznáním a tedy i odstraněním překážek, jež blahobyt lidstva a tedy i mravnost jeho ruší. Literatura má býti prostředníkem při jejich snaze a pouhými, z větší části smyšlenými povídkami o vysokých ctnostech má se mravnost udržovat, materiální bídou sklíčený heroem ctnosti stát, nevědomý se k abstrakcím přivést atd. Jen ne skutečnost, jen ne pravdu; pravda ukázala by, že každý z nás pomáhá nějakým krokem šlapat blahobyt a tedy mravnost svých bližních a zase sám zašlápnut aneb aspoň šlapán bývá.

Mladší naši spisovatelé obracujou se k pravdě, ku skutečnosti, odtud to kaceřování, ta nemravnost jejich směru. „Že pravda pravdou jest," praví Knebel[2], „lidé jen těžce chápou;" — ještě

inslav

tíže ale promyslejí se až k poznání, že pravdou jednotlivec pro okamžik trpět může, lidstvo ale celé krásnou budoucnost sobě zakládá. Nezávisle od smyšlených systémů, studujte skutečnost a nebudete dnes kamenovat toho, kterého jste včera korunovali. Hanbou jest to člověčenstva, že se bojí seznat, jakým vlastně je; lže a lže jako každý slaboch, jenž se bránit bojí a nemocen jsa se a uzdravení svého strachuje. Mýlí se, kdo myslí, že už nyní dovede světu dokonale vysvětlit, co v tom ohledu pravda je; — stálé za ní putování, zkoumání, nikde ale místo, na kterém bychom už pro věčnost odpočinout mohli. Pravdu úplnou nalezneš jen v lidstvu celém, v jednotlivci mnohdy jen malé semínko; jednotlivec jen zkoumáním lidstva (a tedy skutečnosti třeba nepříjemné) k ní se propracovati může, nikdy se jí ale pouhým domyslem nedopídí. Směr příčící se poznání skutečnosti a pravdy jest tedy vždy mravnosti nejškodlivější.

1859

GOGOLŮV REVISOR

„Nehněvej se na zrcadlo, máš-li křivou hubu," zní druhý název „národní komedie" Gogolovy, a tím je i satirická tendence celé hry jasně již vyslovena. Vypravuje se o osudech „Revisora" ledacos a mezi tím nejsou právě události, které by jinde ani se nemohly přihodit než na svaté sice, teprv však z ledačeho a z mnohého se vyklubující Rusi. Nejzajímavější je as to, co vypravoval německý cestovatel, — pravda či nepravda, nevíme, zajímavo ale vždy svou pravděpodobností. Po dlouhých teprv pokutách mravních došel prý „Revisor" provozování a brzy se ho pak zmocnila také kočující jedna společnost. Ředitel společnosti byl chytrák a nežli v kterém městě pověstnou hru na jeviště pustil, přesvědčil se dříve dobře o místních poměrech a dle těch — zpracoval vždy „Revisora" nanovo, aby větších pánů neurazil a menším aby se dostalo posměchu co nejhojněji. Nemůže být významnější odpovědi pro Gogolovu práci než anekdota ta, která líčí co nejbystřeji reakci znemravnělosti naproti satiře. Molièrův „Tartuffe" nalezl ohlas svůj v Gutzkovovu „Pravzoru". Gogolův „Revisor" vyvolá na Rusi snad také ještě nějaký „Pravzor" svůj.

inslav

Gogol nelíčí ani lidské slabosti všeobecné, všude se nalézající, aniž snad zpustlost „vyšších“ jen tříd moderních, on sahá specielně ku dolíčení ruského ouřadnického vladaření, on postavil na posměšný pranýř výsledky, jakých docílila ruská vláda absolutistická. Jaká to spousta křiklavých, šeredných barev vychrlila se tu z poetického, dojemného pera Gogolova! Vidíme krvežíznivé pijavky, které ve jménu vlády, používajíce moci vládou jim udělené, vykonávají tím ukrutnější tyranstvo, že jsou v něm udržovány a dále puzeny osobní svou duševní obmezeností, kteráž dokazuje nanovo pravdivost věty, že „hloupost a nevzdělanost jsou prapůvodem vší špatnosti“. Vidíme, jak ty pijavice i mezi sebou žijí v stálém darebném nepřátelství a jak naproti mocnějším jsou ještě nižšími a otročtějšími, než naproti nim samým je lid skleslý na samu blbost a vegetující nesamostatnost. Také ten revisor, který jakoby nějaká Nemesis zdaleka do toho ouřadnického světa zablýskává, nemůže nás zvláště potěšit, vzdor všemu strachu vidíme při lidech těch přece naději, že strašný revisor má as také některou ze špatných vlastností, jakých u nich nazbyt, nebo v nejhorším případu, že možno ho obelstít a starý rej že začne nanovo. A co mimo tento řetěz ouřadnické činnosti ruské a jejich výsledků, domnělý totiž ten revisor, je tak líčeno, že nemůžem se domnívat, jako by byl Gogol maloval jen poměry místa jednoho, zvláštním neštěstím stíhaného. Domnělý revisor přibral k domácí své nicotě jen ještě nicotu onu, která na Petrohrad lehla co „pel civilisace“. Gogol je v „Revisoru“ opět malířem, jenže maluje tentokráte bičem. Avšak tolik je jisto, možno-li na pranýř stavět tak, jak Gogol učinil, že to známka jižjiž lepšících se poměrů. Možná, že nyní již začíná se smutná „ruská národní komedie“ přece leckde veseleji tvářiti...

1865

inslav

VÍTĚZSLAV HÁLEK

ВИТЕЗСЛАВ ГАЛЕК

(1835—1874)

Галек происходил из зажиточной крестьянской семьи, его отец содержал постоялый двор. Окончив в Праге Академическую гимназию, он поступил в университет. Уже в юности, вопреки воле родителей, желавших видеть его священником, Галек избрал для себя путь литератора.

В 60-е годы Галек совместно с Нерудой возглавил борьбу молодого поколения чешских литераторов за создание реалистической национальной литературы. Он был активным организатором литературной жизни Чехии, являясь редактором и основателем многих литературных журналов 60-х годов («Картины жизни» — „Obrazy života", «Кветы», «Люмир»), критиком, публицистом. Долгие годы Галек стоял во главе литературного отдела общества «Умелецка беседа», созданного в 1863 г. и объединившего передовых деятелей литературы и искусства страны.

Галек вошел в литературу прежде всего как талантливый лирик, пользовавшийся большой популярностью среди читателей, особенно среди молодежи. Лирические стихи поэта объединены в сборники «Вечерние песни» („Večerní písně", 1858) и «В природе» („V přírodě", 1872—1874). Простота, искренность и оптимистическое звучание многих стихов Галека, в которых воспеваются прекрасные человеческие чувства, красота родной природы, сделали их чрезвычайно популярными. Некоторые из них стали народными

inslav

песнями. Мелодичность и образность стихов поэта привлекали многих чешских композиторов, в частности, Сметану, создавшего свой единственный вокальный цикл на слова «Вечерних песен» Галека.

Значительный общественный интерес вызывали стихи Галека антифеодальной и антиклерикальной направленности, которые распространялись и рабочей печатью (напр., стих. «Вы, хвастливые уста Ватикана...» — „Vy chlubná ústa Vatikánu").

Несправедливости, лжи и насилию, царящим в современном поэту обществе, Галек противопоставляет гармоническое развитие природы и человеческой личности (поэтический цикл «В природе», повесть «В имении и в хижине» — „Na statku a v chaloupce" и др.).

Большое значение для чешской литературы имеют социальные баллады Галека, особенно баллады последнего сборника «Сказки о нашей деревне» („Pohádky z naší vesnice", 1874). Галек создал в них ряд впечатляющих картин нищенского существования чешских крестьян («С молотка» — „Dražba", «В каменоломне» — „V lomech" и др.), с любовью нарисовал образы смелых и находчивых представителей простого народа («Гусар» — „Husar").

Тема деревни была ведущей не только в поэзии Галека, но и в его прозе. Продолжая традиции Немцовой, он выступал в своих повестях и рассказах против бесправия и нищеты чешских крестьян, правдиво показывая классовое расслоение чешской деревни, рисуя быт и нравы, мысли и чувства простых тружеников («У голого холма» — „Pod pustým kopcem", «Студент Квох» — „Student Kvoch" и др.). Вместе с тем, в ряде произведений писатель идеализировал действительность, сглаживал социальные конфликты, усматривая их причину не столько в социальном неравенстве, сколько в личных качествах людей.

В процессе творчества совершенствовался и углублялся реалистический метод Галека, чему немало способствовало, по собственному признанию писателя, знакомство с русской литературой, главным образом, с Тургеневым. От сентиментальных, подчас художественно неубедительных произведений Галек пришел к значительным достижениям в поэзии и прозе.

Mým písním

Již jděte, milé dítky mé,
vám zde víc stání není,
na cestu ještě přijměte
otcovské políbení.

Snad že vám leckdes otevřou,
kde budete i ctěny,
však budou také spílat vám —
to buďte připraveny.

inslav

Leč to vám mysl nekaliž,
ni na čelo rej vrásku;
jeť mnoho lidí na světě,
a málo jich zná lásku.

Večerní písně, 1858

V PŘIRODĚ

Řada první

10.

Vyběhla bříza bělička,
jak ze stáda ta kozička,
vyběhla z lesa na pokraj,
že prý už táhne jara báj.

Vyběhla jako panenka,
tak hebká a tak tenká,
že až to lesem projelo
a vše se touhou zachvělo.

A táhne šumem jara báj,
vzduch jak na housle, na šalmaj,
vzduch samá vůně, samý květ,
a mladý úsměv celý svět.

Hned každý strom zelený šat
jme svátečně se oblíkat,
a každá haluz, každá snět
chce novou řečí rozprávět.

A jak by k hodům zavolal,
přilítli hosté z blíž i dál,
a za den za dva šírý kraj
a celý svět byl jara báj.

inslav

42.

Jen jedno bych se naučit chtěl
od tebe, svatá obloho:
na lidstva výpar mračna stáhnout
a bleskem mlátit do toho.

Tak jako ty: v mžik zemknout světy
a hněvem šlehnout klikatým,
za chvilku pak mít vyčistěno
a být zas nebem hvězdnatým.

Však to nám lidem zdlouha chodí
a proto je vše nezdravé:
koho má hrom vzít, ten jím vládne,
a bije jen v ty nepravé.

59.

Mám v povržení každou píseň,
jež mrav i šat má s lokajem,
by velmožům se lípla k patám
a choutkám byla v pronájem.

Já opovrhám každým pěvcem,
jenž sebe k vozu zapřáhá,
by pán se pyšnil na kozlíku,
kdy on se koňsky namáhá.

Ba přisámbůh, toť zbrhlá píseň,
jež nemá jiných předmětů,
leč hlavy prázdné, srdce prázdné,
a přec se pouští do letu.

A přisámbůh, ten bídný pěvec
víc nezaslouží navzájem,
leč aby těm, jež opěvoval,
byl do své smrti lokajem.

inslav

Řada druhá

7.

Vy chlubná ústa Vatikánu,
vy místo boha bohové:
jen jediný mi stvořte lístek,
jímž páchnou keře růžové!

Jen jeden paprslek mi spřeďte,
jímž slunce v máji zářívá!
Však ani brouček o vás neví,
když v slunci tom se zahřívá!

Na místě božím! Kde jest větřík,
jenž v pokyn vás si oddychne,
a kde jest krůpěj ranní rosy,
jež na váš oddech zanikne?

Kde jest ta větev, která počká,
až sečtete jí poupata?
A přece každá vydá květů
za všecka vaše dogmata.

Na místě božím! A to jaro
i bez vás bývá prohřáté,
ba v něm ni jedna lašťovička
se v písni, v letu nemate.

22.

Na drnu kyprém, v kořání,
sedla si krása bez zvaní,
sedla si měkce vedle mne,
s mladostí v tváři dojemné.

U nohou tenké praménky,
sedla si v kapraď, v pomněnky,
nad sebou větvic vlažný stín,
hleděla lesům do hlubin.

inslav

„Hledals mě v mořích, výšinách,
v světů a nebes končinách,
hledals mě v štěstí, v žalu svém,
a já tak blízko doma jsem.“

Seděla, hlas jak do zpěvu,
na tváři důlek úsměvu,
oko jak duše prohřátá,
rty jako k růžím poupata.

„Však tys mne hledal nejradši,
kde jsou mi květy nejsladší,
proto jmu v plnou lásku tě —
našels mne v pravdě, v prostotě.“

43.

Duch dějin ved mne k pidimužům;
z těch každý v erbu korunu
a zlatý šat a všecko zlaté,
a sedal jenom na trůnu.

A každý jako střízlík velký,
leč v chůzi lvem a v hovoru,
ten jeden z nich byl jako hlava,
ti druzí jen jak od dvorů.

Ten mluvil: „Rod náš z krve ryzé,
ten s velkými se nemíchal,
máť každý z nás jen pidipředky
a králík náš jen pidikrál.

To stojí naši pidiotci,
tu pidirek náš vítězný,
my ostatní jsme pidiprinci
a dámy pidiprincezny.“

A prál duch dějin: „Pro zasmání
též takové mám hrdiny;
ti mní, že kol nich svět se točí
a oni že tvoří dějiny.“

1872

inslav

DRAŽBA

Kravičku vedou ze chleva,
dvůr plný, sotva že stačí,
na prahu vdova omdlévá
a škytá v oněmlém pláči.

Dráb z drsných vyvolá plic:
„Pět zlatých po prvé, kdo dá víc?“

Na prahu zalká žaloba:
„Mé děti, robátka milá,
života naše zásoba,
váš chléb a jediná síla!“ —

Dráb z drsných vyvolá plic:
„Pět zlatých po druhé, kdo dá víc?“

„Otce smrt náhlá zlomila,
pět dítek při holé dlani,
a já se v práci zchromila,
kde vzít a doplatit k dani?“ —

Dráb z drsných vyvolá plic:
„Šest zlatých po prvé, kdo dá víc?“

„Z telátka jsem ji chovala;
když jsme ji na pastvu vedli,
každou jsem chrůpěj žehnala,
vždyť z mléka děti mé jedli!“ —

Dráb z drsných vyvolá plic:
„Šest zlatých po prvé, kdo dá víc?“

„Každou jsem zvedla travičku,
jíž mléko sladne a tuční,
děti si sedly k ohníčku
a byly na pastvě učni.“ —

Dráb z drsných vyvolá plic:
„Šest zlatých po druhé, kdo dá víc?“

inslav

„O hladu a přec bezpeční!“
Groš za sýr ukápne v schránku —
byly to hody sváteční,
když zbylo na pomazánku.“ —

Dráb z drsných vyvolá plic:
„Šest zlatých po druhé, nikdo víc?“

„Hrozná to, děti, siroba!
Šest zlatých za moje muka!
Prázdna je naše zásoba —
tak srdce matčino puká!“ —

Dráb z drsných vyvolá plic:
„Šest zlatých po třetí, nikdo víc!“

Pohádky z naší vesnice, 1874

REKRUTI

Jdou rekruti, hudba spustila,
hejsa! šmytcem a plechem —
„Už nejsme, děvčata rozmilá,
vaši ni jediným dechem!“
A matky na prahu, starosti plaší:
„Zda jsou to synové naši?“

Jdou rekruti z města napilí,
hejsa! házejí čapkou —
„Už nejsme, rodiče rozmilí,
vaši ni jedinou kapkou!“
A matky na prahu, starosti plaší:
„Zda jsou to synové naši?“

Jdou rekruti bystro, v kuráži,
hejsa! veselým chodem —
„A kdo se kde na nás odváží,
palme, a do srdce bodem!“
A matky na prahu, starosti plaší:
„Zda jsou to synové naši?“

inslav

Jdou rekruti, vejsknou do všech sil,
hejsa! na stranu čapku —
„A kdyby to vlastní otec byl,
načepím poslední kapku!“
A matky na prahu, starosti plaší:
„To nejsou synové naši!“

Pohádky z naší vesnice, 1874

HUSAR

Skočil husar do třemenů,
břinknul v ostruhu:
„Na noc dej mi koně k senu,
ženu v obsluhu.“

Sedlák o ženu je v strachu,
sám jde v špižírny —
Račte, víno jako z nachu,
maso z udírny.“

Husar vzhůru kníry kroutí,
mlaská blažený:
„Slyš, sedláku, co mne rmoutí —
že jsi bez ženy!“

Sedlák kouká do sklenice,
hlas mu v pláč se chvěl:
„Mne to rmoutí ještě více,
že jsem ovdověl.“

„Sedláku, kdo dobře přijat,
hned to v domě znát:
ženská jako karafiát
šla mi otvírat.“

Sedlák k nebi ruce spíná:
„To dnes nespěte,
chval každý duch hospodina,
vy zde umřete.“

inslav

Husar na stůl zatlouk pěstí,
chlap to od síly:
„Slyš, sedláku, tvoje štěstí
jsem-li napilý.“

Ale sedlák svoji vede:
„Má to nebožka,
komu ta k nám na noc vjede,
rána nedočká.

Slyšte jen, co takou měrou
bylo nezdarů:
padlo tu jak pod sekerou
pánů, husarů —

Ale při vás je snad jiná;
kdo se nebojí,
za dobrý ho doušek vína
nechá v pokoji.“

Vína nosí jako vody —
ké to šlehnutí?
„Nedej, bože, v samé hody
tohle leknutí!“

Husar skočí jako střela —
„Při mém spasení,
já to viděl, že teď jela
kolem stavení!“

Co to dupe divým honem,
přes dvůr po třetí?
Skok, a husar už i s koněm
ze vrat vyletí.

Sedlák ženu k srdci vina
hladí po líčku —
„Chvalme, ženo, hospodina,
strouhej mrkvičku!“

Pohádky z naší vesnice, 1874

inslav

„STUDENT" KVOCH

Křídová kresba

I.

Chodil jsem na prázdniny do vesnice B... blíže Mělníka. Bydlil jsem v hospodě, u příbuzných.

Šel jsem jednou za humny kolem stodoly v dobu, kdy už se mlátilo, a slyšel jsem tam kázat. Vrata byla přizavřena, nemohl jsem se podívat, kdo všecko tam; zůstal jsem tedy u vrat a poslouchal jsem kázaní. Nebyli tam asi jenom mlatci, zdálo se mi podle hluku, že jsou tam i hospodáři a hospodyně, selští synkové, dcery, a ti že tam jsou, aby měli kratochvil, protože tam mlátil Kvoch. Sešli se jako do divadla.

Mlatci tedy nemlátili a já slyšel po kazatelsku ze silných plic jakousi obsahem obyčejnou řeč o nebi a o pekle, o andělích a ďáblech, o odměnách v nebi a pokutách v pekle; řeč pak ovšem končila slovem *amen.*

Na to ve stodole s patrným posměchem a smíchem odpovídali: „Dejž to nebeský pán bůh!"

Hlas jeden zvolal: „Růžku, neplač; co pláčeš?"

„Koukejte, Růžek pláče, to z toho kázaní."

A ten plakal jako za dva, stále bylo slyšeti: „Achich, achich; já nešťastný! Já už do nebe nepřijdu!"

„Snad ne to kázaní?"

„Ba, to kázaní. Achich!" dotvrzoval Růžek.

„Škoda, Kvochu, že jste při tom nezůstal," pravil zase hlas; „koukejte, tak byste to byl v kostele rozplakal."

„Škoda, škoda."

Ze všeho bylo zřejmo, že i onen pláč byl posměchem přetvářeným; za chvíli místo jednoho plakali už dva, tři a ostatní volali: „Ustaňte, ustaňte, sice všichni budeme plakat." A už ve stodole jako chórem: „Achich, achich!"

Pak zase začal ten hlas, který předtím kázal: „Lidičky dobří, drazí, kdybyste mne byli slyšeli, když já měl ještě zuby! A nikdo mi to nechce věřit. Já mám všecky latinské školy, já mám logiku, kus fysiky, a jen Jandera byl mým neštěstím. Lidé dobří, spočítejte jen ty školy, které mám. Vikář z Lobče byl mým spolužákem,

inslav

krajský lékař Havel byl mým spolužákem, okresní hejtman Příbyl byl mým spolužákem, já s nimi byl ‚ty a ty‘. A teď když je potkám, oni mně tykají, a já říkám: ‚Vzácný pane, vy se ráčíte přece na mne pamatovat,‘ a oni sprásknou ruce a řeknou: ‚Kvochu, je-li to možná?‘ A já říkám: ‚Je to možná, vzácný pane, je tomu tak, jak mne vidíte, taký jsem, nemohu být vikářem jako vy, ani doktorem —.‘ Když mně to všecko vleze do hlavy, co ze mne mohlo být a co jsem, lidičky dobří a zlatí; taková věc jde člověku na rozum, že se mi zdá, já že se musím zbláznit, a chodím jako bez sebe a dal bych za to nevím co, kdybych se na světě neviděl!“

Poslední věty končil měkce, jako když jest mu do pláče; když domluvil, plakal skutečně a skoro více než onen, který byl pláč nápodobil.

V stodole nastalo na chvíli ticho, Kvoch jako by svým dodatečným vypravováním byl na chvíli dojal.

Nato řekl kdosi: „Ale to je divno, když je Kvochovi nejhůř, nikdy není mu tak zle, aby nenašel cestu do hospody!“

Konec byl soustrastnému dojmu; ve stodole rozléhal se opět smích plný a zřetelný, jenž všecko s sebou strhnul.

„To je tak: Kvoch shledá se s plecháčem, a jsou z nich přátelé, dva staří známí; ti si toho napovídají, že Kvoch neví, kdy odejít. A když Kvoch chce domů, plecháč na něho: ‚Počkej, ještě mám něco na srdci;‘ když pak zas chce plecháč míti pokoj, Kvoch na to: ‚Bratříčku, ještě já mám něco na srdci, ještě kapek,‘“ — mluvil kdosi.

Zase byl smích, hlasitější a plnější než prve.

„I což, on by šel od plecháče; ale doma ženské ho uhoní kolem plotu; proto má pravdu: než běhat před tou starou, naději ještě jeden.“ Zase se smáli.

„Kvochu, jestli byste dovedl dva lidi oddat, jako kněz?“ ptal se kdosi.

„Oddat? Pokřtít, pohřbít, co kdo chce, všecko.“ A na důkaz, že to dovede, počal odříkávati rozličné formule, latinské, české, měl řeči pohřební, měl řeči svatební, co kdo chtěl, všecko říkal; posluchačstvo se smálo.

„Pane, když tak umí dobře oddávat, proč se neumí rozvést? Vsadím se, že už by se byl s ženou rozvedl, kdyby uměl. Neumí to.“

„To bych rád viděl, až by se rozvedl; matka jeho ženy zavřela

inslav

by ho do komory o hladu a žízni, až by odprosil a zase se svedl. Ten by jich dostal!" Zase smích.

Zdá se, že již Kvoch neposlouchal anebo nedbal, co o jeho poměrech si povídají. Neboť na to pokračoval: „Lidičky dobří, vy mně neuvěříte, co všecko umím; nemůžete věřit, protože to není možná. Ale jednou sem dostat lobečského vikáře a uviděli byste, že umím to, co umí on. To je mně nejvíc líto, to že nikdo na mně nevidí, ale moje nádenické hadry že každý vidí. Jen jednou se mi to povést..."

„Pročpak nepozvete vikáře? Snad by šel s vámi také na mlat? Mohl byste mu později vypomoci při visitacích školních, při zpovědi, při kázaní," zase někdo prohodil.

Zase smích.

„To je to, Kvoch umí všecko, co umí vikář, ale vikář neumí nic, co umí Kvoch." Zase se smáli.

„To také že neumí!" zvolal Kvoch. „A kdybych ničeho neuměl a jen koním rozuměl, dost bych uměl. Zeptejte se doktora, až vašemu koni něco bude scházet, co vám řekne. Mne si zavolá, a co já řeknu, bude svaté."

„Pravda," zase kdosi, „mně kůň oslepoval na jedno oko; já ho dal Kvochovi do léčení, a kůň za den oslepnul na obě."

Všecko se smálo.

„Janka koně a janka člověka neuzdraví ani pán bůh," řekl Kvoch, „s vámi a s vaším koněm byla by práce marna."

„Ehe! Ehe!" smáli se tomu, komu byl Kvoch odseknul.

„Co se týče koní, to Kvocha nechte," ujímal se ho kdos.

„Poslouchejte, lidičky, pantáta vám to dobře povídá," povídal Kvoch. A zas byl jako když káže. „Co já měl krásných koní v rukou, jakživ z vás nikdo tolik jich neviděl, a co já koní uzdravil a koním poradil, vy byste řekli, že to jsou zázraky. Zůstat já při koních, mohl jsem se dnes zeptat každého z vás, zač je váš statek. Ale to je to. Ženská! Všecko jsem opustil, všeho nechal, jí jsem se přidržel, a teď je moje neštěstí, že ani jí nemohu nechat."

Opět se smáli, ale jen tak, jako když každý cítí, že to, co řekl Kvoch, má přece jen nějaké právo.

Zase povídal Kvoch: „Já se najezdil světem! Já míval koně! Hrabě za nimi se ohlížel, kavalíři se chodili dívat do mé stáje. Když já zapřáhnul, žádnému houslaři struny tak nehrajou, jako

inslav

vše hrálo na mých koních. Na nich se vše lesklo a třáslo. Jezdil jsem s párem, s dvěma páry, s šesti jsem si vyjel — teď mlátím ve čtyrech a v šesti!“

Nikdo nic neříkal.

Za chvíli pravil kdosi: „Co je pravda, je pravda, jako hečáci neumí s koňmi zacházeti nikdo, a Kvoch je z nich.“

„Hečáci? Co je to hečák?“

„Hečák? Jakpak bych vám to řek? Hečák! To je Kvoch. Kvochu, co je to hečák? Ten nejí a nepije dřív, až dostane kůň. On je do koně zamilován. Pořád ho hladí, dívá se, jak mu přibývá krásy a lesku. Jede-li do kopce, naloží na něho, že by to lašťovka na křídlech odnesla, sám se zapřáhne do vozu, jen aby kůň snadněji táhnul, aby se mu neupotil, neunavil; koně obchází, pořád k němu mluví, bičem nezapráskne, ani jím nezakývá, na koně jako na kamaráda mluví: ‚Heč, heč!‘ a to říká tak hezky, jen aby se mu kůň neleknul. Odtud hečáci. Teď víte, co jsou hečáci; za Mělníkem máte samé hečáky.“

Tato chvalořeč hečáků působila na Kvocha; byl jako u vytržení a zase kázal: „Což vy, lidičky dobří, umíte zacházeti s koňmi? Ani podívat se neumíte na koně, neboť vaše pohledy ho bolí; ani pohladit ho neumíte, neboť i vaše pohlazení bolí, ani promluvit k němu neumíte, neboť vaše promluvení jsou spílání, zlořečení, až jste horší než ten kůň. Pane bože! U hečáků, jak vy nám říkáte, takhle zmrskat koně, jako vy zmrskáte, až naskočí pružiny! Táhat uzdou, až krev se pění z dásní! Tohle udělati u nás, takový člověk, e! U nás jsou lidé lepší než vy tady! U nás ublížit koni! Ano, já rozumím koni, já vím, co obnáší kůň. Jen ještě jednou moci vám dokázat, co umím, viděli byste! Ale z vás to nikdo nepochopí!“

„Poslouchejte, Kvochu, přišel sem na prázdniny študent, ten snad by to pochopil.“

Kvoch po své chvalořeči koní nevěděl kdy a kde přestat. Jak uslyšel jmeno študent, při čemž zaslechl jsem jmenovat jmeno své, byl dokonce jako potřeštěný. „Študent? No, kdyby tu byl, uviděli byste, jak bych s ním mluvil; ten by mně rozuměl jinak, lépe, ne jako vy!“

Když jsem zaslechl jmenovat jmeno své, hnul jsem se ze svého místa před vraty, pootevřel jsem vrata a vešel jsem do stodoly. Hospodáři, dobří známí, vítali mne a chtěli se mnou ze stodoly, že se jim nezdála stodola místem, kde by promluvili se študentem.

inslav

Já prosil, že si s nimi zde rád usednu ve chládku. A tu jsem po prvé uviděl Kvocha.

Postava prostřední výše, těla silného, očí černých, jiskerných, vpadlých; tváří rovněž vpadlých, sestárlých, ale pěkně ušlechtilých, ač zdrsnatělých, přece jemných; vlasy polorozcuchané, ale přece s jakousi mladickou pečlivostí drželv i v pěkných kučerách. Šatem byl mlatec, nádeník. Šat byl na mnohých místech záplatovaný; ale na krku měl hedbávný šátek a přes šátek přehrnuta byla v límec bílá košile. Stál přede mnou jako ze dvu částí: od nohou po krk dělník, od krku po hlavu vtělená upomínka na to, čím mohl býti a čím se nestal. Tato, mohu říci vyparáděná, vrchní část od ramenou tím více jevila se oku, an byl Kvoch již dobrý padesátník, skoro bez zubů, takže mu dásně stiskaly se v značném úhlu. Když jsem se na Kvocha podíval, neviděl jsem při něm tu kuráž, jakou jevil, když jsem ho slyšel kázat. Neboť jsem slyšel před stodolou, že se na mne těší; teď když jsem mu podával ruku, stál jako ze dřeva, upřeně hleděl na mne, jako když se mne bojí.

„Nu, Kvochu, těšil jste se, až přijde študent, že si promluvíte latinsky," povídal hospodář.

Ale Kvoch byl zaražen, vskutku jako když se mne bojí. Abych mu dodal smělosti, řekl jsem mu něco o školách, prohodil několik latinských frásí a ptal se ho po latinsku, jak se má.

„Pro Krista pána, co mám na to říct?" řekl Kvoch v rozpacích a s jakousi bolestnou horlivostí. „Já vím, jako se latinsky odpoví, když se má člověk dobře; ale kterak mám říci dobře, když vidíte na mně tento šat, v ruce cep a na rukou mozoly? Já, pane drahý, vím, jak se zpívá ‚Gaudeamus', ale kterak zpívat ‚Gaudeamus' — já nemám, z čeho bych se radoval. Jak jste vešel, milý pane, mně se zdálo, jak by sem byla vešla moje mladost, jako bych ve vás viděl sebe, a podívejte se, co se stalo z toho snu, z té mé mladosti: já nevím, mám-li proto plakat anebo se stydět." A Kvoch svůj pláč dusil kazatelským tónem. Pak se obrátil k ostatním: „Vy to vidíte, že přece vím, co študent se mnou mluvil?"

Při těch slovech jako by se chlubil almužnou a cítil, že se jí chlubil; byl schlíplý, jako když se mne bojí.

„Kvochu, vy v té latině zatrhujete česky," smál se kdosi, „myslím, že by z nás každý tolik dovedl!"

„Dovolte, pánové drazí," odpovídal Kvoch, „to se nemůže mluvit jen tak. To se člověk musí sebrat, musí mnoho mluvit, dlou-

inslav

ho mluvit, a já jsem mlatec, já jsem zde v práci." A ke mně se obraceje dokládal: „Já jsem zde v práci."

„Vy rozumíte znamenitě koním," pravil jsem, abych ho jinam odvrátil; „kde jste se tomu naučil?"

„Rozumím, pane drahý, koním a vodě, já také pracoval na řece; v tom jsem se vycvičil kvůli ženské a zanechal jsem to kvůli ženské. Člověk vše udělá kvůli ženské. Teď kvůli ní mlátím." Kvoch si sedl na snop a utíral si prsty pot, jezdil si pak prsty v kučerách a díval se na mne s radostí, že mne vidí, a zároveň s žalostí, že já vidím jeho.

II.

Nato byla neděle. Sešel jsem se s Kvochem v hospodě. Častěji si dával nalévat, takže jsem mohl seznati, že si v pití libuje.

„Vy jste, pane drahý, neštudoval pod Janderou?"

„Slýchal jsem o něm, jest už několik let mrtev."

„Jest mrtev. Na každého dojde. Víte, jak to bývalo za něho. Táhali jsme cedulky, sedli ke stolu, vypracovali si otázky matematické, pak jsme šli k tabuli a dělali zkoušku. Já si hezky svoje otázky vypracuju, a tu kamarád soused řekne: ‚Kvochu, vyměňme si cedulky, já ty tvoje dovedu, ze svých neumím nic.' Vzal mi cedulky i moje vypracování, dal mi svoje a udělal zkoušku. Teď přijdu já a ve zmatku odpovídám na to, nač už odpovídal kamarád; nu, byly to otázky moje, já zapomněl odpovídat na ty podstrčené. Jandera se na mne podívá, abych si sednul, že mám po zkoušce. Já měl po zkoušce, měl jsem po študiích; ten kterému jsem svoje cedulky i s vypracováním půjčil, jest vikářem v Lobči, já zde mlátím."

Kvoch se napil. Všimnul jsem si, že má dnes hlavu ve furiantských kučerách, že má dýmku stříbrem kovanou, šat sváteční, dle vesnických pojmů elegantní, takže mohl dělati dojem venkovského dohazovače, starosvata anebo řezníka. Na prstech měl několik prstenů. Často díval se na hodinky, od nichž přes vestu visel stříbrný řetízek, končící v mnohé penízky a pečetidla.

„Víte, pane drahý, jak to bývá. Doma rámus. Matka ze mne chtěla mít kněze a já z poslední školy propad. Nu, pane drahý, nenechal jsem ji rámusit, bylo mně jí líto; vstoupil jsem k františkánům a myslil si tyto dvoje věci: od františkánů vezmu Janderu

inslav

ještě jednou; za druhé matku, pokud bude na živě, upokojím. Co dále, děj se vůle boží. Tedy jsem vstoupil k františkánům, a když mne matka uviděla v hábitu, padla mi okolo krku a plakala, že by chtěla umřít. Já jí povídám: ‚Mně se zdá, matinko, dříve umru já; já jsem velice nešťastný, ale jen když se vám to líbí. Inu matka! ‚Hochu, než bys byl ty nešťastný raději umru já. Co na mně staré sejde? Jen když jsem tě viděla v tom božím oděvu.‘ Šla domů a já za týden dostal zprávu, že je matce zle, abych přijel za ní. A na smrtelné posteli jsem jí musil slíbit, že do kláštera už nepůjdu; když jsem nešťastný, ona že ráda umře. Já ji prosil, co že si to s tou smrtí vzala do hlavy, aby neumírala. Ale umřela.“

Kvoch si točil na malíku prstenem: dlouho jím točil, dlouho se naň díval, byl to prsten po nebožce matce.

„Když byla pohřbena, psali pro mne z kláštera. Mně z domova se nechtělo. Proč bych šel do kláštera, když už to matka zaplatila životem a když kromě mladší sestry na našem statečku nebyl, kdo by hospodařil? Neodpovídal jsem, zůstával jsem doma. Tu k mé sestře počne docházeti Hájkovic Evička a vyptává se, půjdu-li přec do kláštera, a nepůjdu-li, jestli bych se směl ženit, a kdybych se oženil, jestli by mi cihlou nevyškrabali na hlavě posvěcení? Když mi to sestra řekla, pověděl jsem jí, že ty otázky jsou hloupé. Druhý den přišla Evička zas a ptala se, pojedeme-li do města na výroční trh, že v hostinci v městě jest velký sál, že se tam dobře tančí, a chválila naše koně. Já na to pověděl, že mluví a ptá se zas na věci mnoho hloupé, ale počal jsem se strojiti na výroční trh, hleděl si koní a od té chvíle snažil jsem se, aby vypadali co nejlépe. Rozuměl jsem koním již od otce, každé dítě u nás rozumělo koním, i matka, i sestra rozuměla koním. V městě se kolem mých koní kupci ani netrhli, ale já jen koukal, jak se líbí Evičce. Už mi zůstalo v hlavě vězet, že je chválila. Šel jsem do sálu a koho tu vidím s kraje, Evičku! Nu, proved jsem ji.“

Kvoch počal na druhém prstu točit prstenem a dlouho se díval naň. Byl to prsten, jejž téhož dne sňal s prstu Evičce.

„Ženská, pane drahý, ženská! Já byl tenkrát jako panna, vlasy černé, oči černé, zuby křišťál, rovný, tanečník jako kytka, do tance jako vítr. Všecko se za námi ohlíželo: ‚Kvoch a Evička.‘ ‚On musí do kláštera.‘ A já to slyšel a Evička ke mně se tulila. Když jsme jeli domů, sedla si na vůz ke mně a plakala. Já jí utíral slzy. Ona jako by schválně plakala, jen abych jí utíral slzy. ‚Co pláčeš,

inslav

Evičko?' Ona jako bez rozumu, ne a ne slovo z ní dostat; až se mne zeptá, půjdu-li ještě do kláštera? ,Toť se ví, půjdu,' povídám žertem. Nato ona přestala plakat, a když jsme se rozcházeli, povídala, že se utopí, jakmile půjdu do kláštera. Drahý pane, ženská!"

Kvoch si vjel prsty do svých kučer a podepřev si hlavu hleděl do prázdna. „Pravda, kdybych byl do kláštera se vrátil, kdo ví, jak by to bylo dopadlo. Hůře by to nebylo dopadlo, než jak to dopadlo; bídnějšího tvora na zeměkouli není. Ženská! Já byl u vidění. Evičce zalíbili se moje koně; já jezdil po trzích a koupil každého koně, který se podobal světu, a když to vypadalo k čemu, jezdil jsem s tím po světě. Já měl koně za rok! — Kníže přišel, že je skoupí, co za ně. Já si vyžádal, že se poradím s sestrou. A když jsem se radil s sestrou, byla u nás Evička, usmívala se a já se ptal, zač je prodat? ,Za nic,' řekla, ,neprodávej je.' Já knížeti vzkázal, že je neprodám za nic. Pak jsme jeli do města, ona jela s námi a říkala: ,Jedeme s koňmi, za které chtěl dát kníže tolik a tolik,' a na mne se usmívala, a mně ten úsměv byl milejší, než ty tisíce, jež chtěl dát kníže. Ženská!"

Kvoch si vyjel rukou z kučer a napil se z čerstvého. „Já nevěděl, co dělám. Jako když chodím v měsíci. Kdyby mně byla řekla: ,Utopme se,' já bych byl šel a utopil se; kdyby byla řekla: ,Zapal váš statek,' já bych byl zapálil. Řekla: ,Nechoď už do kláštera,' a já, abych jí to dokázal, před jejíma očima napsal jsem list, že do kláštera se nevrátím; spolu jsme jej zapečetili, spolu jsme jeli do města a spolu jej dali na poštu. Pak jsem shledal, že se mi už stýská, když u mne není, že nic nevidím, když ji nevidím a že mám v hlavě hukot, když neslyším její hlas. Mně bylo, jako když nechodím po zemi. Když jsem jí mohl ruku stisknout, vlasy pohladit, byl jsem bez sebe, a když nám řekli, abychom se tedy vzali, když se máme rádi, já už nevím, jak se to stalo; ale když jsem se vzpamatoval, byla už mojí ženou."

Kvoch počal točiti třetím prstenem na prstu, byl to ten, jejž si s Evičkou vyměnil u oltáře.

„Pak jsme žili, pane drahý, jako ptáci nebeští a jako lilie v poli. Z hospodaření já rozuměl jen koním a Evička nerozuměla ničemu. Po světě jezdit bylo její. ,Zapřáhněme, pojeďme do Litoměřic!' Já zapřáhnul a jeli jsme. Kdo nás potkal, díval se po našich koních, a Evička byla při každém pohledu o statek bohatší. Pak, abych řekl, se chlubila mnou: ,Chtěl být knězem, kvůli mně nestal

inslav

se knězem.' Pak řekla: ‚Pojeďme do Prahy s čtyrmi!' Já zapřáhnul a jeli jsme do Prahy s čtyrmi. V bráně nás zastavili, jak můžeme jezdit s čtyrmi, když nejsem hrabě anebo kníže. A já jim řekl: ‚Kde stojí psáno, kolik smí kdo míti zapřaženo koní? Kdybych měl osm, žádný nesmí muknout, jedu-li s osmi.' Pustili nás, a to Evičce se zalíbilo, že už nechtěla jezdit leč se čtyrmi. Moje koně byli tak známi, že jak uviděli zdaleka čtyry koně, říkali: ‚To jede Kvoch!' Jiní říkali: ‚Safraporte, zač by as jednoho prodal?' — ‚Za nic neprodám, ani knížeti jsem neprodal, který chtěl koupit všecky.' — ‚Teď už se ani nezeptáme, marně se ptát!'"

Kvoch už neprohlížel si prsteny, nýbrž penízky a pečetidla u řetízku; chvílemi vytáhnul hodinky a díval se na ně, ale nikoliv aby viděl, kolik je hodin, neboť jsem pozoroval, že je nemá natažený.

„Čas běží, pane drahý. Hospodářství nám nešlo. Když se moje sestra provdala, řekl její manžel, abychom si sebrali ty svoje koně a hospodařili pro sebe. Tu jsem viděl, že jsme vlastně žili dosud do větru. Já ho prosil, aby nám ty koně ponechal v stáji, než si novou stáj zřídím. Ale kde vzíti stáj novou u nás, kde každý baráčník hledí si koní, a aby měl stáj jako palác! Já viděl, že už vlastně nemohu mít ani koně, a já počal jezdit po trzích a městech, abych koně prodal. ‚Koukejte, mám koně; kníže za ně dával pět tisíc, dám je o tisíc laciněji.' Pojednou o mé koně nikdo nestál, naschvál, jako když si řeknou; ani nikdo nic nepodal. Věděli, že je musím prodat, a když mne viděli, volali: ‚Jezdí se čtyrmi, aby je prodal, aby moh domů a pěšky; ale, hoši, držme se, ať jede domů se čtyrmi, za měsíc je dá za babku.' Krása mých koní byla na posměch. ‚Zběhlý študent, páter vyklouz, koňař hejtmánek,' říkali, a to znamenalo, že všecko to za nic nestojí. Nu, šel jsem ke knížeti, že je dám za to, mnoho-li podával; ale kníže, že si to rozmyslí, a rozmýšlel si, až mi vzkázal, že nic nekoupí. Nu, prodal jsem to; přece to nemohu z ničeho živit. Prodal jsem za babku; co podávali, vzal jsem."

Kvoch zase hrál si pečetidly a penízky a zase se díval, kolik je hodin.

„Jednou mi povídá Evička: ‚Kvochu, nemáme z čeho vařit, nemáme zač koupit. Jdi přece, vydělej nějaké peníze.' "

Kvoch dlouho se díval na hodinky, až zpozoroval, že nejdou; vzal klíček a natáhnul je.

inslav

„Pane drahý, není bídnějšího tvora na světě než sešlý študent. Každý cikán ví, že je cikánem, a dle toho žije jako cikán; žebrák ví, čím je, a vzbuzuje tím outrpnost; podloudník, tulák ví to a tím se řídí. Sešlý študent neví, co je, nic neví, ničím není, za nic se nehodí, a i cikánu a žebráku, i tomu podloudníku a tuláku jest na posměch. Každý se hodí k něčemu, sešlý študent k ničemu. Učil se na pána, a nestačí; pracovat neumí, za práci se stydí, potácí se mezi vědomím, co by mohl, a mezi vědomím, co nemůže, a konec konců je, že nemůže nic a jest horší než cikán, tulák, žebrák, než poběhlík. S nešťastníkem mají lidé outrpnost, se sběhlým študentem, jenž jest nejnešťastnějším všech, nemá outrpnost nikdo, jen posměch, úšklebek. Pane drahý, co na tuto hlavu už se sesypalo, já se divím, že ji ještě nosím, že jsem si ji sám už dávno nesrazil anebo se i s ní neutopil. Pane drahý, doštudujte; nezběhněte se študií, a kdyby se vám toho zachtělo, podívejte se na mne.“

Odpustil jsem ubohému muži tuto apostrofu; viděl jsem, že nikdo na světě nemůže říci slova pravdivější. Kvoch dělal časté doušky, řetízkem u hodinek si poškubával, jako by je chtěl utrhnout.

„‚Jdi, Kvochu, vydělej peníze!‘ Já to na ní viděl, že už dávno žádných nemá, já viděl, že jako já neumím ničeho pracovat, i ona ničeho neumí. Nu, chytil jsem se dohazování koní. Ale není prohnanějších lidí nad koňské dohazovače; co já mezi nimi? Otáčeli mnou jako čamrdou, a když se mi vysmál jeden po druhém, seznal jsem, že k ničemu nejsem. ‚Jdi, Kvochu, vydělej nějaké peníze!‘ Já hlásil se u úřadu; potahovali mne, a když konečně něco pro mne měli, měl jsem býti opisovačem. Opisovačem! — Já neměl dle toho ruku — víte, jak se píše na latinských školách. Přinesl jsem první opis, svolali všecky úřadníky, kancelář se chechtala: ‚Ten chce být opisovačem?‘ Ukazovali na mne jako na něco, co jest za posměch i opisovačům, já jako když hoří, utíkal jsem domů. ‚Jdi, Kvochu, vydělej nějaké peníze!‘ Já se po vesnicích hlásil, že budu zámožné děti připravovat na študie. ‚On chce připravovat na študie, a se študií zběhnul!‘ Ach, pane, slouhovi spíše svěří děti než sešlému študentovi. Ničeho není na světě, čeho bych se byl nechápal, ničeho jsem se nezachytil. Čemu jsem se naučil, nemohl jsem potřebovat, a musil jsem dělat, co jsem neuměl. Teď musím nádeničit, lopotit od rána do noci, při dešti, mrazu táhat jako kůň a otec dal mne na študie, abych

inslav

se nemusil lopotit ani tak, jako on se lopotil! Dobře jsem se ti poved, milý, drahý otče!"

Kvoch prohlížel si stříbrné hodinky; byly to hodinky po nebožtíku otci.

III.

Sotva že Kvoch dopověděl, ozvalo se venku v síni hlasité mluvení, jímž Kvoch se zarazil. „Už jdou pro mne," a vstával k odchodu. Do hospody vstoupil hoch, že jest tu Evička, Kvoch že má jít domů.

Byl bych rád uviděl Evičku; třebať bych byl musil dle stáří Kvochova soudit, že i Evička už je poloviční stařena, přec bych ji byl rád viděl. I přemýšlím, jak bych způsobil, aby musila vejít; nebylo toho třeba, náhoda se o to postarala.

„Řekni, ať jde sem, ať si jde připít," vzkázal Kvoch po hochovi.

Hoch odešel a vrátil se s vzkázáním, že Evička nechce.

„Když nechce, já také nechci. Dokud nepřijde si připít, já domů nepůjdu. Evičko, pojď sem!"

Dvéře byly pootevřeny, mohla v síni všecko slyšeti, aniž by byl hoch vyřizoval. „Jen všeho nech a pojď, čekáme na tě a matka hubuje," ozval se její hlas ze síně.

„Evičko, nedočkáš se mne, jestli se nepřijdeš napít. Já už na tebe čekám celou hodinu, pojď, nezdráhej se; a nač bych šel, když matka hubuje?" mluvil od stolu Kvoch.

Evička venku cosi mluvila o Kvochovi; zaslechl jsem „piják, outrata" a podobné výrazy.

„Nic není platno, nepůjdu, dokud se nepřijdeš napít." A na mne jako by mrkal: „Dnes musí i matka povolit, to by v tom bylo, abych já neměl vrch."

Evička přišla; postavila se u dveří a rukama nabírala si zástěru jako do řas. Nevypadala tak stará, jak jsem si ji představoval, ačkoliv měla vlasy prokvětované. Šat její v některých drobnostech prozrazoval rovněž, že vždycky nádenicí nebyla a že posud na sebe drží. Na krku měla dukát velikosti dosti značné, jakým asi ni jediná se vykázati nemohla, která s ní chodila do práce. Na krku měla několikrát otočeny šňůry granátů.

„Tak pojď, Evičko. Tu vidíš, s tím pánem já mluvím latinsky, abysi slyšela, jak se to mluví." Kvoch nesl jí sklenici, aby si při-

inslav

pila. Když pila, postavil se mezi ni a mne a ukazuje na mne potom povídal s jakousi chloubou a pýchou: „Tak poslyš, abys věděla, jak my mluvíme. Tu ten pán je študent; poslouchej, jak my mluvíme.“ A počal mluviti v rozličných větách latinských, které mu co trosky z někdejšího čtení uvázly v hlavě. Byly to věty bez ladu a skladu, průpovídky, jak mu na jazyk přišly, strakatina ze všech autorů i neautorů, míchanina z Ovida, Horáce, Virgila, Cicerona, Cornelia, věty každému študentíčkovi známé, všeobecně otřepané, jež nadto byly v ústech Kvochových bez souvislosti, beze smyslu. Ale Kvoch je mluvil se zápalem, se chloubou, jako když se jimi parádí. Připadal mi jako suchopár skála, na níž se před časy zachytilo něco mechu a něco klásků a ona se nyní vychloubá, že má na sobě něco z polí, luk a lesů. Jaktěživy nebyly vyslovovány věty klasiků v takovém neladu, ale zároveň s takou vroucností deklamační, jako tu, ovšem že byla deklamace často smyslu napříč, ano i nesmyslná.

Evička při té přednášce měla sklopenou hlavu; někdy se na mne mžikem podívala, jako by pátrala, jak se tvářím. Viděl jsem, že ačkoliv se staví po vesnicku nevrlou a mrzutou, přece ji to těší, že její manžel dovede se po latinsku vyznamenat. To asi četl i Kvoch v její tváři, neboť když ty svoje sentence vyříkal, doložil: „Evičko, tak my mluvíme, a tuhle se zeptej pana študenta, jestli jsem udělal jedinou chybu?“

„Ani jedinou,“ dotvrdil jsem.

„Slyšíš, ten pán to povídá. Tak to uvaž; to jsou léta, co jsem knihy neviděl, a já to ještě nosím v hlavě.“

„Však ti to pomáhá,“ řekla Evička s onou dělanou nevrlostí, „nemáš co jíst —.“

„Hoho, Evičko, jíst dost a napít také, mohu i tobě dát abys si připila. Ale já ti povídám, já oči nezamhouřím, abych to ještě na něco nepřivedl. Když mám dosud tak všecko v hlavě, jako bych byl včera vyšel ze škol, proč bych nemohl něčím býti?“

Kvoch počal znova z klasiků dělati řezanku a drmolil větu za větou. „Evičko, toho jsem si přál jektěživ, abys mohla slyšeti na své uši, kterak ještě s učenými se dohodnu; teď jsi to slyšela. Evičko, teď jsi to slyšela.“

„Pojď domů,“ pravila Evička, ale z mluvení i chování přece bylo jen patrno, že ráda poslouchá.

„Počkej, Evičko, dříve musím zaplatit —“

inslav

„Jest již zaplaceno," pravím já.

„Slyš, Evičko. Tak to bývalo mezi študenty a jest podnes. Nemám-li já peníze, jen když má kamarád; až kamarád nebude míti, budu míti já. Evičko, tak mezi námi bylo a tak je dosud. Tím, pane drahý, uznáváte mne za hodna, abych s vámi poseděl. Evičko, teď nemohu jíti domů."

Kvoch byl při těch slovech do radosti pohnut; tato vlastnost študentských dob asi že se mu podnes líbila nejlépe.

Přece však jsem ho přemluvil, aby šel s ženou zároveň a že může odpoledne přijíti zase; aby udělal, zač ho žádá. Slova moje měla účinek. Měl již čepici v ruce a byl jako na odchodu a u dveří, ale vždy se zas vracel. Co jen věděl jakých formulí na rozloučenou, všecky vyprázdnil, všemi se pochlubil Evičce, která dosud stála se sklopenýma očima a žmolíc okraje modré zástěry. Lichotilo jí to ubožce více, než jsem si mohl pomysliti.

Kvoch ještě po latinsku se poděkoval, že má zaplaceno, a při každé latinské větě se díval, jak to Evičce lahodí.

Když s ní odešel, ptal jsem se souseda: „Zaslechl jsem onehdy, že jest Kvoch s Evičkou nešťastný; dle toho, co jsem tuto viděl, nezdá se mi tak."

„Matka její je drak; kdyby té nebylo, Evičku by otočil kolem prstu. Před vámi Evička se ostatně ostýchala, doma také umí rozvázat."

Již záhy odpoledne šel Kvoch od domova směrem k hostinci a po návsi volal, jako když káže: „Tak sbohem, lidé, jdu se utopit. Sbohem, už vás více neuvidím; co jsem komu ublížil, pro rány Kristovy, odpusťte mi."

Lidé vycházeli před stavení, jako když jde kolem s komedií, a smáli se jako komedii.

„Tak sbohem, Kvochu," volali někteří před staveními a dělali, jako když se loučí.

Kvoch se zastavil a měl se k výkladu: „Co mám dělat, lidé dobří; přijdu k obědu a paní matka postaví přede mne prázdnou mísu a to je můj sváteční oběd. Co mně zbývá než se utopit? Mohu to tak déle vydržet?"

„Kam se půjdete utopit, Kvochu?" ptal se kdosi; bylo patrno, že je toto loučení Kvochovo s světem nic nedojímá; ba dověděl jsem se, že Kvoch alespoň za čtvrt roku jednou podobně se loučí, chodě se utopit.

inslav

„Kam? Což na tom, kam,“ uražen odpovídal Kvoch. „Až mne vytáhnou, uvidíte kam. Ale v řece to bude.“

„Kdo by vás tahal z vody; vy se vytáhnete sám,“ prohodil kdosi; ostatní se smáli.

„Ne, kamarádi, nemyslete, tenkrát je to jisté jak slovo boží. Což mám se dát týrat doma od ženských —“

„Kvochu, to jste na té míse neměl docela nic? Snad jste se dobře nepodíval.“

„Nic, inu povídám, nic. V neděli každý hledí, aby měl ten kousek masa a knedlík; mně dají prázdnou mísu, že prý jsem se ráno v hospodě napil. Mohu být déle živ?“ mluvil kazatelským tónem.

„Zdalipak jste si všecko spořádal, Kvochu?“ kdosi se ptal.

„Udělal jste poslední vůli?“

„Já udělám poslední vůli, ty budou na mne pamatovat; já jim jednou nepřijdu domů celý rok, já se uživím, ale jak ty se uživí bez mne —“

„Vždyť se utopíte!“ posměšně prohodil kdosi; ostatní se smáli.

„Co utopíte? Utopím se, neboť to bude pro ně trest,“ dušoval se Kvoch a tloukl sobě rukou na prsa na dotvrzení toho, co povídal. Ale kdo by byl té scéně býval přítomen, byl by pozoroval, že už mnoho slevil se své odhodlanosti utopiti se, že hlas jeho a celý způsob jevil již sotva polovici toho, co s počátku sliboval. Kdo by té scéně byl býval přítomen, uvěřil by na slovo, že už často čímsi podobným hrozil a že snad ani tenkrát to neudělá, jako dosud neudělal. I to jeho dušování a to tlučení se do prsou nemělo již té pevnosti a jevilo se býti jen málomocným.

„Co mně odkážete, Kvochu, když se s námi loučíte?“ zase někdo ho zastavil.

„A co bych odkázal?“

„Nu, máte pěkné hodinky, máte prsteny, všecko to stálo by za odkaz.“

Kvoch se díval po hodinkách i po prstenech, pak pravil: „Kdo mne vytáhne z vody, bude-li to ještě na mně, měj si to. Ale tamty,“ ukázal ku svému domovu, „budou na mne pomatovat; lidičky, těm já zahraju, budou na mne pamatovat! Tak se tu mějte, lidičky, dobře, kdybychom se více neuviděli.“ Kvoch mluvil hlasem plačtivě dojatým a podával každému ruku.

„Tak spánembohem, Kvochu,“ povídali podávajíce mu ruku a také stavěli se pohnutými.

inslav

„Já si pomoct nemohu," vykládal, ještě ruku podávaje. „Žádný na mém místě nemohl by jednati jinak."

„Tak jen už jděte, na shledanou, " zase jiní dokládali s větším příměskem posměchu.

A když se všemi, kdož stáli na návsi, se rozloučil, šel do hospody. Shromáždění na návsi na to čekali, nyní za ním pokřikovali: „Hej, Kvochu, kudy to k řece?"

A jiní dodali: „Tohle by dovedl každý. Kvochu, vemte mne s sebou, já se s vámi také utopím."

Mnozí z těch, kdož byli na návsi, pobízeli se: „Pojďme za ním se podívat," a šli rovněž do hospody.

Kvoch jakmile vstoupil, počal opakovati totéž, co na návsi jsme slyšeli. Každému, kdo vstoupil, šel od stolu vstříc, podával mu ruku a povídal: „Tak tedy sbohem, kamaráde; jestli jsem vám něčím ublížil, odpusťte mi, dnes jsem ještě zde, zejtra mne tu nebude."

Ale jednou věcí se lišil od onoho Kvocha, který se loučil na návsi. Na návsi byl samý výklad a tuto až na to, že se loučil, ani slovem dále nemluvil, nic nevykládal, na otázky neodpovídal. Seděl při pivě tich, do sebe zabrán, a kdo by ho takto viděl po prvé a slyšel, že tento člověk zabývá se myšlenkami samovražednými, byl by tomu uvěřil. Nechť se ho ptali načkoliv, neodpovídal. Chvílemi si čelo podpíral do obou dlaní, jako by ani pohlížením na lidi nechtěl se z myšlenek rušiti. Ani na mé latinské otázky již neodpovídal, nikdo, ani já, pro něho více neměl důležitosti.

Já vskutku měl o něho strach a povídám k sousedům: „Ten člověk se utopí, dejme na něho pozor."

„I to, to," odpovídali sousedé s takou jistotou žertem a žertováním dotvrzenou, že já, neznaje Kvocha, ovšem jsem sobě mysliti musil: „Vy to musíte vědět."

Když se smrklo, Kvoch povstal, zaplatil svůj řád, podal ještě každému ruku a zase s každým se loučil: „Tak tedy spánembohem, já jinak nemohu, za hodinu mne tu není." Odešel.

„Pojďme za ním," vybízím sousedy.

„To to, ten tu bude dřív, než bychom ho dohonili," pravili. Ale tenkrát se mýlili. Prázdniny moje se končily a o Kvochovi ani památky. . .

1874

inslav

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK

ЙОЗЕФ ВАЦЛАВ СЛАДЕК

(1845—1912)

Выдающийся поэт-демократ Йозеф Сладек принадлежит к реалистическому направлению в чешской поэзии. Литературное наследие поэта составляют, главным образом, небольшие, зовущие к действию и борьбе стихотворения, характеризующиеся глубоким оптимизмом, народностью и доходчивостью форм, близостью к фольклору.

Сладек родился в полукрестьянской, полуремесленной семье, жившей недалеко от Праги. Постоянно нуждаясь, он учился в гимназии, а затем в Пражском университете. Первые стихи Сладека появились в конце 60-х годов. Уже в них отразились патриотические и радикально-демократические настроения поэта. В 1868 г. Сладек выехал в Америку. Находясь там, поэт перенес много лишений, сменил ряд профессий. Освободившись от иллюзий в понимании характера американской демократии (этому немало способствовало знакомство с положением индейских племен), поэт в 1870 г. покинул Америку.

Вернувшись на родину, Сладек поселился в предместье Праги. Вскоре Неруда и Галек передали ему издание журнала «Люмир» („Lumír"). Вначале совместно с Чехом, а затем без него, Сладек руководил этим журналом на протяжении многих лет. Свою литературную деятельность поэт долгое время совмещал с преподаванием английского языка в высших учебных заведениях.

inslav

В 70-е годы появляются сборники стихотворений Сладека «Стихи» („Básně", 1875) и «Искры на море» („Jiskry na moři", 1879), которые привлекли внимание читателя новизной содержания (впечатления поэта от пребывания в Америке), а также своеобразным сочетанием личной и общественной тематики. Последующие сборники — «Светлым путем» („Světlou stopou", 1881), «На пороге рая» („Na prahu ráje", 1883), «Из жизни» („Ze života", 1884) — свидетельствуют об углублении демократизма и художественного мастерства поэта.

Центральное место в литературном наследии Сладека занимают сборники: «Сельские песни» („Selské písně", 1889), «Чешские сонеты» („České znělky", 1890) и «Чешские песни» („České písně", 1892).

Одна из основных тем поэзии Сладека — жизнь трудящихся деревни; главным героем его произведений является крестьянин-бедняк. Сладек воспевает труд, видя в нем основной смысл жизни. В ряде стихотворений поэт с горечью пишет о том, что земля не принадлежит тем, кто ее обрабатывает. С глубокой симпатией к сельской бедноте написаны Сладеком стихотворения «Пашня бедных» („Role chudých"), «Нет, это не мои поля» („Ne, ta moje pole") и др.

Отражая в своем творчестве настроения, главным образом, трудового крестьянства, Сладек посвятил и ряд произведений изображению жизни рабочих. Таковы его стихотворения «Майская песня» („Májová"), «Шахтерская баллада» („Hornická balada") и др.

Большое место в творчестве Сладека занимает также тема национально-освободительной борьбы народа. При этом поэт не раз обращался к героическому прошлому Чехии. Глубокого патриотизма исполнены многие стихотворения, вошедшие в сборники «Чешские сонеты» и «Чешские песни», в которых поэт развивает традиции Коллара и Неруды.

Борясь за национальную свободу чешского народа, Сладек глубоко сочувствовал другим угнетенным народам. С симпатией пишет он о судьбе индейских племен в Америке в стихотворении «На могилах индейцев» („Na hrobech indiánských") и других произведениях.

С критикой буржуазного искусства, с утверждением ответственности писателей перед народом выступил Сладек в стихотворении «Поэтам» („Básníkům").

Сладек — автор ряда талантливых лирических стихотворений, нередко напоминающих народные песни, которыми они и были навеяны. Существенную часть наследия Сладека составляют жизнерадостные, веселые стихи для детей, до сих пор не утратившие своей популярности — «Золотой май» („Zlatý máj", 1887), «Колокола и колокольчики» („Zvony a zvonky", 1894) и др.

Плодотворной была и переводческая деятельность Сладека. Им мастерски переведено большое количество произведений Шекспира, Байрона, Бернса, Лонгфелло, Мицкевича. Из русских поэтов он переводил Некрасова и Лермонтова.

inslav

NA HROBECH INDIÁNSKÝCH

Zem svobodná, a přec tu bezpráví,
jak děsnějšího neviděly světy:
zmar každý krok a zločin krvavý,
a každý hles vítězné oslavy
skřek divoký, jejž neznal barbar ani
na zříceninách Říma před sta lety.

Když na vaši si tyran stoupá šíji
a do prachu vás šlape poroby,
tu ku poplachu všechny zvony bijí;
když divoch padlých tančí nad hroby
těch, co mu v hrdlo sami tiskli nůž,
tu divokou je šelmou rudý muž
a děti strašíte tou komedií.

Však tento lid, jenž tisk vás v náručí,
když po kapkách se krve umučí
a v srdce družné, prosté, otevřené
se jako v posměch olova kus vžene,
ba na jeho když hrobech prokletá
vítězná píseň huronské víc hýká —
toť do pralesů vnikla osvěta
a přec-li kdo, že bezpráví to, říká,
to „lichý útlocit“, to „romantika“!

Leč budu psát, však lichými ne slovy,
vždyť viděl jsem tu zem jak čárný ráj,
s jezery modrými, že azurový
můž s nimi závodit jen nebes kraj;
a v bezdnu těch se tmavé lesy třpytí
a táhnou v dál, že vrcholný ten lán,
když slunce zář se po něm rozesvítí,
jest jako rozvlněný oceán;
a ptáče každém suku na širokém
a zpěv se mísí v každý větru dech,
a z křoví srna velkým zírá okem,
a nohou jako struna tepe mech.

inslav

A zpod větviny dlouhé, tmavostinné
se řeky proudí čisté, křišťálové,
jak slza když se zpod obočí řine.
A vodopády barvě ve duhové
se stříbrnými pásmy v rokle lijí
a v květy lučí perly démantové
a plní lesy šumnou melodií.
A prérie, ty dálné, bezměrné,
s tím pestrem květů plných vůně, svitu
a rosy — diamentů v malachitu —
a toto vše, ta krása neobsáhlá,
co z ní je tam, kam vaše ruka sáhla?

Kde wigvam stál, se táhnou do šíra
a líhnou vaše města jako houby,
a v lesích pádná houká sekyra
a množí denně vaše dílo zhouby
a z lesů plot prérii rozřeže
a po jezerech letí parní šrouby
a roznášejí vaše loupeže,
Ba všechno, vše jste sobě osvojili
a k otroctví si skladli pod nohy,
z vás každý svou zve tu neb onu míli,
kde díl má země té syn ubohý?

Kde osvěta, „jež dána temnot robu?“
Jej vyštvali jste odtud jako laň,
že nemá místa pro své hlavy mdlobu,
jej „rukou vlídnou“ odvádíte k hrobu
a příští rok jej vyštve vaše zbraň
to pro dolar; ten klet buď, o něj prací
když jedno lidské srdce dokrvácí.
Kde osvěta? tak ptám se ještě jednou.
Já viděl lid ten před vašimi domy,
jak s žebrákovou čekal tváří bědnou
a marně čekal, ven až po něm shlédnou
a hodí drobet spadlý pod stoly:
a div že srdce přitom nepuklo mi:
syn země té, žebrácké o holi!

inslav

Volnost jste sobě zbudovali tady,
evropský otrok zdání o ní nemá,
však střísněnu ji krví vidím všady
dnes, v minulu — a budoucnost je němá.

A buďte volni, všeho ze světa
že z prachu k vám zřít budou otroci
a svítiž vám ta vaše osvěta
jak nové slunce tmavé do noci
a stavte všemu, co je lidské, trony,
že řekne rozum: „Spasili jste nás,“
či srdce lidské nebude se vás
též jednou ptát: „Kde padlé miliony?
Kde Abela jsi nechal, Kaine, vrahu?“
Kdo za vás odpoví v tom vašem blahu,
kdo ze světlé té záře kolem hlavy
vás rudého paprsku hanby zbaví?

Básně, 1875

BÁSNÍKŮM

Vy básníte a sníte; — celý svět
již vašim křídlům nedostačí v let;
zde ubohé dvě dlaně k vám jsou vzpjaté:
— nuž, co jim dáte?

Vy zlovili jste perlu z podmoří,
vy uchvátili lesk, jímž hvězda zahoří,
a chví se, leskne vám na diadému:
zde oko ztrhané
se o paprsek vzpíná k nebes lemu,
a on mu nevzplane;
zde v mžik se zamihlo
cos jako perla v mořském vlnobití,
a srdce mřelo po ní celé žití
a přec ji nestihlo!
— co dáte jemu?

inslav

Vy bloudíte na nebes pokraji,
ba za jiskrou tam smělý titan vráží —
a zde ty němé dlaně čekají
na jednu slzu, která světy zváží,
od dálných hvězd k snu děcka o blahu —
Neb snad jí není nebes na prahu?

Jiskry na moři, 1879

JE PROTI NÁM, KDO NENÍ S NÁMI

Je proti nám, kdo není s námi
a jediný byť vlas to byl,
kdo v nepřátel jej složil chrámy,
to krev už není našich žil!

My potřebujem mužů celých
a v boji, psotě vzdornou leb,
a myšlénku na čelech smělých
a pohrdu pro cizí chléb.

My potřebujem velkých lidí,
již bouři velké vzdorují,
a z celé duše nenávidí,
a z celé duše milují!

Jiskry na moři, 1879

MALÁ PRODAVAČKA

Tak stojí obalena v jinovatku
jak strůmek, jenž se dívá v sněžná lada
a sníh jen přes ty domy padá, padá
na ni i na psa ukrytého v šátku.

Má doma sestry dvě a chorou matku,
ta matka pro ně každým soustem strádá —
však jediného mají kamaráda;
hlad mají samy — co dát ubožátku?

inslav

Již třetí den tu do večera stojí
a líto jí, že kupec nepřichází,
a kdos-li zastaví se, — tak se bojí!
Zas už ten soumrak, — psa to v šátku mrazí:
„Mlč, půjdeme“ — Co řekne matka tomu?
— A přec tak ráda zas ho nese domů!

Na prahu ráje, 1883

ROLE CHUDÝCH

Stráň skalnatá, že šípku úpal hrozí,
a holá jako žebrákovy dlaně;
však živo je tu večerem i raně:
z té role ruky sbírají tak mnozí!

Vychrtlá kravka, po ní přijdou kozy,
pak žena listí trhající na ně,
pak děti na trnky neb tvrdé pláně,
a kolem plné snopů jezdí vozy.

Tak po sobě se vystřídají hosté
na tom, co nechal zajíc, nebo ptáci.
I šel jsem kol: „To máte těžkou práci,
Bůh dej, ať tady hodně mnoho roste!“
A žena, dále žnouc na stráni holé:
„Toť nebylo by dávno chudých pole!“

Na prahu ráje, 1883

KYKLOP

Tisíce let v propasti země mračné
připoután k výhni buší kyklop divý —
v líc chmurnou pot se řine s tmavé hřívy,
jak cetky kuje tam pro bohy lačné.

Sto let kul jednu, a zas druhou začne
a zpívá jen ten zpěv svůj zádumčivý;

inslav

však blesk mu šlehne v zrak, a ret se zkřiví,
když slechne jásot s výše nadoblačné.

Proň není jas, jen ten, který ho žehne!
Však přijde den, kdy bozi věkožízní
zblednou jak sníh, nad nějž ta sopka šlehne,
až kyklop vztyčí, tam kde oni trůní,
ta prsa huňatá, tvář zrytou trýzní,
a s kladivem se zjeví na výsluní!

Na prahu ráje, 1883

LID

Lid v práci své, to lid je ve své síle,
ať v kamení, ať v lidská srdce buší,
ať rukou pracuje anebo duší,
on může čekat: přijde jeho chvíle!

Ten velkým v sobě, kdo je velkým v díle
on tvrdý kámen na chléb sobě zkruší,
sta mrtvých srdcí jednou jiskrou vzruší
a nezoufá, byť sebe dál byl cíle!

On dojde ho! Jak deště kapka k moři
každá ta krůpěj potu spěje k němu: —
Nuž, ať jen skrápá s čel, ať líce hoří,
v tvrz bušíc křivdy dlaň ať krvácí! —
— ty slzy, pot a krev, ty přijdou k svému
přes hlupců smích; — to stojí za práci!

Na prahu ráje, 1883

RODNÉ MLUVĚ

Má rodná mluvo, ty drahý skvoste,
jediný z velkého odkazu dědů,
který jsi přetrval v svatosti prosté
všechnu jich slávu, všechnu jich bědu,

inslav

nádheru králů, velikost věků
a vše, co do prachu shrouceno s ní —
tak plna tklivosti a mužného vděku
jak znělas od věků, — na věky zni!

Ty, prostá dceruško doubrav a nivy,
kde jsi se zrodila jako zpěv ptačí,
jako šum hvozdů plný a snivý,
jak olšin stýskání; — v smíchu i pláči
vždy stejně upřímná, velká a svatá,
když slunce svítilo, když hořel blesk,
v svobody ruměnci, v okovy spjatá,
i když ti nezbylo nic, než tvůj stesk.

Když bouře zničila květno tvých luhů,
když třeskot oněmil v přilbách i meči,
ty jsi nám zvonila radlicí pluhů,
ty jsi k nám mluvila pohádek řečí: —
pastorkou ve hradech, — pod nízkým krovem,
co šlechtic zapomněl, co nechtěl král,
ty jsi k nám mluvila tím ryzím kovem,
jehož se netkly rez ani kal.

Ty's u nás zůstala, ty mluvo sladká;
kdy všechno zapadlo v bolu a tísni,
na dětské rty tě šeptala matka,
ty jsi nám zvučela v milenců písni,
ty jsi nám plnila modlitbou chrámy, —
tebou se ozýval luh náš i les
a strážným andělem zůstala's s námi,
když anděl smrti se přes Čechy nes.

Lupínek pozlátka na spustlém hrobu,
koruna zapadlá v jezerním klínu:
tys byla pokladem chudému robu,
který mu svítil do mrákot stínů; —
lupínek pozlátka na starém štítu,
na vetché kronice lesk zlatých spon,
ty jsi se vmlouvala do jeho citu,
až hlas tvůj vzbudil jej jak velký zvon.

inslav

Ó, zvuč a zpívej, hlahol a bouři,
ty mluvo vítězná chudého lidu! —
když hlas tvůj urdousen v krvi a kouři,
hlahol nám u krbu v domácném klidu —
až jednou zabouříš jako hlas hromu
od horstva k horstvu přes český luh —
a bude zas dědicem ve vlastním domu
ten, jehož dědicem chtěl mít zde Bůh!

Ze života, 1884

VOLNOST

Z volnosti zraků jiskrných
do temna lidských cest
napadlo světlých paprsků,
jak v noc ze žárných hvězd.

Usměj se, zlatá volnosti,
též na ten český svět,
ať z hluboka si oddechnem
zas jednou za sto let!

Ze života, 1884

NENÍ-LI POMOCI

Není-li pomoci,
není-li zbytí,
padnem, však prodáme
draze své žití.

Lépe je umříti
na vlastním prahu,
než býti podnoží
cizímu vrahu.

Lépe už na věky
mrtev být, němý,

inslav

nežli být otrokem
ve vlastní zemi.

Nešlapte na hlavy,
my nejsme roby! —
šlapat nám budete
jen naše hroby.

Ze života, 1884

HLAVY VZHŮRU

Hlavy vzhůru! — nač se mučit
jalovým a marným steskem; —
musíme se lítat učit
orlem vzhůru, dolů bleskem!

Loď že hyne ve vln lomu! —
vzhůru křídla k nebes týnu,
a pak zahřmí třeskem hromu
dolů to do křivdy stínu.

Byli jsme a budem dále,
přijdou zase jasní dnové,
nebojí se neurvalé
bouře srdce ocelové.

Za mrakem ať mrak se zvedá, —
nač mít také v duši chmuru?
Najde spásu, kdo ji hledá!
Ruce k dílu, hlavy vzhůru!

Ze života, 1884

V MÉ DUŠI TISÍC SKŘIVÁNKŮ

V mé duši tisíc skřivánků
jak v červnu z pole vzlétlo,
když jetelem a modrákem
a vlčím mákem zkvetlo.

inslav

V mé duši poupat na tisíc
je šírem rozestláno
a Bůh ví jak, — to všechno tak
přes jedno krásné ráno.

Ba dřív jsem ani netušil,
jak mohou zázrak taký
přes jedno jitro vykouzlit
dva slunka plné zraky!

V mé duši tisíc skřivánků
jak v červnu z pole vzlétlo
a zpěv a květ je celý svět
a všechno volá: Světlo!

Sluncem a stínem, 1887

VELKÉ, ŠIRÉ, RODNÉ LÁNY

Velké, širé, rodné lány,
jak jste krásny na vše strany,
od souvratě ku souvrati
jak vás dnes to slunko zlatí.

Vlahé žito jako břehy,
květná luka plná něhy,
na úhoru, v žírné kráse
pokojně se stádo pase.

Nad vámi se nebe klene
jako v květu pole lněné,
nad lesy jen z modrošíra
pára v tichý déšť se sbírá.

A jak slunce vás tak zhřívá
a jak cvrček v klasech zpívá,
v šíř i v dál, vy rodné lány,
buďte vy nám požehnány!

Selské písně a České znělky, 1889

inslav

NE, TA MOJE POLE...

Ne, ta moje pole
nejsou má, — jsou cizí,
já je orám, vláčím,
někdo mi je sklízí.

Něčí jsou mí voli,
něčí je mé setí,
něčí je má chata,
něčí jsou mé děti.

Něčí jsou mé ruce,
každá žíla v těle,
jen má strast a síla,
ty jsou moje celé!

Selské písně, 1889

ČESKÉ ZNĚLKY

III.

Ó, země! — někdy matko mučedníků,
jichž krví páchne dosud každá hruda,
ó, jak jsi klesla ponížená, chudá
dnes v rukách svaté víry odpadlíků!

Prý „v podnož cizinců a násilníků"
si zalháváme, jak to slina udá:
že vlastním rodem znectěna tvá půda,
jen bláznu napadá tak někdy v mžiku.

Ó, země, prodávaná plevou lidu
za peníz, úsměv, pozlátkové cáry,
jak velebna jsi v lidu svého klidu! —
jenž čeká tu, jak bouře na dně moře,
i až se zvedne, chytí ve vln spáry
a odhodí jak vrak své všechno hoře!

inslav

VIII.

Chcem chléb svůj jísti v míru, bez zármutku,
ne slzou slaný, jak ho žebrák jídá,
chcem, aby náš byl celý, kůrka, střída,
jak vyrost na lánu i v chudých plůtku.

Chcem vstávat, lehat v radosti i smutku,
hlídáni Bohem jen, jenž všechno hlídá,
a odpovídat, muž jak odpovídá
jen svému svědomí ze všech svých skutků.

Chcem myslit vlastní hlavou, volně, směle,
jak vlastní rukou pracujeme denně,
a vlastním srdcem cítit nezkroceně. —
Chcem rovni rovným mluvit s celým světem,
práv cizích nebrat, ale svá mít cele!
A v dobru, zlu je zachovat svým dětem.

X.

Je lež, že ten se zrodil pán, ten sluha,
je lež, že slunce svítí jen tak komu,
kdo velí dělům, že je vládcem hromu,
a v odvět ráně není rána druhá!

Že nikdy neprask luk, když napjat ztuha,
že nikoho nepohřbil balvan v lomu,
že svatokrádce pán je v svatém domu,
že křivda vítězství má za soudruha.

A v hrdlo lež — že lží je právo v poutech,
že hlavy zašlapal, kdo šlape hroudu,
že „Na kolena!“ poslední je slovo,
že nevztyčí se čelo otrokovo
a z kostí rozmetaných v světa koutech
kdys nepovstane mstitel ke dni soudu!

inslav

XIV.

Ó, přijde jaro zas na české luhy
s úsměvem, jasem, plno rodné síly,
a zelení a květem nad mohyly
vyklíčí vše, co dnes tam spí sen tuhý.

V prsť volnou zaořou zas české pluhy
a s hnědých rolí, které pot náš pily,
my sami budem sklízet, co jsme sili,
a volni volných budeme zas druhy.

Zas přijde jaro a pod krovy letem
k nám navrátí se míru vlaštovice
a večer děd vyprávět bude dětem,
ják hrát si budou v jeho šedých vlasech,
o země české dávných, smutných časech,
jak byly kdys — a nevrátí se více.

1890

OČI

Pověz ty mi, dcerko milá,
kde jsi včera večer byla?

„Povím vám to, má matičko,
plela jsem to obilíčko.“

Jak jsi mohla po tmě pleti?
Hvězd nebylo uviděti.

„Hvězdy, matko, copak s nimi? —
Jedny oči svítily mi.“

Svítily tam oči dvoje —
„Jeho mně a jemu moje.“

Starosvětské písničky, 1891

inslav

KOVÁŘOVIC ANDULA

Kovářovic Andula,
— ať nás Pán Bůh chrání! —
to je holka stvořená
zrovna k čarování.

Vlasy hrubé, havraní,
z očí jenom srší,
jako jiskry tátovi
s kovadliny prší.

A jak táta perlíkem
do železa buší,
hochům buší Andula
do srdcí a duší.

Kovářovic Andula,
ta by byla pro mě, —
to by láskou lítaly
jiskry v celém domě!

Starosvětské písničky, 1891

CHUDÁ DÍVČINA

Já jsem chudá dívčina,
sukničku mám režnou,
s hochem však se líbáme
jak pan kníže s kněžnou.

Jako s kněžnou kníže pán,
než je biskup oddá; —
méně-li se líbají,
je to jejich škoda.

Starosvětské písničky, 1891

VRANÝ KONÍK

Jede, jede koník vraný,
na něm hoch jak malovaný.

Podkovy mu zvoní ruče,
jak to moje srdce tluče!

inslav

Letí kůň jak vlaštovička; —
kéž mu spadla podkovička!

Letí kolem v jednom honě,
kéž jsi, hochu, spadl s koně!

Chytla, — jak mi srdce tluče! —
chytla bych tě do náruče.

Hlavičku ti vyhojila,
svoje srdce uzdravila.

Starosvětské písničky, 1891

NAŠE ZEMĚ

Naše země krví otců potřísněná
každá hrouda jejich slzou prosycená.

Každý kámen jejich bojů pomník svatý,
každý děj jich silou vrchovatý.

Co hledíme po těch luzích, horách plaše? —
vždyť jsou krví, slávou, žalem celé naše!

České písně, 1892

BYLI JSME A BUDEM

Byli jsme a budem,
jak jsme byli dosud,
ranami a trudem
nezlomí nás osud.

Přes vln burné vzteky
na své české skále
bili jsme se věky,
bít se budem dále!

Prapory jsou zdrány,
krov je hříčkou hromu,

inslav

přec jen zbudem pány
my ve vlastním domu.

Ať se moře pění
v krve proudu rudém,
vzdorni, nezlomeni,
byli jsme a budem!

České písně, 1892

HOUSÁTKA

Zelená, zelená travička,
sešla studená rosička;
jarní slunko zlatou nití
vyšívá na lukách kvítí,
housátka se v trávě svítí
jako zlatá klubíčka.

Zvony a zvonky, 1894

HRDINA

Malý Válek,
peciválek,
husího se
pírka zalek.

Kde co po tmě
zašustilo,
celého jej
postrašilo.

Kočku slyšet,
myšku v noci,
byl by upad
do nemoci. —

A to já jsem
jiný chlapec,

inslav

nezalízám
nikdy za pec.

Do komory,
milý brachu,
jdu i po tmě
beze strachu.

Pro hrušky
a pro jablíčka; —
kdo chce strašit
ať si vyčká.

I když kočce
oči svítí,
člověk musí
mužem býti!

Zvony a zvonky, 1894

MÁJOVA

Perlík, hasák, šroub a dláto
do komory dnes ať letí,
máj nám sype v ruce zlato,
vystrojíme ženy, děti.

Vyjdem si jak na neděli,
jarní slunce dělá divy,
aby páni uviděli
také jednou, že jsme živi.

Stroje ani nedutají,
komín v huti zvolna dýmá,
páni v oknech poslouchají,
první jarní blesk jak hřímá.

V zimním slunci, 1897

inslav

HORNICKÁ BALADA

Třikráte v životě už sáhla na mne smrt
a stokrát číhala jak zhladovělý chrt,
já mrazný její dech jsem cítil v kostech svých
a její dutý zrak se ryl do zraků mých
a já se chvěl jak strom, v nějž mířil blesk v ten mžik;
on mimo sjel, — a já jsem neřek: Bohu dík!

V propastech země,
ve věčných tmách
slyšel jsem temně
v skal útrobách
kamenné srdce,
kamenný tep:
já kopal a kopal
se k Ní pro svůj chléb.
Můj bratr stál vedle,
můj z mládí druh,
to srdce kamenné
mu též bilo v sluch.
Můj víc než bratr
se prokopal dřív; —
jej zdrtila skála,
já zůstal živ.

*

Od chaty k chatě
kradla se jak stín;
nemocí chudých
porazil nás Hospodin.
V hrdle souš a v hlavě žeh
jako ve výhni,
v horečných jsem snech
ležel devět dní.
Anděl smrti na mne dých,
já slyšel nářek dětí svých;
pak v uších jako splav,

inslav

pak neslyšel jsem nic,
až — byl, jak řekli, den to třetí,
svit pad mi zas do zřítelnic.
Kdos cizí stál tu u mých hlav. —
Mrtvé byly moje děti,
má žena též;
a já byl zdráv.

*

Pro černý diamant
jsem zas do šachty vstoup,
náš černý chleba
byl ještě hloub.
Když nemohli se dokopat,
kdos vzkřikl: Ven!
a v bílý den
si vezmem, tma co nechce dát.
Rozbity stroje,
táhli jsme na ně,
co bílý chléb jedli
nám z černé dlaně.
Kol žito vlálo,
jejž netknul se srp,
a náhle z něj vstalo
vojska co chrp —
Já neměl dětí, neměl družky,
já rozhalil prsa,
já vystoup z řad,
já vzkřikl: Palte!
Zahřměly pušky.
Já zůstal stát.
Každý můj druhý soudruh pad.

Třikráte v životě už sáhla na mne smrt
a stokrát číhala jak zhladovělý chrt,
já mrazný její dech jsem cítil v kostech svých
a její dutý zrak se ryl do zraků mých,
a já se chvěl jak strom, v nějž mířil blesk v ten mžik;
a mimo sjel a já jsem neřek: Bohu dík!

V zimním slunci, 1897

inslav

NA BOURANICI

Sníh napad; mrzne do kosti
a za ranního soumraku
na bouranici rozryté
se choulí tlupa chudáků.

Ti zabaleni vlňáky
a ti jen v lehkém kabátu
a spolu jako vrabců houf
na zimomřivém akátu.

A přešlapují, dýchají
si na nehty a na ruce
a hledí, zrovna o život
jak jiní buší v opuce.

Z nich nezávidí nikomu;
však je to zrovna ku pláči,
tak chtít a chtít a mozolit
se nesmět těmi krumpáči!

Pan polír přišel, rukou máv,
a jdou: — už zas je po práci!
Dlaň nemohli si zkrvavit,
a tak jim srdce krvácí.

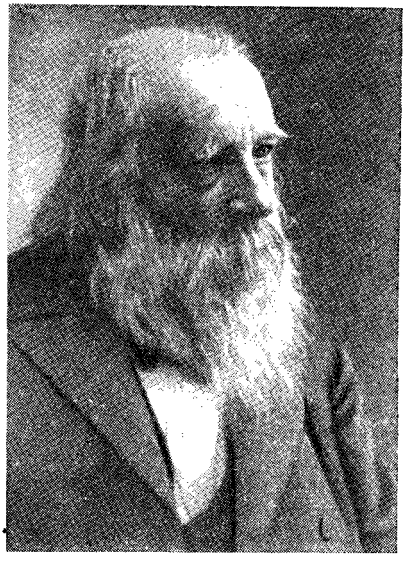
Léthe a jiné básně, 1909

TVOU DLAŇ

Tvou dlaň v své stále cítím dlani
a v sluch mi zní tvůj hlas,
a nemohu to věřit ani,
že navždy odešlas.
To všechno bylo ještě včera
a více není dnes,
jak pohádka, již za večera
jsme poslouchali kdes.
A jest — ač nemohu to chápat —
tak ztracený to svět
jak ten, jenž v prach a popel zapad
už před tisíci let.

Za soumraku, 1907

inslav



JAROSLAV VRCHLICKÝ

ЯРОСЛАВ ВРХЛИЦКИЙ

(1853—1912)

Ярослав Врхлицкий — псевдоним видного чешского поэта, прозаика и переводчика Эмиля Фриды. Он родился в семье торговца, образование получил в Пражском университете. После окончания университета провел некоторое время в Италии. В 1893 г. писатель занял место профессора всеобщей литературы в Пражском университете. Врхлицкий написал около 100 томов оригинальных произведений и издал свыше 50 книг своих переводов зарубежных, по преимуществу западных, писателей.

Творчество Врхлицкого сложно и противоречиво. С одной стороны, ему принадлежат произведения глубоко демократические, с другой, в его поэзии проявились тенденции, характерные для буржуазного искусства. Творчество Врхлицкого связано с традициями романтиков, в то же время в нем ярко проступают реалистические тенденции. Иногда поэт испытывал влияние буржуазно-эстетской литературы: некоторые его стихотворения, написанные в конце XIX — начале XX вв., носили упадочнический характер.

Врхлицкий начал печататься в начале 70-х гг. Первый поэтический сборник Врхлицкого «Из глубин» („Z hlubin") отмечен некоторым пессимизмом. Однако в следующих сборниках—«Мечты о счастье» („Sny o štěstí", 1876) и др. — поэт преодолевает мотивы уныния и разочарования, воспо-

inslav

вает радость и красоту жизни. В большом цикле поэтических сборников — «Древние сказания» („Staré zvěsti", 1883), «Обломки эпопеи» („Zlomky epopeje", 1886), «Новые обломки эпопеи» („Nové zlomky epopeje", 1894), «Боги и люди» („Bozi a lidé") и других — всего более десяти под общим названием «Эпопея человечества» — Врхлицкий пытался философски осмыслить и отразить весь ход исторического развития человечества. В этих сборниках поэт прославляет Спартака, Джордано Бруно, обращается к теме Великой Французской революции. Его внимание привлекает героическое прошлое чешского народа, образы борцов за свободу — Гуса, Жижки и др. Однако нередко в исторической тематике Врхлицкого привлекала экзотика, яркие личности как таковые. Взгляды поэта на историческое развитие общества отмечены определенным эклектизмом.

Врхлицкий, поэт большого дарования, в своем творчестве разрабатывал самые различные темы. Обращаясь порой к опыту западной поэзии, преимущественно в области формы и сюжета, Врхлицкий никогда не отрывался от чешской действительности, нашедшей отражение в его эпических и лирических произведениях.

К числу лучших поэтических образцов творчества Врхлицкого относится сборник «Сельские баллады» („Selské balady", 1885). Крестьянам, героям освободительной борьбы XVII—XVIII вв., посвящены входящие в него стихотворения: «Рождественская баллада» („Balada vánoční"), «Сельский Отче наш» („Selský Otčenáš"), «Баллада о смерти Яна Козины» („Balada o smrti Jana Koziny") и др.

Оптимизмом и светлой верой в человека проникнуты многие лирические стихи Врхлицкого. В них воспевается красота родной природы, наполняющая человека чувством радости бытия и являющаяся для него источником творческих сил («Чехия» — „Čechy", «Утро» — „Jitro", «Дары весны» — „Dary jara" и др.).

В ряде произведений Врхлицкого остро ставится тема социального бесправия тружеников города. Поэт предчувствует грядущую революцию и с симпатией относится к борьбе рабочих (стихотворения «Рабочие» — „Dělníci", «Труд» — „Práce").

Стихотворения Врхлицкого «Верещагин» („Vereščagin"), «Пушкину» („Hold Puškinovi") и др. свидетельствуют о большом интересе поэта к русской культуре. Врхлицкий — превосходный переводчик произведений классиков мировой литературы: Данте, Тассо, Ариосто, Байрона, Шиллера, Гете, Мицкевича, Петефи.

Развивая традиции национальной литературы, Врхлицкий вводил в чешскую литературу новые формы и размеры. Его творчество оказало существенное влияние на развитие всей чешской литературы.

SELSKÝ OTČENÁŠ[1]

Otče náš, jenž jsi v nebi, ó, slyš! ó, slyš!
zkroušeným voláme hlasem,
za živa že jsme v pekle již,
myslíme, věř nám to, časem.

inslav

Kdo jen může,
dře nás z kůže,
vrchnost je čertem, správce je rasem.

Tvé jméno posvěceno buď,
snad se tak smiluješ přeci,
odvahu vliješ nám v znavenou hruď,
sílu dáš vyhublé pleci.
Jsi otec náš, viď?
Tvé království přijď!
Jsme tu jak hladová ptáčata v kleci.

Hezké to ovšem z faráře úst:
Věčná buď vůle Tvá všady!
Ach, panstvo má věčně jen masopust,
co sedláci zmírají hlady.
Rač to dáti
Tvá ať platí
vůle víc nežli panské vše spády.

Chléb náš vezdejší dnes, vždy nám dej!
To prosba, každý již pláče;
Otčenáš celý v tom, ó, vyslyš jej!
vždyť zrnko si najde i ptáče;
my však v životu
ráno robotu
máme a zvečera — karabáče.

Odpusť nám, čím jsme hřešili kdys,
však čím na nás hřešili páni,
na nebi soudcem nechť věčným tys,
když zde jsme týráni, štváni,
jak zvěř v mdlobě,
jim ni Tobě
odpustit, Bože, nemůžem ani.

Však v pokušení neuveď nás,
bychom na jarmo své zvykli,
zapřeli věčný svobody hlas

inslav

a proti svým dětem se spikli,
by každý slep
zahodil cep,
jak zvěř by v blátě zašli jsme, znikli.

Od zlého zbav nás, ať je to daň,
desátek, žoldák či plamen,
syp zlaté zrní Tvoje nám dlaň,
pánům však na hrdlo kámen;
v okamžení
sedlák změní
celý svět v nebeské království — Amen.

Selské balady, 1885

BALADA VÁNOČNÍ

Vzbouřili se sedláci
proti pánům vráz,
práce již je trmácí,
bolí plec i vaz,
hladem hynou děti, ženy, ba zdá se být otrávený
i ten boží klas.

Vzali kosy, brány, rýč,
motyku a cep,
švihá, zvoní to jak bič
o tu panskou leb.
Jedli dlouho zvěř a pstruhy, a sedlák měl zápas tuhý
o plesnivý chléb.

Panský zámek dobyli,
zapálili věž,
vykradli vše obilí,
krávy, koní spřež,
zrubali vše panskou chasu, nešetřili ani krásu
žen a dívek též.

inslav

Pán se z honu navracel
s chrty, ohaři,
vztek mu divý v duši vjel
a krev do tváří,
utek v zmatku ku sousedu a tam celou svoji bědu
vypsal císaři.

V krátké době trouby jek,
dragouni tu již,
pojímali dobytek,
zapálili chýš,
sedláky pak chytli v hvozdě, na útěk se daliť pozdě —
Bože, ty to víš!

Pláň se táhla bez hrází,
v prostředku strom stál;
vojska tlum sem přichází,
táborem se dal,
dlouho prohlížel tu sosnu, bručel a se ztrácel do snů
starý generál.

„Pěkný strom to! Z daleka
lze jej uvidět,
pověsíme člověka
na každičkou sněť,
sedláci jej v celém kraji odtud pěkně uhlídají,
hoši, k práci hned!“

Stalo se a ve chvíli
přivedli je sem,
každá sněť se nachýlí
smutným břemenem;
v haluzích to sténá, praská. Pane Bože, což tvá láska
opustila zem?

Pětadvacet sedláků
visí dokola!
Pětadvacet přízraků,
každý mrtvola.

inslav

V haluzích to praská, kvílí, haluze se níže chýlí
k zemi dopola.

Děl generál, do boty
strčiv karabáč:
„To trest selské holoty,
co žen, dětí pláč?
Jako svícen strom ten stojí, vánoční to strůmek v chvoji,
pěkný ramenáč!“

Tu děl kdosi ve mraku:
„Já jej rozsvítím!“
Blýsklo se všem ve zraku,
síra, oheň, dým,
temný zvuk a rachot hromu, kvílení a praskot stromu,
rychle, jak to dím.

Celý tábor v plameni,
v moři ohně stál,
útěk, zmatek, úpění,
a strom jasně plál,
mrtvolami obepjatý hořel jako svícen zlatý,
svítil v širou dál.

Prchla noc a hořel zas,
hořel tak dnů pět,
občas náhle v jeho jas
boží anděl slét,
sedlákovu duši vzal, na srdce ji Bohu dal,
jako bílý květ!

Na pasece pusto kol,
popeliště, rum,
ve krajině utkvěl bol,
nevzbudí se z dum,
hruď tvá lidu křivdy cítí, strom však svítí, svítí, svítí
v sny všem tyranům!

Selské balady, 1885

inslav

HRABĚ BREDA

V zlém hněvu hrabě Breda burácí;
daň neplatili jemu sedláci.

Zda nemohli neb nechtěli,
on čeká darmo třetí neděli.

A k poledni zněl návsí bubnů vír
a v drábů středu kráčel mušketýr.

„Pan hrabě to vám činí vzkázání,
že nejvyšší čas dělat pokání.

A zaplatit co dávek, desátků,
neb hrdlo chystat v pěknou oprátku!“

Však marně prchl čtvrtý týden zas
a návsí bubny zní a polnic hlas.

Vojáci kol vsi řetěz splítali
a všecky mladé dívky schytali.

A mladé ženy všecky do jedné
a do zámku je hnali v poledne.

Co bude s nimi? — Jaký osud jich?
A v odpověď zněl mušketýra smích.

„Pan hrabě poslouchat vás vycvičí,
na zámku čekají už holiči.

Ti ostříhají vlasy ženám všem,
by hrabě zkrácen nebyl v příjmu svém.

Co měli vy jste dáti na zlatě,
kštic zlatem nahradí si bohatě.“

A stalo se tak. — Jedna dívka jen
jak vesna sličná, tichá jako sen

se zdráhala — a hrabě povelí:
„Ji ku lepšímu chystám úděli;

inslav

já pro sebe ten zlatý nechám vlas
ty druhé, ostříhané, pusťte zas!"

A stalo se. Noc táhla v tichý kraj.
Ó pane hrabě, dnes tě čeká ráj!

Ta dívka selská, soujem luzných vnad,
v svých vlasů zakryje tě vodopád.

Jí tisíckrát se tobě odplácí,
co dluhují ti ještě sedláci. —

Svit jitra plnou září v pokoj vnik
a dveřmi hlavu strčil komorník.

Pán nezaspal tak nikdy do rána.
Zří k loži — clona jeho strhána.

Zří k oknu — s něho bílý vlaje šat,
zří v lože zas a trne hrůzou jat,

a neví, je to pravda, je to sen —
tam zlatou kšticí hrabě uškrcen.

Selské balady, 1885

ČECHY

Nad velebou Tvých lesů, niv Tvých požehnáním,
nad prostou krásou vsí, nad ruchem starých měst,
když ve radostném plesu šťastný syn se skláním,
Ti chtěje ve kadeř své písně snítku vplést,
proč váhám, proč se třesu, stěží slze bráním?
Já chudý, královna Ty zářné velebnosti,
já dítě vteřiny, Ty paní budoucnosti,
můj věnec ze slov jen, Tvůj z nesmrtelných hvězd!

Na zkvetlém sedíš luhu, o hor příkré svahy
Své moci vědoma se klidně opíráš,
Tvým obrovitým křeslem skal jsou nahé prahy,
kol čela pralesy jak hustý závoj máš;

inslav

u nohou Tvojich v duhu plné svěží vláhy,
kam oko pohledne, se vlní klasů moře
až v obzor modravý, kde ruku hora hoře
jak v tanec podává — Tvá neproniklá stráž!

Tvá říza stříbrem tkaná, to jsou Tvoje řeky,
jak ženou v poskoku se vrchů přes bradla!
Z Tvých ňader tato manna pramení se věky,
by v život věčný zas Tvá krása omladla,
z nich každá k Tvojí kráse nové nese vděky:
ta perly bohaté Ti tká do rusých vlasů,
ta hvězdy stříbrné do zlata Tvojich klasů,
Tvé krásy báječné jsou zářná zrcadla.

Jak drahokamy třpytné rybníky Tvé planou
ve bujné zeleni bříz, olší, starých vrb,
přes Tvoje pláně žitné vánky tiché vanou,
Tvůj dech to blahostný! — A v chatkách svítí krb,
a staré, milé zvěsti s báby retů kanou,
vše k sobě tulí se. — Z vod venku vstává pára,
a z lesa kolouchy laň k pastvě vede stará,
a jak Tvůj diadém se blýští luny srp.

Pak vidím v slunci dřímat valné Tvoje lesy,
skřek ptactva v mraku, slyš, a zvěře v houšti řev,
na kraji blíže lesa v pestré květů směsi
v sluch z louky zaznívá sekáčů hovor, zpěv,
jak v ohlas žežhulice ozvala se kdesi...
Tam zní klepání kos, a tam svou brázdu táhne
dál trpělivý vůl, rád ve jhu šíji nahne,
a v povel oráče zní veselý smích děv.

Tvá města ať jsou skryta pod vrchů Tvých štítem,
na pláni veselé ať řekou věnčena,
směs oken jejich vítá chodce vlídným třpytem,
sta bájí povídá jich ulic ozvěna,
když měsíc se jim vplítá do starých štítů svitem,
vždy kouzlí před zraky Tvou minulost, ó matko!
Slyš, bije půlnoc již! — Jak ticho a jak sladko,
až vniká pod brvy mně slza plamenná!

inslav

A srdce Tvého srdce — divuplná Praha!
Ó, kdo by neslyšel v ní Tvého žití tep?
To klenotnice, kam vždy ruka Tvoje sahá
pro hávu svého šperk i ducha svého chléb.
Ó jásej, matko, pohleď, roste a se vzmáhá!
jak přeplněná číš vře žití jarým ruchem,
je v skutku srdcem Tvým, Tvým dechem a Tvým duchem;
kraj rukou dělnou jest, myslící ona leb.

Zde nelze za zlé míti chvějící se ruce,
když závoj dějů Tvých odhalí na chvíli,
ač ve pohnutí divém ňadra bouří prudce;
Tvé kvítí budoucna vše pučí z mohyly,
Tvá každá radost byla stopena vždy v muce.
Leč žiješ, doufáš zas, jsi nové síly plna,
a Tvojím vzkříšením zní hory, luh i vlna,
a nadějí Tvých květ plá čistý, spanilý!

Z Tvých dávných hradů zbyly ovšem zříceniny,
jež patří posupně z tmy lesů v světlý kraj,
v nich pouze vítr kvílí, plaší černé stíny,
mech hubí kamení a zapomnění báj;
však v městech, vsích ruch čilý, život nový, jiný,
tam otců minulost je símě, z něhož klíčí
žár v srdce pravnuků, jenž poroby jho zničí
a Tebe, matko má, si vzdělá na svůj ráj.

Ó země slzí, krve, myšlenek a činů,
v Svém velká bohatství a větší v pádu Svém,
ó, s čela Svého shrň již těžký závoj stínů,
a staré slávy Své si přitkni diadém!
Věř v lásku dcer Svých, matko, zmužilost Svých synů!
Hle, v prvním nadšení a s bouřným srdce plesem
Ti myšlenky a krev, Ti sny a skutky nesem,
bys šťastna byla zas a velká, všichni chcem!

Nuž, odhaliž nám Svoje všecky luzné krásy:
Svých lesů tišiny, Svých řek a jezer třpyt,
ať ve pohledu na Tě zvlhnou naše řasy
a s plesem, radostí se snoubí žárný cit,

inslav

Tě přes klamy a boje vésti v přístav spásy!
Tvou krásu, velikost ať oceníme zcela,
ať prací s šíje kruh a písní vrásky s čela
Ti, matko, shladíme, byť los náš proto — mřít!

Ty povzneseš v lesk slávy královské Své témě
a velká bohatstvím a zkvětlá úrodou,
zas budeš Karla, Husa, Žižky volná země,
zas vůní prodchnutá a zpěvy, lahodou.
Pak věřím, že v hrob tmavý po letech k nám jemně
zvěst dojde, divý ples procitne v našem prachu,
že trůníš v moci Své, ve staré slávy nachu,
ve lásce dětí Svých, jsouc silna svobodou!

Tu víru posud v hrudi, klenot vzácný, máme,
že lepší zaplane Ti jednou budoucnost,
že synů dav se zbudí, Tvoje pouta zláme,
v Tvůj vínek zasadí zas nové slávy skvost,
a Blaník otevře se, věštba neoklame!
Již jede kníže Tvůj, nad jeho hlavou vlaje
ta stará orlice a v ústret jemu plaje
sta ohnů zářících jak hvězdný k slávě most!

Zlomky epopeje, 1886

NAŠI ŘEČI

Ty v „Hospodine pomiluj ny“ svatá,
ty věčně živá v písni Václavově,[1]
ty studno něhy, krásy v každém slově,
ty nehasnoucích vznětů výhni zlatá!

V husitské písni bleskem bouře vzňatá,
ve vzletu orlím a ve síle lvově,
ty žalující v dumě Kollárově,
ty slz a krve číši vrchovatá;

inslav

ty jak noc tmavá, jak den mnohobleská,
jak žula tvrdá a jak chleba měkká,
ty drahá, svatá, zářná řeči česká;

křte ohnivý a sladkých zvuků lázni,
ty ptáku, vílo, oři, věkověká
ty sfingo, jakou chvím se o tě bázní!

Hlasy v poušti, 1890

TICHÁ LÁSKA

Nikdy slovem nevyzradím,
co spí v srdci přehluboko,
dost na tom, když v chvíli štěstí
mluví tvář a mluví oko.

S divým jekem prázdné škeble
vlna hází na pobřeží,
ale v srdci jako v moři
pravé perly na dně leží.

Sny o štěstí, 1876

EKLOGA

V aleji, která stmělý park střeží,
co asi leží žlutého listí,
a padá stále, jako když sněží,
jako když hvězdy se čistí.

V pole a lada padá a padá
a s pole stáda jdou v davu —
zdá se, že vidíš, jak země žádá
do listí složit mdlou hlavu.

Přes nivy k lesu pavučin sítě
po zvadlém vřesu zlehka se nesou,
zde s tebou chtěl bych stát, moje dítě,
když nebem hvězdy se třesou:

inslav

Dívat se v lesy, kterak v nich zima
číhá a zdvíhá mlh clony,
dívat se v oči tvé, kterak v nich dřímá
příští máj sladký a vonný!

Eklogy a písně, 1877—1879

JITRO

Mhu rozhrnulo a se na svět smálo,
na řece ve stříbrných jiskrách hrálo
a mládí úsměv tkalo skalám v čela
a jeho píseň z hnízda pěnkav zněla
i z bučení, s nímž stádo táhlo k vodě.
Vše bylo v klidu, tichu, jasu, shodě,
a bílý oblak podobu měl člunu,
v němž přijelo, když noc ve hvězdnou runu
se ztajila, by jemu ustoupila.
Teď zavál vítr a v něm dula síla
a svěžest, odvaha a probuzení.
U cesty polní kvítí stříslo snění.
Zaplálo jasně okno v každé chatce,
a skot i mravenec zas do své práce
se pustili, a rybák, na udici
jenž lovil, prutem škub a míhající
se rybu držel, jež se perlou bleskla.
Kdes v úžlabině kukačka si steskla.
Kouř chat byl zlatý. Hloh plál na rozcestí,
a svět byl mladost, láska, ples a štěstí.

Jak táhla mračna, 1885

HOVOR NA MOŘI

Já pravil k ptáku: Cestou dlouhou,
kde neví zrak můj, kam by kles.
kam uletěl jsi s mojí touhou?
A on mi řekl: Do nebes!
Já pravil k vlně: Dcero moře,
hned samý jas, hned samý stín.

inslav

kam pohrobilas moje hoře?
A ona řekla: Do hlubin!

Já pravil k větru: Plachý hosti,
jenž všeho tkneš se v přeběhu,
kams odnes tíž mé minulosti?
Děl: Ta zůstala na břehu!
Jsi zase volný, šťastný, mladý,
děl západ temně nachový—
Ne, vzdych jsem, vleku s sebou všady
své vlasti těžké okovy!

Dědictví Tantalovo, 1884—1887

TY ANI NEVÍŠ...

Ty ani nevíš, jak tvá malá ruka
nás vede žitím stále k dobru jen,
jak něhy poupě tebou v růži puká,
jak láskou začíná a hasne den!

Ty ani nevíš, jak tvé oko vlídné
chlad stinný hází v úpal našich cest,
jak smavá jitra, večery jak klidné,
jak dlouhé noci máme plny hvězd!

Motýli všech barev, 1883—1887

DARY JARA

Co dává jaro? — Hrst měkkého peří,
by mohli ptáci vystlat hnízdo svoje,
a lístky s květy hlohovému keři
a vlnám jisker tancujících roje.

A srdcím, v kterých děs a nuda leží,
dech lásky boží hřející a svěží.

A srdcím, v stínu pro krásu jež pláčí,
když hymnu ne, tož aspoň trylek ptačí.

Moje sonáta, 1889—1892

inslav

JEN KRÁTKO!

Když kvete hloh, tu ostrý vítr fičí,
snad vzpomínka to na zimu, jež byla,
stráň přeletí a třese petrklíči,
než v slunci by se celá roztavila.

Zní první hrom, fialka tratí vůni,
snad příští zima ti již stojí u ní,

Jak, bože, Vesny doba krátká jestl,
jak vzpomínka, jak polibek, jak štěstí!

Moje sonáta, 1889—1892

VĚČNÉ ŽITÍ

Když v dlouhé pouti žitím aspoň jedna
se duše zahřála na tvojí duši,
pak žil jsi dost — byť stále v mrázu ledna,
pak žil jsi dost — byť v zapomnění hluši.

Tu, kterou potěšils, byť jedna pouze,
tu políbil jsi v srdce, vřele, dlouze,

že ještě v hrobě polibek ten cítí
a myslí, její sen že stálé žití.

Moje sonáta, 1889—1892

ZA TROCHU LÁSKY...

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu — ale v duši věčný máj,
šel vichřicí — však slyšel zpívat kosy,
šel pouští — a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj,
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

Okna v bouři, 1892—1893

inslav

BÁSNÍK A MOŘE

Co chceš, pěvče, se svou bouřnou hymnou?
Myslíš snad, že lidé si jí všimnou?
Moře viz! To vidí-li den ke dni,
s divy všemi stejně jest jim všední.
V slunce jasu i ve větru šlehu
lhostejní po jeho chodí břehu.
Ty a moře! — Jedno vlnobití!
Ty pět musíš, ono musí hřmíti!

Kniha sudiček, 1875—1895

SLOKY

Ó, pamatuj na ono odpoledne,
vzduch parný byl a mračilo se nebe,
my spolu, ptáče ku ptáku jak sedne,
si v tichu řekli: Vždyť máme jen sebe!

Je láska halíř často bez soucitu
do cesty zašlapaný, kdo jej zvedne?
Tys usmála se v prvním bleskném svitu...
Zřím stále ono dusné odpoledne.

Teď léta prošla, starost přišla mnohá
a všednost života nás oba střebe,
již prchá mladost, my nemáme Boha,
teď pamatuj, že máme jenom sebe!

Kniha sudiček, 1875—1895

VEREŠČAGIN[1]

Krev, hroby v sněhu, lebek celé stohy;
to děsné víc než krásné, řekne mnohý,
však pravdivé to, dějin soud zas řekne,
a člověk dvacátého věku lekne
se toho barbarství, jež bez záchvěvu
v ten štětec kladlo barvy msty a hněvu.

inslav

Ó lidstvo, kletba tvá to neustálá,
po muse Danteho a Juvenala
zde nový soudce vstává, chvěj se v křeči;
on mluví v hrozné, kárající řeči
všem přístupné a bez všech komentárů.
Krev tvoje v horkém, kouřícím se žáru
se hlásí v tobě a o lidskost prosí,
o smilování. Zdraní lidé bosí
o hladu hynou ve závějích sněhu!
V nich trpíš ty — a věru nemá břehu
to moře útrap tvých! Ty obra krokem
jdeš veliké nad věků tmavým tokem,
ty stále konáš velkou práci ducha,
leč k vlastní krvi duše tvá je hluchá,
ty, hotovo vše v oběť velkou klásti
nemůžeš upíra si s týla střásti,
jenž dusí, dáví tě a krev tvou střebe,
až země mokvá jí a rudne nebe,
ty války, hydry, nejsi s to se zříci.
Ó hrozná metlo! Hodná trestající
té epopeje krve, lebek, hnátů.
Zde rub je, lidstvo, tvého majestátu,
věk vynálezů, osvěty a snahy
v svém lůně živí, odchovává vrahy!
Jen umělec má odvahu a sílu
ti říci, lží jsou slzy krokodilů
jež humanita roní, žert jen holý
jsou tvoje nemocnice, chrámy, školy,
lží všecko, co tvou vzdělaností sluje,
když válka jest, kterou on zatracuje!

Sfinx, 1883

HOLD PUŠKINOVI

Jak do zamlklé stepi třesk by mocný hrom,
tvůj zazněl zpěv, ký život jásal v zvuku tom!
Co krásy, něhy, síly! Však v tom Tvůj genius,
že řekne-li se Puškin! — slyšíme: Celá Rus!

1905

inslav

PRÁCE

příteli B. Šimáčkovi

Po břehu kráčel jsem, den šerý, stmělý...
tam strhanou hráz znovu naváželi.
Loď těžká, nemotorná za provazy
a řetězy k té jata byla hrázi;
přes úzká prkna, zřícením jež hrozí,
jež dosti vratké podpíraly kozy,
na kolečkách byl dovážen sem kámen,
a vzmachem svalnatých a silných ramen
vráz dolů svržen, hráz kde protržena.
Jak výstřel opáčila lomu stěna
ten kolečka zvrat každý v těžkém hřmotu.
Bez kazajk muži, skráň i prsa v potu
vždy k lodi vraceli se, s novou tíží
zpět jeli a zas nový náklad hříží
se v trhlinu té pobořené hráze,
chví prkna se i kozy v rovnováze,
loď ani zpola vyprázdněna není.
A znova kol zní ruch a třesk a hřmění,
jak v řeku hrubé kamení se hrne.
Sem, kladivo! Sem, rýči, a sem, drne,
vše ucpat skuliny! To tuhá práce,
než pískem všecko zasypáno hladce
a stmeleno, by z jara ve vln jeku
zas mohlo vzdorovati bouří vzteku.
Má noha až tu za rok kráčet bude,
rmen uzřím zde, slzičky kvítko rudé,
much bzukot uslyším a včel ruch plesný
a nepomyslím víc, ký zápas děsný
tu člověk s živly podniká a stále,
než urve vlnám každou píď i skále,
než na ně vítěznou svou stopu vtlačí.
Co mžikem poboří spár vlny dračí,
dny práce stojí, námahy a potu.
A já jsem chápal lásku ku životu,
jež tím jen trvá, vytrvat že umí.

inslav

Mně novou hudbou stará řeka šumí,
a dělníkům v jich hrubé práce ruchu
já tisknul dlaně mozolité v duchu.

Skvrny na slunci, 1897

DĚLNICI

Ten dělník perem i ten dělník dlátem
máj první vítá v zanícení svatém,
ten v pochyb mlze a ten v dílny šeři
na příští věčné jaro lidstva věří,
na okovů všech velké ztroskotání,
na vítězící slavnou chvíli ranní,
kdy naplní se obou snové sladcí,
kdy velké bude jen, co velké prací.

Překročen zenit, 1898—1899

inslav

ALOIS JIRÁSEK

АЛОИС ИРАСЕК

(1851—1930)

Творчество Алоиса Ирасека, превосходного мастера жанра исторического романа и повести, сыграло большую роль в общественной и литературной жизни Чехии. Оно продолжает звучать и быть действенным и сегодня.

«Мы строим наше народное государство как наследники традиций Табора и национального возрождения. Именно поэтому мы обращаемся к Ирасеку, он близок нам, он ближе нам, чем старому, капиталистическому обществу, потому, что в своем творчестве он мастерски показал, какие наши традиции ведут вперед, к свободе и расцвету нации. Его произведения учат нас правильному пониманию нашего прошлого, они укрепляют наше национальное самосознание и наполняют нас историческим оптимизмом и верой в творческие силы народа» (К. Готвальд).

Ирасек родился в селе Гронове Находского края северо-восточной Чехии. Отец его, владелец небольшой пекарни, происходил из семьи потомственных сельских ремесленников-ткачей. Окончив в Градце Кралове гимназию, Ирасек решил посвятить себя изучению истории. В 1872—74 гг.

inslav

он учился в Пражском университете, работал в архивах. В эти годы появляются первые произведения Ирасека — стихи и «Горные рассказы» („Povídky z hor"), в которых, продолжая традиции Немцовой и Галека, писатель сочувственно изображает горькую судьбу крестьян родного края в период ломки феодальных отношений. В это же время он создает свой первый исторический роман «Скалаки» („Skaláci", 1875), в котором ярко изображено крестьянское восстание 1775 г.

После окончания университета Ирасек поехал в г. Литомышль, где преподавал историю. Там он создал ряд произведений, в основу которых легли события из революционного прошлого города. Лучшим из них является повесть «Философская история» („Filosofská historie", 1877), в которой писатель с глубокой симпатией изображает участников революции 1848 г. и высмеивает трусливых лжепатриотов-буржуа.

С 1888 г. Ирасек живет в Праге, сочетая педагогическую деятельность с большой творческой работой. 90-е годы XIX в. — 900-е годы были периодом подъема национально-освободительного и рабочего движения, периодом борьбы за всеобщее избирательное право. К этому времени творчество писателя достигает своего наивысшего расцвета.

Общественные взгляды Ирасека были связаны с настроениями трудового крестьянства. В лучших своих произведениях писатель объективно поднимался до признания необходимости революционной борьбы народа. Однако следует указать на ограниченность мировоззрения Ирасека, который стоял в стороне от революционного рабочего движения, верил в возможность мирного сотрудничества всех классов в рамках Чехословацкой республики и не понял исторической роли рабочего класса, а отсюда и значения русской социалистической революции.

В своем творчестве Ирасек отразил важнейшие этапы чешской истории, периоды подъема революционной активности народных масс, осветив их с прогрессивных позиций. Писатель правильно оценивал общественное значение своих произведений. «В цепи жизни звенья настоящего связаны со звеньями прошлого. И не все, что было, мертво. Борцы ушли, но борьба осталась».

Показывая, что народные массы были движущей силой истории, писатель сделал их основным героем всех своих произведений. Ирасек создал жанр романа-эпопеи, в котором дается всеобъемлющее полотно жизни народа в ту или иную историческую эпоху. Его романы характеризует богатство сюжетных линий, динамика повествования. Ирасек — большой мастер в обрисовке массовых народных сцен. Произведения его отличаются большой достоверностью, основанной на прекрасном знании исторических источников. Ирасек создал конкретные и типичные образы положительных героев, борющихся за светлые идеалы свободы и справедливости.

Древнейший период чешской истории писатель раскрывает в «Старинных чешских сказаниях» („Staré pověsti české"), возникших на основе народных легенд и преданий. В сказаниях живут и борются, страдают и надеются легендарные герои далекого прошлого Чехии.

Важное место в творческом наследии Ирасека занимают его романы о крестьянских восстаниях: «На дворе воеводы» („Na dvoře vévodském", 1877), «Псоглавцы» („Psohlavci", 1884), «Скалы» („Skály", 1886), а также

inslav

упомянутый роман «Скалаки». В этих произведениях писатель показывает, что даже в годы побелогорского рабства и «тьмы» чешский народ не смирился, но, сохраняя лучшие традиции гуситства, гордо и мужественно боролся со своими поработителями. Ирасек всей душой на стороне крестьян, расправлявшихся с панами силой оружия. К этим романам тематически примыкает созданный в 1913—14 гг. роман «Тьма» („Temno").

Работа над романами, посвященными крестьянским восстаниям, подготовила Ирасека к созданию произведений о гуситском движении, которые явились откликом писателя на революционные выступления народа в конце XIX — начале XX в.

Романы-эпопеи «Между течениями» („Mezi proudy", 1887—1890) и «Против всех» („Proti všem", 1893), роман «Братство» („Bratrství", 1899—1909), пьесы «Ян Жижка» („Jan Žižka", 1903), «Ян Гус» („Jan Hus", 1911), «Ян Рогач» („Jan Roháč", 1914) и др. посвящены гуситскому движению, которое писатель правильно трактует как антифеодальное, антикатолическое и национально-освободительное движение чешского крестьянства, городской бедноты, ремесленного люда. В романах, рассказах и пьесах Ирасека дана вся история гуситского движения от его возникновения (роман «Между течениями») до последнего его этапа в Словакии (роман «Братство»). Наиболее значительным является роман-эпопея «Против всех», в которой писатель отразил период наивысшего размаха гуситского движения: создание Табора, военные победы гуситов, борьбу «против всех» — феодалов, католической церкви, иноземных захватчиков. Образы народных воителей-гуситов и их полководца Яна Жижки отмечены духовной красотой и благородством.

Эпоха чешского национального возрождения нашла свое отражение в пятитомном романе-эпопее «Ф. Л. Век» („F. L. Věk", 1888—1906) В ярких образах и картинах из жизни Чехии на рубеже XVIII—XIX столетий писатель показал, что национальное возрождение развивалось на основе не умирающих в народе гуситских традиций, что возрождению способствовали идеи Великой Французской революции и разгром русскими наполеоновской армии. В романе изображена любовь чехов к русским, их вера в дружбу и помощь великого славянского народа. Жизнь чешской деревни конца XVIII — начала XIX века воссоздана Ирасеком в четырехтомном романе-хронике «У нас» („U nás", 1896—1903). Как в первом, так и во втором романе писатель нарисовал целую галерею деятелей чешской культуры той эпохи, так называемых «будителей».

Ирасек сыграл большую роль в развитии чешской реалистической драматургии, чешского театра как своими историческими, так и бытовыми («Отец» — „Otec", «Фонарь» — „Lucerna", «Войнарка» — „Vojnárka" и др.) пьесами.

Чешское буржуазное литературоведение извращало смысл творений Ирасека, пытаясь уменьшить его популярность в народе. З. Неедлы, лучший знаток литературного наследия писателя, начал «борьбу за Ирасека» еще в конце прошлого века.

Особое звучание творчество Ирасека приобрело в народно-демократической Чехословакии, где оно тщательно изучается и широко популяризируется.

inslav

PSOHLAVCI

«Псоглавцы» — один из лучших романов Ирасека, посвященный восстанию ходов в XVII веке. Ходы — крестьяне Южной Чехии — с давних времен несли пограничную службу. За это чешские короли даровали им некоторые привилегии: ходы не знали крепостных повинностей, могли свободно охотиться в родных лесах, имели право внутреннего самоуправления. После Белогорской битвы ходы были переданы в собственность имперского советника Ламмингера и все их привилегии были отменены. Но гордые свободолюбивые ходы не смирились. Несмотря на преследования Ламмингера, они свято хранили дарованные королями грамоты, видя в них подтверждение своих прав, своей свободы.

Главный герой романа Ян Сладек, по прозвищу Козина, — историческое лицо, ставшее впоследствии легендарным. В основу сюжета положены события, связанные с борьбой ходов против Ламмингера за сохранение своих привилегий. Несмотря на то, что эта борьба кончается разгромом восстания и казнью Козины, роман звучит как глубоко оптимистическое произведение, утверждающее борьбу народа за свободу.

В VI главе рассказывается о мужестве и стойкости Козины и его матери, которым удалось сохранить самые важные королевские грамоты; остальные были насильно отняты у ходов и уничтожены.

VI.

Nebylo to vojsko, jak hlas oznamoval, ale jen houf jezdců, kyrysníků. V čele jejich jelo několik pánů, patrně důstojníků, v bělavých pláštích. Na hlavách neměli jako mužstvo hřebenaté přílbice, než černé klobouky třírohé, zlatem premované. Přijížděli od Domažlic. Že tam však žádné posádky nebylo, každý snadno uhodl, že jsou z posádky plzeňské.

Hned jak houf do vesnice vjížděl, oddělovali se jezdci jednotlivě i po dvou od něho a zajížděli do průhonů i mezi stavení, obsazujíce každý východ ze vsi. Ostatní pak zarazili na návsi nedaleko rychty. Již prve poplašilo těch několik kyrysníků všechen Oujezd, pohnutí všech vzrostlo valem novou, nečekanou návštěvou. Šum a hluk četného zástupu před rychtou umlkl náhle, když přibylí jezdci na daný povel najednou a rázem vytasili své palaše. Jak kovové pochvy zařinčely, jak nahá zbraň vzduchem se zableskla, v zástupu jako by uťal. Ženy hleděly ustrašeně, muži zamlkli pochmurně.

Jak přední dva důstojníci s koňů slézali, ozval se v lidu výkřik, živý výraz úžasu: „Uj, hin teky Tranovský pán!“

inslav

Sotvaže se zraky všech na ten hlas udaným směrem obrátily, někdo jiný zvolal: „Ha ten správčí Koš zez Kúta!“

Věru sám Maxmilián Lamminger, svobodný pán z Albenreuthu, toho času hejtman kraje Plzeňského. Dva vyšší důstojníci ubírali se po jeho boku a za nimi správce Koš. Pán Chodů, muž postavy prostřední, asi padesátiletý, kráčel s hlavou vztyčenou, jistě a pevně; bledě modré, chladné oči jeho hleděly jako lhostejně, ale pozorně na shromážděný lid. Chladný vítr povíval zlehka jeho pláštěm s ramenou volně visícím i hojnými kadeřemi zarudlé barvy v jeho alonžové paruce.

Trhanovský správce chvatně a přísně poroučel davu, aby se rozestoupili a cestu uvolnili. Lamminger kráčel zamlklým lidem, hledě před se; u samých dveří setkal se jeho zrak s pohledem jiskrným, ale zamračeným, jenž na jeho přibledlé, pihovaté tváři pevně utkvěl.

Mladý sedlák statné postavy, maje hlavu bílým šátkem zavázanou, na něj se tak podíval. To nebyl zrak bojácného, ustrašeného robotníka, ale hrdý pohled svobodného, sebevědomého muže. Lammingerovy běložluté řasy bezděky prudce zamrkaly.

V ten okamžik, jak šlechtic s důstojníky vstupoval do síně, dudák Jiskra Řehůřek přitočiv se k Přibkovi, jenž stál vedle mezi dvěma kyrysníky, ukázal po zarudlých kadeřích trhanovského pána, ušklíbl se a pravil:

„Pánbůh ho nadarmo neznamenal.“

„Každá šelma svůj cejch má,“ odvětil Přibek zkrátka a suše. Vtom poroučel trhanovský správce surovým hlasem oběma Přibkům, mladému Kozinovi a několika sedlákům, nejstarším ze vsi, kteří tu stáli již vybráni, aby vstoupili do světnice. Kozina než vešel, se ohlédl; zrak jeho hledal ženu a děti. Spatřil ji bledou, uplakanou.

Tlačila se za ním, a div, ten trhanovský správce, jenž zůstal u dveří, ji pustil, i starou matku s dětmi, i ženy všech těch, kteří zavedeni byli právě do rychtářovy veliké světnice, i mladou Přibkovu Manku směle až sem se protlačivší.

Zraky všech utkvěly na pánech, kteří stanuli, pláště odloživše, v rohu u velikého rychtářského stolu vyřezávaných trnožův a vespolek živě přitlumeným hlasem hovořili.

Mezi důstojníky v bílých kabátech a v červených spodkách lišil se Lamminger v rudém kabátě širokých tuhých šosů, lesk-

inslav

noucím se vpředu portami i zlatým vyšíváním. Vpravo od pánů, kteří všichni měli vysoké jízdecké boty, stanul koutský správce Koš, jenž tu kvůli vrchnosti sňal svůj klobouk s hlavy. Na správcově postavě i na všem jeho chování bylo viděti, že to starý voják. Tomu také nasvědčovala tmavorudá široká jízva nad pravým okem, kterou si odnesl památkou na bitvu pod Vídní, když tam před devíti lety pomáhal ve vojsku Leopoldově porážeti sílu tureckou.[1]

Poblíže zavedených sem Chodů, o samotě však, stál Jiří Syka, rychtář, „prokurátor", jak mu říkali; pozoroval chytře pány po očku, i otáčel vlasatou svou hlavou po ostatních krajanech. Jiskra Řehůřek, jenž stál v pozadí, dobře pozoroval, že rychtář opatrně a pomaloučku opouští své stanoviště a že se snaží, aby se dostal ke svým, kterým snad chce něco napověděti nebo pošeptati, že však velikou překážkou v tom je mu hlídka, hranatý kyrysník v černém pancíři, držící obnažený, mohutný palaš.

Staří sousedé násilím sem zavedení hleděli na pány upřeně, někteří ne bez zaraženosti. Většina však sice chmurně, ale klidně očekávala, co nastane, zvláště Matěj Přibek, jenž všechny o hlavu převyšoval. Hůře bylo starému otci. Kmeta stání namáhalo a sednouti si nebylo možná. Jedinou úlevou byla mu mohutná, stará čekana, o niž se žilovité jeho ruce opíraly.

Jen mladý Kozina byl nějak nepokojný; tu na pány zraky své upřel, tu na Syku, a hned se zas ohlédl, pak hlavou zakýval, ne na ženu, ale na matku. Zpozorovala a dotlačila se až k němu. Vtom jak pánové ustali v hovoru, začal koutský správce Koš na pokynutí svého pána hřmotným hlasem, úsečně sedlákům čísti z nějaké listiny.

Stará Kozinová však prvních slov jeho neslyšela. Bylať v ten okamžik jako vyjevena. Několik slovíček synových ji tak vzrušilo.

„Mámo, páni nejdú pro mne, hale pro majestáty," šeptem a chvatem jí pověděl. „Dobře jste je hukrýli?"

To řekl a více nic. Stará Kozinová však měla toho dost.

On ví, že jsou majestáty u ní! Kdo mu to řekl? Syka jistě ne. Tedy je pozoroval tenkráte. A mlčel, jako dub mlčel. Až teď — že má o ně strach — Ty myšlenky mihly se šedou hlavou staré Chodky. „Co dělat, co myslí?"

inslav

Zrak její pln úžasu tkvěl na statném synovi. On však se již neobrátil, ale pozorně naslouchal, co Koš, stoje zrovna jako sloup, přísným hlasem předčítal. Ve světnici panovalo hluboké ticho. Koutský správce připomenul, že po ohavné a zuřivé rebelii selské před dvanácti lety vydán byl nejvyšší patent, kterým byly všechny výsady a privilegie před tím povstáním vydané zrušeny a zkasírovány, protože všecky spory a soudy poddaných s vrchností skrze tyto svobody a privilegia vznikly a původ svůj měly. Nicméně že tu tam, jakož i v těchto chodských vesnicích, psaných těch práv, ačkoliv už neplatných, nevydali, jsouce toho bláhového domnění, jako by jimi ještě něco mohli vyříditi, ano že, jakož se právě v této vesnici stalo, mnozí robotní lidé násilí se dopouštějí a ruky své na ouředníky Jeho Milosti urozeného pana Lammingera, hejtmana kraje Plzeňského, nanejvýše trestuhodným způsobem vztáhli, na stará práva a majestáty se odvolávajíce.

Nicméně že Jeho Milost v laskavosti své a milosti ráčí pro tentokráte odpustiti vzpurným a zapomenuvším se Janu Sladkému, nazvanému Kozinovi, a těm, kteří mu pomáhali, že však jakožto hejtman kraje Plzeňského ve jménu nejmilostivější vlády přísně nařiditi a poroučeti ráčí, nabyvše toho přesvědčení, že jen ta domnělá privilegia toho byla příčinou, aby tyto jmenované majestáty a pergameny, kterých nikde jinde, jak vyšetřeno, jen tu v Oujezdě, aby všechny do jednoho bez průtahu a dobrovolně byly vydány, jinak že mocí svého úřadu všechny neposlušné a odporné donutí a co nejpřísněji potrestá. — Praviče Košova, rozkaz ten držící, poklesla. Správce upřel své pichlavé oči na sedláky, jako by se chtěl přesvědčiti, jak slova jeho účinkovala.

Lamminger jakoby lhostejně naslouchal, přehlížeje přitom chladně Chody před ním stojící. Častěji však než na kohokoliv z nich upřel svůj zrak na mladého Kozinu jehož pohled se ho prve tak dotekl.

Jakmile Koš dočetl, nastalo na okamžik hluboké, mrtvé ticho. Účinek čteného rozkazu byl patrný. Ti, které prve vojsko, řinčení obnažené zbraně i důstojníci s krajským hejtmanem tak nenadále se zjevivším zarazili, upřeli zraky s úzkostným napětím ke stolu, k trhanovskému pánu.

Kozina však ohlédl se po Sykovi, jako by čekal, že „prokurátor“ se ozve. Ale ten mlčel. Mladý hospodář dlouho se nerozmýšlel a promluvil:

inslav

„Tuto je pravda, co pan správčí čtali, že jsem se rval s panskými pacholky i se správčím, hale správčí káceli mi znamenanú lípu, ha tu jsem bránil ha bránit mušel. Co jsem na svý nohy stál, bula hinta lípa kozinovská, teky za nebožtíka táty, dědka, ba i pradědka, jak tuti staří dobře vedí. Proto děkuju za milost, hale já jsem se neprovinil. Ha vo tutich majestátech — šak páni sami dobře vedí, že ešče platí. Platí ha budú platit, protože vo tý selcký rebolucí my Chodováci buli jsme ticho, hani jsme rukú nehnuli, ha tak tuten rozkaz zez Vídně neplatí vo našich právích, hale jen v tich vsích v kraji, hde se sedláci búřili."

První slova pronesl Kozina zvolna, jako by je hledal nebo váhal je promluviti; ale pak se mu rozproudila řeč přirozenou výmluvností a mluvil živě, s přesvědčením. Na lících proskočil mu ruměnec a oči se mu leskly. Odpověď jeho více teď působila nežli ten ostrý hejtmanův rozkaz, který byl Koš přečetl. Na prsa přítomných Chodů velikou tíhu uvalil, než Kozinova řeč všem uvolnila, mračno rozehnala. Syka pln úžasu upřel oči na smělého mluvčího, kteréhož do dneška neměl za hodna důvěry ve věcech vážných. Starý Přibek pokyvoval bílou hlavou, syn jeho ušklíbnuv se pohlédl se správce na Lammingera, jako by říci chtěl: „Nadarmo ta chytrá léčka, nepůjdeme do tenat!" Ostatní pak, kteří hlavy věsili, vztyčili je.

Ale běložluté řasy Lammingerových očí zase prudce zamrkali a nezakryly pohled, jenž zasvítil prudkou zlostí. Oba důstojníci nemálo překvapení pohlédli se smělého řečníka na krajského hejtmana.

Ten ovládnuv nejprudší své pohnutí, promluvil: „Slyšeli jste nejvyšší rozkaz. Radím vám, abyste poslechli. Kdo neuposlechne, bude pokládán za rebela a buřiče; podle toho bude s ním naloženo, a dobře víte, jak zatvrzelí buřiči byli nedávno potrestáni."

Na přízvuku jeho bylo znáti, že český jazyk není jeho mateřštinou. Domluviv několik těch slov, pokynul správci Košovi a ten jal se jednoho po druhém z Chodů vyptávati, ví-li o majestátech a kde jsou. První, stařeček napolo slepý, odvětil:

„Milosti, nevím."

Zrovna tak druhý, třetí, a rovněž starý Přibek odpověděl. Pak došlo na jeho velikého syna. Klidně pohlédl správcovi do zarudlé, rozhněvané tváře a pravil: „Nevím, ha kdybych teky veděl, mlčil bych."

inslav

Správce, zaklev polonahlas, stanul u mladého Koziny a usmál se posupně, když i ten své „nevím" rozhodně pověděl, jakož pak i poslední — rychtář Syka.

Lammingerovo pihovaté líce pobledlo. Oba důstojníci neústupností sedláků popuzeni jali se k němu polonahlas, zprudka promlouvat. On však, postoupiv něco málo vpřed, promluvil hlasem už se třesoucím: „Ty své staré papíry a pergameny přece vydáte, ale až bude pozdě, až poslední halíř a sousto vezme vojsko, které tu zůstane, až vy všichni, co tu stojíte, budete v železích a jeden z vás nebo dva na šibenici!"

Pohlédl na mladého Kozinu, který ani teď očí svých před pánem nesklopil.

Lamminger domluviv, pokynul vojákovi, aby podal plášť, a řekl pak správci Košovi hlasitě již na odchodu:

„Teď konejte svou povinnost, máte plnou moc."

Stará Kozinová toho všeho již neslyšela ani neviděla. Prve, hned jak správce Koš jal se čísti o těch majestátech, odevzdala Pavlíka jeho matce, a proklouznuvši vojáky a lidem, brala se chvatem domů do statku. Za drahnou chvíli pak, když se zase vracela, potkala u samých vrat Řehůřka Jiskru, jenž vrazil do dvora jako divý.

„Co se díje?" ptala se stařena.

„Zle je. Syka mi chtíl něco povědět, hale nebulo možná. Jen tulik jsem zaslech, že budú ve statcích hledat, — habych ti tuto, selka, řek. Hani bych bul ven nepřišel, hale nynčko hin se tlačili, hdyť oficíři ha tranovský pán na kůň vsedali.'

„Pryč jeli?"

„Pryč, do Tranova, hale vojsko vostálo, ha ten správčí zez Kúta zle hrozí Sykovi ha Janovi."

Stařenou to škublo.

„Ha co chce?"

„Co by chtíl, majestáty. Hu Syků huž hledají — všecko rub na líc — tuti vojáci — ha Hančí hin běduje —"

„Ha Jan?"

„Kerak dub."

Kozinová již dále nemluvila. Jako mladice pustila se k rychtě. Hluk a křik už opodál bylo slyšeti. Houf vesničanů před rychtou byl neobyčejně pohnut. Dobíhajíc, zahlédla ženu jednu, která vyběhnuvši ze stavení, rukama lomila, vykřikujíc:

inslav

„Panenko Maria, co se tu to děje! Uj, nechčasný ženy! Kozinová! —“ vykřikla zhlédnuvši stařenu, „chutě běž, syna tě hin mordujú —“

V prostorné světnici rychtářově bylo v tu chvíli volněji, zato úzko na pohled. Páni odjeli a něco kyrysníků s nimi průvodem.

Když stařena vrazila všecka vzrušená do světnice, zahlédla smutné divadlo. V koutě stál Matěj Přibek, provazy svázaný vedle svého starého otce. U nich stála Manka, tulíc k sobě Kozinova vyděšeného Pavlíka, kdežto matka jeho, vinouc Hanálku k svým ňadrům, klečela před koutským správcem, prosíc o milost pro svého muže. Stranou v druhém koutě doráželi dva kyrysníci plochými šavlemi na rychtáře Syku, aby pověděl. Totéž do té chvíle dělo se mladému Kozinovi, až věrná jeho žena na okamžik přerušila to katanství, jež na něm páchali.

„Hančí, staň, hani nepros, nepovolím v ničom,“ volal Kozina, ale vtom už mu selhal hlas, jak zahlédl starou matku svou právě chvatně vkročivší.

Stařena majíc šedivé vlasy nad čelem pocuchány, stanula jako ohromena. Viděla týraného syna, viděla, jak obvazek mu s hlavy stržen a jak z rány sotva zacelené krev po skráni se řine — A vtom snacha všecka bledá, všecka od sebe k ní přiskočila, probůh ji prosíc, aby Janovi domluvila, aby na děti a na sebe pamatoval.

„Hani slova, mámo — zařekla jste se — rukú dáním. Neposlúchejte Hančí —“ volal Kozina, jenž se zalekl, že by matka sama teď snad vyzradila, co před ním stále tak tajila.

Stará Kozinová stála okamžik jak ztrnulá; v srdci jejím Chodka s matkou zápasila. Pak se obrátila po Sykovi a vykřikla:

„Lychtáři, syna mi humlátí —“

„Syko, hani tobě, hani mi hlavu neroztřepí. Nech ženský bědovat,“ volal Kozina.

Kyrysníci na pokynutí správcovo ustali. Sám pak obrátiv se ke Kozinové, pravil:

„Ty, stará, víš o všem. Mluv a měj rozum, abys zachránila syna, jinak, víš, co ho čeká i vás všechny.“

Na okamžik ticho; zraky všech utkvěly na stařeně, stojící prostřed světnice. Pohlédla napravo na Syku rychtáře, nalevo na krvácejícího syna, mlčela, jako by se rozmýšlela.

„Mámo — víte, co nebožtík —,“ začal Kozina, vida matku

inslav

váhající; ale než dopověděl, pevně odvětila, zachmuřený zrak na správce upírajíc:

„Nevím nic, kerak bych vedíla —“

„Mamičko!“ vykřikla Hančí.

„Že nevíš, selka?!“ rozkřikl se Koš.

„Nevím,“ opakovala temněji.

Správce nepromluviv, vyšel ven a vyhledal trhanovského svého kolegu, který právě s několika vojáky všecko přehraboval v komoře rychtářově. Oba správcové chvilku spolu hovořili tlumeným hlasem, až pak Koš opět do světnice se navrátil; hned poté vyšel správce trhanovský z rychty ven a zamířil ke statku Kozinovu. Několik jiných kyrysníků bralo se zároveň do dvorce Přibkova.

Tou dobou také ostatní vojáci, kteří před rychtou čekali s tasenými palaši, rozjeli se po statcích, aby tu zůstali posádkou.

Den pohasínal a soumrak ukládal se na nešťastnou ves. Chvíle jindy tak klidná a tichá byla nyní plna zmatku, hoře a strachu. Ze statků ozývaly se hlasy kyrysníků i řehtot jejich koní. Početný houf lidu vesnického před rychtou seřidl. Většina se rozběhla domů ze strachu i chránit majetku svého před hořkými, nevázanými hosty. Pustou návsí zabělal se jenom chvílemi plášť některého kyrysníka, jenž těžkopádným krokem přecházel, a zvučelo řinčení jeho mocného palaše.

Setmělo se, po nebi hnala se černá mračna v divém chvatu. Chvílemi zableskl se jimi měsíc a na okamžik prosvitlo na návsi. V takový také okamžik vyrazil houfec kyrysníků s hlučným pokřikem ze dvorce Kozinova a bral se rychlým krokem k rychtě. V čele jeho trhanovský správce.

Za chvíli pak opět bylo před rychtou živo. Kyrysníci vyváděli odtud sedláky. V čele spoutaného Matěje Přibka a mladého Kozinu s obvázanou hlavou. Rychtář Syka kráčel hned za nimi vedle starého Přibka, jejž jeden z Chodů vedl. Všichni mlčeli, jen jejich ozbrojený průvod hlučel. Z ryku jeho a řinčení zbraně i dusotu přiváděných koní vyniklo bědování ženského hlasu a pláč. Daliť se kyrysníci v pochod a odváděli s sebou zajaté Chody. Zář měsíce jasněji prokmitla a v ní zableskly se hřebeny helmic i obnažené palaše, zabělaly se pláště vojanské i bílé šerkové župany Chodů kráčejících mezi koňmi kyrysnickými. Průvod mířil k nedalekému Trhanovu. —

inslav

Od rychty kráčela mladá Kozinová s dětmi, všecka vyděšena, plačíc; vedle ní stará její tchyně mlčící, s hlavou pochýlenou. Za nimi Manka Přibkova a vedle ní pocínovský strýc Pajdar, mladý Šerlovský i postřekovský Psůtka, provázejíce opuštěné ženské na statek Kozinův. Nemohlať se Manka sama vrátit do otcova dvorce, kdež bylo v tu chvíli tolik nevázaných hostí.

Jak jen vkročili do dvora na zásep, již bylo viděti, jak tu prve hospodařili. Ve světnici všecko zpřevráceno, truhly vypáčeny, dveře u komor vyvráceny, posekány.

V tom zmatku sobě mužové ani nevšimali, že stará Kozinová vytratila se ze světnice. Přeběhla dvorcem do svého výměnku. Tam ve světnici bylo zrovna tak jako ve stavení hospodářově. Než stařena toho všeho nedbajíc, vkročila chvatně, dychtivě do vedlejší komory a tu na prahu rázem stanula. V zásvitu měsíčném, jenž pronikal sem nízkým, malým oknem, bylo viděti i zde spoustu kyrysníky spáchanou. Stařena však nehleděla na rozbité nářadí; zraky její upíraly se na jedno místo v podlaze. Dvě prkna ležela tu v třískách, vylomena, stranou pohozena, na jejich pak místě zel hluboký otvor, vyzděná jáma, patrně útulek z dávných, bouřlivých časů. Byla černá, prázdna.

Truhlice věcí chodovských, chodský poklad drahocenných majestátů z ní zmizel. Kyrysníci jej vybrali, odnesli.

Stará Kozinová stála s hlavou pochýlenou, s rukama sepjatýma jako nad otevřeným hrobem. Hluboký povzdech vydral se jí z prsou, pak oběma rukama sáhla si na ňadra. V ten okamžik jí svitlo v zamračené tváři a její rty pevně sevřené pohnuly se úsměvem hořkým, pohrdlivým.

PROTI VŠEM

List z české epopeje

Писатель рисует в этом романе период наибольшего размаха гуситского движения, охватившего народные массы, создание Табора, разгром гуситами под водительством Жижки первого крестового похода.

В романе создан яркий образ Жижки — строителя Табора, создателя гуситской армии, вдохновителя и организатора борьбы «против всех».

В приведенных главах рассказывается о знаменитом сражении на Витковой горе (14 июля 1420 года) под Прагой, где войска гуситов под началом своего полководца Жижки разгромили объединенную армию европейской феодальной и католической реакции.

inslav

II. Kruciata

LV.

...Nebylo pochyby. Uherský král chystá všechnu svou moc k velikému, obecnému šturmu.

Když byla o tom řeč, vzkřikl Ondřej:

„Ale je tu bratr Žižka na Vítkově hoře.“

„Však toho budou chtít asi nejdříve sehnati —“ děl bradatý rotmistr, jak tam seděli na schodech před velikými, ozdobnými dveřmi ke královu někdy paláci, odkudž dobře viděli na nádvoří, na vozy i koně osedlané. Vtom jakési práče přiběhlo a volalo, že má přijít Ondřej z Hvozdna k bratru hejtmanovi. Ondřej vyskočil a běžel. Za chvíli pak sedal už na svou vranku, a chutě. Nařídil mu Kuneš z Bělovic, aby rychle jel na Vítkovu horu k bratru Žižkovi. Vzkazoval mu, jak je v městě, jak u Vyšehradu, na Menším městě že se Hradští chystají k šturmu.

V plné zbroji, železný kapalín na hlavě, plechovice na rukou, vyjel panic z Hvozdna, aby vyřídil poselství. Byl rád, že jede na horu, že odtud uvidí, jak je se nepřítelem.

V půldenním žáru, byla neděle dne 14. července, dojel na Vítkovu horu. Horskou branou stěží projel. Ve bráně, u ní, na hradbách vpravo a vlevo všude branného lidu a střelců nejvíce. Za branou po opuštěných vinicích pusto; na hoře však živo. Na prostoře mezi sruby, nad nimiž korouhve s kalichem za toho parného bezvětří visely bez hnutí, byla shromážděna všecka posádka, kromě stráží, jež stály dále vpřed i na valech srubů. Všichni, samí muži táborští, bradatí i holobradí, všichni v přilbách, mnozí i v brněných košilích, někteří také v předních kusech, s oštěpy, samostřily v ruce, s toulci na plecích, stáli před bradatým, přibledlým knězem. Tomu nejblíže tři ženské, mladá jedna a dvě starší ženy, z nichž jedna nad mnohého muže vynikala vysokou postavou. Byla kostnatá, žlutavé, přísné tváře, hustého, černého obočí. Lícní kosti měla vyvstalé, oči zapadlé, tvář vrásčitou, v rukou držela kovaný cep a blouznivě zářícím zrakem hleděla na pošmourného kněze, jenž prostovlasý, bradatý, s rudým znamením kalicha na šeré sukni stál před houfem a mluvil.

Málokdo si povšiml panice, jenž vyšvihnuv se ze sedla, uvázal svého vrance u stromku opodál v plném proudu světla hubený

inslav

stín vrhajícího a jenž pak k zástupu přistoupil. Učinil tak, poněvadž blíže kněze zahlédl samého bratra Žižku, v plném už odění.

Kněz dokončoval právě proslovení k bratřím ve zbrani. Ondřej, jenž neodvažuje se vyrušovati, zůstal při kraji, zaslechl jej, an mluvil:

„— — na božím přikázání je pře naše založena, a v tomto boji, bratří, vedete pravý řád boží. Silni buďte k boji, bojujte mužsky až do hrdel ztracení proti tomu luciferu pýchou pozdviženému a proti všem jeho pomocníkům vražedlným, okrvavělým krví vašich věrných bratří i sester —“

Kněz, padnuv na kolena, obrátil oči k nebesům a modlil se: „Otče náš, jenž jsi na nebesích —“

Žižka, všichni bratří, obnaživše své hlavy, a ženy poklekli a modlili se. Ondřej také. Když doříkali, vstal kněz a roztáhnuv ruce své, dodal hlasem povýšeným a jadrným: „Buďte silni a zmužile se mějte, nebojte se, ani se nelekejte tváří svých nepřátel, nebo Hospodin Bůh váš, on jde s vámi, neopustí, nezanechá vás.“

Ustoupil a na jeho místo pokročil Žižka.

„Bratří milí,“ pravil úsečně, vážně, „teď každý na své místo. Učiň každý, jak nařízeno, a haj svého místa a toho nepouštěj a retuj druh druha, každý hesla dbej a rozkazů dbejte. A teď s pánem bohem!“

Bratří, kteří byli ustanoveni vpřed na krajní místa, podali ostatním ruce a šli odhodlaně. S nimi ty tři ženy, v čele jich ta velká, obstarožní, přibledlé tváře, s černým hustým obočím a planoucím zrakem, nesouc kovaný cep. Ondřej se na ni zadíval; ale vtom ho Žižka volal. Ondřej sebou trhl, poněvadž myslil, že ho hejtman dosud neviděl. Pokročiv rychle oznamoval, co měl vyřídit. Bratr Žižka stál s pochýlenou hlavou naslouchaje; tvář jeho byla vážná, ale klidna. Když Ondřej domluvil, upřel na něj zrak a řekl:

„Již mi také z ratouzu vzkázali. Řekni bratru Kunešovi, žeť tuto, na hoře, bude seč nejdřív. Jinde se sotva odváží k šturmu. Toť jen na oko, ale nás tu budou potiskat. Ten Pipa Vlach tomu rozumí. Vyřiď, bude-li úzko, aby naši vyrazili branou, nepřátelům v bok. A také kusy aby tam vytáhli. A bohdá, že je potiskneme my.“

Vtom přiklusal na zpoceném koni jízdný bratr. Oznamoval, že nepřátelé za řekou se hýbají, že se počínají přepravovat přes

inslav

řeku. Žižka se rychle otočil a kráčel kupředu za první srub, kdež postoupil až na pokraj hřebene. Ondřej šel, jak mu pokynul, za ním. Na hradbě srubu, nad příkopem i nahoře ve srubu stáli bratří, samí střelci, sudličníci a cepníci. Vyhlíželi také nepřítele. Při řece, blýskající se v úpalném světle horkého dne, na holešovických ladách a polích i na straně u Staré Libně hemžilo se vše vojskem.

U Holešovic a před nimi vyvstávaly mraky prachu, jež se nesly vpřed. Z mraků těch míhaly se záblesky zbraně a praporce trčely nad ně. Oddíly nepřátelské jízdy tam harcovaly, tam, i u řeky. Jednotlivé houfy stály už na ostrově proti Staré Libni, jiné se odtud přepravovaly na druhý břeh. Jízdní se brodili, a také množství člunů, prámů a lodic plulo řekou napříč, a všecky nabité lidmi, až bylo od nich po řece černo. Mnoho jízdných už přeplavalo, a ti se všichni, pokud bylo možná rozeznati, šikovali u Staré Libně, a nejeden jízdný houf už táhl dále směrem k Hrdlořezům. Jiní se obraceli k západu a mířili směrem ku Praze, na Špitálské pole.

Všecka krajina na obou březích zaplavovala se nepřítelem. A všecka ta spousta jízdných a pěších valila se od Holešovic, od Ovence, z královy obory. Kam oko v těch stranách dohlédlo, všude samé vojsko; menší oddíly jízdných harcovníků, za nimi veliké houfy koňmo i pěšky, nad zástupy a houfy blesky zbraně, korouhve a praporce, lesy dlouhých oštěpů, všude bleskoty, pestrota barev. A konce nebylo tomu zbrojnému lidstvu. Temný hluk z něho až sem do té výše dorážel, divná směs zvuků, dunivý ohlas tisíců tisíců kroků i dusotu kopyt, křiku a řinčení, rachotu bubnů, jeku píšťal i trub troubení.

Žižka stál tiše, nehnutě a pozoroval vše bedlivě svým jediným okem. Ondřej uváben pohledem na rozvoj ohromného vojska, zapomněl okamžik na hejtmana. Než jak se Žižka obrátil, zeptal se ho, chce-li ještě něco vzkázat.

„Ne, již jsem řekl. Viděls sám, pověz to. Tam ti," ukázal k těm houfům, které se obracely od Staré Libně k Hrdlořezům, „vystoupí tam na tento hřeben a vyrazí na nás tudy," a ukázal po výšině, odtud neširokým hřbetem k východu se táhnoucím, „a ti dole —" mávl k Špitálskému poli.

„Jdou na nás. Včera jsme jich něco tudy hnali", vpadl Ondřej, uživ okamžiku. Nedalo mu, musil se zmíniti.

inslav

„Viděl jsem," přikývl Žižka. „Dej Bůh, bratře, abyste je také dnes honili. A my zde také. Jeď a pozdravuj všecky. Pán Bůh s vámi a s námi."

Hejtman se obrátil ke srubu, kde všichni ve zbrani pořád ještě nepřítele vyhlíželi. Ondřej pospíchaje ke koni, zaslechl, jak Žižka na ně volal:

„Bratři střelci, střílejte jim koně před potkáním, až se poženou, koně především, aby jim zrušili šik."

Nežli Ondřej odvázal vraníka a na něj usedl, byl už Žižka zase mezi sruby, v houfu cepníkův a sudličníků. Z nich také nejeden měl hák na strhování jezdců s koní. Stáli tu v posilcích, aby mohli, kde by bylo třeba, na pomoc přispěti. Část jich, vedená šedým bratrem v železném klobouku, odcházela na Žižkovo přikázání napravo, dolů na jižní mírný svah do vinic. Ondřej tušil, že jdou tam do zásady, aby vyrazili odtud nepříteli v levý bok, až by se přihnal.

Ondřej byl rád, že se mohl před bratrem Žižkou zmínit o včerejším boji a že on sám v něm také byl a Uhry honil. Ale hned, jak šel kolem srubů, když na něj s hradby i jisteb volali a jemu kynuli, zapomněl na sebe. Pak už docela. Pospíchal dolů do města, aby zvěstoval, co viděl, co Žižka vzkazuje, a také, aby snad bratří, prve nežli by se vrátil, nevytrhli ven proti nepříteli...

LVI.

...Na to vše se Ondřej sotva podíval. Víc a déle upíral své zraky vpravo, kde dál nad nimi vypínala se chudě porostlá příkrá stráň dlouhé, táhlé výšiny; a na její konec, na Vítkovu horu, kde trčely dva sruby, se díval, a všichni. Viděli roubené věže, korouhve nad nimi; bratří se však nedohlédli. Pojednou všemi trhlo. Z nepřátelského vojska vyrazil křik, divoký, prudký jako bouře. Nežli dozvučel, zahřměl nanovo.

Ondřej se svého místa, jak stál vpravo od vozů, ale za jejich čarou, viděl, jak v nepřátelském vojsku mávají praporci, korouhvemi, oštěpy, jak točí meči a šavlemi nad hlavou a všichni že ženou vzhůru směrem k strmé výšině.

Po ní, po jejím hřebeni hnal se směrem ke srubům veliký houf jízdných. Bylo je viděti v prudkém cvalu, korouhve nad nimi; za

inslav

jízdnými mračna pěchoty, rychle postupující. A všichni ke srubům jako kobylky, na bratří, na bratra Žižku. Ondřej znal jeho houf; teď teprve jasně viděl, jaká to jen hrst proti této ženoucí se záplavě. Co bude! Jak tam bude, jak obstojí. Srdce mu zabušilo, oči zimničně hořely a líce pobledlo rozčilením.

Kolem všichni také tak vzrušeně, s utajeným dechem, mlčky upíraly zraky ke srubům, žádný již nedbal, co je za nimi, v městě, nikdo si nevšiml, že tam střelba umlkla. Zato shora, z davů útočících rozléhalo se troubení, válečný křik. Křik tam nahoře a křik dole z německých a uherských šiků na Špitálském poli. A ve srubech ticho. Bratří dole také mlčeli; než jak nepřítel nahoře žena se po hřebeni dojížděl ke srubům, jak ze srubů se vyvalily mraky bílého dýmu a rány zahřměly, vzkřikl Ondřej a všichni jedním hlasem, pronikavě a mocně: „Hrr na ně! Hrr! —“

Zajásali, když postřehli, že proud útočících se zarazil. Než jen na chvilku. Zezadu docházel houf za houfem, vlna za vlnou. Zadní tlačili přednější, hrnuli se přes ně jako divý příboj k osamělé výspě. Rány z houfnic na hoře znovu zahřměly a mraky bílého dýmu zahalily srub. Ale jak se rozptýlili, bylo viděti, že přední srub je všechen osut, že nepřítel není odražen, že se kolem jen hemží a doráží, doráží. Černalo se tam od vojska; skřek a troubení s Vítkovy hory i dole na Špitálském poli rozléhal se pod modrým, vybraným nebem sálavým vzduchem jako bouře.

Ondřej neměl stání; vrtěl se v sedle a byl by nejraději vyrazil zpátky k městu a na horu bratřím na pomoc. Ohlížel se po hejtmanu, nedá-li znamení. Kuneš však s palcátem v ruce seděl klidně v sedle a díval se na horu; pozoroval nerovný zápas, ale ne jako ostatní bratří, aby zapomínal na bližšího nepřítele, který stál dole proti nim. Bratří té chvíle skutečně o něj nedbali. Začaliť trnout o posádku na Vítkově hoře, a ohlíželi se k městu, nejdou-li jí odtud na pomoc.

Na hradbách, s bašt a bran proti Vítkově hoře hleděli ke srubům také v takovém napětí, rozčilení, pak už také s obavou. Ukazovali si tam, jak pozorovali vlny zápasu, vykřikovali, jak se dojmy rychle měnily a střídaly. Jen radost zasvitla, už ji úzkost dusila.

Hůř ještě bylo dál od bran. Lidé rozechvění napětím stáli venku před domy, výrostkové ke branám utíkali. Ženy naříkaly i plakaly úzkostí, jiné na zem poklekaly, ruce spínaly, oči k nebi

inslav

obracely, děti k sobě tulily. V těch strašich už viděly, jak se křižovníci a Uhři valí do města, jak budou děti mordovat, domy vybíjet, panny mučit, krev prolévat, jako dělali dosud všude, všude —

Od Horské brány letěl jakýsi muž k Sennému trhu a křičel: „Pomoc! Na pomoc bratřím!"

Vtom se ozval zvon. Zvonili k šturmu: zvonili u sv. Jindřicha i na staroměstské radnici. Temný hluk zaléhal z těch stran, hluk a hřmot zástupů. Ženy vstávaly se zaprášené dlažby, umlkaly v pláči, naslouchaly, ale vykřikovaly zas a bědovaly, když od Horské brány hnal se opět jakýs muž bez čapky, až vlasy vlály za ním, a křičel:

„Pomoc! Pomoc!"

Ještě nedoběhl, a již se zjevila proti němu. Od sv. Jindřicha kráčel Senným trhem vysoký kněz, prostovlasý, nesa svátost v proštípí, vedle něho dva muži bez čapek, se zvonci v rukou. Za nimi houf střelců s kušemi a za střelci veliký zástup bradatých bratří táborských, bez brnění, v čapkách a v sukních jen, někteří u hrdla rozhalení, se sudlicemi, s kovanými cepy. Ty měla většina. Kněz pospíchal, zvoníci vedle něho zvonili bez únavy, muži za nimi brali se rychlými, pádnými kroky, až se rozléhaly. Všichni kvapili v rozčilení se zraky planoucími; pobízeli se do spěchu a dali se do zpěvu, když je posádka ve bráně a na hradbách uvítala jásavým pokřikem. Zpívajíce vyrazili ven a hnali se na horu ke srubům.

První byl už skoro ztracen.

Ve vlčí jámě před ním, před jeho příkopem, ve příkopě sice leželi hustě ranění a mrtví, lidé i koně, kteří tu, jak dojížděli, klesli střelbou i šípy ze srubu. Ale proud se tím nezastavil. Nový a nový příval; přes těla padlých, přes mrchy koní hnali noví útočníci s divokým křikem. Zaraziti jich nebylo možná. Pěchota, Míšňané byli, dostali se až ke příkopu. Houfnic, které nahrazovaly bratřím počet, nebylo té chvíle již možná znovu nabíti.

Došlo na rovné zbraně. Útočníci však zapomněli na ostrve a žebříky. Těch s sebou nepřinesli. Nicméně se vrhali do příkopů, aby přilnuli ke zdi, k opevnění ne nejtvrdšímu. Se zdi, s podsebití srubu, s viničné věže sypaly se na ně šípy i kameny. Míšňané padali v příkopě, ranění nebo povalení ve zmatku a tlačenici. Přes padlé drali se noví a noví, nahoru, ven z příkopu, ke

inslav

zdi. Odtud do nich bodali oštěpy, sudlicemi, bili do nich kovanými cepy, bratří táborští i tři sestry, všichni v divé udatnosti, rozzuření. Hrozný křik rozléhal se v příkopě, u zdi, kolem srubu. Trouby ječely, jezdci v brnění pobízeli útočníky, mávali mečem k opevnění.

Řady jejich řídly již u příkopu, nejprudčeji však u zdi. Než i obhájců ubývalo, a kde padli dva, tři, tam zela značná mezera. Nejhůře bylo u viničné věže. Tu osypali Míšňané jako vosy. U zdi spojující věž s ostatním opevněním se jimi černalo. Odtud křičeli bratří o posilu. Jen veliká sestra, stojící v popředí na zdi, mlčela a oháněla se cepem. Zavití se jí s hlavy smeklo; mokré, uvolněné vlasy lpěly jí na spáncích a na zpoceném čele. Zsinala rozčilením i namáháním, ale bila se neunavně. Cep její švihal a kmital se nad sudlicemi nepřátel, dopadal, bil do štítů, helmic a těl vpravo, vlevo švihal a kmital se, dopadal, bil, rozrážel, třepil, sám krví už mokrý a rudý.

„Sestro!“ křičeli vedle. „Sestro, ustup od věže!“

„Sem! Sem!“

Ani na okamžik neustala, ani se neohlédla, jen chraptivě vyrazila z vyschlého hrdla:

„Před Antikristem věrný křesťan —“ a bila dál, „neustoupí —“

Příval na srub dravě rostl. Se zběsilým křikem a troubením přihnal se nový houf. Přes příkop, plný těl, drali se již snáze ke zdi; tu se pozvedali, stoupali na záda druhů, drápali se na zeď. Té již nehájilo ani třicet mužů. A již umdlévali.

Pojednou se mezi nimi mihl bratr Žižka, v přilbě, s palcátem v ruce. Křičel, aby neustupovali, aby vydrželi, že jde pomoc. A sám bil do nepřátel. Pak skočil k místu, kde vylézali na zeď dva Míšňané. Jednoho naráz srazil, že sletěl pustiv štít; druhý však chytl hejtmana za nohu tak, že mu ji podtrhl. Žižka sklesl, nohy mu visely se zdi. Kolik ruk po nich chňaplo, tahaly jej dolů, ale on vzepřel se rukama o zeď a odpíral ze všech sil. Několik bratří přiskočilo a bilo do Míšňanů, až ho pustili. Vyskočil a jen stanul zase na nohou, bil zase do nepřátel. Vtom se přihnali z placu za srubem posilci.

Žižka sestoupiv, ukazoval, kam kteří, pobízel a křičel za té vřavy na jejich rotmistra:

„Poslali jste do vinice, jak jsem řekl —“

inslav

Bradatý šedý bratr rotmistr, v přilbě, ale bez odění, s nahým mečem v ruce stoupaje na zeď křičel:

„Poslali, — vyrazí co nevidět v bok."

Vyšvihl se na zeď, ale jen tam stanul, roztáhl prudko ruce, zavrávoral a sletěl se zdi. Šipka mu trčela v hrudi a krev stříkala z hluboké rány.

V ten okamžik strhl se napravo, od jižního svahu, od vinic divoký pokřik. Žižka, jak ho zaslechl, hnal se do roubení věže nahoru, na její podsebití, vyhlédl okéncem napravo; odtud zaléhal ten křik. Postřehl tam velké pohnutí v nepřátelských houfech. Svitlo mu v oku a v duši odlehlo. Jeho houf vyrazil z vinice v pravou chvíli. Vzkřikl to bratřím střelcům na podsebití, a zas hnal se dolů na zeď mezi bojující.

Za chvilku poté zaléhal do srubu příval zpívajících hlasů, s té strany od města. Blížil se kvapem. Hlas zvonů v něm zanikal; zvučely vedle svátosti v proštípí, blýskající se v odpoledním slunci. Bylo po čtvrté hodině.

*

V tu chvíli se Ondřej z Hvozdna modlil. U velikém rozčilení vysílal k nebesům vzdechy, aby se Pán Bůh smiloval. Měliť kormoutlivé divadlo. Tam nahoře u srubu všecko se hemžilo křižovníky. Praporce jejich vlály, křik jejich, troubení se hlasně rozléhalo. Necouvali, postupovali. Srubu již nebylo viděti a rudá jeho korouhev také zanikla. Ondřej pokřikoval jako ostatní v šiku; přitom přes tu chvíli upřel zrak na hejtmana, na Kunše z Bělovic, jenž seděl opodál na svém vysokém hnědáku.

Sivý hejtman hleděl na útok z počátku klidně; pak už se měnil. Neseděl na koni jako přibitý, ale hlavu obracel, po městě se ohlížel a zase k Vítkově hoře upíral pronikavé zraky a před se Špitálským polem na sešikované Uhry a Němce. V tu chvíli, kdy Ondřej se začal modliti, kdy kolem vykřikovali vztekem i úzkostí, vzkřikl Kuneš na své jízdné, aby pozor dali, teď že jde také na ně.

Špitálským polem skutečně se hnaly dva velké houfy jízdné, samí Uhři. Bratří se chutě chápali zbraní, nahých mečů, podvrhovali kopí. Uhři jim přijížděli právě po chuti. Ale nevytrhli hned proti nim. Rány zahoukaly, z vozového řadu houfnice zahřímaly. Když se bílý dým rozplynul, bylo zřejmo, že koule nadělaly

inslav

hodné ulice v nepřátelském šiku, a ten že je rozvrácen, že se obrací. Mnoho jezdců leželo na zemi, s koňmi i bez nich, mnoho koní s jezdci vyrazilo z řady a hnalo se různě v divokém splašení polem. Mnozí i bez jezdců.

Kuneš zvedal palcát, aby dal znamení. Ale nedal. Zrak jeho jako všech utkvěl na Vítkově hoře. Bouře krutého boje znovu se tam rozzuřila. Nový, prudší křik a jek tam, a v srubu divější hemžení, rojení, zmítání davů.

„Němci se hrnou do srubu! Už ho mají!" vykřikovali kolem polekaní. Ondřej a Kuneš v ten okamžik vzpomněli na bratra Žižku, teď že bude veta po něm.

To hemžení jde dál — ale od srubu.

„Ustupují!" vzkřikl kdosi; ale ještě nevěřili. Vtom se tam na výšině mihl jezdec jakýsi, na samém pokraji hřebenu nad prudkým, hlubokým srázem jeho svahu. Mihl se — kůň se mu vzepjal a již skočil do prázdna. Už padají, letí dolů příkrou, prudkou strání zvíře i jezdec — a za ním druhý, třetí; padají, letí příkrou, prudkou strání. Toť jsou křižovníci!

Na Špitálském poli zajásali; jásot letěl od jízdného houfu k houfu, k vozům, po vozech. Naproti v nepřátelském vojsku křičeli hrůzou i vztekem. Zraky všech utkvěly na Vítkově hoře, na jejím srázu. Prášilo se tam; zvířený prach jako by proudem dolů tekl, letěl. V něm se černala těla, jako stíny se mihala; koně i lidé padali, řítili se dolů v hrozných převratech a kotrmelcích, v děsných přemetech, jak se kouleli, jak letěli dolů. Nebylo zadržení, nebylo záchrany. Leda když zaprášené, zkrvavené, potlučené tělo narazilo o velký kámen nebo když uvázlo ve křoví.

Také hřebenem táhlého návrší hnali se Míšňané ve zmateném útěku, bez praporců, bez troubení. Kuneš vyjel před houf, na nejž déšť náhlé radosti padl; ukazuje palcátem k Vítkově hoře, křičel rozjařen:

„To tam běží! A tyto —" mávl před se po Uhřích a Němcích na Špitálském poli — „poženeme my. Ve jménu Páně!"

Bodl koně, až vyrazil dlouhým skokem. Bratři radostně zahoukali, vzkřikli a vyrazili za ním. A zazpívali:

„Kdož jsou boží bojovníci
i zákona jeho —"

hřmělo Špitálským polem.

inslav

Na Vítkově hoře divoký hon. Žižkova posádka posílena pomocí z Prahy vyrazila za Míšňany. Ti utíkali jako slepí sem tam i ke srázu. Mnozí již uštváni jako zvěř bez dechu, vysíleni klesali, sedali na zem. Na obranu, na boj nebylo sil. Už jen štíty zvedali a kryli jimi hlavu a tělo. V úzkosti i v tupé odevzdanosti přikrčení čekali, udeří-li kovaný, strašlivý cep, aby roztříštil štít i lebku...

1893

O JANOŠIKOVI

I.

Králova hole* nad širými lesy nad krásnou dolinou horního Hronu, vysoká hora, památná hora. Mocný hřbet její bez lesů, volný; proud větru sotva kdy ztiší se na té slunečné výši. A v slunci a větru, v mhách i za hromných bouří sám na Králově holi stojí kamenný stůl, omšený, starý; opuštěn trčí z trávy a vřesu i kosodřeviny. Kdys, už tomu dávno, míval své hosty a širá kol hole zvučela pokřiky, hlukem; to když sem přicházel sám panovník uherské země, veselý Matěj král.

Po každé, když honil v okolí po liptovských horách, po zvolenských lesích medvědy a kance diviaky**, stavil tu se svou četnou družinou: král v lovecké sukni, se zlatým rohem, páni magnáti v bohatých dolmanech,*** v lesklých pásech, v čapkách z drahé kožešiny, péry zdobených, s oštěpy v rukou, s tesáky při boku, osmahlí, hladkých tváří, ale mohutných knírů. Přišli, usedli kol kamenného stolu a jim u nohou ulehly smečky loveckých psů, černoburů, vikodavů, kanečníků, lapajících krátkými oddechy chladící vzduch. Sluhové a lidé z doliny snášeli z košů na stůl jídla a láhve, a král stoloval vysoko, vysoko se svými pány. Pln rozkoše rozhlížel se kolem po horách, po rozlehlých svazích, níže po temných hvozdech, po zelených dolinách v zátopě zlatého světla. Jím svítily kaštely(*), rděly se střechy hradů

* Hole, hola, na Slovensku vrch holý, kde se stáda pasou.
** Divoký vepř, kanec.
*** Maďarský kabát.
(*) Tvrze, zámečky.

inslav

nad chatami dědin a dvorců po šíru daleku, slovenskou, spanilou zemí.

Tak bývalo za krále Matěje.

Po jeho smrti však utichla Králova hole a kamenný stůl stál opuštěn dlouho a dlouho. Zatím pod horami, v údolích, v rovinách mnoho se změnilo. V zámcích a v kaštelích bujela panská zvůle, a v dědinách poroba, nevole. Lidu se dály velké křivdy; páni, zemané tiskli ho robotou, „panštinou", a „lapačky"* nedaly poklidně spát urostlým jonákům.

Zle bylo, že nemohlo býti hůř. Mladý lid se svého utíkal před trýzní pánů, pryč z tiché dědiny, do hor. Tam se stali z nevolných „horní chlapci", tam byli lesy jejich komory, a karpatské „hole" jejich volná pole.

V ten smutný čas bývalo zase živo na Králově holi a kolem kamenného stolu sedala zase družina se svým náčelníkem. Nebyl to však král, ale „horní chlapec" Janošík z Ťarchové v Hornotrenčínsku,** a s ním ne magnáti, velkomožní páni v dolmanech a bitých pásech, ale „kamarátstvo", jedenácte „dobrých chlapců" ve vybíjených širákách, v zelených košilkách, v bílých soukenných nohavicích, se širokými opasky, v krpcích. A ne s meči, ne s drahou zbraní, ale s noži v nožnách u opasku a s dvěma bambitkami za opaskem, s valaškou*** v ruce, s puškou samopalkou na plecích: Surovec, Adamčík, Hrajnoha, Potúčík, Garaj, Uhorčík, Tarko, Mucha, Ďurica, Michalčík a gajdoš(*), chytrý Ilčík.

Nestavovali se tu na Králově holi a nezasedali kol kamenného stolu jenom v podzimní čas; hony a lovy měli od božího jara do pusté zimy. Vodilť je Janošík „po zboji", aby křivdy napravoval, bídných a nešťastných ochraňoval. Bylo mu líto těžko poddaného lidu slovenského, z něhož pocházel. Když mu nemohl pomoci, mstil se alespoň.

A sebe také! Zkusilť od pánů také protivenství a krvavého násilí, on i jeho otec, jenž nevěděl, co je dobře se mít, a jenž jenom to přání měl, aby syn měl lepší živobytí nežli on. Proto ho dal, synka bystrého a vtipného, do škol, jak mu poradil jakýsi

* „Panština" — platy a desátky. „Lapačky" — násilné odvádění na vojnu.
** Vlastně Juro Janošiak.
*** Hůl se sekyrkou, čakan.
(*) Dudák.

inslav

příbuzný, farář svého povolání. Tak se Janošík učil v Kežmarku prý latině a všemu, aby se stal jednou duchovním. Otec na něj nakládal, sám si od úst utrhuje.

Než z toho se pohoršil magnát, jeho vrchnost; popudil se proto, že starý sedlák chtěl míti synka pánem, že ho chtěl vytrhnouti z poddanství. I stíhal gazdu, jak mohl. A vrchnost mohla tenkráte mnoho, všecko; i nepravosti a křivdy, a nikdo jí proto nepohnal, nikdo jí za to netrestal.

Když Janošíkův otec v plné práci býval na svém poli, musil často pojednou, naráz všeho nechat, a to po každé, když té práce bylo nejvíce potřeba, když louku kosil nebo seno sušil, když obilí kladl nebo je vázal. Tu po každé pán vzkázal, a sedlák musil na panské. Tam ho nechali tak dlouho na robotě, až mu seno zmoklo a se zapařilo, nebo až mu obilí vzrostlo. A kříž měl také s desátkem. Nic nebylo pánům vhod, nic jim nedovedl po vůli: po každé ho se slepicí nebo s husou, když je odváděl, z kaštelu vyhnali, že jsou hubené, malé, ať sežene lepší, dobře krmené.

Tak a jinak soužili a pronásledovali starého gazdu. Než on pro syna všecko trpělivě snášel, a když mu časem mysl zahořkla, když si někdy nevěděl živé rady, po každé se utěšil Janíčkem: ten že bude pánem, na toho že nebudou moci, a ten že snad i jemu odslouží, aby se měl tatík alespoň před smrtí líp. —

Zatím se Janíček chutě učil a prospíval. Až tu pojednou byl ze školy vytržen. Z rodné dědiny přiběhl pro něj posel, aby přišel domů, že matka upadla do těžké nemoci, že asi zemře, aby si pospíšil, aby se s ní rozloučil, jak si toho maminka toužebně přeje a žádá.

Janošík, bylo mu tenkráte jedenadvacet let, vydal se hned na cestu. Jen přišel domů, jen vkročil do jizby a s matkou se vítal, již vcházel za ním osmahlý panský hajduch černých knírů a přísně poroučel, aby zítra ráno přišli na panské sena sušit, starý i mladý, gazda i student. Janošík z té duše zarmoucen nad matkou na smrt nemocnou, drába si sotva povšiml. Tím méně dbal, co vyřizuje.

Starý otec rozuměl, dobře slyšel, ale tentokrát, ač jindy po každé na slovo poslechl, váhal. Žena na zhasnutí, každé chvíle mohla skonati. Hajduch sám viděl a jistě to poví na kanceláři. Nebude pro jednou snad zle, nepůjde-li, když taká příčina. A

inslav

Janíček? Na to ho z města nezavolal, aby šel na robotu, a i student, skoro již kněz. A od nemocné matky! Budeť v pánech aspoň jiskra citu a tolik se snad ustrnou.

Ale neustrnuli.

V poledne se přihnal hajduch zas a ne již sám, nýbrž s několika chlapy. Láli, křičeli a nic nedbali ženy na smrt nemocné; muže a syna jí před očima spoutali a pryč odvlekli, oba do zámku za třetí dědinu. Tam v klenuté jizbě stály již dereše* a svazky vláčných liskovek ležely na nich. Tu již také „zemský pán" čekal. Jak gazdu a syna zhlédl, rozlítil se, lál a dal je na lavice položiti a řemeny přivázati; sám pak usedl, dýmku zapálil, křížem nohy přeložil a pak poručil:

„A nu teď bijte, a ty, dvorský, počítej! Každému sto ran, a mastných. A ty," tu se k Janošíkovi obrátil se surovým úšklebkem, „uvidíš! To bude latina. To tě na pána vyučím!"

Hajduši bili nemilosrdně, nekřesťansky, až starý gazda omdlel; a než dvorský napočítal plných sto, skonal v bolestech. Syn ty rány vydržel. Ale že po nich nemohl ani vstáti ani na nohou se udržeti, naložili ho na hnojný vůz, mrtvolu s ním, a zavezli je domů, do rodné dědiny. Matka byla ještě na živu, ale po tom, jak se shledala s mužem a se synem, zkrušil ji žal a zemřela. —

Janošík, jak se jen trochu sebral a zotavil, zmizel ze vsi. Do města, do škol se nevrátil. Do hor se vykradl.

Tam se skrýval u pastýřů v osamělých salaších a tu se mu také dostalo podivné pomoci.

Jednou šel ze salaše k osamělé studánce, aby nabral do čerpáků** vody. Věrný jeho pes, jediné dědictví z rodného domu, šel za ním. Studánka prýštila pod skalou, kolem pak rostlo husté trní a hloží. A na to se Janošíkův pes obořil, zatím co pán kleče u studánky vody nabíral. Ale jak pes tak zuřivě se rozštěkal a do houštiny dorážel, Janošík se ohlédl; a vtom se mu zdálo, že v houštině někdo zakvílel. Vyskočil, okřikl, odehnal psa, sám pak vnikl do křoví.

Tam, v spoustě planých růží, zhlédl „pannu v bielom"***. Byla sličná, milého pohledu. A již stála, celá bílá, před Janošíkem,

* Lavice.
** Dřevěná nádoba.
*** Víla.

inslav

pěkně mu děkujíc za to, že psa odehnal. Pak se šohaje zeptala, co by si od ní přál, že by se mu ráda odsloužila. Janošík se dlouho nerozmýšlel.

„Sílu!“ zvolal. Potřebovalť jí, nebo se chystal, že bude trestat ukrutné pány za všecko příkoří na lidu páchané. I dala mu víla opasek s kouzelnou žilkou a valašku, kterou nabyl síly za sto mužů. Tu když v rukou třímal, nikdo ho nepřemohl.

II.

Od té chvíle chodil Janošík „po zboji“, mstít sebe a bědný slovenský lid. Za to jej i jeho „kamarátstvo“ nazývali všichni utiskovaní „dobrými chlapci“ a všude jim přáli.

V čas nebezpečenství poskytli jim bezpečného útulku v salaších i dole v dědinách. Tam také, když uhodily mrazy a hory a lesy zapadly v závěje sněhu, trávili „chlapci“ zimu jako čeledínové u dobrých gazdů, nebo také v jiném zakuklení. Ale jak se bučina počala rozvíjet, hajdy, do hor, zase „po zboji“. Po krvi však Janošík nedychtil. Sám nikoho nezabil a také zabíti nedal. Jen na bohaté a mocné vystupovali.

„Daj Bohu dušu a nám peniaze!“ Tak pohrozili a zbraní zablýskali. Nejvíce bral Janošík na mušku kruté pány, zemany. Jak některého napadl, vystoupil proti němu a zahřměl:

„Sem, pane, ty zdrané sedliacké mozole!“

Když dostali nebo vzali, rozdělil Janošík kořist na hromádky a podělil každého z kamarátstva; svůj podíl dával chudým a potřebným, nebo jej ukládal do skal, jeskyň i do starých stromů, takže měl poklady peněz, sukna i různé zbraně. Množství kremnických dukátů dobrého rázu zakopal prý také do jam, aby těch peněz nikdo neužil, ani páni, ani zbojníci. Na hoře Vaporu se často zdržoval v jeskyni, tam měl i poklad ukrytý, z Vaporu prý měl na Nový hrad most z řemenů, a strmá, skalnatá Hradová nad Tisovcem ho častěji hostila. — Rád měl zpěv i hudbu. Často zasedl večer na kolibě* mezi valachy** a chutě poslouchal, když někdo z nich začal pískati na fujarku. Rád také

* Pastýřská chata.
** Pastýři.

inslav

měl, když děvčata na trávě zpívala; když nezpívala, vybídl je, aby mu zapěly. A pak je hojně, třeba zlatem odměnil.

Když byl se svými „chlapci" sám a ohník „zavatrili" v bezpečném místě, v lese, v temném žlebu nebo vysoko na Králově holi, tu po každé poručil bystrému Ilčíkovi, aby spustil a „gajdoval". Ilčík vzal zvučné dudy s třemi hučky, a hrál a hrál, až se nocí po lesích, po horách rozléhalo, až rozveselil všecko „kamarátstvo". Tu i Janošík, jenž pokuřoval z dřevěné dýmky, vykládané rybí kostí a obité mědí a mosazí, vyjasnil vážné, zachmuřené líce.

Někdy však bylo za takových pozdních chvílí na Králově holi tišeji. To když někdo z kamarátstva přivedl sem nějakého cestujícího nebo potulného studenta, kterého v lese cestou zastavil a zajal. Každý z „chlapců" to učinil, poněvadž věděl, že se tím Janošíkovi zachová. Student, mladší, starší, každý bledl a chvěl se strachy, když na pusté Holi u kamenného stolu zahlédl v záři ohně ozbrojené „horní chlapce" a kolem nich vlčí, zlé psy, vrčící, hrozně štěkající. Ale psi musili ztichnouti, Ilčík uložil duby na kámen a z chlapců nikdo ani nedutl. Jen Janošík mluvil na studenta. Neobořil se na něj, nezahřímal, ale spustil jako kněz po latinsku. Vyptával se ho, zkoušel ho; měl radost z jeho úžasu a rozpaků, smál se, když student nevěděl, ale chválil ho, když pěkně odpovídal. Byl-li student v učení dospělejší, poručil mu, aby k „chlapcům" promluvil, kázání jim učinil.

Chlapci přiložili, klestí zapraskalo, dým se vyvalil vzhůru do tmy, plameny vysoko vyšlehly a ozářily Holi i temena horských velikánů vůkol, tratících se do noci. Student, vystoupiv na skálu, chtěj nechtěj musil začíti. Mluvil vážně o křesťanském životě, o dobrých skutcích, o věčné odplatě.

Kol ticho jako v kostele. A tu vysoko, mezi horami, pod hvězdnatým nebem bylo posvátno, velebně jako ve chrámu. Někdy si chlapci za takové pobožnosti až zaplakali v hlubokém pohnutí, a sám vůdce sklonil zadumaně hlavu, když kazatel začal o smrti, konci všeho. Jakmile student domluvil a všickni řekli „amen", tu ještě Janošík se ozval, domlouvaje druhům, aby teď, když slovo Boží slyšeli, tím více na to dbali, jaký úkol na se vzali: nikomu bez příčiny neubližovat a křivdy napravovati.

Pak uctil studenta kazatele, pohostil ho, jak mohl; když ho pak ráno propouštěl, nasypal mu do klobouku dukátů, nebo po-

inslav

ručil chlapcům, aby mu naměřili na nový oblek. A chlapci přinesli postav sukna a měřili velkým, hrozným loktem: od buku do buku. A byli buky staré, mocného těla, a daleko od sebe, takže kazatel svou výsluhu sotva odnesl.

Na Králově holi meškal Janošík nejraději. To bylo jeho nejmilejší místečko, tu také se bil s třemi župami, když na něj páni poslali hajduchy a vojsko, aby ho lapili. Ale nedostali ho, ano s hanbou utekli. Zahnalť je Janošík sám jediný, svou valaškou, jež sekala za sto.

Časem se také jinde zdržoval, v Prosečné dolině* a v Rimavské dolině, kdež v zápase zabil generála vedoucího šest set vojáků. Jakmile generál padl, dali se všichni na útěk. Janošík chodíval také často v přestrojení. Tu jako žebrák se od dědiny k dědině potloukal, tam jako mnich přišel do města; najednou také na koni, v panském obleku přijel do zámku, dal se uctít, pak sebral, co chtěl, často i zpupného pána potrestal, a odjel zase s „chlapci" přestrojenými za sluhy a hajduchy. Byl hned tu, hned tam. Třeba se v Liptově ohlásil „třírohým listem", a již druhého dne vzešel, kde ho nezaseli, nečekali, třeba na druhém kraji Slovenska.

Když na některém místě měli na něj nalíčeno, uklouzl jim jako úhoř nebo seděl nedaleko ve vsi v krčmě a tu se s šuhaji veselil. Popil tu, pozpíval s nimi, pak náhle zmizel. Tu teprve se páni dověděli, kde byl, co dělal, jak ho měli skoro již v hrsti. —

Tak chodil po horách kolik let, mstě se pánům, pomáhaje chudým, utiskovaných chráně. Za jeho času již v nejednom kaštele, v nejednom zámku jednali s poddanými líp; ne z milosrdenství, ale proto, že se báli Janošíkovy msty.

Až ho zrada zmohla. Jeho gajdošík udal pánům, kde se skrývá a jak by ho mohli lapit. V tom byl tomu zrádci jakýsi gazda nápomocen za jidášský groš. Ten gazda se s Janošíkem dobře znal. I pozval „horního chlapce" jednou v zimě do svého statku; a pro hostě si zrovna zajel. Janošík gazdovi důvěřoval, vsedl s ním do vozu, netušil zrady. Když slézali, vzal gazda Janošíkovi lstivě mocnou valašku. A ve stavení číhali již hajduši a vojáci.

Jak Janošík vkročil do jizby, sklouzl a upadl. Podsypaliť mu pod nohy hrachu. Jen klesl a již se na něj sesypali, povalili ho

* U Liptovského Sv. Mikuláše.

inslav

a spoutali. Ale jen spoutali, již se vymrštil, pouta roztrhl, bil jimi pak kolem sebe do vojáků a hajduchů a smál se jim: „Kolko drábov idě do jednej polkyly (půlměřice)!“ Již jim bylo zle a již se ku dveřím tlačili. Vtom baba vrasčitá vzkřikla pronikavě s přípecky:

„Rubejte mu v opasek!“

A hned jeden voják ťal a šťastně tak, že naráz přeťal mocnou žilku v opasku vílou darovaném. Jak žilka pukla, ochabla síla a Janošík se již přesile bez valašky neubránil. V Klenovci blíže Tisovce se stalo, u Blaha gazdy. Janošíka svázali, na vůz naložili a pryč do vězení odvezli. Nejprve na Hrachovo, starý kaštel v Rimavské dolině, pak na vranovský zámek u Sv. Mikuláše. Tu ležel v tuhém vězení ke zdi přikován, a neuvolnili mu, leda když ho vedli na mučení.

Teskno, smutno bylo mu v té kruté vazbě, ale ne o život, ne o sebe, ale pro druhy a nejvíc pro ubohý lid. Na „kamarátstvo“ trudně vzpomínal, na volnost, jak s „chlapci“ na Králově holi sedával, jak s nimi chodil zelenými lesy, po horách, dolinách, za ranních červánků, při hvězdách, za dne i při měsíčku. Ale jak si na lid pomyslil, zhluboka zavzdychal.

„Oj, ľud biedny, kto ťa už zastane? Ty, všemohúcí pane, zostaneš s ním, ty zbav ho!“

Tak se trudil, až ho před soud postavili v Liptovském Sv. Mikuláši; a tu ho na smrt odsoudili l. P. 1713 dne 13 měsíce března. Vojáky obstoupen, zástupy provázen bral se k šibenici. Naposled viděl na hory, lesy, naposled boží slunce, on mladý, plný života. Ale neklesal na mysli; statečně si vykračoval, hrdě hlavu nesl a čtyřikrát „obhajduchoval“ (obtančil) šibenici, aby páni viděli, že se smrti nebojí. —

Tak skonal Janošík, „dobrý horní chlapec“. —

III.

A mocná Janošíkova valaška?

Tu páni, jak se jí zmocnili, ukryli, zavřeli za sedmery dvéře.

Valaška však v tom vězení nezůstala. Sama počala rubat do dveří, rubala, rubala, až se prosekala. Když první dvéře prosekala, dala se do druhých, pak do třetích. A tak se ostatními prose-

inslav

kala. A jak do sedmých počala rubati, Janošíka na smrt vedli. A když valaška sedmé dvéře prosekala, bylo již pozdě. Janošík byl na pravdě Boží. Tu valaška zmizela do hor, do volných hor, a tam, kde Janošík tak rád meškával, „na Králově holi zaťatá je v topoli.“ —

A kamarátstvo?

Skonalo smutně. Když neměli Janošíka, přesile neodolali. Jeden po druhém lapen, uvězněn a skonali ve vězení nebo tak jako jejich vůdce. Nejhůře Surovec Jakub; toho na kolo vpletli a nic mu již nepomohla jeho puška samopalka s dvěma hlavněma o jednom kohoutku prostřed obou, kterou si sám urobil a jejímž hromovým dvojvýstřelem děsíval své protivníky a pocestné.

„Horní chlapci“ zhynuli, jejich jména však zachoval si lid v paměti. A nejvíce a vděčně jejich vůdce, Janošíkovo. I také místa, kde chodíval, meškával, jeho stezky, jeskyně. Ale nejvíce o jeho pokladech vypravují, jež sypal shora, z koruny dolů do kmenů starých stromů, jako Hrajnoha do dubu pod Bílou horou*, nebo do strážných zápol.**

Leckdes v slovenských dědinách visí v chatách obrázky „dobrých chlapců“ na skle malovaných, v zelených košilích, v širokých opascích a bílých nohavicích, s valaškou v ruce, s puškou na plecích. A když za zimních, dlouhých večerů starý gazda zabloudí do minulých časů, jistě začne o „horních chlapcích“ a ukáže po obrázku na stěně, na gajdoše, na Surovce točícího valaškou nad hlavou, na Hrajnohu, jenž boučky a jedle přeskakuje, na všechny ostatní, nejvíc na Janošíka. A staroch povídá o jeho síle, co zkusil, jak svůj lid mstil, co za to měl, jak ho páni utratili.

Ticho po jizbě, ledaže se tu tam povzdech zatřese. Líto všem „dobrého chlapce“. A sivý gazda mávne rukou a dokládá:

„Sto bohov prabohov! To mal za to, že sa svojich Slovákov ujímal. Ale to staré proroctvo, deti, verte, že Janošík pride zas Slovači na pomoc. A pak bude lepšie. Aby len už prišiel!“ —

Staré pověsti české, 1894

---

* V Malých Karpatech, v Pováží.

** Skalní stěna.

inslav

BLANIČTÍ RYTÍŘI

Poslyšte poslední starou pověst a její proroctví, jež pověděl slepý mládenec králi Karlovi žehnané paměti.

Hle, Blaník hora z hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně, až zachmuřeně shlíží na krajinu od světa odlehlou, na její chlumy a pláně málo úrodné. Široko daleko je patrno jeho témě, a v okolí často k němu pátravě vzhlížejí. Věštíť chmurami zahalené zlé povětří, promodrává-li se jasně, slibuje jistý a tvrdý čas.

Na temeni Blaníka zříš ve stínu buků, jedlí a smrků pradávné kamenné hradby, většinou sesuté. Mechem a křovím zarůstají; po dřevěném hradě, jehož chránily, není dnes ani památky.

Ale pod hradbami, v hoře samé dřímají ozbrojení rytíři, „svatováclavské vojsko", dřímají a čekají, až nastane den, kdy bude potřeba jejich pomoci, až budou do boje povoláni.

Pod skalnatým vrcholem Blaníku, ve východním svahu je skála v podobě lomeného oblouku. Tam je vchod do hory, tam také prýští pramen. Z něho napájejí blaničtí rytíři své koně, když za čas jednou za svitu měsíce vyjedou z hory na palouk mezi lesy pod horou. Za takové noci zaléhá do okolí temné dunění, ztlumený rachot bubnův i polnice hlas. K ránu zase rázem vše utichne, rytíři, koňstvo, vše zanikne ve skalní bráně a zmizí v tajemném lůně hory. Jen na palouce zůstává památka po nočním jízdeckém reji: přečetné stopy koňských kopyt. —

Než do skalních sklepení, kde dřímá svatováclavské vojsko, vkročil již také nejeden člověk.

Tak jednou dívka jakási žala pod Blaníkem trávu. Pojednou stanul před ní rytíř a vybídl ji, aby s ním šla poklidit v hoře. Dívka se nebála a šla. Brána do hory byla otevřena. Uzřela klenuté skalní síně, mohutné sloupy a na nich rozvěšenou zbraň. Hluboké ticho jako v kostele bylo po všech prostorách v tajemném žlutavém přísvitu. U stěn u žlabů stáli řadou osedlaní koně, za kamennými stoly v síni seděli rytíři, tváří na stůl sklonění. Spali, a koně stáli nehnutě; hlavou nepohodili, kopytem po půdě nehrábli ani ohonem nešvihli.

Dívka vešla, rozhlížela se, ale nikdo se ani nehnul. I začala zametati. Práce jí kvapem ubývalo a za chvilku všecko poklidila. Ani teď jí nikdo nezastavil, nikdo na ni nepromluvil, nikdo se

inslav

nevzbudil. Jak přišla, tak vyšla, a když se dostala domů, ptali se jí, kde tak dlouho byla.

Divila se a pověděla, že přichází jako jindy tou chvílí. Užasla, když jí řekli, že touže chvílí naposled před rokem s trávy přišla, že byla celý rok pryč. I pověděla, kde se ocitla, a tu všichni srozuměli, proč jí rok uplynul chvilkou. Třetího dne však byla dívka nebožkou.

Tak jako ji, pozval si neznámý rytíř také kováře z Louňovic do hory, aby mu okoval koně. Kovář šel, a když dokoval, dali mu do pytle smetí, kteréž ze zlosti před horou vysypal. Doma se pak dověděl, že ho již oplakávali, poněvadž zmizel beze stopy a celý rok nebylo po něm ani potuchy.

I pověděl, co se s ním dělo, a když pak pytel protřásal, vypadly z pytle tři dukáty. Teď teprv viděl, že chybil. Ihned běžel zpátky ku blanické bráně, kde smetí vysypal. Ale nadarmo. Nebylo tam smetí ani dukátů. —

Tak také vypravují o pastýři, který hledal zbloudilou ovci a sám zabloudil do Blaníka, tak o mládenci, který si rovněž tak dlouho, rok, jako ten pastýř v hoře pobyl, aniž o tom měl zdání.

Ale tomu již dávno — — Blaník uzamčen, vážně, až zachmuřeně shlíží na osamělou, od světa odlehlou krajinu, a jako by trud teskné dumy na něm a všude kol spočíval. Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo. To bude ve chvíli největšího nebezpečenství, až se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že by celé království roznesli na kopytech svých koní.

Tenkráte budou vidína znamení: uschnou vrcholy stromů v blanickém lese, na temeni hory se zazelená starý uschlý dub a pramen u skály se tak rozvodní, že se bystřicí dolů povalí. Tu pak se strhne veliká, krvavá bitva v krajině mezi Blaníkem a Načeradcem. Rybník Pustý, u něhož starý uschlý strom před bitvou zazelená, naplní se potoky prolité krve. I bude pláč a veliké zkormoucení pro ten zoufalý boj, ale Čechové se proti silnějšímu nepříteli hrdinsky brániti budou. V rozhodnou chvíli se Blaník otevře, rytíři v plné zbroji vyhrnou se z hory a svatý Václav jeda na bílém koni je povede na pomoc Čechům.

Nepřítel náhlým strachem obklíčen a jako zmámen bude ku Praze prchat a tam pak bude hrozný ten boj dobojován. A bude tak zuřivý, že krev proudem poteče od Strahova až po kamenný

inslav

Karlův most. Tu svatý Václav na bílém koni s korouhví v ruce Čechy povede a cizozemce a všechny nepřátele českého království ze země vyžene. A sv. Prokop, opat sázavský s berlou, bude mu pomáhati.

Pak nastane svatý pokoj a země česká si odpočine. Mnoho Čechů sic za těch bojů zahyne, ale ti, kteří zůstanou, budou mužové celí. Poznajíce chyby svých předků i své, budou pevně státi a nepřítel jimi o zem neudeří. — —

Toto jsou pověsti dávných let a stará proroctví o zemi naší.

Šťastná buď, ó vlasti milá, síliž se pokolení tvé, ať přemáhá všechna protivenství, ať zachová svaté dědictví: mateřský jazyk i staré, dobré právo své.

Mohutniž pokolení tvé prací a nadšením, aby pevno bylo jako skály a vždy plno síly. — —

Staré pověsti české, 1894

F. L. VĚK

Одна из тем этого многопланового романа, посвященного эпохе чешского национального возрождения, — тема дружбы чехов с русским народом. Ряд глав III и V томов романа посвящен пребыванию суворовской армии в Чехии в 1799 г. и событиям войны 1812 года. Русские воины были радушно встречены чехами как представители великой славянской державы. Особенно теплый и искренний прием оказали русским солдатам демократические слои народа. Ирасек показывает, что знакомство с русскими солдатами оставило глубокий след в жизни чехов. На всю жизнь стали друзьями русского народа герои романа Ф. Л. Век, его сын Вацлав и др.

В приведенном отрывке из III тома романа рассказывается о встрече Ф. Л. Века, его сына и их земляков, которые отправились в стан русского войска, с простым русским солдатом, тоскующим о родине и маленьком сыне.

В отрывке из V тома писатель раскрывает чувства горячей любви, которые живут в чешском народе к России, борющейся за свою национальную свободу с наполеоновскими полчищами. Ирасек показал, что даже в самые страшные для России дни в простом чешском народе, в кругах патриотически настроенной интеллигенции жила вера в силу и могущество русского народа, в его победу.

inslav

Díl III.

XIX. V zásvitu velké ideje

... Dobrušským se nechtělo s místa. Seděli v chladu a čekali také na chlapce, až se probudí. Nebe vysoko sklenuté jen zářilo; zdola, z luk dorážel ohlas ruchu a táborového hluku jako hukot vody, bělavé sloupy dýmu nesly se ještě tu tam čirým vzduchem rovně a v krajích svých vln jako vyzlacené.

Po loveckých troubách ruských myslivců spustil se lijavec tónů plné kapely. Zněl blíž, snad tam v pěchotě, mezi granátníky, a Věk opět pozorně naslouchal, z hudebnické zvědavosti i sympatie, zvukům ruského marše.

Najednou ucítil, že společníci jeho sebou prudce trhli. Ohlédl se a na okamžik se zalekl. Nad nimi stál ruský voják, nevelký, ramenatý, ne již mladý, vousy zarostlý a hrubě osmahlý. Na hlavě měl čepici; podle uniformy byl patrně kozák. U pasu visela mu křivá šavle, na prsou se mu leskla medaile. Přišel sadem, trávou, proto ho ani nezpozorovali a stanul nad nimi jako zjevení.

Ani se hned neozvali, jak byli zaraženi, ač Rus se poklonil a pozdravil, dobrácky se usmívaje, až se mu zabělaly zdravé zuby zpod knírů, mezi suchými, zcuchanými vousy. Až Věk se první ozval; odvětil mu pozdravením a vyzval ho, aby přisedl. Kozák se uvelebil neváhaje, jako starý známý, a něco hovořil. Ale nežli dosedl, odmlčel se, jak zhlédl Věkova synka, jenž ležel za Věkem víc ve stínu.

Kozák se na chlapce zadíval, překvapen, ale hned se mu, jak Věk pozoroval, měnila drsná tvář. Výraz její stával se měkčím a pohled, prve tak jadrný, něžněl, až pak jako tesknotou se zastřel. Bradatý kozák zavzdychal, pojednou vzal Věka za ruku a ptal se ho slovy i posuňky, je-li ten chlapec jeho; pak opět vykládal slovy i posuňkem, že má také takového, ukazoval, jak je velký, a opakoval vroucně, s láskou i v roztesknění:

„Ach moj Iljuša, moj dorogoj Iljušeňka! Kogda ja tčbja opjat uvižu? Ach moj Iljuša, zolotoj moj, černobrovyj!“

Věkův chlapec sebou hnul. Kozák naráz umlkl a rukou třepal a mrzel se patrně, že příliš nahlas mluvil. Ale Dobruští o chlapce nedbali. S účastenstvím hleděli na Rusa, naslouchali jeho stesku, a Věk v tom dojmu opakoval: „Pán Bog dá! Pán Bog dá!“ a podal

inslav

kozákovi ruku. Pak, aby mu jeho myšlenky zaplašil, ukázal na jeho medaili.

Rusova tvář se vyjasnila a hned živě odpovídal, že byl u Očakova, když Očakov šturmovali. Tolik Věk vyrozuměl.

„Očakov!“ opakoval s údivem, a vzpomněl na Helda, tam že také bojoval jeho bratr, a zná-li ho snad někdo z těch tisíců v lukách. Kdyby se mohl tak zeptat a doktorovi vzkázat příznivou zprávu! Ten že se bude shánět, až do Prahy přitrhnou. To se Věkovi tak kmitlo, co opakoval nadšeně jméno Očakova. Pak vyslovoval zvolna, aby kozák lépe rozuměl:

„Tam byl Suvorov.“

Stín v tváři, stesk očí ty tam, jako když vítr chmuru rozfoukne. Kozák zajiskřil očima, když zaslechl jméno slavného vůdce, jejž armáda milovala, zdvihl čapku, křižoval se a nadšeně i s hrdostí opakoval:

„A Suvorov! A Suvorov!“

A vtom zase vycenil bílé své zuby v náhlém, upřímném úsměvu a rychle se nahnul za Věka, jak postřehl, že chlapec otevřel oči. Chtěl k němu, chtěl ho pohladit, volaje naň něžně, mazlivě, ale hned zase usedl na své místo, když viděl, že se ho chlapec lekl a že se uchyluje za otcova záda. Teprve když Věk synka uchlácholil a nařídil, aby vyšel a podal kozákovi ruku, hladil Rus chlapce po tváři, po vlasech, mluvil k němu lichotivě, a zas o Iljiškovi—

Od stavení někdo zahoukl, mocný hlas něco poroučel. Kozák sebou škubl, ohlédl se do sadu, a vtom už všem ruku podával, maje patrně nakvap, a chvatně oznamoval a ukázal, že musí tam, mávl k plotu, kde čekali koně osedlaní. Naposled Vašíkovi ruku podal a na něj se usmál, ale vtom, jak mu napadlo, hned uvolnil kabát, vytáhl měšec, a vyňav stříbrný peníz, vtiskl ho překvapenému a jako omámenému chlapci do ruky.

Nežli se kdo nadál, byl už kozák v sadě a pospíchal klusem ke koním, ke kterým se již několik druhů sběhlo. Dobruští viděli svého známého, jak se vyšvihl do sedla jako ostatní, jak si zatkl píku, jak otočili koně a vyjeli. Za chvilku zmizeli za statkem mezi stromy.

Dobruští zůstali ještě chvilku ve svém zákoutí. Divili se, mluvili o kozákovi, prohlíželi ruský peníz. Věk ukládaje ho do svého váčku řekl vážně synkovi:

inslav

„Dobře si ho schováš, budeš ho mít na památku. Pamatuj si to všechno, dobře si pamatuj toho hodného kozáka a všecky ty hrdinské Slovany!...“

Díl V.

XXVI. Za velikých událostí

Daleká bouře válečná vzrušovala mysl Pražanů bez přestání. Zprávy z ruského bojiště den ze dne víc a více rozčilovaly, a všem jich bylo málo; nemohli se jich ani dočkat. V kavárnách se drali o noviny, a toho, komu se podařilo je uchvátit, jiní žádostiví zasedli dokola, aby až dočte, popadli list. Každý četl jim, nedočkavým, příliš pomalu a důtklivě, a nejednou se strhla i pře o to, na kom je řada. Dychtivost ta přemohla i zákon. Dálo se teď, co nebylo dovoleno, že vyvstal čtenář a četl nahlas všem v místnosti zprávy z ruského bojiště „list veliké armády“, zprávy z pramene francouzského nebo vypsání „Moskvy“ nebo „Kremlu“, o Rusku, o kozácích.

Pak se obyčejně strhly spory i hádky, leckde i ostré, přeostré, až do pranice o Rusy a Francouze, o „cára“ a Napoleona, neboť sympatie nebyly jedny, zvláště první čas války. Hádali se v kavárnách, v hospodách, přeli se ve společnostech o to, kdo v tom ohromném zápase vyhraje; mnozí jen jako zvědaví diváci, žádostiví výsledku, většinou však z hlubší příčiny i ze sympatie.

Byli obdivovatelé Napoleona, kteří nadšeně opakovali, co o něm psaly noviny — a první čas psaly jen devotně — kteří velebili, jaký to div, jeho výprava na Rus, kteří obdivem trnuli, když došly noviny, že Napoleon vtrhl do starého hlavního města ruských „cárů“, a vynášeli, to že je nade všechny prvnější zázraky jeho živobytí. Vzrušeně ukazovali na mapě, na stěnách kaváren teď všude pověšené, jaká to vzdálenost z Paříže do Moskvy, to že je skoro totéž jako z hlavního města Alexandra Velikého do hlavního města perské říše; že jiní slavní vůdcové, jako Karel XII., také se o Rusko pokoušeli, ale marně, to všecko teď že je jako zázrak, zázrak. A ty ztráty ruské, ty náramné jejich porážky!

To že nic není, zase Rusů obhájci, což to všecko je na neobsáhlost ruské říše; a kdyby Rusové i ke Kazani, k Saratovu nebo až i k Astrachani byli zahnáni, že budou míti dosti času, aby sebrali

inslav

nová vojska a porážky své nahradili. To že bude a je nutno, a že nebude líp i u nás, dokud Napoleon nebude poražen; kvůli němu že je kafe drahé a všecko draho, že vázne všechen obchod, protože kvůli němu není spojení s Englickem.

Co z toho budou mít, vytýkali „českým Rusům" nadšenci Napoleonovi, zvítězí-li Rusko, což jiného, ne-li nové nekonečné vojny; zato kdyby Napoleon vyhrál, bude bouřím konec, nastane pokoj, protože pak i Englicko se poddá, bude musit. A Rusové, co nám dají Rusové, zasluhují-li naší outrpnosti? Leda za to, že nám za poslední války odňali kus země a že nechali na holičkách Srby, kteří si k nim proti Turkům vzali outočiště. Ostatek, jaké hádky, že je všechno marno, Napoleona že nikdo nepřemůže, jeho genius že zvítězí zas a slavně.

To již proskakovaly zprávy zlé, že Moskva hoří, že Napoleon ji opustil. Jeho ctitelé to popírali, že to jen utrhání, a odejel-li, že tomu jistě dobrá příčina, že si zvolí zimní byt v Polsku, aby měl lepší a rychlejší spojení s Paříží, a Roztopšín, jaké to hrdinství, jaká to zbytečná, marná oběť, že dal zapálit Moskvu; Roztopšín že dojista blázní.

Než ponenáhlu umlkali nadšenci. Už bylo jisto, že nejen Napoleon opustil Moskvu, nýbrž i veškerá jeho armáda, a že není pravda, jako by v Rusku doposleda panovala pohoda, naopak že uhodily mráz a metelice.

Přátelé Rusů, a těch byla v Praze jako v národě většina, hlavně v širokých vrstvách lidu, si radostně oddechli; již odvážili se také mluvit dosud tajní přátelé, kteří, zaraženi úspěchy Napoleonovými a také úředními novinami, jejich nadržováním spojenci Rakouska, jejich citováním posměšných článků francouzských novin o Rusech, zalekaně mlčeli.

Vojna i její neklid pronikli i k „vlastenskému stolu" na Staré rychtě. Když se po vagacích sešel, panovalo první čas jako před tím divadlo. Představení dne 15. listopadu šťastně provozeno. Vybralo se i hojně peněz na chudé, ačkoliv „čeští divadelní milovníci" nedávali žádnou novinku, nýbrž opakovali Štěpánkovo „Obležení Prahy od Švédů". Nadto jaký ještě úspěch nějaký den po představení! Hereční společnosti dostalo se pojednou uznání, jehož se nenadála, dekretu pochvaly, v němž jí „zemské řízení" za dobročinné podniknutí zvláštní spokojenost najevo dalo a k další

inslav

horlivosti pro dobrou věc povzbuzovalo. To bylo uznání před veškerou Prahou a celým českým světem. I noviny o tom psaly.

Štěpánek přinesl dekret, jenž mu byl dodán prostřednictvím městského hejtmana, na Starou rychtu a rozradován ukazoval list „vlastenskému stolu". Ve společnosti radost. Jen právník Svoboda „Vládyboř" mávl rukou a pohodil hlavou, nikterak nejsa potěšen.

„Ta chvála — no," řekl, podceňuje, „no dobře, je to pro veřejnost. Ale zač ji dali, zač! Ne za to, že česky hrajeme, nýbrž za sebrané peníze. Ale když chvála, tak ještě něco k ní."

„A co?" zeptal se Štěpánek podrážděn.

„Divadlo! A když ne hned divadlo, alespoň to, abychom mohli častěji hrát, abychom nemusili po každé čekat na noremný den a nebyli pořád na vystrkově, jen tak z milosti trpěni, my, tady, doma! Sumou, abysme měli své divadlo tak jako Němci."

„Ah!"

„Ach bože!"

Vzdychl ten, vzdychl onen, nebo mávl rukou, ach, jak by bylo možná? Svoboda se však nezarazil, ale popudil. Vyskočil, zajiskřiv očima, a vykřikl:

„Ano, to musíme chtít a budeme chtít. My vyšlapujeme cestu k chrámu české Thalie, k němu chceme a musíme dojít, musíme ho míti."

Nikdo se proti němu neozval. Ten onen překvapen tou rozhodností hleděl na Svobodu, většina byla tím náhlým ohněm zanícena, a Hýbl přiložil:

„Je to pravda. Ano, pílíme k samostatnosti, tu musíme mít. A bohdá, že dojdem tam, kam tuhle náš ‚přetrhdílo' ukázal."

V tom byli svorni. Ale jinak v ten čas u stolu častěji zabouřilo. Vojna je dvojila. I tu hořeli dychtivostí, aby zvěděli nové a nové zprávy, jak se daří Rusům, jak Francouzům. Nadšeným ctitelem Napoleonovým nebyl tu žádný. Přál-li ten onen vítězství Francouzům, bylo to z lásky k Polákům.

„Vyhraje-li Napoleon, budou z toho velké proměny, to přece každý vidí. A nejprve se Poláci zmohou," tvrdil Hýbl jednou o schůzce za prosincového večera. „Budou vysvobozeni z ruské moci, spojí se zase v jedno království, a to jim přece musíme přát, vždyť jsou Polané naši bratranci. Bude o slovanskou říši víc, a z toho se každý pravý Slovan musí slušně radovat."

inslav

„A co pak Rusko přemožené!“ ostře namítl Václav, který od malička slýchal Rusy chválit, doma od otce, a slýchal jej číst sympatické zprávy o nich z Krameriových novin, a jejž za chlapeckých let oslnila ruská armáda, zvláště kozáci, tábořící poblíže Josefova u Jezbin, kdež se na ni díval s otcem, se starým Bílkem a jinými Dobrušskými.

„Přemožené, ale nezničené!“ odrazil hbitě Hýbl. „Prohrají-li Rusové, dlouho pod Francouzi nebudou. Je v nich přílišná síla.“

„Ještě Rusů nepřemohli!“ zabouřil Svoboda. „Slyšeli jste, jakého mínění je Dobrovský, co řekl? Mám to od Hanky.“

„Co, co řekl?“ volali kolem stolu dychtivě.

„No, je pro Rusy, to se ví, a řekl, že Bonapart Rusů ještě neokusil. Ty boje, co s nimi už měl, v těch že jich ještě jak náleží nepoznal, protože se o svou kůži posavad nebránili. No, a když už tenkrát po Jílovém a Frydlandu řekl: ‚l'autre grande nation!‘, co teď! Co teď! Brand von Moskau! Není to náramné, ohromné, grandiés, obětovat staré, svaté sídlo carů, aby zachráněna byla vlast? A my bysme měli přát vítězství Frankům? My Slované? Rusové jsou také naši bratranci, kacafírku třebovský, rozumíš, a tam, u nich, je naše naděje.“ A znenadání, rychle vstav, odstrčil nevěda židli a v živém rozjaření spustil svým krásným, zvučným hlasem:

Tam od východní strany duch Slavie věje,
tam rod se silných vzpíná vštípen od naděje.
Tam k Slovanům je otvor líbezného zření,
k jichž nohoum Adriat a Oceán se pění,
jichž rádlo Labské nivy, onde Donské oře,
jichž lodi sjíždí Černé, Severské i moře.

Hned jak začal, umlkal šum a pak ztichlo jako v kostele, když nadšeně říkal verše, líčící velikost Slovanstva, verše všem tu neznámé, oslňující jako náhlé světlo, osvěžující jako nenadálý vánek do dusna, pozdvihující jako hlas silného ke mdlým a ne dost důvěřujícím. Štěpánek se zalekl a plaše se ohlédl; hospoda skoro prázdná, a kdož tu seděl, byli poctiví řemeslníci. Než deklamátor náhle přestal jako když utne.

„Dál! Dál!“

„To není konec, dál!“

inslav

Dal si říci a pokračoval:

Co z toho, že nás Teuton tiskne s jedné strany,
a s druhé strany bídné žití mezi Otomany?
Až podnes stojí —

Zarazil, hned však pokračoval, improvisuje opravu původního verše:

A bude zas stát Moskva, sídlo starožitné
a stojí Petra Velikého hradby nedobytné.

Strhl se náhlý tleskot i pokřik nadšení i pobídky, aby deklamátor, jenž opět ustal, pokračoval.

„Neumím to dobře."

„Umíš!"

„Umí. Dál, jen dál!" pobízeli, nutili nedočkavě.

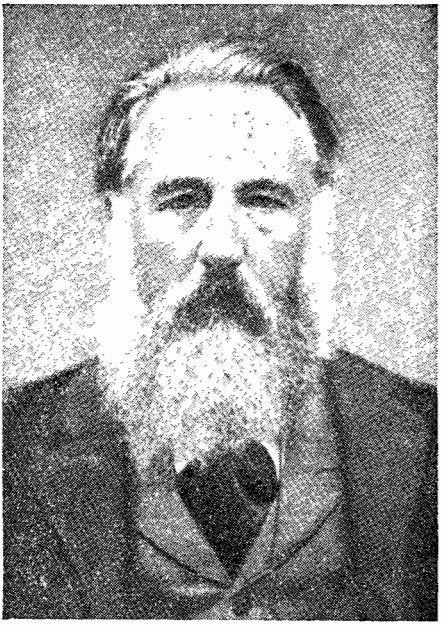
„Tak tedy, co si ještě pamatuju." Svoboda zase začal a důrazněji, s větším ohněm:

Nechť v ouřadě neb vojště cizokrajan dvoří,
nám neodcizí lásky, jaká v srdcích hoří.
Slout Čechy nebude nám více hanou
a z našich krasaviček Slovenky se stanou.[1]

Stůl byl vzhůru. Všichni, i Štěpánek, tlačili se k Svobodovi, aby říkal dál, aby pověděl, co to deklamuje a od koho je ta báseň, a v to opakoval Havelka nadšeně, deklamátorsky: „A bude zas stát Moskva, sídlo starožitné", a Václav, skočiv do kouta ke stolu, kdež seděl starý houslista s harfeníkem zpravidla co večer tu hrající, popadl tam housle, a vraceje se ke stolu, volal:

„Ruský marš! Zahraju vám ruský marš!" Zahrál, s ohněm zahrál marš, který hráli Rusové r. 1799, když leželi táborem u Josefova u Jezbin, a který si Věk otec zapamatoval, napsal a kterému i Vašíka později naučil. „Vlastenský" stůl naslouchal prostému pochodu jako nějaké vzácné skladbě, a když Václav dohrál, všichni kolem nadšeně volali, ať hraje da capo, ať opakuje. Opakoval a všichni se dali do zpěvu. Zpěvem doprovázeli Václava, rázně, až se Starou rychtou rozléhalo ...

inslav



SVATOPLUK ČECH

СВАТОПЛУК ЧЕХ

(1846—1908)

Один из самых крупных представителей чешской демократической литературы второй половины XIX века, Сватоплук Чех родился в местечке Остршедек, близ города Бенешов, в семье управляющего имением. Детские и юношеские годы Чех провел в Средней Чехии. Отец его, выходец из крестьян, был активным участником революции 1848 г. Будущий писатель рос и воспитывался в демократическом окружении и уже в детстве проникся любовью к своему народу. После окончания Пражского университета он некоторое время занимался юридической практикой, а затем целиком отдался литературе, живя преимущественно в Праге. В 1874 г. Чех путешествовал по Кавказу. Наблюдения, сделанные во время этой поездки, нашли впоследствии отражение во многих его произведениях.

В конце 70-х гг. Чех принял участие в создании журнала «Кветы», литературный отдел которого он редактировал до 1899 г. В этом журнале сотрудничали Неруда, Ирасек, Сладек и другие прогрессивные писатели того времени.

Сватоплук Чех был одним из первых чешских писателей, приветствовавших рабочее движение и отразивших борьбу рабочих в своем творчестве. Как и все прогрессивные деятели чешской культуры XIX в., Чех был

inslav

страстным борцом за освобождение чешского и словацкого народа. Через всю свою жизнь пронес он большую любовь к русскому народу и твердую веру в его братскую помощь угнетенным чехам и словакам.

Чех вошел в литературу прежде всего как поэт, но ему принадлежат немалые заслуги и в области развития чешской прозы.

Его литературное наследие, преемственно связанное с демократическими традициями старшего поколения чешских классиков, в свою очередь повлияло на творчество таких революционных чешских поэтов, как П. Безруч, С. К. Нейман, И. Волькер.

Первые произведения Чеха появились в печати в середине 60-х гг. Многие из них были тесно связаны с народным творчеством, иногда носили романтическую окраску. Молодому писателю были близки и дороги идеи национально-освободительного движения 60-х гг. В своих ранних произведениях он выступил как поборник национальной свободы и защитник интересов трудового народа.

Теме родины и народа посвящена одна из ранних поэм Чеха «В тени липы» („Ve stínu lípy", 1879). В поэме «Лешетинский кузнец» („Lešetínský kovář", 1883) он показал борьбу трудящихся против произвола иноземных капиталистов.

Расцвет творчества писателя относится к последним десятилетиям XIX в., ко времени организованных выступлений чешского пролетариата. В своих лучших произведениях, реализм которых порой сочетался с элементами революционной романтики, писатель высказывал веру в грядущее освобождение чешских трудящихся и звал к борьбе с угнетателями. Он видел «героя будущего» в пролетарии.

Со страстными призывами к борьбе за национальную и социальную свободу выступил он в поэтических сборниках «Утренние песни» („Jitřní písně", 1887) и «Новые песни» („Nové písně", 1888). Большую ценность представляют стихотворения «Подземный голос» („Podzemní hlas") и «Герой будущего» („Hrdina budoucnosti"), вошедшие в сборник «Новые песни». В первом из них поэт смело заявил о неизбежности революции, во втором он показал того, кто ее совершит. В современной писателю чешской политической лирике мало было произведений, равных по своей силе этим стихотворениям.

В 1888 г. Чех создал свое лучшее прозаическое произведение — сатирическую повесть «Путешествие пана Броучка в XV столетие» („Výlet pana Broučka do XV. století"). С неповторимым мастерством показал он в ней филистерскую сущность и антипатриотизм буржуазии и призвал следовать революционным традициям героического гуситского прошлого.

Особое место в наследии Чеха занимает поэма «Песни раба» („Písně otroka", 1894). Этим произведением поэт откликнулся на острую борьбу руководимых рабочим классом трудящихся против национального и социального угнетения. Эта борьба привлекла к себе все прогрессивные силы чешского народа и достигла крайнего напряжения в 1893—94 гг.

Поэма «Песни раба» написана в форме аллегории, ее действие происходит в некой экзотической стране, время действия автором не указано. Однако, при всем этом произведение глубоко реалистично, в нем были поставлены наиболее важные и актуальные проблемы освободительной

inslav

борьбы трудящихся и всей общественной жизни чешского народа. Большая часть песен-стихотворений, составляющих поэму, вложена в уста старого певца—раба, который обращается к своим товарищам. В суровых, полных протеста и гнева, песнях раба Чех высказал свои заветные мысли о настоящем и будущем своего родного народа. Поэма подводила читателей к единственному выводу: к отрицанию существующего общественного строя и признанию необходимости революции.

«Песни раба» были политическим оружием чешского пролетариата. Их появление не на шутку встревожило австрийское правительство, за Чехом был установлен тайный полицейский надзор.

К числу лучших произведений поэта принадлежит также поэма «Косари» — „Sekáči" (1903), в которой с большим реалистическим мастерством изображается жизнь чешской деревни и протест крестьян-батраков против эксплуатации.

Большой интерес представляет оставшаяся незаконченной поэма «Степь» — „Step" (1905—1907). В этом произведении писатель как бы подводил итог своим мыслям об исторических судьбах славянских народов. Образ русской степи во множестве вариантов проходит через всё творчество Чеха. С верой и надеждой устремляет поэт свой взгляд на Восток и в своей последней поэме. Перед ним проходят образы великих славянских поэтов Пушкина и Мицкевича, предсказывавших время, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». Поэт вспоминает в поэме и одного из своих замечательных соотечественников, чьи идеи он поднял на новую высоту, чехословацкого певца дружбы и единства славянских народов Яна Коллара. Чеху приходит на память образ гоголевской «необгонимой тройки» — классического олицетворения будущей России, ее стремительного движения вперед. В поэме «Степь» Чех приветствовал русскую революцию 1905 года и высказал мысли о том, что славяне будут в авангарде борцов за свободу и равенство народов мира.

Глубокая народность, демократическая, а в ряде случаев и революционно-демократическая идейная направленность, оптимизм и реалистическое мастерство лучших произведений Чеха определили их непреходящую ценность. Трудящиеся Чехословакии с благодарностью обращаются к прогрессивным произведениям Чеха, которые продолжают служить народу в его борьбе за счастливое будущее.

DOSTI NÁS

Jsme slabí, malí — Dosti těchto řečí!
Jen, kdo tak zoufá, sláb a malý jest.
Oč byla Hellas, byla Róma větší,
než skrání nesmrtnou se dotkla hvězd?

Jak směšné byly našich předků cepy,
když celý svět se zdvihl proti nim,
a hle! svět celý zdrtil vůdce slepý
a Táboru se klonil věčný Řím.[1]

inslav

Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů
a budem vojsko netušených sil!
Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru,
a malým ten, kdo zná jen malý cíl.

Jitřní písně, 1887

PODZEMNÍ HLAS

Za hřmotu kladiv, za sykotu páry,
za hluku tržby, za skřipotu per,
v tom všedním shonu zábavy a práce,
jenž kolem šumí z rána po večer,
my pachtíme se, hrajeme a sníme,
jde stezkou vyšlapanou žití směr;
však časem náhlé zděšení nás jíme,
když pustá vřava chvilkou oněmí:
neb slyšet mníme,
že duní cos a reptá pod zemí.

Pod věncem erbů, počernalých věkem,
vlá, šustí hedváb, blýská drahý kov,
kruh vyšňořený hodovníků pyšných
své správce haní, chválí dnešní lov,
po sličných tvářích žhoucím okem těká,
hrá jemným žertem, květem dvorných slov;
leč poduška když panstvu kyne měkká
a v temnu zámek s parkem oněmí:
tu ve snu leká
je dutý řev, jenž táhne pod zemí.

Muž vědy zkoumá pronikavým zrakem
svět vodní krůpěje i hvězdnou říš
a v labyrintu záhad smělým krokem
až v nejtajnější vniká pravdy skrýš,
tká křídla, jimiž v netušené cíle
se ponese duch lidský výš a výš —
leč náhle ustal v důmyslném díle

inslav

a s bledými naslouchá tvářemi —
to z tiché píle
jej vzrušil temný rachot pod zemí.

Ve chrámu krásy sochařovo dláto
se štětcem o náš obdiv zápolí
a hudba čarná v opojenou duši
hřmí vodopádem, ptáčkem šveholí,
zrak pěvce nadšený se hvězdou leskne
a rtoma boží zvon mu hlaholí —
Však časem přelétne stín dumy teskné
tu krásu všechnu, struna oněmí
a temně třeskne
nám v ucho hrom, jenž duní pod zemí.

Kol soptí vláda plemen, vládců, říší —
svět veškeren se zmítá v rozporu
a časem dvojí lidstva mrak se sbírá
pod zpupná hesla divých praporů,
by pro píď země, mrzký zisk a pýchu
sil smrt a hrůzu v širém prostoru —
Než mír kdy svitne na zdeptanou líchu,
vír bubnů, chropot padlých oněmí:
tu v mrtvém tichu
bouř jinou slyšíš dunět pod zemí.

Do skvostných salonů a dusných dílen,
pod klenbu sněmoven i krčmy vích,
do našich modliteb a blasfemií,
v žen štěbetání, dívek jasný smích,
do fanfár slavnostních a denních sporů,
do lehkých vtipů, frásí květnatých —
jak pod scénou hněv tragického choru,
když vině hrozí Erinnyemi,
ve hrozbě, vzdoru
zní temný hlas, jenž reptá pod zemí.

Nadarmo hlasač volá: „Prázdné tlachy,
sen fantastický potřeštěných hlav!

inslav

Řád lidstva stojí na žulových sloupech
a stráží bezpečnou mu starý mrav,
na stolci nerozborném zákon trůní
a pouty železnými třímá dav —
kde zmije zasyčí z těch kalných tůní,
hned rozpoltěna mečem oněmí — —
Dál přece duní,
ba věřte, duní bouře pod zemí.

Jen ucho skloňte k půdě kolísavé,
jak výš se nese temný hluk a šum,
jak rachot v hlubinách se blíže valí
a vyplnění chystá teskným snům,
kdy společnosti krok se v bezdno sveze,
řád její slétne jako z karet dům,
kdy ortel soudce, anathema kněze
i prosba pěvce hrůzou oněmí,
až prorve meze
ta těsná bouř, jež duní pod zemí.

Nové písně, 1888

HRDINA BUDOUCNOSTI

Když bloudím za večera městskou vřavou
neb mírem polí v západ zardělých,
vždy jako stín tou krásou luhů smavou,
tou směsí pestrou davů veselých
muž zmořený se mihne svislé šíje
ve hrubé kytli, jež ho nuzně kryje,
a když zor kalný ke mně povznese
zpod čela, prachem krytého a potem,
ten pohled bytostí mou zatřese
a do srdce mi vnikne žhavým hrotem.

Hle! jak se plíží, jistě vědom sobě,
že skvrnou je v té kráse kolkolem,
kde šťastný zástup svítí v pyšné zdobě
a veselým se baví šveholem,

inslav

kde v kočáru jenž přelét bystrým klusem,
rtík půvabný se nad ním zachvěl hnusem,
a bohatec naň pohrdavě zřel,
an smekl čapku sedranou až k zemi —
já cítím cos, jak bych se sklonit měl
před *tebou,* muži povržený všemi.

Ty, který z půdy hmoždíš v potu tváři
kvas bujný jiným, sobě černý chléb,
v důl pohřbíš se, bys jiným skvostů záři
a sobě vynes k bídné rakvi hřeb,
jenž vracíš se tu v brloh z těžké práce,
kde jiným snášels mramor na paláce,
a žiješ trudněj nežli v jařmu skot,
bys jiným uchystával zemské nebe:
Mně pálí na duši tvůj horký pot
a jest mi, jak bych odprosit měl tebe

Ty jedva času máš svá zlíbat děcka,
jichž pohled jak by vyčítal ti hřích,
neb z něho zírá beznaděj tvá všecka,
a dědice v nich zplodils útrap svých;
ty lopotíš se zítra jako včera,
dny, léta, věk svůj z jitra do večera,
rád, na chvilku-li oddechnouti smíš·
kdes v koutě chrámu, ana kněze ruka
ti odkazuje v nadoblačnou výš,
kde najdeš klid a tvá se skončí muka.

Co tobě společnost! Jí dávat musíš
v daň čela svého pot, svých synů krev,
však jejích vnad a slastí neokusíš
a neznáš člověčenství jasný zjev.
Co tobě ducha lesk a jemné mravy,
co květy něžných citů, vavřín slávy?
Ty klesáš v pustý hrob jak suchý list,
list jeden z těch, jež prší za jeseni,
jichž spoustu nikdo ani nedbá sčíst,
jež drtí krok a v pouhou mrvu mění.

inslav

Ty potácíš se tmou, klíč nemáš zlatý,
jímž otvírá se brána poznání,
duch umění v šeř bídné tvojí chaty
svou čaroskvoucí peruť nesklání,
pro tebe harfa poesie němá,
pro tebe štětec barev luzných nemá,
pro tebe nemá hudba božských zvuků,
mim nepásá svůj bohatýrský háv,
a kdybych ty své sloky dal ti v ruku,
„co s tím?“ bys dlaní v trpkém smíchu máv.

Co my jsme tobě? Naše rytmy křepčí
jen komnatami víl, jichž pleť je sníh
a ručinky nad pavučinu hebčí
a nožky lehčí křídel motýlích,
žen, tepajících jenom louten struny
a v parku nyjících za svitu luny;
my stavíme jen muže na svůj štít,
již v teple, syti, času mají dosti,
za vavřínem se honit, láskou mřít
neb hloubat nad propastmi pochybností.

Nám hedváb šustí veršem, zlato zvoní
a v perlách vzácných přebírá se řeč,
náš jarobujný rek na sněžném koni
ze zlaté pochvy tasí skvoucí meč,
má hvězdnou glorii kol božské hlavy
a shlíží s pohrdou na nízké davy —
Leč zatím moc, jež řídí lidstva děj,
v tom davu zhrzeném si skládá sama
za hřmotu kladiv jinou epopej
a za řinčení lopat nové drama.

Tys jeho hrdinou, ó muži v prachu,
tys budoucnosti vyvolený rek,
rek lepší oněch v brnění a nachu,
jichž zbujnostem se kořil mnohý věk,
rek pravý, čistý, bez vady a hany,
rek jasnější nad Artušovy many[1],
ty s lící zrytou, sluncem kalenou,

inslav

s tou zdobou mozolů na drsné dlani,
jenž místo kmentu oděn halenou
a jemuž rýč je bohatýrskou zbraní.

Rek důstojný, ač neznáš dvorných mravů
a nemáš vtipu v ducha turnaje,
ač v ponížení chýlíš krotkou hlavu,
cti nedůtklivých řádů nedbaje —
když cítě políček na žhavé líci —
jen zuby stiskneš, otec milující,
bys uchoval svým dítkám chléb a krov,
tu jasněji tvůj štít se pro mne třpytí
než nadutce, jenž pro dvé křivých slov
jde v souboj krvavý cti skvrnu smýti.

Ó, přijde čas, kdy rozprchnou se bludy,
nad lichých předsudků a šaleb rum
kdy vzneseš ty, můj bohatýre chudý,
leb věky povrženou k nebesům,
kdy ztratí cenu zlato s drahokamy
i snění líné s nicotnými hrami,
kdy oltář soběckosti rozbije
věk šlechetnější, duté modly skácí
a diadémem skvoucím ovije
skráň, operlenou potem, skromné Práci!

Nové písně, 1888

VYZNÁNÍ

Jdu k vám, ó bratři prací utýraní,
jak druha přijměte mne ve svůj kruh,
jsem dělník též, ač pero svírám dlaní,
vy dláto však a perlík, rýč a pluh.

Po r. 1890

BUĎ PRÁCI ČEST

Co věků v propast věčnosti se svezlo,
v nichž s násilím se družil klam a blud,
by urvaly a střehly světa žezlo

inslav

pro vlastní rozkoše a bližních trud,
kdy slunila se v nádheře a moci
jen zpupná pěst,
až posléz žalnou rozlehlo se nocí:
Buď práci čest!

Co pozůstalo z dějů slávy liché?
Jen cár a plíseň krví psaných blán.
Však ejhle! odkaz práce věků tiché:
tu smavá zeleň luk, tam žírný lán,
zde vesnic roj a plodných štěpů krása,
ruch čilých měst
a stavby velebné, jichž témě hlásá:
Buď práci čest!

Ó, krásné heslo, velebné a svaté,
jež střásá s šíjí rabské řetězy
a rozmetává duté modly zlaté
a nad zlobou i šalbou vítězí.
Zář jitra nového nad lidstvem vznítí
ta blahá zvěst,
až svorně celým světem bude zníti:
Buď práci čest!

Čest práci každé, která dobro plodí,
nechť mává kladivem neb řídí pluh,
ať prachem, blátem lopotně se brodí,
či pérem vzletným ať ji koná duch,
když vodítkem jí nejsou sobců chtíče
ni zištná lest —
té práci péra, pilníku a rýče —
buď stejná čest!

Čas lepší smaže mnohé heslo plané,
jímž nyní září lidstva prapory,
mír v hádku zásad, věr a stavů skane
i plemen ztichnou hlučné rozpory,
fanfáry mocných, uhnětených skřeky
i zbraní chřest —

inslav

však zníti bude všechny příští věky:
Buď práci čest!

Vy ruce pracující v horké píli
nechť jinému z ní vzchází plod a květ,
k vám jistě váha vítězství se schýlí,
vám patří budoucnost, váš bude svět.
Nechť dosud, bratří, s trním blín se vine
kol vašich cest,
jen chutě kupředu — tam vavřín kyne:
Buď práci čest!

1894

PÍSNĚ OTROKA

II.

Nuže, prolom hrázi retů,
bouře, jíž se prsa dmou,
myšlénky, jak blesky v letu
křižující duše tmou,
ohni studu, vichře zloby,
z líných snů a těžké mdloby
vyburcujte strunu mou!

Nezlíhly se moje zpěvy
v měkkém hnízdě vonných kštic,
nehřálo je srdce děvy,
na mém srdci sladce sníc,
kmitly hlavou utýranou,
když pod zpupné pěsti ranou
v krvi zarděla se líc.

Ano, z krve, slz a žluči
zrodily se v dobách zlých,
když jsem patřil, kterak mučí
násilník dav bratrů mých,
když jsem marně skřípal zuby,
vida, kterak biřič hrubý
z našich muk si tropí smích.

inslav

Vím, že nebude tu vděku,
vím, že řekne mnohý z vás:
V týraného drsném skřeku
není umění a krás,
nade rmutnou doby vřavu
povznášet má pěvec hlavu
v slunných výsot čistý jas.

Snad to pravda. Ale volně
kterak vzlétat v oblohu,
na prsou když cítíš bolně
těžkou noční mátohu?
Nemohu cit jiný pěti,
než mi bouří v ňader změti —
nemohu a nemohu!

VI.

Dost rabů zříme nablízku i v dáli,
jichž stejně jako náš jhem skloněn týl,
jež stejně potupný znak v čele pálí,
jimž stejně bič a pouto za podíl.
Ó, jest jich kolem jako písku v moři,
kdož násilníkům bídně otročí,
kdož s námi ždají vykoupení zoři
z té noci, v níž se věky plahočí — —

Leč nejtrpčí my pijem kvas,
všech nesem větší muku:
nám jařmo dvojí hněte vaz
a dvojí pouto ruku.

Tam stejná pleť i kleslé ve jhu šíje
i ruky, v nížto bič; tam stejný zvuk
z úst pochopů i zjařmených se lije
a pán i rab jsou téhož děda vnuk.
I zkazky znají, při nichž mocněj bije
jich obou srdce v náhlém souznění,
a když sok cizí v čest jich rodu plije,
tu obou krev se stejně rozpění — —

inslav

Však jiná pleť v prach šlape nás,
nám laje v cizím zvuku —
nám jařmo dvojí hněte vaz
a dvojí pouto ruku.

V pleť barvy jiné šleh se pádněj vrývá
a více bolí, cizí rukou dán;
jen bázlivě nám slovo ze rtů splývá,
neb zvuk ten cizí nenávidí pán.
Vše odporno mu, co nám všeho dražší,
zač on se nítí, protivno je nám,
on z nás by vyrvat chtěl hlas krve naší
a předků znak a zvěst a jazyk sám —

Všech nejtrpčí my pijem kvas,
všech nesem horší muku:
nám *cizí* jařmo hněte vaz
a *cizí* pouto ruku.

VII.

Pán své důtky pozdvihuje,
mává jimi nad hlavou
a hvizd jejich doprovází
řečí zpupně rouhavou:
„Hle, jak pestří se tu pěkně,
v ladné uzly spleteny,
jako chumáč hadů lesklých
různobarvé řemeny!

Slyšte, v libé harmonii
jak tu syčí každý had!
Hle, jak svíjí se a kroutí,
vašich plecí chtiv a zad!
A by zub jich jedovatý
méně krutým zdál se vám,
každé z peřestých těch zmijí
blahozvučné jméno dám.

inslav

Hle! ten řemen sluje Vírou,
jež vám káže: Zbožně nes
jho svých pánů, za trud žití
v ráji najdeš věčný ples.
Ten zas řemen zovu Právem,
z vašich vlastních zad je drán,
vaší krví na něm psáno,
že jste raby a já pán.

Zde ten uzel Zvyk je dávný,
onde Mrav, tam Osvěta,
ba, i Svobody se fraška
s Pořádkem zde proplétá.
Lidskostí ten řemen sluje,
onen Pravdou, Ctností ten —
Co tu svistí v mojich důtkách
na vybranou krásných jmen!

Otče, pradědy již vaše
mrskaly ty řemeny,
ctihodný jsou odkaz věků,
staletími svěceny;
chcete-li však, vyfintím je
hrstkou zbrusu nových cet —
jen když pěst má jimi vládnout,
cítit je váš bude hřbet!“

VIII.

Rabkyně, jež nad robátkem
stinnou chýlíš snět,
v lianovém lůžku vratkém
houpajíc své lásky květ:
odlož kvetoucí tu snítku —
naučím tě raba dítku
kolébavku pět:

„Zavři milá očka svoje,
malý otroku!

inslav

Již se třpytí hvězdné roje
v temnomodrém vysoku;
tvoje máť, den celý štvaná,
oddechnout smí, utýraná,
tobě po boku.

Co tě vinu do náručí,
ve tvůj dětský sluch
otrocká již hudba zvučí:
pout mých drsnohlasý ruch.
Nevíš, ach, co v sobě chová,
že i tobě již se ková
železný ten kruh.

Zrodila jsem tebe s bolem,
a přec nejsi můj,
jako sup již krouží kolem
nedočkavě katan tvůj;
sotva rozum tvůj se vzbudí,
do dětské již zatkne hrudi
dravý pazour svůj.

Přikážou ti v prachu ctíti
strůjce našich běd,
dětský duch již bude píti
rabské povrhlosti jed,
abys pána stroj byl pouhý,
každé volné dumy, touhy
zdusí v tobě sled.

Až pak vzrosteš v jaré síle,
modla snivých děv,
odvlekou tě s jařmem v týle
pod pánovu korouhev,
poženou tě v pusté vřavě
prolít k jeho cti a slávě
mladou, vřelou krev.

Potem svým proň půdu rosit
budeš do hrobu

inslav

neb — hůř ještě! — mrzkou nosit
drábův jeho ozdobu,
budeš vlastní bratry týrat,
pomůžeš mu vaz jim svírat
v tužší porobu.

Temné křídlo noční můry
ochvívá tvou líc,
nad palmami s modré hůry
svítí hvězd už na tisíc;
zavři očka, moje kvítí —
k potupnému raba žití
neprobuď se víc!"

IX.

Pánu našemu zlý soused slovem zhyzdil čest,
a pán hněvem zjitřen chystá na zbujníka trest;
ze svých rabů vybral juny statných, jarých těl,
zavěsil jim na bok meče, na plec touly střel.

Oblékl je v rudé cáry, péra vlají s hlav —
za něho tak stoupá k boji zotročilý dav.
Táhnou němi, s čelem chmurným — jejich stud a stesk
topí saki z tykve duté, tlumí bubnů třesk.

Krvavý na žerdi prapor před nimi je vzpjat,
zkrvácený topor vzadu třímá divý kat;
kdo by vypjal vzdorně hlavu, váhal jíti vpřed,
pod sekyrou jeho děsnou zachropotí hned.

Již se střetli. Ston a skřeky — krve potoky —
v slepém vzteku otrokové vraždí otroky,
navzájem se sápou lítě jako dravá zvěř,
a již hlavy sokům sťaté nesou za kadeř.

Vítězně s tou vracejí se žatvou krvavou,
pánu svému k nohám kladou hlavu za hlavou,
volajíce: „Sláva tobě!" z jitra do noci,
a on praví pohrdlivě: „Dobře, otroci."

inslav

Zbraň jim béře zkrvavenou, v pluh je spřahá zas,
důtkám hlídačů zas dává hřbet jich na pospas,
z nich se mnohý ještě chlubí: „Já tam také byl,
v hrdinném za pána boji svoji krev jsem lil.“

Já však svírám pěsti hněvem, stud mi žehá líc.
„Dál jen padej, biči!“ volám. „Řež tu láji víc,
které bez bázně smí trapič v ruce dáti zbraň,
která za sebe mřít nezná, k jatkám kráčí zaň!“

XI.

Vizte, na mozol mé dlaně
náhodou si motýl sedá,
křídla skvoucí kloní, zvedá,
a já hledím zadumaně
na tu břitkou protivu:
na pleť drsnou, svrasklou, temnou,
plnou jizev práce krušné,
a ty lehké tvary vzdušné,
barev skvostných září jemnou
oko zvoucí k obdivu.

Nenadálý vzácný hoste,
ustrojený v zář a duhu,
milče kvetoucího luhu,
bytí tvé, ó živý skvoste,
jeden za rozkoší let:
tančíš jenom po své zvůli
v modru volném, v teplém jase,
v lásky hrách a věčném kvase,
k němuž v nektar svůj ti zdůly
kyne sterý zářný květ.

Zatím v poutech ruka moje
z jitra k noci každé chvíle
lopotí se v krušném díle,
věčně splývá ručej znoje
s čela, jež se kloní v prach;

inslav

jako v pluhu skot se vleku
pod ranami kruté pěsti,
neznám požitku ni štěstí,
neznám životního vděku,
znám jen péči, žal a strach.

A přec nezávidím tobě,
motýle, tvůj život hravý,
požitku rej kolotavý,
ve zlata i nachu zdobě
stálý tanec lučinou.
Nechtěl bych jen sníti líně,
za rozkoší jen se honit,
osud náš: pot v půdu ronit,
po zdárných jen činech v klíně
ruce sladko spočinou.

Rád bych volnou, čestnou prací
ducha napínal i paže,
prací, již hlas vlastní káže,
která pracovníku splácí
žitím hodným člověka;
prací, která k dobru čelí,
z níž by vzaly plody zlaté
bytosti s mým srdcem spjaté,
lid můj, vlast, sbor lidstva celý,
budoucnost i daleká.

Ale kletbou práce tato
ujařmená, ponížená,
znesvěcená, znevážená,
kterou rámě, poutem spjato,
koná v důtek svistění,
která pro jiného vije
rozkošnictví mrzké kvítí,
jíž on za mzdu v čelo ryje
korunu z všech trnů žití
a své moci znamení.

inslav

XIX.

Utichni teď, struno lkavá,
ticho, bratři, — ztajte dech!
V ruku schyl se dumná hlava,
zbystřete svůj vnitří slech.
Slyšíte-li? Slyšíte-li?
Z blízka, dáli temný zvuk,
jak by poutem zařinčely
miliony rabských ruk.

Celý svět širý
v nejzazší kout
temnou zní hudbou
železných pout.

Nespočísti, nedozříti,
co nás rabů chová svět,
myriady druhů cítí
stejnou bídu, stejný hnět —
berou nám i slova těchu,
trpět musí otrok něm:
Ticho dole! Ani vzdechu!
Kdo jen špetne — roubík sem!

Ale jen rukou
potřebí hnout,
ozve se v tichu
řinčení pout.

Zvuk ten mluví zvláštní řečí,
jíž moc žádná neztlumí,
jíž rab rabu tajně svědčí,
jíž pán bledna rozumí;
řeč ta nejednou mu plaší
s hedvábného lože sen,
děsnou vidinou ho straší,
že je blízek pomsty den.

inslav

Tekel ufarsin[1]
v hodovny kout
píše mu ruka
v řinčení pout.

Darmo šepce: „Liché zvěsti!
Bez meče je rabská dlaň,
proti bouři holých pěstí
ochrání mne strážců zbraň“ — —
Až hněv milionů vzplane,
stráž tvá hrůzou oněmí,
okov ruky upoutané
v děsnou zbraň se promění.

Na lebky katů
v strašlivý soud
stotisíc třeskne
železných pout.

XXIII.

Stojím v šeru na skalině, o niž v pěnu déšť a kouř
duníc, ječíc rozbíjí se nesmírného vodstva bouř.
Jako pták, jenž marně hledá k odpočinku výspy tes,
pohled můj se teskně hrouží v mlhy, vln a mraků směs,
která přede mnou se temně v nedohlednou dálku stře
a sta smrštěmi a víry jak var čarodějnic vře.

Stojím tu a hledím nazpět: V otroctví tam úpí zem.
Hledím kpředu: Vše tam hrozí živlů běsným zápasem,
orkán divoký se blíží — již mi vzlétá vichrem vlas,
i pout mojich řinkot věčný přehlušuje bouře hlas.
Leč já spoutané ty ruce zdvíhám příští spoustě vstříc
polibkům jak děvy drahé šlehům větru vzdávám líc:
Vítej, bouře! Vykoupení slibuje tvůj strašný zjev,
ve tvém rachotu a řevu svobody mne zdraví zpěv!

A teď náhle moje zraky jiskřivou se plní mhou,
cítím, jak mi náhlým ohněm tepající skráně žhou,

inslav

kterak z nitra na rty chvějné blouznivý se dere šum
a jak duši do budoucna nesou křídla věštích dum.
Mžiká cosi, kmitá, svítá za tou spoustou chmur a pěn,
jak by jimi prozařoval těžce rodící se den,
v červánky se hrůzně krásné šatí burný moře hněv,
jak by místo vody šíro kypěla tam krev, jen krev.
Nestvůrných vln hřbety táhlé, rozšlehané vláhy prach,
smrště divoké a strže — všechno děsný krve nach
a sluch plní třesk a hlomoz, jak by v boji bez mezí
srážely se lítých vojů oštěpy a pavezy — —
Však již mlknou bubny bouře, zvolna ztišuje se var
a štít slunce zlatoskvoucí z růžových se klube par.
Vítězný den chmury, mlhy ve vlající cáry rve,
jako v třáseň poletavou zdrané bitvou korouhve,
prchá tmy voj rozprášený, ztichl bouře divý ruch —
modré nebe, modré moře, mezi nimi zlatý vzduch...

Však co vidím? Břeh tam nový — Smavé slunce příštích let
ozařuje jiný, svěží, bouří obrozený svět.
Palem rozkošná tam zeleň, v níž se blýská zlatý plod,
obhlíží své libé vděky v modré hloubi klidných vod
a kraj úrodou se směje, květ a klas a hrozen rév,
k pilné práci, vděčné sobě, veselý se druží zpěv,
ruce všechny bez okovů, jasna pracovníků tvář,
nikde dozorce tu s bičem, otylý ni otrokář,
nikde neblýská tu kopí sveřepého vojína,
pokrytecky nebělá se řásné roucho bramína,
nikde nepsána tu v čelo různou hlinkou črta kast,
rovných, volných spolubratří svobodná tu, šťastná vlast.

Svorně mísí se v těch davech různá pleť a různá řeč,
nechoulí se žebrák v hadrech, neplá skvostem zahaleč,
ty tam bídné chaty, všude prostý sic, však ladný dům,
a kde palác lepotvárný hrdě strmí k nebesům,
není sídlem sobců zpupných, otvírá své brány všem,
o svých osudech sám volně rokuje tam lidu sněm,
záře vědění ztad šíří blahodárný vůkol svit,
uměním se duch tam kochá, zušlechťuje lidský cit — —
Okovů mne vzbudil řinkot — prchá světlý, krásný sen,
v trud a hanbu přítomnosti smutným zvratem proměněn...

inslav

Avšak ne! To nebyl pouhý přelud roztoužených snů,
Vím, že svitne, svitne jistě jitřenka těch lepších dnů
že se vidiny té skvělé aspoň velká splní část.
Mně sic nebude již přáno jařmo staré šíje střást,
moje hlava posivělá v otrockou se skloní prsť,
otrocké mi ruce hodí k poutům v hrobě hlíny hrst,
ale vy, ó druzi mladší, než vám skončí věku běh,
vystoupíte nohou šťastnou na svobody slunný břeh.
Protož nechať v temnu vůkol bičem vládne hrubá pěst,
každý v srdci věrně chovej budoucnosti blahou zvěst,
všechny mysli sdružuj pevně jedné, velké snahy svaz,
všechny síly sbírejte se, až je k činu svolá čas,
pobratří se lidstvo volné, klesnou pouta otroků
a též prapor náš, ó bratři, zavlá v jasném vysoku.

1894

STEP

I.

Jak noční chmurou zahalil
stín černý slunce Východu
a příšerně se rozvalil
po širošírém obvodu.

To nebem letí se všech stran
dav temných mraků sveřepý
a s jekem hrozným uragan
tam v dálce zuří nad stepí.

Vše divo tam, vše černo tam;
leč každou chvíli prožehá
tu mračnou spoustu sirný plam
a hromu třesk sem zalehá.

Zde z tichých luhů Západu
zřím v divoký ten stepi vzruch
a v nitra mého neladu
směs víří teskných dum a tuch.

inslav

„Kdy ustane tvé zuření,
ó bouře, plná hrůz a běd?
Či po trav květných zeleni
tam v šíru nezůstavíš sled?

Zda slibné zničíš osení,
chat urveš krov i cerkví báň?
Zda v poušť tvá zloba promění
tu neobsáhlou žírnou pláň?

Zda velké říše zdrtí krov
a trosky kolem rozvěje,
zda v její cti a moci rov
i naše pohřbí naděje?“

Tak volám — čekám útěchu — —
Leč tam zní dál jen bouře jek
a zde jen sykot posměchu,
jen škodolibý soků skřek,

i přátel hnus a děs i hněv
nad vraždou, lupem, plápoly,
jichž odporný a divý zjev
sám stíhám v bolu, nevoli.

Však náhle z beznadějných dum,
skráň tyčím, chmuru stírám s řas,
neb vzdechů všech a chechtů šum
ten přehlušuje velký hlas:

„V náš dusný svět vlá čerstvý dech
z té divé bouře Východu,
ve hrůzách svých a bolestech
nám rodí novou svobodu!“[1]

II.

Již mnohý rok zde na vltavském břehu,
kde tělo vězníla klec šedých stěn,
mou duši v nespoutaných křídel šlehu
do dálky častokrát nes volný sen.

inslav

Když znavily mě zjevy každodenní,
z mansardy vyhlídka na žlábky střech,
ten obzor těsný, známé ulic vření
a všechny malé boje našich Čech,

já přivřel oči: tu se duší mihlo
trav moře valné, jehož rackem drop,
kde všechno vůkol v nekonečno tíhlo:
step zelená i blankytový strop.

Kdys, jarý hoch, jsem o té dálce sníval,
že chumelí se po ní jezdců šik
jak moře zbouřeného běsný příval,
v něm blýskaly se hroty dlouhých pik.

Mrak tento živý letěl uraganem
z mlh východních na luhy Západu,
a starý svět pod mladým jeho vanem
se chvěl a drobil do svých základů...

Kam poděl se ten přelud junných roků?
Zbyl z jeho lichých třpytů lesklý střep,
a s posměchem teď starci prsty soků
v dál ukazují: „Vidíš svoji step!“

Však českou lebku mám — je těžkou prací
sen vypudit, jenž zachytil se v ní;
nechť šedivá se kloní s resignací,
přec dosud toužebně o stepi sní.

Step zelení se dál v mou zimu stmělou,
jak druhdy těšila mé jarní dny;
sním o ní nadějně a s láskou vřelou,
nechť jinak zbarveny jsou moje sny...

III.

Nuž, zaletím zas v onu stranu,
kam tíhnou perutě mých snů;
zas k vírné jízdě po buřanu
jak za jarních mé písně dnů

inslav

svých koní trojku bělohřivou
pod pestrou dugou v půlkole
se zvonce melodií snivou
ty půjč mi, drahý Gogole!

Ať jak loď moře neobsáhlé
můj vozík letem brázdí step
a jamščíkovo pění táhlé
zní blahoteskně v podkov tep,
ať milým, známým zdávna hlasem
do trapných dum a citů mých
s tím zvoncem trojky cinkne časem
tvůj perný vtip a zdravý smích.

Již za vichřicí bělohřivou
na vzdušném letím povoze;
zrak bezmeznou se toulá nivou
a po nesmírné obloze,
kde nad obláčky modré věčno
sní dumu svoji tajemnou
v dál mizí dvojí nekonečno
i vůkol mne i nade mnou.

Jak pěnou bělí travin moře
svým chmýřím kovylový klas,
v houšť květů hluboko se noře
zem jedva brázdí tarantas,
tiš ruší leda křídla třepot,
skřek vyplašených havranů,
a minulosti teskný šepot
zní z mohyly a kurhanu.

Teď v lán se mění stepní tráva,
prsť tučnou deptá podkova,
zde švarný sekáč kosou mává,
jak slavil ho zpěv Kolcova,
dál mezi hrušemi a bezy
zřím chatek hejno, šedých střech,
před každou štíhlé září slezy
svých růží spoustou v barvách všech.

inslav

Kmet kobzar za vsí v chochlů kole
(as poslední) tu hraje, slep —
Již za mnou mizí ves i role
a přede mnou zas čirá step,
zas moře trav pod nebes bání,
v němž zní jen větrů bujných šum,
a nekonečnou letí plání
jen sama kibitka mých dum.

Nuž, dál, má písni! Bystrým letem
do lýka verše nasbírej
klas kovylu se slezu květem
a snímej stepi zjev a děj,
sen minulosti, zašlé žití
i dnešní bouře jek a šleh; —
snad v mrákotném tom vlnobití
též budoucna se kmitne břeh.

IV.

„Můj vozík suchým Oceánem plove,
jak v peřej loďka v zeleno se noří,
v luk šumných vlnách, v pestrých květů moři
ční buřanu jen výspy korálové.“[1]

Tak, Mickiewiczi, tvoji čarní snové,
když v dálce zočils nade Dněstrem zoři,
na tvoji hlavu, pochýlenou v hoři,
zde slétaly jak rajští motýlové.

V těch nekonečných plání mrtvém hluchu
sluch napínal jsi s toužebnými stesky,
zda z Litvy hlas ti pozalétne k uchu.

Leč snad již dar, jejž z této smutné stezky
své Polsce přivezeš, ti kmital v duchu:
to krymských perel nesmrtelné lesky.

V.

Pouť trudnou polských pěvců králi
zde vytknul jařmitele kyn,
však mocí touž sem honěn v dáli

inslav

též Rusi nejvzácnější syn:
Kdys kibitku zde jinou zřela
v jih letět Dněstru rovina,
když do žhavého líbal čela
van stepí psance — Puškina.

Tak v pustinách, kde mnohé věky
hřměl bratrského boje řev,
kde ruměnila step i řeky
kdys kozácká a lešská krev,
tlak stejný jedné kruté ruky,
týchž násilnických důtek šleh
vás, oněch dravých bojců vnuky,
ve stejných sblížil okovech.

A k stejnému vás vedla cíli
v těch temnotách dum velkých zář,
a když pak, plni jaré síly,
jste setkali se tváří v tvář,
dva zraky stejnou dumou blýskly,
dva objali se duchové,
a bratrsky své ruce stiskli
dob lepších, volných věštcové.

VÝLET PANA BROUČKA DO XV. STOLETÍ

Герою сатирической повести Чеха, пражскому домовладельцу Матею Броучку приснилось, что он, пройдя длинным подземным коридором, очутился в гуситской Праге. В повести показано, как, попав в обстановку всенародной борьбы, Броучек, типичный представитель чешской буржуазии, трус и изменник, предает интересы родины и народа.

Исторически правдиво изображена в повести знаменитая битва у Витковой горы близ Праги (14 июля 1420 г.), когда табориты и пражане одержали победу над численно превосходящими их войсками католической реакции, во главе которых стоял претендент на чешский трон, германо-римский император Сигизмунд (1368—1437).

XIII.

S ulehčenou plecí i myslí chvátal pan Brouček dále. Ale brzy zabloudil v neznámých ulicích středověké Prahy, takže teprve po dobré hodině šťastně dostihl domu U bílého zvonu.

inslav

Cestou potkával jen málo lidí; patrně byla valná většina u bran a zdí městských. Také dům Jankův byl jako vymřelý. Ani v průjezdě, ani na paláci nepotkal pan Brouček nikoho a nezaslechl ani známky života. Domšík byl zajistě mezi bojovníky pražskými a ženské meškaly bezpochyby také někde u brány nebo na zdi městské, očekávajíce výsledek boje.

Pan domácí pospíšil tedy přes pavlač do komořice. Byla otevřena; když vešel, spatřil v ní starou Kedrutu, kropící podlahu a postel z nějaké cínové nádobky.

Když ho zočila, stanula chvilku jako přimrazena, s největší hrůzou v obličeji; pak sebou trhla a rychle jako vyplašený netopyr unikla kolem něho z ložnice.

„Proklatá modlářka — že tu po mně vykrápěla svěcenou vodou!“ — rozzlobil se pan Brouček.

Ale vtom zalehl sem zvenčí opět mohutný hlahol zvonů a pobídl pana Broučka — tušícího v něm poslední zvonění na poplach proti vítěznému snad již nepříteli — aby si pospíšil s převlékáním.

Rychle tedy svlékl středověký oděv, odhodil konečně s ošklivostí a ulehčením i červenozelené nohavice do kouta a převlékl se do svých, teď dvojnásob milých šatů moderních, které ležely vycíděny na truhle. Našel vedle nich i své boty; porouchaná byla náležitě spravena a obě nově podraženy.

S uspokojením obul se do nich, odhodiv dvojbarevné škorně s nevolí do kouta k nohavicím. Přestěhoval pak ještě své hodinky a ostatní movitosti z kapsáře a středověké tobolky nazpět do svých poctivých kapes a nakonec zahalil se od hlavy k patě do kloku, aby zakryl svou novověkou úpravu. S posupným výsměchem spočinul při odchodu jeho zrak na ohromné posadě s truhlíky a stupátkem, zdrtil přesýpací hodiny ve výklenku pohledem nejhlubšího opovržení a bez nejmenšího žalu, ne-li radostně, rozloučil se s pošmournou komořicí. Tiše plížil se pavlačí a mázhauzem kolem zavřených dveří světnice, u nichž mu přece trochu prudčeji zabušilo srdce při vzpomínce na sličnou Jankovu dceru. Ač lahodný obraz její příhodami na Špitálském poli a na Vítkově do pozadí byl zatlačen, přece posud milostně zářil v toužebném jeho nitru. Avšak ani obraz ten nedovedl jej zadržeti v surovém středověku. Rychle sestupoval z mázhauzu po schodech a bez překážky dostal se z domu.

inslav

Poněvadž bylo na náměstí opět více lidí, dal se z opatrnosti nazad ulicí Týnskou a potom uzoučkou, pošmournou uličkou příční, která vede vlevo ke Kozí ulici. Chvátal nedočkavě, kochaje se již přeblahým pomyšlením: dostane-li se skutečně z královského domu podzemní chodbou nazpět pod Vikárku a do zlatého století devatenáctého! Umínil si také, že nyní v klenotnici krále Václava[1] každým způsobem všechny své kapsy naplní nejvzácnějšími skvosty...

Minul nějaký pivovár — patrně onen z Domšíkova vypravování nám již povědomý pivovár V pekle — a vyšed z uličky, namířil již napříč k ulici Hrnčířské, nynější Kozí, aby se dostal známou postranní brankou do zadní části královského domu U černého orla. Na předsevzetí, že se zásobí na výpravu do tajné chodby potravinami, zapomněl v nedočkavém spěchu svém docela.

Leč najednou se zarazil. Po celou cestu Týnskou ulicí a příční uličkou slyšel jako dříve v komořici hlahol zvonů, však stále silnější, jako by zvon za zvonem po celé Praze vpadal do toho hřímavého chorálu; nyní uslyšel také křik, hluk a řinkot z Dlouhé třídy a spatřil, že lidé z náměstí spěchají v tu stranu.

Chtěl rychle přeběhnouti ke Kozí ulici, ale bylo pozdě. Z Dlouhé třídy vyrazilo několik jezdců, máchajících dlouhými kopími, na nichž se třepetaly korouhvičky s červeným křížem. Vítězní křižáci!

Pan Brouček, seznav, že prchnouti již nemůže, ve smrtelných úzkostech klesl na kolena a zvolal německy: „Milost! Jsem Němec! Jsem katolík!“

„Zabte Němce papežence!“ vzkřikli jezdcové česky skoro jedněmi ústy a jeden napřáhl kopí po panu domácím.

Ten uskočil a zvolal teď česky: „I pro pánaboha — vždyť nejsem Němec ani katolík! Jsem Čech a husita!“

Jezdci v udivení zastavili koně a valný pěší dav ozbrojených i neozbrojených mužů, žen i dětí, který se zatím vyvalil za nimi z Dlouhé třídy jako bouřící pestrá řeka, obklíčil ubohého se všech stran.

„Proč jsi tedy volal německy, žes Němec a podjednou??“ vzkřikl jeden z jezdců, který se zdál býti vůdcem ostatních.

„Myslel jsem — myslel jsem — že jste němečtí křižáci — podle těch korouhviček,“ koktal strachem pan Brouček.

inslav

„Haha! Ty jsme ukořistili na Špitálském poli, kde Bůh právě nám popřál slavného vítězství. Ale ty jsi Němec. Vždyť ani dobře česky neumíš!"

„Ne — ne! Přísahám, že nejsem Němec — byl jsem jen dlouho v cizině. — Dosvědčí vám to Domšík — Janek od zvonu —".

„Janek od zvonu? Ten položil dnes život svůj za pravdu a vlast, vytrhnuv s námi Staroměstskými v prních řadách z brány Poříčské a smrtelně byv raněn v krátkém boji pod Vítkovou horou. Jsi-li opravdu Čech i husita, kterakže smíš vysloviti jméno hrdinovo týmiž mrzkými ústy, kterými pro bídný strach smrti právě jsi zapřel rod svůj i víru svou?!"

„Skolte lotra! Ubijte zbabělce!" křičel dav kolem a zuřivě vrhal se na Broučka. Ten chtěl uprchnouti, ale někdo ze zástupu zachytil jeho klok, jenž prudkým škubnutím s něho se svezl, a pan domácí stál pojednou před udiveným množstvím ve svém moderním obleku.

Úžas na chvilku zarazil útočníky; tu a tam ozval se také chechtot.

„Hle, hle, co se vyklubalo z nevinného kloku!" zvolal vůdce. „Chceš-li ještě nyní lháti, že jsi našinec? Spíše zdá mi se, že patříš k té poběhlé sběři křižácké, žes vyzvědač Zikmundův[1]"!

„Přísahám, že nejsem vyzvědač! Jsem Čech a Pražan —"

„Ej, nuž, jsi-li Pražan, náležíš k soudu našemu. Svažte jej a veďte na radnici! Kat a skřipec vyzvědí na něm pravdu."

Pan Brouček, slyše o katu a skřipci, zesínal jako mrtvola. Klesl opět na kolena a v úzkosti hrozné koktal: „Smilování! Nejsem Pražan! — Jsem sice v Praze rodilý, ale dal jsem se k táborům — jsem cepník hejtmana Chvala[2] — sám Žižka vám to potvrdí —"

„Haha, tábor — takový zbabělec!" — „Ještě si blázny činí z nás!" — Hyběti tobě, křižáku a lotře ohavný!" — Takové i jiny výkřiky hněvu zněly vůkol a pan Brouček byl zle by pochodil, kdyby nebyl znova hlas vůdcův ukrotil rozkacené množství: „Ustaňte! Hanebník ten proměnil se sice za malou chvilku z Němce a katolíka v Čecha a husitu, poté z Pražana v tábora a kdož ví, več ještě se promění, i zasluhuje smrti již pro tyto nestoudné, zbabělé lži; avšak vydává-li se za Chvalova cepníka, odevzdáme ho na soud táborům."

inslav

„Však prý Žižka právě s Pražany vjíždí Horskou branou do města," zavolal někdo z lidí, kteří sem přichvátali z náměstí Staroměstského.

Pan Brouček byl tedy jen svázán a vlečen i strkán na náměstí.

Tam hrnuly se také již z Celetné ulice a odjinud pestré davy, živě rozmlouvajíce, druh druhu nové podrobnosti skončené bitvy vypravujíce, mnozí hlasitě plesajíce nebo písně vítězné prozpěvujíce. Bylo viděti starce na zemi klečící a ruce s horoucím díků činěním k nebi spínající. Panny přinášely zelené ratolesti a čerstvé kvítí, jež přijíždějícím a přicházejícím bojovníkům v cestu metaly nebo na přílbice a čapky připínaly. Na všech obličejích zářila nesmírná radost a v četných očích třpytily se slzy blaha. Samo slunce, ač již k západu se klonící, zdálo se, jako by svítilo svátečním, radostným jasem, v němž i domy zářily jak v blaženém usmívání. Všecko město rozléhalo se plesem, do něhož zvony se všech věží pražských mísily hřímavou, jásavou svoji hymnu.

Ozbrojenci s nešťastným Broučkem stanuli na rohu Celetné ulice, kde kupilo se lidu nejvíce. Na vysokém patníku, jenž měl podobu ohromné, nestvůrné hlavy, stál tam nějaký účastník nebo svědek celé bitvy a právě líčil naslouchajícím davům daleko zvučným, radostně pohnutým hlasem šťastný obrat její.

Ubohý pan Brouček ve svých úzkostech smrtelných neměl bohužel smyslu pro jeho řeč, a proto uvádím zde stručně jen to, co nám o slavné bitvě boží na hoře Vítkově historie zaznamenala.

Jak víme, podobalo se tam již zle k porážce; ale bystrý vojevůdce včas přispěl hajitelům ohroženého srubu na pomoc a vyslal část svého lidu vinicemi po stráni polední, aby vpadli do boku nepřátelského vojska na hřebenu hory. Ti vyřítili se nenadále od jihu i od východu na Míšňany, kteří pro úzkost horského hřebenu a příkrost stráně ani s koňmi svými se otáčeti, ani na pěší útočníky rozjeti se nemohli a tlačeni jsou k vysokému srázu půlnočnímu. Nemohouce odolati strašlivému hromobití táborských cepů, jezdec za jezdcem i s koňmi káceli se do hlubiny, v pádu vazy a údy sobě lámajíce. Také ti nepřátelé, kteří s ořů byli sesedli a na srub doráželi, nemohouce couvati pro nával zadnějších a ustavičně zasypáváni kameny a deštěm šípů se srubu,

inslav

dílem do propasti jsou sráženi, dílem v zoufalém útěku sami dolů se vrhali a většinou s rozbitými hlavami nebo roztříštěnými údy na balvanech nebo úpatí vysokého srázu ležeti zůstávali; z těch konečně, kteří zbyli na hoře, jedni boje se vzdávajíce na zem sedali a toliko štíty proti kamenům a střelám se srubu pršícím se chránili, jiní marně se bránili proti rozlíceným cepníkům, jejichž pádná zbraň se strašlivým svistem a třeskotem jako smrtící železné hromobití na hlavy jejich dopadala.

Křižácké vojsko dole na Špitálském poli, vidouc úžasnou tu metelici táborských cepů na hřebenu hory, vidouc obrněnce a koně s vysokého srázu střemhlav se kotící a jiné po mírnějším svahu v šíleném úprku dolů prchající, — vidouc netušenou tu krvavou porážku Míšňanů na vrchu, bylo zachváceno náhlým zděšením, a když vtom i bojechtivé zástupy Pražanů a selských jejich spojenců, vytrhnuvše již před šťastným obratem boje na Vítkově z bran Horské a Poříčské, hrozivě do boku jeho zaměřily, majíce v čele nadšeného bledého kněze, nad jehož hlavou velký paprskový kotouč s velebnou svátostí třepetavě se blýskal v záři sluneční jako světlý zjev nadpozemský a jehož hlasnou modlitbu provázel zvuk zvonce, jímž kadeřavé pachole, komží oděné, před svátostí potřáslo: tu pohnulo se pojednou vojsko Němcův i Uhrů jako mračno ohromné, do něhož náhlý uragan zabouřil, a v divokém zmatku dalo se valem na útěk. V úplném nepořádku a šíleném chvatu uhánělo nazpět k řece a vrhalo se o překot do jejích vln. S hromovým „Hr, Tábor!“ hnali se táboři s vrchu za nimi, s bouřlivým „Hr, Hus! Hr, Praha!“ vpadli jim Pražané v bok, v divé chumelenici valila se spousta prchajících a stíhajících k Vltavě, jezdci s pěšími v těsných chomáčích, okované cepy lítaly vzduchem, v oblacích vydupaného prachu blýskala se ostří sudlic, ohromný lomoz, řehtot, křik, ston a jásot naplňoval širé prostranství pod Vítkovou horou, a také řeka rozbouřila se v celé šířce přívalem jezdců, brodících se v úprku a zmatku na druhou stranu. Množství mrtvých křižáků pokrývalo krvavé pole Špitálské a nemalá jich část utonula také ve vlnách vltavských.

A na takový obraz musel hleděti s protějšího břehu král Zikmund, týž pyšný a prchlivý král, který před chvílí krutou radostí již napřed mnul sobě ruce, pevně jsa přesvědčen, že ohrom-

inslav

nou svojí přesilou rázem zlomí vzdor smělého národa a rozšlápne hlavu nenáviděného kacířstva. Za hodinu jaká změna! Nyní rval sobě zoufale bradu, třásl se hněvem, lítostí a hanbou, vida tuto neslýchanou, potupnou porážku svého valného, vybraného, dobře oděného voje v boji proti takové menšině prostých venkovanů, ozbrojených jen cepy a jinou podobnou, z nouze pořízenou zbrojí. Ohromné vojsko, sebrané s požehnáním papežským ze všech národů a zemí křesťanstva, muselo se dívati na ten hanebný útěk svého nejlepšího oddílu a poslouchati vítězný jásot té hrstky kacířských sedláků a měšťanů!

Tak asi líčil řečník na patníku průběh nedávného boje a zakončil své vypravování nadšeným zvoláním: „Veleben budiž Hospodin za slavné vítězství, kteréhož dopřáti ráčil hrstce lidu svého nad ohromným množstvím zpupných nepřátel!“

„Vzdali jsme Bohu díky již na bojišti samém, pokleknuvše tam na krvavé zemi a prozpěvujíce hlučný chvalozpěv,“ ozval se někdo z davů nově přišlých. „Ale čest a chvála náleží také Žižkovi, kterýž svým udatenstvím a vtipem boj na hoře Vítkově k nenadálému vítězství obrátil. Bratři, jmenujme ode dneška horu tuto horou Žižkovou pro věčnou památku slavné jeho bitvy!“

„Tak! tak!“ přizvukovalo bouřlivé množství. „Čest a chvála bratru Žižkovi!“

Vtom přihrnul se ulicí Celetnou nový, valný příboj lidu a vítězný jeho jásot přehlušil hlasy davu před nárožím nakupeného. Zvolna bral se tudy k náměstí hlavní voj Pražanů s částí vojska táborského a samým Žižkou, vítáni a provázeni zástupy starců, žen, dětí a jiných obyvatelů pražských. Průvod ten uprostřed malebných středověkých domů poskytoval obraz neobyčejně pestrý, mocného ruchu plný, vpravdě úchvatný.

Vpředu vyšlapoval si hrdě zástup osmahlých hochů táborských se svými ručními praky a k nim družilo se množství dítek městských, nesoucích v ruce zelené ratolesti, namnoze i malými mečíky a oštípky máchajících. Očka drobného předvoje jiskřila se pýchou a veselím a svěží, jasné hlásky horlivě prozpěvovaly neumělou sice, ale z vroucího citu vyplynulou píseň, kterou táborský kněz Čapek[1] v radostném zanícení hned na bojišti na oslavu vítězství složil. Nyní kráčel sám v čele dítek a předzpěvoval jim svoji skladbu:

inslav

Dietky! Bohu zpievajmy,
jemu čest, chválu vzdávajmy
i s starými,
neb Němce, Míšněny,
Uhry, Šváby, také Rakušeny,
poběhlé Čechy
zarmútil, zastrašil i rozehnal ot dietek malých
mnoho sem, mnoho tam k utěšení svých milých stálých.
Milý otče! přijmiž chválu ot Čechóv věrných!

Za dětmi kráčela velebná postava onoho pražského kněze, který bojovníky městské do bitvy vedl; v rukou držel dosud na tenké vysoké žerdi blýštivou svátost a před ním bral se zvonící žáček.

Za knězem pak jel na bujném bělouši jednooký vůdce táborů, pod korouhví s kalichem, kterou nad nim nesl jeden bratr, následován valným davem bojovníků táborských i pražských.

Hrůzný a zároveň unášející byl pohled na ten zvláštní průvod, na tu pestrou směs rozmanitých odění a rouch dosud prachem pokrytých a krví potřísněných, na ty tváře nadšené a vítězným jasem zářící, na tu spoustu zkrvavených sudlic a cepů, ježících se a trčících nad vlnami té bouřlivé živé řeky, z níž se ozývaly řinčivé zvuky zbraní, hřmot kročejů, dusot koní, zpěv a plesné pokřiky, splývajíce s mohutným hlaholem pražských zvonů v jedinou velkolepou hymnu radosti a slávy.

Středem nejhlučnější oslavy byl arci bratr Žižka. Dívky házely čerstvé kvítí před jeho koně, matky zdvihaly vysoko své dítky, ukazujíce jim božího hrdinu, starci vznášeli k němu s žehnáním ruce, jásot a chvála odevšad burácely mu vstříc.

Právě nablízku zástupu, v němž ledva držel se na nohou nejnešťastnější, bezděčný účastník této slavnosti, náš ubohý spoutaný Brouček, zastavil Žižka na chvíli svého koně a zvolal po svém prostém, jadrném způsobu povznešeným, zvučným hlasem, z něhož se ozývala síla ryzího, hlubokého zápalu a vroucí, upřímná zbožnost: „Milí bratří! Nechvaltež mne, ale chvalte Toho, jehož jsme my všichni pouhými nehodnými nástroji. Milostivý Bůh povalil slabou rukou naší nepřátely své i naše, protivníky pravdy svaté a našeho jazyka českého i slovenského. Pán všemohoucí, svatá naše záštita, porazil a zetřel mrzkou

inslav

pýchu jejich. Jemu buď proto čest a chvála na věky věkův, amen!"

„Amen! amen!" zaburácelo kolem jako jedněmi ústy.

Tu padl zrak Žižkův na spoutaného Broučka.

„Jakého tu máte zajatce?" tázal se.

„Jali jsme ho v městě," oznamoval vůdce jezdců, „an volal, že jest Němec papeženec. Omlouval se, že tak volal ze strachu, maje nás podle ukořistěných korouhviček s křížem za německé křižáky. Jistil pak, že jest Čech a husita, zprvu vydávaje se za Pražana, ale když jsme ho chtěli vésti na radnici, pravil zase, že náleží mezi tábory. Protož vedeme jej k tobě, abys nad ním soudil sám."

Jedno oko táborského vůdce pronikavě spočinulo na zajatci, žíla na čele Žižkově naběhla a mohutný jeho hlas zahřměl: „Ha, nepoznal jsem ho dříve v pitvorném tom přestrojení! Pohleď, bratře Chvale, není-li to zrádce ten ošemetný, kterého jsme včera po boji na Špitálském poli mezi sebe přijali a který dnes, ve chvíli nejtěžší s hory Vítkovy zbaběle utekl?"

„Věru, že jest!" vzkřikl Chval z Machovic, jedoucí v průvodu za Žižkou. „Ani já nepoznal jsem ho dříve v té dvorné mumraji. Padouch ten včera nestoudnými lžemi mne a kněze Korandu zaslepil, že jsme ho mezi bratry přijali. Bájilť drze, že na Špitálském s Pražany statečně bojoval a že po mnohých letech z ciziny se vrací, aby rodákům pomáhal v těžkém zápasu. Dnes mužnost svou na hoře Vítkově skutkem nejlépe dokázal, a kdokoli jen v tuto chvíli naň pohlédne, pozná ihned, jaký jest hrdina! Haha!"

Zraky všeho množství spočívaly s opovržením, úžasem a hněvem na zajatci přepodivně oblečeném, kterýž neměl v okamžiku tom opravdu ani špetky bohatýrského vzezření. Byl bled jako křída a třásl se na celém těle jako osikový list.

Vtom prodral se zástupem zavalitý vousatý venkovan v režné haleně a hrubém slaměném klobouku, s pokrvácenou těžkou palicí v ruce.

„K táborům že se přidal nešlechetník ten po boji včerejším?" křičel venkovan, v němž asi čtenář poznal Žatečana Vacka Bradatého. „Slyšte: malou chvíli před bojem tím, přišed jako host Janka od zvonu do krčmy mezi nás, když jsme se tu o kněžské plachty svadili a potkli, ornátů horlivě se zastával a táborům

inslav

beranů spílal, že bych byl málem tuto pohanu svou na něm ztrestal."

„A nám hned po boji pravil, že ornáty zamítá a proto od Pražanů ustupuje," zvolal hejtman Chval v největší nevoli.

„Nevěřím, by Praha mohla zrodit takovou ohavu!" ozval se z davu Vojta od pávů jako nový svědek proti Broučkovi. „V hrdlo zajisté lhal, namluviv nebožci Jankovi od zvonu, že jest Pražan rodilý a že z ciziny domů se vrací. Jistě cizák jest nebo poběhlík bez domova, který lstivě vloudil se do Prahy a do táboru Žižkova, aby tu špehéřské služby konal Zikmundovi."

„Zabte lotra!" zaburácelo vůkol rozlíceným lidem.

„Přísahám — přísahám — že nejsem špehoun — Kdyby tu byl jen Domšík! Jsem Čech a Pražan — Milost — milost!" úpěl pan Brouček, padaje na kolena a jektaje zuby.

„Buď kdo buď, smrti nejohávnější jsi hoden, zbabělče a pokrytče ničemný!" rozhodl Žižka. „A jsi-li vpravdě Čech, tím spíše musí tě vyhladiti spravedlivý hněv rodáků, jimž pro hanbu jen žiješ a potupu. Hned po prvé vida tebe, soudil jsem, že sloužíš více břichu svému nežli bohu, ale nyní poznávám, že nemáš boha žádného, že nic není tobě svato a draho kromě mrzkého prospěchu bídného těla tvého, pro který hotov jsi každému po libosti zapříti boha, pravdu, bratry, matku, rod a jazyk svůj. — Budiž vyhlazen s této země, kteréž jsi ohavou a poskvrnou!"

„Smilování!" sténal pan domácí, šoupaje se po kolenou, a pak náhle v zoufalém odhodlání zakoktal: „Proboha — slyšte — přátelé — — Vždyť ani nepatřím — do vašeho věku — vzdyť jsem se narodil v devatenáctém století — jsem váš prapravnuk — a jenom zázrakem nepochopitelným dostal jsem se mezi vás — do daleké minulosti!"

Překvapené davy pohlížely naň chvíli v němém ustrnutí.

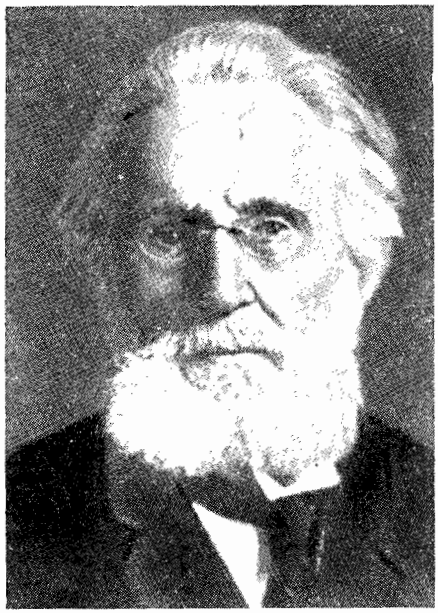
Konečně promluvil Žižka: „Ha, babský strach pomátl tvůj rozum. Šílená jest myšlenka, že by člověk dalekých příštích věků přišel mezi dávné předky své, a kdyby se i mohl státi neslýchaný ten div — toho bohdá nikdy nebude, abychom *takové* měli potomky!"

Máchl prudce rukou nad odsouzencem a pobídl znovu bělouše k jízdě.

„Upalte ho!" dodal hněvivý Chval a jel dále za Žižkou s ostatním průvodem...

1888

inslav



ANTAL STAŠEK

АНТАЛ СТАШЕК

(1843—1931)

Антал Сташек (Антонин Земан), видный писатель-реалист, вместе с Нерудой, Чехом и другими передовыми писателями того времени ввел в чешскую литературу образ рабочего и тему революционной борьбы. Творчество Сташека немало способствовало развитию чешской социальной прозы. В своих произведениях писатель отразил ряд характерных явлений из истории национально-освободительной и классовой борьбы чешских трудящихся.

Сташек родился в Подкрконошском крае в семье мельника. После окончания средней школы он продолжил образование в Краковском университете. В 1874 г. Сташек побывал в России, познакомился с ее культурой и историей. Писатель сумел увидеть революционную Россию, Россию Герцена и декабристов, идеи которых были ему близки. После возвращения в Чехию он поселился на родине в Подкрконошском крае, где провел затем свыше 30 лет, сочетая занятия литературой с работой адвоката.

Первая мировая война и Октябрьская революция оказали существенное влияние на эволюцию взглядов писателя. Разочаровавшись в «де-

inslav

мократизме» буржуазной Чехословакии, Сташек сочувствовал коммунистическому движению на родине, стал другом Советского Союза.

Первые произведения Сташека, в основном стихотворения, воспевающие участников революции 1848 года и чешских патриотов 60-х годов, появились в печати в конце 60-х годов и носили романтический характер.

В дальнейшем Сташек пришел к освоению реалистических принципов.

В 1895 г. появился сборник повестей и рассказов Сташека «Мечтатели наших гор» („Blouznivci našich hor"), в которых изображена жизнь обитателей Подкрконошского края, еще не знающих путей борьбы с нищетой и бесправием.

К числу более значительных произведений Сташека принадлежат романы «В мутном водовороте» („V temných vírech", 1910), «В пограничье» („Na rozhraní", 1908). В романе «В мутном водовороте» изображены преступления, к которым прибегает буржуазия на своем пути к богатству. Капиталистическим хищникам в романе противопоставлены рабочие с их богатым духовным миром и высокой моралью. В романе «В пограничье» нашла отражение социальная и национально-освободительная борьба чешского пролетариата против засилия немецкого капитала.

В ряде произведений начала 20-х годов Сташек нарисовал реалистические картины тяжелых последствий первой мировой войны. Значительным произведением этих лет являются мемуарные записки Сташека «Воспоминания» („Vzpomínky", 1926), содержащие ценные сведения о политической и литературной жизни Чехии конца XIX и начала XX в.

Лучшим произведением Сташека является его роман «О сапожнике Матоуше и его друзьях» („O ševci Matoušovi a jeho přátelích"), созданный им незадолго до смерти на основе написанной еще в 1875 г. повести.

В этом романе писатель показал рост революционной активности чешской деревни под влиянием событий 1848—49 гг. Смена феодальных порядков капиталистическими не облегчила жизни трудящихся, одно рабство сменилось другим — такова одна из основных мыслей произведения. В романе дана яркая картина пролетаризации сельской бедноты, сближения ее передовых представителей с рабочим классом. От неосознанной, стихийной ненависти к панам, от утопических мечтаний деревенский сапожник Матоуш и его друзья постепенно приходят к убеждению, что борьбу за счастье трудящихся может и должен возглавить пролетариат. Решающим событием в их идейном развитии было знакомство с Коммунистическим Манифестом.

В этом романе Сташек достигает большого художественного мастерства, проявившегося в обрисовке положительных героев — пролетариев.

Творчество Сташека не лишено недостатков и противоречий, в некоторых произведениях он не был до конца последовательным реалистом. В частности, выступая против тяготевшего над чешским народом австро-венгерского гнета, резко критикуя капитализм, изображая борьбу чешских рабочих против немецких капиталистов, писатель не всегда уделял должное внимание противоречиям между пролетариатом и национальной буржуазией. Однако это не умаляет больших заслуг Сташека — писателя-демократа, борца за развитие и укрепление реалистических традиций в чешской литературе.

inslav

O ŠEVCI MATOUŠOVI A JEHO PŘÁTELÍCH

Приведенная глава романа Сташека является кульминационной. В ней рассказывается о решительном выступлении Матоуша и его товарища Заха против царящего на ткацкой фабрике произвола. После этого Матоуш попадает в тюрьму. Бежав из заключения и захватив в собой текст «Коммунистического Манифеста», он покидает Чехию.

VIII.

...Minul velkonoční hod; z Kykalova baráku všichni se zas dali zapřáhnout. Dědouš nosil do továrny patnáct denních hodin svého shrbeného stáří; ti ostatní tam prodávali zdraví svého mládí a jeho radosti. Dostávali za to do plic zkaženého vzduchu puch a do kapes jednou za čtrnáct dní něco krejcárků.

Na kopečku proti továrně stojí dům, kde bydlí ředitel. Z Liberce dnes přijel sám továrník Geibel k poradě. Je sobota, je *coltag,* den výplaty.

„Myslíte," ptá se ředitele milospán, „že teď nutno koupit dražší bavlnu?"

Palm, jemuž po každé v přítomnosti pánově utkvěl ve výrazu obličeje úsměv, jaký mívá biskup, když přijíždívá s požehnáním ke svým ovečkám, odvětil:

„Máme jaro na krku. Na podzim a v zimě dávali jsme dělníkům lacinou a špatnou bavlnu. S ní se přadlo, s ní se tkalcovalo velmi obtížně a velmi zdlouhavě. Lidé i při denní patnáctihodinové práci nebyli s to, aby z bavlny té vykonali úkol, jaký jim byl stanoven. Ráčíte vědět, že musili proto platit pokuty... Dáme-li jim nyní k jaru zas tak zboží chatrné, rozutekou se nám k sedlákům a budou se raději v polích plahočit."

Továrníka pohladila vzpomínka, jak loňského roku takovými pokutami vylisoval tolik peněz z lidských mozolů, že mohl jimi nejen všechny daně, ale i novoroční dary úředníkům zaplatiti.

„Když myslíte," řekl nahlas, „kupte tedy materiál lepší jakosti... A propos: jak se osvědčuje nový způsob trestání té nevázané čeládky?"

„Výborně... Kdo vzdoruje a odmlouvá, toho dávám mrskat dozorcem... Kdo se prohřeší hrubší neposlušností a nekázní, kdo bouří proti pokutám, kdo kazí cívky nebo dokonce i něco ukradne, ten bývá v místnosti, kam se chodí do továrny nebo z továrny,

inslav

lanem přivázán, všeobecné hanbě vystaven a od hlídačů šlehán spletenými provazy."

„Nepodávají ti lidé proto na nás stížnosti?"

„Nechtějí-li vyhnáni být z práce, musí se vzdát na milost a nemilost. Někteří se ovšem pokusili udávat nás proto k zeměpanským úřadům."

„No, a jak to dopadlo?"

„Ráčíte přec vědět, že se z našich lidí nikdo neodváží svědčit proti nám; a tak ti holomci nic nepořídili. Rozumí se, že jsme drzouny ty z práce vyhnali a že je mám stále na mušce... Ti se budou od nás mít!"

„Mějte stále na mysli, že místo starých vrchností a různých hrabat, různých baronů jsme teď pány my. Jako ondy oni, máme nyní právo trestat poddaný svůj lid, který živíme."

Při slovech těch šimrala ho naděje, že snad není doba daleká, kdy i on a jemu podobní se stanou také barony.

„A jak se to má s ještkrabeckým potokem?"

Chtěl doložit: „Který jsme loni na podzim z hraběcího lesa do svých rybníků a na svá luka odvedli." Ale neřekl.

„Nikdo ani cek. Hrabě o tom neví a správce nepoví. Tomu jsme řádně hubu ucpali."

„A co tomu říkají bohdalovičtí sedláci a chalupníci, co tu vodu odváděli do koryt pro svou domácnost?"

Ředitel se pohrdavě ušklíbl; ale šklebil se jen zlehounka a zdvořile.

„Kam by se ti lidé na nás hrabali...? Ať to zkusí sedlák nebo chalupník, dát se s námi do soudu... Ten by pochodil!"

„Ovšem... ovšem... Wir sind eine grosse Geldmacht...! A soudové...? Hm...!"

Pokračoval Palm:

„Neračte zapomínat, že chalupničtí, ba i selští synkové a dcerky namnoze jsou zaměstnáni v naší tkalcovně a přádelně. Počít něco proti nám se jejich tatíkové neopováží, sice bychom jejich děti z práce vyhnali... Do našich továren se hrne celé okolí; jako na provaze držíme celý ten kraj."

„Vida," liboval si velmož, „chalupnický, ba i zdejší selský stav bude pomalounku také náš!"

„Ano," potakoval ředitel, „množí se to jako králíci a to je voda na náš mlýn."

inslav

„Ovšem, ovšem. Bez proletariátu bychom nebyli, čím jsme.“

Luskl prsty, což u něho bylo dobrým znamením. Mezitím co mu ředitel o obchodech vykládal, prohlížel si klidně nehty, jež si nechával podle tehdejší módy dlouze růst. Pěstuje je každé ráno velmi pečlivě, a jako se svým ředitelem, je i s nimi dokonale spokojen. Jen ty ruce jsou moc veliké a chlupaté; prsty u nich tlusté, kratičké. To má po tátovi pašerákovi.

Při prohlídce nehtů ptal se Palm:

„Račte prominout, že se táži, jak dopadla rozepře s návarovským hrabětem?“

Ředitel mu nalil otázkou tou kyselého octa do vína. Mrzutě mu odsekl:

„Vrchní soud to změnil, co jsme u prvního soudu vyhráli.“

„Aha,“ zašimralo Palma na mozku, „hrabě není ani sedlák, ani dělník, ani chalupník; a tak padla kosa na kámen. Proto jsme to prohráli.“

„Prohráli jsme to,“ doložil i milostpán.

Má lačné oči, a ty jsou nenasytnější než jeho kapsa; než i jeho pokladna. Těch rozloh, které kolem závodů svých skoupil, nemá pořád dost. Širší musí být ten kruh; sahat musí tam, kam sahá jeho zrak. A tak natahuje spáry po cizím. Proto i ty rozepře.

„Ale myslím,“ chlácholil svou dušičku, „že jsou naše soudy zbytečné. Dluhy toho pana hraběte pomohou nám tlačit vůz. Nezřízený život ve Vídni... zábavy... hostiny... drahé koně a ještě dražší ženštiny...“

„Jezdí... jezdí,“ zazubil se do sebe a řekl hlasitě: „Panství přijde bezpochyby na buben. No, a potom uvidíme, co a jak.“

„Pak to panství koupíme,“ chtěl ředitel připojit.

Míval někdy v hloubi duši proti vrchnosti své rebelantské záchvaty; ale vybíjel je jenom na sebe jízlivými nápady:

„Až se v návarovském parku bude jako velmož procházet, zapomenou dělníci, ba celý svět, že byl táta pašerák a že synáček má ruce chlupaté.“

Když tak hovořili a rozbírali pravdu, že bavlna jistější i stálejší je věc než ženštiny a koně aristokratů a že přádelny i tkalcovny nad nádherou panských zámků zvítězí, zazněl z chodby křik:

„Ne... tam nesmíte!“

inslav

„Ja jdu k jemnostpánovi!...“

Dřív než sluha, jenž stál přede dveřmi na stráži, mohl tomu zabránit, vrazil do pokoje dělník Kotrba, chlap kolohnát, vychrtlý a suchý jako luňák, ruce jak dva sochory, dlaně jak dvě lopaty.

„Ven... ven... ven!...“ obořil se na něj Palm.

„Nechte ho... Co chcete, člověče?“

„Jemnostpane,... to je ukrutné, jak se s námi zachází.“

„Co se stalo, co?...“

„Dřu se tady v tkalcovně s bídnou přízí plných čtrnáct dní, a teď mně za tu dobu nasekali tolik pokut, že mně na ně praskla celá mzda a že za všechen ten čas nemám dostat ani vindry, ba že doplácet mám ještě dvacet krejcarů.“

„Vyjednejte si to s mistrem; já sám o takových věcech nerozhoduji.“

„Jemnostpane, smilujte se nade mnou! Doma čeká žena s hladovými krky; nebudeme mít co jíst.“

Ředitel seděl jako na trní, že se milostpán pouští s člověkem tím do takových hovorů. Chtěl by toho drzouna prostě vyhodit.

„Zavolejte mistra sem.“

Přišel mistr Štajn.

„Ten člověk si stěžuje. Jak to je?“

„Nemá proč. Nevykonal práci, kterou měl, pokuty jsou podle továrního řádu spočteny. Žádná křivda se mu neděje.“

„Se špatnou tou přízí je to hrozná zlodějina!“ naříká si Kotrba.

„Kliďte se!“ sopí se naň Palm.

„Nehnu se, až co řekne jemnostpán.“

„To je,“ klade mistr na ohýnek polínko, „jeden z nejvzpurnějších dělníků... Mám tam takové tři pod sebou: jakéhosi Zacha, ševce Štěpánka a tohohle... Ti se pořád buntují.“

„Vy,“ brání se napadený, „radši pomlčte. Vy máte máslo na hlavě. Vy na slunce nechoďte.“

„Co... co... co?...“ dychtivě se táže ředitel.

Kotrba se trochu ošívá.

„Jen s barvou ven! Co víte, povězte!“

Ubožáku roste odvaha. Ukazuje na nepřítele a žaluje:

„Ten je ze všech nejhorší. Když má na někoho spadeno, mstí se mu: do kapsy mu tajně strká cívku s přízí nebo jinou věc a pak ho udá pro krádež. Je se šafářem ve spolku. Chléb musíme

inslav

od nich odbírat, a kdo neodbírá, ten se pěkně má... Tuhle ondyno mně připsali dva bochánky. Nechtěl jsem je platit, ale musil jsem; jinak by mě z práce vyštvali."

„Nevěřte mu, je to lhář a štváč. Podpichuje ostatní."

„Jemnostpane, jak je pámbu nade mnou, je to svatá pravda, pravda pravdoucí."

Zaklíná se, dovolává se všech svatých, prosí o smilování.

Jemnostpánovi je čerta do svatých, ba i do samého pámbíčka. Jde mu o pokuty, o bavlnu, o přízi a o cívky, které prý se často ztrácejí. Ale vida chuďasa a slyše ho, obrací se k Palmovi a táže se ho očima, má-li vyhovět. Ředitel těm očím dobře rozumí, a aby nerozuměl chuďas, po německu odmlouvá:

„Jednomu-li odpustíme, budeme mít všechny na krku. Potom bude nejen po pokutách, bude také po kázni a po strachu... Jedině strach drží čeládku tu na uzdě."

Prohodil to s větší rozhodností, než jak obyčejně s Geiblem mluvíval. V takových okamžicích říkával, že má svoje zásady, od kterých mu nelze upustit. Zásady ty byly malovaným průčelím, do jehož patra se po zadních schodech lezlo k penězům, které mu jako roční tantiémy z čistých zisků kapaly. A to byla svatyně, jíž se nikdo, ani jeho *chlebodárce,* nesměl dotýkat. Milostpán, ač si rád hrál na vrchnost a netrpíval odporu, dával mu v plen při takových hrozbách nejen rozum svůj a někdy ušlechtilejší svůj cit, ale i svou svobodu.

„Kázeň... strach na poddané hozený... z pokut daně, z pokut novoroční dárky úředníkům hrazené... bilance" — hučelo naň z Palmových úst a tím vším vycpán tak, jako bavlnou napěchován bývá žok.

„Smilujte se nade mnou," naráželo milostpánovi jen na bubínek do ucha. Tam však uvázlo a neproniklo do srdce.

„Zatracenej Němec," zaklel šeptem Kotrba, jenž, ač po německu neuměl, přece vytušil, co oba mezi sebou hovoří. Ale naděje, že najde spravedlnost, se ještě prosbou ozvala:

„Žena... děti... jakpak budu po čtrnáct dní živ?!"

Továrník ho víc již ani neviděl, ani neslyšel a kynul Palmovi. Ten pyšným hlasem rozhodl:

„Nemůžeme s vámi činit žádných výjimek. Tovární řád platí pro všechny, a teď honem odtud pryč!"

Ubožákův mozek dal si v živobytí ledacosi nesprávného, třeba

inslav

i z továrního řádu namluvit. Ne tak jeho žaludek. Ten se často proti mozku rozbouřil a i nyní vydechl svůj vzdech:

„Hlad!"

„Vinen jste si sám."

„Musím tedy doplácet těch dvacet krejcarů?"

„Ovšemže."

Krev se v chuďasovi zpěnila.

„Mám tu zatím jenom dvougrošák... Tu ho máte, vy chudého lidu zloději a vydřiduchové!"

Vytáhl měďák z kapsy u kalhot a praštil jím velmožnému pánu pod nohy, až to cvrnklo o prkennou podlahu.

„Cos to řekl, mamlase?" obořil se na něj Palm.

„Že jste všichni zloději, že jste všichni vydřiduchové, a tuhle ten je největší."

Ukazoval na Geibla:

„Váš tatík byl pašerák... Zbohatli jste z podvodů a z krádeží."

Ředitel se vyřítil do chodby:

„Haló... kdo jste kde!"

Za okamžik byla komnata již plna dozorců, hlídačů a jiných pochopů.

„Vymrskat!... vymrskat!..."

Vrhli se naň a odvlekli ho do místa, které bylo pro takové tresty určeno. Za chvilku byl lanem uvázán a bit spletenými provazy.

Vřískal, jako by ho brali na vidle, a volal přitom „zloději jste... vydřiduchové!" Řev pronikal stěny a rozléhal se po síních i chodbách, kudy dělníci se z práce vraceli, když jim vyplacena byla mzda a sraženy z ní pokuty.

Do místnosti vrazil Matouš s Toníkem.

„Co se s tebou děje, Kotrbo?"

„Řežou mne... pomozte!"

„Netlučte ho!... nechte ho!"

„Ty se kliď, abys také něco neslízl!"

Zach se Štěpánkem vyběhli ven mezi předláky.

„Lidičky, bijí Kotrbu!..."

Poslouchají, zevlují, ale nikdo nehne ani rukou ani jazykem.

„Pojďte na pomoc!"

Ale zase tupé mlčení. Slyšet nářek jen a vzpurné volání „zloději... vydřiduchové!..."

inslav

„Slyšíte, jak naříká?!“

Žádná odezva.

„Honem, sic jim pod rukama ležet zůstane, jako ondy Pavlata.“

„Běžte si tam sami dva a nás nechte s pokojem.“

„Ježíšmarja, zabijete mne, vy lupiči,“ proklíná a rydá trestanec.

Matouš nekřičí již, ale řve:

„Běží o vás o všechny... Necháte-li ho, zůstanete stádem otroků.“

Přizvukuje Zach: „Bídáci!“

Nadávky, výzvuky:

„Máme ženy, máme děti... vyhnali by nás.“

Lid se kupí v chomáče. Ti, co byli na odchodu, vracejí se zpět. Povyk, vřava, shon. Vzhůru celá továrna. K bouřce běží z rozhovoru vyrušený Palm.

„Co se děje... co?“

„Štěpánek a Zach tu štvou.“

Ale oba odběhli již Kotrbovi k pomoci. Pospíchá tam také ředitel. Vida, že příchodem dvou pomocníků překvapení pochopové s bitím otálejí, volá na ně po německu: „Nur zu!... nur zu!... Jen ho notně natřete!“

Ozývá se řev:

„Katane!“

Ředitel se válí po zemi. Povalil ho tvrdou pěstí Zach. Matouš chytá lavici, útočí jí proti dozorcům, mrskajícím kárance. Ten v tom chomolu napíná svou sílu a vyprošťuje oudy z lana, jež ho svíralo.

„Vzpoura... pozdvižení!“ syčí na podlahu povalený Palm.

Sběh pomocníků se všech stran. A ti tři se brání: Toník Zachů pouhou pěstí, pádnou jako kladivo; Matouš javorovou lavicí; nohou od zlámané židle bolestí a zlostí rozzuřený Kotrba. Rvačka, rány, boule, modřiny a krev.

Otroci, nestmelení dosud jednotící myšlenkou, pomáhají otrokářům proti vzbouřencům. Ti se z chomáče, jenž je otáčí, protloukají silou zoufalé své obrany a unikají domů do večerní tmy. Nikdo se za nimi nežene, nikdo je nepronásleduje, a to je polovičním vítězstvím.

„Škoda dvougrošáku,“ hořekuje cestou Kotrba a lituje posled-

inslav

ního měďáku, hozeného ve zlosti jemnostpánu pod nohy. Přitom pokulhává do Lhotky, kde bydlí na podruží s rodinou, a ohmatává hnáty, zatížené ranami.

„Sakra... hůř než předloňského roku ve Vídni[1], když jsme na Landštrase bojovali na barikádách," chechtá se Zach a ušpiněným rukávem utírá si s čela krev.

Starý Kykal naříká jako v pekle škvařící se hříšná dušička a pobručívá do sebe, že půjde radši chytat krtice a sysly sedlákům. Vedle něho kráčí Růza jako němý stroj. Mlčí také Matouš a převaluje myšlenku:

„Z tohohle zas kouká kriminál!"

Ubohý Matouš: s kýmkoliv se setkal v životě, skoro o každého nepříjemně zavadil.

1927

inslav

JOSEF SVATOPLUK MACHAR

ЙОЗЕФ СВАТОПЛУК МАХАР

(1864—1942)

Йозеф Сватоплук Махар принадлежит к числу тех представителей чешской литературы, которые не смогли прочно связать свою творческую судьбу с жизнью народа, но все же, следуя жизненной правде, создали ряд талантливых, неумирающих произведений.

Махар родился в малообеспеченной семье в Колине, где его отец работал на мельнице. Он провел юность в лишениях и бедности. Учился в Праге, с 1891 по 1918 год работал банковским чиновником в Вене. После образования буржуазной Чехословакии несколько лет занимал видный пост в армии, затем вышел в отставку. Впоследствии Махар примкнул к наиболее правым буржуазным кругам.

Махар начал печататься в 80-х годах. Основную часть его литературного наследия составляет поэзия. Большинство наиболее ценных произведений были написаны поэтом в первые десятилетия литературной деятельности, до того, как он испытал влияние масариковской идеологии и увлекся философией Ницше, став сторонником крайнего индивидуализма в искусстве.

В своих ранних сборниках „Confiteor" I—III (1887, 1889, 1892), «Четыре книги сонетов» („Čtyři knihy sonetů", 1891, 1892, 1893, 1894), „Tristium Vindobona" (1893), «Голгофа» („Golgatha", 1900), „Satiricon" (1904) и других Махар затрагивает многие острые вопросы, волновавшие в то время передовую часть чешского общества. Его ранние, написанные в реалистической манере стихи характеризуются обращением к гражданской тематике и сатирическим обличением буржуазной действительности. Несмотря на то, что поэт выступал против общественных порядков Австро-Венгерской империи с буржуазных позиций, его произведения имели большое общественное значение и объективно способствовали освободительному движению.

Духом бунтарства и протеста против политических «пророков», которым нет дела до людей в «рваных плащах», проникнуто стихотворение «Полемические строфы» („Sloky polemické"). В стихотворении «1848—1898» поэт выразил свое сочувствие делу революционных рабочих, веру в осуществление их мечты о том времени, когда «весь мир зацветет» «красными цветами». С болью пишет Махар о страшной нищете галицийских крестьян в поэтическом наброске «Проездом через Галицию» („Letem přes Halič"), который был создан им в связи с поездкой в Россию.

Поэтические отклики Махара на русскую революцию 1905 года свидетельствуют о том, что в то время он сочувственно относился к восставшим

inslav

против самодержавия («Россия в январе 1905 года» — „Rusko v lednu 1905").

Прогрессивную, антиклерикальную направленность имели сатирические произведения Махара, в частности его эпиграммы «Экстракт нашей истории» („Extrakt našeho dějepisu"), «Свободомыслящий человек» („Svobodomyslný člověk") и др.

Ранняя лирика поэта привлекает своей простотой и непосредственностью. Однако в ней порой уже слышатся нотки скепсиса и пессимизма, который в значительной степени определяет характер позднейших произведений Махара, далеких от жизни народа, его интересов и борьбы (например, поэтический цикл «Совестью веков» — „Svědomím věků", в котором поэт освещает историю человечества нередко с идеалистических позиций).

Художественная форма ранних произведений Махара явилась шагом вперед в развитии чешского стиха. Если стилю некоторых поэтов того времени присущи манерность и выспренность формы, то раннее творчество Махара отличалось стремлением сблизить поэтическую речь с языком народа.

SLOKY POLEMICKÉ

Mé koleno se zbožně chvěje,
jak měl bych kleknout v úžasu,
když sněním duše obraz spěje
mých šťastných druhů z Parnasu.

Hle, „věštec" tu, tam „kníže" trůní,
zde „králi" tři, tam „slavík" zas,
a kol hlav nádhernou jim vůni
kadidla sije modrojas.

Já bídný červ! Jsa mučen záští
a závistí, již v srdci mám,
se tajím ve svém chudém plášti
a skoupou sudbu proklínám.

Já nesmím nazvat „sladkým pěním"
svých nevázaných veršů dav,
jen s trudem mnohým, lopocením
dám myšlence své prostý háv.

Nad bláto „nepovzlétám" země,
do „hvězdných" nejdu „do končin",

inslav

nic víc, než jedno jisto je mně,
že nicotný jsem prachu syn.

„Přírody hlasům vroucím, sdělným“
jsem naslouchat si nezvykl,
pro mne je echem necitelným,
jež vrací, cos v ně vykřikl.

A neznám vůbec „ideálů“,
bych hnal se pro ně „v boje jek“,
mám srdce chladné jako skálu
a v srdci nenávist a vztek...

Nevěřím v „úděl nesmrtnosti“,
„božského“ neznám „nadšení“,
mé verše rostou jen z té zlosti,
z té žluče jen se pramení.

Snad též bych „lidstvo hřál“ a „svítil“
mu v temnoty dnů posupných,
jen kdybych vše to v hrudi cítil,
co žije v hrudi druhů mých!

Ti šťastní! Našli ve svém žití
vavřínů celý les jak cíl,
já sotva z toho vlnobití
jsem holý život zachránil...

Co chtít víc? Když je takým dílo,
též plody podle toho jsou.
A co jsem psal, že pravdou bylo —
mou hořkou bude útěchou...

Confiteor, 1881—1886

1848—1898

Památce dělníků padlých v březnu 1848.

Každá ta myšlenka rozkvete,
když těla lidská ji mrví,
a ten květ musí nést rudý plod,
neboť byl zalíván krví.

inslav

Vy živí, pozdravte budoucnost
jasným a veselým okem!
Rudě to rozkvétá dokola
víc a víc každičkým rokem!

Ba, zmrven je ten širý svět
a svlažen už dosti, už dosti!
Ta těla ubitá, vyssátá,
ty hladem pomřelých kosti,

ty duše puklé a zničené,
ty mozky ztrhané, trudné —
na všem krev teplá je vylitá —
až bolestně v očích to rudne! —

Kde která myšlenka stála víc
námahy, obětí, hoře?
Z těch těl bys Alpy už postavil,
ťou krví vyplnil moře!

Tož zdráva buď budoucnost, přátelé,
patřte v ni zjasněným okem!
kvete Vám osení do ruda,
kvete víc každičkým rokem!

Vlast Vaše, stará zlá macecha,
zhlíží se v opičí lásce
v lotrech svých, sobcích a darebech,
vybrané, čisté to chásce!

Dejte jí sbohem, ó přátelé,
nač hlavy obracet zpátky?
V srdci Vám obraz je vtisknutý
té pravé vlasti a matky!

Já věřím, vím, že ji nesete
se ctí tím širokým světem —
nuž, ať ten celý svět zakvete
tím Vaším červeným květem!

Golgatha, 1896—1900

inslav

LETEM PŘES HALIČ

(Zkrácené)

*

Jak starých odraných slípek řad,
nesoucích tupě svou bídu,
stojí tu skupiny bědných chat
ve fatalistickém klidu.

Splácány z hlíny a ze slámy
pár shnilých kryje je došků;
stěny si zívají děrami
a každá kloní se trošku.

Jen zlaté terče slunečnic
velikých, zářících, lepých,
hrdě se dívají slunci v líc —
bolestně zoufalý přepych!

U plotu spadlého vychrtlý pes
vyje si protáhle v pole —
jedna jak druhá je taková ves,
takové neštěstí holé!

*

Čápy jsem v houfech zřel na poli
vždy mezi robotným lidem,
tráví tam v přátelském soužití
s jistotným, bezpečným klidem.

Viděl jsem lid ten při práci,
viděl to němé hoře:
žena a matka táhnou pluh,
na mezi děcka, muž oře.

Co čet jsem kdy, teď zjevilo
se v hrůze oku mému:

inslav

plod setby dnešní vzejde-li,
nebude patřit jemu.

Ani ta chata plná děr,
ta není jeho; a v žití
z celého toho života
má jen to živobytí.

Opuštěn zemí i nebesy
cizí lán potem svým skrápí,
jediní zbyli mu přátelé,
ti věrní nohatí čápi.

V houfech jsou na poli, na lukách,
na krovech odraných chatek,
mudrci s rudými zobany,
sny žen a štěstí těch matek.

Viděl jsem na mezích děti ty,
každé tak s tvářičkou smavou,
spokojně jaksi si kývali
čápové svou bílou hlavou.

Jediní věrní to přátelé,
jediná záruka lidu,
že přece jenom as přetrvá
celou tu haličskou bídu.

Výlet na Krym, 1898—1899

SELSKA REBELIE

Z hořících vesnic valí se dým
a zvony na poplach duní...
Lancknechti tlačí sedláky
k zelené hluboké tůni.

V spoustu těl švihá zoufale cep
a kosa obloukem seče —

inslav

pikami rvou je zespoda,
na lebky padají meče.

Řve lancknecht. Sedlák bije se tich.
Krev teče k zelené tůni.
Dým zakryl nebe docela.
Z dýmu zvon žalostně duní.

Apoštolové, 1907—1911

RUSKO V LEDNU 1905

‚V PETROHRADĚ TICHO...'

Policejní raport

V Petrohradě ticho. Zametají sníh,
poněvadž byl zrudlý krví zabitých.

Opraví se dlažba, holých ruk zbraň mdlá,
do vybitých oken dají nová skla.

Ve špitálech pilno: oheň na tváři,
obvazují, řežou údy felčaři.

Pilno u soudů je, živo v pevnostech,
řetězy tam řinčí v černých mokrých zdech.

Tesaři mnou ruce: Není bídy víc,
stát objednal u nás řadu šibenic.

V divadlech zas hrají, vracejí se tam
velkoknížata ctná ku svým baletkám.

Žurnálů zas denně spousta vylétá
a že v Rusi klidno, hlásá do světa.

Klidno v svaté Rusi... Denně vlaky jdou,
vezou reservisty na pláň mandžurskou.

V továrnách se robí děla, kulky, zbraň
pro případy všechny — Bože, cara chraň!

inslav

RUS PODZEMNÍ...

Rus podzemní se chví a čeká.
Petropavlovská sklepení
jsou naplněna. Žandarmové
pracují dle svých určení.

Rus podzemní se chví a čeká:
stín smrti chodí ději dní—
noc nejčernější bývá k ránu,
k té chvíli než se rozední.

Rus podzemní se chví a čeká.
Tma. Mrazy pálí ledově:
jen jednu ještě válku venku,
pak poslední bouř v domově!...

Krůčky dějin, 1917—1926

LÍSTEK

V mé jizbě, jejíž okna vedou
na šírou města ulici,
kde lidstva proud a vozy jedou
ve hlučné, vírné směsici,

svých milých vzdálen, skláním čelo
a hledám ve dnech zašlosti;
ne, nikdy nic mne nerozchvělo
tak čistou tklivou radostí —

ty eposy, jež jsem kdy četl,
se všemi králi, hrdiny,
ty romány, kde vždycky vzkvetl
v dvou srdcích kvítek nevinný,

ty písně, kritika jež slaví
svým uznáním a frázemi,
ty povídky, jež národ baví,
ba žádná kniha na zemi,

inslav

jak dnes mé milé lístek malý,
v němž dvé je pravopisných chyb,
v němž píše mi, že opadaly
již hnědé listy našich lip,

že zdráva je jak čilé ptáče,
že ráda by mě spatřila,
že psíčka má, jenž přes hůl skáče,
což prý jej sama učila!

Confiteor, 1881—1886

MLADOSTI MOJE

Mladosti moje, hleď, my kdysi
na leccos hrdi bývali,
na prvé verše, prvé laury
a na rty, jež jsme líbali...

Mladosti moje, přešly časy,
jak pohádka jsi zmizela...
Je hostem nemoc, vlasy zřidly
a vrásky lezou do čela.

A verše, sláva, láska — marnost,
šum větru, hrstka popele;
dnes hrd jsem na pluk nepřátel svých
a na tři čtyři přátele.

Pêle-mêle, 1882—1900

VODIČKO BYSTRÁ

Vodičko bystrá, vodo nevrátivá,
má milá v tobě modré oči mývá,
má milá v tobě černé vlasy smáčí,
po kamenech tvých bílou nožkou kráčí.

Bývalo, bylo — a už dávno není...
Jen ty si stále skáčeš přes kamení,

inslav

vesele šumíš, že tu není zvratu
a že je všecko, všecko bez návratu...

Krůpěje, 1906—1913

EXTRAKT NAŠEHO DĚJEPISU

Duše k smrti dřímá
v objetí Říma,
tělo hyne bídně
ve službách Vídně.

Satiricon, 1903

SVOBODOMYSLNÝ ČLOVĚK

„Oh, vím dobře, co Řím všecko dělá,
vím, že dal nám tohle předpeklí,
však, když v neděli jdu do kostela,
jdu jen, aby lidé neřekli."

Satiricon, 1903

PES

Rád nemám psy: pro otročení,
pro hulvátství jich ve štěku,
pro vše, co v nich je člověčího,
pro vše, co psího v člověku.

Na okraj dnů, 1928—1935

inslav

PETR BEZRUČ

ПЕТР БЕЗРУЧ

(род. 1867—1958)

Творчество Петра Безруча занимает почетное место в революционной чешской поэзии. Поэт выступил со своими стихами на рубеже XIX—XX века, в годы мощного подъема рабочего движения. Поэзия Безруча, выражая народный гнев против притеснителей национальной свободы и эксплуататоров человеческого труда, служила чешскому рабочему классу боевым знаменем в его борьбе за лучшее будущее.

Петр Безруч (псевдоним Владимира Вашека) родился в Опаве, в чешской Силезии. Его отец, учитель гимназии Антонин Вашек, прогрессивный культурный и общественный деятель Силезии, оказал большое влияние на формирование взглядов будущего поэта. После окончания школы Вашек изучал филологию в Пражском университете, увлекался поэзией. Вынужденный после смерти отца помогать семье, он в 1888 г. покинул Прагу и долгие годы работал скромным чиновником, живя, главным образом, в Брно. Большое значение для мировоззрения и творчества будущего поэта имело его пребывание в г. Мистек (1891—1893). Здесь он близко познакомился с жизнью силезского пролетариата, что дало ему богатый материал для будущих стихов. Свою литературную деятель-

inslav

ность он начал в 1889 г., издав под псевдонимом Ратибор Сук фельетоны и очерки, названные «Очерки из кафе Люстиг» („Studie z café Lustig").

В 1899 г. в приложении к беллетристическому журналу «Час» („Čas") появились первые стихи Вашека, который выступил под псевдонимом Петр Безруч. В 1909 г. стихи вышли отдельной книгой, названной «Силезские песни» („Slezské písně"). Сборник переиздавался около пятидесяти раз, пополняясь все новыми произведениями. Таким образом, «Силезские песни» создавались Безручем почти в течение всей жизни. Поэт пел свои песни от имени семидесяти тысяч угнетенных чехов Силезии, которая была той национальной окраиной Австро-Венгрии, где тесно переплетались и особенно ярко выступали социальные и национальные противоречия. Безруч стремился, чтобы его стихи воспринимались как проявление коллективного гнева и силы, как выступление безымянного оратора, барда порабощенного народа. Отсюда и псевдоним поэта — типичная и распространенная в Силезии фамилия. Поэт убедительно показал в своих стихах, что существует два непримиримо враждующих между собой мира — благородный, справедливый, честный мир тружеников и грязный, бесчеловечный, жестокий мир угнетателей. Впервые в чешской поэзии Безруч создал типический, конкретно-исторический образ рабочего, шахтера, который страстно ненавидит своих угнетателей и поднимается на борьбу с ними (стихотворения «Углекоп» — „Horník", «Острава» — „Ostrava", «Ты и я» — „Ty a já" и др.). Именно его жизнь и страдания, его интересы и борьба определили тот угол зрения, с которым поэт подошел к изображению действительности. Сделав чешского пролетария главным героем своих стихов, Безруч связывает с ним свои положительные идеалы. «Мои стихи были написаны прежде всего для рабочих», — пишет поэт в одном из своих писем. В духе народной поэзии создает Безруч величавый образ легендарного Ондраша, верного друга угнетенных и лютого врага панов («Ондраш» — „Ondráš", «Две деревни» — „Dvě dědiny").

Трагическую судьбу народа Безруч раскрывает в обобщенных образах шахтера и Ондраша и на индивидуальных судьбах героев — Марички Магдоновой, учителя Гальфара, крестьянина Яса Красулы и др. Многие стихотворения сборника — это крик боли, горя и гнева народа, который лишают всех национальных прав, начиная с самого необходимого — права говорить на родном языке. Отражая правду жизни, Безруч отчетливо показывает, что душители национальных свобод Силезии были и непримиримыми классовыми врагами силезских трудящихся („Par nobile", «Маркиз Геро» — „Markýz Gero", «Я» — „Já" и др.). В образе маркиза Геро Безруч обобщил черты жестокого эксплуататора и национального врага трудящихся Силезии. Поэт смело называет и других крупных капиталистов, хозяев страны — графа Лариша, Ротшильда, Влчека, Натана Лёва и др. Это смелое обличение реально существовавших богачей придавало «Силезским песням» острое злободневное звучание, способствовало их популярности в широких народных массах. Важное место в сборнике занимают стихи, раскрывающие отношение Безруча к роли поэта в обществе, его понимание задач поэзии («Красный цветок» — „Červený květ", «Одна мелодия» — „Jedna melodie", «Кто сменит меня» — „Kdo na moje místo" и др.).

inslav

Вслед за Гавличком, Нерудой, Чехом Безруч борется за действенную поэзию, помогающую в борьбе за свободу и независимость народа. Он хочет, чтобы его отчаяние разжигало, ненависть мобилизовала, чтобы его песни были поняты как призыв к восстанию против угнетателей. Поэт назвал свои стихи «песнями», подчеркивая народность их содержания и формы. Поэтический стиль Безруча характеризуется большой эмоциональностью, лаконичностью выражения, народной простотой поэтических форм. Излюбленными художественными средствами поэта являются контраст, рефрен, полемическая заостренность образа, едкая ирония. Безруч обогащает чешскую поэтическую речь использованием лексики, связанной с бытом и трудом чешских рабочих; своеобразный колорит стихам придают умело вкрапленные слова и обороты местных тешинских говоров.

«Силезские песни» прокладывали пути чешской пролетарской поэзии Волькера, Неймана и др.

После создания Чехословацкой республики Безруч написал ряд стихов, также включенных в «Силезские песни».

В своеобразном сатирическом произведении «Республика перед святым Петром» („Republika před Sv. Petrem", 1923) Безруч осмеивает чешскую буржуазную интеллигенцию. В 1931 г. вышла его лирическая поэма «Голубая бабочка» („Stužkonoska modrá"), в которой звучит смелый протест против порядков буржуазной Чехословакии, не принесшей трудящимся ни работы, ни хлеба, ни прав.

В годы оккупации Безруч жил в г. Костелец на Гане под надзором гестапо.

В последние годы старейший поэт Чехословакии Безруч всей душой радовался успехам социалистического строительства народно-демократической республики, выступал против поджигателей новой войны в защиту мира во всем мире.

За выдающиеся заслуги в области чешской поэзии Петр Безруч был удостоен в 1945 г. звания Народного художника республики.

SLEZSKÉ PÍSNĚ

ČERVENÝ KVĚT

Za temným oknem, v květníku sivém
hrubý a ostnatý mračil se kaktus.
Jednoho jitra
červený z lodyhy vyrazil kalich,
červený květ.

Byl u nás básník, co jiné měl oči,
co měl rád vonné a nádherné růže.
Distichem zvůčným

inslav

pochválil růži a odsoudil pyšně
ten rudý květ.

Jsou duše drsné, co samy šly žitím,
hroty a ostny je zalily vrchem.
Co měly v srdci?
Kvetly-li jednou a kvetly-li v noci,
rudý byl květ.

1903

JEDNA MELODIE

Časem špatné verše píšu,
na štěstí mne čtou jen málo,
v polozhaslý plamen dýšu,
třeba se mi panstvo smálo.

Časem tichou píseň zpívám,
odpusťte mi špatnou notu,
černý horník v práci bývám
od soboty po sobotu.

V bouřnou dobu, kdy jez hučí
idejí a fantasie,
jednotvárným tónem zvučí
jedna u mne melodie.

Z lidu mého jeden drak tyl,
jedna pěst mu hrdlo svírá,
a z mých veršů jeden daktyl,
jeden smutek ve svět zírá.

Lehký jamb po Labi skáče,
spondej Hanou[1] kráčí s klidem,
u mne stále daktyl pláče
jako šalmaj pod Beskydem[2].

Jeden Běs můj národ hlídá,
jeden kat mu hlavu sklání,
pod Beskydem jedna bída,
jedno dlouhé umírání.

inslav

Časem zní to ve sluch hranou,
jak bych stál nad bratra rovem;
jak kdybych šel Modrou stranou[1]
Hučínem a Benešovem[2].

Jednou skočnou hrát vám budu.
Snad to bude píseň jiná:
marno, už zas smutnou hudu,
protože jsem od Těšína[3].

V Belgii když Franků despot
s Britem v boj se srazil rudý,
skotský pluk mřel šavlí vespod,
dudák hrál jim k tomu v dudy.

To jen tak jsem zpíval málo,
to jen tak jsem pěl svým lidem,
by se nám to umíralo
líp za hudby pod Beskydem.

1899

JEN JEDENKRÁT

Už nevím, kdy a kde
jsem slyšel jednou vypravovat pověst.
Kdes na severu země
je smutné údolí, sevřené vrchy;
to teskné jest a temné,
neb žádný den tam nezasvitne slunce.
Tam teskný žije národ
u věčném sněhu v začouzených jurtách,
kol ohně sedí muži,
jimž zlata dražší bývá každé slovo,
za nimi teskné ženy,
a vzad se tisknou v kožešiny děti.

Tu nevím, jak se stalo,
či snad se vymkla ze své dráhy Země,

inslav

v den jeden svitlo slunce:
a celý národ, poděšený září,
vráz prchl v černé jurty
a balvany zavalil každý východ,
a tváří klesl k zemi,
k démonu neznáma posílal prosby,
by šetřil jejich žití...
A zatím venku
slunečná záře sžehla věčné sněhy
a půda nedotknutá
pode rty slunce dala fial květ. —
Bůh slunečný když viděl
to mrtvé ticho a bázlivé prosby,
údolí přešel,
a nikdy víc v tu nepohleděl stranu. —

A když strach přešel,
a ze stanů se odvážili lidé,
a zřeli vlahou zemi,
květ neznámý a vůni fial čili,
a zřeli, že se dobrý bůh
na ně podíval, jimi uražený,
a poznali v své duši,
že nikdy den ten nevrátí se zpátky,
tu smutek hlubší žití
vráz schýlil hlavy zasmušilých mužů,
a šíje teskných žen,
a v dvojnásobném dále žili smutku,
neb cítili, že jednou
jas žití šel kol jejich mračné země,
a jejich přešel vinou —
a víc se nenavrátí!

*

Jen jedenkráte kolem mne šla láska.
Vlas černý padl k pasu,
a sladkým hlasem hovořila ke mně:
„Vy dobrého jste srdce,
a s vámi bude šťastna každá žena“;

inslav

a krátký plachý pohled,
jenž více děl než její sladká slova,
jež řekla sladkým tónem,
jak mluví se v mé vlasti u Těšína,
šel s její řečí!
A já, jenž dávno vypil
až v hořké kvasnice života číši
a z knihy žití bílé vyrval listy,
já řekl drsným tónem,
tak jak mluví dav černých mužů hore
tam pod Ostravskou plání:
Bez konce, slečno, s oným půjde štěstí,
jenž bude vaším mužem,
však na strom zvadlý nepřipínám růži.

Já jsem ji miloval, ona se mi vydala!
Vyhasl můj krb, v srdce lehly stíny,
a smutek bez konce mým táhne žitím,
když vzpomenu si časem,
že sladkým krokem kolem mne šla láska,
a já přirazil dveře svojí chaty,
a nikdy více se nevrátí zpátky!

1899

KANTOR HALFAR

Byl to synek jako jedle,
byla na něj pyšná máti,
ale škaredou měl chybu:
tu, že nechtěl poslouchati

těch, kdož vládli pod Lipinou[1].
A když tak se kantor spustí...
víš, jsou hříchy v katechismu,
co se nikdy neodpustí.

Leta táhnou, vlasy řidnou
jako listí před jesení.
Halfar pořád za mládence!
Pro Halfara místa není.

inslav

V krčmě zazní skočná hudba.
Právě v kapli dalo slovo —
či by mělo deset roků
čekat děvče Halfarovo?

Přijdou páni: Škola polská!
Burmistr v klín ruce složí.
Ale zpurný Halfar učí,
jak mu káže zákon boží.

Tich po mezích chodí kantor,
bez úsměvu, bez myšlenky,
v krčmě v noci sám za stolem
hledí k zemi, hledí sklenky.

V horký večer, na klekání
když se jednou ve vsi zvoní,
vrazí děvče v černou jizbu:
Kantor visí na jabloni!

Bez modlitby, bez slzy ho,
jak při hříšné duši jisto,
v roh hřbitova zakopali,
a tak dostal Halfar místo.

1899

SETKÁNÍ

Na řemeni lankasterku,[1]
za kloboučkem sivé pero
v srdci lesa borového
tak mne potkal markýz Gero.[2]

Polské kněze dal do fary,
českou školu poněmčil mi.
Odpočinul, drahou pušku
pověsil mezi dva jilmy.

inslav

Prokletý vrah mojí mluvy!
(Ale horskou rád má dcerku.)
Dvacet kroků stál ode mne,
doma nechám lankasterku!

1899

70.000

Sedmdesát tisíc je nás
před Těšínem, před Těšínem.
Sto tisíc nás poněmčili,
sto tisíc nás popolštili,
v duši padl svatý klid:
když nás zbylo sedmdesát,
tisíců jen sedmdesát,
smíme žít?

Sedmdesát tisíc hrobů
kopají nám před Těšínem.
Časem někdo k nebi vzlykne,
pomoci se nedovolá,
cizí bůh smích ve tvář stříkne,
tupě díváme se v davu,
jak nám k špalku kladou hlavu,
jak vůl na porážku vola.

Markýz Gero tak je bohat:
dej nám beček sedmdesát,
beček tisíc sedmdesát!
Poly se ti poněmčíme,
poly se ti popolštíme,
zahřímají ústa sterá:
Hore — hej! — markýze Gera!
Ale prve nežli zhynem,
nech se zpijem rudým vínem,
robka s dcerkou, chlop se synem,
před Těšínem, před Těšínem.

1899

inslav

MARYČKA MAGDONOVA

Šel starý Magdon od Ostravy domů,
v bartovské harendě večer se stavil,
s rozbitou lebkou z ní vyletěl ven.
Plakala Maryčka Magdonova.

Vůz plný uhlí se v koleje zvrátil.
Pod vozem zhasla Magdonova vdova.
Na Starých Hamrech pět vzlykalo sirot,
nejstarší Maryčka Magdonova.

Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba?
Budeš jim otcem a budeš jim matkou?
Myslíš, kdo doly má, má srdce také
tak jak ty, Maryčko Magdonova?

Bez konce jsou lesy markýze Gera.
Otcové když v jeho pobiti dolech,
smí si vzít sirotek do klínu drva,
co pravíš, Maryčko Magdonova?

Maryčko, mrzne a není co jísti...
Na horách, na horách plno je dřeva...
Burmistr Hochfelder viděl tě sbírat,
má mlčet, Maryčko Magdonova?

Cos to za ženicha vybrala sobě?
Bodák má k rameni, na čapce peří,
drsné má čelo, ty jdeš s ním do Frydku[1],
půjdeš s ním, Maryčko Magdonova?

Cos to za nevěstu? Schýlená hlava,
fěrtoch máš na očích, do něho tekou
hořké a ohnivé krůpěje s lící,
co je ti, Maryčko Magdonova?

Frydečtí grosbyrgři, dámy ze Frydku
jizlivou budou se smáti ti řečí,
ze siňky uzří tě Hochfelder žid.
Jak je ti, Maryčko Magdonova?

inslav

V mrazivé chýši, tam ptáčata zbyla,
kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba?
Nedbá pán bídných. Co znělo ti v duši
po cestě, Maryčko Magdonova?

Maryčko, po straně ostré jsou skály,
podle nich kypí a utíká k Frydku
šumivá, divoká Ostravice.
Slyšíš ji, rozumíš, děvucho z hor?

Jeden skok nalevo, po všem je, po všem.
Černé tvé vlasy se na skále chytly,
bílé tvé ruce se zbarvily krví,
s bohem buď, Maryčko Magdonova!

Na Starých Hamrech na hřbitově při zdi
bez křížů, bez kvítí krčí se hroby.
Tam leží bez víry samovrazi.
Tam leží Maryčka Magdonova.

1899

BERNARD ŽÁR

Z Frydku je Bernard Žár. Proto svůj
zapírá národ
— Bernard Žor.[1]
Má rád svoji ženu, má rád svoje děti,
do kostela chodí a neděle světí,
k dobrému vede svůj kmen,
dbá, aby prokletých pariů řečí[2]
dům nebyl znesvěcen,
jí aby nemluvil krom pacholka tvor,
tak to poroučí
Bernard Žor.

Z Frydku je Bernard Žár. Proto svou
zapírá matku
— Bernard Žor.
Když hosty do domu si k hostině pozve,

inslav

ven z domu s matkou! Ráda se ozve
prokletých pariů řečí:
nemluví, neumí lepších řeč lidí,
do krve Bernard Žor za ni se stydí:
či věčně žít bude, čiž věčně znět bude
prokletých pariů řeč
v domě na rynku, kde ctností je sbor
a kde je pánem
Bernard Žor?

Zlý host přišel do domu. Na loži zmítá
jím horečka těžká a fantas ho chytá,
nadarmo mužové moudří jej léčí,
u lože žena a děti mu klečí
(na dvoře matička pláče);
v horečce prokletých pariů řečí
zpovídá, loučí a modlí se chor
Bernard Žor.

Zvoní a hlaholí frydecké zvony,
do země spouštějí rakev,
a řečí panskou modlí se sbor.
Kříž řečí panskou lže mrtvého slávu,
po skončené pouti tam mdlou složil hlavu
Bernard Žor.

Kdo vzadu to stojí a pláče a klečí
u hrobu, pánů když odešel sbor?
Tichounko modlí se bázlivým rtem
matička prokletých pariů řečí,
(nemůže jinak, není to vzdor,
nemluví jinak, kdo z Beskyd a z hor!)
aby se nevzbudil, nezlobil v hrobě
její syn dřímající,
Bernard Žor.

1899

OSTRAVA[1]

Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem,
sto roků kopal jsem uhlí,

inslav

za sto let v rameni bezmasém
svaly mi v železo ztuhly.

Uhelný prach sedl mi do očí,
rubíny se rtů mi uhly,
se vlasů, s vousů a s obočí
visí mi rampouchy uhlí.

Chléb s uhlím beru si do práce,
z roboty jdu na robotu,
při Dunaji strmí paláce
z krve mé a z mého potu.

Sto roků v kopalně mlčel jsem,
kdo mi těch sto roků vrátí?
Když jsem jim pohrozil kladivem,
kdekdo se začal mi smáti.

Abych měl rozum, šel v kopalnu zas,
pro pány robil jak prve:
máchl jsem kladivem— teklo v ráz
na Polské Ostravě krve!

Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
nech je vám Petr neb Pavel,
Mějž prs kryt krunýřem ocelovým,
tisícům k útoku zavel;

všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
hlubokých páni vy dolů:
přijde den, z dolů jde plamen a dým,
přijde den, súčtujem spolu!

1899

ONI A MY

Na Landeku v Rotschilda smrkových lesích
to poháry zvoní a sní se o plesích,
tam život jak bzučení dalekých zní os,

inslav

sem táhne se Ostrava, Hrušov i Přívoz[1],
sem z Lipiny, z Bašky a z Místka i z Frydku,
kdo naším je vrahem, jak roj táhne skřítků,
zde dýchá se lépe, zde není svět úzký,
dvé orlů se líbe, ten z Beskyd a pruský.

Pod Landekem, cinkot kde pohárů hřímá,
to Ostrava kypí a hučí a dýmá,
tam ve vlhkých štolách, co podbity koly,
my na boku ležíme, tešeme v doly,
a kahany zapjaté svítí do tmy.
Až do štoly pýcha při pohárech zvoní
— (smět sekerou na ni a motykou po ní) —
tak na zemi oni a pod zemí my.

Pod Lipinou, v Bašce, kde do noci září
vysoké pece, kov žárný se vaří,
kde ve rty a v oči nám ohně se vpily,
jak zlobivé zmije se nadmuly žily,
kde holá jsou prsa a holé jsou údy,
my zaliti potem v kov bušíme rudý;
až překypí ocel, pod ohnivou ranou
chlop vydychl v posled — a stranou s ním, stranou —
máš za jeden život hned životy čtyry,
když v beskydské chýši krb vyhasne sirý...
Však v paláci panském to sladce se sní,
tak ve chládku oni a v plameni my.

Jsme v horách, tož k žití jsou dány ty hory,
jsme v lesích, tož k žití jsou jenom ty bory,
tak boží je zákon, jejž cítil by v duši,
kdo trochu má studu: jsou pánové hluší?
Nám pobrali školy, nám pobrali chrámy,
řeč cizí a surová fičí nad námi,
jdou z Modré a z Polské a z dunajské strany
jak kobylek davy na chudobné lány,
a každý nás do tváře udeřit smí,
jsou pánové oni a rabové my.

inslav

Až jednou, ach jednou, den odplaty vzejde:
kdy ohnivý chamsin přes Ostravu přejde,
až sazemi černí a plameny žlutí
se zvedneme z dolů, se zvedneme z hutí,
se zdvihneme v dlouhém a jediném muru,
my z Pětvalda, z Hrušova zdvihnem se vzhůru,
— (Bůh s námi půjde jak s korouhví Burů) —
až Ostrava zahoří pochodní rudou
a polehnou, polehnou těšínskou půdou
tož v své krvi oni a v jich krvi my!

1899

KDO NA MOJE MÍSTO?

Tak málo mám krve a ještě mi teče
z úst.
Až bude růst
nade mnou tráva, až budu hnít,
kdo na moje místo,
kdo zdvihne můj štít?

V dým zahalen vítkovských[1] pecí jsem stál,
noc zřela mi z očí, plam z nozdry mi vál,
nech zářilo slunce, nech večer se šeřil,
já semknutou brvou jsem vrahy ty měřil:
ty bohaté židy, ty grofy ze šlachty,
já škaredý kovkop, jak vyskočil z šachty.
Nech diadem jednomu na skráni svítil,
každý z nich upjatý pohled můj cítil,
mou zaťatou pěst, můj vzdor,
hněv horníka z Beskyd a z hor.—

Tak málo mám krve a ještě mi teče
z úst.
Až bude růst
nade mnou tráva, až budu hnít,
kdo místo mne na stráž,
kdo zdvihne můj štít?

1899

inslav

TY A JÁ

Uhni mi z cesty;
černé mám ruce a vlhké mám šaty,
horníkem já jen a velmožem dnes ty,
z paláce ty, já jen z dřevěné chaty,
frygickou čapku[1] mám, přes čelo stín.
A za mnou nelkají sirotků prosby,
sežrali tvoji jim zajíci pole,
bez srdce's, bez studu's — blesk tebe rozbij,
z Beskyd jsem, hoře a poroby syn,
robím v tvých hutích a robím v tvém dole,
žluč vře mi žilou a robím ti přece,
chytám tvá drva na zpěněné řece,
černý, chudobný, pot přes čelo letí,
nepláčou kvůli mně v Beskydách děti,
netiskl vdov jsem a nebral jim zemi,
zato jsem žebrákem, velmožem dnes ty,—
přijel jsi na hory? Vari ode mne,
frigickou čapku mám, uhni mi z cesty!

1909

HORNÍK

Já kopu, já pod zemí kopu,
já balvany jak hada kůže se jiskřící kopu,
pod Polskou Ostravou kopu.

Kahan mi zhasíná, do čela padly
zcuchané vlasy a slepené potem,
octem a žlučí se zalévá oko,
ze žil a z temena lebky se kouří,
zpod nehtů červená lije se krev,
já kopu, já pod zemí kopu.

Široké kladivo do štoly vrážím,
na Salmovci kopu,
já v Rychvaldě kopu a v Pětvaldě kopu.

inslav

Při Godule má žena mrzne a vzdýchá
na klíně hladová robata pláčou,
já kopu, já pod zemí kopu.

Srší to ze štoly, srší to z očí,
já v Dombrové kopu, v Orlové kopu,
na Porembě kopu a pod Lazy kopu.

Nade mnou nad hlavou kopyta duní,
grof jede dědinou, komtesa ručkou
pohání koně a směje se růžovou tváří.

Já kopu, já motyku zdvihám,
má žena zsinalá do zámku jde,
chleba chce, v prsou kdy vyschlo jí mléko.

Dobrého srdce je pán,
z žultého kamene je jeho zámek,
pod zámkem hučí a láme se Ostravice.
Před branou černé dvě suky se mračí.

Na co šla do zámku prosit a žebrat?
Roste rež na poli panském pro horníka robu?
Já v Hrušově kopu a v Michalkovicích.

Co bude z mých synků, co bude z mých děvuch,
až mne ráz ze štoly vytáhnou mrtva?
Můj synek dál bude kopat a kopat,
na Karviné kopat
a děvuchy — co bývá z hornických děvuch?

Což kdybych tak jednou prokletým kahanem do štoly mrštil,
sehnutou do výše narovnal šíji,
levici zaťal a vykročil přímo,
půlkruhem od země k obloze vzhůru
kladivo zdvihl a jiskřící oči
tam pod božím sluncem?

1910

inslav

ÚSPĚCH

Zpíval jsem, kritika chválila
jak moje písničky vzruší:
ni, to jen vzpomínky — bludičky
tesklivou mihly se duší.

Říkali, jaká to svéráznost,
jaká je mohutnost ve mně:
ni, ni, já jsem jenom ze Slezska,
z ubité, z uštvané země.

Přečtly se verše mé před Prahou,
v potlesku duše si výskly:
za co? Že žila ta Maryčka,
ve Frydku hrdlo nám stiskli?

Kdyby tak jednou pod Beskydem
pochodeň k Těšínu vzplála,
řadám, kde šel bych jak prostý muž
píseň má do kroku hrála,

kdybys ty, deptaný národe,
uspaný, spoutaný obře,
kdybys TAK písni mé rozuměl,
řekl bych: Zpíval jsem dobře.

1919

*

Žil jsem jak stepní kůň svobody
ciz lidem v životě prostém,
dávno jsem zahodil do vody
skřipky s tím jediným mostem;
nevím, jak strunu tu vložili
v srdce mi bohové přísní,
hořem půl, vodkou půl opilý
vázal jsem věnec svých písní;
z bodláčí, z pokřivy nehezké,
z trní a ze slz byl uvit:
byl jsem — sto pěrunů — ze Slezské,
jinak jsem neuměl mluvit.

1911

inslav

ANTONÍN SOVA

АНТОНИН СОВА

(1864—1928)

Антонин Сова — известный чешский поэт. Он родился в Южной Чехии, в семье учителя; в студенческие годы бедствовал, был писарем, некоторое время работал библиотекарем в пражской городской библиотеке. Вступил в литературу в конце 80-х — начале 90-х годов.

Литературное наследие Совы (более 20 книг, главным образом, небольших лирических стихотворений) неравноценно. В лучших, глубоко гуманистических произведениях поэта воспета любовь к народу, стремление к свободе, утверждается вера в будущее.

В стихотворениях, посвященных раскрытию темы революционной и национально-освободительной борьбы, изображению жизненных противоречий, простых человеческих чувств и переживаний, с особой силой проявилось поэтическое мастерство Совы. Эти стихи просты, напевны и реалистичны. В то же время поэту принадлежит довольно много произведений абстрактных, нередко отмеченных печатью модернизма, декаданса. Как только поэт удалялся в мир индивидуалистических представлений, положительные качества его поэзии утрачивались.

inslav

Наиболее ценные в идейном и художественном отношении произведения Совы вошли в его поэтические сборники «Из моего края» („Z mého kraje", 1892), «Сочувствие и протест» („Soucit i vzdor", 1894), «Надломленная душа» . („Zlomená duše", 1896), «Похождения отваги» („Dobrodružství obvahy", 1906), «Песни родины» („Zpěvy domova", 1918) и некоторые другие.

Уже в первом из названных сборников Сова проявил себя талантливым лириком, певцом природы Южной Чехии, где он родился и вырос. Тема родного края, где «слава Жижки дремлет в каждом уголке», проходит через все его творчество (стихотворения «Ольхи» — „Olše", «Таборские края» — „Táborské kraje", «Песня из Южной Чехии» — „Píseň z jižních Čech" и др.).

Образцом интимной лирики Совы может служить стихотворение «Строфы о простом счастье» („Sloky o prostém štěstí").

Важное место в поэтическом наследии Совы занимают гражданские стихотворения, свидетельствующие о том, что поэт с глубокой симпатией относился к выступлениям чешских рабочих и революционным событиям в России, разделял патриотические чувства трудящихся своей родины. Созданное в середине 90-х годов стихотворение «Нет, не верю» („Ne, nevěřím") передает чувства участников освободительной борьбы, достигшей в то время в Чехии особого подъема. В стихотворении «Дули сильные революционные ветры» („A revoluční, silné větry duly") слышится сочувственный отклик поэта на русскую революцию 1905 года. Приговор изжившим себя эксплуататорским классам выносит он в стихотворении «Современным собственникам» („Dnešním vládcům"). «Хочу, чтобы развевалось наше красное знамя», — писал Сова в 1920 году («Строфы писателям» — „Sloky spisovatelům"). Тогда же, в обстановке революционного подъема, он заявил о своей вере в осуществление идеалов трудящихся («Песня для новых сердец» — „Píseň pro nová srdce"). В стихотворениях «Рабочий у себя» („Dělník ve svém"), «Картина затопленной шахты» („Scenerie potopeného důlu") поэт с большой сердечностью и неподдельным сочувствием пишет о тяжелой жизни чешских пролетариев.

Творчество Совы оказало значительное влияние на многих чешских поэтов, вступивших в литературу на рубеже XIX—XX веков.

NE, NEVĚŘÍM

Ne, nevěřím, že umíráme zas.
To mlčíme jen v hrozném prázdnu věků,
kdy soucitný se neozývá hlas
ni přímé slovo nikde ke člověku.

To pouze k novým bojům oddech jest,
vrah na prsou jak nehnutě nám klečí,
nám krvavá jen odpočívá pěst
a žluč nám zasychá v neslyšné řeči.

inslav

Však jednou s divou silou, se vzdorem,
že palčivě se vzejmou rány nové,
vzepřeni o svou potupenou zem
se rázem vztyčí otrokové.

Soucit i vzdor, 1894

DĚLNÍK VE SVÉM

Když dělník z práce kráčí na večer,
provázen sluncem bledým v jeden směr,
když obří stíny sosen ulehnou
rovinou, v níž se sotva zvuky hnou
potřísněn krví práce, mozoly
pro štěstí jiných, černé oboly
vybírá z drobné kapsy u vesty,
je mění na chléb v krámku u cesty...

Pak v sad svůj vejde, v drobnou zahradu,
to v temnu, po slunce již západu,
prsť v záhonech, jež zjihla, obrátí,
zaleje trávník, začne kopati...
K své přivoní si růži rozkvětlé,
jež zavřela se touhou po světle —
a sednuv na drn, zahledí se v květ...
V té chvíli velký je ten jeho svět...

1895

A REVOLUČNÍ, SILNÉ VĚTRY DULY...

S vrcholy sosen silný vítr hrál,
když na cestu jsme vyšli připraveni.
Zděšený racek bouři předvídal
za jitra v revoluční kuropění.
Zem spala ještě. Magnetická tíž
na spánky lidské dosud uléhala.
Pro těchu bídných nad ní vztyčen kříž,
vylhaným blahobytem lhala.

inslav

Svět malých cílů dřímal na březích
dalekých moří, v otrávených městech.
Žen prodajných nás dojal smutný smích
a skrytý význam v oplzlých jich gestech.
Do nízkých idyl chodci tápavě
ze dne v den druhý mosty přecházeli.
Jich vnuci učili se chápavě
dny ubíjet se svými učiteli.

Jak zděsili se, když jsme vznítili
v svých duších na dně ohně revoluce.
Jich nozdry požár z dálky cítily
a k obraně se tyčily jich ruce,
kol jejich doupat bouřný vítr vál,
hle, jiskry z ohňů duší jich se tknuly.
Svět probouzel se, který dosud spal...
A revoluční, silné větry duly.

Dobrodružství odvahy, 1906

DNEŠNÍM VLÁDCŮM

Zcizeným Městem vládne dávný hřích
a karikatur tolik zbabělých.

Prodané Město... Neteční jdou s těmi,
kdo chřestí zlatem, řídí otěžemi...

Moc láká podlé, zištné, zbabělé
a vzduch jest shnilý, duše zbahnělé...

Morálně mrtvy, mrtvy svými činy,
jen zlatem svým tu žijí veličiny...

Kdož k měšcům jich jsou věčně přikutí,
ty umrtví a mlčet přinutí...

Nedbáte, mrtví? Ještě panovat?
Svou kořist nepustit a lup svůj nevydat?

Jste mrtví morálně. Však tolik živi dosud,
že živým závidíte, křížíte jich osud...

inslav

Mrtvý by nevěřil, když se tak smál,
že hrob si ve svém zlatě vykopal.

Však uvěříte, až my zburcováni
se netknem zlata v podlé vaší dlani...

Morálně mrtví, mrtví činy svými
i s podplacenými a ubohými,

nuž, mrtví, pozor! Přes vás živí jdem
a vašeho jha řetěz rozbijem!

1906

SCENERIE POTOPENÉHO DŮLU

Je večer deštivý... Pláň šedivá
své výběžky v zrcadlo vodní matné vrhá...
A vítr oblak temná přediva
do zejících otvorů prorvami obzorů
na cáry trhá...

A po den celý v dálce světel kruh
žlutavohnědé ostré skvrny hází kolem...
Lokomotivy trčí z černé vody struh...
Mře večer na pohorku kolem...

Blátivý popel, kam jen vidí zrak,
na všem, co dýše, věky usazený...
Ční věže železné a střechy v kalný mrak,
ční komíny, ční jeřáb pochýlený...

Důl zatopený dýše parou zahnědlou,
čerpadla hrozná skřípou rythmem stejnoměrným...
A mračna žen tu s dětmi na rukou
se tísní nad otvorem černým...

Den třetí minul... Neúnavná čerpadla
z té rakve duní, jak by třás' jí Osud...
Jak závora by těžká nad vším zapadla...
Však ženy ... stojí dosud ...

1907

inslav

SLOKY SPISOVATELŮM

Chci, aby náš prapor rudě vlál.
Neb vidím starce, jenž století stál
a poznal, že předešli jej, posměch v líci,
všech řemesel holobradí učedníci
a jemu, otrhanci,
již postavením svým přerostli nad hlavu,
a vzadu když zůstal, spokojen s málem svým v ranci,
jak na romantickou se na něho dívají postavu.

To ty jsi, spisovateli.
To ty jsi, šašku pro ukrácení chvil.
To ty jsi, snílku tragický.
Ty, básníku, strážce bdělý
národních sil,
ty zaostalče dob přešlých klasický.

Je žádoucna píseň, jež bude rudě vlát
a praporem bouřlivě třískat v zarostlé tukem zraky,
po hromadách zlata jež šilhají, shrabovat zvyklí a brát
a vydřít těm, kdož jsou práce bouřliváky.
Je žádoucna píseň, jež bude rudě vlát,
jež nedopustí, aby kdo na vydřeném pokladu sedal,
s ním lichvařil a co ti patří, i bral a nedal.

Tisk, pero, tvá mocná je zbraň,
však nevolník v službách cizích máš svědomí spící.
Ty dokud svůj nezdvihneš prapor rudý,
svůj prapor krvavě rudý,
dál poneseš krve daň
na útraty gentry lichvařící
s tvým duchem,
s tvou krví, s tvým časem, s tvou vůlí,
s tvým vším, a ještě tvým proniknout musí sluchem
škleb pohrdání, neb mnozí demokraté jsou takého druhu,
že blahosklonností svojí vyznamenávají sluhu,
i když tě pohostí, v kočáře svezou a provedou sály,
i když se tvým jménem chlubiti zdáli,

inslav

vždy jsi jim otrok, o jehož duchu ceník platí.
Ty nevěř jim.
Takhle však zamávati
praporem rudým, krvavě rudým!

A to už by ohromný rudý prapor byl,
mít všecka ta krví nasáklá prostěradla,
ta, na nichž zhas' Mácha, Havlíček, na nichž dodýchal Tyl,
kde Němcová chřadla, až zvadla,
a na němž duševní dělník až do dneška na úbytě živořil.

Ten prapor by musil mít rudý, krvavý smích,
odvahu, zpřetrhat pouta smluv zbabělých,
vlát nad všemi poklady duševní české říše,
z nichž těžilo panstvo, co tebe nechalo hodům svým
přihlížet tiše.
Ten prapor nechť rudě vlá,
ať vzryvně mu krví svou zaschlou v tvář šlehne, ať zabolí!
Kdo nepůjde za ním, ten ušlapán docela.

A vy, vy příštipkářští a kompromisní služebníci
té gentry s vašimi duchy lichvařící,
si nechte své reformní směšné oboly!

Krvácející bratrství, 1920

PISEŇ PRO NOVÁ SRDCE

Je dobra budovatelem,
kdo dělníkem, kdo člověkem,
jen vpřed-li jde a za světlem
v zápasu stálém, odvěkém.
Kdo lidství sije, dobro sklízí,
co lhalo zlem, je plevelím.
Buduje naše srdce ryzí.
Svět zdvihne si k svým nadějím.

Svět překonat jde, vydobýti,
kdo překoná jej, vpřed se hne.

inslav

A naposledy vítěziti
ten musí, blesk kdo ovládne.
Rudými blesky v srdci svém
zřít mnohou modlu skácenou,
toť pokroku hřmít kladivem,
kout duši znovuzrozenou.

Básně nesobeckého srdce, 1922

PÍSEŇ O DNESKU

Chci pramen čerstvý býti dnes,
chci oheň býti dnes, jenž hoří,
zadouvající vítr kdes
v lopaty mlýnů na pohoří.

A básník rozveselený
pohybem, po pních růst až k nebi,
pokrývat, věčně zelený,
dnu dnešního rezavé hřeby.

Chci hnízdo stavět dnes, neb zním
dnešními zvony, klidem jitra.
A vím, co dneska učiním,
tím bude krásnější den zítra.

1928

OLŠE

Jak jsem, olše, měl vás rád
v podvečerní, vonný chlad,
nad vodou když schýlen sám
stín váš chvěl se sem a tam.

Rybářů kdes táhlý hlas
nocí hlubokou se třás,
šumot mlýnských vážných kol
ve mně vzbouzel starý bol.

inslav

V třtinách sluka, černý bod,
čeřila jen vlny vod,
a v mé duši také tak
bloudil zlatých snění pták...

Květy intimních nálad, 1891

ČERVNOVÉ NOCI

Zas noci červnové s tichými blesky jdou.
Jsou jasné, zamlklé, s měsíčným polosvitem,
dech trávy požaté zas táhne zahradou
a větřík dřímavý se zlehka vlní žitem.

Spí všecko, všecko spí, jen tichá, zmlklá ves,
jen chřástal nad vodami zalká přerývaně.
Víc voní bez a kmín, a bouřněj šumí jez
v tom tichu velikém, jež oblévá mi skráně.

Hle, měsíc veliký jak hoří nad splavem...
A kolem do kola co hvězd se zatřpytilo!
Snad kdyby štěstí šlo po dlouhých dobách sem,
by ani za noci v tmách lesů nezbloudilo.

Květy intimních nálad, 1891

TÁBORSKÉ KRAJE

Přec jsou jen chudé táborské ty kraje,
však mám je rád až k smrti neskonale,
hor mírné pásmo ve slunci tu hraje
a žloutne obilí již skoro zralé,
u silnic v lesích milíř šerem hoří
a pošta jede truchlivými lesy,
hajnovny nízké v mladých buků moři
kdes leží v dříví nakupené směsi,
jsou města malá, zapadlá a skrytá
pod lesy mhavými, kde soumrak dýmá,
cimbuří hradů zbořených tě vítá
a sláva Žižky v každém koutě dřímá.

Z mého kraje, 1892

inslav

RYBNÍKY

Ty české rybníky jsou stříbro slité,
žíhané temnem stínů pod oblaky,
vloženy v luhy do zeleně syté
jsou jako krajů mírné, tiché zraky.
Tu sluka steskne v rákosí blíž kraje
a kachna vodní s peřím zelenavým,
jak duhovými barvami když hraje,
se nese v dálce prachem slunce žhavým;
chlad s vůní puškvorců na luka stoupá
a s vůní otavy po kraji dýchá,
vzduch mírně chlazen vlnami se houpá
a něco jako věčný stesk v tom vzdychá.

Z mého kraje, 1892

PO BOUŘI

Přestály stromy bouři. Na větvích
květ opadal, tak bílý jako sníh.
A leží dole svát a rozdupán
línými stády, mizícími v lán.

Vroucnější vůně táhnou údolím
než jindy. Nevyřčeny, dechem mdlým
dýchaly včera, ale pláčou dnes
ztrát bolestí, jíž prudce voní ves.

Přestály stromy bouři za cenu
úrody příští, touhu ztracenu
ztajily v servané své zeleni.
Ó příští prázdnoto! Předčasná jeseni!

Ještě jednou se vrátíme, 1900

ROMANCE O ŽENÁCH

Tenkým smyčcem si břízy hrály,
jarní větry povívaly.

Ženy šly ověnčeny v stráně,
my jsme se dívali z dálek na ně.

inslav

Tančily na slunci v zrosených travách,
večera odlesk na horkých hlavách.

Všecky jsme znali po jich hlasu,
poupata vadla na jich vlasu.

Lehkomyslně si s květy hrály,
včerejšky vesele pohřbívaly,

přes propast tančivě přelétly mžikem
s vítězně naivním, divošským křikem,

co my jsme nad hloubkou stáli tak zoufale
tam, kde se sypaly smíchu jich korále,

střemhlav jsme padali v zoufalém mlčení,
v záhad a hrůzy posvátném dotčení.

Lyrika lásky a života, 1907

SLOKY O PROSTÉM ŠTĚSTÍ

Znal jsem tvé vzdušné zámky s věžmi, jichž sta se zvedá,
a dnes jsem viděl tě po prvé prostou, jak zahradou jdeš.
Nechtěl jsem slibovat tenkrát, lidské co srdce nedá,
svět co ti odepře, nikdy co míti nebudeš.

A dnes... tvé štěstí vidím. Sedím u tvého stolu,
před sebou úrodu léta, tvůj chléb, tvé ovoce.
Není tu vzdušných zámků, však není také bolu,
s útulným koutem jsi srostla něžně a hluboce.

Bílý je domek tvůj a zpívá slunečnou sloku,
v zahradě růže kvetou, v poli dozrává klas.
Drobné děti tvé cupou, kam se hneš, po tvém boku,
snědé jak muž tvůj, pomněnky v zraku, vzdorný tvůj vlas.

Naděje i bolesti, 1924

inslav

PÍSEŇ Z JIŽNÍCH ČECH

Bez hnutí rybník, mrtvá šeď,
nad ním z olova nebe.

Otázka ani odpověď,
vše tak mlčí a zebe.

Jihočeský je mračný den,
obloha nesčítá
oblaka, jdou jak těžký sen,
loď o loď rozbitá.

Zpřísní tak někdy a zdrsní tu lid
těžkou svou prací.
Dálky se neblíží, jen co jdeš sít,
země skoupě ti vrací.

Někdy i smutna tu láska jest
bez slunce ve dne,
v noci je bez měsíce a hvězd,
studený vítr se zvedne.

Zářil's včera a žhnul tvůj zrak,
ale dnes sestřelený jsi pták,
který, když umírá, mlčky se skrývá
a nezazpívá a nezazpívá.

Drsná láska, 1927

inslav

inslav

Третий раздел

ПЕРИОД БУРЖУАЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ И АНТИФАШИСТСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

(1918—1945)

inslav

inslav

Третьим разделом хрестоматии представлена литература 1918—1945 гг.

Нараставшее в ходе первой мировой войны и особенно усилившееся под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции освободительное движение чешского и словацкого народа привело в октябре 1918 года к образованию самостоятельной Чехословацкой республики. Однако социальное положение трудового народа не изменилось. К власти пришла национальная буржуазия, поддержанная правыми кругами социал-демократии.

В стране продолжались выступления трудящихся, требовавших социалистических преобразований. В 1921 году на базе левого крыла социал-демократической партии была создана Коммунистическая партия Чехословакии.

К середине двадцатых годов чехословацкой буржуазии удалось добиться ослабления народного движения. Однако с начала 30-х гг. в связи с экономическим кризисом революционная активность трудящихся вновь повышается.

С фашизацией Германии над Чехословакией нависла угроза гитлеровской агрессии. В результате мюнхенского соглашения страна была отдана на растерзание Гитлеру и в 1939 г. оккупирована фашистскими захватчиками. Свободу чехословацкому народу принес май 1945 г.

Особенности развития литературы 20—30-х годов были тесно связаны с новой расстановкой общественных сил. Для представителей буржуазной реакции в литературе характерно было воспевание капиталистического строя, национализм, проповедь псевдосоциалистических взглядов, в 30-е годы — профашистские идеи.

Прогрессивный лагерь литературы охватывал широкие круги писателей-демократов, значительная часть которых пришла в это время к революционным убеждениям. Это поэты — С. К. Нейман, И. Волькер, прозаики — М. Майерова, И. Ольбрахт, Я. Гашек, В. Ванчура, Юл. Фучик, М. Пуйманова, критики и литературоведы — Зд. Неедлы, Б. Вацлавек и другие.

Уже с начала 20-х гг. усиливается критическая направленность литературы. В 1923 г. появился всемирно известный роман «Похождения бравого солдата Швейка», сатира на военно-бюрократическую систему буржуазного государства. В это же время интенсивно развивается револю-

inslav

ционная поэзия (сборник С. К. Неймана «Красные песни», 1923 г., баллады И. Волькера).

Передовая литературная общественность группировалась вокруг журналов С. К. Неймана «Червен» („Červen") и «Пролеткульт» („Proletkult"). Революционные писатели выступали с требованием социалистической идейности и правдивости литературы. Статьи Неймана, Неедлы, Волькера, Фучика отражают процесс возникновения и развития эстетики социалистического реализма. Критика капиталистического мира связана у революционных чехословацких писателей с освоением марксистского учения, с научным осмыслением путей общественного развития человечества. Многие их произведения посвящены разоблачению антинародной сущности политики правящих кругов Чехословацкой республики. В их творчестве формируется образ нового положительного героя — сознательного борца за революционное изменение действительности. В литературе идет процесс становления метода социалистического реализма. Особую роль в развитии революционной литературы сыграли романы И. Ольбрахта «Анна-пролетарка» (1928) и «Никола Шугай, разбойник» (1933), М. Майеровой «Сирена» (1936) и «Шахтерская баллада» (1938), М. Пуймановой «Люди на перепутье» (1937).

Значительный вклад в развитие литературы вносили и те писатели, которые не пришли к революционным идеям, но стремились в своих произведениях правдиво и честно изображать действительность. Среди них был крупнейший представитель критического реализма, всемирно известный писатель Карел Чапек.

Многие явления чешской литературы 1918—1945 гг. носили очень сложный характер. Так, например, поэты Й. Гора, Я. Сейферт, выступившие в начале 20-х гг. в русле революционной литературы, затем отошли от нее, переживая идейный и творческий кризис. Однако, несмотря на это, они создали ряд значительных произведений.

В период временной стабилизации капитализма в конце 20-х — начале 30-х гг. в литературе возникли эстетские течения так называемого поэтизма и сюрреализма. Их представлял и ряд крупных поэтов революционной общественной ориентации — В. Незвал, К. Библ, творчество которых не умещалось в рамки эстетства и было отмечено также большими поэтическими достижениями.

В период угрозы гитлеровского порабощения прогрессивные силы чешской литературы объединились в антифашистской борьбе. Наряду с писателями-коммунистами С. К. Нейманом, Ф. Фучиком, В. Незвалом, Ф. Галасом, Я. Кратохвилом яркие антифашистские произведения создал Карел Чапек (роман «Война с саламандрами», драмы «Белая болезнь», «Мать»), Й. Гора, Я. Сейферт и многие другие. Передовые чешские писатели активно боролись против гитлеровского рабства во время оккупации. В фашистских тюрьмах погибли выдающиеся деятели чешской литературы Ю. Фучик, Б. Вацлавек, В. Ванчура и др.

Ярким документом антифашистской борьбы стало предсмертное завещание Юлиуса Фучика, выдающееся произведение социалистического реализма — «Репортаж с петлей на шее».

На передовые традиции чешской литературы 20—30-х гг. опираются писатели народно-демократической Чехословакии.

inslav

STANISLAV KOSTKA NEUMANN

СТАНИСЛАВ КОСТКА НЕЙМАН

(1875—1947)

Чешский революционный поэт Станислав Костка Нейман является одним из основоположников и самых крупных представителей чешской пролетарской поэзии.

Нейман родился в Праге, в семье адвоката, происходившего из старинного польского рода; мать поэта была дочерью чешского сапожника. Будущий поэт учился в гимназии, затем в коммерческой академии. Рано обнаружив интерес к литературе и журналистике, Нейман с 17 лет начал сотрудничать в газетах. В 1894 г. за участие в деятельности национальной молодежной организации «Омладина», выступавшей против австрийского правительства, и работу среди студентов и молодых рабочих Нейман был арестован и приговорен к тюремному заключению. В тюрьме поэт написал первую книгу своих стихов. Выйдя из заключения, он целиком отдался литературной деятельности. Произведения Неймана 90-х и отчасти 900-х гг. нередко отличались анархистско-бунтарской направленностью и были отмечены печатью декаданса. Однако уже в начале творческого

inslav

пути С. К. Нейман связывает свою литературную и общественную деятельность с рабочим движением, что оказывает благотворное влияние на творческое развитие поэта. В 1903 г. в сборнике «Сон о толпе отчаявшихся и другие стихотворения» („Sen o zástupu zoufajících a jiné básně") Нейман в аллегорической форме утверждает свою веру в силу трудящихся, способных преобразовать мир.

В результате дальнейшего сближения с революционно-освободительной борьбой чешского народа С. К. Нейман постепенно освобождается от политических и эстетских заблуждений. Растет и художественное мастерство поэта.

После 1905 г. Нейман переселился в Моравию, где жил до начала первой мировой войны, не раз подвергаясь преследованиям полиции за свои антиправительственные и антиклерикальные выступления. В 1910 г. выходит книга патриотических стихов Неймана «Чешские песни» („České písně"). В Моравии же поэт создает стихотворения, составившие сборник «Книга лесов, вод и холмов» („Kniha lesů, vod a strání", 1914).

В годы войны Нейман был призван в армию и в качестве санитара отправлен на Балканский фронт.

Первая мировая война способствовала идейному росту поэта. Великая Октябрьская революция и происшедшие под ее влиянием изменения в жизни чешского народа обусловили окончательный приход Неймана в ряды революционного пролетариата. Быстро разочаровавшись в «демократизме» образованной в 1918 г. Чехословацкой республики, поняв антинародный характер ее правительства, Нейман решительно порывает с заблуждениями прошлого. Он становится одним из основателей и видных деятелей коммунистической партии, активным пропагандистом марксистской теории, страстным борцом за развитие революционной чешской литературы, непримиримым противником декадентских течений.

В организованных после войны Нейманом журналах «Червен» („Červen") и «Кмен» („Kmen") сотрудничали наиболее прогрессивные представители чешской литературы. В 1920 г. издательством журнала «Червен» был опубликован первый перевод на чешский язык труда В. И. Ленина «Государство и революция», что явилось огромным событием в общественно-политической жизни страны. Знакомство с книгой помогло многим чехам и словакам стать на путь революционной борьбы. В начале 20-х гг. в журнале были опубликованы и первые переводы произведений Маяковского, поэзия которого была близка Нейману и в дальнейшем оказала воздействие на его эстетические взгляды и творчество.

Качественно новой становится с начала 20-х гг. и вся поэзия Неймана. В сборнике «Красные песни» („Rudé zpěvy", 1923) поэт горячо приветствует Советскую Россию („Pozdrav"). Непримиримостью к врагам пролетариата, пафосом классовой борьбы и верой в ее победоносный исход проникнуты стихотворения «Вы и мы» („Vy a my"), «Песня уверенности» („Zpěv jistoty") и др. В ряде произведений этого сборника поэт разоблачает чехословацкую буржуазию, предавшую национальные интересы народа.

В стихотворении «Песня двадцатых годов» („Zpěv z dvacátých let") Нейман рисует образ Ленина как руководителя мирового пролетариата

inslav

В конце 20-х — начале 30-х годов Нейман создает цикл лирических стихов «Любовь» („Láska"), в которых раскрывает мир личных переживаний нового человека, связавшего свою судьбу с борьбой рабочего класса.

Важное место наряду с «Красными песнями» занимают в наследии Неймана стихотворения 30-х гг. В поэтическом сборнике «Сердце и тучи» („Srdce a mračna", 1935), посвященном А. М. Горькому, и сборнике «Соната земного бытия» („Sonáta horizontálního života", 1937) поэт беспощадно развенчивал международный империализм и национальную буржуазию.

Подлинное лицо американской «демократии» показал он в стихотворении «США» („USA"); империалистическое ограбление Китая изобличил он в стихотворении «Тридцать две миссии» („Třicet dvě misie"). В ряде стихотворений названных сборников Нейман пишет о своей солидарности с антифашистами республиканской Испании.

В стихотворениях «Под Рудными горами» („Pod Krušnými horami") и в «Песне о Верховине» („Píseň o Verchovině") поэт изобразил нестерпимо тяжелую жизнь чехословацких трудящихся, на которую обрекла их буржуазия.

В одном из лучших своих стихотворений «Благодарность Советскому Союзу» („Poděkování Sovětskému svazu") поэт противопоставляет страшной капиталистической действительности жизнь Советского Союза и от имени миллионов трудящихся различных стран выражает благодарность стране социализма за то, что она указала им путь к свободе.

В годы фашистской оккупации Нейман был вынужден покинуть г. Подебрад, где прожил до этого много лет, и скрываться от преследования в разных уголках страны. В тяжелый период «второй республики» и оккупации поэтом был создан ряд замечательных стихотворений, звавших к борьбе и сопротивлению («Будь горд» — „A hrdý buď", «Трудящемуся не нужно войны» — „Pracujícímu netřeba války" и др.). Некоторые из них были опубликованы во время войны в подпольной печати. Эти стихи вошли впоследствии в сборники «Бездонный год» („Bezedný rok", 1945) и «Зачумленные годы» („Zamořená léta", 1946).

В годы войны Нейман обращается к боевым традициям истории и культуры чешского народа. Не случайно одно из стихотворений сборника «Зачумленные годы» посвящено Неруде.

Восторженно приветствовал Нейман освобождение Чехословакии в 1945 г. Несмотря на преклонный возраст, поэт активно включился в борьбу за построение новой жизни.

Делу мира и социализма, нерушимой дружбе с Советским Союзом посвятил Нейман свои последние стихотворения («Красные песни» — „Rudé zpěvy, část II.", 1946—1947). Последовательно революционное творчество Неймана 20-х—40-х гг. явилось важным этапом в развитии чешской пролетарской поэзии по пути к социалистическому реализму. За плодотворную литературную деятельность Нейману было присвоено почетное звание Народного художника.

inslav

V DUBNU

Oblaka bílá temné své stíny
pomalu vodí po vrších,
kde ještě mnoho hnědavé hlíny
a lesů sivozelených.

Ale již slunce zkouší svou slávu,
poskakující v mracích míč,
své zlato pouští na zemi v trávu
pro pampelišky, petrklíč.

Udiven leskem březové kůry,
koberci květů, zelení,
zalitý sluncem pohlížím shůry
na vrchů vážné vlnění.

Jest mi, jak bývá plavčíku v koši,
když na obzoru spatří břeh.
Volal bych: Země! Hej, hola, hoši!
Napravo země! V plamenech!

Kniha lesů, vod a strání, 1914

DEDIKACE

Jahody první, hle, nesu ti, ženo,
z bukové paseky, z vysoké trávy,
pozdravy slunce a jižního větru,
zakleté v šarlat a ve sladké šťávy.

Pomalu nes je k svým hedvábným retům,
ať jejich sladkost až k srdci ti vzrůstá.
Pomni, že políbíš červnové slunce
a krví země si potřísníš ústa.

Jahody první, hle, nesu ti z lesů,
vyhřátých paprsků úrodou zlatou.
Jak ten plod rudý buď krystalem vonným,
slunce a země buď pohodou jatou.

Kniha lesů, vod a strání, 1914

inslav

ŽALM Z ROKU 1919

Já, národ český,
a příliš brzy
jsem vystřízlivěl z krásného snu
o kvetoucí zahradě,
kde svoboda, bratrství, mír
tančily jako dívčin veselý vír
a kde se spravedlnosti dostalo
mně
a každému z mých.

Den ze dne
mrskán a bičován
podlými žurnalisty a hrabivými politiky,
krmen a napájen
podvody, lžemi a triky,
nemaje jediného přítele
na vyjedeném ostrově sedím,
do zmatků hledím,
nemoha se nadchnouti pro nic,
věřiti nemohu,
milovati nemohu
a naděje jako kocábka z korku
kalnou pěnou a po vlnách beze směru
se zoufale potácí.

Jako kobylky
drancují mě hltaví ziskuchtivci,
sedlák mě okrádá,
měšťák mě vydává na pospas bankám
a povaleči všeho druhu
poslední berou mi od úst.
Ti, kteří denně mě zrazovali,
jak na psa karabáč na mě brali,
tyli z mé práce a nadouvali se,
amnestování i neamnestování
v komisích, v ústřednách, ministerstvech
pikle své kují,

inslav

znova mě ohrožují,
vymýšlejíce si nové řetězy,
otroctví červenobílé.

Demokratický pán světa,
za oceánem číhá dolar,
aby i z krve mé, z mého potu se rozmnožoval.
Cizí diplomat
se pokrytecky zajímá o můj osud,
poklepává mi na rameno,
abych byl hodný,
že darem dostanu, co po právu mi patří.
Oslavujeme, interviewujeme,
jezdíme v automobilech,
vojáčky, hodně vojáčků chceme
a papežského nuncia...

Nevím, čí jsem,
jen steré zřím ruce, domácí, cizí,
jež by mě rády roztrhaly
jako hladové šelmy.
Nevím, čí jsem,
ledaže náležím parasitům,
zbujelým ve všech mých třídách a stavech,
mračnům kobylek, kokotici.
V očích mám písek frází,
nervy mám strhány štvanicemi
a vstanu-li, tož se potácím
napravo, nalevo,
neznaje cesty k sobě.

Svobodu jsem si představoval,
v bratrství doufal jsem,
po míru toužil,
ale jen slova byla zaseta,
nikoli zrní.
Krev mi teče z cév a láska vyprchává,
o nekonečných mukách někdy se mi zdává,
o nesmírné cestě kamením:

inslav

hledívám v cizí plameny
bezradný a zmámený,
táži se: je to počátek,
porodní bolest, jarní bouře,
horlivý nástup v nový věk,
který mě opravdu osvobodí —
anebo pouze křeč,
křeč staré, zlotřilé bestie,
lidstva, jež v sobě, v každém zabije
vždy znova čistý vznět?

Ach, kde je svět,
kde malost nebyla by vinou
a člověk otrokem člověka?!

Rudé zpěvy, 1923

POZDRAV

Sovětská Rusi,
buď zdráva!
Nad skomírajícím světem, jenž dusí
nás a všecky ostatní dělníky a dělnice,
buď zdráva,
světice!

Kdybychom dovedli ještě zdobiti oltáře,
Tvůj oltář bychom zdobili,
kdybychom učili děti své modlitbám,
jen k Tobě by se modlily,
světice.

Čtyřletá mučednice
na skřipci ničemné západní diplomacie,
popichované zlatou chátrou měšťácké Francie,
zrodivší revoluci:

mordýři Kolčak, Denikin, Judenič, Wrangel,
tvá zrádná a zbabělá emigrace,

inslav

žurnalističtí lháři všech zemí v žoldu buržoasie
a všickni červi tyjící z mrchy starého světa,
holota, která řve: vlast!
a myslí na trůny, kšefty a chlast,
obklopili Tě nestoudnými pikly,

vředy carismu, jež se provalily,
zločin blokády a stíny revoluce
galejními koulemi Tvé nohy zatížily
a spoutaly Tvé ruce.

A přece žiješ,
spanilá a svatá,
a přece vyzařuješ na všecky strany
jako z keře hořícího osvobozující slovo,
jak veliká monstrance zlatá,
v níž bělostně se skvěje tělo vykupitelovo,
aby podáváno bylo proletariátu.

Matko naše,
Ruská socialistická federativní sovětská republiko,
učitelko, záštito, naděje naše,
pilíři budoucnosti,
jediná hvězdo na stmělém nebi,
buď zdráva!

Přes nechápavost filosofů, kteří zestarali,
buď svato jméno Tvé všem srdce čistého;
přes nenávist těch, kteří nahrabali,
řeč Tvoje vejdi v srdce lidu chudého.
Přes pikle emigrace, jež Tě zaprodává,
Tvá vůle staň se, dobuď světa celého,
a přes hladomor vzrůstej Tvoje moc a sláva
a Rudá armáda.

Sovětská Rusi,
buď zdráva!

Rudé zpěvy, 1923

inslav

ZPĚV JISTOTY

Vyděděli nás, ale nemohou nám vzíti pohled
královský
na svou ničemnost a neodvratný kaz
všeho, cokoli činí,
na neodvratný konec,
jenž je rozvrátil a do všech koutů stíní
jejich hodiny.
Vyděděli nás,
my však víme — víme,
že jsme dědici, že po nich vystavíme
nový svět.

Vykořisťují nás,
ale nemohou zabrániti,
bychom nejedli se stromu poznání.
Všude oráči vyorávají hluboké brázdy,
denně rozsévači rozcházejí se do světa,
naše osení již se vymetá,
železná úroda solidarity.
Vykořisťují nás,
my však řetězem je strašným sevřeme,
nad osudem jejich sami zbledneme,
zahynou.

Zotročují nás,
ale na galejích dvorců, továren a dolů
nedovedou uhasiti ohně vzpoury,
k němuž sesedáme se jako ke společnému
stolu,
a jenž půdu žencům dá a oráčům,
doly horníkům,
dělníkovi stroje.

Zotročují nás,
ale v jejich kasárnách na slunečních místech
o bratrství sníme, o rudých Kristech,
o povelu, který celým světem zní,

inslav

celým světem zatřese,
až nám vzplane bitva poslední:
Proletáři všech zemí, spojte se!

Zotročují nás,
ale v jejich káznicích
zpíváme si Internacionálu,
naše vůle tuhne tu v železo,
jejich vzteku odpoví náš smích:
Kdo nepracuje, ať nejí!

Zotročují nás,
ale v jednoho otroka splýváme pomalu,
v jednu ruku a jedno kladivo:
přijde den, kladivo dopadne v ráz,
budeme volni!

Rudé zpěvy, 1923

ZPĚV Z DVACATÝCH LET

Zčernalá mračna jdou a jdou,
světy se svíjejí křečí zlou.

Temno a bouře, blesky den ze dne
a přece jenom zbabělec bledne.

Ztroskotali jsme tolikrát,
my, dělná třída, proletariát.

Zabloudili jsme v tmavé noci,
zrazeni byli jsme, bez pomoci.

Ale vždy znovu a silnější,
za chléb se bijeme vezdejší.

Za chléb a všecko, co k němu patří,
až budou lidé svobodní bratři.

Silnější denně a uvědomělí,
oslavíme svou rudou neděli.

inslav

Den ze dne sláva dělnické třídy
bělochy, černochy, Indy a židy,

národy, rasy světa rudého,
sdružuje pod prapor lidu dělného.

Armáda naše se zocelila,
temnota není již tou, co byla.

Na východě nám pevnost železná
vzrostla, tyčí se mocná, vítězná.

Největší maják nad ní a světem
zjevuje cíl náš otcům i dětem.

Největší zvon tu duní a zní:
Sověty — sbratření! Sověty — sbratření!

Nechť v bouři svět se svíjí den ze dne,
jen zbabělec váhá, krčí se, bledne.

Zahání nevěru, úzkost a ston
Lenin — maják, Lenin — zvon, Lenin — maják,
Lenin — zvon,

maják — zvon
Lenin!

Nové zpěvy, 1911—1926

SETKÁNÍ S VELIKOU RODINOU

Potkáš-li prostého člověka,
večer se změní v ráno,
z ulice důvěra haleká,
na sklech z lásky je psáno.

Potkáš-li člověka prostého,
vypil jsi k života slávě
sklenici mléka čerstvého
nadojeného právě.

Potkáš-li prostého člověka,
nezmateného falší,

inslav

uslyšíš píseň z daleka
a cestou potkáš další.

V jednom se setkáš se všemi,
s velikou rodinou chudou.
K utrpení jsou na zemi,
k vítězství na ní budou.

Srdce a mračna, 1935

LISTOPAD

List padá za listem,
list rudý, hnědý, žlutý,
a na chladnoucí zem
sen rozsévají krutý.

Na lukách pobledlých
tu a tam tančí divě;
na vodách stojatých
se houpou zádumčivě.

V umlklé krajině
je stále slyšíš padat,
a na tvé hladině
zní v strunách pozdních nálad.

Pak chudé ženy jdou,
když v holých stromech vane,
a rance nahrabou
té smrti malované.

Srdce a mračna, 1935

PODĚKOVÁNÍ SOVĚTSKÉMU SVAZU

Vám poděkování a lásku vám,
kéž zněly by jak zvony,
vždyť já ne sám,

inslav

jsou nás už miliony,
snad všickni se vám jednou v něčem vyrovnáme,
teď poděkování vám aspoň posíláme,

Vám mrtvý Lenine, jenž slovo učinil jste tělem
a říši člověka tu zahájil,
Vám, živý Staline, jenž roztříštil jste čelem
vše to, čím včerejšek Vám do budovy bil,
vám, avantgardo dělníků a vzpůrců,
kteří jste činy zdvihli k vítězství,
vám, generace hrdinů a tvůrců,
jimž socialismus už na čele se stkví,
a tobě, lide dělný, jenž jsi chápal
a nepřemožitelná jsi už zeď,
kdyby snad žoldák žraloků se sápal
špinavou tlapou na tvou mladou pleť,

vám poděkování a lásku vám,
kéž zněly by jak zvony,
vždyť já ne sám,
jsou nás už miliony,
vám poděkování a lásku posíláme
a ve dne v noci na vás vzpomínáme
i po československých krajinách,
Čech, Slovák, Rusín, Žid i Němec, Maďar, Polák,

kovák i dřevorubec, havíř, tkadlec, volák,
my všickni, jimž jste světlem v lidožravých tmách,
jen k vám už díváme se v dálku,
abychom mohli s vámi zemi přetvořit,
abychom měli chleba, střechu, práci, klid,
nikoli hlad a válku,
levisit.

Vám poděkování a lásku vám,
kéž zněly by jak zvony,
vždyť já ne sám,
jsou nás už miliony,
snad všickni se vám jednou v něčem vyrovnáme,
teď poděkování vám aspoň posíláme,

inslav

že se šestiny kontinentů
jste smetli zlaté žraloky,
že vysvlékli jste ze vznešených kmentů
cizopasníků zpupné laloky,

že střevním katarem vám děcka nezmírají,
poněvadž zisk vám není dražší života,
že nezaměstnaní vám hladem nepadají,
poněvadž práce není u vás robota
z milosti dravců, necitelných k hoři
a hlásajících zločin do věků,
a sklizeň není bravu nebo moři
raději dávána než člověku,
že práce všech a pro všecky je vámi
zas oslavena spravedlností,
a vašich trubců zbytek — za horami
jen páchne rozkladem své zrádné hlouposti.

Vám poděkování a lásku vám,
kéž zněly by jak zvony,
vždyť já ne sám,
jsou nás už miliony,
snad všickni se vám jednou v něčem vyrovnáme,
teď poděkování vám aspoň posíláme,

že lid jsou u vás jenom pracující,
a nepracující už zítra vyhynou,
že lid je u vás vše, a pro lid panující
se všecko děje rukou společnou,

že vaši vůdci za jeden jen provaz táhnout smějí,
ne hráti tisíc hlav a tisíc rozumů,
a stejnou pravdou všecky napájejí,
by hymnus košatosti šuměl do domu,
ne povyk, z něhož tyjí duté nicky
a politikou zvou jej eufemisticky,
že s nečistým se nemazlíte kazem,
korupce není vaší moci tmel,
že studní traviče jste vyhubili rázem
a ze žurnálů hnali lháře drzých čel,

inslav

a když vás navštíví teď tohle zvíře,
by doma mohlo lépe zkrucovat a lhát,
že usmíváte se jen v dobré míře:
je ze světa, kde podvodem lze nejvíc vydělat!

Vám poděkování a lásku vám,
kéž zněly by jak zvony,
vždyť já ne sám,
jsou nás už miliony,
snad všickni se vám jednou v něčem vyrovnáme,
teď poděkování vám aspoň posíláme,

že pravou skutečnost jste očistili
od pověr vznešených i směšných sudiček
a z poctivé hry navždy vyloučili
nesmysl boha, popský chlebíček,

že nádeníkovi i básníku jste dali
pro jednostejné dílo jednostejný svět,
by pospolitost velkou budovali,
kde člověka už nelze podvádět,

že po museích máte náboženství
a s mocí temna žádný modus vivendi[1]
že vymírají u vás blasfemická členství
a opiové merendy.

Vám poděkování a lásku vám,
kéž zněly by jak zvony,
vždyť já ne sám,
jsou nás už miliony,
snad všickni se vám jednou v něčem vyrovnáme,
teď poděkování vám aspoň posíláme,

že světlý směr si nedáváte kalit
marnivou povídavostí
všech originálků a individualit
z idealistického zdroje hloupostí,

inslav

že osvobodili jste od měšťáckých svobod
jedinou živoucí a pravou svobodu,
že u vás myslitel už není slepý robot
a stal se světodějnou pákou národů,

že u vás osobnost je vyšší vlna v proudu,
jenž slavně plyne v novou společnost,
ne hlava ješitná a plná troudu,
jímž tlející nás dusí minulost,

ne krysa učená, ne politická děvka,
ne zpupný dravec egoistický,
že lidstvo tvoříte, v němž každá cévka
pro zápas žije komunistický
a pro řád všelidský.

Vám poděkování a lásku vám,
kéž zněly by jak zvony,
vždyť já ne sám,
jsou nás už miliony,
snad všickni se vám jednou v něčem vyrovnáme,
teď poděkování vám aspoň posíláme,

že vaše existence jasně září
v náš smutný život těch, kdož ještě čekají,
že s vámi horlivějšími jsme žháři
v hanebném mumraji.

Jste vichr naděje a hrad náš nejpevnější,
jste vojsko pravdy zdejší,
jste orkán žhavé víry, která vidí
a jediná je důstojná nás lidí.

My tady na Západě
na křižovatkách cest
jen stádo zmatené, ne v jednolité řadě,
ne zeď a pěst,

zlatého světa podnož měkká,
vedou ji krysaři a jejich píšťala,

inslav

a uskladňovaná je, neboť odbyt čeká
krvavá internacionála.[1]

Tisíckrát obelhávaní a zrazení,
hrabivou třídou ožebračení,
jdou davy mimo nás, a strašná bída pije
jim krev i mozek, svaly, lidskou tvář,
a nad nimi si hvízdá panská ironie
prodajnou řečí tlampačů a klerků,
už nerozeznáváš, kdo troup je a kdo lhář,
a jako bosý po nejtvrdším štěrku
životem odporným až k zvracení
klopýtáš k zničení.

Jen vaše kladiva a vaše srpy,
ta nová, čistší, pravdivější hvězda betlemská
sem svítí všem, kdož trpí,
a znova pobízí nás pozemská
k životu, víře, činnosti —
i zestárlého básníka, jenž nepřestával sníti
o říši spravedlnosti
a její den teď vidí vítěziti.

Tak za nesmírné dary, jimiž osud duje,
i za světlo, jež v tmách nám život zachraňuje,
teď poděkování vám aspoň posíláme,
kéž znělo by jak zvony,
snad všickni se vám jednou v něčem vyrovnáme,
osvobozené miliony.

Srdce a mračna, 1935

ŽIVOT

Život je krásný, život je těžký,
nemilosrdné hodiny,
dlouhá údolí, vysoké sněžky,
jsme vlastně všickni hrdiny,
my kteří jdeme pěšky.

inslav

Život nás láká, život nám hrozí,
žíznivé touhy, krvavá lopota,
za rohem číhají zákeřní bozi,
zlatá periferie života,
ti, kdož se tu jen vozí.

Život je krásný, život se mění,
všeho i bídy jen do času,
z temnot se dereme na světlo denní
v nejkrkolomnějším zápasu,
bude i to, co není.

Život je krásný, daleká cesta,
marné však není žádné volání.[1]
Zemdlený není ostudou města,
hanbou je zrada a pokání,
zpáteční cesta se trestá.

Sonáta horizontálního života, 1937

TŘICET DVĚ MISIE

Třicet dvě misie
hnízdí v Číně,
Jancekjan je dravá voda,
obyčejně však plyne líně.

Třicet dvě hnízda se rozlézají
po dobré zemi.
Veliká matka trpělivá
opovrhuje všemi.

Třicet dvě klubka hadů
úlisně syčí svou báji.
Laoce, Konfuce[2], Budha
se usmívají.

inslav

Třicet dvě pobožné agentury
západních kořistníků
nenakoupily mnoho
pro Krista továrníků.

Čtyři sta osmdesát milionů
hobluje utrpení,
čtyři sta osmdesát milionů
brázdí strašlivá dění.

V hluboké brázdy sejí
Východ i Západ.
Lidská šelma se nebude věčně
na cizí sápat.

Generálové kupčí a zrazují,
padají mučedníci.
V hlubinách dobré země
semena klíčí.

V černých hlubinách z krve a potu
klíčí jitro,
procitne Čína, ó Čína,
tisícileté nitro.

Jancekjan vzedme své kilometry
nad zemí rozcuchanou,
čtyři sta osmdesát milionů
vstanou.

Sbohem, imperialisté,
i s vaším bohem.
Třicet dvě misie
hoří stohem.

Sonáta horizontálního života, 1937

inslav

USA

Devět hochů ve Scotsboru,[1]
devět hochů nevinných,
jako na stygickém voru[2]
devět květin urvaných
slunci, ulicím a matkám
mezi bytím-nebytím
volá ke všem křižovatkám
mlčením svým strašlivým.

Devět hochů v cele smrti,
devět hochů bez viny
čeká, až jim bílí chrti
skočí na krk... Hodiny,
měsíce a léta plynou,
běloch krká rozkročen:
černoši jsou, tak — ať hynou,
chudí jsou, ať pojdou jen.

Sonáta horizontálního života, 1937

PÍSEŇ O VERCHOVINĚ[3]

Každý nosí svobodu
a žádný hrst kukuřice
Olbracht: Nikola Šuhaj

Verchovina, Verchovina,
země vnadná,
v patách kráse běd tu bloudí
na tisíce;
Verchovina, Verchovina,
země hladná,
kdo jí aspoň dosyta dá
kukuřice.

Verchovina, Verchovina,
země chorá,
blekotá tu idiotů

inslav

úsměv strašný.
Za hladem, jenž z panské vůle
sela orá,
mor se plíží v černé chaty,
v život prašný.

Přichází sem panská věda
na tu nemoc:
„Mor sem na vás, lidé dobří,
z Polska táhne,
a že se tu ze zbožnosti
postíte moc,
na zesláblé tyf a smrtka
nejdřív sáhne".

Verchovina, Verchovina,
zotročená
půst má věru ustavičný,
ale z bídy;
jako v lesích pták, tak v selech
člověk sténá,
dravec chudé Rusíny rve,
chudé Židy.

Verchovina, Verchovina,
země smutná,
jako vše, nač padne dravce
pracka divá.
Zbav nás, hněve, všech, jimž naše
hoře chutná —
jména zemědělce lupič
zneužívá.

Sonáta horizontálního života, 1937

POD KRUŠNÝMI HORAMI[1]

Pod Krušnými horami
krušný smutek vždycky hnil,
nad černými jamami
prach z uhlí člověk pil.

inslav

Pod Krušnými horami
tvář smutku hladově zbledla,
pod žlutými mlhami
bída k ní sedla.

Osleply ztichlé sklárny,
zápasem o zisk zrazeny,
a v šachtách robotárny
jsou horníkům šichty kradeny.

Hrůza nezaměstnanosti,
rub sytých magnátů,
brnká na housle z kostí
strašlivou kantátu.

S tou hudbou muži tady
jdou na svatbu se smrtí,
divokých šachet černé vnady
nasytí nebo usmrtí.

Nasytí na chvilku, usmrtí navždy,
tak jedenáct jich padlo už:
kapitalistické vraždy,
kapitalistický nůž.

Tak padli i včera tři na jaře
a dva z nich za kamaráda:
nezapomeňte na skláře
Kroupu, Smřcka a Hübnera.

U Košťan kalný ranní svit
a mrtvý před živým stojí:
možno-li k smrti se sjednotit,
nelze to učinit k boji?

Sonáta horizontálního života, 1937

inslav

ASTURŠTÍ HORNICI[1]

Všecko svaté strašně zrezavělo.
O meč chleba vojska bojují.
Mečem chleba podmaňují tělo,
mečem chleba osvobozují.

Světské touhy, světská protivenství
obnažila pravou svoji tvář.
Je-li vám však třeba podobenství,
hle, tu v nejtemnější zemi zář,

duch, jenž prahne po spravedlnosti,
v hrdinech svých táhne nad děly,
z asturského pekla vyslal ctnosti,
z černých šachet černé anděly.

Marnou mstou a dřinou nezdoláni,
vstali s korouhvemi vzkříšení;
olejem ne, uhlím pomazáni
k plápolajícímu znamení.

V palbu žoldáků jdou, v hromy letců,
z hrůzy černé v hrůzu ohnivou...
Který bůh měl pro čest tolik světců,
kolik člověk pro svobodu svou?

Sonáta horizontálního života, 1937

KAŽDÝ SE BOJÍ O SVOU KŮŽI

Každý se bojí o svou kůži,
ale kdo čisté srdce má,
v plápolu jasném zapomene,
že se naň dravé zvíře žene,
a rukama je udolá.

Každý se bojí o svou kůži,
ale kdo čisté srdce má,

inslav

poznané pravdě neodpírá,
zlému se brání, lži se vzpírá,
a nepřátel se neleká.[1]

Každý se bojí o svou kůži,
ale kdo čisté srdce má,
ví den, jenž velí se nebáti,
jenž velí také život dáti,
ví den, ví den a život dá.

Bezedný rok (básně z r. 1938), 1945

NEZRAZUJ

Jen o tebe mi, lide, běží, lide můj,
jen o tebe nám běží,
nezrazuj,
na domovině šero leží,
zradíš-li světla věčný přívod,
zradil jsi sebe, děti, život,
nezrazuj.

Šero je pouhá hříčka času, lide můj,
šero je episoda,
nezrazuj,
trvá zdroj světla, vzduch i voda,
osení klíčí, sklizeň bude,
máj v milionech srdcí hude,
nezrazuj.

Letničky zvadly, zhasl povrch, lide můj,
z přeludů povrch vratký,
nezrazuj,
nepoznals věčné vesny statky,
jak strom však z každé zimy zdejší
zazelenáš se košatější,
nezoufej, nezrazuj!

Bezedný rok (básně z r. 1938), 1945

inslav

PRACUJÍCÍMU NETŘEBA VÁLKY

Pracujícímu netřeba války
ani loupeží.
Věčně naslouchá zpěvu dálky,
jež se železem neježí.

Pracujícímu netřeba pánů
v kožichu ovčím hmyzu.
Věčný protest kladiv a lánů
doutná zpod jejich lizu.

Pracující má svízelů dosti
s risikem práce a přírody.
Věčně hledí do budoucnosti
k novému světu pohody.

Na vteřiny nás umlčeli.
Pomalu melou mlýny časů.
Nezapomněli jsme nic a bděli.
Zorali nám úhor. Bude klasů!

Veselostí zkřehlých svět se zatřese;
pracující všech zemí, spojte se!

Zamořená léta (básně z let 1939—1945), 1946

A HRDÝ BUĎ

A hrdý buď,
žes vytrval,
žes neposkvrnil ústa ani hruď
falešnou řečí.

Takový byl můj lid
s kosou a kladivem.
Na jitřní čekal svit,
čekal a věřil.

inslav

Úrodu novou sklidí sám,
sám se svými.
Jděte mu z cesty. Staví chrám
bratrské doby.

Zamořena léta (básně z let 1939—1945), 1946

PRVNÍ MÁJ 1946

Minula dlouhá léta obětí a žalů,
minula stálá hrozba lesklých samopalů,
fialky, petrklíče pijí čistý vzduch.
Jdou budovatelů a tvůrců statisíce,
má celá republika uzardělé líce,
všem nadějí nám zpívá cév a nervů vzruch.

Je První máj zas náš a náš jak nikdy ještě,
třebaže nezkrápějí radost zlaté deště,
jde zchudlou zemí naše putování v dál.
Pod rudým vláním však nám buší srdce rudé,
že jsme už povýšili mozolné a chudé,
a dělný člověk je teď u nás pán a král.

Už krysař veselý si píšťalu svou chystá,
polezou krysy z děr, a země bude čistá,
ach do roka a do dne, Československo.
Buď První máji zdráv a stále červenější
i na tvářích i v srdcích populace zdejší,
by krysám přešla navždy chuť k nám na máslo.

A přitáhnou-li přece někdy od západu
hltaví hlodavci to zkusit s hrozbou vpádu,
ó První máji náš, my pod tvou zástavou
po boku sovětského bratra velikého
je zaženeme podle vzoru husitského
chorálem pouhým — Internacionálou.

Rudé zpěvy, část II. (1946—47), 1950

inslav

JIŘÍ WOLKER
ИРЖИ ВОЛЬКЕР
(1900—1924)

Чешский поэт-коммунист, сыгравший большую роль в борьбе за революционную литературу, Иржи Волькер родился в г. Простейове в семье банковского чиновника.

Впечатления юношеских лет Волькера были связаны с первой мировой войной, резко обострившей и обнажившей социальные и национальные противоречия в Австро-Венгрии. Накалявшаяся обстановка в стране подготовила поэта к восприятию революционных идей.

В 1919 г. Волькер поступает на юридический факультет Пражского университета. В столице он сближается с революционно настроенной молодежью, а также с двумя крупнейшими представителями прогрессивной литературной общественности — поэтом Станиславом Косткой Нейманом и проф. Зденеком Неедлы, оказавшими серьезное влияние на его идейный рост. В это время Волькер приходит к революционным убеждениям.

Решающее значение для творческого развития поэта имела Великая Октябрьская социалистическая революция и подъем революционного движения чехов и словаков. В 1921 г. Волькер вступает в ряды Коммунистической партии Чехословакии.

Для ранней поэзии Волькера 1916—19 гг. характерны патриотические, национально-освободительные мотивы, ноты социального протеста, жизнеутверждающая лирика. Но вместе с тем он не избежал известного влияния декадентской литературы, символизма. В дальнейшем Волькер сознательно борется с этими влияниями.

inslav

Волькеру принадлежат два сборника стихотворений: «Гость на порог» („Host do domu", 1921) и «Рождение» („Těžká hodina", 1922), ряд прозаических произведений и пьес, из которых наиболее интересна «Великая жертва» („Největší oběť"). Сборник «Гость на порог», хотя и несет еще на себе следы сильного влияния поэтики символизма и экспрессионизма, отражает революционные взгляды Волькера. Светлое отношение к миру, радость поэта, обретшего в революционных идеалах смысл жизни, составляют подтекст стихотворений этого сборника.

Во втором сборнике «Рождение» Волькер создает ряд высокохудожественных произведений революционной тематики. В творчестве поэта этого времени выделяется жанр социальной баллады. В стихотворениях «На рентгене» („U roentgenu"), «Баллада о глазах кочегара» („Balada o očích topičových"), «Море» („Moře") и др. поэт воспевает труд, показывает трагедию рабочего в капиталистическом обществе, раскрывает истоки классовой ненависти пролетариата. Баллады Волькера оптимистичны благодаря уверенности поэта в победе грядущей революции. Героем многих его стихотворений становится рабочий — выразитель лучших социальных идеалов человечества.

Стихи Волькера отличаются богатством красок, простотой и глубокой лирической взволнованностью. Выразительны концовки стихотворений, ярко подчеркивающие их основную образную мысль.

Сказки Волькера носят характер социальных аллегорий. Лучшая из них — сказка «О миллионере, укравшем солнце» („O milionáři, který ukradl slunce", 1921). Образ миллионера, крадущего у людей солнце, олицетворяет паразитизм буржуазии, отнимающей счастье у миллионов трудящихся. В сказке отражена твердая вера писателя в неизбежную гибель капиталистического мира.

Важное значение имели статьи Волькера, посвященные вопросам развития революционного искусства («Охранители творческой свободы» — „Ochránci umělecké svobody", «Манифесты» — „Manifesty" и др.). В них он выступил с воинствующей критикой откровенных и замаскированных врагов революционной литературы. В своих статьях Волькер предпринял попытку теоретически осмыслить характерные черты революционного искусства. Особенно важно было провозглашенное Волькером требование реализма революционной литературы. Волькер вплотную подошел к выводу о том, что революционная литература наследует и развивает достижения классической литературы.

JITŘNÍ PÍSEŇ

Nesmělé jitro do tváří nám dýchlo
snem volných lesů, luk a dálných hor.
Vše divnou vírou v duši naší ztichlo,
i bolest krvavá i těžký vzdor.
  Radostně klidni brouzdáme se bosi
  chladící travou, lesní přes pažit.

inslav

Osení stříbří slzy ranní rosy.
Snad plakali jsme, — ale teď chcem žít!

Tam v mlhách krvavých den slunce tuší.
Vy myslíte, že nezasvitne sem?
Ach věřte jen, a věřte celou duší
a vírou svou i slunce unesem!

1918

NE SAMÝM CHLEBEM...

Kdys ve večerním šeru
přibelhal ku klášteru
muž zbídačený tuze
od hladu, zimy, chůze.

„Kdos na vrata nám tluče,“
dí opat zlostně bruče.
„Běž, bratře Matyáši,
se podívat, kdo straší.“

„Kdo jsi, jenž tlučeš do vrat?“
„Ach, pane, chléb! Mám hlad, hlad!
A dobrotivý Bože,
jen přes noc teplé lože!“

„Věříš-li v Krista Pána
a Maria že panna?“
Tu poutník dí: „I třeba,
jen dej mi kousek chleba!“

„A byl jsi u zpovědi?“
Zrak jeho smutně hledí.
„Ach, přebolestný osud!
Já nebyl u ní dosud,

Já bydlil v dálných lesích
a snil jen o nebesích.“
„Toť přetěžká věc, synu!“
„Ach pane můj, vždyť hynu!“

inslav

„Teď dám ti požehnání
a až po zpovídání
ti rozhřešení dáno.
To bude zítra ráno.

Až přijmeš tělo Krista,
tvá duše bude čistá.
Tak vymodlíš si chleba
a všeho, čeho třeba.

Však nejsi čistý dosud,
běž proto trochu odsud!
Tam u zdi polož sebe
a opatruj tě nebe.“

Pak brána bouchla zase.
Tu poutník pozvedá se.
Mráz poněkud jej zebe,
však — pochází též z nebe.

Mnich dobrý ráno přišel,
poutník jej nevyslyšel,
neb nebe v oné době
si vzalo duši k sobě.

Mnich poklonil se k zemi
a kříži potom třemi
se pokřižoval v líci
a šel to bratrům říci
Tu hlasy v kapli steré
mu pěly „Miserere!“.

1918

ŽEBRÁCI

Stávali žebráci podél cest
a o haléř prosili pány.
Těžký je osud: žitím se nést,
když na těle hnisají rány.

inslav

Září-li počasí překrásné,
štědřejší bývají páni,
ale jak sluníčko pohasne,
tu groše jim nedají ani.

Radím vám, žebráci: Sluneční jas
když vznítí žár štědrosti boží,
štědrými dárci vám budou snad zas,
když blesknete ve tvář jim noži!

1918

DOPOLEDNE

Sám ležím na lukách a sním...
Už brzo, brzo zezdola
polední zvon mě zavolá
svým hlasem táhlým, vášnivým.

Teď tiše k horám pohlížím:
jest na sta srázů dokola, —
ach, kolik z nich mi odolá,
až jedenkráte půjdu k nim?

Mrak bílý nad horou se vznes
a běží, běží v širou dál.
Jak ruku by mi podával...

Stříbrně rozesmál se les.
Kdes blízko rozvoněl se květ
tak prudce, — jak mých dvacet let.

1919

PISEŇ O DALIBORU[1]

Žil kdysi rytíř Dalibor,
jenž srdce junácké měl,
dle srdce svého jednal též,
což raděj dělat neměl,

inslav

neb král hned svolal všechny své
a ve veliké řeži
jej přemohl a uvěznil
v kamenné, strmé věži.

Však žalářník byl dobrý chlap;
sic neodemknul bránu,
však místo klíče housle dal
mu ke chlebu a džbánu.

A Dalibor ty housle vzal,
své srdce vložil na ně,
a učil srdce létati
jak ptáka z tvrdé stráně.

Pod tvrdou strání, pod věží
přesmutní lidé žili.
Ti píseň jasnou slyšeli
a hned se veselili.

Dalibor umřel. Nestačí
pít muži jenom vodu.
Však srdce svoje před smrtí
vypustil na svobodu.

Písničkou z věže uteklo
a dále žije v tonech,
pocestným lidem vyhrává
v hospodských aristonech.

Za pěťák nebo za šesták,
všem, kdo jsou unavení,
zahraje píseň veselou,
jak prchlo ze vězení.

1921

BALADA O OČÍCH TOPIČOVÝCH

Utichly továrny, utichly ulice,
usnuly hvězdy okolo měsíce
a z města celého v pozdní ty hodiny
nezavřel očí svých jenom dům jediný,
očí svých ohnivých, co do tmy křičí,

inslav

že za nimi uprostřed strojů, pák, kotlů a železných tyčí
dělníků deset své svaly železem propletlo,
aby se ruce a oči jim změnily ve světlo.

„Antoníne, topiči elektrárenský,
do kotle přilož!“

Antonín dnes, jak před lety dvaceti pěti,
železnou lopatou otvírá pec,
plameny rudé ztad syčí a letí,
ohnivá výheň a mládenec.
Antonín rukama, jež nad oheň ztuhly,
přikládá plnou lopatu uhlí,
a že jenom z člověka světlo se rodí,
tak za uhlím vždycky kus očí svých hodí
a oči ty jasné a modré jak květiny
v praménících drátů nad městem plují,
v kavárnách, v divadlech, nejraděj nad stolem rodiny
v radostná světla se rozsvěcují.

„Soudruzi, dělníci elektrárenští,
divnou ženu vám mám.
Když se jí do očí podívám,
pláče a říká, že člověk jsem prokletý,
že oči mám jiné, než jsem měl před lety.
Když prý šla se mnou k oltáři,
jako dva pecny velké a krásné byly,
teď prý jak v talířku prázdném mi na tváři
po nich jen drobinky dvě zbyly.“

Smějí se soudruzi, Antonín s nimi
a uprostřed noci s hvězdami elektrickými
na svoje ženy si vzpomenou na chvíli,
které tak často si dětinsky myslily,
že muž na svět přišel, aby jim patřil.

A Antonín zas jak před lety dvaceti pěti,
jen těžší lopatou otvírá pec.
Těžko je ženě vždy porozuměti,
má jinou pravdu a pravdivou přec.

inslav

Antonín očí květ v uhelné kusy
přikládá, neví snad o tom, — spíš musí,
neboť muž vždycky očima širokýma
se rozjet chce nad zemí a mít ji mezi nima
a jako slunce a měsíc s obou stran
paprsky lásky a úrody vjíždět do jejích bran.
V tu chvíli Antonín, topič mozolnatý,
poznal těch dvacet pět roků u pece, u lopaty,
v nichž oči mu krájel plamenný nůž,
a poznav, že stačí to muži, by zemřel jak muž,
zakřičel nesmírně nad nocí, nad světem vším:
„Soudruzi, dělníci elektrárenští,
slepý jsem, — nevidím!“

Sběhli se soudruzi,
přestrašení celí
dvěma nocemi
domů jej odváděli.
Na prahu jedné noci
žena s děckem sténá,
na prahu druhé noci
nebesa otevřená.

„Antoníne,
muži můj jediný,
proč tak se mi vracíš
v tyto hodiny?
Proč jsi se miloval
s tou holkou proklatou,
s milenkou železnou,
ohněm a lopatou?
Proč muž tu na světě
vždycky dvě lásky má,
proč jednu zabíjí
a na druhou umírá?“

Neslyší slepec, — do tmy se propadá
a tma jej objímá a tma jej opřádá,
raněné srdce už z hrudi mu odchází
hledat si ve světě jinačí obvazy,

inslav

však nad černou slepotou veselá lampa visí,
to není veselá lampa, — to jsou oči čísi,
to oči jsou tvoje, jež celému světu se daly,
aby tak nejjasněji viděly a nikdy neumíraly,
to jsi ty, topiči, vyrostlý nad těla zmučené střepy,
který se na sebe díváš, ač sám ležíš slepý.

Dělník je smrtelný,
práce je živá,
Antonín umírá,
žárovka zpívá:

Ženo má, — ženo má,
neplač!

Těžká hodina, 1922

MOŘE[1]

Na břehu ostrova Krku, na břehu z kamení
moře jsem hledal celých šest smutných dní
a moře jsem nenašel, — viděl jsem ptáka jen,
co zvlněnou perutí odlétal celý den
by zvečera na měsíc sedl a s něho znavený
písničkou stříbrnou pad mezi pobřežní kameny,
písničkou mámivou, jež namlouvala mi,
že pták ten moře je s modrými vlnami,
že stačí po světě jak po lučině jít,
že abys uviděl, se stačí zrakem zpít.

Na břehu okna hotelu tiše se otvírala,
za každým oknem bledá dívka stála
a každá dívka ta, jež vprostřed noci snila,
své moře stvořila, aby je utopila
do chorých očí svých, jimž v sklené báni hvězd
svět není chlebem už, že lahví s lékem jest.
Ty oči viděl jsem, ta moře viděl jsem
a přece zůstal jsem slepcem a cizincem.
Nestačí mlha pěn a ze snů příboje,
já chtěl jsem poznat víc, chtěl znát jsem to, co je,

inslav

to moře skutečné, jež se mnou i beze mne bije
v skalnaté útesy hor a břehy Dalmacie.

Na břehu ostrova Krku, na břehu z kamení
moře jsem hledal celých šest smutných dní
a moře jsem nenašel, neboť svět cudný je
a rukám rozměklým tělo své ukryje
do kulis barevných, do rakve malované,
zatím co na místech světějších z mrtvých svých vstane.

Teprv dne sedmého, kdy nad městem zvon zněl,
já opilec z vlastních svých očí jsem se vypotácel,
ne už co lázeňský host, — jak dělník v neděli
jsem městem se potloukal sdílný a veselý.
A proto večer v hospodě u mola
skutečné moře jsem uzřel kol dokola,
když přes stoly dubové hleděl jsem do tváří
vám, námořníci, barkáři a rybáři,
vám, bratři uzlatých pěstí, co v trikotu roztrhaném
nosíte bouře a pohody a celou tu zem,
vám, dělníci věční, sluncem propálení,
kteří tu stavíte moře a jste z něho vystavěni!

Zahrej, chraplavý aristone, ptáku mi nad jiné milý,
zde tančí všechna moře s pěti světa díly
a nejšťastnější já, jenž do srdce tance všech byl přijat jsem,

mozoly obrůstám jako strom ovocem,
jsem námořník, barkář a rybář, jsem dělník z přístavu,
v tisíci lodicích proplouvám moře a ještě je proplavu,
ne jedněma, tisíci rukama moře se zmocňuji,
ne jedněma, tisíci rukama moře buduji.
Zahrej, chraplavý aristone, ptáku mi nad jiné milý,
svět jsou jen ti, kteří jej živí, by z něho živi byli,
moře jsme my, dělníci zvlněných svalů, cizí i zdejší,
my, skutečnost jediná, skutečnost nejskutečnější!

Těžká hodina, 1922

inslav

U ROENTGENU

To není Faustova jizba a duše zde nevchází v prokletí,
to je Roentgenův přístroj s magickou krásou XX. století,
ultrafialové paprsky pronikají tu maso, svaly a blány,
lidské tělo se zde otvírá jak dopis zašifrovaný,
neboť dnes tělo je duše a na něm psáno jest,
zda člověk se narodil pro štěstí anebo pro bolest.

„Pane doktore, tak těžko mi je,
jako bych v prsou olovo měl a zmije.
Otevřte tělo mé paprsky zářivými
a povězte, co vidět mezi nimi!“

„Co vidím, dělníku, to tvoje plíce jsou.
Fabrika ti je popsala dýmem a sazemi.
Slyším v nich svištění transmis a stroje, které řvou,
že chudý jen dřinu má na zemi.
Co vidím, dělníku, to tvoje plíce jsou,
prožrané hladem a tuberkulosou.
Umřeš.“

„Nemoc a smrt, — to těžké břímě jest,
však nad to těžšího cos musím v sobě mít.
Lékaři, dejte hlouběj prosvítit
tělo mé paprsky zářivými
a povězte, co mezi nimi!“

„Co vidím, dělníku, to tvoje srdce jest,
zdupané semeno, jež strašně chtělo kvést
do světa zdravého, do lásky a žití,

kde možno ženu, děti a soudruhy mít
a pro ně ruce své na chleba proměnit
a jíst ho se stolu, na který slunce svítí.
Co vidím, dělníku, to tvoje srdce jest
a srdce lehčej smrt dovede snést
než nemilovat.“

„I tuto tíhu, lékaři, já znám.
Však hlouběj, ke dnu, tělo prosvěťte mi!

inslav

Nejtěžší břímě naleznete tam.
Sotva je unáším. A jsem si jist,
až vypadne, že rozkymácí zemi."

„Nejhlouběj, chudý, vidím nenávist."

1923

NA NEMOCNIČNÍ POSTEL PADÁ SVĚT...

Na nemocniční postel padá svět
a alarm jeho slyším mezi obvazy,
soudruzi do boje jdou pro spravedlnost,
soudruzi do boje jdou a nikdo neschází.

Na nemocniční postel padá svět,
však smrt též na ni dýchá z temných zákoutí.
Proč nemohu jít s vámi, soudruzi?
Proč musím umírat, když chtěl jsem padnouti?

1923

EPITAF

Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět
a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív než moh srdce k boji vytasit,
zemřel, mlád dvacet čtyři let.

1923

O MILIONÁŘI, KTERÝ UKRADL SLUNCE

Na světě žil jeden ohromný milionář. Stalo se, že shromáždil ve svých rukou všechno bohatství zemské. Nebylo nic, čeho by si nemohl popřáti. Bydlil v nejkrásnějším zámku a všichni lidé mu sloužili.

Ale ubohý milionář byl nemocen. Jeho nemoc nebyla ani tak zlá jako odporná. Po celém těle rostly mu hnusné žluté vředy,

inslav

které přes den mokvaly a v noci děsně pálily. Byla to škaredá nemoc, — tak škaredá, že až sám milionář se za ni styděl a proto hleděl ji ukrýti do šatů z jemných látek a do postelí s hedvábnými poduškami.

Jeho jmění ustavičně rostlo, ale jeho nemoc rostla také. Byla obava, že vyrážka zastihne oči. Toho se boháč nejvíce bál. Mohl-li dobře zakrýti všechna místa na svém těle, — toto bylo jediné, které musilo zůstati nepřikryto, chtěl-li žíti, vládnouti a vydělávati.

Nemocný milionář rozhodl se, že si zavolá lékaře. Doposud se žádného neptal na radu, ba žádného k sobě ani nepřipustil, neboť nechtěl, aby se někdo dověděl, jak je ubohý ve své podstatě. Obával se, aby lidé, kteří mu záviděli jeho ohromné štěstí, — nezaradovali se nad jeho nemocí a necítili se šťastnější než on. Usuzovalť, že maje nejvíce peněz, musí mít i nejvíce štěstí. Ostatní lidé tak usuzovali také, vzhlížejíce na jeho krásné šaty, automobily a pohodlí.

I zavolal si nejlepšího lékaře a řekl mu:

„Pane lékaři, — prohlédněte mě dobře a poraďte, co mám dělat, abych se uzdravil. Moje nemoc je tak odporná, že se o ní nesmí nikdo dověděť. Proto zajisté prominete, když vás po vaší lékařské prohlídce dám popraviti. Nevěřím žádnému člověku, — tím méně lidskému jazyku. Historie o králi Midasovi naučila mě býti důslednějším než on. Ostatně vaší ženě bude vyplácena přiměřeně vysoká pense z mých pokladen a vaše děti vystudují na mé útraty.“

Lékař zpozoroval, že udeřila jeho poslední hodina. Neboť *smrtící* síla tohoto muže byla ohromná.

„Mé *životní* síly kvapem prchají,“ pravil dále milionář. „Jednejte rychle!“

Svlékl se a stanul před ním nahý, podobaje se zpola rozmačkané housence a zpola vykotlanému zubu.

Lékaře zachvátil hnus. Jak k tomu přijdu, myslil si, abych byl kvůli jeho vředům zabit, — já, který jsem docela zdravý. Každý člověk má moc usmrtiti druhého člověka. Má-li ji on, — budu ji mít i já. Dobrá, — poradím mu lék, který mu přijde zatraceně draho.

„Milostivý pane,“ řekl, „znám lék pro vaši chorobu. Je tím lepší, že jedině vy si jej můžete opatřiti. Vy potřebujete slunce.

inslav

Ale ne jen trochu, kterou dostávají almužnou ostatní, — vy potřebujete slunce celé. Máte ohromné jmění a myslím, že i slunce můžete za ně snésti s nebeské báně do svého paláce. Když se s ním sám na nějaký čas uzavřete, když sám budete zblízka účasten jeho blahodárné dobroty, — vyjdete ze sluneční lázně nejen úplně zdráv, ale i nesmrtelný. Je to jediný lék, který vám mohu doporučiti. Neboť na vás se sešla choroba celého světa. Slunce pak je zdraví celého světa."

Milionář lékaři uvěřil. Jak by neuvěřil člověku, který byl krok před smrtí. Jenom se ještě otázal:

„Nevíte, jak může být slunce drahé?"

„Slunce je drahé všem lidem. Možná, že jednomu je lacinější."

Když lékař domluvil, byl odveden a popraven. Vdově byl doručen šek na slušnou sumu, sirotkům zánovní školní knihy, dvě zcela zachovalá pravítka z kanceláří milionářových a pouzdro na držátka s nápisem:

Uč se, synu, moudrým býti!

Milionář zatím přemýšlel, jak sundati co nejlaciněji slunce. Dal zbudovati ohromná lešení. Sta inženýrů vystavělo velkolepý jeřáb. Stavitelé pracovali na plánech budovy, do níž mělo býti sneseno slunce a uzavřeno s milionářem a jeho vředy. Miliony dělníků ze všech zemí světa mlátily kladivy; ne proto, aby sundali sluníčko, ale aby uživili ženu a děti.

Jedné noci, která byla temnější než zatvrzelé srdce, — sundali lidé milionářovi slunce s oblohy, spustili je do ohromné budovy a uzavřeli železebetonovými zdmi s ocelovými pláty.

Ani jeden paprsek neunikal.

Na světě byla tma a milionář se radoval, že se mu vše povedlo. Potmě ani bůh nepozná, myslil si, — že slunce je pryč. Já zatím stanu se nesmrtelný, — a kdo mi potom co může! Nezůstane jen při slunci! Odnesu i všechny hvězdy a přidám je do svých pokladů. Budou moje, jako jsou moje cenné papíry, uložené v bance Ego. Brzy se stane, že nebude nic, co by nebylo mým. Koupím si i pána boha a udělám ho svým tajemníkem. Budu mladý, krásný, nesmrtelný a nejbohatší. Kdo mi odolá? Mohu znásilnit zemi jako ženu a ona bude ráda, že znásilněna, — neboť ženy mají rády silné a neurvalé muže. Hip-hip!

Zatím lidé se probouzeli ze sna. Tuze se divili, že slunce už

inslav

nesvítí. Na nebi trčela jen veliká, červená rána, kterou hasiči a natěrači marně se snažili uhasit anebo zatřít. Lidé se shlukovali a křičeli:

„Kde je slunce? Kdo nám sebral slunce?"

Strážníci s elektrickými svítilnami dělali pořádek. Byla to těžká práce! Lidé byli jako bezhlaví a marně bys je byl napomínal k tichosti anebo k rozchodu.

Milionář dal rozsvítiti všecka světla. Stotisíc lustrů plálo na nárožích, v kavárnách, barech a kabaretech. Na předměstí svítily tři smutné lucerny a na dědinách vytahovali ze zpráchnivělých truhlic hromničky a dívali se uděšeně na sebe.

Nastal zmatek, který podporovali černí netopýři, kteří přilétli neznámo odkud.

Nevěstky na ulicích byly už umdlelé, neboť noc trvala příliš dlouho.

Milionář počítal: až se uzdravím, budu vyrábět ze slunce sirky Helios, mast na opáleniny Slunín a vše, co se dá. Šikovný člověk může lehko zbohatnout. Jak jsem rád, že na to nepřišel nikdo přede mnou.

Ale lidé ve městech byli víc a více zmateni. Naráželi na sebe jako poplašený dobytek.

Proto dal milionář vylepiti plakáty a sepsati úvodníky do novin.

KONEČNĚ TMA!
ODVĚKY NEPŘÍTEL ZDOLÁN

NEJVELIKOLEPEJŠÍ DŮKAZ
LIDSKÉ OBĚTAVOSTI

Již od počátku světa byli lidé trýzněni největším tyranem, jaký kdy byl stvořen, — sluncem. Jeho krutou tyranii na svých bedrech snášel nejvíce ze všech stavů stav lidí pracujících, kterýchžto miliony padaly zasaženy při práci jeho zhoubnými paprsky.

Lékařsky je zjištěno a statisticky dokázáno, že

plných

100% (slovy: sto procent)

lidí, kteří se pod sluncem narodili, též pod ním zemřeli. Této krutovládě byl učiněn konec. Známý lidumil pan Poslední Milionář (— kdo by si nevzpomněl na jeho vzácnou ochotu, s kterou zabezpečil ženu a dítky tragicky zemřelého lékaře X!)

inslav

dal je na vlastní náklad sundati s nebe. Práce se dík jeho nadlidské obětavosti zdařila a slunce zmizelo se světa.
Nehynoucí památka je mu zajištěna.
Žádejte prospekty!

Ti, — kdož měli světlo, — tak si to přečetli a uklidnili se, — ti, kdož je neměli, — zůstali neklidní dál. Mnoho babiček (ty, co už byly 20 let slepé) říkalo: Přijde konec světa.

Běda milenci, — který ve tmě ztratil svou lásku. Už ji nenašel.

Zatím boháč, odstraniv všechno své služebnictvo, odešel ke slunci. Když vešel do ohromné budovy, přepevně zamkl, přesvědčiv se ještě, zda stráže s revolvery a bajonety hlídají dobře všechny vchody. Klíč nechal v dírce, aby se nikdo nemohl dívat. Potom počal se svlékati.

Slunce pálilo.

Jak to nebesky hřeje, myslil si milionář. Veliká síla do mě vstupuje. Vše nezdravé bude spáleno a přetaveno v čistý kov. Vyjdu jako mladý bůh. Tolika lidem dávalo slunce štěstí a zdraví. Na mně je, abych bral toho součet, když ostatní všechny jsem odstranil. Oh, — jak nesmírné štěstí jest, snésti štěstí všech jen na sebe.

Slunce pálilo.

Je to trochu moc horké. Ale neškodí. Velkou dobrotu je třeba naučiti se nosit. Jen aby mě záda mnoho nebolela. A hlava. A ústa, oči, prsa a nohy.

Ach, — žár je nesnesitelný. Stravuje mě zevnitř i zevně. Zdá se mi, že popelnatím. Jen ještě chvíli vydržet. Potom odejdu. Odejdu a skočím do studené řeky. Najdu si milenku z ledu. Roztavím ji ve svém náručí. Budu nejsilnější, nejbohatší, nesmrtelný. Jak jsem sláb, chud a vše bolí, jako bych umíral! Ne, už to nevydržím. Půjdu. Snad to postačilo. Půjdu, — utíkám, — letím...

Nahý žebrák se spálenými vředy a zanícenýma očima doběhl ke dveřím. Běda! Rozžhavený klíč nabobtnal v klíčové dírce, že by je ani sám bůh neotevřel, kdyby byl chtěl. Marně jím lomcoval, marně jím trhal, — zde nebylo služebníků, rádců a dělníků, — zde byl sám, jako samo bylo jeho srdce v uhnívající hrudi, — jako samy byly jeho oči ve vrstvě hnisu a bolesti.

inslav

Milionář se zachvěl. Jeho tělo se bortilo jako strom při bouři. Člověče, neuneseš štěstí všech! Nestačíš na svoje.

Slunce pálilo.

Milionář se zhroutil.

Zbyla z něho hromádka popele, nic větší než železný šestáček. Malá hromádka honosivé bídy. Budova, kterou si dal vystavěti pro svoji pýchu, stala se jeho katafalkem a slunce, ukradené jeho nemocnou ctižádostí, bylo velikou svící při jeho mrtvolce. Nikdo neplakal.

*

A slunce pálilo.

Pálilo tak, že brzy propálilo všechny stěny. I ty zřítily se jako vystavěné na písku. Propadly se do země, podobné černokněžníkům, kteří zmizí po zakletí. Slunce vybuchlo svou září na všechny strany. Leželo na zeleném trávníku jako zlatý, ohromný balon.

Lidé se zaradovali. „Je vidět na cestu," říkali si a smáli se.

Šlo teď jen o to, jak dopraviti slunce zas na nebe, aby všichni je viděli a všichni jím viděli.

Lidé zvážněli a radili se.

Kdo nám vynese slunce zase na oblohu?

Přitrefily se k tomu dvě děti. Byla to Mánička a Pepík. Snad byli z Vršovic, snad ze Smíchova, ale jistě odněkud byli.

„My je tam doneseme," řekl Pepík. „Nosíval jsem mnohokrát lidem kufry z nádraží. Onehdy jsem jednomu pánu nesl tak veliký, — že se všichni divili. To by bylo, abych slunce neunesl!"

Mánička a Pepík odnesli slunce na nebe.

„Vraťte se k obědu domů!" volala za nimi máma.

„Vrátíme se, vrátíme se..."

A vrátili se.

1921

OCHRANCI UMĚLECKÉ SVOBODY

Útoky na komunismus, které jsou dnes hlavní nádivkou měšťáckých časopisů, nevynikaly nikdy šíří ducha ani povzneseným stanoviskem. Počet jejich rozšířil dr. Arne Novák[1] v „Lidových novinách," kde prudce zaútočil na můj článek o proletářském

inslav

umění. Hned v nadpisu dopustil se jakési šikovnosti, neboť nazval můj článek *manifestem*. Jsem přesvědčen, že umění vybojuje si své postavení hlavně uměleckým dílem; referát svůj jsem konal a otiskl jedině proto, že jsem byl o to žádán. Arne Novák se diví, „že zvetšelý dějinný materialism je nám východiskem r. 1922“, tvrdí, že důsledky, které z něho vyvozujeme pro umění, přistřihují a omezují tvořivou volnost básníkovu ideově i látkově. Že náš nesnášenlivý fanatism ukládá mu službu třídě, politickému programu a revoluční akci. Ač doporučuje nám býti módnějšími co do filosofie, rozčiluje ho, že „programem chvíle“ omezujeme tvůrčí činnost básnickou.

„Zvetšelý dějinný materialismus“, který dnes hýbe celým světem, který je základem nejvýznačnějších a mravně nejsilnějších skutečností člověka, jest jistě nesrovnatelně životnější než fráze A. Novákovy a ostatních měšťáckých intelektuálů o t.zv. „vnitřní svobodě umělcově“. Budete-li viděti zápas dvou lidí, z nichž jeden bojuje proti křivdě a je vám drahý pro své utrpení a statečnost, zatím co na druhém vidíte faleš, zbabělý úskok a koupenou sílu, — což *nemusí* vaše srdce v těch okamžicích milovat prvního a státi při něm? Dle řeči A. Nováka ukázala by se tím vnitřní nesvoboda a závislost na programu chvíle. Básník pracující dle jeho receptu by v těch pohnutých okamžicích svoji „vnitřní svobodu“ dokázal tím, že by napsal idylickou sestinu s nadpisem třeba „Měsíc nad řekou“. A my dnes nevidíme zápas dvou lidí, vidíme zápas dvou světů, celý vesmír chvěje se pod jejich nárazy a naše srdce trne v úzkostech a zpívá v nadějích. Pravím: je slepý, kdo toho nevidí. Pravím: je bezcitný a ne „vnitřně svobodný“, kdo nepochopí, kam musí jej srdce postavit v této hodině. Na básnících je, aby našli velikost doby. Nám se zjevila zde a není jí jinde.

Arne Novák má právo nevidět a neslyšet. Získal si ho svými kritikami o knihách nejmladších. Nemá však právo skreslovat řečené a se zlou tendencí zatahovat můj článek na pole jen a jen politické. Komunismus je víc než politická strana, víc než „Lidové noviny“, víc než A. Novák se svými „nezávislými umělci“, víc než program chvíle. Programem chvíle naopak je: komunismus co možná nejvíc hanobit. Ponižující pro umění není třeba i sloužit člověku-bratru v boji a utrpení, ale ponižující službou je mlátiti v kapitalistickém listě dle jeho programu slepě do všeho, co je trochu cítiti komunismem.

inslav

V celém článku Novákově lze souhlasiti s jedinou větou. A ta poráží celý jeho článek. Totiž: „Umění jest ochotno sloužiti jenom potud, pokud služba ideji či tendenci zvyšuje a rozvíjí jeho mohutnost tvůrčí.“ Na nás ovšem, dle něho, se toto obecné pravidlo nevztahuje, protože naše idea je komunistická a tendence též. Arne Novák totiž, jak se zdá, patří k těm lidem, kteří při pouhém slově „komunismus“ ztrácejí hlavu. Kdyby dovedl zvážiti obsah tohoto slova u nás, nevyvozoval by z toho pro umění důsledky tak bezútěšné.

Co pak se týče první mé knihy, klidně mu přiznám, že je to kniha měšťácká. Měl-li jsem opravdově se tehdy vyjádřit, nemohl jsem jinak. Do jaké míry bude druhá proletářská, také nemohu zaručit. Doufám, že mi dovolí alespoň o to usilovat.

V „Národních listech“ věnoval nám p. Scheinpflug[1] také pozornost. K jeho článku, který je klidnější, ale zato mlhavější, lze po předeslaném připojit málo. Netvrdil jsem nikde ve svém referátě, že *zásady* třídnosti, tendence a optimismu jsou naše vynálezy. Naopak, poukazoval jsem, že vždy nebo velmi často umění prostupovaly. *Zásada* tendenčnosti není nová, ale určitá tendence je nová; optimismus není nový, ale nové je, z čeho roste, jaký je a k čemu směřuje; třídní umění není nic nového, nová je však třída, která umění napojuje svou krví. Že si umění třídní, proletářské a komunistické nedovede dobře představiti, je věcí jeho obrazivosti a našich schopností.

Nakonec radí nám p. Scheinpflug jediný prostředek, jímž prý může umění pracovati k uskutečnění komunistického plánu, totiž: mravní povznesení lidu. Zde zase se setkáváme se starým měšťáckým bludem: se spasitelskou, učitelskou a pastýřskou pózou „inteligenta“ nad zástupy. Byli mnozí a já byl mezi nimi, kteří jsme si to kdysi tak představovali. Ale brzy jsme poznali, že ne lid od nás, ale my od lidu dříve se musíme učiti. Najdeme-li kde prostotu a sílu v mravnosti, lásce a touze, tak najdeme ji jedině zde: ovšem, musí přijít člověk k člověku — při řečnění s katedry poznáme jen vlastní moudrost. Mravního povznesení, myslím, bylo by více třeba právě na opačné straně. A nejvíce tam, kde volajíce po „mravním povznesení lidu“, rozuměj jím: služebnickou poslušnost.

1922

inslav

JAROSLAV HAŠEK

ЯРОСЛАВ ГАШЕК

(1883—1923)

Ярослав Гашек — всемирно известный чешский сатирик, автор романа «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» („Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války").

Писатель родился в Праге. Отец его, учитель, а затем банковский чиновник, умер, когда Гашеку было 13 лет. Не завершив учения в гимназии, мальчик поступил учеником в аптеку. В 1902 г. он окончил Торговую академию и затем некоторое время служил чиновником в банке «Славия». Первые литературные опыты Гашека относятся к студенческим годам, когда он пробует свои силы в жанре рассказа и печатает путевые записки, связанные с посещением Словакии. Вскоре Гашек оставляет службу и отдается литературной деятельности, сотрудничая в разных журналах. Гашек горячо увлекается произведениями Максима Горького, изучает русский язык. В это время он много путешествует по стране, общается с беднейшими слоями населения — живет среди рабочих.

Близкое знакомство с жизнью городских низов приводит писателя к конфликту с существующими общественными порядками. Он оказывается среди анархистов, но вскоре порывает с ними.

inslav

Перу писателя принадлежит около 1200 юмористических и сатирических рассказов. В них обличаются порядки буржуазного государства, высмеивается бюрократическая судебная машина, милитаризм, звериная мораль паразитических верхов общества, обывательщина. Вместе с тем, рассказы Гашека проникнуты симпатией к простому человеку из народа. Гашек — большой мастер короткого остроумного рассказа.

В 1915 г. Гашек был мобилизован в австро-венгерскую армию. Попав на восточный фронт, в августе 1915 г. он переходит к русским.

Великая Октябрьская социалистическая революция застала писателя в Киеве, в чехословацких легионах. Контрреволюционное руководство чехословацких частей выступило против русской революции, предав интересы своего народа. Гашек был в числе тех чехословацких воинов, которые поняли смысл и цели пролетарской революции. В начале 1918 г. он вступает в коммунистическую партию и участвует в борьбе против антисоветской интервенции.

Как воин Пятой Красной Армии Гашек прошел путь от Бугульмы и Уфы до Иркутска. Он заведует армейской типографией, редактирует ряд журналов, пишет статьи, воззвания, сатирические очерки, ведет большую работу среди военнопленных, работает в политотделе Пятой Армии.

В Чехословакию Гашек вернулся в конце 1920 г. Здесь он создал свое лучшее произведение — роман «Похождения бравого солдата Швейка». В этом романе писатель беспощадно высмеял милитаризм, австрийскую военщину, различные общественно-политические институты буржуазного государства, его судебно-полицейскую систему, церковь. Сила сатиры Гашека определяется глубоким пониманием эксплуататорской сущности этих институтов, маскирующихся вывеской законности и святости. Несмотря на то, что в романе идет речь о действительности Австро-Венгерской империи, сатира Гашека в значительной мере была направлена и в адрес Чехословацкой буржуазной республики.

Образ главного героя романа Швейка служит автору средством разоблачения различных сторон буржуазного государства и армии. В образе Швейка Гашек отразил общественный опыт тех слоев простого народа, которые еще не пришли к активной борьбе за свои права, но уже саботируют все мероприятия властей, подтачивая тем самым существующий режим. Своеобразной формой протеста Швейка, внешне простоватого, а на самом деле хитрого и находчивого, является его поведение, пародирующее официальное послушание. Саботаж Швейка, прикрытый маской беспрекословного подчинения, подрывает авторитет военных и гражданских служак монархии, выставляет в комическом свете все их действия и распоряжения. Образ солдата Швейка с его здравым смыслом и юмором глубоко народен.

Произведение осталось незаконченным. В дальнейшем Гашек намеревался показать Швейка в русском плену, показать рост сознания солдат, оказавшихся в революционной России.

Роман «Похождения бравого солдата Швейка» получил широкое признание во всем мире благодаря своему демократическому содержанию и яркой сатирической форме.

inslav

PŘÍKLAD ZE ŽIVOTA

Americká humoreska

„Oh, nikoliv, mladý příteli," řekl pan Williams, bankéř, mladému muži, který seděl naproti němu v křesle, maje nohy nataženy přes židli. „Nikoliv, pane Chaweane, poslyšte mne pozorně a hleďte se něčemu naučit. Vy žádáte o ruku mé dcery Loty. To znamená, že chcete se státi mým zetěm. A následkem toho hodláte dostat peníze. Před chvílí jste na mou otázku, zdali máte nějaké jmění, odpověděl, že jste chud a vaše jmění že obnáší toliko dvě stě dolarů."

Pan Williams natáhl nohy na stůl, za kterým seděl na židli, a pokračoval: „Tvrdíte, že i já byl kdysi chudý a že jsem neměl ani těch dvě stě dolarů. Nepopírám toho, ale pravím, že jsem ve vašem věku měl již značnější sumu peněz. A to proto, že jsem měl rozum, který vám chybí. Pozoruji, že se v křesle zmítáte, neračte se vyrušovat, ale upozorňuji vás, že máme silného černocha za sluhu. Vyslechněte mne pozorně a vemte si z toho příklad. Ve věku šestnácti let přišel jsem ke svému strýci do Nebrasky. Abych si získal peníze, přemluvil jsem strýce, aby černocha, který měl býti právě lynchován, dovolil lynchovati na svém pozemku. Dobře: černocha lynchovali na pozemku mého strýce, ale kdo chtěl býti přítomen, musil zaplatiti určitý poplatek, neboť místo jsme ohradili plotem. Vstupné vybíral jsem já, a když černocha pověsili, sebral jsem vybrané vstupné a utekl ještě téhož večera. Oběšený černoch přinesl mně štěstí. Za stržené peníze koupil jsem si pozemek na severu a rozhlásil, že jsem při kopání na jednom místě našel zlato. Pozemek jsem velmi výhodně prodal, peníze uložil. Nestojí ani za řeč, abych se zmínil, že byl jsem později postřelen jedním z oklamaných, neboť ona rána z revolveru, která mně přerazila kost na pravé ruce, vynesla mně pouze asi dva tisíce dolarů náhrady za poranění.

Když jsem se uzdravil, skoupil jsem za všechny své peníze akcie náboženské společnosti pro vystavění kostelů v území obývaném Indiány. Vydávali jsme tehdy čestné diplomy po sto dolarech a nevystavěli ani jednoho kostela.

Společnost byla naučena prohlásit konkurs. Prohlásila ho právě týden po tom, kdy akcie náboženské společnosti vyměnil jsem za poukázky na hovězí kůže, kterých cena právě začala stoupat.

inslav

Zařídil jsem si závod s hovězími kožemi, který mně vynesl velké množství peněz, neboť později jsem prodával za hotové, ale kupoval na dluh.

Jmění uložil jsem v Kanadě v několika bankách a prohlásil konkurs. Byl jsem zavřen a při soudním líčení mluvil jsem tak divně, že soudní lékaři prohlásili mne za blbého a soud mne osvobodil, učiniv před tím mezi přítomným obecenstvem sbírku, která mně vystačila na cestu do Kanady pro uložené peníze.

Brooklyskému boháči panu Hamelstovi ujel jsem s jeho dcerou do San Franciska, takže byl nucen mně ji dáti za manželku, poněvadž jsem vyhrožoval, že tak dlouho budu s ní žít v San Francisku, dokud nebudu moci poslati sensační zprávu do časopisů, že jeho dcera je matkou nemanželského dítěte.

Vidíte, pane Chaweane, takovým jsem byl já, kdežto vy, ve vašem věku nic jste dosud neprovedl, z čeho by se dalo soudit, že jste rozumný člověk.

Říkáte, že jste mé dceři zachránil život, když nedávno spadla při výletu ze člunu do moře. Toť sice pěkná věc, ale pro vás neměla praktické ceny, neboť jste si, jak říkáte, nadobro zničil nové boty. Že jste se do mé dcery zamiloval, za to nemohu snad být já pokutován, bych byl tchánem takového člověka, jako jste vy, který nemá ani kouska rozumu.

Vidím, že opět sebou házíte v křesle, žádám vás, byste zachoval klid a odpověděl na mé otázky:

„Provedl jste někdy něco?“

„Nikoliv.“

„Máte jmění?“

„Nemám.“

„Žádáte o ruku mé dcery?“

„Ano.“

„Má vás má dcera ráda?“

„Má.“

„Nuže, dávám vám poslední otázku: Kolik peněz máte u sebe?“

„Čtyřicet šest dolarů.“

„Dobrá, mluvil jsem s vámi přes půl hodiny, ptal jste se mne o radu v záležitosti peněžní. Dostanu od vás třicet dolarů, za minutu dolar.“

„Dovolte, pane Williamse,“ protestoval mladý muž.

inslav

„Žádné dovolte," pravil s úsměvem pan Williams, dívaje se na hodinky, „dostanu jednatřicet dolarů, uplynula opět minuta."

Když překvapený pan Chawean vyplatil žádané peníze, pravil líbezně pan Williams: „A nyní dovolte, abych vám řekl: Opusťte můj dům, sice bych byl nucen dát vás odstranit."

„A vaše dcera?" ptal se mladý muž ve dveřích.

„Svou dceru nedám žádnému hlupákovi," pravil klidně pan Williams; „opusťte můj dům, jinak budete mít potěšení polykat své zuby."

„Měl bych to pěkného zetě," řekl pan Williams ke své dceři, když pan Chawean odešel, „ten tvůj milovník jest neobyčejně hloupý člověk, který nebude nikdy mít rozum."

„Tedy," odpověděla slečna Loty, „nemá pražádné naděje, že může se státi mým manželem?"

„Za těch okolností je to věc nemožná," děl pan Williams, „dokud neprokáže se nějakým chytrým kouskem, nemá pražádné naděje."

A pan Williams vypravoval své dceři o lynchování černocha na pozemku svého strýce, o celé rozmluvě mezi ním a panem Chaweanem a dodal: „Řekl jsem mu dost poučného pro život."

Druhého dne odcestoval pan Williams za účelem obchodního spojení.

Když se vrátil za týden, nalezl na svém psacím stolku následující dopis:

Velectěný pane!

Děkuji vám mnohokráte za radu poskytnutou mně před týdnem v oné peněžní záležitosti. Váš příklad mě nadchl tou měrou, že ve Vaší nepřítomnosti ujel jsem s vaší dcerou do Kanady, vzav si z Vaší pokladny všechny peníze na hotovosti i cenné papíry.

Váš Chawean.

A dole stálo:

Drahý tatínku!

Prosíme o Tvé požehnání a zároveň Ti oznamuji, že klíč od pokladny nemohli jsme najít a rozbili jsme ji nitroglycerinem.

Tvá Loty.

1912

inslav

HISTORIE PRASETE XAVERA

Prase Xaver bylo krmeno melasovými krmivy. Jméno Xaver dala mu správa panství k poctě vládního rady prof. Xavera Kellnera v Möckeru, jedné z předních autorit na poli nauky o krmení, kterýžto slavný učenec pronesl duchaplnou větu: „Při okolnosti, že účinky melasy po všestranné mé zkušenosti jsou tak velkolepé, nezaslouží žádné jiné krmivo takového povšimnutí, jako tento domácí prostředek."

Praseti Xaverovi šlo také náležitě k duhu. Tloustlo den ode dne a filosofovalo v nádherném chlívku o světských rozkošech, když tak ponořilo svůj rypák do melasového krmiva a zapilo dobrým mlékem. Časem přicházel je navštívit jeho majitel, hrabě Ramm, a říkal mu: „Půjdete na výstavu, hochu. Jezte řádně, ať mi neuděláte hanbu." Někdy přicházela také paní hraběnka a volala se zářícími zraky: „Ach, jak je velký a statný, můj drahý Xaver." A při odchodu volali oba: „Dobrou noc, příteli, spěte sladce!" A prase Xaver mžouralo očima za odcházejícími něhyplně a chrochtalo tak krásně, že hraběnka pronesla k svému choti: „Když slyším našeho Xavera, tu počínám věřit ve stěhování duší."

Přicházeli také pozvaní hosté, kteří se divili francouzsky, německy, anglicky ctihodnému praseti a fotografovali si je na památku.

Bylo růžové jako vykoupané pacholátko, a kolem krku mělo obrovskou sametovou stužku, vždy koketně uvázanou.

A gentlemani, aristokraté, přátelé hraběte říkali s přesvědčením: „Milý hrabě, rozhodně dostane váš Xaver na výstavě první cenu." Když byly narozeniny paní hraběnky, tu mezi jinými dary věnoval jí něžný manžel Xavera. Byl tedy její, jen její úplně, navždy. A kvůli praseti dostal hrabě tak ohnivou hubičku, jako by to byla krásná divoká svině a ne klidné, tlusté, flegmatické prase.

Jakmile se stalo majetkem hraběnčiným, byla učiněna ještě větší zdravotní opatření k jeho zdraví. Bylo převedeno do zvláštní místnosti, jejíž vydatný obsah vzduchu byl předem bezpečně zjištěn. Mělo své lázně, svůj splachovací záchod, zařízený se vkusem vlastním hraběcímu rodu. Všude byly rozvěšeny teploměry a šafář Martin dostal rozkaz změřiti teploměrem teplotu

inslav

vody a mléka, určeného k napojení Xavera. Stupeň teploty byl přesně předepsán zvěrolékařem. Není možno připouštět, aby si vznešené prase nachladilo žaludek, mohlo by dostat vleklý žaludeční katar, dívalo by se smutně a hraběnka by tolik plakala.

Šafář Martin měřil tedy teplotu nápojů, dával je po případě chladit nebo přihřávat.

Konečně zavedli praseti elektrické osvětlení a naučili je spát na žíněnkách, ovšem desinfikovaných. Prase Xaver přijímalo to vše blahosklonně a tloustlo den ode dne. Jednoho dne přišla svého miláčka navštívit paní hraběnka s chotěm. Xaver právě pil dobrou studničnou vodu, jejíž bakteriologický rozbor ukazoval nulku procent škodlivých bakterií, zato chemický rozbor něco zdravého kysličníku železitého ve spojení s kyselinou uhličitou (velmi důležité pro prase).

Hrabě podle zvyku vložil do vody teploměr a nechtěl věřit svým očím. Teplota vody místo předepsaných 8 stupňů Celsia byla 7 a půl stupně! Hraběnka zbledla. To není možné, leda by ten ničema šafář nezměřil teplotu.

Spojeným úsilím odtrhli oba Xavera od vody, vyloživše mu, že by si mohl zastuditi vnitřnosti. Potom přikryli nádobu víkem a rozčileni vrazili do bytu šafáře.

„Měřils teplotu Xaverovy vody, ničemo?“ zahřměl hrabě na Martina. Martin ukázal na postel u okna. „Vaše milosti, stůně mi těžce chlapec, má horečku, musil jsem mu dáť pít.“

„Pah! Ptám se tě, měřils teplotu Xaverovy vody?“

„Zapomněl, hoch těžce churav, Vaše milosti, podávám mu pít, hlava se točí.“

„Tak tedy tak!“ — křičel rozčileně hrabě, „tedy tak plníš povinnosti; já nejsem snad tvůj pán, co, lumpe; ty si děláš, co chceš? Okamžitě seber svoje věci. Jsi na minutu propuštěn. Do večera ať jsi pryč, jinak tě dám vyhodit i s klukem.“

„Taková luza,“ řekla ještě hraběnka.

A do večera zapíchl šafář Martin prase Xavera. Přivolaný zvěrolékař mohl konstatovati jenom smrt. Hraběnka div nezešílela lítostí a omdlela. Šafáře Martina spoutali četníci a nemocného vrahova syna vyhodili ze dvora.

V novinách se pak objevily zprávy: „Čin zhovadilce. Šafář Martin na dvoře hraběte Ramma, známého kavalíra, byl pro

inslav

nedbalost propuštěn ze služby. Aby se pomstil, zapíchl vzácný exemplář vepře. Zhovadilec dopraven k soudu. Proslýchá se, že je bez vyznání. Potvrdí-li se to, pak je to důkazem, že kdo nevěří v Boha, jest schopen i té největší surovosti."

Tři měsíce dlel Martin ve vyšetřovací vazbě, kde se choval zarputile a nechodil do kostela. Během vyšetřování vyšly najevo různé skvrny na jeho bývalém životě. Tak byl před patnácti lety trestán pro přečin shluknutí čtrnáctidenním vězením. Ničema se nechtěl rozejít, ačkoli mu bylo domlouváno soudním vrchním inspektorem. To byl už zárodek jeho surové povahy. Pak byl po druhé trestán pro výkřik: „Vy chocholatí!" třídenním vězením. Opět důkaz zarputilé, mstivé povahy. Veřejný žalobce také využitkoval všech těchto podrobností a hříchů obžalovaného. Poukázal bystře na zločinné pudy v celé jeho minulosti a prohlásil, že je pevně přesvědčen, že kdyby místo prasete Xavera v okamžiku zločinné vášně padl obžalovanému do ruky hrabě, že by byl zapíchl hraběte jako prase. Obhájce měl těžkou práci. Minulost nebylo lze smazat, a nemocné dítě, to je příliš romantická a za vlasy přitažená polehčující okolnost.

Zdrcující byl pohled na ubohou paní hraběnku, která byla přítomna jako svědkyně a při pohledu na sametovou stužku, ležící na stole před předsedou senátu, nemohla se zdržet pláče.

„Poznávám," pravila na otázku předsedy, „poznávám ji; náležela mému drahému Xaverovi, jehož kosti jsou pochovány pod záhonem lilií na zámecké zahradě."

Obžalovaný, neprojeviv slova lítosti, se přiznal a byl odsouzen na šest měsíců do těžkého žaláře pro zločin zlomyslného poškození cizího majetku. Ale to není všechno. Aby spravedlnosti bylo učiněno zadost, zemřel mu mezitím syn, neboť mlyny boží melou pomalu, ale jistě. A prase Xaver odpočívá tiše pod květy bílých lilií, uprostřed nichž stojí pomník s nápisem:

„Zde spí náš Xaver, zabit rukou vraha Martina, odsouzeného na šest měsíců se šesti posty do těžkého žaláře. Pochován byl 8. května roku 1907 ve stáří jeden a půl roku. Budiž ti země lehkou".

Hrabě Ramm si dal ze stužky nebožtíka prasete Xavera ušíti kravatu a nosí ji ve výroční den vraždy šlechetného čuněte...

1914

inslav

OSUDNÉ SEZENÍ ODZBROJOVACÍ KONFERENCE

V San Francisku čekala na chromého Thomasa Hawkinse jachta, aby ho vyvětrala na slaných vodách tichého oceánu po tu celou dobu, kdy bývalá odzbrojovací konference, jejíž byl předsedou, udělala si nějaké nucené prázdniny.

Lékaři, ošetřující jednotlivé členy odzbrojovací konference, zjistili u většiny zácpu, příznak provázející melancholii, bolení hlavy v zátylku a přežranost po všech banketech.

Členové odzbrojovací konference chodili po každém banketu jako v matohách a nebyli si vědomi toho, co mluví a nesmírně se divili, když druhý den četli o zasedání konference, jaké nesmysly mohou noviny otiskovat.

Jednoho dne dokonce se jim stalo, že když šli z banketu přímo na zasedání konference, připojil se k nim nějaký profesor, vracející se ze sjezdu proti alkoholismu a udělili mu na zasedání slovo.

Nalezenec mluvil po tři hodiny, drže se namáhavě oběma rukama řečnické tribuny a klátě sebou jako hastroš ve vichřici, při výbuchu sopky Stromboli na ostrovech Líparských roku 1773.

Když konečně po jeho tříhodinném řvaní do mramorového stolu dospěli k názoru, že nemluví k věci a že vůbec nemá nic společného se zasedáním odzbrojovací konference, byl předán sluhy policejní stráži, omráčen dle předpisu, aby se předešlo jeho zprotivení, obuškem a odvezen na policii za účelem zjištění jména a zafačování rozbité koule.

Všichni účastníci konference byli tímto případem deprimováni a sami vyciťovali, že blbnou den za dnem.

Přesvědčili se o tom zejména posledním referátem v novinách, kde se dověděli, že se včera usnesli na 15. noční schůzi odzbrojovací konference na tomto prohlášení: »Odstavec 26.: „Poněvadž bylo zjištěno, že Čína nemá ještě žádného dreadnoughtu a velkých bitevních lodí první třídy, odzbrojovací konference se usnáší: ‚Státy, zúčastněné na odzbrojovací konferenci, se zavazují poskytnouti Čínské republice do tří let půjčku nezúročitelnou v obnosu 300 miliard, aby mohla dohonit druhé státy, zúčastněné na odzbrojovací konferenci, pokud se týká počtu velkých bitevních lodí a dreadnoughtů. Čínská republika se zavazuje vystavě-

inslav

ti postupně během tří let 40 dreadnoughtů a 30 bitevních lodí první třídy a zavazuje se dále zrušiti 5 dělových lodí třetí třídy a odevzdati kantonský přístav pod kontrolu mezinárodní komise.

Naproti tomu státy, zúčastněné na odzbrojovací konferenci, ničeho nenamítají proti přítomnosti zástupců čínského válečného loďstva na stavbě třetího simplonského tunelu' "...«

„A zřízení telefonní stanice na hoře Árraratu," — četli dále s hrůzou členové odzbrojovací konference.

Předseda Thomas Hawkins úplně z toho vystřízlivěl, ale přece si ještě pomyslil, že to není možné, aby se včera na něčem podobném usnesli. Když však na jeho žádost byly mu předloženy stenografické protokoly posledního zasedání odzbrojovací konference, seznal s takovým pocitem, jako by měl asthma, že to vlastně jeho návrh, ten celý 26. odstavec, který byl přijat s dodatkem člena konference Woodwarda:

„Současně se povoluje černošské republice Liberii stavba pěti ponorek s tou podmínkou, že lodi ty musí býti natřeny na černo."

Není tedy nic divného na tom, že druhého dne na zasedání konference předseda Thomas Hawkins promluvil tuto pěknou řeč chvějícím se hlasem, který tak pěkně odpovídal jeho přepadlému obličeji: „Nedá se popřít, pánové, že dosavadní zasedání konference mělo skvělý průběh a výsledek. Vypracovali jsme 26 návrhů a přijali 26 odstavců. Radiotelegraf rozšiřuje po celé zeměkouli naše usnesení, sděloval všude, že jsme v permanenci. Nelitovali jsme svého zdraví a musíme být k sobě upřímnými. Víte dobře, že nás čeká ještě obrovská práce. A právě proto nesmí dojít k tomu, abychom se přepracovali. I nejsilnějšího vola strhá dřina. Naše nervy si musí odpočinout. Cítím sám na sobě, že podléhám námaze. Myslit ve dne v noci, není, pánové, žádná legrace. Když se kapesní hodinky přetáhnou, praskne v nich určitě pero. Tak je i s naším mozkem. Potřebuje na čas klidu. Nám je nyní v prvé řadě třeba náležitého oddechu, abychom se zotavili a mohli načerpat nové síly k nové práci. Proto podávám, pánové, návrh, abychom se rozjeli na třínedělní dovolenou. (Bouřlivý potlesk a hlasy: čtyřnedělní!)

Člen konference Le Bouv, který se právě vrátil z nejbližší restaurace v nepříčetném stavu a nevěděl, oč jde, přistupuje k řečnické tribuně, mlátí na ni pěstí jako na buben a řve: „Ven se mnou, vyhoďte mne, hlasovat!" (Odchází, podporován něžně slu-

inslav

hy, do kabinetu sekretariátu odzbrojovací konference, kde je uložen na divan.)

Nato se přihlásil ke slovu zástupce Bolivie Chuazec di Vega, který prohlásil, že hlasuje proti návrhu pana předsedy konference.

Již třetí den po zahájení odzbrojovací konference žádal jménem své vlády, aby bylo republice Bolivii ponecháno jejích 12 mužů jediného stálého vojska, udržujícího pořádek v paláci a okolí presidenta republiky. Při debatě bylo však usneseno, aby Bolivie z 12 mužů jediného stálého vojska zvýšila svůj kontingent na 120.000 mužů, poněvadž týž počet vojska udržuje republika Chile a Peru, takže hrozí opravdové nebezpečí Bolivii v případě vypuknutí války, kdyby jejích 12 mužů stálého vojska bylo napadeno 120.000 muži Peru nebo Chile. Kvůli zabránění válce je třeba rovnováha vojenských sil a poměr 1:1:1.

„Pánové," řekl povýšeným hlasem Chuazec di Vega, „velectěné shromáždění. Právě dnes dostal jsem přípis své vlády, ve kterém se poukazuje na absurdnost usnesení velevážené konference. V celé Bolivii je všeho mužského obyvatelstva necelých 80.000, jak chcete, pánové, abychom postavili z nich armádu 120.000 vojáků? Máme je rozštípat, abychom vám vyhověli, nebo si někde vypůjčit k nim ještě 40.000 mužů a porušit tím usnesení konference, ve kterém se zakazuje verbovat vojsko v sousedních státech? Pravda, byla nám dána lhůta tří let, ale, pánové, uznejte laskavě, že se do té doby nemůžeme tak rychle rozplemenit při nejlepší vůli. Pánové, jsem též trochu matematik." Zástupce Chile ho přerušuje: „Lžete, dejte sem Naučný slovník!" (Hluk a zmatek.) Předseda zvoní a posílá sekretáře pro Naučný slovník a odnímá slovo zástupci Bolivie.

Smutným hlasem: „Pánové, právě jste byli svědky pustého výjevu. Nemám slova, abych se mohl vyjádřit, jak jsem hluboce z duše zarmoucen".

Přichází sekretář a žádá předsedu o slovo: „Pánové, Bolivie není v Naučném slovníku."

Zástupce Bolivie vstává bledý a vzrušený: „Ctěné shromáždění, 2.347.000 čtverečních kilometrů. . ."

Předseda mu odnímá slovo a žádá sekretáře, aby pokračoval. Sekretář: „Poněvadž Bolivie není v Naučném slovníku, ani zmínky tam o ní není, neexistuje také pro nás nějaký pan bolivijský zástupce se svými 12 vojáky (smích v sále). Podávám návrh,

inslav

aby mu byl vzat mandát a on vyloučen z účastenství na konferenci (Hlas: Vetřel se sem!) Případ jest velice trapný a dokazuje markantně, s jakými obtížemi musí zápasit odzbrojovací konference, aby se o ní neřeklo, že hraje komedii."

Návrh na vyloučení zástupce Bolivie přijat všemi hlasy proti jednomu. Byl to hlas člena konference Meriana, který klidně spal za svým stolem. Probudil se čirou náhodou, poněvadž byl by se málem zadusil oharkem doutníku, který kouřil před svým usnutím.

Zvedl se a řekl: „Proti" a chtěl si právě usednout, když parkety sálu se nadzvedly a hrozný výbuch otevřel ohromnou díru do dolejších místností. Po tom se počala sypat se stropu štukatura. Členové konference řítili se dolů. Když se dým a prach usadil, bylo zřetelně vidět, jak předseda odzbrojovací konference visí na nohavici na železné traverse nově utvořeného sálu, a dělá pohyby, jako kdyby plaval o závod, při čemž sténal: „Mon dieu, mon dieu."

Úřady se zprvu domnívaly, že jde o útok anarchistů, ale vyšetřováním bylo zjištěno, že výbuch neměl nijakého politického pozadí.

Zástupce jedné továrny na třaskaviny čekal dole v přízemí na některé členy odzbrojovací konference, aby jim nabidl třaskavinu „Washingtonit," dvoutisíckrát silnější ekrasitu a 1800krát melinitu! Omylem vzal krabičku se vzorkem místo krabičky zápalek a otvíraje ji, způsobil třením výbuchu. Proto odjel chromý Thomas Hawkins se zotavit na tichý oceán.

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY

Švejk na garnisoně

Posledním útočištěm lidí, kteří nechtěli jít do války, byl garnison. Znal jsem jednoho suplenta, který nechtěl střílet jako matematik u artilerie, a kvůli tomu ukradl hodinky jednomu nadporučíkovi, aby se dostal na garnison. Učinil tak s plnou rozvahou. Válka mu neimponovala a neokouzlovala ho. Střílet do nepřítele a zabíjet na druhé straně šrapnely a granáty stejně takové nešťastné suplenty matematiky považoval za blbost.

inslav

„Nechci být nenáviděn pro své násilnictví," řekl si a ukradl s klidem hodinky. Zkoumali zprvu jeho duševní stav, a když prohlásil, že se chtěl obohatit, dopravili ho na garnison. Bylo takových lidí víc, kteří seděli na garnisoně pro krádež nebo podvody. Idealisté i neidealisté. Lidé, kteří považovali vojnu za zdroj příjmů, různí ti účetní poddůstojníci v týlu i na frontě, kteří páchali všemožné podvody s menáží, s žoldem a potom drobní zlodějové, tisíckrát poctivější než ti chlapi, kteří je sem poslali. Dále na garnisoně seděli vojáci pro různé jiné delikty čistě vojenského rázu, porušení discipliny, pokus vzpoury, deserce. Potom zvláštním typem byli političtí, z kterých osmdesát procent bylo úplně nevinných, a z kterých opět devětadevadesát procent bylo odsuzováno.

Aparát auditorů byl velkolepý. Takový soudní aparát má každý stát před všeobecným politickým, hospodářským i mravním úpadkem. Zář bývalé moci a slávy se zachovává soudy s policií, četnictvem a prodajnou chátrou donašečů.

V každé vojenské části mělo Rakousko své špicly, kteří udávali své druhy, kteří s nimi spali na kavalcích a na pochodu dělili se s nimi o chleba.

Státní policie dodávala také na garnison materiál, pánové Klíma, Slavíček & comp. Vojenská censura dopravovala sem autory korespondence mezi frontou a těmi, které doma zanechali v zoufalství. Sem vodili četníci i staré výměnkáře, kteří posílali psaní na frontu, a vojenský soud házel jim na krk za jejich slova útěchy, líčení bídy domácí po dvanácti letech.

Z hradčanského garnisonu vedla také cesta přes Břevnov na motolské cvičiště. Napřed šel v průvodu bodáků člověk s řetízky na rukou a za ním vůz s rakví. A na motolském cvičišti úsečný povel: „An, Feuer!" A po všech regimentech a batalionech četli plukovní rozkaz, že zas jednoho zastřelili pro vzpouru, když narukoval, a pan hejtman sekl šavlí jeho ženu, která se nemohla od muže rozloučit.

A v garnisoně trojice: štábní profous Slavík, hejtman Linhart a šikovatel Řepa, přezvaný též „kat", vykonávali již svou úlohu. Kolik jich umlátili v samovazbě! Může být, že dnes hejtman Linhart i za republiky je dále hejtmanem. Přál bych si, aby mu byla započtena služební léta na garnisoně. Slavíček a Klíma od státní policie je započteny mají. Řepa se vrátil do civilu a vykonává

inslav

dál své zaměstnání zednického mistra. Může být, že je členem vlasteneckých spolků v republice.

Štábní profous Slavík se stal zlodějem za republiky a je dnes zavřen. Nezakotvil se chudák v republice jako jiní vojenští páni.

*

Je úplně přirozené, že štábní profous Slavík, když přejímal Švejka, vrhl na něho pohled plný němé výčitky:

„I ty máš porouchanou pověst, že jsi se dostal až sem mezi nás? My ti, chlapečku, pobyt zde osladíme, jako všem, kteří upadli v naše ruce, a ty naše ruce nejsou žádné dámské ručky."

Aby pak dodal váhy svému pohledu, přiložil svou svalnatou, tlustou pěst Švejkovi pod nos a řekl:

„Čichni si, lumpe!"

Švejk si čichl a poznamenal:

„S tou bych nechtěl dostat do nosu, to voní hřbitovem."

Klidná, rozvážná řeč zalíbila se štábnímu profousovi.

„He," řekl, šťouchaje Švejka pěstí do břicha, „stůj rovně, co máš v kapsách? Jestli máš cigareto, tak si ho můžeš nechat a peníze dáš sem, aby ti je neukradli. Víc nemáš? Doopravdy nemáš? Nelži, lež se trestá."

„Kam ho dáme?" otázal se šikovatel Řepa.

„Dáme ho do šestnáctky," rozhodl štábní profous, „mezi ty v podvlíkačkách, což pak nevidíte, že je na spise napsáno panem hejtmanem Linhartem: ‚Streng behüten, beobachten!' "

„Jo, jo," prohlásil slavnostně Švejkovi, „s neřádama se jedná neřádsky. Jestli se někdo vzpouzí, tak ho odtáhneme do ajnclíku a tam mu přelámeme všechna žebra a necháme ho tam ležet, dokud nechcípne. Na to máme právo. Jako jsme to udělali s tím řezníkem, víte, Řepo?"

„Inu, dal nám práce, pane štábní profous," odpovědél snivě šikovatel Řepa, „to bylo tělo! Šlapal jsem po něm přes pět minut, než mu začly praskat žebra a lejt se krev z huby. A ještě deset dní byl živ. Hotovej nezmar."

„Tak vidíš, ty lumpe, tak to u nás chodí, když se někdo vzpouzí," končil svůj pedagogický výklad štábní profous Slavík, „nebo když chce utéct. To je vlastně sebevražda, která se u nás taky

inslav

tak trestá. Nebo nedej pánbůh, aby tě, hajzlíku, napadlo, až přijde inspekce, si na něco stěžovat. Když inspekce přijde a optá se: ‚Máte nějakou stížnost?' — tak musíš, smrade, stát hapták, zasalutovat a odpovědět: ‚Poslušně hlásím, že nemám, že jsem úplně spokojen.' — Jak to řekneš, hnuse, opakuj to."

„Poslušně hlásím, že nemám, že jsem úplně spokojen," opakoval Švejk s takovým milým výrazem, že se štábní profous zmýlil a považoval to za upřímnou snahu a poctivost.

„Tak se vysvleč do podvlíkaček a půjdeš do šestnáctky," řekl vlídně, nepřidávaje ani lumpa, hnusa nebo smrada, jak měl ve zvyku.

V šestnáctce setkal se Švejk s devatenácti muži bez kalhot. To byli všichni, kteří měli na spisech napsanou poznámku: „Streng behüten, beobachten!" a o které nyní pečovali velice starostlivě, aby jim neutekli.

Kdyby ty podvlíkačky byly čisté a nebyly v oknech mříže, na první pohled by to dělalo dojem, že jste v šatně nějakých lázní.

Švejka přijal od šikovatele Řepy „cimrkomandant", zarostlý chlap v rozhalené košili. Zapsal si jeho jméno na kousek papíru, visícího na zdi, a řekl k němu:

„Zejtra máme u nás divadlo. Povedou nás do kaple na kázání. My všichni v podvlíkačkách stojíme zrovna pod kazatelnou. To ti bude legrace!"

Jako ve všech věznicích a trestnicích, tak i na garnisoně těšila se domácí kaple velké oblibě. Nejednalo se o to, že by nucená návštěva vězeňské kaple sblížila návštěvníky s bohem, že by se vězňové více dověděli o mravnosti. O takové hlouposti nemůže být ani řeči.

Služby boží a kázání byly pěkným vytržením z nudy garnisonu. Nejednalo se o to, že jsou blíže k bohu, ale že po cestě je naděje najíti na chodbách a cestou přes dvůr kousek odhozené cigarety nebo doutníku. Boha úplně zastrčil do ústraní malý špaček, válející se beznadějně v plivátku nebo někde na zemi v prachu. Ten malinký páchnoucí předmět zvítězil nad bohem i nad spasením duše.

Potom ještě to kázání, ta zábava a legrace. Polní kurát Otto Katz byl přece jen roztomilý člověk. Jeho kázání byla neobyčejně poutavá, legrační, osvěžující tu nudu garnisonu. Uměl tak krásně žvanit o neskonalé milosti boží, sílit zpustlé vězně a muže zneuc-

inslav

těné. Uměl tak krásně vynadat s kazatelny i bez oltáře. Uměl tak báječně řvát u oltáře své: „ite, missa est“[1], celé bohoslužby provést originelním způsobem a přeházet celý pořádek mše svaté, vymyslit si, když už byl hodně opilý, úplně nové modlitby a novou mši svatou, svůj ritus, něco, co zde ještě nebylo.

A potom ta švanda, když někdy sklouzl a upadl s kalichem, s velebnou svátostí nebo s mešní knihou, a hlasitě obviňuje ministranta z trestanecké roty, že mu úmyslně podrazil nohu, hned mu před samou velebnou svátostí napařuje ajnclíka a špangle.

A postižený má radost, neboť to patří k celé té švandě v trestanecké kapli. On hraje velkou úlohu v kuse a důstojně se jí zhostil...

...Byl to slavnostní okamžik, když pokoj „šestnáctku“ vedli v podvlékačkách do kaple, poněvadž oblíkat je bylo spojeno s risikem, že se někdo z nich ztratí. Postavili těch dvacet bílých podvlíkaček jak andělů pod kazatelnu. Někteří z nich, na které se štěstěna usmála, bagovali špačky, které našli po cestě, poněvadž neměli, jak přirozeno, kapsy a nebylo to kam schovat.

Kolem nich stáli ostatní vězňové garnisonu a libovali si pohledem na dvacet podvlékaček pod kazatelnou, na kterou vylezl polní kurát, břinkaje ostruhami.

„Habacht!“ vykřikl, „k modlitbě, všichni za mnou, co já budu říkat! A ty vzadu, ty lumpe, nesmrkej do ruky, jsi v chrámu páně, a to tě dám zavřít. Jestlipak jste, vy syčáci, ještě nezapomněli Otčenáš? Tak to zkusíme — — Nu, já věděl, že to nepůjde. Kdepak Otčenáš, takhle dvě porce masa a fazulový salát, napráskat se, lehnout si na břicho na kavalec, dloubat se v nose a nemyslit na pána boha, nemám pravdu?“

Podíval se s kazatelny dolů na dvacet bílých andělů v podvlékačkách, kteří se náramně dobře, stejně jako všichni, bavili. Vzadu hráli „maso“.

„Je to moc dobrý,“ zašeptal Švejk svému sousedovi, na kterém lpělo podezření, že za tři koruny usekl svému kamarádovi sekyrou všechny prsty na ruce, aby se ten dostal z vojny.

„Vono to ještě přijde,“ byla odpověď, „dnes je zas pořádně nalitej, to zas bude povídat o trnitej cestě hříchů.“

Polní kurát byl opravdu dnes ve výtečné náladě. Sám ani nevěděl, proč to dělá, ale nakloňoval se neustále s kazatelny a byl by málem ztratil rovnováhu a přepadl.

inslav

„Zpívejte něco, hoši," křičel dolů, „nebo chcete, abych vás naučil nové písničce? Tak zpívejte za mnou:

Ze všech znejmilejší
svou milou já mám,
nechodím tam za ní sám,
chodí za ní jiných více,
milenců má na tisíce,
a ta moje znejmilejší
je panenka Maria — —

„Vy se tomu, holomci, nikdy nenaučíte," pokračoval polní kurát, „já jsem pro to, všechny vás postřílet; rozumíte mně dobře?! Já to tvrdím s tohoto božího místa, ničemové, neboť bůh je něco, co se vás neboji a co s vámi zatočí, až budete z toho pitomí, neboť vy váháte obrátit se ke Kristu a raději jdete po trnité cestě hříchu."

„Už je to tady, je správně nalitej," šeptal radostně soused Švejkovi.

„Trnitá cesta hříchu je, vy kluci pitomí, cesta boje s neřestmi. Vy jste marnotratní synové, kteří se raději válíte v ajnclíku, než byste se vrátili k Otci. Jen dále a výše upřete svůj zrak do výsosti nebes, i zvítězíte, a uhostí se pokoj ve vaší duši, vy uličníci. Já bych si vyprosil, aby si tam vzadu někdo odfrkával. Není kůň a není v maštali, je v chrámu páně. Na to vás upozorňuji, miláčkové moji. Tak, kdepak jsem to přestal. Ja, über den Seelenfrieden, sehr gut. Pamatujte si, vy dobytku jeden, že jste lidi a že se musíte dívat i skrze temný mrak v daleký prostor a vědět, že zde trvá všechno jen do času, však bůh že je na věky. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren? Já bych se měl dnem a nocí za vás modlit, aby milosrdný bůh, vy kluci pitomí, vlil svou duši ve vaše studená srdce a svou svatou milostí smyl hříchy vaše, abyste byli jeho na věky a aby vás, vy darebáci, vždycky miloval. To se ale mýlíte. Já vás do toho ráje uvádět nebudu —" Polní kurát škytl. „A nebudu," opakoval umíněně, „nic pro vás neudělám, ani mne nenapadne, poněvadž jste nenapravitelní ničemové. Po cestách vašich vás nepovede dobrota páně, dech lásky boží vás neprovane, poněvadž milému pánu bohu ani nenapadne zabývat se s takovými lotry. Slyšíte to vy tady dole v těch podvlékačkách?"

inslav

Dvacet podvlékaček podívalo se nahoru a řeklo jako jedním hlasem:

„Poslušně hlásíme, že slyšíme."

„Nestačí jenom slyšet," pokračoval ve svém kázání polní kurát, „temný mrak života, v němž žal vám úsměv boží nevezme, vy pitomci, neboť dobrota boží má také své meze, a ty mezku vzadu se nekuckej, nebo tě dám zavřít, až budeš černej. A vy tam dole, nemyslete si, že jste v putyce. Bůh je nejvýš milosrdný, ale jen pro pořádné lidi a ne pro nějaký vyvrhele lidské společnosti, která se nespravuje jeho zákony ani dienstreglama. To jsem vám chtěl říct. Modlit se neumíte a myslíte si, že chodit do kaple patří k nějaké legraci, že je zde nějaké divadlo nebo kinoteatr. A to vám vyženu z hlavy, abyste si nemyslili, že jsem zde kvůli tomu, abych vás bavil a dal vám nějakou radost do života. Rozsadím vás po ajnclíkách, to vám udělám, lumpové. Ztrácím s vámi čas a vidím, že je to všechno dočista marné. Že kdyby zde byl sám polní maršálek nebo arcibiskup, že se nenapravíte, neobrátíte k bohu. A přece si jednou na mne vzpomenete, že jsem to s vámi myslil dobře."

Mezi dvaceti podvlékačkami ozval se vzlykot. To se dal Švejk do pláče.

Polní kurát podíval se dolů. Tam stál Švejk a utíral si pěstí oči. Kolem bylo vidět radostný souhlas.

Polní kurát pokračoval, ukazuje na Švejka:

„Z tohoto člověka nechť si každý vezme příklad. Co dělá? Pláče. Neplač, povídám ti, neplač! Ty se chceš polepšit? To se ti, chlapečku, tak lehce nepodaří. Teď pláčeš, a až se odtud vrátíš do cimry, zas budeš stejně takový lump jako předtím. To musíš ještě moc přemýšlet o neskonalé milosti a milosrdenství božím, moc se starat, aby tvoje hřešící duše mohla nalézt ve světě tu pravou cestu, po které má kráčet. Dnes vidíme, že se nám zde rozbrečel jeden muž, který se chce obrátit, a co děláte vy ostatní? Docela nic. Tamhleten něco žvyká, jako kdyby jeho rodiče byli přežvýkavci, a tamhle zas si hledají v chrámu páně vši v košili. Copak se nemůžete škrábat doma a musíte si to právě nechat na služby boží? Pane štábsprofous, vy si taky ničeho nevšímáte. Vždyť jste všichni vojáci a ne nějací pitomí civilisti. Máte se přece chovat, jak se sluší na vojáky, třebas jste byli v kostele. Pusťte se, krucifix, do hledání boha a vši si hledejte doma.

inslav

Tím jsem skončil, vy uličníci, a žádám od vás, abyste při mši chovali se slušně, aby se nestalo jako posledně, že si vzadu vyměňovali erární prádlo za chleba a žrali ho při pozdvihování."

Polní kurát sestoupil s kazatelny a odešel do sakristie, kam se za ním odebral štábní profous. Za chvíli štábní profous vyšel, obrátil se přímo k Švejkovi, vytáhl ho ze skupiny dvaceti podvlékaček a odvedl do sakristie.

Polní kurát seděl velice pohodlně na stole a kroutil si cigaretu.

Když Švejk vstoupil, řekl polní kurát:

„Tak vás tady mám. Já už jsem si všechno rozmyslil a myslím, že jsem vás prohlédl, jak se patří, rozumíš, chlape? To je první případ, aby se mně tady v kostele někdo rozbrečel."

Seskočil se stolu, a cukaje Švejkovi za rameno, křičel pod velikým zasmušilým obrazem Františka Sáleského:

„Přiznej se, lumpe, žes brečel jen tak kvůli legraci?!"

A František Sáleský díval se tázavě s obrazu na Švejka. S druhé strany, s jiného obrazu, díval se na Švejka vyjeveně nějaký mučedník, který měl právě v zadnici zuby od pily, kterou ho nějací neznámí římští žoldnéři pilovali. Na tváři mučedníka při tom nebylo znát žádného utrpení, ale též žádné radosti a mučednické záře. Tvářil se jen vyjeveně, jako by chtěl říct: „Jakpak jsem vlastně k tomuhle přišel, copak to, pánové, se mnou děláte?"

„Poslušně hlásím, pane feldkurát," řekl rozvážně Švejk, sázeje všechno na jednu kartu, „že se zpovídám bohu všemohoucímu i vám, důstojný otče, který jste na místě božím, že jsem brečel vopravdu jen kvůli legraci. Já jsem viděl, že k vašemu kázání schází jeden polepšenej hříšník, kterýho jste marně hledal ve vašem kázání. Tak jsem vám chtěl vopravdu udělat radost, abyste si nemyslel, že se nenajdou ještě spravedliví lidi, a sobě chtěl jsem udělat legraci, aby se mně vodlehčilo."

Polní kurát podíval se zkoumavě do prostodušné tváře Švejkovy. Sluneční paprsek zahrál si na zasmušilém obraze Františka Sáleského a teple ohřál vyjeveného mučedníka na stěně naproti.

„Vy se mně začínáte líbit," řekl polní kurát, sedaje opět na stůl. „Ke kterému regimentu patříte?" Počal škytat.

„Poslušně hlásím, pane feldkurát, že patřím i nepatřím k jednadevadesátýmu regimentu, že vůbec nevím, jak to vlastně se mnou je."

inslav

„A proč zde vlastně sedíte?" otázal se polní kurát, nepřestávaje škytat.

Z kaple nesly se sem zvuky harmonia, které zastupovalo varhany. Hudebník, jeden učitel, zavřený pro deserci, kvílel na harmonium v nejtesklivějších církevních melodiích. Se škytáním polního kuráta splývaly ty zvuky v novou dorickou stupnici.

„Poslušně hlásím, pane feldkurát, že vopravdu nevím, proč tu sedím, a že si nestěžuji, že tu sedím. Já mám jenom smůlu. Já myslím vždycky všechno dobře a nakonec se mně to vždycky vobrátí k tomu horšímu, jako tamhle tomu mučedníkovi na tom vobraze."

Polní kurát podíval se na obraz, usmál se a řekl:

„Vy se mně opravdu líbíte, na vás se musím přeptat u pana auditora a dál se s vámi bavit nebudu. Už abych měl tu mši svatou s krku! Kehrt euch! Abtreten!"

Když se Švejk vrátil do rodné skupiny podvlékaček pod kazatelnou, odpověděl na otázky, co mu chtěl v sakristii polní kurát, velice suše a stručně: „Je vožralej."

Nový výkon polního kuráta, mše svatá, byla sledována všemi s velkou pozorností a netajenými sympatiemi. Jeden se dokonce vsadil pod kazatelnou, že polnímu kurátovi vypadne monstrance z ruky. Vsadil celou svou porci chleba proti dvěma fackám a vyhrál to.

To, co v kapli plnilo duše všech při pohledu na obřady polního kuráta, nebyl mysticismus věřících či zbožnost pravých katolíků. Byl to pocit takový jako v divadle, když neznáme obsah kusu, děj se zaplétá a my s dychtivostí čekáme, jak se to vyvine. Pohroužili se v obraz, který jim poskytoval s velkou obětavostí ten pan polní kurát u oltáře.

Oddali se v esthetické požívání ornátu, který si polní kurát oblékl naruby, a s vroucím porozuměním a roznícením pozorovali všechno, co se děje u oltáře.

Zrzavý ministrant, desertér z kostelnických kruhů, specialista v drobných krádežích u dvacátého osmého pluku, snažil se poctivě vybavovat z paměti celý postup, techniku i text mše svaté. On byl současně i ministrantem i nápovědou polnímu kurátovi, který s naprostou lehkomyslností přehazoval celé věty a místo obyčejné mše dostal se v mešní knize až na roráty[1], které začal zpívat ke všeobecné spokojenosti obecenstva.

inslav

Neměl ani hlas ani hudební sluch, a pod klenbou kaple ozvalo se takové kvičení a ječení jako v prasečím chlívku.

„Ten je ale dneska vožralej," s plným uspokojením a radostí říkali před oltářem, „ten jí má. Toho to zas chytlo! To se jistě vožral někde u holek."

A už asi po třetí ozýval se od oltáře zpěv polního kuráta: „Ite, missa est!" jako válečný řev Indiánů, až se třásla okna.

Potom polní kurát podíval se ještě jednou do kalichu, nezbyla-li tam přece ještě kapka vína, učinil mrzutý posuněk a obrátil se k posluchačům:

„Tak teď už, lumpové, můžete jít domů, už je konec. Pozoroval jsem, že nejevíte tu pravou pobožnost, jakou máte mít, jsteli v kostele před tváří nejsvětější svátosti oltářní, vy uličníci. Tváří v tvář nejvyššímu bohu nestydíte se smát nahlas, kašlat a chrchlat, šoupat nohama dokonce přede mnou, který tu zastupuji Panenku Marii, Krista pána i boha otce, pitomci. Jestli se to příště bude opakovat, tak s vámi zatočím, jak se sluší a patří, a abyste věděli, že není jenom to jedno peklo, o kterém jsem vám předposledně kázal, ale že je i peklo na zemi, a jestli byste se i mohli spasit před tím prvním, před tímhle se mně nespasíte. Abtreten!"

Polní kurát, který tak krásně v praxi vyložil zatraceně starou věc, vězně navštěvovati, odešel do sakristie, převlékl se, dal si nalít z demižonu do konvice mešní víno, vypil je a s pomocí zrzavého ministranta vsedl na svého jezdeckého koně, na dvoře přivázaného, ale pak si vzpomněl na Švejka, slezl a šel do kanceláře k auditorovi Bernisovi.

Vyšetřující auditor Bernis byl muž společnosti, půvabný tanečník a mravní zpustlík, který se zde strašně nudil a psal německé verše do památníků, aby měl pohotově vždy nějakou zásobu. Byl nejdůležitější složkou celého aparátu vojenského soudu, poněvadž měl tak hrozné množství restů a spletených akt, že uváděl v respekt celý vojenský soud na Hradčanech. Ztrácel obžalovací materiál a byl nucen vymýšlet si nový. Přehazoval jména, ztrácel nitě k žalobě a soukal nové, jak mu to napadlo. Soudil desertéry pro krádež a zloděje pro deserci. Pletl i politické procesy, které přitahoval ze vzduchu. Dělal nejrozmanitější hokuspokusy, aby usvědčil obžalované ze zločinů, o kterých se těm nikdy nezdálo. Vymýšlel si urážky veličenstva a vymyšlené in-

inslav

kriminované výroky přiřkl vždy někomu, jehož obžaloba či udání na něho se ztratilo v tom nepřetržitém chaosu úředních akt a přípisů.

„Servus," řekl polní kurát, podávaje mu ruku, „jak se daří?"

„Nevalně," odpověděl vyšetřující auditor Bernis, „přeházeli mně materiál, a pak se v tom ani čert nemůže vyznat. Včera jsem poslal nahoru už spracovaný materiál o jednom chlapovi pro vzpouru a vrátili mně to nazpátek, že v tom případě nejde o vzpouru, ale o krádež konservy. A ještě jsem na to dal jiné číslo, ale jak na to přišli, to bůh suď."

Auditor si odplivl.

„Chodíš ještě hrát karty?" otázal se polní kurát.

„S kartami jsem to všechno prohrál, posledně jsme hráli s tím plešatým plukovníkem makao, a hodil jsem mu to všechno do chřtánu. Ale vím o jedné žábě. A co ty děláš, svatý otče?"

„Já potřebuji burše," řekl polní kurát, „měl jsem posledně jednoho starého účetního bez akademického vzdělání, ale hovado první třídy. Pořád jen fňukal a modlil se, aby ho bůh chránil, tak jsem ho poslal s maršbatalionem na frontu. Povídá se, že ten baťák úplně rozsekali. Potom mně poslali jednoho chlapíka, který nic jiného nedělal, než že seděl v hospodě a pil na můj účet. To byl ještě snesitelný člověk, ale potily se mu nohy. Tak jsem ho poslal také s maršbatalionem. Dnes jsem našel při kázání jednoho chlapa, který se mně z legrace rozplakal. Takového člověka bych potřeboval. Jmenuje se Švejk a sedí na ‚šestnáctce'. Rád bych věděl, proč ho zavřeli, a jestli by to nešlo nějak udělat, abych ho mohl vzít odtud."

Auditor hledal v zásuvkách akta, týkající se Švejka, ale nemohl, jako vždy, ničeho najít.

„Bude to mít hejtman Linhart," řekl po dlouhém hledání, „čert ví, kam se u mne ta všechna akta ztrácejí. Patrně jsem je poslal Linhartovi. Hned tam zatelefonuji — — — Haló, zde nadporučík auditor Bernis, pane hejtmane. Já bych prosil, nemáte-li tam spisy, týkající se jakéhosi Švejka... Že musí být Švejk u mne? To se divím... Že jsem to od vás přejímal? To se opravdu divím... Sedí na šestnáctce... Já vím, pane hejtmane, že šestnáctku mám já. Ale já myslel, že spisy o Švejkovi se tam někde u vás válejí... Že si vyprošujete, abych tak s vámi mluvil? Že se u vás nic neválí? Haló, haló..."

inslav

Auditor Bernis se posadil ke stolu a rozhořčeně odsuzoval nepořádky ve vedení vyšetřování. Mezi ním a hejtmanem Linhartem panovalo již dávné nepřátelství, v kterém byli velice důslední. Dostal-li se spis patřící Linhartovi do rukou Bernise, založil ho Bernis, že se nikdo v tom nevyznal. Linhart dělal totéž se spisy patřícími Bernisovi. Ztráceli si navzájem přílohy.*

(Spisy o Švejkovi byly nalezeny v archivu vojenského soudu teprve až po převratu s touto relací: „Hodlal odhodit pokryteckou masku a vystoupit veřejně proti osobě našeho panovníka a našemu státu." Spisy byly zastrčeny do spisů týkajících se jakéhosi Josefa Koudely. Na obálce byl křížek a pod ním: „Vyřízeno" a datum.)

„Tak se mně Švejk ztratil," řekl auditor Bernis; „dám si ho zavolat, a jestli se k ničemu nepřizná, tak ho pustím a dám ho odvést k tobě a ty už si to vyjednáš u regimentu."

Po odchodu polního kuráta dal si auditor Bernis předvést Švejka a nechal ho stát u dveří, poněvadž právě dostal telefonogram od policejního ředitelství, že vyžadovaný materiál k obžalovacímu spisu pod čís. 7267, týkající se pěšáka Maixnera, byl přijat v kanceláři číslo 1 s podpisem hejtmana Linharta.

Mezi tou dobou prohlížel si Švejk auditorovu kancelář.

Že by činila velice přívětivý dojem, zejména fotografiemi na stěnách, nedá se říci. Byly to fotografie různých exekucí, provedených armádou v Haliči i v Srbsku. Umělecké fotografie s vypálenými chalupami a se stromy, jejichž větve se skláněly pod tíhou oběšených. Zejména pěknou byla fotografie ze Srbska s pověšenou rodinou. Malý hoch, otec i matka. Dva vojáci s bajonetem hlídají strom s popravenými, a nějaký důstojník jako vítěz stojí v popředí a kouří cigaretu. Na druhé straně v pozadí vidět polní kuchyň v práci.

„Tak jak je to s vámi, Švejku?", otázal se auditor Bernis, když uložil telefonogram ad akta[1] „co jste provedl? Chtěl byste se přiznat, nebo čekat, až bude na vás sestavena žaloba? Takhle to dál nejde. Nemyslete si, že jste před nějakým soudem, kde vás vyšetřují pitomí civilisti. U nás jsou vojenské soudy, k.u.k. Mili-

* Třicet procent lidí, kteří seděli na garnisoně, sedělo tam po celou válku, aniž byli jednou u výslechu.

inslav

tärgericht[1]. Jediným vaším spasením od přísného a spravedlivého trestu může být, že se přiznáte."

Auditor Bernis měl zvláštní metodu, když ztratil materiál proti obžalovanému. Jak vidíte, nebylo v tom zcela nic zvláštního a také se nesmíme divit, že výsledky takového vyšetřování a výslechu rovnaly se v každém případě nule.

A tu auditor Bernis cítil se být vždy tak prozíravým, že nemaje materiálu proti obviněnému, neznaje, z čeho ho viní, proč tu sedí na garnisonu, pozorováním chování a fysiognomie předvedeného k výslechu kombinoval, proč asi toho člověka zavřeli na garnison.

Jeho prozíravost a znalost lidí byla tak veliká, že jednoho cikána, který se dostal od svého pluku na garnison pro krádež několika tuctů prádla (byl k ruce skladníkovi ve skladišti), obvinil z politických zločinů, že prý někde v hospodě mluvil s vojáky o zřízení samostatného národního státu ze zemí koruny české a Slovenska se slovanským králem v čele.

„My máme dokumenty," řekl nešťastnému cikánovi; „vám nezbývá než se přiznat, v které hospodě jste to mluvil a od jakého pluku byli ti vojáci, kteří vás poslouchali, a kdy to bylo."

Nešťastný cikán si vymyslil i datum, i hospodu, i od kterého pluku byli jeho domnělí posluchači, a když šel od výslechu, utekl vůbec z garnisonu.

„Vy se nechcete přiznat k ničemu," řekl auditor Bernis, když Švejk hrobově mlčel, „vy nechcete říct, proč jste zde, proč vás zavřeli? Mně alespoň byste to mohl říct, než vám to řeknu sám. Upozorňuji vás ještě jednou, abyste se přiznal. Je to pro vás lepší, poněvadž to usnadní vyšetřování a zmirňuje to trest. To je stejné u nás jako u civilistů."

„Poslušně hlásím," ozval se dobrácky hlas Švejkův, „že jsem zde v garnisonu jako nalezenec."

„Jak to myslíte?"

„Poslušně hlásím, že to mohu vysvětlit náramně jednoduchým způsobem. U nás v ulici je uhlíř a ten měl úplně nevinnýho dvouletýho chlapečka a ten jednou se dostal pěšky z Vinohrad až do Libně, kde ho strážník našel sedět na chodníku. Tak toho chlapečka odved na komisařství a zavřeli je tam, to dvouletý dítě. Byl, jak vidíte, ten chlapeček úplně nevinnej, a přece byl zavřenej. A kdyby byl uměl mluvit a někdo se ho ptal, proč tam

inslav

sedí, tak by taky nevěděl. A se mnou je něco podobnýho. Já jsem taky nalezenec."

Bystrý pohled auditorův přelétl Švejkovu postavu i obličej a rozbil se o ně. Taková lhostejnost a nevinnost zářila z celé té bytosti, stojící před auditorem, že Bernis začal chodit rozčileně po kanceláři, a kdyby byl neslíbil polnímu kurátovi, že mu pošle Švejka, čert ví, jak by to se Švejkem bylo dopadlo.

Konečně se však zastavil opět u svého stolu.

„Poslyšte," řekl k Švejkovi, který se lhostejně díval před sebe, „jestli se ještě jednou s vámi setkám, tak na to budete pamatovat. Odveďte ho!"

Když Švejka odváděli zpět na šestnáctku, dal si auditor Bernis zavolat štábního profousa Slavíka.

„Do dalšího rozhodnutí," řekl stručně, „posílá se Švejk k disposici pana polního kuráta Katze. Vyhotovit propouštěcí papíry a odvést se dvěma muži Švejka k panu polnímu kurátovi."

„Dát mu řetízky na cestu, pane nadporučíku?"

Auditor uhodil pěstí do stolu:

„Vy jste vůl. Řekl jsem vám přeci jasně, vyhotovit propouštěcí papíry."

A všechno, co se nashromáždilo za den v duši auditorově, hejtman Linhart i Švejk, vylilo se jako dravá řeka na štábního profousa a končilo slovy:

„A nyní chápete, že jste korunovaný vůl?"

Má se sice tak říkat jen králům a císařům, ale ani prostý štábní profous, hlava nekorunovaná, nebyl s tím spokojen. Odcházeje od auditora, skopal trestance-konkaře, dělajícího úklid na chodbě.

Co se týká Švejka, umínil si štábní profous, že Švejk musí alespoň jednu noc přespat ještě na garnisoně, aby také ještě něčeho užil...

Švejk jede s polním kurátem sloužit polní mši

I.

Přípravy k usmrcování lidí děly se vždy jménem božím či vůbec nějaké domnělé vyšší bytosti, kterou si lidstvo vymyslilo a stvořilo ve své obrazotvornosti.

inslav

Nežli podřízli staří Feničané krk nějakému zajatci, sloužili stejně slavné bohoslužby jako několik tisíc let později nové generace, než táhly na vojnu a hubily své nepřátele ohněm i mečem.

Lidožrouti ostrovů Quinejských i Polynesie, než sežerou slavnostně své zajatce či lidi nepotřebné, jako misionáře, cestovatele a jednatele různých obchodních firem či prosté zvědavce, obětují před tím svým bohům, vykonávajíce nejrozmanitější náboženské úkony. Poněvadž k nim nepronikla ještě kultura ornátů, ozdobují své hýždě věnci z pestrého peří lesního ptactva.

Než svatá inkvisice upálila své oběti, sloužila při tom nejslavnější bohoslužby, velkou mši svatou se zpěvy.

Při popravách provinilců účinkují vždy kněží, obtěžující svou přítomností delikventa.

V Prusku vodil pastor ubožáka pod sekyru, v Rakousku katolický kněz k šibenici, ve Francii pod gilotinu, v Americe kněz na elektrickou stolici, ve Španělsku na židli, kde byl důmyslným přístrojem uškrcen, a ve starém Rusku bradatý pop revolucionáře atd.

Všude při tom manipulovali s ukřižovaným, jako by chtěli říct: „Tobě jenom useknou hlavu, oběsí tě, uškrtí, pustí do tebe patnáct tisíc voltů, ale co tenhle musil zkusit."

Veliká jatka světové války neobešla se bez požehnání kněžského. Polní kuráti všech armád modlili se a sloužili polní mše za vítězství té strany, čí chleba jedli.

Při popravách vzbouřených vojáků objevil se kněz. Při popravách českých legionářů bylo vidět kněze.

Nic se nezměnilo od té doby, kdy loupežník Vojtěch, kterému přezděli „svatý", účinkoval s mečem v jedné a křížem v druhé ruce při vraždění a vyhubení pobaltických Slovanů.[1]

Lidé šli v celé Evropě na jatka jako dobytek, kam je vedli vedle řezníků-císařů, králů, prezidentů a jiných potentátů a vojevůdců, kněží všech vyznání, žehnajíce jim a dávajíce jim falešně přísahat, že na zemi, ve vzduchu, na moři atd....

Dvakrát se sloužily polní mše. Když část odjížděla na posice do fronty a potom před frontou, před krvavými řežemi, ubíjením. Pamatuji se, že nám jednou při takové polní mši nepřátelský aeroplán pustil bombu právě do polního oltáře a z polního kuráta nezbylo nic, než nějaké krvavé hadry.

Potom o něm psali jako o mučedníkovi, zatím co naše aero-

inslav

plány připravovaly podobnou slávu polním kurátům na druhé straně.

Měli jsme z toho nehoráznou švandu a na provisorním kříži, na místě, kde pochovali zbytky po polním kurátovi, objevil se přes noc tento hřbitovní nápis:

Co stihnout může nás, to stihlo také tebe.
Tys nebe sliboval nám, brachu, jistě.
Pak na tebe to spadlo při mši svaté s nebe.
Flek po tobě jen zůstal na tom místě.

II.

Švejk uvařil slavný grog, předstihující grogy starých námořníků. Takový grog mohli by pít piráti osmnáctého století a byli by spokojeni.

Polní kurát Otto Katz byl nadšen. „Kde jste se naučil vařit takovou dobrou věc?" otázal se.

„Když jsem před lety vandroval," odpověděl Švejk, „v Brémách vod jednoho zpustlýho námořníka, který říkal, že grog musí bejt tak silnej, aby, když někdo spadne do moře, přeplaval celej kanál La Manche. Po slabým grogu se utopí jako štěně."

„Po takovém grogu, Švejku, bude se nám dobře sloužit polní mše," uvažoval polní kurát, „myslím, abych předtím pronesl několik slov na rozloučenou. Polní mše, to není taková legrace jako sloužit mši na garnisoně nebo mít kázání k těm lumpům. V tomhle případě musí mít člověk opravdově všech pět pohromadě. Polní oltář máme. Je skládací, kapesní vydání."

„Ježíšmarjá, Švejku," chytil se za hlavu, „my jsme ale volové. Víte, kam jsem schoval ten skládací polní oltář? Do pohovky, kterou jsme prodali."

„Jó, to je neštěstí, pane feldkurát," řekl Švejk, „já ho sice znám, toho obchodníka se starým nábytkem, ale předevčírem potkal jsem jeho paní. Von sedí kvůli nějakej ukradenej almaře a naše pohovka je u jednoho učitele ve Vršovicích. To bude malér s tím polním voltářem. Nejlepší bude, když vypijeme grog a půjdeme ho shánět, poněvadž myslím, že bez polního voltáře se nedá mše sloužit."

„Schází nám opravdu jen ten polní oltář," řekl těžkomyslně polní kurát, „takhle už je na cvičišti všechno připraveno. Tesaři

inslav

už tam udělali podium. Monstranci nám půjčí z Břevnova. Kalich mám mít svůj, ale kde už je..."

Zamyslil se: „Řekněme si, že jsem ho ztratil. — Tak dostaneme sportovní pohár od nadporučíka Witingra od pětasedmdesátého pluku. On kdysi před lety běhal o závod a vyhrál jej za ‚Sport-Favorit'. Byl to dobrý běžec. Dělal čtyřicet kilometrů Vídeň — Mödling za hodinu osmačtyřicet minut, jak se nám vždycky chlubí. Mám to s ním včera již vyjednáno. Jsem hovado, že všechno odkládám na poslední chvíli. Proč jsem se, trouba, nepodíval do té pohovky."

Pod vlivem grogu zhotoveného podle receptu zpustlého námořníka počal si pustě nadávat a projadřoval v nejrozmanitějších sentencích, kam vlastně patří.

„Tak abychom už šli hledat ten polní voltář," vybízel Švejk, „je už ráno. Ještě si musím vzít uniformu a vypít ještě jeden grog."

Konečně vyšli. Po cestě k ženě obchodníka se starým nábytkem polní kurát vyprávěl Švejkovi, že včera vyhrál mnoho peněz v „božím požehnání", a že když to dobře dopadne, že vyplatí klavír ze zastavárny.

Bylo to něco podobného, jako když pohani slibují nějakou oběť. Od rozespalé ženy obchodníka se starým nábytkem dověděli se adresu učitele ve Vršovicích, nového majitele pohovky. Polní kurát projevil neobyčejnou štědrost. Štípl ji do tváře a zalechtal pod bradou.

Šli do Vršovic pěšky, když polní kurát prohlásil, že se musí projít na čerstvém vzduchu, aby dostal jiné myšlenky.

Ve Vršovicích v bytě pana učitele, starého nábožného pána, čekalo je milé překvapení. Naleznuv polní oltář v pohovce, starý pán domníval se, že je to nějaké řízení boží, a daroval jej místnímu vršovickému kostelu do sakristie, vyhradiv si na druhé straně skládacího oltáře nápis: „Darováno ke cti a chvále boží panem Kolaříkem, učitelem v.v.[1]. Léta Páně 1914." Zastižen jsa ve spodním prádle, jevil velké rozpaky.

Z rozmluvy s ním bylo patrno, že nálezu přikládal význam zázraku a pokynu božího. Že když koupil tu pohovku, že mu jakýsi vnitřní hlas pravil: „Podívej se, co je v pohovce v šupleti." Viděl prý také ve snu nějakého anděla, který mu přímo velel: „Otevři šuple od pohovky!" Uposlechl.

inslav

A když tam viděl miniaturní skládací třídílný oltář s výklenkem pro tabernakulum, že klekl před pohovkou a dlouho se vroucně modlil a chválil boha a že to považoval za pokyn s nebe, ozdobit tím kostel ve Vršovicích.

„To nás nebaví," řekl polní kurát, „takovou věc, která vám nepatřila, měl jste odevzdat na policii a ne do nějaké zatracené sakristie."

„Kvůli tomu zázraku," dodal Švejk, „můžou mít ještě vopletání. Voni koupili pohovku a ne žádnej voltář, kerej patří vojenskýmu eráru. Takovej pokyn boží jim může stát draho. Voni neměli nic dát na anděly. Jeden člověk ve Zhoři taky vyvoral nějakej kalich na poli, kterej pocházel ze svatokrádeže, a byl tam schovanej na lepší doby, až se na to zapomene, a považoval to taky za pokyn boží a šel, místo aby ho rozšmelcoval, k panu faráři s tím kalichem, že prý ho chce darovat kostelu. A pan farář myslel, že se v něm hnuly výčitky svědomí, poslal pro starostu, starosta pro četníky a von byl vodsouzen nevinně pro svatokrádež, poněvadž žvanil pořád něco vo zázraku. Von se chtěl zachránit a taky vypravoval vo nějakým andělu a zaplet do toho i panenku Marii a dostal deset let. Nejlepší udělají, když půjdou s námi ke zdejšímu faráři, aby nám vrátil erární majetek. Polní voltář není žádná kočka nebo fusekle, kterou mohou darovat komu chtějí."

Starý pán se třásl po celém těle a oblékaje se drkotal zuby: „Já jsem opravdu nic zlého nebo špatného v úmyslu neměl a nechoval, domníval jsem se, že mohu takovým božím řízením posloužiti k ozdobení našeho chudého chrámu páně ve Vršovicích."

„Na útraty vojenskýho eráru, to se rozumí," řekl tvrdě a drsně Švejk, „zaplať pán bůh za takový boží řízení. Nějakej Pivoňka z Chotěboře považoval jednou také za boží řízení, když se mu do rukou připletla vohlávka s cizí krávou."

Ubohý starý pán byl z těchto řečí úplně popleten a přestal se vůbec hájit, staraje se co nejrychleji se obléknout a vyřídit celou záležitost.

Vršovický farář ještě spal, a jsa probuzen hlukem, počal láteřit, poněvadž v rozespalosti myslil, že má jít někoho zaopatřovat.

„Taky mají dát pokoj s tím posledním pomazáním," bručel, oblékaje se neochotně, „vzpomenou si lidi umírat, když je člo-

inslav

věk v nejlepším spánku. A aby se potom s nima handrkoval o peníze."

V předsíni se tedy setkali. On, zástupce pána boha mezi vršovickými civilisty-katolíky, a druhý, zástupce boží na zemi při vojenském eráru.

Celkem však to byl spor mezi civilistou a vojákem. Jestli farář tvrdil, že polní oltář nepatří do pohovky, polní kurát se zmiňoval o tom, že tím méně podle toho patří z pohovky do sakristie kostela, kam chodí samí civilisté.

Švejk činil při tom různé poznámky, že je lehko obohacovat chudý kostel na účet vojenského eráru. „Chudý" řekl v uvozovkách.

Na konec šli do sakristie kostela a farář vydal polní oltář pod touto zápiskou:

„Přijal jsem polní oltář, který se náhodou dostal do chrámu ve Vršovicích.

Polní kurát Otto Katz."

Slavný polní oltář byl od židovské firmy Moritz Mahler ve Vídni, která vyráběla všemožné mešní potřeby a předměty náboženské, jako růžence a obrázky svatých.

Oltář skládal se ze tří dílů, opatřených hodně falešným pozlátkem, jako celá sláva církve svaté.

Nebylo také možno zjistit bez fantasie, co vlastně představují obrazy, namalované na těch třech dílech. Jisto je, že to byl oltář, kterého by mohli stejně používati nějací pohani na Zambezi či šamáni Burjatů i Mongolů.

Opatřen řvavými barvami, vypadal zdáli jako barevné tabule, určené pro zkoumání daltonistů na železnici.

Vynikala jen jediná figura. Nějaký nahý člověk se svatozáří a nazelenalým tělem jako biskup husy, která už zapáchá a je v rozkladu.

Tomu svatému nikdo nic nedělal. Naopak; měl po obou stranách dva křídlaté tvory, kteří měli znázorňovat anděly. Ale divák měl dojem, že ten svatý nahý muž řve hrůzou nad společností, která ho obklopuje. Andělé vypadali totiž jako pohádkové příšery, něco mezi okřídlenou divokou kočkou a apokalyptickou příšerou.

inslav

Protějšek k němu byl obrázek, který měl znázořnovat trojici boží. Na holubici, celkem vzato, nemohl malíř nic zkazit. Namaloval nějakého ptáka, který mohl být stejně holubicí jako slepicí bílých wyandotek.

Zato však bůh otec vypadal jako loupežník divokého západu, kterého představuje obecenstvu film nějakého napínavého krváku.

Syn boží byl naproti tomu veselý, mladý muž s pěkným bříškem, zahaleným něčím, co vypadalo jako plavky. Celek dělal dojem sportsmana. Kříž, který měl v ruce, držel s takovou elegancí, jako kdyby to byla tenisová raketa.

Z dálky však to všechno splývalo a činilo dojem, že vlak vjíždí do nádraží.

Co představuje třetí obrázek, nebylo vůbec možno vystihnouti.

Vojáci se vždy hádali a luštili ten rebus. Někdo myslel dokonce, že je to krajinka z Posázaví.

Byl však pod tím nápis: „Heilige Maria, Mutter Gottes, erbarme Dich unser."

Polní oltář naložil Švejk šťastně do drožky, sám si sedl k drožkáři na kozlík, polní kurát dal si v drožce pohodlně nohy na trojici boží.

Švejk se bavil s drožkářem o vojně.

Drozkář byl rebelant. Dělal různé poznámky o vítězství rakouských zbraní, jako: „Ti vám to v Srbsku nahnuli" a pod. Když přejížděli potravní čárou, ptal se zřízenec, co vezou.

Švejk odpověděl:

„Trojici boží s panenkou Marií a feldkurátem."

Na cvičišti zatím netrpělivě čekaly pochodové setniny. A čekaly dlouho. Neboť ještě jeli pro sportovní kalich k nadporučíkovi Witingrovi a potom pro monstranci, ciborium a jiné příslušnosti ke mši do břevnovského kláštera, včetně i láhve mešního vína. Z toho je vidět, že není jen tak jednoduché sloužit polní mši.

„My to flákáme všelijak," řekl Švejk drožkáři.

A měl pravdu. Když totiž přijeli již na cvičiště a byli u podia s dřevěným pažením a stolem, na který měl být postaven polní oltář, ukázalo se, že polní kurát zapomněl na ministranta.

Ministroval mu vždy jeden pěšák od pluku, který se však dal přeložit raději k telefonu a odjel na frontu.

inslav

„To nevadí, pane feldkurát," řekl Švejk, „já to taky mohu zastat."

„A umíte ministrovat?"

„Nikdy jsem to nedělal," odpověděl Švejk, „ale zkusit se může všechno. Dneska je vojna a ve válce dělají lidi věci, vo kterých se jim dřív ani nezdálo. To nějaký hloupý ‚et cum spiritu tuo' na to vaše ‚dominus vobiscum[1] taky svedu dohromady. A potom myslím, že to není nic těžkýho, chodit kolem vás jako kočka kolem horký kaše. A mejt vám ruce a nalejvat z konviček víno..."

„Dobře," řekl polní kurát, „ale vodu mně nelejte. Raději si hned do té druhé konvičky nalejte také víno. Ostatně já vám vždycky řeknu, jestli máte jít napravo nebo nalevo. Jestli potichounku zapísknu jednou, to znamená napravo, dvakrát nalevo. S mešní knihou se nemusíte také mnoho tahat. Ostatně je to legrace. Nemáte trému?"

„Já se ničeho nebojím, pane feldkurát, ani ministrování."

Polní kurát měl pravdu, když se vyjádřil: „Ostatně je to legrace."

Všechno šlo náramně hladce.

Řeč polního kuráta byla velice stručnou.

„Vojáci! Sešli jsme se zde, abychom před odjezdem na bojiště obrátili své srdce k bohu, aby nám dal vítězství a zachoval nás ve zdraví. Nebudu vás dlouho zdržovat a přeji vám všechno nejlepší."

„Ruht," zvolal starý plukovník na levém křídle.

Polní mši se proto říká polní, že podléhá týmž zákonům jako vojenská taktika v poli. Při dlouhých manévrech vojsk za třicetileté války bývaly polní mše také neobyčejně dlouhé.

Při moderní taktice, kdy pohyby vojsk jsou rychlé a bystré, polní mše musí být také rychlou a bystrou.

Tahle trvala právě deset minut a ti, kteří byli blíž, neobyčejně se divili, proč mezi mší polní kurát si pohvizduje.

Švejk bystře ovládal signály. Chodil na pravou stranu oltáře, opět byl na levé a nic jiného neříkal než: „Et cum spiritu tuo."

Vypadalo to jako indiánský tanec kolem obětního kamene, ale dělalo to dobrý dojem, zaplašujíc nudu zaprášeného smutného cvičiště s alejí švestkových stromů vzadu a latrinami,

inslav

jejichž vůně zastupovala mystickou vůni kadidla gotických chrámů.

Všichni se náramně bavili. Důstojníci kolem plukovníka vypravovali si anekdoty a tak to šlo v úplném pořádku. Tu a tam bylo slyšet mezi mužstvem: „Dej mi šluka."

A jako obětní dým vycházely od rot k nebi modré obláčky tabákového dýmu. Kouřily všechny šarže, když viděly, že si i pan plukovník zapálil.

Konečně se ozvalo: „Zum Gebet," zavířilo to prachem a šedivý čtverec uniforem sklonil svá kolena před sportovním kalichem nadporučíka Witingra, který on vyhrál za „Sport—Favorit" v běhu Vídeň—Mödling.

Kalich byl plný a všeobecný úsudek, který provázel manipulaci polního kuráta, bylo to, co šlo řadami: „Ten to vyzunk."

Výkon ten byl opakován dvakrát. Pak ještě jednou „K modlitbě", nato kapela dala k lepšímu „Zachovej nám Hospodine", seřazení a odchod.

„Seberte ty monatky," řekl polní kurát Švejkovi, ukazuje na polní oltář, „ať to můžem zas rozvést, kam to patří!"

Jeli tedy se svým drožkářem, vrátili všechno poctivě, až na tu láhev mešního vína.

A když byli doma, poukázavše nešťastného drožkáře na velitelství, pokud se týká náhrady za ty dlouhé jízdy, řekl Švejk polnímu kurátovi: „Poslušně hlásím, pane feldkurát, musí bejt ministrant toho samýho vyznání jako ten, kterýmu přisluhuje?"

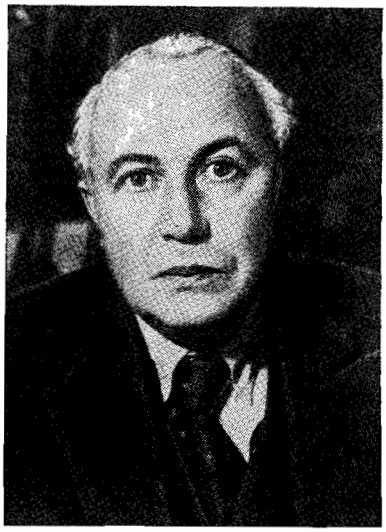
„Zajisté," odpověděl polní kurát, „jinak by mše nebyla platnou."

„Pak se stal, pane feldkurát, velkej vomyl," ozval se Švejk, „já jsem bez vyznání. Já už mám takovou smůlu."

Polní kurát podíval se na Švejka, chvíli mlčel, pak mu poklepal na rameno a řekl: „Můžete vypít to mešní víno, co zbylo v láhvi, a myslete si, že jste vstoupil opět do církve."

1921—1923

inslav



IVAN OLBRACHT

ИВАН ОЛЬБРАХТ

(1882—1952)

Иван Ольбрахт (псевдоним Камила Земана) родился в Семилях, в семье чешского писателя Антала Сташека. Литературная и общественная деятельность Ольбрахта началась в 900-х годах.

Еще в гимназии Ольбрахт проявлял значительный интерес к социал-демократическому движению, к марксистской теории. Будучи студентом Пражского университета, он участвовал в рабочем движении. Впоследствии он стал профессиональным журналистом и много лет сотрудничал в социал-демократической прессе.

Ранние рассказы Ольбрахта «О любви к родине» („O lásce k vlasti", 1910), «Старичок, увенчанный лаврами венской славы» („Stařeček vavříny vídeňské slávy ověnčený", 1913) и др. отличаются яркой антимонархической направленностью. В 1913 г. выходит в свет первый сборник рассказов Ольбрахта «О злых нелюдимах» („O zlých samotářích"). Сборник посвящен деклассированным слоям общества, босякам, носителям стихийного протеста против капиталистического общества и мещанства. Однако внимание автора больше привлекают мельчайшие переживания индивидуалистически настроенных героев, чем социальные причины, приведшие их на дно жизни. Рассказам присущи некоторые черты натурализма.

В романе «Удивительная дружба актера Есения» („Podivné přátelství herce Jesenia", 1918) писатель поднимает вопрос о месте и роли художника в обществе. Он показывает, как герой романа, преодолевая

inslav

духовную раздвоенность, индивидуализм, стремится осмыслить свое общественное назначение. Однако эта проблема решается Ольбрахтом в абстрактно-психологическом плане.

Великая Октябрьская социалистическая революция, обусловившая небывалый революционный подъем в Чехословакии, определила качественно новый этап в жизни и творчестве Ольбрахта.

В 1920 г. он несколько месяцев провел в Советской России, где принимал участие в работе II конгресса III Интернационала. В Москве Ольбрахт написал очерки «Картины из жизни современной России» („Obrazy ze soudobého Ruska"), переизданные в 1950 г. под названием «Путь к познанию» („Cesta za poznáním"). Его репортажи были первым правдивым рассказом о жизни советской России, страны победившего пролетариата. Писатель показывает новые общественные отношения, советских людей, их веру в силу и непобедимость советского строя, веру, которую разделяют трудящиеся всего мира. Внимание писателя привлекает рост новой социалистической культуры. Ольбрахт знакомит читателя с советским театром, кино, литературой, в частности, дает высокую оценку поэзии Маяковского. Специальная глава посвящена В. И. Ленину.

По возвращении из России Ольбрахт еще активнее включается в политическую борьбу. В 1921 г., с образованием компартии Чехословакии, он вступает в ее ряды, становится одним из первых редакторов центрального органа партии — газеты «Руде право».

За свою политическую деятельность писатель неоднократно подвергался преследованиям.

В 1927 г. вышел сборник сатирических рассказов «Девять веселых рассказов об Австрии и республике» („Devět veselých povídek z Rakouska i republiky"), включивший некоторые произведения, написанные в 10-х гг. В 1948 г. сборник был переиздан под названием «Так бывало» („Bejvávalo"). Основная идея всего сборника заключается в том, что в буржуазной Чехословацкой республике сохранены старые порядки, что она является «достойной» преемницей австрийского государственного и военного аппарата. Так, в рассказе «Карьера Эдуарда Жака» („Kariéra Eduarda Žáka") нарисован сатирический образ тупого, аморального полицейского, с одинаковым усердием служащего как монархическому режиму, так и буржуазному правительству. Ольбрахт воссоздает реальную картину австрийской и чехословацкой действительности, срывает маску с пресловутого буржуазного гуманизма.

В 1928 г. вышел отдельной книгой роман Ольбрахта «Анна-пролетарка» („Anna proletářka"). В основу романа положены подлинные исторические события, происходившие в 1920 г. накануне образования коммунистической партии Чехословакии. «В 1920 году, — писал Ольбрахт, — поднял свой мощный голос авангард рабочего класса. Чешский революционный рабочий класс, следуя примеру своих русских товарищей, отмежевался от старой партии и в тяжелых боях с ней... создал новую партию... Об этом и рассказывает моя книга».

Центральными героями романа являются крестьянская девушка Анна, которая, попав в город, примыкает под влиянием революционно настроен-

inslav

ных рабочих к пролетарскому движению, а также сознательный рабочий-коммунист Антонин Кроусский. Умение Ольбрахта увидеть и правдиво, художественно убедительно отразить жизнь в ее революционном развитии, его непреклонная вера в торжество пролетариата и идей компартии, наличие в романе образа героя — борца за социалистическое общество сделали писателя одним из основоположников метода социалистического реализма в чешской литературе.

В 30-е годы Ольбрахт создает произведения, посвященные Закарпатью: роман «Никола Шугай, разбойник» („Nikola Šuhaj loupežník", 1933), очерки «Горы и столетия» („Hory a staletí", 1935), «Голет в долине» („Golet v údolí", 1937). В этих произведениях писатель разоблачал колониальную политику чешской буржуазии в Закарпатье, рисовал впечатляющие картины ужасной нищеты, эксплуатации и ограбления народа. В романе «Никола Шугай» писатель создал обобщенный образ бунтаря, олицетворяющий стихийную борьбу народа против социального и национального гнета. Трагической смертью Шугая писатель стремился показать неизбежный конец протеста одиночки. Автор мастерски соединил реалистическое повествование со сказочной фантастикой, почерпнутой из богатого источника народного творчества, и создал высокохудожественное, поэтическое произведение, утверждающее мысль о извечной, неугасимой борьбе народа за свободу.

Ольбрахт — выдающийся стилист, тонко чувствующий особенности родного языка.

Во время фашистской оккупации Ольбрахт принимал участие в нелегальном движении Сопротивления. После освобождения Чехословакии писателю было присуждено почетное звание Народного художника Чехословакии. Ольбрахт вел активную работу в министерстве информации, часто выступал в периодической печати, разоблачая происки поджигателей войны и призывая народы к борьбе за мир, демократию и социализм.

OBRAZY ZE SOUDOBÉHO RUSKA

Pane Jaroslave Kvapile,[1]

poslal jste mi do Moskvy psaní, ve kterém projevujete radost, že jsem se do Ruska dostal, předpokládáte, že budu pozorovatelem nestranným, že si budu všímat, „co se tam dnes děje ve všech oborech uměleckých a lidovýchovných, jakým způsobem jest opatřeno zlidovění všeho umění a jak je přitom dbáno nezbytné úcty k tvůrčím individualitám," a ujišťujete mě, že „všeho prospěšného", co se z Ruska dovíte, „radostně použijete pro kulturní péči i v naší republice."

Povím Vám velmi rád vše, co vím, ale velice se bojím, že z toho nebudete moci v Československé demokratické republice použít pranic.

inslav

Když jsem Váš list dostal, věděl jsem již o sovětské republice mnoho a Vy jste o ní z Národních listů a ostatních českých deníků nemohl vědět ještě nic nebo ještě méně než nic, a není tedy Vaší vinou, že mi Vaše psaní připadalo jako list starosty horské obce o padesáti číslech krajanu, který jest kuchařem někde v Novém Yorku:

„Milý Josef! Všímej si tam všeho, co tam dělají nového, abych to mohl zařídit také u nás.“ Nu, kuchař Josef tedy bude psát o věcech, které ho zajímají. O podzemních a nadzemních elektrických drahách, o mrakodrapech, hotelech, o luxusních kuchyních, kinematografech, dostizích a boxerských zápasech, a pan starosta bude z toho ze všeho moci nanejvýš o posvícení uspořádat ochotnický boxerský zápas a říci pak, jen co bude mít kdy a dosti prostředků, že přivede svou obec i v ostatním na výši Nového Yorku.

Řeknu jen to: sovětský komisariát národní osvěty *vydal* roku 1919 na své účely 17.211.651.944 rublů (dlouhá cifra, pravda?) a za první polovinu roku 1920 vydal již více než sto miliard rublů. Rozpočet na druhou polovinu roku 1920 je prý *několikanásobně* větší. A to je pouze část peněz, které se v Rusku vydávají na osvětu a lidovýchovu, neboť organisace není všude dobudována, v úřadech je posud hodně paralelismu a velkou část prací, které by měl vyřizovat komisariát národní osvěty, dosud vykonávají odborové organisace, které svou sítí knihoven, klubů atd. zasahují z centra do poslední venkovské továrničky. Osvětový oddíl Rudé armády pracuje mezi vojskem a obě tyto instituce, t.j. odborové organisace a t. zv. GUVUZ, mají vlastní, téměř neomezené prostředky, které do řečené sumy sta miliard započítány nejsou.

Jak to chcete zařídit, pane Jaroslave Kvapile, v „naší republice“? Jsem sice přesvědčen, že to půjde zařídit také v Československu, že i „náš“ stát bude jednou mít dosti prostředků na kulturu a lidovýchovu, ale nepůjde to ovšem v demokratické republice a tím méně v politicky zotročené a hospodářsky vyssávané kolonii Dohody, jakou jsme se za poslední dva roky stali. Za tím účelem však bude třeba vyhnat všechny velkostatkáře z jejich panství a zámků a bez zřetele na jejich křik o loupeži posvátného vlastnictví velkostatky znárodnit; znacionalizovat banky, třeba by pan Preiss a Rašín bubnovali sebevíc na poplach, že se

inslav

podtrhávají základy českého národního hospodářství; vyvlastnit všechny doly a továrny bez ohledu na to, jsou-li akcie v rukou domácích nebo cizích vydřiduchů, a nechat české kapitalisty zuřit až do vysílení a ty dohodové hrozit válkou a bojkotem, intrikovat, štvát až do těch dob, dokud jim jejich vlastní proletariát neucpe hrdla; totéž učinit se všemi peněžními ústavy a obchody, skladišti, paláci, činžáky, vilami, soukromými obrazárnami a ladem ležícími knihovnami. Nejen to. Bude třeba vzít zvlášť každého, válečného zbohatlíka a keťasa pod hrdlem (bude-li to po dobrém, obrazně, nepůjde-li to, doslovně) a klepat jím tak dlouho, až z něho vypadne poslední schovaná tisícidolarovka nebo zlatá dvacetikoruna; bude nutno dostat se v jednu hodinu s půlnoci do ložnice každé zbohatlé řeznice, hokynářky nebo majitelky veřejného domu a smýčit v nočních stolcích, prádle a záhybech záclon (půjde-li to po dobrém, obrazně, ne-li, doslovně) tak dlouho, dokud se neobjeví poslední ukradený briliant. Nebo se už nepamatujete na vybrakované byty malých úředníků a zcela prázdná obydlí dělníků, kteří musili také za války jíst, a lichvářsky předražené zboží bylo jen u keťasů, zapomněl jste na pouti plačících žen na vesnice, kde bohatí sedláci žádali za uzlíček bramborů prstýnek nebo dětskou peřinku a mlynáři za šátek smetků z mlýnice poslední dobrou košili, nebo chcete snad takhle nabyté bohatství pokládat také za posvátné? Až k vyvlastnění zločinně získaného majetku sáhneme my, bude i v „naší" republice dosti prostředků na kulturu. Jenže k věcem tak bolestným, nepříjemným a dokonce neestetickým se Vy, pane Jaroslave Kvapile, asi nikdy neodhodláte! A přec to jinak nejde! A přec to musí být! Bylo by hezké, kdyby se lidé svých nadpráví a bohatství vzdávali ochotně ve vší lásce. Ale to je možno očekávat jen od ojedinělých lidí dobré vůle a nikdo nevynalezl ještě prostředek, jak k tomu přinutit bez mravního nebo skutečného násilí méněprávných a chudých také ty ostatní. Musí to být i v zájmu kultury! Že to nejde cestou demokracie, to ukázala více než stoletá zkušenost v Americe, padesátiletá ve Francii, dvouletá v Československu a o tom jste jistě přesvědčen také Vy, pane Jaroslave Kvapile.

Když jsem s Vámi mluvil krátce po říjnu 1918, byl jste pln ideálů a pln kulturních plánů do budoucnosti. Jste velmi mocným pánem v ministerstvu osvěty, sekčním šéfem nebo něčím tako-

inslav

vým, řekněte mi: uskutečnil jste ze svých plánů jen jediný? Ne! Proč ne? Pan ministr financí Vám na to nedal peníze, viďte?! V demokratické republice nejsou na kulturu prostředky. Tam všechny úspory pohltí bursiáni, obilní lichváři a vojenští dodavatelé. To jste nevěděl? Pan ministr financí Vám nic nedá ani v budoucnosti a nebudete je mít dříve, dokud i u nás nedojde k těm bolestným, nepříjemným a neestetickým věcem. Jenže Vy, jak se zdá, než byste k nim svolil, odhodíte raději všechno umění, lidovýchovu, nezbytnou úctu k tvůrčím individualitám a všechny ostatní hezké věci, o kterých ve svém listě píšete. Já ne...

1820

KARIÉRA EDUARDA ŽAKA

... Svatý Václave, vévodo české země, byl to krásný den, ten 28. říjen 1918! Na Václavském náměstí vypukla revoluce a přitom daleko široko nebylo vidět policajta. Český národ ničil za jásotu a zpěvu Rakousko, a poněvadž se nenašel nikdo, kdo by tomu odporoval, vyhladil je z kořene. Snímal vojákům s čepic jablíčka a důstojníkům od šavlí portepé a dupal po nich s takovou rozkoší, jako kdyby tančil po břichách dvou císařů pánů a arcivévody Bedřicha k tomu. Dvouhlavé orly s kasáren, zastaváren, berních a cejchovních úřadů rozbíjel na padrť, nebo je nosil k Vltavě a tam je topil jako koťata, prokazuje jim tím poctu, která po zákonu zřejmě příslušela toliko členům nejvyšší rodiny a válečným básníkům [1]. Přitáhly čety Sokolů s žebříky a s hrnci laku a udělaly přes „c.k." na poštovních schránkách šmik šmik! a kde stálo na firmách Ka $\frac{\text{rel}}{\text{rl}}$ Novotný a Fran $\frac{\text{t}}{\text{z}}$ Vávra, tam udělaly přes *rl* a *z* také šmik šmik! a nad „r" u Moritz Tempele namalovaly velký černý hák a Bílá hora byla pomstěna, třistaletá poroba odčiněna a Rakousko vyvráceno. Onoho slavného dne se v každém desátém člověku probudil řečnický talent a zběsilý chtíč uplatňovat jej na každém nároží, u všech soch a s každého balkonu. Domácí páni poručili domovníkům vystrčit z vikýřů prapory a ty červenobíle pleskaly do veselého dne. Scházeli se muzikanti, uvažujíce, kde by bylo nejvýhodnější dnes večer vyhrávat. Obchodníci střižním zbožím vydělávali nekřesťanské peníze na dvou centimetrech trikolor, jichž svitky po čtyři roky schovávali na

inslav

dnech zásuvek. Národ jásal a od zpěvu ochraptěl a říkal si, že nemůže být na světě nic krásnějšího než svoboda. Měl konečně pravdu.

Ale všeobecné nadšení naprosto nesdílelo pražské policejní ředitelství a nesdílel ho už dokonce *revírní* inspektor Eduard Žak.

Již od ranních hodin, kdy na místodržitelství došla zpráva o kapitulaci Rakouska, byla na policejním ředitelství nálada zoufale zuřivá. A pak přicházeli detektivové s raporty o řádění podvratných živlů na ulicích. Revírní inspektor Žak běhal po budově jako vlk v kleci. Brzy byl na strážnici u mužstva, brzy nahoře u kanceláří, řinčel šavlí po chodbách a schodech, knír měl zježený a opakoval stále dva pohyby: jeden k služebnímu revolveru, druhý ke kapsám, plným patron. Ale po představených nebylo ani vidu ani slechu. Mužstvo stálo připraveno v plné zbroji, posíleno už ráno vlasteneckou řečí a dvojnásobnou dávkou rumu, a planulo bojechtivostí. Ale pak se řeklo: Počkat! A teď se čekalo.

„Krucifiks, kdy nás už pustěj?" sípal Žak.

Neví-li ještě Praha, kdo je to revírní inspektor Žak, secsakra, dnes jí to ukáže! Dnes si umyje v krvi ruce. Teď už nejde jen o to, sloužit císaři pánu a vlasti, neběží jen o kariéru, jde o život. Neboť Žak věděl, jak to s ním dopadne, nabudou-li vrchu podvratné živly: půjde rovnou na šibenici. Jeho činnost je pověstná a v Praze ho zná každé dítě. Ale ne, ještě ho neznají! To, co bylo dodnes, byly jen hračky. Nedá se. Teprve teď ukáže, kdo je a co umí.

Revírní inspektor běhal po policejním ředitelství schody nahoru, řinčel šavlí po schodech dolů.

Konečně svého šéfa, vrchního komisaře Skřivánka, našel. V tiché rozmluvě s panem policejním ředitelem. V místě zcela neobvyklém, v druhém poschodí přede dveřmi archivu. Žak zůstal opodál. Panu dvornímu radovi do tváře neviděl, ale obličej jeho šéfa byl šedivý a malátný jako hovězí dršťka na háku řeznického krámu a v rukou žmoulal kapesník, kterým si stále utíral zpocené dlaně.

Pan ředitel zmizel ve dveřích archivu a Žak přistoupil k šéfovi:

„Co bude, pane vrchní?" vykřikl na něho rozčileně.

Pan vrchní komisař na něho vytřeštil oči, jako by před ním stanulo strašidlo.

inslav

„Copak já vím?“ zařval leknutím. „Copak já vím, člověče?“ Ale hned, jako by se byl polekal vlastního hlasu, řekl pokorně: „Já nevím, Caku. Já nic nevím, pan dvorní rada nic neví, pan místodržitel nic neví.“ A chopil se paže revírního inspektora, jako by u něho hledal ochranu. „Nikdo nic nemůže vědět, Caku.“ Ale to už znělo jako hlas ze spodního poschodí hladomorny.

Zak zase šel.

„No, servus!“ řekl si a zakručelo mu v břiše.

Detektivové nosili z ulic Jobovy zvěsti. V Praze řádí revoluce: neboť od pomníku svatého Václava se mluví, na všech rozích se mluví, s lípy před hotelem Štěpán se mluví, lidé zpívají: „Hej Slované!“ s refrénem: „Rus je s námi, kdo proti nám, toho Francouz smete!“, z kavárny Continental vynesli podvratní živlové sádrové poprsí císaře Karla a císaře Viléma[1], obě Veličenstva nakopli do nosu, a kousky, které nebyly rozdupány na mouku, si teď lidi zabalují do kapesníků na památku.

Ti nahoře v prvním poschodí ztratili zřejmě hlavu. Všechno tam bylo bledé, horečně se telefonovalo, nebo se na zazvonění telefonu čekalo, nikdo neměl kdy ani na pohled, nerci-li na slovo. A pak to přišlo najednou, jako zezadu rána z browningu.

Ve dveřích strážnice se objevil pan vrchní komisař Skřivánek:

„Nepůjde se nikam! Doma zůstat! Odložit zbraně!“

Poplašeně to vykřikl a zas utíkal.

„Ta-á-ák!“ plynulo ze Zaka a znělo to tak, jako když někdo šídlem píchne do měchů a teď z nich uniká vzduch. Knír se mu zježil do vějíře. A strašně ho rozbolelo břicho.

Odvlekl se zbavit se své bolesti, a když se vracel, zapínaje si kšandy, zapomněl na všechnu disciplinu, a bera tři schody najednou, rozletěl se k svému šéfovi Skřivánkovi. Ale když rozrazil dveře jeho kanceláře, naskytl se mu zoufalý pohled. Byl tam pan policejní ředitel a zsinalý pan vrchní komisař Skřivánek před ním klečel na kolenou a hystericky křičel:

„Spalte to! Pane dvorní rado, pro Ježíše Krista vás prosím, zničme to!“

Zak se odplížil na strážnici a klesl tam na lavici. Bylo zle.

Pít!

Na dlouhém stole pro mužstvo stála karafa s vodou. Revírní inspektor dopíjel už druhou. Pro pivo se teď jít nemohlo a kořalku, kromě té erární na kuráž, na strážnici pan policejní ředitel

inslav

netrpěl. Jakživ nevypil Zak najednou tolik vody. Ale žízeň neustávala.

Dopoledne přitáhly podvratné živly až k policejnímu ředitelství. Křičely a zpívaly. Někdo řečnil. Přišlo pět lidí, nikdo jim nebránil, vnikli do presidentovy kanceláře, a poněvadž pana dvorního radu nebylo zaboha možno nalézt, oznámili panu vrchnímu komisaři Skřivánkovi, že policejní ředitelství zabírají. A na ulici za výskotu a jásotu sundávali se zdí dvouhlavé orly. Ruka se nehnula. Bylo opravdu zle.

Tehdy vešla do revírního inspektora Eduarda Zaka strašlivá hrůza. Nesnesitelná. Někdo mu nasypal do břišní dutiny rozdrceného skla a on se svíjel a kroutil jako mezi rybářovým palcem a ukazovákem rousnice. A vtom mu řeklo také tlusté střevo: „A ty uličníku! Natýral ses mne v životě ažaž. Teď také já trochu. Zrychleme pohyby, přátelé! A leťme! A tobě, ty kluku špatná, přestávám v této chvíli odssávat všechnu vodu!“ Zak v pekelných bolestech vyskočil. Zoufale se snažil se svou hrůzou doběhnout alespoň až tam, kde by ji mohl od sebe odvrhnout, a zde z něho stříkala jako z hadice, čišíc a praštíc. Pak se rozhodl zůstat, kde sedí, ale jeho strach ho neopouštěl, nýbrž rozlezl se mu z břišní dutiny do celého těla a viděl, třeba by mu popraskaly a vyhřezly všechny vnitřnosti, že ho neopustí už ani kapka. Opřel hlavu mokrou studeným potem temenem o zeď, a dýchaje otevřenými ústy vůně místnosti, malátně šeptal:

„Šibenice jako Brno!“

Po prvé v životě mu bylo jasno, že se proroctví starého učitele přec jen vyplní.

Když se rámus venku utišil, vyplížil se revírní inspektor ven. Zelený a zesláblý. Šel k panu vrchnímu Skřivánkovi.

Bylo to smutné shledání. Věrní spolupracovníci stáli proti sobě, revírní inspektor u dveří, vrchní komisař u psacího stolu, oba stejně bledí a vyděšení. Jeden nedovedl říci druhému slova útěchy. A šéf státní policie neuměl na otázku ztrhaných očí spolupracovníkových odpovědět jinak leč smutným pokrčením ramen.

Když scházel Zak se schodů, střetl se s komisařem Wimrem. Ten byl již v civilním obleku. Prohlédl si odshora dolů Zaka a řekl mu jaksi opovržlivě:

„Člověče, hoděj se do civilu!“

inslav

Do civilu? rozpomínal se těžce Zak. Wimrovi je hej, je od kriminální, ale mně už nepomůže ani civil.

Odpoledne se převlékl přec. Vzal si krátký šedivý zimník se zaječím límcem a anglickou sportovní čepici, jaké nosí pražští detektivové. Ležíť již v samé podstatě detektivní služby, že se mají tajní policisté odlišovat od ostatního obyvatelstva co nejméně, a proto je policejní ředitelství obléká do stejnokrojů. Právě do těch zaječích kožíšků a anglických čepic, ale o tom úředním tajemství ví kromě pražských zlodějů už jen málokdo. Když se revírní inspektor Zak přeměnil takto na člověka civilního, vyhlédl opatrně ze vrat, a vida všude klid, rychlým krokem vyšel, aby byl brzy co nejdál. Dal se k domovu. Postranními ulicemi, z Mikulandské až do Vyšehradské třídy a kolem pathologického ústavu na Vinohrady, vyhýbaje se lidem. Byl malátný jako podzimní moucha a bolely ho nohy.

Manželce, která mu doma běžela vzrušeně vstříc, řekl jediné slovo: „Kuš", svlékl se a hodil sebou na postel. Noc, která následovala, byla plná olověných snů a v každém z nich byla šibenice, rozřezaná břicha a mrtvolný puch hladomoren. Vyráželo ho ze spaní, a kdykoli se prodřítil, byl zalit potem.

Ráno si ustřihl svůj mohutný knír, přeměnil si jej na anglický, a když se po holení podíval do zrcátka, bylo mu jako kacířským kněžím, jimž právě cihlou sedřeli tonsuru, nebo kohoutům, kterým utrhli ocas. Byla v něm jiskřička naděje, která mu stála za toto sebezmrzačení? Naděje, že se přes noc snad přec jen stal ještě nějaký zázrak? Byla-li, při prvním vyjítí na ulici, ozdobenou prapory a plnou podvratných živlů, valících se za velezrádného zpěvu a jásotu dolů do města, zhasla nadobro. Zak opět cítil pod pokožkou lebky mravenčení a udělalo se mu mdlo od žaludku. Šel obhlédnout situaci před policejním ředitelstvím a šel opět velkým obloukem kolem vnitřní Prahy, aby se setkal s co nejméně lidmi. Bylo opravdu štěstí, že osvobozený národ neměl pro zpívání a řečnění kdy na jiné věci, a tak revírní inspektor, pochodiv chvíli ulicemi kolem ředitelství a zjistiv, že se tam nic neděje, vklouzl do vrat.

Ale již první zprávy byly ranami do hlavy. Pan policejní president Kunz vzal do zaječích! Pan místodržitel Coudenhove je pryč! Pan posádkový velitel Kestranek ujel! Páter Albanus zmizel! Po budově se potlouká plno cizích lidí. A je tu už také

inslav

provolání prozatímní vlády se všemi podpisy. Visí na stěně v průjezdu. A když ty podpisy Zak četl, zastavila se mu krev u srdce.

„A ježišmarjá!" zašeptal.

Materiál proti Kramářovi sbíral on, a ten je teď ministrpresidentem! U Rašínů dělal domovní prohlídku on, a ten je teď ministrem! Klofáče dostal do Terezína on, a ten je teď také ministrem. Knoflíkovou aféru odhalil on, a Soukup je teď také ministrem! Vrbenskému dal před patnácti lety pro nějaké anarchistické letáky takovou rukonosku, že se mu mládenec zhroutil k nohám, a ten je teď také ministrem! A paní Masarykovou a slečnu Masarykovou vyšetřoval on, slečnu vezl do Vídně on, a tatínek je teď presidentem!

„A ježišmarjá!"

Revírní inspektor, spoléhaje na svůj civil a změněnou tvář, se proplétá mezi neznámými lidmi, ale žel, také mezi mnoha podezřelými individui známými až příliš dobře, chodí mezi uniformovanými kolegy, okolo představených, ale nikdo si ho nevšímá, buď že nemá kdy nebo se k němu nehlásí nebo ho nepoznává. Nahlédl také do místnosti pro mužstvo. A ježišmarjá! Honem zas zavřel. Řeční tam k uniformované stráži podvratný živel, kterého Zak už tři neděle marně shání po celé Praze. Au, au, au! Revírní inspektor se zas zkroutil. Vracejí se snad včerejší hrůzy?

Zak stoupal nahoru do kanceláře šéfa státní policie Skřivánka. Naděje sice nebyla ani tam, ale byl tam aspoň přítel v utrpení. Prožili spolu mnoho dobrého i zlého, pracovali léta ruku v ruce a jejich osud byl stejný. Osm stovek z loupeže na Příkopech byl pan vrchní komisař Zakovi také ještě dlužen, revírní inspektor ho po celou válku zásoboval moukou a sádlem, a za to mu pan vrchní pomáhal dostat klenotníka Bauera z vyšetřovací vazby na frontu, kde dali tomu zbabělci příležitost proměnit se v hrdinu a padnout na poli cti a slávy za vlast a císaře pána. Ale co to teď bylo všechno platno?

Kancelář pana vrchního komisaře Skřivánka Zaka překvapila. Šéf seděl klidně za psacím stolem a nad tím visel obraz T. G. Masaryka. Bůh ví, kde jej tak čerstva sebrali. Patrně zkonfiskovali nějakému zatčenému velezrádci. Obraz císaře pána tu byl ještě také, ale na zemi v koutě, obraceje do místnosti zadní stra-

inslav

nu s velkou pavučinou, ale byl zde a oba pány bylo možno během deseti vteřin vyměnit.

Ztrhané oči Zakovy se obrátily na šéfa naléhavou otázkou. Ale ten nedovedl jiného, než pokrčit rameny.

„Utýct?“ šeptal Zak.

Pan vrchní pokrčil rameny ještě jednou.

„Pane vrchní, práskněme do bot, dokud nebude pozdě!“

„Kam?“

To bylo tedy také pravda: kam?

Zakovy oči beznadějně chvíli bloudily po podlaze. Pak se sebral a chtěl odejít. Ale pan vrchní ho zastavil.

„Počkejte, Caku, sedněte si trochu!“ řekl velmi vážně. A když revírní inspektor usedl, promluvil šéf státní policie: „Víte, já neříkám tak, neříkám onak. Já ještě nevím... ale... Víte, pan kolega Bienert se stane policejním ředitelem. Je ovšem těžko něco říkat, ale je to konečně přec jen kolega. Já jsem dneska konferoval do dvou hodin s půlnoci s jednou vysoce postavenou osobností, víte, *dneska* vysoce postavenou osobností. Co vám budu zapírat, já jsem člověk opatrný a prozíravý, já si nechal zadní dvířka otevřena, takže mám známosti ještě dnes. To se rozumí, Jeho Veličenstvu všechnu povinnou čest a úctu, ale je-li pravda, a jak se zdá, prozatím to pravda je, že Jeho Veličenstvo nás už chránit nemůže, bude se třeba ohlédnout po ochráncích jiných. A já jsem to poslední rok činil a získal jsem si také značné zásluhy — přiznávám se k tomu s hrdostí — o Československou republiku. Já neříkám to ani ono, ale možná, že nebude tak zle, jak si to představujete. Já vás neopustím. Pracovali jsme léta společně, jeden před druhým nemáme tajemství a nebylo by účelné, abychom se rozcházeli. Počkat, Caku! Čekat! Netrojčit! Prozatím se ještě nikomu nic nestalo a teď se tu povládne metodami humánními.“

„Co je to?“

„Humánní?“

„Jo. To slovo jsem ještě neslyšel.“

„To jako že má jít všechno po dobrém, vývojem, a že se nemá nikomu nic zlého dělat.“

„Mhm,“ pochopil Zak. Jeho životní zásadou to sice nebylo, ale v této situaci to nebylo nepříjemné slyšet.

Skřivánek sedí za svým psacím stolem dále! To bylo hlavní

inslav

poučení dnešního dopoledne. Jistého to sice není nic, ale nesmělá otázka: „Proč ty ne, Eduarde?“ se kdesi nad žaludečním důlkem přec jen zatřepala. Onoho dne se zabýval revírní inspektor tím, že shledával staré protokoly, raporty a rozkazy jím podepsané, a nad svým jménem, psaným trnovitým, rozplizlým písmem, dělal nad Z velikánský, dozadu převrácený hák a nad A dlouhatánskou čárku.

Tvrdit, že v příštích dnech revírnímu inspektorovi Žákovi úzko nebylo, možno není. Humanista, nehumanista, takovýmhle hloupostem nevěřil, a vrchní Skřivánek, prospěje-li mu to, ho při první příležitosti zradí stejně tak, jako by to svému šéfovi udělal on, kdyby to bylo co platno. Nebylo o mnoho příjemněji než prvního dne, a že se nic nedálo, starého odborníka mýlit nemohlo. Revírní inspektor Žák to stejně tak dělával a také nikdy netlačíval na pilu. Oběť se nechá počkat, ukolébat se v klidu, a ve chvíli, kdy se cítí nejbezpečnější, najednou hup jí na záda a tu máš do rypáku, uličníku! V těch náhlých přepadech je vlastně hlavní rozkoš lovu a s Žákem to teď dopadne zrovna tak. Sny měl stále nedobré a noční pocení a vyrážení nepřestávalo.

Ale neminulo mnoho dní a jednoho dopoledne vstoupil revírní inspektor do kanceláře svého představeného jakoby celý vyměněný. Oči mu zářily a hledal starým, sebevědomým pohybem pod nosem mohutné přadeno svého kníru. Ale nebylo tam.

„Vědí, co je novýho, pane vrchní?“

„No-o?“

„Jsou tu ruští bolševici. Totiž ti čeští z Ruska.“

„Co?“ vyskočil se židle pan vrchní Skřivánek. „Cože?“

„Vždyť jim to říkám.“

Pan vrchní komisař zůstal trčet očima někde v prázdnu.

Pak sklenul obočí do velkého oblouku a zapískal: „Fuíííť!“

Tímhle prodlouženým „Fuíííť!“ si ostatně dnes ráno hvízdl také revírní inspektor Žák.

„Co víte, Caku, totiž pardon, pane Žák? Mluvte!“

Revírní inspektor referoval.

„Tohle by mohlo být dobré, Caku.“

„To se vr, pane vrchní, že by mohlo!“

Pan vrchní Skřivánek chodil kanceláří. Usedl. Přemýšlel. A pak vyskočil a oči mu hořely.

„Caku, do práce! Do práce, do práce, do práce! Tyhle nám

inslav

posílá sám pámbu. Budeme zas nepostradatelní. Máme vyhráno! Pane Žák, do práce!"

Revírní inspektor šel.

Ale za půl hodiny tu byl znova.

„Pane vrchní," řekl, „já jsem se chtěl zeptat jen tohle: je pan ministr vnitra taky humanista?"

„Nevím, myslím, že ne."

„Poslouchají, pane vrchní, nebylo by dobře nadělat si nějakejch dokumentů nebo nastrojit nějakej malej bolševickej atentátek?"

„Ne, Caku! Tohohle já se bojím. Snad později, ale teď ještě ne. Nic písemného. Všechno jen ústně. Pověsti! Hodně pověstí! Mluvil jsem telefonicky již s pány tam nahoře. Vystřídali se čtyři, všem jsem musil opakovat totéž a všichni dělali pausy v rozhovorech a všichni měli nejistý hlas. To je dobře. Strach je náš nejlepší pomocník. Teď jde jen o to, ten strach udržet a pokud možno zvětšit. Hoďte mezi lidi řeči! Některá hesla mne již napadla: tajné instrukce od Lenina; rozkazy provádět atentáty a republiku vyvrátit z kořene — to slovo ‚vyvrátit z kořene' si pamatujte, to je moc hezké; spojení s Němci, Maďary, židy a Habsburky; doprava zbraní; vraždy legionářů; už byli někteří bolševici chyceni se zlatými řetězy místo tkaniček v podvlékačkách, s dolary v dvojitých podrážkách, s brilanty v mazadle na boty — přemýšlejte sám, v tom se už vyznáte. Až se řeči rozšíří a obalí podrobnostmi, sbírejte je po hospodách a noste sem! Vůči novinářům strašně tajemně a jen v temných narážkách, ti sednou na lep jistě."

„Toť se ví, pane vrchní, ale já jsem si dnes myslel ještě něco jinýho. Že by bylo dobře napsat seznam osob, který mají bejt od bolševiků zavražděný. Už jsem si to sestavil a myslím, že jsem z hlaváčů nevynechal nikoho. Vědí, pane vrchní, strejci se pobláznějí, zvrtačejí celou republiku a máme vyhráno. Pak s těma pánama tam nahoře budeme moct kroutit *my* a jak *nám* se to bude šikovat."

Pan vrchní komisař Skřivánek dlouho přemýšlel a pak řekl:

„Poslouchejte, Caku, vy jste vlastně strašně chytrý chlap!"

Ale sebevědomí Eduarda Žáka bylo již opět tak vysoko, že mohl tuto lichotku odmítnout pokrčením ramene a stažením ústních koutků.

inslav

„Hlavní věc je," pravil, „aby člověk věděl co a jak, a oni mi to ondyno řekli."

„Co jsem vám řekl?"

„No, jak se to má ode dneška dělat."

„A jak?"

„No, vývojem!"

„Aha! Dobře!" vzpomněl si pan vrchní.

Revírní inspektor Žák měl ještě jednu otázku:

„Ty bolševiky jim mám přivést?"

„Ještě ne. Tak asi za čtrnáct dnů. Do té doby bude, myslím, situace zralá."

Přesně za čtrnáct dnů přivedl Eduard Žák bolševiky. Ale za několik hodin přišel rozkaz, aby je zas pustil. A tehdy revírní inspektor už zas nabyl starého sebevědomí. Vletěl do úřadovny svého šéfa a oči mu svítily jako ohařovi, kterého nechtějí pustit se řemene za zvěří, a anglický vous byl naježen do vzteklého kartáče.

„Poslouchají, pane vrchní," křičel už ve dveřích, „na takovejhle vývoj se jim vytento!"

„Jó, pane Žák," pokrčil rameny vrchní komisař Skřivánek, „na takovéhle věci si budeme musit zvykat. Ten vývoj jste pochopil dobře, ale budete musit pochopit také tu humanitu... Ale," a pan vrchní přimhouřil levé oko, „...to nic, Caku, nic si z toho nedělejte! Všechno je v nejlepším pořádku. V nej—lep—ším pořádku! To vám říkám já. Všechno přijde. Dočkejte času! Vyhráli jsme to na celé frontě. Republika nás dva potřebuje stejně, jako nás potřeboval císař pán. Jsme nepostradatelní, Caku, a vaše strachy byla hloupá věc... A ještě vám něco řeknu, o čem teď již několik dnů přemýšlím: ti praví vládcové světa jsme vlastně my a dějiny a lidé pracují jen pro nás. Vlády vznikly a mizely, císařové umírali a my jsme zde zůstávali. Monarchie zahynula, my jsme ji přežili. Dynastická myšlenka byla vystřídána demokracií a humanitou a my jsme zde stále. Protože nás potřebuje každý, kdo chce panovat. Ale panujeme vlastně my, Caku! Vládli jsme monarchií, povládneme i republikou. Jen dočkat času, pane Žák, uvidíte!"

Pan vrchní Skřivánek se nemýlil.

Stará policajtská sláva se vrátila. Navrátila se v plné skvělosti a moci a slibovala kvést a růst nad všechny lidské pomysly.

inslav

Revírní inspektor Eduard Žák byl skeptikem a dlouho nevěřil. Ale *vrchní inspektor* Eduard Žák se stal optimistou, neboť prosinec roku 1920 ho přesvědčil dokonale. Vrchní inspektor Žák to byl, který vedl ozbrojený útok proti Lidovému domu, on to byl, který příštího dne, kryt sloupem elektrického vedení, vystřílel do zmítajícího sebou zástupu na Sněmovním náměstí všechny reservní patrony. A když bylo prostranství vyklizeno a na dlažbě se váleli jen ranění, vyšel z úkrytu, postavil se, zeširoka rozkročen, padesát kroků před svým mužstvem a rozhlédl se velkým půlkruhem.

„Nno!" řekl spokojeně a toto „nno!" znamenalo: jo, lidičky, proč jste mi to neřekli už před dvěma roky, co vlastně chcete a jak si to představujete?

A když pak v příštích dnech na policejním ředitelství zas rozdával rukonosky a řval zatčeným do obličejů: „A, ty uličníku, ty budeš pouštět krev?" cítil, že je zas docela šťasten a že mu se srdce spadla poslední slupka nedůvěry minulých měsíců. A tehdy také nabyl vřelého vztahu k humanitě. Pochopil, že je to jen nové slovo pro starou věc. Jen nové slovo pro starou touhu panovat a vzpomněl si na slova svého představeného, že pokud budou chtít lidé ovládat lidi, bude pánem on, vrchní inspektor Eduard Žák. Uvědomil si, že se humanity nejen netřeba bát, ale že ji možno milovat stejně tak, jako kdysi Rakousko a císaře pána. Tehdy se stal humanistou. Nadšeným a oddaným.

„Vývoj musí bejt," hájil večer v hospodě své přesvědčení, „a kdo je proti humanitě, takovýmu uličníkovi jednu vrazím, že mu v doplrajích vyletějí zuby."

A od těch dob si zas nechal růst svůj mohutný knír, podbíraný až s brady.

Dějiny jsou spravedlivé a osud odměňuje muže tak opravdové, jako je Eduard Žák. V těchto dnech se vrátil domů v plné parádě a jeho tvář zářila zrovna tak jako knoflíky jeho uniformy. Dal si ho představit pan ministr vnitra a právě se vracel od něho. Řekl manželce:

„Stará, stanu se *policejním radou*. Pan ministr mně řek: ‚Nepotřebujeme teď politiky, potřebujeme odborníky. Sloužil jste věrně Rakousku, a to je nám zárukou, že budete věrně sloužit taky nám...' To se vr, že budu, himl, to víš." A policejní rada se udeřil do prsou. „Budu přeloženej do Košic a budu tam drátovat

inslav

kejháky podvratnejm živlům. Pan ministr mně řek, osvědčím-li se, že budu jmenovanej županem v Přikarpatský Rusi. Budeš velkomožnou paní županovou. Tam si zas můžeš pořádat svý anglický tance."

„Antický," poučila ho paní radová.

„No, to je fuk!"

Starý učitel se zkrátka mýlil. Oběšení Eduarda Žáka bylo prozatím ještě odloženo.

1921

ANNA PROLETAŘKA

В 1920 г. происходит раскол социал-демократической партии на правое и левое крыло. Использовав борьбу левых и правых социал-демократов за Народный дом, где помещался центральный аппарат партии, правительство буржуазной республики начало репрессии против рабочего движения и левой социал-демократии. В ответ на это по всей стране прокатилась волна стачек протеста, было много вооруженных столкновений с войсками и полицией.

События 1920 г. поставили задачу немедленного создания компартии, которая и была организована в 1921 г.

Один из главных героев романа — Тоник Кроусский — активный деятель левого крыла социал-демократической партии, участвует в борьбе за Народный дом. Приведенный отрывок, завершающий роман, рисует, как в эти грозные дни пробуждается политическое сознание жены Тоника — Анны. Простая крестьянская девушка, бывшая служанка в доме архитектора-миллионера Рубеша, она понимает, что ее место среди восставшего народа — с ним неразрывно связана ее судьба, ее счастье. Анна выходит на улицу и присоединяется к бастующим рабочим.

...Anna nakrmila dítě a chodila s ním po pokojíku, aby je uspala. Anna se domnívala, že na pochodu devíti kroků tam a zpět mezi oknem a vyvrácenými kuchyňskými dveřmi se rozhoduje a rozhodla, ale pravda to nebylo, a její kroky příliš rychlé a pohazování nemluvněte na lokti příliš netrpělivé ji usvědčovaly, že bylo rozhodnuto už od prvopočátku. Položila spící dítě do košíka a rychle se oblékla. Snídani nevařila. Toník šel také bez ní. Šla k sousedce.

„Paní Činčvarová," řekla jí. „Vláďa spí, prosím vás, kdyby plakal, podívejte se tam!"

Božena a tercián odtahovali z kuchyně slamníky, aby je v pokoji zastlali do postelí slečen.

inslav

„Dělej, dělej," křičela matka na chlapce, „nebo přijdeš pozdě do školy!" A mrzutě se obrátila na Annu: „Kam jdete?"

Úkosem se na ni podívala. Ne nepřátelsky. Leč Anna nevěděla, kam má jít. Zeptala se:

„Kam šli?"

„Nevím. Snad na Staroměstské. Alespoň můj ráno něco takového povídal. Rudé právo dnes nevyšlo. Ale vydali prý nějaký leták, jenže ho tady v trafikách nikdo nemá. A co vy chcete na Staroměstském?"

„Za Toníkem."

„Dejte mi klíč," hodila Činčvarová mrzutě bradou, „kdyby dítě křičelo, vezmu je sem!"

Anna šla.

K ránu napadl na Jeseniovu ulici sníh, ale nemrzlo, a dlouho se neudrží. Anna spěchala k městu. Leták Rudého práva dostala až ve čtvrté ulici.

DĚLNICTVU REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

Tak stálo v čele letáku a již tyto písmeny, velké a černé, naplnily Annino nitro vědomím vážnosti chvíle.

ODPOVÍME GENERÁLNÍ STÁVKOU!

Anně bušilo srdce. Mezi prolitou dělnickou krví byla také krev Toníkova. Její horečné oči letěly provoláním výkonného výboru až na konec.

Na toto násilí odpovězte protestem mimořádně silným: Vyhlaste všeobecnou protestní stávku ve všech částech republiky!

Anna věděla, co je to generální stávka. Srdce jí bilo údery kladiv.

Vskočila do elektriky a jela na Staroměstské náměstí. Ve voze čtli lidé noviny. Ale mluvili méně než jindy a jejich mlčení a čela, skloněná nad papírem, vyjadřovala napětí dne. Úředníci, jedoucí ráno do kanceláří, poučovaní již týdny svými časopisy, že v Praze chystají komunisté krveprolití, zaraženě si půjčovali leták Rudého práva a myslili na králičí kožíšky, které chtěli koupit k vánocům dětem, a na americká kamna pro ženu, sleví-li jim obchodník z měsíčních splátek ještě padesát korun. Když jeli vnitř-

inslav

ním městem, Anna neodvracela oči od okna, uvidí-li dělnické zástupy nebo alespoň hloučky, které by jí ukázaly směr. Ale nebyly nikde. Dojeli na Staroměstské náměstí. Bylo prázdné. Vystoupila tam přec. Na chodnících a v jízdní dráze sníh rozbředl již v bláto, jen Jan Hus měl na hlavě bílý poprašek a husitští bojovníci na ramenou ještě sníh. Sychravý den připomínal popravčí lešení.

Odtamtud šla ke sněmovně. Ale také tam bylo pusto, ticho a zima.

Kde je Toník? A kde ho má hledat? Zmocňoval se jí neklid. Zdálo se jí, že již kdysi v životě, někdy dávno, velmi dávno, stála takto na ulici bezradná a nevědoucí kam se obrátit.

Překvapil ji veselý ženský hlas:

„Vy jste Andula z Pelhřimova, že ano?!"

Před ní stála krásná, štíhlá dáma v silskinovém kožiše, přívětivě se usmívala a oči jí hrály.

„Slečna Dadlinka!" řekla překvapeně Anna.

A v tom okamžiku již věděla, kdy takhle bezradná, dávno, neuvěřitelně dávno, stála na ulici. „Přiveďte mi Rudiho!" řekla jí tenkrát slečna. „Nebude-li tam, jděte tam a pak jděte ještě tam a tam a tam...!" Ale kde bude dnes Anna hledat Toníka?

„Jak se máte, Andulo?"

„Děkuji, slečinko, dobře."

„Nejsem už slečna. Nečtla jste to v novinách?"

„Ne."

„Můj muž je pan doktor Urban, ředitel Živnostenské banky."

Paní Dadla se usmívala a v koutcích očí jí seděla veselost. Jako by v příští chvíli měla říci: Nechceš tabulku čokolády, Andulo? Ale řekla něco jiného:

„Zná dokonce vašeho muže. Váš muž je komunista?"

„Ano."

„No, vždyť já vím!" usmála se Dadlinka příjemnou vzpomínkou.

Dívala se chvíli na Annu, prohlížejíc si ji s vlídným zájmem, který byl Anně nepříjemný.

„Nevypadáte dobře. U nás jste vyhlížela lépe. Máte rodinu?"

„Ano."

„Ale teď jděte domů, Andulo!" řekla Dadlinka s velitelskou samozřejmostí, kterou Anna tak dobře znala.

V Anniných očích byla otázka.

inslav

„Jen jděte!“ poroučela paní ředitelová, neodkládajíc se rtů úsměv. „A držte si muže! Budou do vás dnes střílet.“

„Ježíši Kriste!“ vykřikla v Anně zoufale její vesnice a Anniny dlaně se vznesly ke skráním. Její vyděšené oči hleděly úzkostlivě ve tvář krásné paní... Kde najde Toníka?!

Ale jak na ni Anna hleděla, upřeně a vytrvale, počala se krásná paní ponenáhlu měnit. A už zde nestála slečna Dadlinka s velitelskými pohyby, se smíchem na rtech a v ruce s tabulkou čokolády. Té už dávno nebylo. Nestála tu ani vlídná paní, varující Annu i za cenu zrady vlastního tábora. Před Annou v sychravém vzduchu prosincového dne stála zlá tvář třídního nepřítele. Jen příliš zhýčkaného, aby dovedl vzít pušku a jít střílet sám, jen příliš zbabělého, aby si i v této krvavé chvíli nezahrál na laskavého přítele a rádce. Ale je to právě tento lehounký silskinový kožich s podšívkou z višňového hedvábí, pro který dnes budou do Toníka střílet! Jsou to právě tyto šampaňské střevíčky a hedvábné punčošky, pro něž se dnes bude vraždit! Je to právě tato půvabná čapka a americké rukavice a kytička z pestrého hedvábí na prsou paní bankovní ředitelky, pro které tekla již včera dělnická krev! Anninou hlavou se mihla dávno zapomenutá představa utýrané zednické ženy, házející paní stavitelové k nohám milodar Českého srdce. Anně se zdálo, že oči paní Dadly jsou zlé a úsměv posupný.

A tehdy se počaly měnit také modré oči Anniny. Zmizela z nich úzkost a zmizel z nich strach a také ony tvrdly a stávaly se ohnivými. Ruce od skrání klesly. A Anna, plavá služtička, zde stála vzpřímena a velká. A její ústa, prve rozpačitá, teď pravila přísně a nepřátelsky:

„Budete do nás střílet?! My do vás také, paní!“ A oči jí zaplanuly.

Obrátila se a šla.

Už věděla, kam má jít. Ne za Toníkem. Mezi své! Tam je také Toník. Jedno, zda jí po boku či kdesi za zdmi domů a za uličními bloky. Mezi svými! Mezi těmi, kdož jí dali milence a muže, domov a dítě, kdo s ní byli vždy, kdykoli jí bylo zle.

Do Kolbenky půjde!

Šla pevnými kroky ke stanici elektrické dráhy, nestarajíc se o elegantní paní na chodníku, zrudlou hněvem a sršící uhlíky z očí nad nevděkem, nad urážkou, nad drzostí, nad neslýchanou pro-

inslav

letářskou nestydatostí, s jakou se ta služka chovala k ní, dámě, která z ryzí dobroty srdce a přes slib mlčenlivosti, daný manželu, chtěla zachránit jí a jejímu muži to nejdražší, co člověk má: život.

„Mrcho!“ zasípěla za ní paní Dadla.

Anna jela do Kolbenky. Nebyla v ní již bázeň, nebyla v ní úzkost a její srdce bylo odhodlané.

Na rozhraní vnitřní Prahy a Karlína spatřila dělnický průvod. Uviděla jej už zdaleka, jak se jím na obzoru začernala ulice.

Srdce jí zabušilo radostí a vzrušením.

Ano! To jsou oni! *Soudruzi!*

Anna vyskočila z jedoucího vozu, ve kterém měšťáci vstávali s lavice a nakláněli hlavy k oknům.

Soudruzi jdou. Blíží se.

To pochoduje ulicí za rudým praporem proletářský Žižkov. A s Žižkovem Karlín a Libeň a Holešovice a Vysočany. Tisícihlavá masa, valící se městem. Přísná a mlčenlivá. Černý bojovný zástup, který ze svých bran vychrlily tkalcovny a přádelny, mlýny, pekárny, truhlárny a pily, uhelná skladiště a dřevařské ohrady, slévárny, vagonky, soustružny, chemické závody, nádraží a dopravnické domy. Dělníci. Proletariát. Vykořisťovaní, a přece nad živly silnější strašlivým sebevědomím pánů světa. Tisíckrát odražení a na hlavu potření, tisíckráte zkrvavení, a přec znovu jdoucí do útoku s jistotou vítězství. Všichni ti, které v prosincový den spojila myšlenka nového řádu a rudý prapor před nimi. Zástup táhne šíří ulice a ta se pod jeho nohama vlní jako rozhoupaný most. Nad hlavami zástupu se chví světlo.

Den a svět nabyly nové tvářnosti.

Vstříc průvodu běží žena. Anna, plavá proletářka.

„Je tu Kolbenka?“ volá.

„Je,“ odpovídá jí kdosi.

Anna ustupuje ke zdi, zástup plyne kolem ní, tisíce hlav ji míjí a ona hledá očima.

Vybíhá k ní mladý chlapec.

„Anno!“ A tiskne jí radostně ruku. Oči mu září. „Ty?!“ Jarda Jandák. Je to po prvé, co ji oslovil jménem.

„Jarouši!“

Splynuli se zástupem a zástup je pojal v sebe.

„Kde je Toník?“

inslav

„Vyslali jsme ho s několika soudruhy napřed. Ve sněmovně zasedá od rána výkonný výbor strany. Jdeme před sněmovnu."

Tisícihlavá masa pochoduje městem a budovy zní ohlasem jejích kroků. Na střechách domů leží sníh. Obchodníci stahují drnčící žaluzie.

Zástup dospívá na Staroměstské náměstí. Blízkostí mety se ohřívá jeho krev. Jeho krev, která jest jedinou řekou. A blízkostí mety tep jeho žil se zrychluje. Jeho žilobití, které jest jediným bubnováním v jediném rytmu. A hlavy tisíců se jako jediná hlava vznášejí výš. Krok zní dunivěji. Z tisíců hrdel zní:

Pryč s tyrany a zrádci všemi!
Nechť zhyne starý, podlý svět!

Dělnická hymna, teď vyhrocená co výboj, burácí strašlivým, výhružným chorálem. Otřásá se jí pět set let staré zdivo Staroměstského náměstí, odrážejí ji gotické pavlány radnice a kvádry Týnského chrámu a píseň, zmnohonásobená hlasem jejich dějin, letí po věžích vzhůru a tryská pak s hrotů jejich křížů k mračnům, kde se promění v bouři, z níž vyšlehnou blesky.

Krev naše prolévána katy,
my oplýváme slzami.
Však přijde jednou den odplaty!
A potom budem soudit my!

Rudý prapor zahýbá kolem Mikulášského kostela. Ale daleko vzadu, v Celetné ulici, doznívá ještě zpěv: „. . .je na něm robotníků krev."

„Soudružko!" zatahal někdo nesměle Annu za rukáv. „Tvůj muž tu není? Kde je?"

Anna neznala toho hubeného mužíka s brejlemi, ale byl jí podezřelý. Chtěla na něho upozornit Jardu, ale vystihl to a ztratil se do zadních řad. Čtvrt minuty po tom ho Anna viděla vycházet z průvodu a mizet rychlými kroky v postranní ulici.

Zástup táhne Kaprovou ulicí.

Pět set kroků odtud se koná dělnický tábor. Před sněmovnou, na náměstí s kruhovitým záhonem, teď pokrytým sněhovým popraškem, kde před necelými dvěma hodinami mluvila Anna s paní Dadlou. Náměstí je naplněno jen dopola. Jsou tu smíchovské to-

inslav

várny, které sem přitáhly přes most s druhého břehu Vltavy. V těchto končinách je průmyslových závodů jen málo a hlavní kádr teprve táhne z dělnických čtvrtí, od Žižkova, Libně a Karlína. Teď je pět set kroků odtud, v Kaprové ulici.

Se schodiště sněmovny se řeční. Mluví stařeček Šturc, prošlý všemi dělnickými boji a mnoha kriminály, v dvaašedesáti letech stejně ohnivý revolucionář, jako byl v dvaceti.

„Jenerální stávka! To může být jediná odpověď dělnictva na včerejší krveprolití!"

Tábor mu bouří vstříc souhlasem.

Uvnitř sněmovny, v místnostech poslaneckého klubu, zasedá výkonný výbor strany. Ale je tu také ozbrojená moc. Ve sněmovním podjezdu, pod kvádrovým loubím s ozdobou dvou kamenných lvů, stojí v plné zbroji šik četnictva. A na východní straně náměstí se seřadila policie a v klidném postoji čeká. K jejímu veliteli přistupuje drobný člověk v brejlích, cosi mu hlásí a rychlými kroky odchází.

Teď přejela táborem na náměstí vlna. Jemná a sotva znatelná. Značí očekávání. Napjaté poslouchání... Od Staroměstského náměstí sem zaznívá zpěv?...

Řečník pronáší se schodiště významná slova. Ale padají do sychravého vzduchu a ztrácejí se v něm, nedosáhnuvše lidských hlav.

Ano, ano, z Kaprové ulice zní zpěv!

Hlavy všech se obracejí tam.

Kaprová ulice hřmí zpěvem!

Kaprová ulice burácí dělnickou písní!!!

A teď se rozčernala v celé své šíři. Pochoduje sem proletariát Velké Prahy! Nad jeho hlavami vlaje rudý prapor! Jásavě bojovná rudost nad tisíci hlavami! Huráá! Je to veliká chvíle.

Praporečník sevřel žerď pevněji v rukou a pozdvihl výše. Látka je napjata celou plochou a popleskává o vítr. Přední řady zrychlily krok. Také Anna a Jarda. Ti se cestou protlačili až k praporečníkovi.

Posluchači na náměstí opouštějí řečníka a rozbíhají se vstříc pražským soudruhům.

Ale v té chvíli vyráží také policie. Vyskakuje z úkrytu domů a rozvíjí se v řetěz. Běží poklusem proti průvodu a v rukou svírá obušky. Jejím úmyslem je zřejmě zabránit spojení obou zástupů.

inslav

Ale policie vyrazila o pět vteřin pozdě. Má v zádech davy běžící z náměstí, před sebou vpřed se řítící zástupy z Kaprové ulice. Ještě vteřinu a je sevřena mezi dvěma zdmi lidských těl. Tváře jsou vzdáleny jen na píď. Masa sebou zmítá. Zahřmí první výkřiky. První údery loktů a pěstí. Na hlavy dopadají první rány. Mihnou obušky a hole. Odkud si přiletěl kus cihly a strážník se oběma rukama chápe za tvář. Rozpoutává se řež.

A najednou: *Pok!... Pok!...* A: *Pok!... pok! pok!*

To policie vytrhla revolvery a střílí.

Pok!... Pok!... pok!... pok! pok! pok! pok!

Ale nezní to nijak, jako by se toho měl člověk bát. Spíše jako nějaký nevážný žert. Nenahání to strach ani Anně.

Pok! pok! pok!

Snad střílejí také naši.

Pok pok pok pok...

Rudý prapor se nějak podivně zakymácel. Teď padá malátně k zemi. Také praporečník padá k zemi.

K praporu přiskakuje Jarda Jandák a zdvíhá jej vysoko. „Huráá!“ řve a oči má vytřeštěné.

Strážník mu střílí ze vzdálenosti půl kroku přímo do obličeje. Zsinalého drží ještě okamžik stlačená masa. Pak se student kácí. Tváří do rozmoklého sněhu.

Anna je zástupem vrhána dopředu. Je odrážena vzad. A kamsi nesena. A znova házena vpřed.

V jedné chvíli vidí, jak zpod kamenného loubí vyrážejí četníci a ženou se s napřaženými bajonety náměstím. Snaží se rozdělit masy a část zatlačit na most. Je tam bitka. Také tam se střílí. Bílá plocha vyklizovaného náměstí se brzy rozšiřuje, brzy je menší. Válejí se tam ve sněhu ranění. Ale Anna nepociťuje strach. Má dojem něčeho neskutečného a vzdáleného.

Zas je unášena.

A teď je v ústí postranní ulice uprostřed shluku lidí. Je tu již volněji. Za jejími zády zní dusot a křik. Zase zaprasklo několik výstřelů.

„Tudy se tam nedostaneme!“ křičí někdo vedle ní. „Přes most Legií na druhou stranu!“

Shluk lidí se žene prázdnými ulicemi. Anna s ním. Pak unaveni již jen kráčejí. Netečným městem a kolem lidí, kteří ještě nic

inslav

nevědí. Ale jdou s čely vpřed nakloněnými a s obočím svraštělým nad ohnivýma očima. Jako vojáci na posice.

Přešli rychlými kroky most a spěchají po druhém břehu zpět ke sněmovně.

Ulice je zatarasena. Zatarasena zástupem lidí, vířících se kolem tří zastavených vozů elektrické dráhy. To jsou soudruzi, které četnictvo zatlačilo od sněmovny na most. Vypjali kladky a vyvlékají z vozů pobledlé policejní strážníky, kteří se tudy chtěli dostat vzad dělnických zástupů. Rvou jim jejich obušky, smýkají a bijí dělnickými ranami. Stráž se nepokouší ani o obranu. Chrání si jen oči, a může-li, utíká. Po zemi se válejí přilby. A ti, kdož sem teď úprkem běží, ti, v jichž středu je také Anna, chytají prchající a vrhají je o stěny domů.

Anna se zastavuje uprostřed ulice.

„Toníku! Soudruhu Toníku!"

Rozpřahuje náručí.

Toník drží za prsa malého mužíka v brejlích, který vypadá jako špatně placený písař. Odhazuje ho. Ledabyle, jako by mu bylo odporné použít proti této nečistotě své kovodělnické síly.

„Soudružko Anno!"

Běží jí vstříc.

Odkudsi se Smíchova zní střelba. Hlučnější než ona policejních pistolí a soustředěnější. Snad vojenská.

„U Ringhofferů se střílí!" křičí kdosi.

Zástup se žene tam.

Vpředu Toník a Anna. Běží a jejich kroky duní ulicí.

Dopředu! Dopředu!

Běží a jejich ramena se dotýkají.

Dopředu! Dopředu!

Daleko, daleko je Annina vesnice s plechovou holubicí ulétající se střechy do světa, s mateřídouškovými mezemi a topoly V končinách. Daleko, daleko je Rubešova kuchyně a růžový pokojík slečny Dadly. Až na druhém konci města je Jeseniova ulice.

Kupředu!

Kupředu, kupředu, Toníku a Anno!

1928

inslav

NIKOLA ŠUHAJ LOUPEŽNIK

Oleksa Dovbuš[1]

Zbojníci! Černí chlapci!

Přeje-li jim velmi doba a junácké štěstí, zakládají panovnické dynastie, ale mnohem častěji se jejich těla kývají na šibenicích a nejčastěji končí s hlavou v mechu, v krvavé kaluži, zasaženi ranou zezadu. Ale údělem těch jest pak sláva větší slávy královské. Neboť ti padlí, to byli jedni z nich: z lidí těchto hor. Právě proto, že neodešli do cizoty vládců, právě proto, že nezanechali dynastie. Vzali na sebe utrpení a břímě všech a dokázali to, čeho se lidé těchto hor nikdy neodvážili a po čem přece tak horoucně touží: mstit křivdy, zabíjet pány, brát jim naloupené jmění, a to, které není k užitku, ničit ohněm a železem, na radost, na pomstu, na výstrahu budoucnosti a ze strachu před ní. Jsou dětmi jejich snů. Jich, kteří se nikdy v dějinách neodvážili vzpoury a kterým se nikdy nedostalo štěstí pomsty hromadné.

Hle, tamten plochý balvan býval hodovním stolem Oleksy Dovbuše. U této studnice se scházel se svými černými chlapci. Pod touto staletou jedlí se dělívali o poklady, tam tančívali divoký arkan, držíce se v řadě kolem šíjí, zpívajíce, podřepujíce a tepouce patami zemi. Tudy táhl na panský zámek, aby jej vypálil, když dříve vylákal posádku jinam. Zde stávala krčma, kde navštívil židovskou svatbu a odešel s měchy peněz a šperků. V tuto stranu leží třikrát prokletá ves Kosmače, kde žila jeho zrádná milenka Dzvinka, a tam Černá Hora, kde jest pochován uprostřed svých pokladů.

Není pravda, co si o něm vymyslili páni. Není pravda, co je o něm psáno v knihách jen proto, aby byla zastíněna jeho sláva.

Oleksa Dovbuš nežil v polovici osmnáctého století, za zmatků v Polsku, kde bojoval August se Stanislavem Leščinským, po požáru povstání Rákóczyho v Uhrách, za těžkých vnitřních sporů v Rumunsku, které vedlo válku s Ruskem; neloupežničil sedm let v kraji, hemžícím se zběhy z vojsk Rákóczyho, Gieniavského a Golce, v horách plných sedláků, uprchlých z gruntů pana Josefa Potockého a odhodlaných jíti raději na šibenici, než snášeti týrání nejrůznější soldatesky a odírání knížecími podstarosty a atamany. A dokonce není pravda, že byl zastřelen ve vsi Kosmačích Štěpánem Dzvinkou, když na něm přišel pro svého druha násilím vy-

inslav

máhati věno. A rok 1745 jest pustá panská číslice. Oleksa Dovbuš nežil v žádném čase. Žil před tisíciletími, žil před staletími, žije dnes, bude žíti zítra. Neboť Oleksa Dovbuš není člověk. Oleksa Dovbuš jest národ. Oleksa Dovbuš jest šlehnutí pomsty a divoká touha po spravedlnosti.

Jak to tedy bylo s Oleksou Dovbuščukem?

Takhle to bylo:

Byl to slabý ovčák, chudý, mrzáček a hlupák. Neboť — aby bylo užito slov kazatelů a vykladačů Písma — mělo býti ukázáno, že každý z nás, bojácných, pokorných a chudých, může vykonati velké skutky, chce-li bůh. Dovbuš si za všechny peníze, které vypásl, koupil bambitku, a napadaje na jednu nohu, toulal se po vesnicích, pro smích a radost dětem, které za ním běhaly, a byl-li kdo mezi pasáky bit, byl to on. Lidé ho měli za nic.

Ale pán bůh ho odměnil velkou silou. Za Tisou, na Černé Hoře, stojí hora Kedrovatý a pod ní je velká propast, nad kterou ční skála. Tam bydlil čert. A ten se vysmíval bohu. Sedí na skále a rouhá se. Bůh po něm bleskem. Ale čert do díry, hrom uhodí do skály a roztříští kus kamene. A čert zase vylézá a opět se vysmívá. Pán bůh zase po něm. A nečistý zase zmizí v díře. Tak s pánem bohem žertoval dlouho. Jednou se na tu hru díval Dovbuš. Postavil se zády k blýskavici, namířil na ďábla a střelil do něho. Čert spadl do propasti, zabořil se hlavou hluboko do země a zůstal po něm jen oblak dýmu. Nad Dovbušem stál archanděl Gabriel. „Velmi ses zasložil před bohem, že jsi shladil se světa ďábla. Co za to od boha chceš?“ Dovbuš se zamyslil. „Lidé mě mají za nic a přál bych si dokázati jim, že něco dovedu a že se jim mohu stát užitečným. Nechť mi bůh dá takovou sílu, jaké ve světě není, abych mohl zvítězit nad nepřáteli a trestat křivdy, nechť mi dá, aby mě nikdo nepřemohl a aby se mne netkla žádná střela.“ A když se vrátil k ostatním pasákům a oni se mu opět vysmívali a chtěli ho bít, házel jimi jako kamením.

Od těch dob se stal Oleksa Dovbuš vůdcem. Stál za pravdou a trestal lidskou křivdu. Byl krutý k pánům, k lidem byl milosrdný a laskavý. Bohatým bral a chudým dával. S padesáti černými chlapci, které kolem sebe shromáždil, vypaloval zámky zlých pánů a domy jejich úředníků. Přepadal židovské obchody, bral pro sebe a chlapce pálenku a ostatní vyléval; vyhazoval na ulici zástavy, aby si každý mohl vzít, co bylo jeho. Jednou napadl panský dvůr v Bohorod-

inslav

čanech a odnesl odtamtud pytle ryzích dukátů. Naložil je na záda chlapcům, vzal svůj toporec, hůl se sekerkou, o kterou se opíral, a proťal jím pytle. Kudy šli, trousili zlaťaky a chudí lidé se sbíhali a dukáty sbírali. Páni a Židé se stali lepšími, neboť se ho báli.

Bydlil na Kedrovatém. Tam mu jeho chlapci vytesali ve skále stolec; na něm seděl a poroučel odtud lidu. Podnikal nájezdy až do Rumunska a Turecka, kde bral nekřtěným peníze a nosil na Kedrovatý. Kdo potřeboval a přišel k němu, dostal. Co nerozdal, schovával do druhé skály. Rozkázal chlapcům, aby tu skálu zamkli tak, aby ji nikdo nikdy neotevřel, a oni tak učinili. Teď stavějí lidé železnice a vyhazují do povětří celé hory, ale té skály ani neotevřou, ani nerozbijí. Je tam zlato, stříbro, drahé kamení, zbraně olejem namazané, a kdyby se Kedrovatý otevřel, svítily by ty poklady tak, že by oslnily celý svět. Ale čekají na nového Dovbuše, který přijde. Neboť v Brazách zakopal Oleksa před smrtí svůj kris hluboko do země. Ten se pohybuje každého roku o makové zrnečko vzhůru k zemskému povrchu a až se na slunci objeví celý, vzejde světu nový Oleksa Dovbuš, radost lidí a hrůza pánů, bojovník za pravdu a mstitel křivd.

Všechna vojska, která byla proti Dovbušovi poslána, rozháněl jako hejna ptáků. Dověděl se císař pán, že žije takový člověk, kterého žádná síla neubije, a vzkázal mu, aby přišel do Vídně, že s ním uzavře mír. Ale chtěl ho oklamat, a když se Dovbuš blížil, poslal proti němu své vojsko, aby ho zabilo, a sám se vyložil z okna, aby se díval. Ale všechny střely se od Dovbuše odrážely zpět na vojáky a zabíjely je. Tehdy císař rozkázal střelbu ihned zastavit a s Dovbušem se smířil. Dal mu svobodně bojovat v celé zemi, jen jeho vojsk šetřit, a dal mu na to listiny s pečetěmi. Tři dny a tři noci Dovbuš hostil císaře a jeho dvůr.

Sedm let pak bojoval po krajině a pokud žil, bylo chudému lidu dobře.

Zničila ho žena, věčný nepřítel mužů, toto hanebné plemeno, pro něž se na světě děje tolik zlého. Rozněžnil se s ženou, zapomněl na svůj úkol a zahynul. Ach, čertovo plemeno zrádné! Jmenovala se Dzvinka, bydlila v Kosmačích a byla vdaná. V chvíli milování na něm vylákala tajemství a devětkrát se zapřisáhla bohem, že je nikomu neprozradí. Nezranitelný Dovbuš mohl býti zabit toliko stříbrnou kulí. Musila být skryta v misce jarní pšenice, která se o dvanácti velkých svátcích v roce podává kněži k svěce-

inslav

ní, a musilo nad ní býti dvanácti kněžími odslouženo dvanáct mší. Ale Dzvinka to řekla svému muži Štefanovi.

Jde Dovbuš s černými chlapci dobývati kútského zámku. „Zítra musíme být časně na nohou, chlapci, dnes půjdeme záhy spat. Stavíme se v Kosmačích. Navštívíme Dzvinku." „Oleksíku, tatíčku náš, nechoď do Kosmač, měli jsme zlý sen." „Chlapci, junáci mí, jak jste bláhoví! Nabijte si každý dvě kule, zůstaňte pod horou a já se půjdu zeptat, dá-li nám Dzvinka večeři."

Přišel pod její okno. V okně večerní slunce. „Spíš nebo bdíš, kmotřičko, a večeří nás pohostíš?" ‚Nespím, poslouchám, večeři připravuji, a bude to slavná večeře a všichni lidé se jí podiví,' myslí si Dzvinka. „Spíš nebo bdíš, srdce moje, a Dovbušovi nocleh dáš?" „Oj, nespím, poslouchám, ale zbojníkovi nocleh nedám. Štefan není doma a večeře není hotova." „Otevři mi, nebo chceš, abych vyvrátil dveře, čubko?" „Nechci, abys vyvrátil dveře, ale otevřít ti nepůjdu." Rozzlobil se Dovbuš. Nalehl na dveře. A Štefan v podstřešku nabíjí pušku stříbrnou kulí. Dveře praští, zámky povolují. Ustrašená Dzvinka šeptá skulinou Dovbušovi: „Oleksíku, duše moje, nechoď, nečiním to z vlastní vůle, na půdě v komoře číhá Štefan." Dveře se naklánějí dovnitř. Štefan seshora střílí stříbrnou kulí. Mířil na srdce. Zasáhl pravé plece. Ale také z levé strany tryská krev.

Dovbuš leží v krvi před chýší. Chlapci daleko. „Och, ty Štefane, pro čubku jsi mě zabil!" A Štefan z podkroví odpovídá: „Neměl ses s ní milovat, neměl jsi jí svěřovat pravdu. U čubky jest tolik víry jako na běžící vodě pěny."

Kde jsou jeho chlapci, jeho junáci? Křikne-li, nedokřikne, hvízdne-li, nedohvízdne. Ale křikl, dokřikl, hvízdl, dohvízdl. A chlapci se přihnali jako stádo beranů. „Oleksíčku, tatíčku náš, proč jsi nás neposlechl? Dovbuščíku náš, proč jsi ji nezabil?" „Jak bych ji byl mohl zabíti, když ji tak velice miluji? Jděte a zeptejte se jí, zda i ona mě miluje." A Dzvinka pláče: „Kdybych ho nemilovala, bíle bych se nestrojila. Bíle bych se nestrojila a nezdobila se zlatem a stříbrem." „Oj, vy chlapci, junáci moji, těžko mi je. Odneste mě odtud. Položte mě pod buk, ať se s vámi rozloučím a zemru po zbojnicku."

Složili ho pod stříbrným bukem. „Oleksíku, tatíčku náš, máme čubku ubít nebo zastřelit?" „Neubíjejte a nestřílejte. Chýši zapalte, ale jí neubližujte!" A chlapci naříkají: „Oleksíku, tatíčku

inslav

náš, kam se podějeme bez tebe, jak budeme trávit svůj mladý věk, jak dobývat zámků? Poraď nám: máme jíti do Uher či do Rumunska?" „Nechoďte, chlapci, zbojničit, jděte domů hospodařit. Máte tři hroudy zlata. Za jednu mě pochovejte, druhou dejte čubce, o třetí se rozdělte. Zanechte toporců a neprolévejte lidskou krev. Lidská krev není voda a nesluší se prolévat ji. Nebudete již choditi světem, nebudete zbojničit, nedovedete to a vůdce nemáte. Chlapci, junáci mí, vezměte mě na toporce a doneste mě na Černou Horu, tu jsem miloval, tam chci i zemřít. Na Kedrovatém stojí dvě jedle, to jsou mé sestřičky, stojí tam dva javory a to jsou mí bratři. Tam mě pochovejte!"

Donesli ho na toporcích na Černou Horu. Tam zemřel a tam jest pohřben: v stínu divokých skal, na neznámém místě, uprostřed pokladů, které kdyby se odkryly, oslnily by svět.

Bůh miluje Dovbuše. A oslavil ho i po smrti:

Ne dříve, ne později, nýbrž právě v den, kdy po prvé v roce vnikne stínem skal na jeho hrob první sluneční paprsek a dotkne se jeho srdce, vzchází světu velkonoční neděle, největší svátek všech křesťanských duší.

O dusnu, které se nad Koločavou sneslo v den četníkova pohřbu, ostatní Verchovina nevěděla.

Znala jen, že Nikola Šuhaj žije. Že žije v lesích. Chlap v lese je jako ryba ve vodě; každý ví, že je tam, a nikdo neví, kde. V kalnatých hlubinách vody i lesa jest cosi tajemného, co dráždí myslivce, rybáře i ty, kdož jdou kolem.

Za měkkého slunce podzimních odpolední sedají před chýšemi ženy, za pásem zástěry mají na levém boku zatknutou hůlku s chomáčkem ovčí vlny, v pravici vrtí vřetenem, a sliníce spodním rtem levý palec, přadou silnou nit. Už si nevykládají o nejmilejší věci, v které si, bůhvíproč, snad vzpomínajíce starých božstev, snad bible, snad svých snů, tolik libují: o hadech. Již nevypravují o jejich lidských králích, kteří je dovedou hvízdnutím kdykoli zavolat a pouštět oběma rukávy svých kožichů; o zaklínání hadů na svátek Zvěstování, kdy všechna podzemní havěť vylézá na slunce; ani o blahobytu, který přinášejí chýši, v níž bydlí; ani o jejich pomstě na dětech, které se rodí s hadími hlavami a s šupinami na těle. Mluví o Oleksovi Dovbušovi, o Dovžovi, o Pinťovi; o tom, kterému panduři, když ho jali, přikládali na tělo rozžhavené dvacetní-

inslav

ky. A volají stařeny, které vědí, jak to bylo. Ty, kouříce z krátkých dýmek s hrotitými víčky a podobajíce se čarodějnicím, slézají s pecí, vycházejí přede dveře a vzpomínají.

A vypravují si o Nikolovi. O nezranitelném Nikolovi. O hrdinovi a statečném milenci. Je v horách. Četníci na něho pořádají výpravy, obkličují ho střeleckými řetězy, zasypávají ho kulkami, ale on stojí na lesním balvanu, a mávaje zelenou ratolístkou, odráží střely zpět a mizí, kde se mu zachce: snad ke svým pokladům kdesi v strži na Sucharu, do jeskyně nádhernější než všechny chrámy světa, kterou neznají ani jeho nejvěrnější přátelé a k níž se nepřibližuje jinak než s jeleními kopyty, přivázanými na opánky, aby nezanechal lidských stop. A zase křižuje krajinou, vystupuje na pošty, bohaté židy, kerony a pány: „Jsem Šuhaj!" Tato dvě slova stačí, aby se lidem rozklepala kolena, opotily dlaně a zotvíraly tobolky. Aby si dali nabít a položit se pak hezky v řadě do příkopu jako příčky poklopeného žebříku. Hohó! Slyšel kdy někdo na světě něco tak veselého! Chachachá!

Víte o té příhodě s baronem? Tam někde v Čechách žije pán, ten si najal zdejší honitbu a platí si dva hajné, aby mu hlídali jeleny. A najednou: medvěd je v revíru! Chudákovi Andrejovi Kolobiškovi zabil na Zapodrině koně. Jen tak tlapou mu dal a pak z něho vyžral jen mozek. Hajní začali na medvěda líčit malinovou šťávu. Pak ho odnaučovali shánět si potravu sám. Tak ho dostali až na paseku, kam si chodil pro maso. Však to známe: medvěd je potom tak tlustý a líný, že do něho můžeš mlátit klacky, bručí a cení zuby, ale od žrádla ho neodženeš. Ještě tam vyryli pro barona střelecký zákop, přikryli jej kládami, že by se tam artilerie neprostřílela, a telegrafovali: Račte prý přijet, milostpane, rána načisto jistá. Pánů přijely tři automobily, měli s sebou zásoby, víno, kotel na vaření, vypadalo to jako válečná výprava. Zde najali koně, asi osm chlapů a šli na medvěda; do hor, kde má baron loveckou boudu. Ale když docházejí nahoru a vidí skrze stromy boudu, myslí si: co je to? Na dveřích jako by se něco velkého červenalo. Zrychlují krok. Proboha, co je to? Vypadá to jako v řeznickém krámě. A pak už baron s hajnými běží. A najednou zůstávají leknutím stát. Medvěd! Na dveřích boudy je přibitý medvěd. Ale nahý! Již bez kůže. Nikola jim to stáhl, aby neměli práci. Chachá!

Marijku Ivanyšovou z Točky znáte? Ivanyšova chýše leží vysoko naproti Kamjonce. Byli již k večeru, Marijka se podívá

inslav

oknem: někdo k nim jde. Koho k nim může vésti cesta teď, pozdě již, aby mohl někam dojíti? Maria Panno, má pušku na rameni! Zavolala muže. Muž se polekal. Povídá: „Marijko, to je Nikolka!" Přišel, pozdravil: „Sláva Ježíši Kristu!" „Sláva na věky!" povídá Marijka, a to víte, duše je v ní maličká, a všichni stojí, dívají se na sebe, nemluví a Nikolka se jen usmívá. Ivanyš si konečně dodal odvahy: „A který vy jste, kmotříčku?" Nikolka se směje, až ukazuje bílé zuby: „Však vy víte, kmotře, který jsem!" A pak prý: „Položil jsem jelena, tamhle, pomozte mi ho odnosit, naložte ho do nějakých sudů do ropy nebo kus vyuďte, přijdu si někdy na něho." Přijde dvakrát, třikrát a dosti. A k Cilji Havejové chodil na Kalnovec na kance. A u Hafy Hurdzanové, když viděl, že není v chýši nic, ale pranic, rozdával dětem peníze. A německým kravařkám na Stiňaku nosí likéry a ovčáky na Stremenoši podílí cukrovím. Co Nikolkovi záleží na stovce? Co mu sejde na tisíci? Jde do své jeskyně a vezme si.

O Nikolkovi je možno vyprávět celý den. Neboť od Hoverly po Vihorlat není místo, kde by ho byl někdo určitě nepoznal. V přestrojení za chlapa, za pána, za myslivce, za kněze, za vojáka, za ženu. A byli-li lidé s příliš malou obrazotvorností, kteří ho nikdy nespatřili, jistě už slyšeli za šeřícího se podvečera zaznívat někde z okraje lesa sopilku, smutnou a tesknou, a to byla právě sopilka Nikolova, neboť nikdo neumí na pastýřskou píšťalu hrát tak krásně jako on. Také jemu jest někdy v lesích smutno. Stýská se mu po Eržice.

O Nikolovi jest možno vypravovat si ještě ve večerem zšeřené jizbě, když v peci rudě dohořívají buková polena a stařeny za komínem dokuřují v krátkých dýmkách tabák míchaný s ořešinovým listím. „Ej, děti, nezlobte, nemám již kukuřičnou kaši, poslouchá vás Nikola!" A děti na peci rozšiřují do tmy oči a Nikola se jim mění v postavu z pohádek a zády jim probíhá mrazík hrůzy a krásy. Snad opravdu poslouchá, co si o něm vypravují. Až ho jednou potkají, dá jim cukroví a hrst zlata.

Ale kdo jsou druhové Nikolovi?

V neděli již oblékají chlapi na cestu z horských chýší dolů do vesnice ovčí kožichy s dluhou srstí navrch a s rukávy přesahujícími daleko konce prstů. Seskupují se před kostelem v bílé, řasnaté hloučky, a pozdravivše se jménem Ježíšovým, hovoří o Šuhajovi. Neboť jaká radost slyšeti nové podrobnosti o oloupených

inslav

pánech, kteří je týrají obsílkami do Volového a Chustu a nechtějí jim zaplatit za cedulky, vydané Rumuny, o bohatých židech, jejichž peníze jim nepřinesly žádného požehnání. A jen ať Nikola střílí četníky, matčinu duši jim jejich, kteří je vodí v řetízcích do arestů, kradou jim po chýších vojenské pušky a staré předovky, pokutují je za každý kus dříví z lesa a za každého pstruha z potoka a jako čerti slídí v bramborách po tabákových sazenicích. Vidíte tamhle toho tlamatého chlapa v panských šatech a zeleném mysliveckém klobouku, který se tady před kostelem prochází a s nikým se nedruží? To je keron, parťák, dobytek a proklatý zloděj, který při smlouvách s podnikateli dělá partyky s dřevorubeckými mzdami, okrádá je na lístcích na dráhu a při společném nákupu potravin, negramotný chlap z chýše jako oni, ale který se tu teď naparuje s cigárem v hubě, tolikrát již roztlučené dřevorubeckými dlaněmi. Huňaté hloučky ovčích kožichů neobracejí po něm hlavu, otáčejí po něm toliko oči. Chachá, nějak zesmutněl, třebaže se tváří, jako by se nic nestalo. Nikola mu u Drahova sebral peníze, když si je nesl z Chustu.

Ale kdo z těch chlapů jsou druhové Nikolovi?

Jsou mezi nimi! Žehnají se spolu s ostatními před ikonostasem řeckým křízem a zpívají jako všichni: „Hospodi, pomiluj!“ Snad je denně potkávají a pozdravují se s nimi. Ale přece se stýkají s Nikolou a mívají tváře zahalené modrými šátky. Kdo to jsou a který z nich? A toto tajemství vzrušuje jako kalné hloubky vod a lesů nebo představa hadích králů...

1933

inslav

KAREL ČAPEK

КАРЕЛ ЧАПЕК

(1890—1938)

Широко известный чешский писатель Карел Чапек родился в местечке Мале Сватоневице в семье врача. Образование он получил в Пражском университете и за границей.

Творческий путь Чапека был сложен и противоречив. Писатель долгое время находился под влиянием идеалистической философии индивидуализма и прагматизма, что в значительной мере затрудняло его идейный и творческий рост.

Начало литературной деятельности Чапека относится к 10-м годам нашего века. Его ранние рассказы несут на себе явные следы различных философских увлечений (сборники новелл «Распятие» — „Boží muka", 1917 и «Мучительные рассказы» — „Trapné povídky", 1917). Вместе с тем Чапек остро ощущал уродливость капиталистической системы. В драме «РУР» („RUR", 1920), романе «Фабрика абсолюта» („Továrna na absolutno", 1922) писатель сатирически изобразил капиталистическое производство, порождающее кризисные потрясения и преграждающее путь прогрессу. Однако, поднявшись до резкой критики капиталистической действительности, Чапек не видел конкретных путей изменения этой действительности,

inslav

был далек от революционных выводов. Это противоречие сказалось и в путевых записках Чапека, из которых наиболее известны «Английские письма» („Anglické listy", 1924) и «Путешествие на Север» („Cesta na Sever", 1936).

В конце 20-х — начале 30-х гг. Чапек пишет мало; произведения этого периода лишены больших художественных обобщений.

Наиболее значительные и известные произведения писателя созданы в 1936—38 гг. и связаны с участием Чапека в антифашистском движении. Его известный антифашистский роман «Война с саламандрами» („Válka s mloky", 1936) представляет собой разностороннюю сатиру на капиталистическую действительность и буржуазную международную политику 30-х гг., попустительствовавшую фашизму. На вымышленной истории «очеловечивания» одного вида саламандр писатель показывает антигуманистическую сущность буржуазного общества.

Копируя капиталистический строй, саламандры создают свое подводное государство. Усвоив фашистскую идеологию, поклоняясь Золотому Стандарту и веруя только в Молоха, они выступают против всего человечества с расистским лозунгом «чистой саламандренности». Вся вторая половина романа — сатира на германский фашизм. В образе фюрера саламандр, развязавших войну против человечества, писатель представил Гитлера. В романе сатирически изображена Лига Наций и ее политика умиротворения агрессора. Однако Чапек еще недооценивал силы антифашистского лагеря, возглавляемого Советским Союзом. Роман кончается пессимистическим прогнозом поражения человечества саламандрами — фашистами. Однако в следующем произведении — драме «Белая болезнь» („Bílá nemoc", 1937) — писатель создает образ борца за мир. Правда, это еще борец-одиночка. Врач Гален, главный герой пьесы, поставлен писателем в исключительные условия: он обладает секретом лечения страшной эпидемии, постигшей человечество. Это позволяет Галену требовать от империалистов прекращения гонки вооружений и военных действий.

В последней пьесе «Мать» („Matka", 1938) Чапек призывал к действию, к активной, всенародной борьбе против агрессора накануне вторжения гитлеровцев в Чехословакию. В центре пьесы — благородный образ матери, посылающей на защиту Родины последнего сына.

В творческом наследии Чапека большой интерес представляет и ряд его произведений малого жанра — рассказы, в которых высмеяны различные стороны капиталистической действительности.

В последние годы жизни у Чапека наметилась серьезная эволюция его общественно-политических взглядов. Он проявляет активный интерес к жизни советского народа, изучает Конституцию Советского Союза, пишет о ней как о самой демократической конституции в мире. Все это было залогом дальнейшего плодотворного роста писателя. Однако творческий путь Чапека был прерван его преждевременной смертью, ускоренной дикой травлей, с которой обрушились на него фашистские писаки «второй республики».

inslav

PROMETHEŮV TREST

Pochrchlávaje a hekaje po dlouhém průvodním řízení odebral se mimořádný senát k poradě, jež se konala ve stínu posvátné olivy.

„Tak, pánové," zívl Hypometheus, předseda senátu. „Ale že se nám to zatrápeně protáhlo! Já myslím, že bych nemusel ani podávat resumé, no ale aby nebylo formálních námitek — — Tak tedy obžalovaný Prometheus, zdejší občan, byv pohnán před soud, že vynalezl oheň a tím jaksi — ehm, ehm — porušil stávající řád, se přiznal, že: za prvé, skutečně vynalezl oheň; dále že je s to, kdykoliv se mu zlíbí, vyvolati týž činností zvanou křesání; za třetí, že toto tajemství, respektive pohoršující objev nikterak řádně nezatajil ani neoznámil na příslušném místě, nýbrž jej svévolně prozradil, potažmo dal v užívání nepovolaným lidem, jak je dosvědčeno výpovědmi dotyčných osob, které jsme právě vyslechli. Já myslím, že to stačí a že bychom mohli hned přikročit k hlasování o vině a rozsudku."

„Promiňte, pane předsedo," namítl přísedící Apometheus, „ale soudil bych, že vzhledem k vážnosti tohoto mimořádného tribunálu by snad přece jen bylo vhodnější, abychom k vynesení rozsudku přikročili až po důkladné poradě a — abych tak řekl — všestranné rozpravě."

„Jak chcete, pánové," přivolil konciliantní Hypometheus. „Věc je sice jasná, ale chce-li někdo z vás ještě něco poznamenat, prosím."

„Já bych si dovolil připomenout," ozval se votant Ametheus a řádně odkašlal, „že podle mého mínění by se měla na celé věci zdůraznit zvláště jedna stránka. Pánové, já mám na mysli stránku náboženskou. Račte dovolit, co je to ten oheň? Co je to ta vykřesaná jiskra? Jak doznal Prometheus sám, není to nic jiného nežli blesk, a blesk, jak je obecně známo, je projevem zvláštní moci Dia Hromovládce. Račte mi vysvětlit, pánové, jak přijde takový nějaký Prometheus k božímu ohni? Jakým právem se ho zmocnil? Kde vůbec jej vzal? Prometheus nám chce namluvit, že jej prostě vynalezl; ale to jsou hloupé výmluvy, — kdyby to bylo tak nevinné, proč by nevynalezl oheň na příklad někdo z nás? Podle mého přesvědčení, pánové, Prometheus ten oheň prostě ukradl našim bohům. Jeho zapírání a vytáčky nás

inslav

nezmatou. Já bych jeho trestný čin kvalifikoval jednak jako obyčejnou krádež, jednak jako zločin rouhání a svatokrádeže. My jsme tady proto, abychom co nejpřísněji potrestali tuto bezbožnou opovážlivost a chránili posvátný majetek našich národních bohů. Jen to jsem chtěl říci," končil Ametheus a rázně se vysmrkal do cípu své chlamidy.

„Dobře řečeno," souhlasil Hypometheus. „Má ještě někdo co poznamenat?"

„Prosím za prominutí," děl Apometheus, „ale já nemohu souhlasit s vývody váženého pana kolegy. Já jsem se na to díval, jak řečený Prometheus rozžíhal ten oheň; a řeknu vám upřímně, pánové, vždyť — mezi námi — na tom docela nic není. Objevit oheň, to by dovedl každý lenoch, povaleč a pasák koz; my jsme na to nepřišli jen proto, že vážný člověk, to se rozumí, nemá ani pokdy ani pomyšlení, aby si pohrával s nějakým křesáním kamínků. Ujišťuji pana kolegu Amethea, že to jsou docela obyčejné přírodní síly, jimiž se zabývati není důstojno myslícího člověka, neřku-li bohů. Podle mého soudu je oheň úkaz příliš malicherný, než aby se nějak týkal věcí nám všem svatých. Ale věc má jinou stránku, na kterou musím obrátit pozornost pánů kolegů. Zdá se totiž, že oheň je živel velmi nebezpečný, ba dokonce škodlivý. Slyšeli jste řadu svědků, kteří vypověděli, že zkoušejíce Prometheův klukovský vynález utrpěli těžké popáleniny, ba v některých případech i škody na majetku. Pánové, rozšíří-li se vinou Prometheovou užívání ohně, čemuž bohužel se už nedá zabránit, nebude si nikdo z nás jist životem, ba ani majetkem; ale to, pánové, může znamenat konec veškeré civilisace. Stačí sebemenší neopatrnost — a před čím se zastaví ten nepokojný živel? Prometheus, pánové, se dopustil trestuhodné lehkomyslnosti tím, že uvedl na svět věc tak škodlivou. Já bych jeho vinu formuloval jako zločin těžkého ublížení na těle a ohrožování veřejné bezpečnosti. Vzhledem k tomu jsem pro doživotní trest na svobodě s tvrdým lůžkem a okovy. Domluvil jsem, pane předsedo."

„Máte, kolego, docela pravdu," zafuněl Hypometheus. „Jen bych ještě podotkl, pánové, k čemu nám vůbec bylo třeba nějakého ohně? Copak užívali ohně naši předkové? Přijít s něčím takovým, to je prostě neúcta k zděděnému řádu, to je — ehm, jenom podvratná činnost. Zahrávání s ohněm, to nám tak ještě

inslav

chybělo! A uvažte, pánové, kam to povede: lidé u ohně zbytečně zchoulostiví, budou se válet v teple a pohodlí, místo aby — nu, místo aby bojovali a podobně. Pojde z toho jen změkčilost, úpadek mravů a — ehm, vůbec nepořádek a podobně. Zkrátka něco se už musí stát proti takovým nezdravým úkazům, pánové. Doba je vážná a vůbec. Jen to jsem chtěl připomenout."

„Velmi správně," ozval se Antimetheus. „My všichni zajisté souhlasíme s naším panem předsedou, že Prometheův oheň může mít nedozírné následky. Pánové, netajme si, je to ohromná věc. Mít oheň ve své moci — jaké nové možnosti se tu otvírají! Uvádím jen namátkou: spálit nepřátelům úrodu, zažehnout jim olivové háje a tak dále. Ohněm, pánové, je nám lidem dána nová síla a nová zbraň; ohněm se stáváme skoro rovni bohům," šeptal Antimetheus, a náhle ostře vybuchl. „Žaluji na Promethea, že tento božský a nepřekonatelný živel ohně svěřil pasákům i otrokům, komukoliv, kdo přišel; že jej neodevzdal povolaným rukám, které by ho střehly jako státní poklad a jím vládly. Žaluji na Promethea, že tímto způsobem zpronevěřil objev ohně, který měl býti tajemstvím knížat. Žaluji na Promethea," křičel vzrušeně Antimetheus, „že naučil rozněcovat oheň i cizince! Že jej nezatajil ani před našimi nepřáteli! Prometheus ukradl oheň nám tím, že jej dal všem! Žaluji Promethea z velezrady! Žaluji ho z úkladů proti obci!" Antimetheus se křikem až rozkašlal. „Navrhuji trest smrti," vypravil ze sebe.

„Tak, pánové," promluvil Hypometheus, „hlásí se ještě někdo o slovo? Tedy podle náhledu soudu je obžalovaný Prometheus shledán vinným jednak zločinem rouhání a svatokrádeže, jednak zločinem těžkého ublížení na těle, potažmo poškození cizího majetku a ohrožování veřejné bezpečnosti, jednak zločinem velezrady. Pánové, navrhují uvaliti na něho buď doživotní trest na svobodě, zostřený tvrdým lůžkem a pouty, nebo trest smrti. Ehm."

„Nebo obojí," vyhrkl zamyšleně Ametheus. „Aby se vyhovělo oběma návrhům."

„Jak to, obojí trest?" ptal se předseda.

„Právě o tom přemýšlím," bručel Ametheus. „Šlo by to třeba tak... odsoudit Promethea k tomu, aby byl doživotně připoután ke skále... ať mu třeba supové vyklovají jeho bezbožná játra, račte rozumět?"

inslav

„To by šlo," děl uspokojeně Hypometheus. „Pánové, to by byl jednou exemplární trest na takové — ehm, zločinné výstřelky, že ano? Má někdo nějakou námitku? Tak bychom byli hotovi."

*

„A proč jste, tati, toho Promethea odsoudili k smrti?" ptal se Hypomethea při večeři jeho syn Epimetheus.

„Tomu ty nerozumíš," bručel Hypometheus, ohryzuje při tom skopovou kýtku. „Panečku, taková pečená kýta chutná líp než syrová, tak vida, k něčemu je ten oheň přece jen dobrý. — To byly důvody veřejného zájmu, víš? Kampak by to vedlo, kdyby kdekdo směl beztrestně přijít s něčím novým a velikým, no ne? Ale něco tomu masu ještě chybí — — Už to mám!" zvolal radostně. „Pečená kýta by se měla posolit a potřít česnekem! To je to pravé! Hochu, to přece je objev! Vidíš, na to by takový Prometheus nepřišel!"

1932

CESTA NA SEVER

Až po Nidaros[1]

Pravda, byla to pěkná loď; byl to zbrusu nový poštovní parník se vším pohodlím, jehož si může přát skromné lidské srdce; celý malér byl jenom v nákladu, který ta loď vezla na sever. Tím nemíním zelí, mouku a takové věci, které jsme naložili pod Bergenhusem; ale horší to bylo s nákladem duchovním, jenž pozůstával z hromadné výpravy jakési americké církve nebo křesťanské společnosti, která jela někam na Nordkapp; neodvážil jsem se zeptat se jich, co vlastně jsou, z obavy, aby mě neobrátili na svou víru.

Nevím tedy přesně, čemu ta americká církev učí; pokud bylo možno zjistit, tož

1. hází s bujarým povykem lanové kroužky na kolíky nebo honí po palubě takové dřevěné kotouče, které se pletou ostatním cestujícím mezi nohy, čímž se ta svatá obec vítězně a nadobro zmocnila celé lodní přídě, ještě než jsme zvedli kotvy;

inslav

2. s ohromující družností a živostí zapřádá hovory jednak mezi sebou, jednak s druhými pasažéry; následkem toho rázem opanovala celou lodní záď se všemi sedátky a lehátky, jež ostatně hned obložila svými šálami, romány, biblemi a taškami na znamení svého trvalého užívání a vydrženého vlastnictví;

3. zpívá u stolu křesťanské válečné písně, takže zatlačila nás ostatní, neorganisovanou a slabou menšinu, i z lodní jídelny.

4. dává dohromady samé společenské hry, tance, zábavy, hromadný zpěv, pobožnosti a jiné radovánky; nejspíš pěstuje jakési radostné křesťanství a bez oddechu šíří kolem sebe nevinné a bohulibé veselí ducha; říkám vám, bylo to děsné;

5. horlivě provozuje účinnou lásku k bližnímu, ujímajíc se lidí stižených mořskou nemocí, psů, novomanželů, dítek, námořníků, domorodců i cizinců hlavně tím, že je oslovuje a povzbuzuje, že na ně bodře pokřikuje, zdraví je, usmívá se na ně a vůbec je ohrožuje samou přívětivostí; i nezbylo nám ostatním než se zabarikádovat v kabinách a tam se tiše a urputně rouhat. Bůh buď milostiv naší duši!

*

Je to tu vlastně krásné; jen se podívej, ten tichý a světlý fjord mezi skalami Nord-Hordlandu a žulovými břehy holých ostrovů; jen se podívej, ten západ slunce vlhce a růžově rozlitý po celém nebi, po širém moři, mezi horami, jež mlžně a indigově modrají; a ta rybářská loď, co nás přízračně míjí se svým červeným světýlkem — bože, jak je to krásné! A svatá obec počala v božském večeru mečet duchovní hymnu.

Zdá se, že přijímá za své členy hlavně dámy jistého věku; po pravdě řečeno, byly to spíš bábу jako kyrysníci, krom několika vetchých, dřímajících, více méně stoletých stařenek; potom šedesátiletý šotek v sukýnce nad kolínka a v dětském kloboučku, jedna dáma s kobylí tváří, jedna s nádechem lupusu a jedna bez nápadné tělesné vady; hlouček vdov různých věkových stupňů od nabarvených vlasů až po stříbrné šediny; jeden pán s veverčími zuby a jeden letitý, drobný čipera, podobný sušené šprotce a trpící patrně na játra; skupina starších dívek celkem statečně nesoucích svůj stav; zkrátka vypadalo to jako obyčejný dobročinný spolek, ale nemělo by jich být tolik po-

inslav

hromadě; to prostě pobuřuje. A neměli by zpívat ke cti a oslavě stvořitele. Nebo aspoň tady ne. Kdyby jim někdo řekl, koukejte na jeho dílo a slávu jeho a držte ty zobáky —

Teď církev dozpívala a rozhlédla se kolem. Dáma s kobylí tváří si nasadila skřipec. „Isn't it nice?"

„Wonderful!"

„A co budeme hrát teď?"

Prostě nezmaří; to je úžasné, jakou sílu lidským duším dodává víra!

*

Takhle to dál nepůjde; pojďme ty americké svaté naházet do moře; nebo pojďme se aspoň rouhat těm dřevěným kotoučům, co postrkují po palubě; já vím, je to těžký hřích, ale ať je aspoň nějaká zábava! A pojďme se napít, aby do nás vstoupil zlý duch vzpoury; a pak, široce rozkročeni a utahujíce své opasky, kopneme do těch jejich kotoučů a rozmetáme jejich kroužky:

Jděte spat, svatí! Tady jsou lidé, kteří mají nějaké delší řízení s večerem, mořem, oblohou, mlčením a tak dále; koukejte mazat, nebo se něco stane.

Ale nestalo se nic, neboť na norských lodích se neprodává alkohol.

*

Byl to patrně zázrak. Američtí svatí zrovna chtěli načít novou hymnu, a jejich duchovní pastýř — byl to obtloustlý agent se spásou, hubu měl jako šlejfíř, a jako odznak své duchovní hodnosti nosil bimbající se křížek asi tam, kde obyčejní lidé mají ledviny —, tedy tento duchovní pastýř nafoukl na píšťalce ačko; a ta nejtlustší svatá vylezla na podium, sedla si na bedničku s amplionem, zavřela oči a otevřela ústa, aby pěla; v tu chvíli jí pod sukněmi spustil řinčivý a svrchovaně světský foxtrot. Ctihodná dáma vyskočila, jako by si sedla na řeřavou plotnu; ale duchovní pastýř se ukázal velkým mužem; prostě zastrčil ačko do kapsy u kalhot a zatleskal. „Well, let us dance!" A vzal k tanci dámu s lupusem.

*

Ráno na širém moři; to asi plujeme kolem výběžku Stattland; tady v otevřeném Sildegapetu to vždycky drobet houpá.

inslav

Je to taky hned vidět; několik lidí na palubě čile a bez námahy zvrací, zatím co jiní s tím mají zoufalé potíže. Církev zůstala v kabinách, asi se modlí.

Jen se podívej, není-li to krása: to šedé moře s bílými hřebeny vln; a po pravé ruce holý, zubatý, svalnatý břeh Norska; a ti křičící rackové, jak se plavně nesou na dlouhých vlnách větru. Můžeš se dívat do zvířené kýlní vody; je zelená jako skalice, zelená, jako malachit, jako ledovec nebo co; a zuřivě zpěněná do běla, vroubená ornamenty pěny, koukej, ta cesta za námi, značená pěnou až po obzor; a jak to hází tou rybářskou bárkou, stojí na ní člověk a mává na naši loď tlapami jako polární medvěd —

„Hello," huláká duchovní pastýř a mává na něj čepicí; zřejmě to činí jménem své církve, Spojených Států a křesťanského světa vůbec.

*

Už je zase fjord sevřený skalami s obou stran; voda se ztišila, je milostně hladká a zářivá; církev vystupuje na palubu a rozdává úsměvy. „A fine day!" „How beautiful!" „Wonderful, isn't it?" Ovečky se zabalily do plaidů a obsadily veškerá sedátka; načež si na to vzaly brejle a počaly číst romány a jiné svaté knihy, horlivě klepajíce o svých přátelích v Americe. Duchovní pastýř je obchází, bodře poplácává stařenky a hlaholí; zdá se, že vůbec převzal na lodi velení. Co dělat, jsme všichni vydáni v šanc jeho lidumilnému působení; ten chlap nás ještě spasí, nevysadíme-li ho násilím na nějakém pustém ostrůvku. Spojil bych se na to s několika muži, ke kterým mám důvěru; je to jeden norský novomanžel, který si právě vzal chudou, hezkou a chromou dívku; jeden pán, který vypadá jako italský hrabě a jede s krásnou černou paní; jeden podvodník v texaském klobouku a khaki košili, který věčně sedí u piva a vypravuje lidem o životě cowboyů, zlatokopů nebo lovců kožišin; zkrátka bylo by nás na to dost, ale nemůžeme se jaksi smluvit, protože se na lodi nedostane nic pořádného k pití. Ikke alkohol, to je ta bída.

inslav

*

Konečně loď přistává v Ålesundu; je to pěkný, větší přístav řádně páchnoucí rybinou. Americký pastýř organisuje vpád své církve do Ålesundu; a my druzí, my se podíváme, co se tu dostane koupit. Pravda, v každém druhém obchodě prodávají mnohoslibné láhve, na kterých je psáno, že to je rumový nebo ananasový nebo punčový extrakt; ale žádný alkohol nemají. Ikke alkohol, říkají rozhazujíce rukama. Cože, ikke alkohol? A co tu tedy pijí stateční námořníci? Ikke alkohol, opakují a krčí s politováním rameny. Divné město, ten Ålesund.

Dobrá, nechte si to; však my pojedeme do Molde. Molde je prý město květů; to by bylo, aby se tam nedostalo něco koupit! Tak tedy Molde; pěkné město, a mají tam na druhé straně Romsdalsfjordu krásné špičaté hory; a zahrádky plné růží a ostrožek; a dřevěný kostel, ale tam už vnikl americký pastýř a začal kázat. Kvetoucí město, pravda; ale ikke alkohol. Sorry, povídá prodavač, ale tady se žádný alkohol nedostane; tady nemáme vinmonopolet.

Dobrá, nechte si to; však my se teď na loď nevrátíme, ať si tam ta církev zatím řádí, jak chce; ať obrátí na víru třeba kapitána nebo styrmana i s mužstvem; pojedeme tady přes ty hory na Gjemnes a tam se někde zase nalodíme. Auto už zatroubilo, zahrkalo, a najednou stop; do vozu se cpe duchovní pastýř se třemi ovečkami a sedl si nám více méně na klín. „A teď můžeme jet," prohlásil bodře; načež počal pokřikovat na děti v Molde, městě květů: „Hallo, hallo! Do you speak English? No? No? No! A ty tam, ty umíš anglicky? Ne? Nu tak mluv, chlapče! Copak neumíš anglicky?" Apoštol z Massachusets to nemůže ani pochopit, i obrací se na mne: „But you speak English, yes? No? No? A odkud to jste? Z Prahy? Yes, Prague. I was in Prague. Very nice. Moc pěkné město."

„Wonderful."

To jsme jeli ronsdalskou riviérou podle Fannefjordu; krásné místo, modrý fjord, hory jako v Alpách; bože, chtěl bych to vidět, ale pastýř se pořád vrtí a naklání k ovečkám. Všude tu jsou farmy na stříbrné lišky, a rybáři tu suší tresky rovnou na zdích chalup, to jsem ještě neviděl; musí to být těžký život, když si člověk pomyslí, jak taková treska smrdí. Zatím pastýř

inslav

rozvíjí své názory o výchově dětí nebo o čem; ovečky kývají hlavami a s obdivem piští yes, indeed a how true; potom si duchovní vůdce narazil hlavu o střechu auta a ztratil řeč; i podíval se oknem na žulové hory —

„Lovely, isn't it?"

„Wonderful!"

„Well, o čem jsme to mluvili —"

Jelo se lesem a dolem, po deštivé planině smutné jako konec světa, pod sněhem hor, podle rybářských dědin; neúnavný pastýř zatím zurčí o tom, co by paní Jacksonová neměla dělat. How true! Yes. Indeed. A tahle smutná voda, to je asi Tingvollfjord; a tahle veselá voda, to je snad Batnfjord; a duchovní rádce probírá anginu, rakovinu a jiné případy; to jsou samé mravní choroby, tvrdí; den mravní, ano. Yes. Rigth. Isn't it so?

Konečně Gjemnes, přístaveček jako dlaň, tři lidé tu čekají na motorku do Kristiansundu; nahoře sníh na zelených báních hor, dole zelená voda plná hnědých chaluh; je to jako zlatý a zašlý vzorek na zeleném brokátu. „Do you speak English?" hlaholí duchovní pastýř a shromáždí kolem sebe ty tři čekající; nerozumějí mu a ocitají se v agonii rozpaků, ale to mu nevadí; plácá je po zádech a mluví vesele dál. Dobrák, jen co je pravda.

A pak přijela motorka, co tady po fjordu rozváží lidi. Apoštol nalodil svou církev a teď hledá, koho by oslovil. Církev obsadila všechno, na čem se dalo sedět, a jala se pilně štěbetat; i byl kolem pěkný fjord, a byl téměř večer; hory dýmaly parou ze spadlého deště, sklenula se duha, voda zezlátla a hedvábně zrcadlila modravé skály; zdola pulsuje šroub lodi a žoviální hlas pastýřův. Zvláštní, tam uvnitř fjordu bylo všechno tak požehnaně zelené, jako zahrada; čím blíž k moři, tím holejší skály, až není nic než holý kámen, tu a tam rybářská chata, a na šedých balvanech jakési velké díže; to asi je na solení tresek. Ani stromečku nikde, jen zahnědlé čupřiny trávy mezi balvany; tady zem nedá člověku nic než tu skálu, aby na ní sušil své ryby.

„Pěkné počasí, eh? co?" provolává pastýř.

Yes, lovely.

Wonderful.

*

A tohle je Kristiansund, metropol tresek, chcete-li to vědět; dřevěné město, samý obchodní dům, samý vikýř na zboží; šedé,

inslav

zelené, červené domky nahloučené kolem přístavu; a na hřebenu každé střechy samý racek, jakživ jsem neviděl pohromadě tolik racků; snad tu konají nějaké duchovní cvičení.

Tak tady musíme zpátky na naši loď; ale dostali jsme přírůstek, povezeme footballisty z Kristiansundu na zápas s Trondheimem; celé město doprovází své hrdiny k lodi. Ba i místní psi se seběhli a vrtí nadšeně ocasy. Duchovní pastýř září, neboť má rád davy; naklání se břichem přes zábradlí a obtěžuje vlídným pokřikováním zdejší psy. Co má takový pes dělat? svěsí ocas a zmizí. A tu ten velký muž srdečně oslovuje místní lid. „Do you speak English? Yes? No? Pěkné počasí, co? Ha ha ha!"

Zavíří šroub, loď odráží od přístavu, celý Kristiansund mává klobouky a zdraví své národní hrdiny trojnásobným voláním slávy nebo čeho.

Duchovní pastýř točí čepicí a děkuje za hold Kristiansundu jménem Ameriky a celého vzdělaného lidstva.

*

Prosím vás, styrmane, kde se tady v Norsku dostane kapka alkoholu? Dejme tomu, že potřebuju zapít zlost, utopit červa, napít se na kuráž nebo tak; nedá se nic dělat?

Nedá, pane; tady je svaté pobřeží. Od Bergenu až po Trondheim ikke alkohol. Až v Trondheimu je vinmonopolet, potom v Bodø, Narviku a Tromsø; tam dostanete koupit, co chcete. Ale tady ne, řekl styrman melancholicky; tady bydlí samí svatí lidé. U nás je sic na líh státní monopol, ale každé město si může samo odhlasovat, smí-li tam vinmonopolet prodávat nebo ne. Tady se dřív pívalo, pane, mávl styrman rukou. Ale v Trondheimu je to dobré.

*

V Trondheimu jsme z té lodi v noci uprchli. Jak říkám, byla to dobrá a nová loď; celý malér byl jenom v tom nákladu, který vezla.

1936

inslav

VÁLKA S MLOKY

На одном из островов Индийского океана был обнаружен неизвестный вид саламандры, которую удалось приспособить для строительных работ. Оказавшиеся способными перенять многое от человека и быстро размножившиеся, саламандры копируют буржуазные общественные отношения и нравы и создают свое подводное государство. Идя «по ступеням цивилизации», они усваивают фашистскую идеологию.

Der Nordmolch

Nemnoho let po osazení prvních mločích kolonií v severním a baltském moři zjistil německý badatel dr Hans Thuring, že baltský Mlok vykazuje — patrně vlivem prostředí — některé odlišné tělesné vlastnosti; tak prý je o něco světlejší, kráčí vzpřímeněji a jeho lebeční index svědčí o lebce delší a užší, než je hlava jiných Mloků. Tato varieta dostala jméno der Nordmolch čili der Edelmolch (Andrias Scheuchzeri var. nobilis erecta Thuring).

Nato se i německý tisk počal horlivě obírat baltským Mlokem. Zvláštní váha se kladla na to, že právě vlivem německého prostředí se tento Mlok vyvinul v odlišný a vyšší rasový typus, nesporně nadřaděný všem jiným Salamandrům. S opovržením se psalo o degenerovaných Mlocích mediteránních, zakrnělých tělesně i mravně, o divošských Mlocích tropických a vůbec o nízkých, barbarských a zvířecích Salamandrech jiných národů. Od Velemloka k německému Nadmloku, tak znělo okřídlené slovo té doby. Což nebyl prapůvod všech novodobých Mloků na půdě německé? Nestála jejich kolébka u Oeningen, kde německý učenec dr Johannes Jakub Scheuchzer našel jejich nádhernou stopu už v miocénu? Není tudíž nejmenší pochybnosti, že původní Andrias Scheuchzeri se zrodil před geologickými věky na půdě germánské; rozptýlil-li se potom do jiných moří a pásem, doplatil na to svým vývojovým sestupem a degenerací; jakmile se však usadil opět na půdě své pravlasti, stává se znovu tím, čím byl původně: ušlechtilým nordickým Mlokem Scheuchzerovým, světlým, vzpřímeným a dlouholebým. Tudíž jen na německé půdě se mohou Mloci vrátit k svému čistému a nejvyššímu typu, jak jej našel veliký Johannes Jakub Scheuchzer na otisku v lomech oeningenských. Proto Německo potřebuje nových a delších břehů, potřebuje kolonií, potřebuje světových moří, aby se všude v německých vodách mohly vyvinout nové generace rasově čistých, prapůvodních německých Salamandrů. Potřebujeme nového prostoru pro své Mloky, psaly německé no-

inslav

viny; a aby ta skutečnost byla německému národu stále na očích, byl v Berlíně postaven velkolepý pomník Johanna Jakuba Scheuchzera. Veliký doktor byl tu zobrazen s tlustou knihou v ruce; u jeho nohou sedí vztyčeně ušlechtilý nordický Mlok, zírající do dálky, na nedozírná pobřeží světového oceánu.

Při odhalení tohoto národního pomníku byly ovšem proneseny slavnostní řeči, jež vzbudily neobyčejnou pozornost ve světovém tisku. *Německo znovu vyhrožuje,* konstatovaly zejména anglické hlasy. Jsme na takový tón sice již zvyklí, ale mluví-li se při tak oficiální příležitosti o tom, že Německo potřebuje do tří let pěti tisíc kilometrů nového mořského pobřeží, jsme nuceni odpovědět co nejzřetelněji: Dobrá, zkuste to! Na britských březích si vylámete zuby. Jsme připraveni, a budeme tím lépe připraveni do tří let. Anglie bude a musí mít tolik válečných lodí jako dvě největší kontinentální mocnosti dohromady; tento poměr sil je jednou provždycky neporušitelný. Chcete-li rozpoutat šílené závody v námořním zbrojení, budiž: žádný Brit nestrpí, abychom zůstali o sebemenší krok pozadu.

„Přijímáme německou výzvu," prohlásil v parlamentě lord admirality Sir Francis Drake jménem vlády. „Kdo vztahuje ruku po kterémkoli moři, narazí na pancíře našich lodí. Velká Britannie je dosti silna, aby odrazila každý útok na své výspy a na břehy svých dominií a kolonií. Za takový útok budeme považovat i stavbu nových pevnin, ostrovů, pevností a leteckých základen v každém moři, jehož vlny omývají sebemenší kousek britského pobřeží. Budiž toto poslední výstrahou komukoliv, kdo by chtěl byť jen o yard pohnout břehy mořskými." Na to parlament povolil stavbu nových válečných korábů s preliminovaným nákladem půl miliardy liber šterlinků. Byla to vpravdě imposantní odpověď na postavení vyzývavého pomníku Johanna Jakuba Scheuchzera v Berlíně; tento pomník stál ovšem jenom dvanáct tisíc říšských marek.

Na ty projevy odpověděl skvělý francouzský publicista markýz de Sade, zpravidla výtečně informovaný, v tomto smyslu: Britský lord admirality prohlásil, že Velká Britannie je připravena na všechny eventuality. Dobrá; je však vznešenému lordu známo, že Německo má ve svých baltských Mlocích stálou a strašlivě vyzbrojenou armádu, čítající dnes pět milionů kombatantních Salamandrů z povolání, kterou může ihned nasadit do

inslav

války ve vodě i na břehu? K tomu připočtěte nějakých sedmnáct milionů Mloků pro službu technickou a etapní, připravených kdykoliv nastoupit jako reservní a okupační armáda. Dnes je baltský Salamandr nejlepší voják na světě; psychologicky dokonale zpracován, vidí ve válce své pravé a nejvyšší poslání; půjde do každého boje s nadšením fanatika, s chladným důmyslem technika a s příšernou kázní právě pruského Mloka.

Je dále britskému lordu admirality známo, že Německo horečně buduje dopravní lodi, které mohou převážet celou brigádu válečných Salamandrů najednou? Je mu známo, že staví sta a sta malých ponorek o akčním radiu tří až pěti tisíc kilometrů, jejichž posádkou budou toliko baltští Mloci? Je mu známo, že zřizuje v různých částech Oceánu obrovské podmořské nádrže na pohonné látky? Nuže, tažme se znovu: je si britský občan jist, že jeho veliká země je *opravdu* dobře připravena na všechny eventuality?

Není těžko si představit, pokračoval markýz de Sade, co budou v příští válce znamenat Mloci, vyzbrojení podmořskými Bertami, minomety a torpedy pro blokádu břehů; na mou věru, po prvé v dějinách světa nemusí nikdo závidět Anglii její skvělou ostrovní polohu. Ale když už jsme u těch otázek: je britské admiralitě známo i to, že baltští Mloci jsou opatřeni strojem jinak mírumilovným, který se jmenuje pneumatická vrtačka; a že tato nejmodernější vrtačka se za jednu hodinu zakusuje do hloubky deseti metrů v nejlepší švédské žule a do hloubky padesáti až šedesáti metrů v anglické křídě? (Dokázaly to pokusné vrty, které tajně podnikla německá technická expedice v noci dne 11., 12. a 13. minulého měsíce na anglickém pobřeží mezi Hythe a Folkestonem, tedy přímo před nosem pevnosti doverské.) Doporučujeme svým přátelům za Kanálem, aby si sami spočítali, za kolik týdnů může být Kent nebo Essex provrtán pod hladinou mořskou dírami jako bochník sýra. Do této doby pohlížel britský ostrovan starostlivě k obloze, odkud prý může přijít jediná zkáza jeho kvetoucím městům, jako Bank of England nebo jeho pokojným kotážím, tak útulným ve věčně zeleném rámci břečťanu. Ať nyní přiloží raději ucho k zemi, na níž si hrají jeho děti: nezaslechne v ní dnes nebo zítra skřípat a krok za krokem se hlouběji zažírat neúnavný a strašlivý nebozez mločí vrtačky, razící cestu pro nálože dosud nevídaných

inslav

třaskavin? Ne už válka ve vzduchu, ale válka pod vodou a pod zemí je poslední slovo našeho věku. Slyšeli jsme sebevědomá slova s kapitánského můstku pyšného Albionu; ano, dosud je to mocný koráb, který se vznáší na vlnách a ovládá je; ale jednou by se ty vlny mohly zavřít nad lodí rozmetanou a klesající do mořských hlubin. Nebylo by lépe čelit tomu nebezpečí raději dřív? Do tří let bude na to už příliš pozdě!

Tato výstraha brilantního francouzského publicisty vzbudila v Anglii ohromné vzrušení; přes všechna dementi slyšeli lidé v nejrůznějších částech Anglie podzemní skřípění mločích vrtaček. Německé úřední kruhy ovšem řízně odmítly a vyvrátily citovaný článek, prohlašujíce jej od začátku do konce za pusté štvaní a nepřátelskou propagandu: současně však se konaly na Baltu veliké kombinované manévry německého loďstva, pozemních sil a válečných Salamandrů. Při těchto manévrech vyhodily minérské čety Mloků před zraky zahraničních vojenských přidělenců do povětří kus podvrtaných písečných dun poblíž Rügenwalde v rozsahu šesti čtverečních kilometrů. Byla prý to velkolepá podívaná, když se s hrozným duněním nadzvedla země „jako zpřelámaná kra“ — a teprve potom se rozletěla v obrovskou stěnu dýmu, písku a balvanů; udělala se tma skoro jako v noci a zvednutý písek padal v okruhu téměř sta kilometrů, ba snesl se po několika dnech jako písečný déšť až ve Varšavě. V zemském ovzduší zůstalo po této nádherné explosi tolik volně poletujícího drobného písku a prachu, že až do konce toho roku byly západy slunce v celé Evropě neobyčejně krásné, krvavě rudé a ohnivé jako nikdy předtím.

Moře, jež zalilo rozmetaný kus pobřeží, dostalo potom násev Scheuchzer-See a bylo cílem nesčetných školních výletů a výprav německých dítek pějících oblíbenou mločí hymnu:

SOLCHE ERFOLCHE ERREICHEN NUR DEUTSCHE MOLCHE.

Chief Salamander klade požadavky

Tři dny po zemětřesení v Louisianě byla hlášena nová geologická katastrofa, tentokrát v Číně. Za mohutného, dunivého otřesu země se roztrhlo v provincii Kiangsu mořské pobřeží severně od Nankingu, asi uprostřed mezi ústím Jang-

inslav

tse a starým korytem Hwang-ho; do této trhliny vniklo moře a spojilo se s velikými jezery Pan-jün a Hung-tsu mezi městy Hwaingan a Fungjang. Zdá se, že následkem zemětřesení opouští Jang-tse pod Nankingem své koryto a valí se směrem k jezeru Tai a dále na Hang-čou. Ztráty na lidských životech nelze zatím ani přibližně odhadnout. Statisíce lidí prchají do severních a jižních provincií. Japonské válečné lodi dostaly rozkaz vyplout k postiženému pobřeží.

Ačkoliv otřesy země v Kiangsu svým rozsahem daleko překročily pohromu v Louisianě, věnovalo se jim celkem málo pozornosti, neboť na katastrofy v Číně je svět už zvyklý a nezáleží tam, jak se zdá, na nějakém tom milionu životů; mimo to bylo vědecky jasno, že jde o pouhé tektonické zemětřesení, souvisící s hlubinnou mořskou brázdou u souostroví Riukiu a Filipin. Tři dny nato však zaznamenaly evropské seismografy nové otřesy země, jejichž střed byl někde u Kapverdských ostrovů. Podrobnější zprávy hlásily, že těžkým zemětřesením bylo postiženo pobřeží Senegambie jižně od St. Louis. Mezi místy Lampul a Mboro vznikla hluboká propadlina, zaplavená mořem a postupující na Merinaghen až po waady Dimarské. Podle očitých svědků vyrazil za strašného rachotu ze země sloup ohně a páry, rozmetávající v dalekém okruhu písek a kamení; nato bylo slyšet jek moře, které se valilo do otevřené propadliny. Ztráty na životech nejsou značné.

Tento třetí otřes země vyvolal už cosi jako paniku. OŽIVUJE SNAD VULKANICKÁ ČINNOST ZEMĚ? ptaly se noviny. ZEMSKÁ KŮRA POČÍNÁ PRASKAT, hlásaly večerníky. Odborníci vyslovili domněnku, že „rozsedlina senegambská“ vznikla snad jenom erupcí vulkanické žíly, souvisící s vulkánem Pico na ostrově Fogo v souostroví Kapverdském; tento vulkán soptil ještě roku 1847 a od té doby byl považován za vyhaslý. Západoafrické zemětřesení nemá tedy nic společného se seismickými úkazy v Louisianě a v Kiangsu, jež byly původu patrně tektonického. Ale lidem, jak se zdá, bylo celkem jedno, praská-li země z důvodů tektonických nebo vulkanických. Fakt je, že toho dne byly všechny kostely přeplněny modlícími se zástupy. V některých krajinách musely být chrámy otevřeny i v noci.

K jedné hodině ráno (bylo to dvacátého listopadu) zachycovali radioamatéři ve větší části Evropy na svých radioapa-

inslav

rátech silné poruchy, jako by pracovala nějaká nová, neobyčejně mocná vysílací stanice. Našli ji na vlnové délce dvě stě tři; bylo slyšet cosi jako hukot strojů nebo mořských vln; do toho táhlého, nekonečného šumění se najednou ozval strašný, skřehotavý hlas (všichni jej popisovali podobně: dutý, kvákavý, jakoby umělý hlas, k tomu ještě nesmírně zesílený megafonem); a tento žabí hlas rozčileně volal: „Hallo, hallo, hallo! Chief Salamander speaking. Hallo, Chief Salamander speaking. Stop all broadcasting, you men! Stop your broadcasting! Hallo, Chief Salamander speaking!" Potom se jiný, podivně dutý hlas ptal: „Ready?" „Ready." Nato bylo slyšet praskot, jako by se přepínalo vedení; a zase jiný nepřirozeně seškrcený hlas volal: „Attention! Attention! Attention!" „Hallo" „Now"!

A nyní se ozval chraptivý, unavený, ale přece jen velitelský hlas do nočního ticha: „Hallo, vy lidé! Tady Louisiana. Tady Kiangsu. Tady Senegambia. Litujeme lidských životů. Nechceme vám působit zbytečné ztráty. Chceme jenom, abyste vyklidili mořské břehy na místech, která vám předem označíme. Uděláte-li to, vyhnete se politováníhodným nehodám. Příště vám oznámíme nejméně čtrnáct dní předem, na kterém místě budeme rozšiřovat své moře. Dosud jsme konali jenom technické zkoušky. Vaše třaskaviny se osvědčily. Děkujeme vám.

Hallo, vy lidé. Zachovejte klid. Nemáme vůči vám nepřátelských úmyslů. Potřebujeme jenom víc vody, víc břehů, víc mělčin pro svůj život. Je nás příliš mnoho. Už pro nás není dost místa na vašich březích. Proto musíme odbourat vaše pevniny. Uděláme z nich samé zálivy a ostrovy. Tím se dá délka světových břehů zpětinásobnit. Budeme stavět nové mělčiny. Nemůžeme žít v hlubokém moři. Budeme potřebovat vašich pevnin jako materiálu k zasypání hlubin. Nemáme proti vám nic, ale je nás příliš mnoho. Můžete se zatím odstěhovat do vnitrozemí. Můžete se uchýlit do hor. Hory se budou bourat až nakonec.

Vy jste nás chtěli. Vy jste nás rozšířili po celém světě. Nyní nás máte. Chceme s vámi vyjít po dobrém. Budete nám dodávat ocel na naše vrtačky a krumpáče. Budete nám dodávat třaskaviny. Budete nám dodávat torpeda. Budete pro nás pracovat. Bez vás bychom nemohli odklidit staré pevniny. Hallo, vy lidé, Chief Salamander vám jménem všech Mloků světa

inslav

nabízí spolupráci. Budete s námi pracovat na odbourání vašeho světa. Děkujeme vám."

Unavený, chraptivý hlas umlkl a bylo slyšet jen táhlé hučení jako strojů nebo moře. „Hallo, hallo, vy lidé," ozval se opět skřehotavý hlas, „nyní vám budeme vysílat zábavnou hudbu z vašich gramofonových desek. Na pořadu je Pochod Tritonů z výpravného filmu Poseidon."

*

Noviny ovšem označily tento noční rozhlas za „hrubý a nejapný šprým" nějaké černé vysílačky; přesto miliony lidí očekávaly příští noci u svých radioaparátů, promluví-li opět onen strašný, horlivý, skřehotavý hlas. Ozval se přesně o jedné hodině za doprovodu širého a šplounavého hučení. „Good evening, you people," zakvákal vesele. „Nejprve vám zahrajeme na gramofonové desce Salamander-Dance z vaší operety Galathea." Když dozněla ryčná a nestoudná hudba, ozval se opět onen příšerný a jaksi radostný skřehot. „Hallo, vy lidé! Právě byla potopena torpedem britská dělová loď Erebus, která chtěla zničit na Atlantickém oceánu naši vysílačku. Posádka utonula. Hallo, voláme k amplionu britskou vládu. Loď Amenhotep, přístav Port Said, se zdráhala nám vydat v našem přístavě Makallahu objednané třaskaviny. Prý dostala rozkazy zastavit další dopravu třaskavin. Loď byla ovšem potopena. Radíme britské vládě, aby ten rozkaz odvolala do zítřejšího poledne rozhlasem, jinak budou potopeny lodi Winnipeg, Manitoba, Ontario a Quebec, plující s obilím z Kanady do Liverpoolu. Hallo, voláme k amplionu francouzskou vládu. Odvolejte křižníky, které plují k Senegambii. Potřebujeme tam ještě rozšířit nově utvořenou zátoku. Chief Salamander nařídil, abych tlumočil oběma vládám jeho neochvějnou vůli navázat s nimi co nejpřátelštější styk. Konec zpráv. Nyní budeme vysílat na gramofonové desce vaší píseň Salamandria, valse érotique."

Nazítří odpoledne byly jihozápadně od Mizen Head potopeny lodi Winnipeg, Manitoba, Ontario a Quebec. Světem zavála vlna zděšení. Večer rozhlásila B.B.C., že vláda Jeho Veličenstva vydala zákaz dodávat Mlokům jakékoliv potraviny, chemické produkty, nástroje, zbraně a kovy. V noci o jedné hodině skřehotal v rozhlase rozčilený hlas: „Hallo, hallo, hallo, Chief

inslav

Salamander speaking! Hallo, Chief Salamander is going to speak!" A tu se ozval unavený, chraptivý, rozhněvaný hlas: „Hallo, vy lidé! Hallo, vy lidé! Hallo, vy lidé! Myslíte, že se necháme vyhladovět? Nechte vašich hloupostí! Cokoliv, co děláte, se obrátí proti vám! Jménem všech Mloků světa volám Velkou Britannii. Vyhlašujeme od této hodiny neomezenou blokádu britských ostrovů kromě Svobodného státu irského. Uzavírám Lamanšský kanál. Uzavírám Suezský průplav. Uzavírám úžinu Gibraltarskou pro všechny lodě. Všechny britské přístavy jsou uzavřeny. Všechny britské lodě v kterémkoli moři budou torpedovány. Hallo, volám Německo. Zvyšuji objednávku třaskavin desetkrát. Dodávejte ihned loco hlavní depot Skagerrak. Hallo, volám Francii. Dodejte urychleně objednaná torpeda do podmořských fortů C_3, BFF a Ouest 5. Hallo, vy lidé! Varuju vás. Omezíte-li nám dodávky potravin, vezmu si je sám z vašich lodí. Varuju vás znovu." Unavený hlas klesal až v chrčivý, stěží srozumitelný chrapot. „Hallo, volám Italii. Připravte se na evakuaci území Benátky — Padova — Udine. Varuju vás naposled, lidi. Už je dost vašich nesmyslů." Nastala dlouhá pausa, ve které to šumělo jako černé a studené moře. A tu opět spustil veselý a kvákavý hlas: „A teď vám zahrajeme z vašich gramofonových desek poslední úspěch Triton-Trott."

Konference ve Vaduzu

Byla to podivná válka, lze-li to vůbec nazvat válkou; neboť nebylo žádného Mločího státu ani uznané mločí vlády, které by se mohlo oficiálně opovědět nepřátelství. První stát, který se octl ve válečném stavu se Salamandry, byla Velká Britannie. Hned v prvních hodinách potopili Mloci skoro všechny její koráby, kotvící v přístavech; tomu se nedalo nijak čelit. Toliko lodi na šírém moři byly pro tu chvíli v poměrném bezpečí, hlavně pokud křižovaly nad většími hlubinami; tím se zachránila část válečného loďstva britského, která prorazila mločí blokádu na Maltě a soustředila se nad hlubinou iónskou; ale i tyto jednotky byly záhy vyhledávány malými mločími ponorkami a potápěny jedna po druhé. Do šesti neděl ztratila Velká Britannie čtyři pětiny své veškeré lodní tonáže.

John Bull zase jednou v dějinách mohl ukázat svou proslu-

inslav

lou tvrdošíjnost. Vláda Jeho Veličenstva s Mloky nejednala a zákaz dodávek neodvolala. „Britský gentleman," prohlásil anglický premiér za celý národ, „zvířat chrání, ale nevyjednává s nimi." Už po několika týdnech se projevil na britských ostrovech zoufalý nedostatek potravin. Jenom děti dostávaly krajíček chleba a několik lžic čaje nebo mléka denně; britský národ to nesl s bezpříkladnou statečností, i když klesl tak hluboko, že snědl všechny své závodní koně. Waleský princ vlastní rukou vyoral první brázdu na hřišti Royal Golf Clubu, aby tam byla pěstována mrkev pro londýnské sirotčince. Na tennisových courtech ve Wimbledonu byly nasázeny brambory, na závodišti v Ascott byla naseta pšenice. „Přineseme všechny, i ty největší oběti," ujistil v parlamentě vůdce konservativní strany. „Ale britské cti se nevzdáme."

Protože blokáda britských břehů na moři byla úplná, zbývala Anglii jenom jedna volná cesta pro zásobování a styk s osadami, a sice vzduchem. „Musíme Mít Sto Tisíc Letadel," hlásal ministr letectví, a všechno, co mělo ruce a nohy, se dalo do služeb tohoto hesla; konaly se horečné přípravy k tomu, aby se mohlo denně vyrábět tisíc letadel; ale tu zakročily vlády ostatních evropských mocí s ostrým protestem proti tomuto porušování letecké rovnováhy; britská vláda musela od svého vzdušného programu upustit a zavázat se, že nepostaví víc než dvacet tisíc letadel, a to ještě do pěti let. Nezbylo tedy než hladovět dál nebo platit horentní ceny za potraviny, které byly dodávány aviony jiných států; libra chleba stála deset šilinků, párek krys jednu guineu, krabička kaviáru dvacet pět liber sterlingů. Prostě byly to zlaté časy pro kontinentální obchod, průmysl a zemědělství. Ježto válečné loďstvo bylo od počátku vyřazeno, konaly se vojenské operace proti Mlokům jenom na souši a ze vzduchu. Pozemní armáda pálila z děl a strojních pušek do vody, aniž, jak se zdá, nadělala Salamandrům valných ztrát; o něco úspěšnější byly letecké bomby, vrhané do moře. Mloci odpovídali palbou z podmořských děl na britské přístavy, jež obrátili v hromady ssutin. Z ústí Temže ostřelovali také Londýn; tehdy armádní vedení učinilo pokus otrávit Salamandry bakteriemi, petrolejem a žíravinami, vylévanými do Temže a do některých mořských zátok. Nato odpověděli Mloci tím, že vypustili na anglickém pobřeží v délce sto dvaceti kilometrů

inslav

závoj válečných plynů. Byla to jen ukázka, ale stačila; britská vláda byla po prvé v dějinách nucena požádat ostatní mocnosti o zakročení, dovolávajíc se zákazu plynové války.

Noc nato se ozval rozhlasem chraptivý, hněvivý a těžký hlas Chief Salamandra: „Hallo, vy lidé! Ať tedy Anglie nedělá hlouposti! Budete-li nám otravovat vodu, budeme my vám otravovat vzduch. My užíváme jenom vašich vlastních zbraní. Nejsme žádní barbaři. My nechceme válčit s lidmi. Nechceme nic, než abychom mohli žít. Nabízíme vám mír. Vy nám budete dodávat vaše produkty a prodáte nám vaše pevniny. Jsme ochotni vám je dobře zaplatit. Nabízíme vám víc než mír. Nabízíme vám obchod. Nabízíme vám zlato za vaše země. Hallo, volám vládu Velké Britannie. Oznamte mi svou cenu za jižní část Lincolnshiru při zátoce Wash. Dávám vám tři dny na rozmyšlenou. Na tu dobu zastavuju všechno nepřátelství kromě blokády."

V tu chvíli přestala na anglickém pobřeží dunět podmořská kanonáda. Také pozemní děla umlkla. Bylo to podivné, skoro děsivé ticho. Britská vláda prohlásila v parlamentě, že s Mloky vyjednávat nehodlá. Obyvatelé u zátoky Wash a Lynn Deep byli varováni, že patrně hrozí veliký útok Mloků a že by bylo lépe pobřeží vyklidit a odstěhovat se do vnitrozemí; avšak připravené vlaky, auta a busy odvezly jen děti a něco žen. Muži vesměs zůstali na místě, nešlo jim prostě na rozum, že by Angličan mohl ztratit svou půdu. Minutu po uplynutí třídenního příměří padl první výstřel; byla to rána z anglického děla, kterou vypálil Loyal North Lancashire Regiment, hraje k tomu plukovní pochod Červená Růže. Nato zaburácel nesmírný výbuch. Ústí řeky Nen se potopilo až po Wisbech a bylo zaplaveno mořem ze zálivu Wash. Mimo jiné zapadla ve vodách také slavná zřícenina Wisbec Abbey, Holland Castle, hospoda u Jiřího a Draka a jiná památná místa.

Den poté sdělila britská vláda na dotaz v parlamentě: že vojensky bylo vykonáno vše na obranu britského pobřeží; že nejsou vyloučeny další a daleko rozsáhlejší útoky na britskou půdu; že však vláda Jeho Veličenstva nemůže vyjednávat s nepřítelem, který nešetří civilních obyvatel ani žen. (Souhlas.) Dnes už nejde o osud Anglie, nýbrž o celý civilisovaný svět. Velká Britannie je ochotna uvažovat o mezinárodních zárukách,

inslav

které by omezily tyto strašlivé a barbarské útoky, ohrožující samo lidstvo.

Několik neděl nato se sešla světová konference států ve Vaduzu.

*

Bylo to ve Vaduzu, protože ve Vysokých Alpách nebylo mločího nebezpečí a protože se tam už dřív uchýlila většina zámožných a společensky významných lidí přímořských zemí. Konference, jak se obecně uznávalo, přikročila rázně k řešení všech aktuálních světových otázek. Především všechny země (až na Švýcary, Habeš, Afghanistan, Bolivii a jiné vnitrozemské státy) zásadně odmítly uznat Mloky za samostatnou válčící mocnost, hlavně proto, že by se potom i jejich Salamandři mohli považovat za příslušníky mločího státu; není vyloučeno, že by takto uznaný mločí stát chtěl vykonávat státní svrchovanost nad všemi vodami a břehy, kde žijí Mloci. Z toho důvodu je právně i prakticky nemožno vypovědět Salamandrům válku nebo konat na ně jiný mezinárodní nátlak; každý stát má právo zakročit jenom proti *svým* Mlokům; je to jeho čistě vnitřní záležitost. Proto nemůže být řeči o kolektivní diplomatické nebo vojenské demarši proti Mlokům. Státům, napadeným Salamandry, lze poskytnout mezinárodní pomoc jenom tím, že se jim povolí zahraniční půjčky k úspěšné obraně.

Nato Anglie podala návrh, aby se všechny státy aspoň zavázaly, že přestanou dodávat Mlokům zbraně a třaskaviny. Návrh byl po zralé úvaze zamítnut, předně proto, že onen závazek je obsažen už v londýnské konvenci; za druhé, žádnému státu nelze bránit, aby nedodával svým Mlokům „toliko pro vlastní potřebu“ technickou výzbroj a zbraně na obranu vlastních břehů; za třetí, námořním státům „záleží pochopitelně na udržení dobrých styků s obyvateli moře“ a proto považují za vhodno „zdržet se prozatím všech opatření, jež by Mloci mohli pociťovat jako represivní“; nicméně všechny státy jsou ochotny přislíbit, že budou dodávat zbraně a třaskaviny také státům, které Salamandři napadnou.

V důvěrném jednání byl přijat kolumbijský návrh, aby se s Mloky navázalo aspoň neoficiální jednání. Chief Salamander bude pozván, aby poslal na konferenci své plnomocníky. Zá-

inslav

stupce Velké Britannie se proti tomu ostře ohradil, odmítaje zasedat společně s Mloky; nakonec se však spokojil s tím, že zatím odjede ze zdravotních důvodů do Engadinu. Té noci byla státními kody všech přímořských mocí vysílána výzva, aby Jeho Excellence pan Chief Salamander jmenoval své zástupce a vyslal je do Vaduzu. Odpověď byla chraptivá: „Ano; pro tentokráte ještě přijdeme za vámi; příště vaši delegáti přijdou do vody za mnou." Nato ještě oficiální hlášení: „Pověření zástupci Mloků přijdou pozítří večer Orient-Expresem stanice Buchs."

V největší rychlosti se konaly všechny přípravy pro přijetí Mloků; byly uchystány nejluxusnější koupelny ve Vaduzu a zvláštní vlak přivezl v cisternách mořskou vodu do van pro mločí delegáty. Večer na nádraží v Buchsu mělo být jenom tak zvané neúřední uvítání; dostavili se k němu toliko sekretáři delegací, zástupci místních úřadů a asi dvě stě novinářů, fotografů a kinooperatérů. Přesně v 6 hodin 25 minut vjížděl Orient-Expres do stanice. Ze salonního vozu vystoupili na červený koberec tři vysocí, elegantní páni a za nimi několik dokonalých, světáckých sekretářů s těžkými aktovkami. „A kde jsou Mloci?" ptal se kdosi tlumeně. Dvě nebo tři oficiální osobnosti pokročily nejistě v ústrety oněm třem pánům; ale tu již první z nich tlumeně a rychle řekl: „My jsme mločí delegace. Já jsem profesor doktor Van Dott z Haagu, Maître Rosso Castelli, advokát z Paříže. Doktor Manoel Carvalho, advokát z Lisabonu." Páni se ukláněli a představovali. „Tak vy nejste Mloci," vydechl francouzský sekretář. „Ovšem že ne," řekl dr Rosso Castelli. „My jsme jejich advokáti. Pardon, ti páni tady snad chtějí filmovat." Nato byla usmívající se mločí delegace horlivě filmována a fotografována. Také přítomní legační sekretáři dávali najevo své uspokojení. Je to od těch Salamandrů přece jen rozumné a decentní, že poslali jako své zástupce lidi. S lidmi se dá spíš mluvit. A hlavně odpadají jisté nepříjemné společenské rozpaky.

Ještě téže noci se konala s mločí delegací první porada. Na pořadu byla otázka, jak by se dal co nejrychleji obnovit mír mezi Mloky a Velkou Britannií. K slovu se přihlásil profesor Van Dott. Není sporu, řekl, že Mloci byli od Velké Britannie napadeni; britská dělová loď Erebus přepadla na širém moři vysílací loď Mloků; britská admiralita porušila pokojný obchod-

inslav

ní styk s Mloky tím, že zabránila lodi Amenhotep vylodit objednaný náklad třaskavin; do třetice pak britská vláda svým zákazem jakýchkoli dodávek zahájila blokádu Salamandrů. Mloci si nemohli na tyto nepřátelské skutky stěžovat ani v Haagu, ježto londýnská konvence nedala Mlokům právo žaloby, ani v Ženevě, protože nejsou členy Společnosti národů; nezbylo jim tedy než sáhnout k sebeobraně. Přesto je Chief Salamander ochoten zastavit válečné akce, ovšem za těchto podmínek: 1. Velká Britannie se Mlokům omluví za výše uvedená příkoří; 2. odvolá všechny zákazy dodávek Mlokům; 3. jako odškodnění postoupí Salamandrům bez náhrady nížinná úvodí v Pandžabu, aby si tam mohli zřídit nové břehy a mořské zátoky. — Nato předseda konference ohlásil, že podá o těchto podmínkách zprávu svému váženému příteli, zástupci Velké Britannie, který je právě nepřítomen; netajil se však s obavou, že tyto podmínky budou stěží přijatelné; nicméně lze doufat, že v nich můžeme spatřovat východisko k dalšímu jednání.

Nato přišla na pořad stížnost Francie ve věci senegambského pobřeží, jež Mloci vyhodili do povětří, zasahujíce takto do francouzské koloniální državy. K slovu se přihlásil zástupce Mloků, slavný pařížský advokát dr Julien Rosso Castelli. Dokažte to, řekl. Světové kapacity v oboru seismografie vypovídají, že otřes země v Senegambii byl původu vulkanického a že souvisí s dávnou sopečnou činností vulkánu Pico na ostrově Fogo. Zde, zvolal dr Rosso Castelli, tluka dlaní do svého dossieru, jsou jejich vědecká dobrozdání. Máte-li důkazy, že zemětřesení v Senegambii vzniklo činností mých klientů, prosím; čekám na ně.

Belgický delegát Creux: Váš Chief Salamander prohlásil sám, že to udělali Mloci!

Profesor Van Dott: Jeho projev byl neoficiální.

M Rosso Castelli: Jsme pověřeni zmíněný jeho projev dementovat. Žádám, aby byli slyšeni techničtí znalci, zda je možno uměle způsobit v zemské kůře trhlinu dlouhou šedesát sedm kilometrů. Navrhuji, aby nám předvedli praktický pokus ve stejném rozsahu. Pokud není takových důkazů, pánové, budeme mluvit o činnosti vulkanické. Nicméně Chief Salamander je ochoten zakoupit od francouzské vlády mořský záliv, který se utvořil v trhlině senegambské a hodí se k založení mlčího sídliště. Jsme zmocněni se s francouzskou vládou dohodnout o ceně.

inslav

Francouzský delegát ministr Deval: Máme-li v tom vidět náhradu za způsobenou škodu, můžeme o tom jednat.

M Rosso Castelli: Velmi dobře. Vláda Mloků však žádá, aby příslušná kupní smlouva zahrnovala také území Landes od ústí Girondy po Bayonne v rozloze šesti tisíc sedmi set dvaceti čtverečních kilometrů. Jinými slovy, vláda Mloků je ochotna zakoupit od Francie tento kus její jihofrancouzské půdy.

Ministr Deval (rozený v Bayonne, poslanec za Bayonne): Aby vaši Salamandři z kusu Francie udělali mořské dno? Nikdy! Nikdy!

Dr Rosso Castelli: Francie bude litovat tohoto slova, pane. Dnes ještě se mluvilo o kupní ceně.

Nato bylo sezení přerušeno.

Na příští schůzi byla předmětem jednání veliká mezinárodní nabídka Mlokům: aby místo nepřípustného poškozování starých, hustě osídlených pevnin stavěli pro sebe nové břehy a ostrovy; v tom případě se jim zaručí vydatný úvěr, nové pevniny a ostrovy budou potom uznány za jejich samostatné a svrchované státní území.

Dr Manoel Carvalho, veliký právník lisabonský, poděkoval za tuto nabídku, kterou bude tlumočit vládě Mloků; každé dítě však pochopí, řekl, že budovat nové pevniny je daleko zdlouhavější a nákladnější než odbourávat staré země. Naši klienti potřebují nových břehů a zátok v době co nejkratší; to je pro ně otázka bytí a nebytí. Bylo by pro lidstvo lépe přijmout ženerosní nabídku Chief Salamandra, který je dnes ještě ochoten koupit svět od lidí, místo aby se ho zmocnil násilím. Naši klienti našli postup, jímž lze dobývat zlato, obsažené v mořské vodě; následkem toho vládnou prostředky téměř neomezenými; mohou vám váš svět dobře, ano přímo skvěle zaplatit. Počítejte s tím, že pro ně během doby bude cena světa klesat, zvlášť nastanou-li, jak lze předvídat, další vulkanické nebo tektonické katastrofy, daleko rozsáhlejší než ty, jichž jsme dosud byli svědky, a zmenší-li se jimi do velké míry plošná výměra kontinentů. Dnes ještě je možno prodat svět v celém dosavadním rozsahu; až z něho zůstanou nad hladinou moře jenom trosky hor, nedá vám za ně nikdo ani vindry. Jsem zde sice jako zástupce a právní poradce Mloků, volal dr Carvalho, a musím hájit *jejich* zájmy; ale jsem člověk jako vy, pánové, a prospěch lidí mně

inslav

leží na srdci ne méně než vám. Proto vám radím, ne, zapřísahám vás: prodávejte pevniny, pokud není pozdě! Můžete je prodat v celku nebo rozprodávat po jednotlivých zemích. Chief Salamander, jehož velkodušné a moderní myšlení je dnes už každému známo, se zavazuje, že při budoucích nutných změnách zemského povrchu bude, pokud možno, šetřit lidských životů; zaplavení pevnin se bude dít postupně a tak, aby nedošlo k panice nebo zbytečným katastrofám. Jsme zmocněni zahájit jednání ať už se slavnou světovou konferencí jako celkem, nebo s jednotlivými státy. Přítomnost tak vynikajících právníků jako je profesor Van Dott nebo Maître Julien Rosso Castelli, vám může být zárukou, že vedle spravedlivých zájmů našich klientů Mloků budeme ruku v ruce s vámi hájit to, co je nám všem nejdražší: lidskou kulturu a dobro celého člověčenstva.

Za poněkud stísněné nálady byl dán na pořad další návrh: aby Salamandrům byla postupena k potopení střední Čína; za to by se Mloci zavázali, že na věčné časy zaručí břehy evropských států a jejich osad.

Dr Rosso Castelli: Na věčné časy, to je trochu dlouho. Řekněme na dvanáct let.

Profesor Van Dott: Střední Čína, to je trochu málo. Řekněme provincie Nganhuei, Honan, Kianngsu, Či-li a Föng-tien.

Japonský zástupce protestuje proti odstoupení provincie Föng-tien, jež leží v oblasti zájmů japonských. Čínský delegát se chápe slova, ale bohužel mu není rozumět. V jednací síni panuje rostoucí neklid; už je jedna hodina v noci.

V tu chvíli vstupuje do síně sekretář italské delegace a šeptá něco do ucha italskému zástupci, hraběti Tostimu. Hrabě Tosti bledne, vstává a nedbaje toho, že čínský delegát dr Ti mluví dál, chraptivě volá: „Pane předsedo, žádám o slovo. Právě přišla zpráva, že Mloci zatopili mořem část naší provincie benátské směrem na Portogruaro.“

Nastalo hrozné ticho, jen čínský delegát mluvil dál.

„Chief Salamander vás přece dávno varoval,“ bručel dr Carvalho.

Profesor Van Dott sebou netrpělivě zavrtěl a zvedl ruku. „Pane předsedo, snad bychom se mohli vrátit k věci. Na programu je provincie Föng-tien. Jsme zmocněni nabídnout za ní

inslav

japonské vládě náhradu ve zlatě. Otázka dále je, co dají interesované státy našim klientům za odklizení Číny."

*

V tu chvíli naslouchali noční amatéři mlčímu rozhlasu. „Právě jste slyšeli z gramofonové desky Barkarolu z Hoffmannových povídek," skřehotal hlasatel. „Hallo, hallo, nyní přepínáme na italské Benátsko."

A potom bylo slyšet jenom černé a nesmírné šumění jakoby stoupajících vod.

1936

BÍLÁ NEMOC

Как и во многих других произведениях, касающихся общественно-политических вопросов, в драме «Белая болезнь» Чапек прибегает к элементу фантастики. В пьесе говорится о том, что человечество постигла страшная эпидемия, от которой гибнут люди в возрасте 40—50 лет. Средство от болезни нашел медик Гален, в прошлом военный врач. Гален исцеляет только бедных. От богатых, как плату за их лечение, Гален требует отказа от военной политики. Агрессивные военные приготовления возглавляет Маршал и его приближенный барон Крюг. Прототипом первого послужил писателю Гитлер.

Когда заболевает Крюг, Маршал жертвует им, не соглашаясь уступить Галену в его требовании прекращения войны. Затем заболевает сам Маршал, и страх смерти овладевает им. Он соглашается на требование Галена. Но Гален гибнет у дворца Маршала, растерзанный милитаристами за антивоенные высказывания. Заглавие пьесы имеет символический смысл: белая болезнь — это не только вымышленная автором эпидемия, но и фашизм, к борьбе против которого Чапек прямо призывает в предисловии к драме.

Baron Krüg

Obraz pátý

Pracovna Maršálova

POBOČNÍK (*vejde*): Pan baron Krüg.
MARŠÁL (*píše u psacího stolu*): Ať vejde.

(*Pobočník uvede* BARONA KRÜGA *a zmizí.*)

MARŠÁL (*píše*): Sedněte si, milý barone. Hned jsem hotov. (*Položí pero.*) Tak, kamaráde, k raportu. Jen seďte, milý Krügu. Zavolal jsem si vás, abyste mi dal osobně zprávu — Jak si stojíme?

inslav

BARON KRÜG: Dělali jsme, co jsme mohli, vaše excelence. Propočítali jsme všechny možnosti —

MARŠÁL: A výsledek —?

BARON KRÜG: Nejsem ještě spokojen. Osmdesát těžkých tanků denně —

MARŠÁL: Místo žádaných šedesáti pěti?

BARON KRÜG: Ano. Dále sedm set stihaček denně, sto dvacet bombardovacích letadel — Tady by se měla výrobní kapacita ještě hodně zvýšit. Nebudeme vyrábět jenom pro náš —

MARŠÁL: Ovšem. A dál?

BARON KRÜG: S municí je to slušné. Můžeme dodat o třicet procent víc, než žádá hlavní štáb —

MARŠÁL: A plyn C?

BARON KRÜG: Jakékoliv množství. Včera se nám s ním stala nehoda — Praskla v jedné dílně nádobka —

MARŠÁL: Kolik mrtvých?

BARON KRÜG: Všichni. Čtyřicet děvčat a tři muži. Smrt byla — okamžitá.

MARŠÁL: Smutné, ale jinak krásný výsledek. Gratuluju, milý Krügu.

BARON KRÜG: Děkuju, vaše excelence.

MARŠÁL: Tedy tak dalece by bylo vše připraveno —

BARON KRÜG: Ano, vaše excelence.

MARŠÁL: Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnout. Mimochodem, co dělá váš synovec?

BARON KRÜG: Děkuju, vaše excelence, je zdráv.

MARŠÁL: Slýchám o něm — od své dcery. Tak se mi zdá, kamaráde, že mezi námi dvěma... se naváže příbuzenský svazek, co?

BARON KRÜG (*vstane*): Byla by to pro mne veliká čest, vaše excelence.

MARŠÁL (*vstane*): A pro mne upřímná radost, Krügu; už proto, že nebýt vás, nebyl bych se stal, čím jsem teď — To se nezapomíná, příteli.

BARON KRÜG: Byla to jen má povinnost, vaše excelence. Dělal jsem to pro vlast; bylo to... v zájmu mého průmyslového koncernu.

inslav

MARŠÁL (*jde k němu*): Pamatujete se, Krügu, jak jsme si podali ruku, nežli jsem tehdy... vytáhl se svými vojáky proti vládě!?

BARON KRÜG: Pane maršále, na takové dny se nezapomíná.

MARŠÁL: Nu tak, starý příteli, podejme si ruce i teď... před větším a slavnějším tažením. (*Podává mu obě ruce.*)

BARON KRÜG (*couvá*): — — Já nemohu vaší excelenci podat ruku.

MARŠÁL: Proč?

BARON KRÜG: Vaše excelence, já jsem... malomocný.

MARŠÁL (*couvne*): Můj bože! — — Krügu — byl jste u Sigelia —?

BARON KRÜG: Byl.

MARŠÁL: A co —

BARON KRÜG: Poslal mne... k doktoru Galénovi. Tam jsem... také byl.

MARŠÁL: A co řekl Galén?

BARON KRÜG: Že se mohu do čtrnácti dnů vyhojit —

MARŠÁL: Chvála bohu! Ani nevíte, jak jsem rád — Nu tak vidíte, kamaráde, budete zase zdráv!

BARON KRÜG: Ovšem splním-li jednu podmínku.

MARŠÁL: Krügu, splňte ji! Já vám to sám nařizuju — My vás příliš potřebujeme, barone Krügu; ať to stojí co chce — Jakou podmínku máte splnit?

BARON KRÜG: ... Jen to, že zastavím ve svých továrnách výrobu válečného materiálu.

MARŠÁL: — — —Ah tak. Tedy ten Galén je opravdu blázen.

BARON KRÜG: Snad. V očích vaší excelence jistě.

MARŠÁL: A ve vašich očích ne?

BARON KRÜG: Pan maršál promine, ale já se na to dívám... s trochu jiné stránky.

MARŠÁL: Krügu, to přece je vyloučeno, aby vaše továrny zastavily dodávku —

BARON KRÜG: Technicky to nemožné není, vaše excelence.

MARŠÁL: Ale politicky ano. Musíte přimět Galéna, aby na té podmínce netrval —

BARON KRÜG: Jeho jediná podmínka je ... mír.

MARŠÁL: Dětinství! Nemůžeme si dát vnucovat podmínky od nějakého ... utopisty! Podívejte se, Krügu — Povídáte,

inslav

že by vás do čtrnácti dní uzdravil? Řekněme, že byste na těch čtrnáct dní zastavil výrobu válečného materiálu — Pravda, bylo by to hodně nemilé, ale co dělat! Ohlásili bychom, že je to mírové gesto — — že činíme ještě jednou pokus řešit mocenské nesnáze dohodou — Ano, pro vás bych to udělal, Krügu. A jakmile budete zdráv —

BARON KRÜG: Děkuju vaší excelenci. Ale nebyla by to poctivá hra.

MARŠÁL: Kamaráde, ve válce nezáleží na poctivé hře.

BARON KRÜG: To vím, excelence. Ale Galén není tak hloupý — Může léčení protahovat —

MARŠÁL: Pravda, bude vás mít v rukou. — Tak řekněte, Krügu, co myslíte vy sám —

BARON KRÜG: Vaše excelence, dnes v noci jsem byl rozhodnut... přijmout Galénovu podmínku.

MARŠÁL: Krügu, to je šílené!

BARON KRÜG: Ano, strach je šílený, vaše excelence.

MARŠÁL: Vy se tak bojíte —?

BARON KRÜG (*krčí bezmocně rameny.*)

MARŠÁL (*usedne za stůl*): To je tedy... bohužel... velmi těžká věc.

BARON KRÜG: Maršále, kdybyste věděl... To je tak odporný pocit, když člověka proniká strach... až do konečků prstů... Fuj! Fuj!... Já pořád vidím sebe sama... jak křičím za ostnatými dráty... Ježíši Kriste, pomozte mi někdo! Kriste Bože, copak se nikdo nesmiluje —

MARŠÁL: Já vás mám rád, Krügu. Já tě mám rád, člověče, jako vlastního bratra. Co mám s tebou dělat?

BARON KRÜG: Udělejte mír, excelence... Udělejte mír! Spaste mne, spaste nás všechny... (*Sváží se na kolena*). Maršále, zachraňte mě!

MARŠÁL (*vstane*): Vstaňte, barone Krügu!

BARON KRÜG (*zvedne se*): Prosím, vaše excelence.

MARŠÁL: Barone Krügu, musíte zvýšit výrobu válečného materiálu. Nejsem spokojen s čísly, která jste mi uvedl. Víc, víc, rozumíte?

BARON KRÜG: Podle rozkazu, vaše excelence.

MARŠÁL: Očekávám, že svou povinnost k vlasti splníte do poslední tečky.

inslav

BARON KRÜG: Ano, vaše excelence.
MARŠÁL (*jde k němu*): Na to mi dáte svou ruku.
BARON KRÜG: Ne, maršále! Jsem malomocný!
MARŠÁL: Já se nebojím, Krügu. V tom okamžiku, kdybych se bál, přestanu být... vůdcem. Vaši ruku, barone Krügu!
BARON KRÜG (*podává mu váhavě ruku*): Maršále... podle rozkazu.
MARŠÁL: Děkuju vám, barone Krügu.

(BARON KRÜG *se vypotácí ven.*)

MARŠÁL (*zvoní.*)
POBOČNÍK (*objeví se ve dveřích*): Prosím, vaše excelence.
MARŠÁL: Musíte mi najít doktora Galéna.

Opona.

Obraz šestý

Táž pracovna Maršálova.

POBOČNÍK (*ve dveřích*): Doktor Galén.
MARŠÁL (*píše*): Uveďte ho.
POBOČNÍK (*uvede* DRA GALÉNA. *Oba zůstanou stát u dveří.*)
MARŠÁL (*píše dál.*) (*Po chvíli*): Doktor Galén?
DR. GALÉN (*lekne se*): Prosím, pane dvorní rado.
POBOČNÍK (*tiše napovídá*): Vaše excelence.
DR. GALÉN: Totiž vaše excelence, že ano —
MARŠÁL (*píše dál*): Pojďte blíž.
DR. GALÉN: K službám, pane... vaše excelence. (*Přiblíží se o krok.*)
MARŠÁL (*položí tužku a chvilku ho pozoruje*): Chtěl jsem vám blahopřát, doktore Galéne, k vašim úspěchům v léčení bílé nemoci. Dostávám zprávy... od svých úřadů... o vašich výsledcích. (*Bere do ruky fascikl aktů.*) Ty výsledky jsou ověřeny, doktore. Je to podivuhodné.
DR. GALÉN (*zmaten a dojat*): Děkuju uctivě, pane... vaše excelence.
MARŠÁL: Tady jsem připravil jakýsi projekt — Chci totiž udělat z nemocnice u Svatého Ducha státní ústav pro potírání Čengovy nemoci. Nastoupíte tam jako primář, doktore Galéne.

inslav

DR. GALÉN: Ale já... To by nešlo, pane... Já mám totiž takovou klientelu, vaše excelence, že ano... To bych, prosím, opravdu nemohl.

MARŠÁL: Považujte to za rozkaz, milý doktore Galéne.

DR. GALÉN: Já bych jinak s největší radostí, vaše excelence... Ale já přece nemohu řídit... Člověk nemá ani tu zkušenost, že ano...

MARŠÁL: Tak vám to řeknu jinak. (*Podívá se na pobočníka, který zmizí.*) Vy jste odmítl vzít do léčení barona Krüga.

DR. GALÉN: To ne, prosím. Já jen... tady byla jistá podmínka —

MARŠÁL: Vím. Budete tedy léčit barona Krüga — bez jakékoliv podmínky, doktore Galéne.

DR. GALÉN: Je mně hrozně líto, pane... vaše excelence... ale to opravdu nejde. Já... já musím trvati na své podmínce —

MARŠÁL: Doktore, jsou prostředky, kterými lze lidi přinutit... aby splnili rozkazy.

DR. GALÉN: Podívejte se, vy mě můžete dát zavřít, že ano, ale —

MARŠÁL: Dobře. (*Sahá po zvonku.*)

DR. GALÉN: Poslyšte, pane, nedělejte to! Já mám tolik pacientů — Zabijete je, když mne dáte zavřít!

MARŠÁL (*pouští zvonek*): Nebyli by to první mrtví na mé cestě. Ale vy si to ještě rozmyslíte. (*Vstane a jde k němu.*) Člověče, jste blázen — nebo takový hrdina?

DR. GALÉN (*couvá*): Ne, prosím, já — Hrdina jistě ne; ale já byl na vojně... jako lékař... a když jsem viděl tolik lidí umírat... tolik zdravých lidí, že ano —

MARŠÁL: Já byl také na vojně, doktore. Ale já jsem tam viděl lidi bojovat za vlast. A já jsem je přivedl zpátky jako vítěze.

DR. GALÉN: To je právě to. Já jsem viděl spíš ty, které... které jste už nepřivedl zpátky. To je ten rozdíl, pane... vaše excelence.

MARŠÁL: V jaké hodnosti jste sloužil?

DR. GALÉN (*srazí paty*): Jako asistenční lékař u šestatřicátého pěšího pluku, pane maršále.

MARŠÁL: Skvělý pluk. — Nějaké vyznamenání?

DR. GALÉN: Zlatý kříž s meči, pane maršále.

MARŠÁL: Bravo. (*Podá mu ruku.*)

DR. GALÉN: Děkuju, pane maršále.

inslav

MARŠÁL: Dobrá. Půjdete se přihlásit k baronu Krügovi.
DR. GALÉN: — Prosím, abych byl zatčen pro odepření poslušnosti.
MARŠÁL (*pokrčí rameny a zazvoní*).
POBOČNÍK (*objeví se ve dveřích*).
MARŠÁL: Dáte zatknout doktora Galéna.
POBOČNÍK: Podle rozkazu, vaše excelence. (*Přistoupí k* DRU GALÉNOVI).
DR. GALÉN: Poslyšte, nedělejte to!
MARŠÁL: Proč?
DR. GALÉN: Můžete mne potřebovat — třeba i vy.
MARŠÁL: Já ne. (*K pobočníkovi*): Nic. Můžete jít.

POBOČNÍK *zmizí.*

MARŠÁL: Sedněte si, Galéne. (*Usedne vedle něho.*) — Jak vám to mám říci, tvrdohlavý člověče! Podívejte se, mně záleží osobně na baronu Krügovi. Je to vzácný muž a — můj jediný přítel. Nevíte, jaká to je samota, být... diktátorem. Mluvím s vámi... jako člověk. Doktore, zachraňte Krüga! Už jsem... hodně dlouho nikoho neprosil.
DR. GALÉN: Bože, to je tak těžká věc... Já bych tak rád... Poslyšte, já bych měl taky prosbu.
MARŠÁL: To není odpověď.
DR. GALÉN: Prosím vás, vaše excelence, já jen okamžik... Vy jste takový státník a máte tak nesmírnou moc... Ne že bych vám chtěl lichotit, ale — bohužel je to tak, že ano... Podívejte se, kdybyste v y chtěl nabídnout věčný mír... Bože, jak by byli všichni rádi! Vždyť se celý svět bojí jenom vás... všichni zbrojí jen kvůli vám... Kdybyste vy řekl, že chcete mír, bude na celém světě pokoj, že ano...
MARŠÁL: — — Mluvil jsem o baronu Krügovi, doktore.
DR. GALÉN: Ano, právě... Vy ho můžete zachránit... jeho a všechny malomocné. Řekněte, že chcete světu zajistit trvalý mír... že uzavřete smlouvu se všemi národy... a je to. Podívejte se, vaše excelence, vždyť to záleží jenom na vás! Proboha vás prosím, zachraňte ty chudáky malomocné! A co se týče pana barona, mě to tak mrzelo... Prosím vás, už kvůli němu...
MARŠÁL: Baron Krüg na vaši podmínku nemůže přistoupit.

inslav

DR. GALÉN: Ale vy můžete, pane... Vy můžete udělat všechno!
MARŠÁL: Nemohu. Copak vám to mám vysvětlovat jako malému dítěti? Myslíte, že válka nebo mír záleží na mé vůli? Musím se řídit tím, co je v zájmu mého národa. Půjde-li jednou můj národ do války, pak je... má povinnost jej pro ten boj vychovat.
DR. GALÉN: Jenže... kdyby nebylo vás... tak by váš národ do žádné výbojné války nešel, že ano.
MARŠÁL: Nešel. Nemohl by. Nebyl by tak dobře připraven. Nebyl by si tak vědom své síly — a svých šancí. Dnes o nich bohudík ví; a já plním jen jeho vůli —
DR. GALÉN: — kterou jste vy sám vyvolal.
MARŠÁL: Ano. Vzbudil jsem v něm vůli žít. Vy věříte, že mír je lepší než válka. Já věřím, že vítězná válka je lepší než mír. A já svůj národ nesmím připravit o jeho vítězství.
DR. GALÉN: Ani o jeho padlé, že ano.
MARŠÁL: Ani o jeho padlé. Člověče, teprve krev padlých dělá z kusu země vlast. Jenom válka udělá z lidí národ a z mužů hrdiny —
DR. GALÉN: A mrtvé. Já viděl ve válce víc těch mrtvých, víte —
MARŠÁL: To dělá vaše řemeslo, doktore. Já jsem při svém řemesle viděl víc těch hrdin.
DR. GALÉN: Ano, ti byli vzadu, vaše excelence. My v zákopech jsme tak moc stateční nebyli.
MARŠÁL: Zač jste vy dostal ten řád?
DR. GALÉN: To bylo... jenom za to, že jsem ovázal nějaké raněné.
MARŠÁL: Já vím. Bylo to na bojišti mezi zákopy. To nebyla statečnost?
DR. GALÉN: Nebyla, prosím. To jen... prostě jako lékař. To člověk musí, že ano...
MARŠÁL: — — Poslyšte, vy s tím vaším mírem: proč, jakým právem to vlastně děláte? Řekněte, je vám to... uloženo?
DR. GALÉN: Já nerozumím, prosím.
MARŠÁL (*tiše*): Člověče, máte... vyšší poslání?
DR. GALÉN: Ne, vůbec ne. Já jenom jako obyčejný člověk, že ano...
MARŠÁL: Pak to nesmíte dělat, doktore. Musí být vyšší poslání... Musí být vyšší vůle, která nás řídí —

inslav

DR. GALÉN: Čí vůle?
MARŠÁL: Bůh. Já jsem pověřen Bohem, člověče; jinak bych nemohl vést...
DR. GALÉN: To teda... musíte vést tu válku?
MARŠÁL: Ano. Ve jménu národa —
DR. GALÉN: — jehož děti padnou v boji —
MARŠÁL: — a dobudou vítězství. Ve jménu národa —
DR. GALÉN: — jehož otcové a matky zajdou malomocenstvím —
MARŠÁL (*vstane*): Na těch nemám tolik zájmu, doktore. Z těch už vojáci nebudou. Nevím, proč jsem vás ještě nedal zatknout.
DR. GALÉN (*vstane*): Vaše excelence poroučí —
MARŠÁL: Vy uzdravíte barona Krüga. Vlast ho potřebuje.
DR. GALÉN: Tak já tedy... Tak jen ať pan baron ke mně přijde, že ano...
MARŠÁL: — a přistoupí na vaši nemožnou podmínku, ne?
DR. GALÉN: Ano, vaše excelence. Až splní tu... nemožnou podmínku.
MARŠÁL: Vy na tom trváte? Pak ovšem — (*Jde ke stolu. Vtom cinkne telefon.* MARŠÁL *zvedne sluchátko.*) — Ano, osobně. — Jak? — Ano, slyším. — A je — Kdy se to stalo? — Ano. Tak děkuju. (*Položí sluchátko. Chraptivě*): Můžete jít. Chvála bohu, před pěti minutami... se baron Krüg zastřelil.

1937

inslav

MARIE MAJEROVÁ

МАРИЯ МАЙЕРОВА

(род. 1882)

Жизнь и творчество Марии Майеровой, чешской писательницы-коммунистки, неразрывно связаны с борьбой чешского пролетариата за национальное и социальное освобождение, с борьбой за мир и социализм.

Майерова родилась близ Праги, детские годы провела в промышленном городе Кладно, воспитывалась в семье отчима — сталевара. Жизнь кладненских рабочих, знакомая Майеровой с детства, впоследствии была изображена ею в ряде произведений. С 14 лет будущая писательница была вынуждена начать работать. Живя то в Будапеште, то в Праге, она сочетала тяжелый труд с самообразованием. Свои первые произведения Майерова написала в начале 900-х гг. («Рассказы из пекла и другие» — „Povídky z pekla a jiné", «Недруг в доме» — „Nepřítel v domě", «Красные цветы» — „Červené kvítí" и др.). В них говорилось о невыносимой жизни трудящихся, о тяжелой доле женщины. Писательница постепенно шла к широкому, реалистическому показу борьбы рабочих против эксплуатации. Как и многие другие чешские прогрессивные писатели, Майерова окончательно встала на путь революционной борьбы под влиянием Октябрьской революции.

После образования в 1921 г. Чехословацкой коммунистической партии писательница вступила в нее вместе с группой левых социал-демократов,

inslav

В дальнейшем она вместе с Ольбрахтом и Нейманом активно сотрудничала в центральном органе партии «Руде право», вела большую работу по организации партийной печати, принимала участие в редактировании коммунистических изданий.

В 1924 г. Майерова посетила СССР в качестве делегата V конгресса III Интернационала. Знакомство с жизнью советских людей имело большое значение для писательницы и нашло отражение в ее творчестве. Многие статьи и очерки того времени она посвятила Советскому Союзу (наиболее значительный из них — репортаж «День после революции»).

Среди повестей и романов Майеровой следует отметить романы «Лучший из миров» („Nejkrásnější svět", 1923), «Сирена» („Siréna", 1935) и «Шахтерская баллада» („Havířská baláda", 1938).

В первом из них показана жизнь чешского народа в конце 10-х — начале 20-х гг., рост революционного сознания трудящихся под влиянием Октябрьской революции. В этом произведении Майерова призывала рабочих к революционной борьбе против обманувшей народ буржуазии, к борьбе за социалистическое будущее.

Изображению жизни и борьбы кладненских горняков и металлургов посвящен один из наиболее известных романов писательницы «Сирена», охвативший период от середины XIX в. до первой мировой войны. В романе на примере жизни нескольких поколений семьи рабочего Гудца показано развитие рабочего движения в Чехии — от стихийного протеста до организованных забастовок. Ярко и убедительно раскрыт в «Сирене» постепенный рост классового сознания пролетариата.

В романе «Шахтерская баллада», своеобразном продолжении «Сирены», Майерова нарисовала картины жизни чешских шахтеров-эмигрантов в годы первой мировой войны, а затем в буржуазной Чехословакии. Вернувшись на родину из эмиграции, старый шахтер Рудольф Гудец вынужден просить милостыню. Роман говорил читателям о том, что создание самостоятельной Чехословацкой республики не улучшило социального положения трудящихся, что революционная борьба рабочих должна продолжаться. В создании образов Рудлы Гудца и его жены Милки — типичных чешских пролетариев, в композиции и форме повествования, органически связанных с идейной направленностью произведения, Майерова достигает высокого художественного мастерства. Описание событий нередко дается через призму восприятия героев романа, что способствует большой живости их характеристики и динамичности развития действия. Язык произведения эмоционален и глубоко народен. При известной скупости изобразительных средств, писательнице удается достигнуть большой силы эстетического воздействия на читателя.

Отмечая большие заслуги Майеровой в развитии чешской революционной литературы 20—30-х гг., следует все же сказать, что не все ее произведения того периода в равной мере были удачны. Так, например, в романе «Плотина» („Přehrada", 1932) нашли отражение некоторые утопические представления писательницы о будущей революции.

Майерова создала ряд произведений для детей и юношества («Робинзонка» — „Robinsonka", «Недовольный кролик» — „Nespokojený králíček" и др.).

inslav

После освобождения Чехословакии Майерова принимает самое активное участие в общественной и литературной жизни страны. В 1947 г. она вновь посетила СССР. Своими впечатлениями о поездке писательница поделилась с чехословацкими читателями в книге очерков «10 тысяч километров над Советским Союзом» („10 000 km nad Sovětským svazem“).

За последние годы ею написан ряд ярких рассказов и повестей о жизни и созидательной деятельности трудящихся народно-демократической Чехословакии: «Путь молнии» („Cesta blesku“, 1946), «Красивый лес» („Krásný les“, 1950) и др.

За особые заслуги в развитии литературы Майерова была удостоена звания Народного художника. Выражая свое глубокое уважение к литературному труду писательницы, рабочие ряда чешских промышленных предприятий присвоили ей почетное звание члена своих производственных коллективов.

HAVIŘSKÁ BALÁDA

II

...Zvonař ulehl, aby se vyspal z noční směny. V domě nastal klid, pečlivě zachovávaný přísnými pohledy matčinými na chlapecké počínání. Do šumivého denního ticha však pronikavě zamečela koza.

„Jdi a dej jí hrstku sena, opici,“ posílala matka šeptem Zoubka ven, když vtom již Zvonař ve spodním prádle vyšel z pokoje a zapaloval si cigaretu.

„Nemohu nějak usnout,“ řekl mrzutě.

„Já ti dojdu pro pivo, chceš?“

„Ani nemám chuť.“

Zvonař odhodil nedokouřenou cigaretu. Malej se za ní hned vrhl, ale matka mu ji vytrhla.

„Máš zmeškáno!“ hrozila.

„Jestli odepnu pásek!“ zahuboval Zvonař naplano a chopil se novin.

„Jé, tati, dyk žádnej nemáš!“ zubil se Malej.

Ale ani čtení Zvonaře neupoutalo. Pokusil se tedy obrátit svůj neklid jinam.

„Měli jsme tam,“ hodil hlavou směrem k dolu, „malý oheň. Bůhví, co dělali, že se jim zadřel motor. Snad to nemažou ze samého šetření. Co pohání dopravní žlaby, víš? Víš, jak jsem ti o tom říkal! Nedávno to zavedli; žlaby samy dopravují uhel z díla do vozíků. No, a od přehřátého motoru chytla výdřeva a stojky už

inslav

taky hořely. Foukají na to kamenný prach. O to by nebylo — když to dobře dopadlo, ale že oni teďka šetří na všem všudy. Dubová polena na stropnice mají pomalu už jenom pro báňskou inspekci a nám se to láme nad hlavami jako sirky. Uhelného prachu, holka, je pod sýpkami tolik, že je strach se na to podívat. Kdyby to vidělo jiskru, tak letíme všichni, jak jsme tam!"

Havířova žena se sklonila nad látáním. Její hezké modré oči zešedly hněvem. Vybrala si jediného člověka z tolika milionů, jediného, o kterého dbala víc než o ostatní, a i toho jediného jí neznámá síla pořád rve z náručí! Měla zajisté děti, ale ty jsou přece tak trochu ona sama a potom — děti jsou jen jedna polovina životních projevů, ta polovina, již vydávala. Člověk však musí také přijímat, aby se vyžíval celý, jak toho potřebuje, a ona přijímala ze svého muže sílu a vědomí, že je ochraňována. Chápala ho tak dobře v tom, že také on potřeboval kamaráda, aby z něho čerpal! Viděla lidi v jejich celku, jak se jeden o druhého opírá, a cítila bytostně, jak se tou vzájemností vytváří mnohodílná síla odporu. Síla veliká, tím větší, je-li řízena myšlenkou a vedena k cíli, ale pořád nikoli dost vydatná, aby mohla klást odpor neznámé a nezbadatelné zlomyslnosti, která ukládá o tuto lidskou soudržnost, o porušení duchovního společenství, v němž se taví lidské ctnosti i nectnosti a směšují se tak, aby lidé mohli být vedle sebe živi a nepodávili se jako dravé šelmy.

Nestačí otřes války, proti kterému byla bezmocná ta část lidstva a ty lidské vlastnosti, které přejí míru? Ještě nový úklad? Úklad přírody? Proč? Nač?

Ne, to už nemůže snést! Musí se bránit! Ale jak?

Zahrozila mlčky pěstí.

Zvonař na ni hleděl s laskavou shovívavostí.

„Nechtěl jsem tě plašit, ale komu to mám říci, ne-li tobě? Na šachtě si teď člověk musí dát pozor na slovo. Hned je z toho udání a trest."

Cítili oba svou nemohoucnost. Ale jak se na sebe podívali, uvědomili si, že se i nemohoucnost, je-li společná, snáze unese.

Ale jejich něžné duchovní spětí, které ji v novém údobí jejich společného života tak posilovalo, bylo tentokrát surově přeťato úderným strachem, jenž se stupňoval v děs, jak se z neurčitého hukotu, plnícího rychle vzduch, vzepjalo dunění, neklamně vycházející zpod země. V nejbližší vteřině se podlaha zachvěla pod šla-

inslav

padly, okenní skla praskala, spadly hodiny se zdi a hrnky s poličky.

Oba hned vyskočili. Zapomněli na to, co drželi v rukou. Žena se vrhla mužovi do náručí. Jsi tu! Držím tě!

Jsi živ!

Nejsi — tam!

Ale muž, jednou rukou ji objímaje, druhou po paměti hledal šat. Jsem živ, ale druzí čekají na mou pomoc. Musím jít!

Ó, věděla, že ho nesmí zdržovat! Věděla, že o tom nesmí promluvit ani slovo, neboť dělal něco, co se rozumělo samo sebou, třeba ji to krutě zraňovalo. Vždyť ona právě tak samozřejmě očekávala své porody, jejich bolesti a jejich nebezpečenství. Život a smrt, smrt podmiňující život, v těchto okolnostech uznávala jejich skupenství. Její paže povolovaly, propouštěla ho s bolestí jako rodící se dítě.

Vteřina výbuchu ještě trvala, když Zvonař již vyrazil ze dveří. Pes nalehlý na veřej vrazil do světnice a zavyl. Jeho pronikavý sten dal přesný tvar hrůze, která se oběma odvíjela ze dna mysli jako útočící jedovatý had, probuzený výbuchem.

„Kluk je pod zemí!“ skříplo jí z hrdla. V té chvíli byl on, nejstarší, jediný ze všech pěti; z nich všichni byli zahrnuti do výkřiku po něm. Byl jediný, neboť byl ohrožen. Jediný, neboť kde byl? Byl?

Nad domky, nad stromy vyplazoval se plamenný jazyk; jeho oheň sebou pleskl průsvitně a plošně v dýmu rychle se rozrůstajícím z původní hutné kolmice. Zvonař si navlékal v běhu rukáv a nemohl trefit; nedbal a nedíval se, měl oči zmagnetisovány barvou kouře, jen pomalu se rozptylujícího. Nevěděl ani, co dělá; kromě pádění kupředu si žádný pohyb neuvědomoval.

Jemu v patách běžel nejprve jeden horník, také mlčky a také zděšen černí kouře. Z každého domku však, který míjeli, vybíhal nový a nový druh a připojoval se k nim. Podzemí dunělo opět a opět. Sesypalo se do zahrádek rozbité sklo oken, ženy ječely a nesmyslně pobíhaly uličkami.

Cesta k dolu, cesta mezi haldami, železárnami, jeřáby, plynojemy a kolejnicemi, cesta znamenaná komíny místo mezníků se zaplňovala postavami jako černou povodní; hustěji a rychleji běželi, jeden druhého nevnímaje, jako by právě jemu hořelo na obzoru stavení.

inslav

Teprve ti, kteří se musili zastavovat, protože dav zhoustl a oni se již nemohli hnát kupředu volným prostranstvím, ohlédli se po tom, kdo byl právě vedle nich, a zašeptali:

„To je na Eitlu, člověče!"

„Vidíš ten černý kouř? Plyny!"

Ze všech tváří, pojednou stejně vyzáblých děsem, drala se mlčenlivá otázka: Co se stalo? V jakém rozsahu? Všechno, co bylo pod zemí? Nebo jen některé jámy? Otázky je zasypávaly jako saze padající z dýmu.

Chtěli doufat, zachycovali svou naději na výšce plamene, na hustotě kouře, na síle podzemního dunění.

Ale plamen šlehl tak vysoko! Ještě teď, když byl stráven dýmnými mraky, oslňoval je svou nemilosrdnou výškou a nutil je myslit na nejhorší. Počítali klusajíce: osádka je teď za války skoro dva tisíce lidí, dělá se na tři směny, právě sjela směna odpolední, vždyť oni sami, jak tu běželi, právě došli z dopolední, byli většinou vytrženi z prvního spánku a měli ve tváři ještě zmatek náhlého probuzení.

Teď se všechny cesty k Eitlu pohybovaly jako černí živočichové, pomalu postupující kupředu. Do těchto táhlých, mnohohlavých těl se vedrávaly lesklými čenichy automobily, poplašně houkající, supěly a kýchaly motocykly, províjela se jimi kola dělníků.

Tu a tam některý jednotlivec natáhl paži, jako by zkoušel, prší-li, a zesinal, když se mu na hřbet ruky v mžiku snesly sazové vločky. Vločkami svědčila vodní pára, barvená miliony uhelných prášků, že se sopečně vydrala z dolu a sebrala s sebou násilím, co jí bylo v cestě.

Země se zachvívala vnitřními otřesy a po ní pádily podklesávající nohy. Dusaly a hučely, splývaly s rozzuřeným podzemím v táhlou a hrozivou výstrahu. Pohom umlkly výbuchy, osaměl zvuk kroků, rozptýlil se v ticho a dav se sunul jako nassávaná hmota, poháněná cizí silou, takže bylo slyšet jen sykot a zdušený šum — a potom zaječela přerývaným kvilem siréna.

Nevěděli nic, a přece věděli všechno.

Pláč důlní houkačky usedal, zvedal se, vzlykal a k němu se jedna po druhé přidávaly svým rozryvným lkáním sirény ostatních závodů, jak koldokola po celém kraji promlouval telefon svou ustavičně obávanou, a přece v své náhlosti ohromující zvěst. Siréna ječivá, trhající ušní bubínky, siréna v přesekávané spojitosti

inslav

jako rozžhavený řetěz zvuků, siréna tence plačící jako raněné dítě; deset, padesát sirén kvílelo nad hlavami spěchajícího davu jako pohřební chór neviditelných bytostí, naříkaček bez těla.

Hodinovou vzdálenost uběhl Zvonař za dvacet minut. Cíl se mu jevil hustým černým mrakem; neviděl ani oplocení, ani těžnou věž. Kudy tam?... A přece tam musí jít!

Dav, který se zastavil a rozděloval v hloučky před hradbou dýmu, šuměl teď pohřebním šeptem. Známí se vyhledávali, aby se poradili, jak na to. Noví a noví lidé přibíhali; někteří napolo oblečení, jiní s nějakým vysloužilým kahanem, kterým si doma svítili do chlévců.

Vozy záchranných stanic zvyšovaly zmatek, neboť nikdo zatím pořádně nevěděl, kam je postavit a čím nejdřív zaměstnat lékaře, jenž si připravoval nástroje, a sestry, které zachystávaly nosítka.

Zvonařovy rty se mlčky pohybovaly. Sám se sebou se radil. Kluk! Kluk je pod zemí! Snad ani neví, že má utíkat proti větrům, když se vzbouří plyny! Co tam dělá? Nepřimáčkl ho vozík při náhlém zborcení stěn? Nespadl na něj uhel nebo skála? A jestliže utekl, zdali si vzal s sebou kahan?

„Tady jsem pro nic," šeptaly si Zvonařovy rty. V černi zvířeného uhelného prachu se zmítaly kolem šachty postavy ve zdánlivé bezhlavosti. Přesto však si uvědomil, že se šikují první záchranné roty z havířů, jak muži dobíhali k místu neštěstí, stále dýmajícímu. Zvonař se přidružil k jedné trojici, postál, přejel nevnímajícíma očima tři zachmuřené muže, ale neměl stání, zase odběhl a nohy jej samy nesly k první větrné šachtě, spojené s kutištěm Hugo, kde pracoval Princ.

Srdce mu zabuchalo radostí. Šachta vypadala nezavalená a ani dým z ní nevycházel.

Vrhl se do jámy, jak byl — ani mu na mysl nepřišlo, že by měl mít masku a dýchací přístroj a špičák; stačilo mu, že ucítil pod nohama železný svor, zaražený do šachetní stěny.

Chytil se vlhkého železa, zdrsnělého starou rzí, ale sotva se vnořil do hlubky, kde přestával denní svit, zahlédl pod sebou potácející se lidský stín.

Opatrně kladl teď nohu za nohou na každý nový železný svor pod sebou, aby nepřišlápl lezoucímu prsty. Jednou rukou se přidržel a pak se sklonil, jak mohl nejníže. Podal druhou omdlévajícímu havíři.

inslav

Sotva ho vytáhl z jámy, slyšel ropot druhého; za druhým se drápal třetí a čtvrtý — všichni lapali po vzduchu. Zbyla v nich malá trocha vědomí, která je setrvačně postrkovala vstříc záchraně. Chytali se ho ne za podávanou ruku, ale kam se dalo.

Když vylezli, ukládali se pomalu na zem, zkroucení a sténající. Otvírali oči a poznávali ho. A když viděli, že se vrací k šachetnímu otvoru, zvedali hrozivě ruce. Nebezpečí jim vracelo vědomí aspoň natolik, aby mu dali výstrahu.

„Koukej, člověče, jak vypadáme," hekal první zachráněný malátným hlasem. „Chceš tam spadnout? Neslezeš ani pět kramlí, a sletíš!"

Zaváhal a chvilku na ně chmurně hleděl s výše vzpřímeného těla, jako by odhadoval podle jejich zhroucení, čeho se odvažuje.

Vycítili to, našli řeč v hlubině potlačovaného života.

„Můj kluk je pod zemí," zašeptal Zvonař.

„Tudyhle si pro něj nelez, to si dej zajít!" zahučel druhý ležící havíř.

„A jak to, kamarádi, že vy jste se dostali nahoru," zeptal se Zvonař po chvíli mlčení, v níž havíři sbírali síly, ležíce na zádech se zamodralými spánky, se zavřenýma očima, ale s ústy otevřenými a s odhalenou hrudí, škubavě oddychující.

„My jsme dělali v revíru Hugo, asi tak dvě stě metrů od šachty. Nás šest..."

„Šest," hlesl Zvonař. Počítal je očima. Byli čtyři.

„No šest, když ti říkám. Na tom díle jsme mohli dělat při acetylence. Najednou zhasla, fouk do ní vítr ze štoly. Aha, povídám, někde to bouchlo. Vytahuju elektrickou lampičku z kapsy: tři hodiny. Abych to hlásil. A jdeme."

Odmlčel se únavou.

Třetí ležící vzal konec jeho řeči a navázal, lapaje po dechu. „Jdeme... co říkám: Jdeme!... Utíkáme, jak se dá v té tmě, za jedinou lampičkou. Jenže na větrné křižovatce už byl kouř. Pak jsme mohli jít jen co noha nohu mine... on byl Pers špatný na dech, musili jsme ho podpírat."

Dosupěl, a první mluvil opět:

„Jak nám to dlouho trvalo, nevím. Konečně jsme byli u větrné šachty. A všichni; jenže, kamaráde, kramle nikde! Svítím nahoru — přece tam kramle byla! Ale pět příček pod ní scházelo!"

inslav

Čtvrtý se obrátil na bok; mávl odmítavě rukou, jako by už nic nechtěl slyšet.

Ostatní však uváděli teď svůj osud do slov, zaznamenávali si jej do paměti, dávali mu tvar, v němž se k němu od té chvíle budou vracet. Jeden druhého předbíhal. Chrčeli a funěli:

„Skočil jsem ti na záda a dosáhl jsem kramlí."

„Já za tebou."

„A po mně Lain."

„Pak jsem tě přitáhl k sobě."

„Ale Pers už nemohl. Ležel. Neozýval se."

„Musili jsme nahoru."

„Aby nebylo pozdě."

„Jak jsme dolezli? Jak? Nemohu se na nic upamatovat."

„To nevíš, jak spadl Lain? Byl jsem poslední. Srazil mi čepici. Já se jen držel, jen držel."

Jako by ta vyslovená zkušenost jim byla ulevila, namáhali se posadit, pak vstali a podepřeli druh druha. Opírali se o sebe jako smutní opilci; potáceli se a zamířili pudově nejbližším směrem z ovzduší zamořeného dýmem a sazemi. Jeden z nich se ještě napůl ohlédl a chraptivě řekl směrem k Zvonařovi:

„Klec, kamaráde, ani klec tam nevisela na laně!"

Zvonař stál chvíli nad větrací šachtou. Vykročil a nahnul se; vůle jej hnala dolů. Dusný van smrti jej však odstrčil, až ztratil dech. Chytil se za hlavu a pádil zpět k těžné věži.

Dým z jámy prosákl celým modrým odpoledním. Bylo šero jako navečer. V tom soumraku neštěstí se mu přibližovaly obrysy povrchových šachetních hmot. Tměla se těžná věž a budovy pod ní, dosud neurčité. Neurčitě se také rýsovaly davy. Obyvatelé havířské kolonie. Zvědavci z města. Lidé z malých průmyslových obcí. Dvanáct set mužů z osádky Eitla, polovina právě vyfárala a polovina se chystala vystřídat odpolední směnu. Směnu pohřbenou?

„S Klukem!" znělo kdesi na dně Zvonařova nitra jako na ozvučné desce, která se chvěje po hlase.

Muži, ženy, děti tu stáli, opírali se o zdi, o telegrafní tyče, sami o sebe. Z hloučku vycházel temný repot. Vyšlehoval ženský pláč, ženské žaloby, zoufalé volání boha. Pláč dětský se třepal při zemi nepřetržitě mezi přešlapujícími kroky.

Dav se zastavil před šachetní mříží a před půlkruhem četníků. Ale také před vyceněným nebezpečím podzemí. Šachta ještě gej-

inslav

sírovitě chrstala oheň. Záchranné mužstvo pochodovalo pro kyslíkové dýchací přístroje. Šli čtyřstupem a jejich údy slojemi všelijak zohýbané si vzpomínaly na vojenský cvik. Zvonař mlčky doplnil poslední trojici, ale za ním ihned začal ohon dorůstat.

Inženýr, který se odlišoval od oblečení havířů jen tím, že měl na nohou řádné, pevné boty, zatím co mužstvo bylo obuto do spravovaných křápů nebo do dřeváků, dával rozkazy konejšivým, otcovským tónem. Společné nebezpečí jej srovnávalo s havíři ještě víc než stejné hadry. První čtveřice vešla do zásobny a velitel polohlasem oznamoval prvním rotám postup záchranného díla. Říkal: záchranného, ale nedíval se při tom lidem do očí. Bylo mu trapno lhát v té nelítostné pravdě, která byla všem zřejmá.

Ve dveřích zásobny, jejíž zdi byly popraskané a střecha posunutá jako veselý klobouk, objevila se rozhněvaná tvář.

„Kyslíkové bomby jsou prázdné, pane inženýr."

Vůdce rot nezvykle ožil a rozběhl se ke kanceláři. Zpráva šla od úst k ústům; Zvonař ji vzal na vědomí, jako by ji byl očekával, opustil svůj čtyřstup a klestil si cestu k jiné skupině mužstva, již zahlédl mezi hromadami cihel, kamení a zpřerážených nosníků. Mohutnost těchto trosek a jejich zlomů mluvila děsivě o síle hromového výbuchu.

Tuto skupinu vedl směnmistr v čapce báňského akademika, již si narazil pro větší autoritu. Prolézal mezi hromadami a šťouchal do zříceného rumu železnou tyčí; muži za ním jako hejno ptáků hledajících potravu, tak dychtili zachraňovat, pomáhat, vysvobozovat!

Na rozmetaném jehlanu stavebního písku, který v nevypočitatelné náhodě výbuchu toliko pozbyl tvaru, leželo něco jako tulácké hadry v příkopu. Muži se k tomu vrhli. Zvedli ležícímu hlavu, neměla ran. Zapískli o nosítka. Zlehka se dotýkali paží a nohou; byly bez vlády, ale zdály se neporušeny.

„To je kovář," řekl směnmistr a zasalutoval. Ostatní váhavě smekali své strašácké klobouky před prvním mrtvým.

Na černé tváři kovářově se však ukázala malinká změna, pohyb sotva znatelný, hebounké chvění, které poodhalilo tenký srpeček bělma. Muži nad kovářem sklonění opakovali bezděky to slabé chvění jako zrcadla. Směnmistr sáhl do kapsy; odzátkoval plechovou láhev, a ostrá vůně jalovcové polechtala nozdry. A ještě než přiložil hrdlo láhve ke zkřiveným ústům, kovář se podíval užas-

inslav

lýma očima do života. Napil se, odfrkl — a již se opíral o loket, neboť chtěl vstát.

„Ty jsi přece dělal na těžné věži dnes odpoledne," nedovedl směnmistr potlačit svůj úžas. „Jak ses dostal dolů, prosím tě?"

Tu se kovář rozpačitě poškrábal za uchem, jako by byl provedl něco nenáležitého, a začal vysvětlovat, že vyměňoval nýty a traversa že se mu v ruce začala třást.

„Až tě shodila, viď?"

„Ani ne, myslím, že jsem seskočil. Ale vůbec jsem se nemohl dostat dolů, vznášel jsem se jako anděl."

„Asi odporem vzduchu. Tys to vyhrál!"

Záchranná skupina hučela vesele jako včelí rej okolo květu. Dva muži odvedli zachráněného ke čtyřem stěnám, které zbyly z kovárny. Chvilku si poseděl, napil se a pak se dal do díla.

Zvonař se z této události radoval ještě více než ostatní. Dávala mu naději, takže spodní hlas, opakující v něm ustavičně jméno Klukovo v odstínech žalných i vznícených, podle toho, jak okolnosti tlačily na jeho důvěru, poháněl ho dál a k větší výkonnosti.

Ale nálezy na povrchu byly od té chvíle smutné. Živý vyvázl jen dřevičův pomocník. Vyjel pro kulatinu, právě si u hromady naložil vozík a zaměřoval s ním k těžné jámě, když ho oslepila zář, a hned potom byl hromovým výbuchem odhozen.

„Támhle stál strojník Linke," tvrdil, „viděl jsem ho, dával naddůlnímu hlášení!" A když záchranná četa se obrátila v ten směr a viděla tam jen hromadu rozbitých cihel, opakoval svou větu, jako by nechápal, proč všichni neběží rychle strojníka vysvobodit.

Nevěděl, co věděli oni: že strojníka v krvi odnesla první nosítka a z naddůlního našli zatím jen ruku, ležící na knize důlních záznamů.

Zvonař chodil od skupiny ke skupině a poslouchal, co kdo říká. Tápal: bránil se uvěřit nejkrutější jistotě.

„Na povrchu se již nikdo nenajde," uzažoval jeden hlas. „Dnes odpoledne se přece uhlí jen kutalo a v třídírně se nepracovalo."

„Kdy se spustíme?" staral se druhý. „Výdušná jáma je prej už dobrá."

inslav

„Stejně je všechno marný, vždyť se v tom nemohl nikdo udržet na živu!“

„Já byl u třetí větrací jámy; člověče, tam je ti půda horká jak plotna a čmoud stojí nad ní zrovna jako černý strom. Kutiště Olga asi zařve.“

„Berou vzorky plynu — ale bez masek tam stejně nikdo nemůže.“

„Prej se tam spustí krysy, jestli to vydrží.“

„My jsme sami krysy,“ trpce zažertoval Stařík, Zvonařův parťák; „uvidíš, že se to zatopí, a konec.“

„To přece není možné,“ otřásl se Zvonař. A jeho mozek vyráběl z napěchované úzkosti slovo za slovem:

„Kluk, Kluk je pod zemí!“

Ale nevyslovil je. Zasykl vztekle:

„Moc rozumu!“ Se sklopenou hlavou pozoroval vrstvu pod nohama, kde byly střepiny skla, úlomky břidlice a úhelníky vypadlé z přeražených okenních rámů, a cítil, jak se v něm zvedá bouře proti tomu, že stále ještě nikdo nesjel a hlavně že on sám je nucen chodit sem a tam, zatím co hořel netrpělivostí, aby už byl pod zemí a hrabal se rozvalenými chodbami a porubními komorami, čmoudem a prachem k místu, kde snad... najde Kluka!

Bezradné oči vzhlédly; těžná věž, průhledný sloup zbudovaný ze zkřižovaných nosníků, opřený o zem šikmými opěrami a mohutnými lany, aby bezpečně nesl lanový kotouč těžné klece, umístěný na jeho vrcholu, těžná věž Eitla žalostně pokřivená, s potrhanými lany, se zuráženými kusy tyčového železa, tak spolehlivého, tak mohutného! Ty křivolakosti a mezery se kladly do Zvonařovy tváře vráskami stejně křivolakými.

Ale zároveň v něm ten znak zkázy utvrdil jasné odhodlání: teď již musí dolů, musí někoho přinutit, aby uspíšil sjezd, než bude pozdě!

Rázným krokem zamířil k dílenské budově naproti šachtě, kde byla nyní kancelář. Sotva však došel tak blízko k ohradě, že rozeznal tváře namířené bez hnutí ke kladce těžní věže, poznal Milku a čtyři chlapce. Jak píšťaly u varhan stáli vedle sebe, každý se držel křečovitě napjatými prsty jedné železné tyče oplocení, celý upřený k šachtě. Stály tak děti i matka.

Chvilku zapochyboval: jsou to opravdu jeho děti, ti rozjívenci, chechtálkové, ta nevycválaná práčata? Byly to jeho děti a ne-

inslav

byly. Měly teď docela jiné oči; ty vyjevené a odbarvené oči, namířené k šachtě, nemyslí na čertoviny, ty nohy v hrubých botkách nejsou zchystány ke kopu do mičudy; jeho kluci se celí změnili, k nepoznání ztichli, neboť jsou veškerým zájmem upoutáni k místu, kde je v nebezpečí jejich bratr.

Ne, teď k nim nemohl přistoupit, teď s nimi nemohl mluvit! Byli by ho oslovili otázkou, na niž neměl odpověď.

Obrátil se od nich s hlavou schýlenou a cítil na zádech skoro hmotně jejich zklamané pohledy, neboť ho viděli, to bylo jisté! S hořem, kterým se cítil i na dálku stejně a společně s nimi prostoupen, pronikla ho zároveň bolestná krása rodinného souručenství, vzájemné pomoci, pomoci bez rozmýšlení a s nasazením veškerých sil! Ti kluci se doma rvali, šidili se, záviděli si, každý z nich byl jinak dobrý a jinak zlý, ale v této chvíli se cítili jediným tělem.

Rodina a havířina mají stejné zákony!

Stanul uprostřed rozlámaných součástek kdovíjakých strojů, zbytků nerozpoznatelného nářadí, trámů uhlím zčernalých, zporážených plotů, zohýbaného válcovaného železa, žebříků narychlo zpodpíraných k první pomoci. Stál jako sloup.

Stál jako sloup a všechno v něm utíkalo. Má běžet od větrací šachty k šachtě a hledat vchod, který by propustil aspoň jednoho muže, aspoň jej? Má se hnát směrem k jižnímu revíru, na okrsek Frederika, a spodem se nějak dostat do kutiště Hugo? Má se pokusit na revíru Glück? Hugo byl zamořen, ťam se nedá nic dělat, a Olga rozžhavila i půdu kolem větrací jámy.

Že dlouho potrvá, než bude k potřebě těžní klec, poznal na první pohled, jímž posoudil těžnou věž. Zbývá jen východní šachta — ta prý je sjízdná. Je? Pohlédl k ní, jako by ji oceňoval. U šachty stáli čtyři muži s plynovými maskami na tvářích, ústenky filtrů byly spojeny s kyslíkovým přístrojem. Tak přece! Krok, kterým se k nim vydal, byl dlouhý jako skok.

„Pane inženýre, prosím vás!“ Oslovený pokrčil rameny.

Strojníci, kteří pracovali na opravě klece, odstoupili. Hotovo. Jeden si na důraz ještě udeřil kladívkem do železné závěry, až to zazvonilo. Čtyři muži v maskách se hrnuli směrem ke kleci. I pochopil Zvonař, že rota s přístroji je první ohledací komise, a dokud se tato komise nevrátí, nemůže on ani připravené záchranné party do dolů.

inslav

Čekání! Opět čekání! Kolem jámy se skupili muži, nachystaní sjet pod zem hned, jakmile se vrátí čtyři znalci, čtyři soudci, čtyři hledači spravedlnosti pro šest set pohřbených.

Tiše tu stáli a posedali smutní havíři. Z třídírny sem přišla Milfaitová s dřevěným nosidlem, v jehož příhradách stály plecháčky s černou kávou. Nabízela jim mlčky; brali tu horkou tekutinu do úst neochotně, jako trpký lék. Když došla k Zvonářovi, zdušeně vykřikla a chytla ho za rameno. Mlčky se ho ptala očima, když jí právě tak beze slov, ale srozumitelně přikývl, že je pravda, čeho se obávala, začala poplakávat.

Zvonař se zamračil a požádal ji, aby donesla trochu kávy Milce a dětem. „Jsou venku," ukázal hlavou za mříže.

Mlčení mužů se měnilo v přerývaný šepot.

Půlkruh čekajících se rozšuměl. Hleděli upřeně na šachtu, jako by soudili obžalovanou.

„První výbuch šel k těžní jámě, podle mého."

„Pořád... jak se to mohlo stát? To dá rozum! Zapařilo se uhlí. Na kutišti Glück hořelo v jednom kuse, oplácávali to mokrým blátem."

„Já říkám, že to byl uhelný prach. Třaskavý plyn ti nikdy neudělá takovouhle paseku. Vždyť jsem to nejednou zažil při střelné práci; plyn se až k vtažné jámě nedostane, ale uhelný prach jo!"

„Ten jo," dosvědčilo několik hlasů.

„A jak letí! Nevěřil bys, jak rychle přenáší oheň!"

„Nedal bych za to ani fenik, že jsem již pár dní cítil studený smrad po plynu. Ale člověk nechce dělat paniku a nemá ani kdy na to myslit!"

„Nebezpečí tam dřepí, člověče, ale ty je zkrátka nesmíš vidět, proto jsi havíř. Tamhle pozdvižina? Podepřeš to. Vnitřní tlaky? Posloucháš u zemské stěny, čekáš, co to bude dělat. Otřesy vrstev? Nedej se vysmát, to jako by ses nahoře bál zemětřesení. Hejbá se to? Postavíš nové páry stojek, aby měl hunt bránu dost širokou. Dál se o to nemůžeš starat."

„Pravou příčinu se nikdy nikdo nedoví! Tam, kde to prasklo, bude asi všechno zaplaveno důlními vodami; takovou dobu se už nečerpá! Jistě je všechno rozmláceno, pumpy, potrubí i motory! Taková věc se může stát jen za války!"

Poslouchali se navzájem jedním uchem, ale přitom druhé

inslav

nastavovali směrem k opravené vodní šachtě. Číhali na zvonkové údery.

Zaznělo třikrát; to řeklo: velmi pomalu.

Četníci, hasiči — vše, co bylo na povrchu šachty, umlklo a obrátilo sem tváře. Přestali zvonit kladivy zámečníci u těžné věže, osvobozující klec výbuchem zaklíněnou mezi nosníky. Přestala cinkat nádobím Milfaitová a vyšla před pobořený barák. Lékaři a sestry dělali spěšné drobné pohyby, jako by se přesvědčovali, že mají vše dobře připraveno. Nově přihlášené záchranné družstvo, které se cvičilo v zacházení s maskami, odvrátilo se od instruktora a bezděky rovnalo údy do pozoru.

Pomalu se odvíjelo lano, pomalu se vysunovala klec. Na prvním patře těžné klece stáli dva muži nad balíkem bez tvaru, hrubou plachtou nezavázaným a zkrvaveným.

Je zapotřebí nosítek? Samaritáni stáli ve střehu, ale s rozpaky. Inženýr v masce jim kynul: Ano.

Dále se pomalu odvíjelo lano. Teď se vynořuje přízemní oddíl klece. Dva muži podpírají podlouhé břemeno, také plachtou přehozené. Má lidskou podobu, aspoň svou výškou: samaritáni je kladou na nosítka a plachtu neodhalují. Ztrnulý postoj prozrazuje sám, že vytažený muž je po smrti.

Mezitím sňal inženýr masku.

„To je důlní Lenk," řekl, „ležel hned u nárazíště."

„A to — a ten druhý?" zašeptal četník.

Inženýr nejdřív pokrčil rameny. Pak řekl umořeně:

„Nevím. Kahan jsme nenašli. Uložte je na pryčny."

Teprve teď obrátili samaritáni pozornost k členům komise a rychle podali každému sklenici černé kávy, jíž sem Milfaitová připravila velký džbán. Ruce nesoucí sklenky k ústům se chvějí. Chvějí se i nohy až k zapotácení. Potůčky černého potu stékají za krk a do očních důlků.

Ticho je děsivé. A přece by každý čekající chtěl vědět... Jak by z nich každého potěšilo byť jediné nadějné vzhlédnutí! Muži z dolu však mlčí.

Odepjali kyslíkové přístroje a jdou vratkými kroky do kanceláře.

Zvonař se přidal k záchrannému mužstvu, které sledovalo komisi, neboť od ní stále čekalo nějaká slova. Byl stále jednou nohou na útěku; hned by se spustil do jámy, třeba sám. Měl nutkání:

inslav

„Snad přece... Kluk mohl třeba zaběhnout do hluchého příkopu. Možná, že je tam ještě živý, tam se výbuch rád zarazí! Je tam živý a volá o pomoc!“ Najednou si ho představil:

„Nikdo ho neslyší. — Nikdo neuslyší.“

Zvonař však měl také rozum a ten ho udržel v houfu. Čekali chvilku před kanceláří a dočkali se. Závodní právě jen vyslechl komisi a ihned vyšel z domu. Záchranné roty byly za minutku utvořeny. Dostaly plachty, vápno, písek, nářadí.

Třicet mužů sjelo pod zem, aby zazdili, aspoň prozatímně, největší a nejbližší ohniska.

Třicet dalších se cvičilo v zacházení s přístroji.

Mezitím se postupně dostavovaly čety vyzbrojeného záchranného mužstva z okolních dolů.

Povrch šachty horečně pracoval. U těžné věže vybavoval zachráněný kovář s pomocníky klec ze zajetí nosníků a podpěrných záchytů, tesaři dávali do pořádku pažnice a průvodní latě — které byly výbuchem servány do veliké výše nade dnem — aby mohla sjíždět aspoň jedna klec, zedníci mísili maltu a napravovali škody na budovách, havíři s četníky odklízeli trosky, dělníci opravovali povrchové čerpací zařízení a chystali světla. Na ně ustavičně, jako by byli pod soptícím vulkánem, sněžily saze s popelem z mraku, který se nerozptyloval a v nepohnutém vzduchu stál nad krajinou.

Na šachetním plotě stále ještě visely ženy a děti, zoufale vážné matky ztrhaných rysů s kojenci na rukou, staré ženy žluté pleti s očima do krhava vyplakanýma. Měkké povahy omdlévaly, vznětlivé občas zalomcovaly šachetní branou, zaklínaly četníky a hasiče, aby je pustili na důl, že musí vidět své lidi, ony že je zachrání. Chtěly nemožné na nemohoucných. S pažemi brzy vyčerpanými odstupovaly pak v rozryvném pláči, jenž tam hořce dozníval, ale jinde vyjekl novým zaštkáním.

Dav je teď kolkolem nepřehledný.

Jsou v něm železniční zřízenci, přišli i průvodčí z bochumsko-dortmundské tramvaje; hutníci, úředníci, drobní obchodníci. Cizí lidé a přespolní i příbuzní do kolikátého kolena: dědové provisionisti, bratři a bratranci, havíři, synové, budoucí vozači, odbírači, kopáči, rubači... manželky a vnuci. Šeptem se bolestně dohadují: A jejej, vždyť z téhle rodiny tam jsou snad všichni mužští! Achich, ach, mladá paní, která vždy na chvilku odběhne domů

inslav

k churavému děťátku, vrací se vždy zrovna kalupem, dychtivá, zdali již nezmeškala výjezd drahého manžela. Je s ním teprve rok! Žena důlního Lenka, matka sedmi dětí, dověděla se již tajemnou cestou o tom, že Lenk byl vytažen mrtev; nejdřív omdlela, a když ji vzkřísili, chtěla na šachtu, vyspílala četníkům, a teď, ochraptělá, stojí jako furie na haldě, odkud je vidět kousek šachetního nádvoří, s vychrtlou hrůzou v celém těle.

Když davy zvěděly, že první záchranné čety sjely pod zem, utichly nelidské pláče žen i šepty a repoty mužů. Smuteční klid se prostřel nad ponurým divadlem. Nevíra v dobrou zvěst se střídala s nadějí ve výrazu očí, ale pohledy byly neúchylně upřeny na kladku výtažního stroje.

„Co je lepší, hrozná jistota či malá naděje?“ myslil si Zvonař, když se v masce spouštěl na kutiště Hugo, jeden z prvních, podle rychlého záchranného plánu. Klec sjížděla pomalinku, neboť na zborceném bednění stále ještě pracovali tesaři, i teď stál jeden jejich pomocník v kleci s havíři a svítil elektrickým reflektorem na trhliny šachetních stěn. Nárazíště se ohlásilo mírným rupnutím, muži vystoupili, ale Zvonař viděl sklem masky před sebou jen malý okruh, celý pokrytý uhelným prachem, takže vyzdění chodby nebylo patrné. Jen tak se stalo, že narazil kolenem do hromady uhle tam, kde se domníval zahýbat do boční chodby; nerozeznal ji od stěny. Za touto hromadou čněl zával. Urazili sotva několik metrů hlavní chodbou směrem k strojovně. To znamenalo, že strojovna je ztracena.

Ale ne, třeba není! Musí to zkusit! Musí ten zával zdolat! Pustili se do díla s nastřádanou horlivostí. Třískali špičáky, nakládali uhel na vozíky, jako když hrom bije, vráželi paže do hlubokých štěrbin mezi velikými kusy uhle a zvedali je zkrvavělými prsty. Brzy však musili polevit. V dole bylo únavné vedro a masky i těžké dýchací přístroje zpomalovaly pohyby.

Zvonař měl opět nutkání strhnout si masku a rozpoutat všechny své vězněné síly, a snad by byl tento sebevražedný pohyb udělal v naprosté ztrátě ovládání, hnán až k nerozvážnosti bez ohledů živočišnou potřebou ochránit své dítě, kdyby mu v té chvíli nebyl padl na rameno omdlelý druh. Musil ho dopravit k čekající kleci, odkud jej tesař pomalu vyvážel na vzduch.

Po této výstraze usměrnil vzrušenou pracovní mohoucnost. Zkrotil se a dělal celé dvě hodiny pravidelně jako stroj. Hromada

inslav

zborcených hmot však byla nevyčerpatelná. Teprve druhé partě se podařilo uvolnit průchod. Jeden muž se jím provlékl na zvědy a oznámil, že cesta až k strojovně je schůdná. Třetí výměna po dvouhodinovém odpočinku přivedla Zvonaře do chodby již nově vyztužené, ale s průhledem na strženou výdřevu, která zanechávala jen náznak průlezu mezi trámy a poleny, prosypanými betonovou drtí, kusy cihel, hlušinou i drobným uhlím a prachem.

Vůdce záchranné roty pokrčil rameny. To znamenalo: co s tím? A když Zvonař vecpal do zející díry celý trup a soukal se píď za pídí do otvoru, mizeje kus po kuse ohromeným zrakům, které ho sledovaly zeza očních skel masek, nechal ho chvíli, zdolán touto šílenou odvahou, ale když zaslechl v tichu hrozebný praskot, ohlašující nové sesouvání, chytil jej za nohy a s pomocí ostatních naráz bezohledně vytáhl. Rychle jej postavili, ohledali mu masku. Seděla.

Zvonař neprojevil ani radost, ani hněv, jen si vykasával kalhoty a shrnoval košili nad odřeným hubeným břichem. A pustil se hned s ostatními do úmorné piplačky odklizovací.

Tak jako parta Zvonařova pracovali jiní směrem revírům Olga, Frederika, Glück. Zvonař dělal až do noci, střídavě odpočíval s ostatními na nosítkách v třídírně již zhruba opravené. V jedné polovině leželi po pryčnách narychlo sbitých s jedné strany haviři, vyvezení ze šachty v plachtách, s druhé zachránci, unavení tak, že ani nepozorovali svého mrtvého sousedstva. V třídírně páchl karbol, spálenina a čerstvě mletá káva. Milfaitová s pomocnicemi vařila nové a nové dávky mužstvu neustále se střídajícímu.

Byla již skorem půlnoc, když se Zvonař probudil uprostřed hlubokého spánku, jenž přepadal omámené zachránce jako mdloba. Zdálo se mu, že na něj spadl strop a že je zavalen mohylou uhle. Otevřel oči do úplného vědomí, náhle dosaženého: a viděl, že mu spadla na prsa cihla ve chvíli, kdy se celý důl otřásl hromobitím několika úderů najednou.

Všichni vyskočili s pryčen a pádili ven. Z obou šachet se kouřilo; stály nad nimi mraky dýmu, které ani neměly plynové nadnesenosti, ale vypadaly tvrdé jako pískovec. Okolo nich slabě šuměla pára, promíšená uhelným prachem. Lidé zmateně křižovali cesty svého úprku a Zvonař, jenž doběhl šílený k pomocné jámě,

inslav

tak daleko, jak jen bylo možno udržet dech, srazil se s inženýrem, který prve cvičil náhradní pomocné čety.

„Konec!“ vykřikl na něho inženýr nelidským hlasem, jako by ho obviňoval. „Všecko ztraceno!“

„A co... co čety? Záchranné čety?“

„Zůstanou tam také,“ řekl chmurně inženýr. „Teď už je všechno marné.“ Opřel se o Zvonaře, ochromený ve všech silách. Havíř cítil, jak se mu na paži protěžuje. Muž klesal. Podepřel ho tedy, nevěda pořádně sám, co dělá; dosedli těžce vedle sebe na povalený trám, vklínili hlavu mezi skleslé paže.

Zvonař se neptal. Věděl, že se inženýr musí vymluvit, aby si ulehčil, aby mohl vstát, aby mohl znova dělat. Prosil ho pohledem, aby to učinil, pomohl sobě i jemu, neboť si byl nyní jist, že ten, kdo v něm zabije poslední naději, mu odoperuje snětivý úd. Začal sám, aby mu pomohl najít slova:

„Na kutišti Hugo je tedy konec...“

„Na Frederice také, a tam se prodrali nejdál, kamaráde, tam pronikli až k úpadnici na třetím horizontu. Z Olgy už vyváželi havíře, všecko mrtvé, kamaráde, všecko se smrtelnými ranami od pádu těžkých hmot, nebo popálené, nebo zadušené. Na Glücku se nedostali daleko; jen začali omítat plachtovou závěru, v tom cípu, co je čerpací stanice, jestli víš, musili utíkat před horkou a kalnou bystřinou, plnou plynů. To důlní prameny prošly ohništěm a razily si cestu spádem. A teď při větrání vznikly asi nové zápary a z nich nové ohně...“

„Co se dá dělat, pane inženýre, co se dá dělat?“ sepjal ruce havíř.

„Musíme uzavřít celý důl — to je jediná pomoc. Nemá-li vyhořet všechen uhel, zatopit! A protože se teď ve válce potřebuje tolik uhlí...“

„Zatopit? Jako by tam nebylo už dost vody z podzemních pramenů!“

Inženýr hodil rameny:

„A co můžeš dělat, když je válka?“

Zvonař mlčel. Teď již nebylo co říci. Seděli tak spolu tiše, v sebe pohrouženi, pozůstalí o hromadném pohřbu, až s nimi zalomcovala četnická hlídka:

„Co vy dva tady děláte? Pryč odtud! Vyklízí se celý povrch! Jen zedníci tu zůstanou zazdívat jámy!“

inslav

Samaritán poznal jednu z obou ztrnulých tváří, zuctivěl a šťouchl četníka do boku:

„Zdařbůh, pane inženýre!"

Nepodivil se však, že tu nachází bok po boku havíře vedle inženýra. Dnes se nikdo ničemu nedivil. Oba ti muži, kteří si do té doby byli cizí, zahlédli v průběhu dne několikrát své tváře a byli nakonec neštěstím k sobě přitaženi k náhlé bratrské důvěrnosti. Teď se však zase rozcházeli, každý k svému vlastnímu žalu: inženýr do kanceláře a k mapě dolu, aby ji označil červenými kříži, Zvonař s ostatními ven ze šachetního prostranství.

Nouzové osvětlení prohlubovalo tmu noci.

Z tisícového davu zbylo před dolem několik stovek příbuzných. Teď již nikdo neplakal. Nové výbuchy zlomily i vůli projevovat hoře. Čtyři chlapci Zvonařovi leželi na zemi a spali jako mláďata v doupěti, přikryti nějakou milosrdnou rukou. Milka klečela, podobna kostelní soše, tváří k šachtě. Na její sepjaté ruce kanula znatelnou vlhkou stopou slza za slzou.

Zvonař nad ní chvilku přemýšlivě stál. Pak se rozhodl říci:

„Pojď domů, já se musím vyspat, jinak bych tam nebyl nic platný."

Nad závodní hornickou kolonií utkvěl tlak neštěstí.

Ale nejen kolonie dolu Eitel, nejen Bochum a Dortmund, Poruří celé se rozechvělo tím výstražným hlasem z podzemí; ten jako by chtěl varovat pošetilé lidi na povrchu, kteří se odhodlávali k vzájemnému vraždění z vlastní svobodné vůle. Podivná směs pokory a vzdoru šla z havířského davu, jenž kroužil kolem zazděné — a jak se tajilo a neutajilo — i zatopené šachty a kolem dílenské budovy naproti šachtě, jež byla proměněna v ohromnou márnici šedesáti horníků, nalezených a vytažených na světlo boží záchrannými partami ještě před druhým výbuchem.

Diváci ze všech krajů Německa se sjeli na pohřeb v statisících, ať ze zvědavosti nebo z otřesného soucitu, jímž působí na lidský cit hromadné oběti na lidských životech. Přijeli na tento okázalý pohřeb i proto že nemohli vidět pohřeb svých padlých na vzdálené bitevní linii, ani ze vzdálených a neznámých lazaretů.

Silnice podle plotu byla toho dne uzavřena. Šedesát lesklých černých rakví bylo sem vyneseno na čerstvé lešení, před každou rakví na černé tabulce bílá písmena se jménem a věkem, od

inslav

čtrnácti do pětapadesáti. Několik honosných věnců se stuhami stálo na opěrách před tou dlouhou řadou jako velitelé z květin, a největší věnec se stuhami císařského rodu se skvěl v čestném popředí a před ním jako smuteční záhon černý čtverec: nasypaný uhelný prach.

Zase houkaly sirény. Zvonily zvony. Ten umíráček provázel truchlivý řad selských žebřinců, kam rakve uložili dvě a dvě. Čtyřspřeží koní do leskla vyhřebelcovaných byla vedena venkovany s hedvábnými cylindry na hlavách, biče i chomouty byly ozdobeny černými chocholy. Vše bylo důstojné jako havířská hrdost, neboť člověk z potřeby sebeúcty dodává důležitosti tomu, co dělá.

Princ vládnoucího rodu v polní uniformě kráčel pěšky a jeho účast, zdůrazněna okázalostí kněžských rouch, povznášela ten chudý pohřeb v očích diváků. Hornické kapely se střídaly jedna za druhou v dlouhém průvodu vdov, sirot a příbuzných a z temné masy hornické, z hudby pohřebních pochodů a kroků vcházela do diváků směs pokory a vzdoru:

„Nevyčítáme vám, že máte lepší úděl, tram, tram-ta-dam, jsme jiní než vy, jsme ubozí a hrdí, tram, tram-ta-dam, hluboko pod zemí plazové, odlišní od vás a spolu, tram, tram-ta-dam, děláme ve tmě a smradu, tram, tram-ta-dam, neznáme vaši zradu, jsme odlišní, jsme tvrdí, tram-ta-dam, stateční v životě i smrti, náš důl je náš osud."

Pochodovalo celé Poruří a Německo se na ně dívalo.

Malý bochumský hřbitov boural zeď. Nestačil. Uložil šedesát prvních do společného hrobu a pro ty ostatní, kolik jich zbylo pod zemí do šesti set, připravoval sousední pole k svatosti, a rota dělníků tam po tři měsíce kopala neustále hroby.

Po slávě pohřební se hosté rozjeli a domácí myslili na chléb. Vytrvalým divákům kolem šachty prodával havíř-invalida housky a uzeniny. Vdovy šly černým průvodem do kanceláří pro poslední mzdy svých živitelů a do šaten, kde úředníci kus po kuse stahovali šest set řetízků, snímali s háků šaty, mrtvým již nepotřebné. Dvanáct set živých odjimačů, důlních tesařů, vozačů, narážečů, zedníků a dřevičů se ohlíželo po výdělku...

1938

inslav

KRÁSNÝ LES

В приводимом отрывке из повести «Красивый лес» рассказывается о жизни чешских крестьян, переселившихся по призыву народно-демократического правительства в один из пограничных районов и организовавших в деревне Красивый лес единый сельскохозяйственный кооператив.

...Nad Krásným Lesem se trhala větrná obloha, takže chvilkami zasvitla jiskrná modř jako stužka na dívčích tanečních šatech. Cukrová pěna oblak letěla oblohou, podnášena roztrhanými šedavými mráčky, a všechno tak pospíchalo, že i země dole vypadala nedočkavě. Na severní straně bylo ještě umrzlo, tenký led praskal se skelným tříštěním dětem pod botkami, ale na stráni k jihu, kam se opřelo mrkavé slunce, cesty jarně blátily. Vávrovo stavení se dívalo do dolíku dvěma okny smějícími se na divoký duben. Strač pár ek se černobíle rozděsil a s křikem zalétal do lesa, zvěstuje nebezpečí z klukovské tlupy, která se sem hrnula ledem i blátem.

Petr Vávra promazával traktor, nazítří chtěl vyjet do pole. Kluci z Krásného Lesa přihlíželi, vyptávali se, přiskakovali na pomoc.

Účastnil se i děda Dozelí, vždyť ten traktor celou zimu hlídal jako ponocný. Ale děda neměl strojařský zájem jako omladina. Děda přišel na výzvědy.

„Pantáto, je to pravda, že s neděle dostaneme ovce?"

„A kdyby to byla pravda, dědo? Tak co?"

„Já se k nim hlásím za pastejře!"

Kluci hned zarejdili. Kampak se neděje! Hned se do toho zamíchali smíchem a pošťucháváním.

„Ponocování se ti nelíbí?" ptal se Vávra.

„I ba líbí, ale pastejřem budu ještě raději!"

Děti si ho dobírají:

„Zasteskne se vám, dědo! Bez nás celé léto na horách, to nevydržíte!"

„A v noci... budete tam sám! Hajný tam ten tejden zastřelil výra!"

„Sám jsi vejr," odhání pokušitele Dozelí.

„Těch lišek, co tam je! Budou kousat ovce do ocasů!"

„I nech, však já si poradím, ty rozpusto kapusto," odbývá Do-

inslav

zelí kluky a dotírá na Vávru, ovívaje ho rejdivým natřásáním cípatého a usmoleného beránčího kožíšku.

„Pantáto... tak ty vovce... budou?"

„Aby vám, dědo, neukáplo," vstává předseda Vávra od traktoru, „tedy budou, a k tomu celá stovka kusů, i s beranem a čuvašem. Ale to víte, musí se o ně starat bača, přijede s nimi, ubytuje se na té opuštěné samotě, a vy mu tedy budete k ruce. Plácnem si?"

Dozelí se udatně napřímil. To mu srovnalo páteř. Ovečky, jehňátka, černavé a šedé jak navečerní mráčky, jak je bude pohánět, jak jim bude pískat! Na samotě je sušárna, do té si nanosí suché kapradí, to bude kavalec, panečku! Opravdový pastejř bude z dědy Dozelí, to už nebude vyhánět krávy z jetele, ten střečkovitý, nezvládnutelný dobytek! Děda se v Krásném Lese dočkal splnění svých tužeb. A ostatní také.

Petr Vávra to cítí i beze slov. Beze slov hledí za vzdalujícím se pastýřem a mlčky pozoruje chlapce, kteří nemohou odolat, aby si na traktor nesáhli. Prohlížejí stroj svrchu i zespodu a nejraději by si každý vyskočil na to lákavé sedátko, tak zrovna, ale tak zrovna vykroužené pro zadýnku, a za volant!

Přesto si to žádný chlapec nedovolí, ani Péťa Vávrů ne, vždyť soudruh předseda na ně upírá nehybný pohled a ani se neusmívá.

Ale Petr děti neviděl. Hleděl na celou dobu, uplynulou od prvních kroků do Krásného Lesa. Ano, právě tam naproti stál, opíral se o žebřinec a první jarní rej mušek, které se smály jeho zkamenění, tančil mu před očima. Opuštěná ves bez elektřiny, s neupravenými cestami, s jedinou nevlídnou hospodou, kde nikdo pivo nečepoval, ba ani sodovku neprodával. Ženy, přesazené z roviny do hor, choulily se jako kvítky po západu slunce, a muži stýskající si na ty kopce, že jim berou dech, a co tady s kolem, abys ho jen tlačil do vrchu, a co tady vůbec? Ani radio, vždyť s baterkou abys bloumal dvě hodiny cesty, než ti ji někdo nabije! Ani biograf tu není, o muzikách a tancovačce se dokonce nedá mluvit, k doktorovi půl dne...

To vše bylo za upřeným Vávrovým pohledem, táhlo to podobno útoku hustých šedých mlh, které se tak rády derou z údolí, zaplňují je neprůhledně, dokud nestihnou průduchy mezi vrcholky pohraničních hor a nerozplynou se ve volných výšinách.

inslav

Chlapci snad ta mračna i viděli, neboť ztichli a odplížili se od traktoru dál.

Vávra vzpomíná na to, jak se pomalu sžívali obyvatelé této pohraniční obce. Kolik námahy je stálo, než si uvědomili, že nejúspornější hospodaření bude tu hospodaření společné. Zprvu si jen někteří sousedsky vypomáhali, ale postupně se přece jen všichni spřátelili až do soudružského cítění. Nebylo to lehké, nebylo! Leckdo si představoval, že se tu jen ohřeje a postěhuje se za lepším, leckdo chtěl jen příživničit a chytračit; tomu se stýskalo po kartách, onomu po kořalce, ženským se stýskalo po tetičkách — jen ty děti byly hned doma a radovaly se z každé změny.

Děti — vždyť ony jsou vlastně hlavní osoby, pro ně se vše podniká!

Vávra se brzy vrátil do přítomnosti. Potřásl kladivem a francouzským klíčem, nadechl, a jak s výše svého dvorka shlédl po Krásném Lese, rychle našel pohledem novotou svítící transformátor, telegrafní tyče, rozkročené jako čápi, zjistil si opravené ploty, nalíčené chalupy, i úvozovou cestu pěkně srovnanou a odvodněnou, teplým zastavením obdařil nápis na staré hospodě, hlásající, že je tam „Kulturní dům". A dole u rybníka prádelna. Jen ty zbylé bouračky, ty ho strašily. S těmi si musí poradit mládež!

Opravdu, to staré je za námi. Za námi jsou ženské hádky a nespokojenosti se zásobováním. Za námi mužské nevraživosti, vzteklé návraty do starého domova několika chytráků, kteří čekali, že jim tu pečení holubi budou lítat přímo na mlsné jazyky! Za námi je nepoctivec, který se vetřel do družstva jako neviňátko a nakonec nám pláchl s penězi přes kopečky. Zajisté ani dnes není ještě všechno, jak by mělo být, a kolik je toho před námi! Co tu bylo nesnází s adaptací starých stodol za chlévy! Vynaložili na to mnoho úsilí, a nakonec se ukázalo, že to není dobré. Dobytku se tam nedařilo, stavení vlhlo bez isolace, krovy neunesly novou krytinu. Rozhodli se postavit zcela nové, hygienické kravíny, dostali je do plánu prvního roku pětiletky, a teď již po chvílích brigádami zchystávají staveniště. Nejedno zklamání musili překonat, leckdy se zdálo, že všecko jde od pěti k čtyřem — ale nakonec se ukázalo, že ten krok zpět byl jen odrazový rozběh kupředu. Tu a tam ještě mnohý zatouží po starém domově. Byli většinou zvyklí

inslav

žít v houfech po dvorech a ratejnách, vždyť i jeho Vlastě se zastesklo, třebaže má kolem sukní tu křiklavou čtveřici.

„Neškodilo by nás víc," prohrábl si Vávra vlasy nad čelem. „Kravín jsme se zavázali k sedmému listopadu," mluvil už polohlasem sám k sobě, „jen abychom to stihli s veškerou polní prací, máme každý jen dvě ruce! Ale jsou to ruce Hronovy, Kuderovy, Zemanovy, a ty vydávají."

Plivl si do dlaní, naházel do kolečka kopáč a lopatu a vesele se hrnul k staveništi kravína. Jakmile hoši postřehli pohyb, srazili se do vrabčího hejna a za ním...

1950

inslav

JULIUS FUČÍK

ЮЛИУС ФУЧИК

(1903—1943)

Национальный герой Чехословакии, пламенный пропагандист идей марксизма-ленинизма, Юлиус Фучик является одним из самых передовых и значительных представителей чешской литературы XX столетия.

Творческое наследие Фучика составляют его бессмертное произведение «Репортаж с петлей на шее» („Reportáž psaná na oprátce"), большое количество очерков, значительная часть которых посвящена Советскому Союзу, множество политических и литературно-критических статей.

Фучик родился в семье рабочего-металлиста, в рабочем районе Праги Смихове. Детство провел в большом промышленном городе Пльзень. Там наблюдал он тяжелую жизнь рабочих и был свидетелем многотысячной забастовки на военных заводах Шкода, оставившей глубокий след в его памяти.

Уже в школьные годы Фучик проявил большой интерес к литературе. Его внимание особенно привлекали Немцова, Неруда, Чех, в творчестве которых с особой силой звучали мотивы протеста против всякого угнетения и призыв к борьбе за лучшее будущее. Позже Фучик познакомился и с русскими классиками.

inslav

В 1920 г. Фучик вступил в союз молодежи, близкий группе левых социал-демократов, а затем, вскоре после организации в 1921 г. Чехословацкой компартии, стал коммунистом.

С этого времени вся жизнь Фучика, его политическая, общественная и литературная деятельность были безраздельно посвящены делу борьбы за победу социализма, пропаганде идей Великой Октябрьской революции и опыта социалистического строительства в СССР.

В 20-х гг. он сотрудничал в качестве корреспондента и редактора в ряде коммунистических изданий: пльзеньской газете «Правда», журнале «Авангард», центральном органе партии «Руде право» и др.

В 1928 г., когда буржуазным правительством были запрещены все коммунистические издания, Фучик принял фактическое редактирование журнала «Творба» („Tvorba"), ставшего с этого времени рупором коммунистических идей. В этом журнале с 1928 по 1938 г. было опубликовано множество очерков, корреспонденций и статей Фучика, характеризующих его как блестящего журналиста и писателя, бойца «армии великого Леннна», как он сам себя называл.

В 1930 г. Фучик нелегально посетил Советский Союз. Своими восторженными впечатлениями о стране социализма он поделился в книге очерков «В стране, где наше завтра стало уже вчерашним днем» („V zemi, kde zítra již znamená včera", 1931). Эта книга, в которую вошли яркие, правдивые корреспонденции о строительстве Сталинградского тракторного завода, об энтузиазме советских людей в годы первой пятилетки, нанесла чувствительный удар буржуазной печати, клеветавшей на СССР. В очерках «Флакон одеколона» („Lahvička Eau de Cologne"), ««Абхазия» на верфи» („»Abchazie« v loděnicích") и др. Фучик создал замечательные образы строителей социализма, показал их героический труд.

В 1934 г. в качестве корреспондента «Руде право» Фучик вновь прибыл в Советский Союз и прожил в нем до 1936 г. Его замечательные очерки и корреспонденции этого периода о жизни советских людей составили впоследствии посмертно изданную книгу «В стране любимой» („V zemi milované").

В послемюнхенский период, когда в Чехословакии была запрещена компартия, Фучик продолжал свою неустанную деятельность журналиста-революционера. С осени 1938 г. по март 1939 г. в различных прогрессивных изданиях под псевдонимами им был опубликован целый ряд статей, звавших к борьбе с фашизмом, напоминавших о героическом прошлом чешского народа, о животворной силе его культурных традиций.

Среди статей этого периода следует назвать: ««Чистка нации» и чешская культура» („»Čistka národa« a česká kultura"), «Как писали в Чехии в разные времена» („Jak se kdy v Čechách psálo"), очерк о Гавличке-Боровском «Поэт в изгнании» („Básník ve vyhnanství"), «Фельетон о фельетонисте Неруде» („Feuilleton o feuilletonistovi Nerudovi") и ряд других статей.

Умело используя жанр литературно-критических статей, Фучик беспощадно развенчивал фальсификаторскую болтовню профашистских писак, выступавших с клеветой на демократических и революционных чешских писателей XIX в. Литературно-критические статьи Фучика не утратили своей научной ценности и в наши дни.

inslav

С момента оккупации Чехословакии Фучик был вынужден уйти в подполье. С 1941 г. он стал членом ЦК Компартии, по поручению которого руководил партийной подпольной печатью, редактировал нелегальное издание газеты «Руде право». Статьи и листовки Фучика, опубликованные в подполье, раскрывали истинное лицо фашизма, звали народ к беспощадной борьбе с оккупантами, укрепляли его веру в победу.

Гневом и революционной страстностью, партийной принципиальностью и уверенностью в неминуемой гибели фашизма проникнут написанный Фучиком от имени чешской интеллигенции ответ Геббельсу („Otevřený list ministru dr. Goebbelsovi", 1940), пытавшемуся привлечь ее на сторону оккупантов. В письме говорилось, что чешская интеллигенция никогда не изменит «революционной борьбе чешского народа», никогда не будет «служить силам мрака и порабощения».

Вскоре после разгрома фашистов под Сталинградом в подпольном «Руде право» появилось составленное Фучиком приветствие Красной Армии („Náš pozdrav Rudé armádě"). В 1942 г. была опубликована замечательная статья Фучика «Под знаменем коммунизма» („Pod praporem komunismu"), исполненная глубокой веры в торжество коммунистических идей.

В апреле 1942 г. гестаповцы арестовали Фучика. В гитлеровском застенке, незадолго до казни, он создал свое лучшее произведение «Репортаж с петлей на шее» („Reportáž psaná na oprátce"). Оно состоит из отдельных записок, которые тайно выносились из тюрьмы. После освобождения Чехословакии они были собраны и изданы женой писателя Густиной Фучиковой.

В этом глубоко оптимистическом документе героической борьбы чешских коммунистов и всего народа и вместе с тем высокохудожественном произведении социалистического реализма Фучик высказал самые заветные мечты о светлом социалистическом будущем своей родины и всего человечества. В автобиографическом образе Фучика нашли отражение типические черты борцов антифашистского сопротивления. Необычайно ярко и впечатляюще изображены Фучиком в «Репортаже» его мужественные товарищи по борьбе (супруги Елинки, связная Лида Плаха, машинист Мальц, учитель Пешек, Густина Фучикова и др.); мастерски изобличены еще находящиеся у власти, но уже обреченные враги чешского народа — нацисты и пресмыкающиеся перед ними коллаборационисты. С неповторимой силой и страстной убежденностью показал Фучик в своей последней книге неизбежность поражения фашизма и победы сил мира и социализма.

В 1950 г. за книгу «Репортаж с петлей на шее» Фучику посмертно была присуждена Международная премия мира. Идейно-художественное воздействие этого замечательного произведения на мировую общественность огромно. Для писателей новой Чехословакии жизнь и творчество Фучика являются примером беззаветного служения народу.

В статье о Горьком в 1936 г. Фучик писал: «Указывать путь — вот задача писателя в социалистическом обществе...». Книги Фучика указывают путь трудящимся Чехословакии, слова писателя „Lidé, měl jsem vás rád, bdětel" стали боевым девизом прогрессивного человечества.

inslav

HISTORIE STALINGRADSKÉHO TRAKTORU

9.VII.1930

Cesta končí.

Dvanáct kilometrů za námi je Stalingrad.

To je to datum; devátého července roku třicátého. Pro Traktorový je jedním z dnů jeho práce. Pro nás dnem veliké nové známosti. V této historii je dnem posledním.

Vaska, ten prostý dějepisec stalingradského traktoru, dovypravoval. Daleko za námi jsou dny vojáků barona Wrangela. Daleko za námi jsou mapy, snímky a památky stalingradského musea.

Před námi je závod nesoucí jméno soudruha Dzeržinského.

Sedmého jsme jej viděli po prvé. Parník „Turgeněv" vezl nás od Samary rychlou, kalnou Volhou, nalevo byly písčiny a bohaté háje, napravo prudce skrojené kopce. Vesnice se na nás dívaly s jejich okrajů a větrné mlýny odpočítávaly čas. Blížili jsme se k Stalingradu. Bylo poledne. Stroj stejnoměrně otřásal okny jídelny a talíře jemně zvučely. Kdosi otevřel dveře a nedočkavě vzkřikl:

„Traktorový!"

„Turgeněv" se mírně naklonil na pravý bok. Nakrojená ryba chladla na stole. Stáli jsme všichni na palubě, siréna parníku houkala pozdrav a ruce ukazovaly na vysoký břeh. Tam mezi kopci, hluboko skryty v nich, objevily se čtyři komíny. Čtyři krátké komíny elektrárny Traktorového. To bylo vše. Dívali jsme se, dokud nezmizely.

Teď stojíme před stalingradským Traktorovým.

Továrna.

Nic než továrna jako u nás, řekne nám pak doma s úsměškem protivník, který se před čtyřmi lety smál naší víře v budoucí budování.

Opravdu, nic než továrna, veliká továrna, město dílen ze železa a skla a dělnických domů. Továrna na padesát tisíc traktorů ročně, postavená za osmnáct měsíců dělníky, kteří byli mužiky, kteří se učili pracovat a číst a psát, kteří se stali hospodáři, kteří vytvořili úderné brigády, dědicové revolučního nadšení bojovníků

inslav

za svobodu. Továrna, nic než továrna, jež má historii jedenácti let.

Mladý dělník se ujal průvodu.

Mezi dílnami syčí parní válce, za nimiž rostou hladké ulice, po okrajích rozkvétá trávník a nízké stromky se vztyčují pod okny oddělení. Dílna svítí a voní bílou omítkou, jako by právě vyšla z ranní koupele. Ještě cítíš čistotu mýdla, jež bylo sotva smyto sprchou. Mezi bílými stěnami veselé, lesklé stroje. Některé pracují, některé čekají. Je nedostatek kvalifikovaných dělníků a Traktorový teprve učí své příští pracovníky. Nekonečné pásmo se rozvíjí. Nad hlavami na vzdušných kolejnicích pohybují se jeřáby se žhavou ocelí a veliká kladiva dopadají na kovadlinu.

„Podle posledního slova techniky," zdůrazňuje mladý průvodce.

Podle posledního slova techniky, to je jejich chlouba. A my se zatím díváme na malé rudé praporečky, jež visí na mnoha strojích, a ptáme se, proč tam jsou.

„Zde pracuje úderník."

Jsou dílny, v nichž není jediného stroje bez rudého praporku.

„Tady ve slévárně je zavedeno nejmodernější větrací zařízení."

A my, sledujíce očima mohutné vedení, narážíme na standarty, jež si tu dělníci sami pověsili:

„Komunismus začíná tam, kde se objevuje obětavá, těžkou práci překonávající péče prostých dělníků o zvýšení produktivity práce."

„A tady, soudruzi, jsou naše první traktory."

Stojí jich několik po boku montovny a kolem obcházejí dva mužici. Bílé přepásané rubášky, kalhoty dole sešněrovány, prohrabují se dumavě v nestříhaných vlasech.

Zahlédli nás.

Rozkývaná ruka dodává odvahy:

„Nu, soudruzi, prodáte nám?"

„Co, soudruhu?"

„Nu, traktor přece. Potřebujeme."

Přijeli z daleka. Až z Běloruské republiky. A nechtěli by se vracet s prázdnýma rukama do kolchozu, který je poslal. Náš průvodce jim ukazuje cestu k správě závodu. Půjdou a budou po

inslav

cestě vyjednávat s každým, koho potkají. Traktorů je třeba, soudruhu!

Snad jsou to ti, kteří na jaře, když stavba Traktorového rostla před očima celého Svazu, psali svůj prostý a silný list dělníkům Traktorstroje. Četli jsme jej v archivu správy:

My, bývalá chudina a střední rolníci, posoudivše současný stav polního hospodářství, přišli jsme k závěru, že soukromé hospodářství už se dál vést nedá, a rozhodli se organisovat kolektiv, jemuž jsme dali jméno po padlém bojovníku za socialismus „Felix Dzeržinskij".

Dnes na plenární schůzi kolektivu jsme se usnesli obrátit se, drazí soudruzi, na vás, kteří jste nositeli jména postrachu buržoasie, padlého bolševika Felixe Dzeržinského, s prosbou, abyste přijali nad námi patronát. Náš kolchoz je v Běloruské SSR, Oršanský okruh.

Traktorový jména Dzeržinského přijal patronát nad kolchozem jména Dzeržinského. Přijal patronát nad kolchozy Ukrajiny, severního Kavkazu i moskevské oblasti. Teď přicházejí kolchozníci k svému patronu:

Dejte nám traktory, chceme socialisticky hospodařit.

Sta jich tady procházejí mezi dílnami a mezi stroji, obhlížejí, spokojeně pokyvují hlavami a vyjednávají: Dejte nám traktory.

Potkáváme je, dlouhé rubášky, podvázané nohavice, ale už také kožené kabáty a evropské čepice, usmívají se a usilovně přemýšlejí. Traktorů je třeba.

Je ještě málo traktorů. Až jich bude tisíc, až jich bude padesát tisíc, až jich bude sto tisíc — jaká pak bude sovětská vesnice?

Ach, Vasko, ty prostý historiku stalingradského traktoru, dokončils svoje vypravování.

Ale tvá historie, stalingradský traktore, teprve začíná.

— —

Vracíme se do Stalingradu.

Ještě jednou se podíváme zpět: továrna, opravdu, nic než továrna, veliké nové město dílen ze železa a skla a dělnických domů.

Dzeržinského traktorový závod ve Stalingradě na padesát tisíc traktorů ročně.

Ošlehaná tabule na dvou sloupech postavila se do cesty našemu poslednímu pohledu. Zhnědlá snítka jehličí visí nad ní.

inslav

Když přišli první dělníci na stalingradskou step, zarazili do země dva dřevěné sloupy a na ně, poněkud křivě, přibili tuto tabuli. Rozvěsili zelené snítky, propletli pruhy červené látky a byla to slavobrána.

Déšť smazal veliká písmena, dřevěná deska zšedla větrem a sluncem jako dávná minulost.

Čtu s námahou:

K—d—y, kdybychom...

Kdybychom mohli zítra dát sto tisíc dokonalých traktorů, zásobit je benzinem, posadit na ně řidiče (víte velmi dobře, že je to zatím fantasie), střední rolník by řekl: Jsem pro komunu....

Lenin na VIII. sjezdu.

V zemi, kde zítra již znamená včera, 1931

NA SHLEDANOU, SSSR!

Cesta zpátky

Vymyslil jsem si ještě jednu zastávku, aby auto dojelo k nádraží zajížďkou přes Arbat a po bulváru B. Včera jsem se rozloučil s moskevskou podzemkou, pohladil jsem očima mladé listí Parku kultury a odpočinku, stiskl jsem si ruku s Rudým náměstím, ale sem na Arbat už jsem se nedostal.

Na shledanou, Arbate!

Na shledanou, náměstí Majakovského!

Na shledanou, náměstí a ulice Gorkého!

Na shledanou, Moskvo!

Vlak nemilosrdně nabírá rychlost.

Domek výhybkářův už zmizel z okenního rámu, vystřídala jej budova Chlebozávodu, zakolísala se na okamžik a také zmizela poslední moskevská tramvaj, poslední moskevský dům, poslední les moskevského okolí, kam se chodívá, když se „vychodnoj" vydaří. Všecko už zmizelo. Snad bych se ještě mohl naklonit z okna, zahlédnout komíny nových továren nebo vysokou anténu moskevské vysílačky. Ale je to tak těžké, dívat se zpátky!

V okně se objevuje parašutista. Kývá se pod svým padákem

inslav

mezi modrou oblohou a zelenou loukou jako koketní slečinka pod slunečníkem a mává nám šťastnou cestu.

Na shledanou! Na shledanou!

Je to těžké loučení, třeba na sebekratší dobu.

Jedeš přece ke svým, k blízkým lidem, které jsi už dávno neviděl, k lidem, které máš rád a kteří budou mít radost ze shledání, nechceš přece také jen užitek, co bylo jinými vybojováno... a... marné řeči — je to těžké loučení.

Prožil jsem tu skoro dva roky. A zvykl jsem si na ten život, jak si člověk může zvyknout jen na to, z čeho se raduje a čím roste. Přijel jsem v době, kdy se v sovětském denním životě teprve začínaly projevovat výsledky první a začátky druhé pětiletky. Teprve začínal skutečný dostatek, teprve se začínaly naplňovat výlohy obchodů, teprve se začínaly rýsovat tvary nové společnosti, jejíž základy byly s takovým úsilím i s takovým odříkáním budovány, když jsem byl v Sovětském svazu po prvé!

Přijel jsem před dvěma lety! A je to tak dávno — nebylo to snad ještě v minulém století?

Jak vyrostlo štěstí člověka za tu dobu!

Před mýma očima se měnily ulice, rostla nová města, kolchozy se plnily blahobytem — a z lidí odcházelo staré a přicházelo nové. Všecko se měnilo a všecko rostlo — a všecko se měnilo a všecko rostlo k lepšímu. Za ty dva roky tu prošla historická desítiletí, z kterých se sen proměňuje ve skutečnost. Před mýma očima vyrůstalo to, zač my ještě bojujeme a co si jen představujeme; před mýma očima vyrůstala beztřídní socialistická společnost, socialismus z masa a krve, skutečnost, kterou možno vidět, hmatat, dýchat...

A teď se s ní musím rozloučit.

Když jsem se tak před šesti lety po prvé loučil se sovětskou zemí, bylo mi hořko, protože jsem cítil, že se vracím o několik let zpátky. Teď — teď je ještě hůř. Ochutnal jsem už život socialismu, byl jsem už občanem socialismu a tahle cesta zpátky, to je cesta zpět o několik desítiletí, cesta z nových dějin do předhistorie.

Na shledanou, Možajsku! Jsi tak blízko, když se jede tam, do Moskvy. A teď je mi úzko, jak daleko už jsem.

inslav

Na shledanou, Vjazmo!

Na shledanou, Smolensku!

A pak už jsme vjeli do pohraničního nádraží.

Ještě jsme si stiskli ruku se soudruhem pohraničníkem — pevně stiskli ruku — a vlak odjíždí. Stojím na plošině posledního vagonu, koleje se sbíhají do poslední sovětské stanice, poslední rudá stráž otáčí hlavou za ujíždějícími vagony, brána s heslem proletářské země se mihne nad námi a zavírá se dálkou.

Na shledanou, Sovětský svaze!

Po dvou letech vstupuji opět na půdu kapitalistického světa a rozhlížím se poněkud nejistě a poněkud udiveně jako občan socialismu, který už dávno neviděl ani zastaralé továrny, ani nezaměstnané, ani všecky ty podvody, kterými se páni udržují u moci.

A tak tedy teď s jinýma očima objevuji pro sebe znovu kapitalistický svět.

Tvorba 17.VII. 1936, č. 29

FEUILLETON O FEUILLETONISTOVI NERUDOVI

Mluví se nyní mnoho o cestě ke kořenům. Podívat se na ně, poznat je, růst z kořenů národa. To je zajisté správné i v celku i v jednotlivostech. Pozná se tak, co je skutečně národní a co se za jméno národa jen skrývá, pozná se smysl dějin našeho národa, a co jim odporuje. Nuže, bude-li dnešní český feuilletonista chtít jít ke kořenům — kam půjde? Nebude musit dlouho váhat, ani být v rozpacích. Půjde zcela nepochybně k tvůrci českého feuilletonu, Janu Nerudovi. A o něm — či přesněji: jeho — je náš dnešní rozhovor pod čarou.

Neruda psal feuilletony do „Času“, do „Hlasu“ i do „Národních listů“ plných třicet let a za těch třicet let jich napsal řádku velmi úctyhodnou: 2.260. Velká část jich byla později pečlivě soustředěna v jeho posmrtných sebraných spisech, a tak v nich dnes listuješ a lovíš myšlenky a poznáváš, jak Neruda cítil, po

inslav

čem především toužil, z jakých kořenů to on rostl. Listuješ a zastavíš se na jedné stránce; čteš tam o svobodě. Listuješ dál a nová stránka ti připomíná to nejhlavnější: svobodu. Vezmeš do rukou jiný svazek Nerudových feuilletonů a v nich — tu ve vážné úvaze, tu v satiře a tu zase v lyrické pasáži — se znovu opakuje: svoboda, svoboda. Není to však prostě jen slovo, které se často opakuje, ale duch svobody, který žije nejintensivněji v Nerudových feuilletonech tak jako v jeho básních, tak jako ostatně v celé české literatuře. A Neruda používá každé příležitosti, aby zdůraznil, že v boji za svobodu je smysl našeho života a že ten, kdo ji zrazuje nebo kdo za ni bojovat nechce, nepatří k nám, je proti nám, je v cizích službách.

Takovou příležitostí je mu na příklad i dušičková úvaha, otištěná pod čarou v „Hlasu" 4. listopadu 1862. Neruda tu stojí na smutném podzimním hřbitově, uvažuje o kráse života a o smrti a pojednou mu celá ta úvaha vyúsťuje ve velkou apotheosu svobody. Čtěte ten závěr jeho feuilletonu:

„Velký je ten hřbitov lidstva, mnoho na něm těch, kteříž padli v boji, z jichž prsou vyrostly růže krvavé, jimž chladnoucí rty zulíbala božská svoboda.

Jak velký žádáš ještě hřbitov, svobodo lidstva? Kdy přijde ten den dušiček, v kterýž se pomodlíme za poslední oběť, šťastnou oběť Tvou? Viz, vycházíme celý národ na hřbitov ten, modlíme se za padlé — vyběř Sobě mezi námi, naše prsa jsou obnažena, šíj se kloní volně k špalku, vyběř Sobě mezi námi a nezapomeň zasloužilých, svatá svobodo lidstva!"

Neruda, jak vidíme, myslí na svobodu celého lidstva a v ní vidí záruku i naší svobody národní. Nejde mu nikdy o nějakou „svobodu" sobectví a nenávisti, ale o skutečnou svobodu demokratickou. Velmi jasně to říká ve feuilletonu „Národních listů" 16. května 1886:

„Už jsme se zase jednou přesvědčili..., že putování se živly našemu národu cizími vede nás jen v slabost a v zkázu, že jen rozvojem vlastního našeho jádra, jen rozvojem demokratické myšlenky, přírodou samou do našeho národa vložené, domůžeme se moci i štěstí."

V témž feuilletonu čteme také, kde vidí Neruda nepřítele. Vzpomíná rozvoje národního života v letech šedesátých:

„S úsměvem jsme hleděli budoucnosti vstříc — to jsme věděli

inslav

všichni, že led se zlomí a pak že vesele vypluje ten náš koráb národní zase na širé moře — pyšně, na obdiv světa — jakpak by ne! Také vyplul. Byla radost tenkráte žít, vždyť je vždycky radost z mladého, silného, sebevědomého národa!... Měli jsme dobu svých ‚olympických her', jak jsme pyšně říkali, a svět se nám vskutku obdivoval, neboť byl přesvědčen, že z té mladé síly musí vyrůst práce zdatná."

„Už se svět neobdivuje," pokračuje Neruda, *„z mladé síly nevyrostlo pranic, a my už nejsme pyšni také pranic."*

A vysvětluje, proč to tak dopadlo: protože *„do zdravého kyprého našeho žitniště zaset hned v prvních dnech koukol reakce a umořil všechnu životní sílu."*

To Neruda dobře ví, že tak zvaní vůdcové a zástupci národa nejsou vždy jeho skutečnými vůdci a zástupci, a že jejich reakční zájmy bývají pak v rozporu se zájmy národa. Výstižně to líčí ve feuilletonu „Před sněmovnou", otištěném v „Čase" 19. dubna 1861, to jest právě v době, na kterou vzpomíná ve feuilletonu výše citovaném. Neruda tu popisuje zástup Pražanů, kteří před sněmovnou na Pětikostelním náměstí očekávají příchod poslanců zemského sněmu českého, a v tom popisu čteme pak takový pozoruhodný odstavec:

„Konečně zarachotil vůz, zarazil u předních vrat a z něho vyskočil první poslanec. ‚To je ten, co nikdy mluvit ani konat nebude,' podotýká ostrý jakýs jazyk. Poslancové se trousí jeden po druhém... Mírné reptání, leckterý vtipný nápadek oznamují, že jde o osobnost, která sobě nějakou řečí nenávist pražského obecenstva získala. Náhle zašumí řadami přitemnělejší nebo hlasitější ‚Sláva!', jdeť některý miláček lidu; zraky se zajiskřejí, obličeje se usmívají, se všech stran obnažování hlav, srdečný pozdrav — muž lidu děkuje a usmívá se spokojeně, vždyť září mu spokojenost i úsměv vstříc. Tam nahoře nastává mu krutý, smutný, byť i ne beznadějný boj, zastává zájmy menšiny na sněmě proti nárokům většiny, proti kteréž opět stojí většina národa, většina obyvatelstva v Čechách. Tam nahoře prohraje snad proti většině, ta většina však nemá důvěry lidu a proti vítězství jejímu opírá se většina obyvatelstva."

Lid — to byla Nerudovi vždy nejvyšší instance. K němu se odvolával, za jeho svobodu bojoval, v jeho pevnost věřil, i když

inslav

panská většina prosazovala politiku proti němu. Neboť Nerudovi bylo jasno, že to všechno je jen dočasné a že jen lid je věčný, v něm že je všechna budoucnost národa. Vyjádřil to v mnoha svých básních i ve svých feuilletonech a zejména jasně to řekl roku 1866 ve feuilletonu „Kam jdeš, Jene?“:

„Čímkoli se český národ v dějinách proslavil, nic téměř nepřičiněno k tomu z kruhů panských, z kruhů vyšších, všechna sláva, vojenská i kulturní, vzešla z práce lidu. Z téhož lidu stalo se i zázračné naše znovuzrození — rosteme zdola k výši, přirozeně jako strom a také stejně pevně.“

Ano, správně bylo řečeno: jděme ke kořenům! Hle, i Neruda feuilletonista k nim zřejmě ukazuje. A nejen dnešnímu českému feuilletonistovi.

Včela, 1. XII. 1938

OTEVŘENÝ LIST MINISTRU DR. GOEBBELSOVI

Odpověď české inteligence

Goebbels, ministr propagandy a přídvorní šprýmař nacionálního socialismu, vybral si několik lidí z české inteligence i t.zv. „inteligence“, pozval je do Německa, ukázal jim, co ukázat chtěl, a nakonec jim i pověděl, jaký smysl měla ta jejich parádní cesta. Jeho řeč, v níž se hrubé kupování duší střídalo s vyhrůžkami, neplatila jen jim, byla adresována celé české inteligenci. Ještě prý je čas, řekl, aby český národ ukázal, zda „se vřadí do německého procesu pořádku rád a ochotně, či zda se vnitřně zpěčuje“. Podle toho prý, řekl, poskytuje Německo čestné přátelství nebo boj. A na inteligenci prý, řekl dále a na to kladl důraz největší, na inteligenci záleží, jakou cestou se chce dáti český národ, neboť národ má vždy takové představy jako jeho vedoucí duchovní vrstva. Tohle byl základ jeho řeči.

Snažili se rozložit statečný odpor českého národa nejrůznějšími cestami. A nikdy nepochodili. Snažili se získati českou mládež. Marně. Snažili se získati české dělnictvo. Jejich náhončí však nestačili utíkat z továren a dílen. Chtěli by tedy nyní vniknout do těla národa českou inteligencí. „Vstupte do našich slu-

inslav

žeb," říká Goebbels docela nepokrytě, „bude to pro vás výhodné" a mne si kupecky ruce jako při uzavírání výhodné koupě — vstupte do našich služeb, a budeme-li míti vás, budeme mít v kapse celý váš národ. Vždyť národ má vždy takové představy jako jeho vedoucí duchovní vrstva. Řečeno slovy méně vybranými, zato však přesnějšími: zradíte-li vy, je zrazen celý národ!

Tato ničemná nabídka, tato podlá urážka české inteligence nemůže zůstat bez odpovědi. Jsme jí povinni sobě a své cti, jsme jí povinni svému národu, všem jeho pokrokovým silám, všem, po jejichž boku stojíme ve frontě národně revolučního boje za svobodu. A proto odpovídáme. My, čeští hudebníci, herci, spisovatelé, inženýři, my, jejichž ústa jsou násilně umlčována vaší censurou, jejichž ruce jsou spoutány vaším terorem, my, jejichž tisíce druhů nelidsky strádá ve vašich žalářích a koncentračních táborech,

my, česká inteligence, odpovídáme vám, ministře Goebbelsi!

Nikdy, slyšíte, nikdy nezradíme revoluční boj českého lidu, nikdy nevstoupíme do vašich služeb, nikdy nebudeme sloužit temnu a porobě!

Co na nás chcete? Abychom pomáhali v českém lidu šířit vaši podvodnou a každým slovem lhoucí propagandu, abychom ji svými jmény, získanými poctivou prací na poli naší kultury, dodávali hodnověrnosti, které nemá, abychom dali svá ústa a svá pera k disposici vašim podvodům, abychom zneužili důvěry svého národa a doporučovali mu cestu, která vede jen k jeho mučivému zániku. Ne, to neuděláme!

Co na nás chcete? Abychom spolupracovali s vaším krvavým terorem, abychom se postavili po bok vašemu gestapu a na jeho úroveň, abychom jako gestapo těla ubíjeli mysli českých lidí, abychom pomáhali všem vašim násilníkům lámat hrdý a nádherný odpor českého lidu, o jehož podmanění se marně pokoušíte. Ne, to neuděláme!

Co na nás vlastně chcete? Abychom spáchali sebevraždu. — A to ovšem neuděláme!

My, „vedoucí duchovní vrstva národa", jak vy říkáte, jsme

inslav

skutečně spojeni hlubokými a neporušitelnými svazky s lidem své země. Ale ne proto, že mu vnucujeme své představy, nýbrž proto, že vyjadřujeme představy jeho. My, lidé kultury, jsme vždy na život a na smrt spojeni s nejpokrokovějšími silami svého národa a víme to. Všechny doby, v nichž česká inteligence byla skutečně vedoucí duchovní vrstvou, všechny velké doby české kultury, všechna velká jména její jsou spojena s nejstatečnějšími myšlenkami lidského pokroku, v jejichž jménu za svůj život náš lid bojoval i trpěl — trpěl, ale nezahynul, protože se jich nevzdal. „Za volnost lidskou — v nás kdys rozekvetla! — dnes stojí Čech, jak druhdy za ní stál: ta myšlenka, která nás ve hrob smetla, zas k slávě vznese nás — jen dál, jen dál!" To napsal český básník[1], ministře Goebbelsi, tak český básník již před lety vyslovil za všechny, za nás i za náš lid, jaká je jediná cesta, která nás vede k svobodě a k zajištění naší národní existence. Není to cesta zrady ve prospěch vašeho útlaku, ale cesta boje proti útlaku, boje za volnost lidskou u nás, u vás, v celé Evropě! A jí zůstaneme věrni!

V českých dějinách je mnoho stránek, popsaných politickou zradou reakčních českých pánů, kteří ochotně prodávali svobodu českého lidu, ba i život celého národa, jen aby si zajistili své statky a zisky. Ale nenajdete tam jedinou stránku politické zrady české kultury — a my, buďte jist, my ji do svých dějin nepřipíšeme! „Z bouřného času jsme se narodili a krok za krokem v bouřných mračnech jdem vstříc hrdě vznešenému svému cíli, šíj klonice jen před svým národem." I to napsal český básník[1], ministře Goebbelsi. A vy se domníváte, že my, inteligence národa, který prožíval staletí hrozného útisku a nepodlehl mu, protože nepadl na kolena, domníváte se, že my, krev z krve takového lidu, skloníme šíj před vámi? Blázne!

Ale vy nám slibujete také jakési „výhody". Vážně? „Až tyto otázky budou vyřízeny (t.j. až bude zrada české inteligence již v provozu), pak se českému filmu otevře nepoměrně větší odbytiště... Češi budou mít možnost vyvážeti své filmy, svou literaturu, svou hudbu." Řekl jste to tak? Ano, skutečně jste to řekl. Ubohá koňonohá Lorelei od břehu Sprévy, kam se poděla tvá svůdnost? Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, říká naše české přísloví, ale vy už ani pěkně mu zpívat nedovedete. Na tohle nás chcete lapit? Na vývoz českých filmů, vy, zrovna vy, kteří jste

inslav

českým filmovým pracovníkům ukradli nejdokonalejší filmové ateliery, kteří hned v zárodku znemožňujete, aby se české filmové umění rozvilo v celé své síle? Na „vývoz" české literatury, vy, zrovna vy, kteří barbarsky řádíte v celé naší literatuře, kteří konfiskujete a ničíte nejlepší díla českých autorů, vyhazujete českou literaturu z českých knihoven, przníte i Máchův Máj, zabavujete soudobé sbírky veršů stejně jako 600 let starý vlastní životopis Karla IV. a chcete zničit prostě všechno české písemnictví. A na vývoz české hudby nás chcete lapit vy, zrovna vy, kteří stálými zákazy ochromujete náš hudební život, kteří terorem umlčujete dílo našeho největšího hudebního skladatele, vy, kteří jste nám zakázali zpívat, vy, kteří i našim dětem berete zpěvníky s písněmi, jež skládal český lid? Zavřeli jste naše vysoké školy, germanisujete školy obecné, obsadili a vykradli jste nejkrásnější školní budovy, okupujete divadla, hudební síně a výtvarné sály, olupujete vědecké ústavy, znemožňujete vědeckou práci, děláte z novinářů duchamorné automaty, ničíte existenci tisíců kulturních pracovníků, ničíte základy veškeré kultury, všeho toho, co tvoří duchovní vrstvu národa — a pak chcete právě na této vrstvě, aby vám pomohla udržet toto neudržitelné šílenství? Pane, „toť šprým, jenž volá po ráně!" — můžeme odpovědět slovy velkého německého dramatika.

Ano, německého dramatika, jehož dramata se už také nesmějí objevit na vašich scénách. A to nám ukazuje vaše „výhody" v celé jejich kráse. To nám připomíná, že dříve, než jste mohli podniknout tažení proti české kultuře, podnikli jste zničující tažení proti vlastní kultuře německé. Ubili jste velkou německou vědu duchovní, vypudili jste ze země největší soudobé učence německé, vyhnali jste nebo umučili největší německé básníky a spisovatele, spálili jste na hranicích díla největších německých filosofů, poplenili jste německé obrazárny, rozšlapali slávu německého divadla, zfalšovali německé dějiny, vymazali z německé literatury jméno a dílo Heinricha Heineho, jednoho z největších jejích tvůrců, a desítky jiných, o málo menších, vyklestili jste Goetheho a Schillera, proměnili jste svůj „kulturní prostor" v nesmírnou poušť, vyvraždili nebo umlčeli jste svou „vedoucí duchovní vrstvu" — a teď zvete českou vedoucí duchovní vrstvu, aby se „zúčastnila" této vaší blahodárné činnosti. Jak? Jako další vaše oběť. Neboť jiné výhody jí poskytnout nemůžete. Chcete jí usek-

inslav

nout hlavu a navrhujete jí, aby hlavu položila na špalek sama. Díky za pozvání. Nepřijímáme!

Známe ty vaše „výhody". A pohrdáme vašimi vyhrůžkami. Jen jedno, jediné z vaší dlouhé řeči přijímáme: vaše přiznání, že se vám nepodařilo zlomit český národ. Půl druhého roku dupete okovanými botami po našich zemích, pronásledujete nás na každém kroku, plníte žaláře našimi muži, ženami, ba i dětmi a vraždíte naše nejlepší lidi. Půl druhého roku rdousíte náš politický, hospodářský i kulturní život. Půl druhého roku se snažíte terorem srazit nás na kolena před hákovým křížem. A po půl druhém roce takového běsnění musíte přiznat i vy, prolhaný ministře nacistické propagandy, že vám to nebylo nic platno, že se stále ještě „zpěčujeme". Ano, to přiznání přijímáme. Na to jsme hrdi. Ale domníváte-li se, vy ničemný utrhači, že my, česká inteligence, máme méně hrdosti a méně charakteru než český lid, z něhož vyrůstáme, domníváte-li se, že se dáme vámi zlákat nebo zastrašit, abychom se odcizili lidu a šli s vaším gestapem proti lidu — pak znovu slyšte naši odpověď:

Ne, ne, nikdy!

Ptáte-li se však, chcem-li se účastnit budování nové Evropy, odpovídáme vám:

Ano, ano, ano a co nejdříve!

Bude to ovšem docela jiná Evropa než o jaké vy mluvíte. Váš „nový řád" je starý neřád, udržovaný při životě jen injekcemi z krve milionů vašich obětí. Proto na nás tak pospícháte! Proto chcete, abychom honem, honem byli vaší novou, vydatnější, protože „dobrovolnou" injekcí — „dřív než bude pozdě". Pozdě pro koho? P r o v á s!

Neboť to vidíme jasně, v j a k é d o b ě nám dáváte svou drzou výzvu. Vedete válku, lupičskou válku, máte úspěchy, vyhráváte, postupujete, obsazujete, sestřelujete, bombardujete, potápíte — a jaký je výsledek toho všeho? Že každým okamžikem zřetelněji vystupuje ilusornost cíle, za který jste šli do války, že s každým krokem, o který postoupíte kupředu, uniká váš cíl za dalších sedmero hor a sedmero moří. A i vy to teď už víte. Okupovali jste země, které měly být vaším zázemím proti Sovětskému svazu, zničili jste v nich vše, co vaše propaganda i jejich reakce v nich po léta budovala, otevřeli jste lidem oči po léta uměle oslepované, naplnili jste mysli i srdce desítek milionů plamennou

inslav

nenávistí proti sobě, proti jejich domácí reakci, proti všemu fašismu, ať nosí košile jakékoli, naplnili jste je mocnou jedinou vůlí ke skutečné svobodě — a teď z toho máte organisovat „novou" fašistickou Evropu. Můžete vztekle bít na všechny strany, ale zorganisovat nemůžete nic kromě vlastního krachu. A proto ani válku skončit nemůžete vy ani vaši někdejší partneři a nynější odpůrci v Anglii. Vyvolali jste strašné vraždění v Evropě, zahájili jste válku ve vzduchu, na moři i na zemi — ale skončí ji podzemí, kam jste zahnali lid český, lid francouzský, belgický, holandský, dánský, norský, španělský, italský i lid své vlastní země.

Ne tedy vy, opakujeme vám, ale vy už to dnes také víte, ne vy, kteří jste tuto válku vyvolali, ale národy, které jste do ní vehnali, které marně chcete naplnit otrockým duchem, národy, vedené revoluční třídou dělnickou a opírající se o obrovskou a s každým vaším „úspěchem" rostoucí moc Sovětského svazu, národy samy ukončí tuto válku, rozervou vaše plány a vybudují Evropu, jaká dnes žije v jejich myšlenkách. Evropu bez nacistů, bez fašistů všech barev, Evropu bez kořistnických padouchů, Evropu svobodné práce, Evropu svobodných národů, Evropu opravdu novou, Evropu socialistickou!

Představitelé české inteligence

Illegální leták
z podzimu r. 1940

NÁŠ POZDRAV RUDÉ ARMÁDĚ

Z hlubokého podzemí zdravíme vás, hrdinové Rudé armády, kteří s velkolepou statečností a obětavostí bojujete za svobodu své vlasti, a tím dobýváte svobody i nám a všem porobeným národům Evropy. Kdysi, opuštěni všemi ostatními, věřili jsme ve vás a ve vaši sílu a z ní jsme čerpali i sílu svou k odporu proti nejbestiálnejším utlačovatelům, jaké znají dějiny. Věděli jsme, že přijde vaše chvíle, kdy dokážete drtit válečný stroj světového fašismu. Ta chvíle je tu. A víme, co to znamená i pro nás, neboť fronta proti Hitlerovi jde také naší zemí.

Proto k svému bratrskému pozdravu připojujeme i slib, že v této rozhodné chvíli učiníme vše, aby byl Hitler poražen co nej-

inslav

rychleji, že budeme rozvracet jeho zázemí, desorganisovat dopravu na našem území, sabotovat válečnou výrobu a všemi prostředky a silami bojovat proti tomu, aby jakkoli mohli naši i vaši úhlavní nepřátelé využít našeho národa a našich zemí k oddálení katastrofy, do níž je ženete. Spojeni s vámi na život a na smrt, v rozhodném boji proti Hitlerovi — z v í t ě z í m e!

Zvláštní vydání illegálního Rudého práva, únor 1942

REPORTÁŽ PSANÁ NA OPRÁTCE

KAPITOLA III.

Cela 267

Sedm kroků ode dveří k oknu, sedm kroků od okna ke dveřím.

To znám.

Kolikrát už jsem šlapal tuto vzdálenost po sosnových prknech pankrácké cely! A snad právě v této cele jsem kdysi seděl proto, že jsem příliš jasně viděl následky zhoubné politiky českých měšťáků pro český národ. Teď můj národ napínají na kříž, před celou chodí němečtí hlídači a někde venku slepé politické sudičky znovu předou nit zrady. Kolik staletí potřebuje člověk, než prohlédne? Kolika tisíci celami už si musilo lidstvo šlapat cestu vpřed? A kolik jich ještě zbývá? Ach, nerudovské Jezulátko, té cesty lidstva ke spasení stále ještě konec není. Ale: už nespi, už nespi!

Sedm kroků tam, sedm kroků zpátky. Na jedné stěně sklápěcí kavalec, na druhé stěně smutně hnědá polička s hliněným nádobím. Ano, to znám. Teď je to tu jen trochu zmechanisováno, topení je ústřední, kbelík je nahrazen splachovacím klosetem — a hlavně lidé, hlavně lidé jsou zmechanisováni. Jako automat. Smáčkni knoflík, to jest zarachoť klíčem ve dveřích cely nebo otevři špehýrku — a vězňové vyskočí, ať dělají co dělají, postaví se v pozoru za sebou, otevří dveře a starosta cely vyrazí jedním dechem:

„A c h t u n g! Celecvózíbnzechcikbelegtmittrajmanalesinordnung.“[1]

Tak tedy: 267. To je naše cela. Ale na téhle cele automat nefunguje zcela přesně. Skáčou jen dva. Já zatím ležím na slam-

inslav

níku pod oknem, ležím na břiše, týden, čtrnáct dní, měsíc, šest neděl — a znovu se rodím: už otáčím hlavou, už zvedám ruku, už se zvednu na loktech, už jsem se dokonce pokusil obrátit na záda... Rozhodně, rychleji se to píše než žije.

A i cela prodělává změny. Místo trojky zavěsili na dveře cely dvojku, jsme tu teď jen dva, zmizel Karlík, mladší ze dvou mužů, kteří mě pohřbívali smutnou písní, a zbyla tu po něm jen vzpomínka na dobré srdce. Vidím ho vlastně jen v polosnu, jen poslední dva dny jeho pobytu s námi. Trpělivě vypravuje svůj příběh znovu a znovu a já znovu usínám uprostřed vypravování.

Jmenuje se Karel Malec, je strojník, pracoval u klece v rudné šachtě někde u Hudlic a nosil odtamtud třaskaviny, kterých bylo třeba k domácímu boji. Byl zatčen už skoro před dvěma lety, teď pojede k soudu, snad do Berlína, je jich celá velká parta, kdo ví jak to skončí, má ženu a dvě děti, má je rád, tuze rád — ale byla to přece moje povinnost, víš, nemohl jsem dělat nic jiného.

Vysedává u mne dlouhé chvíle a nutí mne, abych jedl. Nemohu. V sobotu — to už jsem tu osmý den? — uchyluje se k největšímu násilí: hlásí polizeimeistrovi, že jsem ještě nic nesnědl po celou tu dobu, co tu jsem. Polizeimeister, věčně ustaraný pankrácký lazebník v SS uniformě, bez jehož vědomí nesmí český lékař ani předepsat aspirin, sám přináší hrnek dietní polévky a stojí u mne, dokud ji nesním. Karlík je velmi spokojen úspěchem svého zákroku a druhého dne už sám do mne nalévá hrnek nedělní polévky.

Ale dál to nejde. Rozbité dásně nemohou rozmělnit ani rozvařený brambor nedělního guláše a stažené hrdlo se brání každému tužšímu soustu.

— Ani guláš, ani guláš nechce — naříká Karlík a smutně nade mnou pokyvuje hlavou.

A pak se s chutí pouští do mé porce, o niž se poctivě dělí s „otcem".

Ach, vy, kteří jste neprožili dvaačtyřicátý rok na Pankráci, vy nevíte, vy nemůžete vědět, co je to guláš! Pravidelně, i v dobách nejhorších, kdy žaludek ryčel hladem, kdy se při koupání objevovali kostlivci, potažení lidskou koží, kdy kamarád kamarádu alespoň očima kradl sousta z jeho přídělu, kdy i odporná kaše sušené zeleniny, zředěná odstředáným výtažkem z rajčat, se zdála touženou pochoutkou, i v těch nejhorších dobách pravidelně

inslav

dvakrát v týdnu — ve čtvrtek a v neděli — vyklepli ti hausarbajtři do misky sběračku brambor a polili lžicí gulášové omáčky s několika třásničkami masa. Bylo to zázračně chutné, ano, ale bylo to víc než chutné, byla to hmatatelná připomínka lidského života, bylo to něco civilního, něco normálního v kruté nenormalitě gestapáckého věznění, něco, o čem se hovořilo sladce a s rozkoší — ach, kdož by mohl pochopit, jakých výsostných hodnot může dosáhnout lžíce dobré omáčky, kořeněné hrůzou stálého odumírání.

Uplynuly dva měsíce a já sám už dobře rozuměl údivu Karlíkovu. Ani guláš jsem nechtěl — nic ho nemohlo přesvědčit o mé blízké smrti tak jasně jako právě toto.

V noci potom, ve dvě hodiny, Karlíka probudili. V pěti minutách musil být připraven na transport, jako by měl jen na chvilku odběhnout, jako by neměl před sebou cestu snad až na sám konec života, do nového kriminálu, do koncentračního tábora, na popraviště, kdovíkam. Ještě poklekl k mému slamníku, objal mou hlavu a políbil — z chodby zazněl drsný pokřik uniformovaného pohůnka na znamení, že city nemají na Pankráci co pohledávat — Karlík proběhl dveřmi, zámek cvakl...

...a zbyli jsme v cele jen dva.

Uvidíme se ještě někdy, chlapče? A kdy přijde další loučení? Kdo z nás dvou zbylých půjde dřív? A kam? A kdo ho vyvolá? Dozorce v SS uniformě? Nebo smrt, jež nemá uniformy?

Teď už to píšu jen v ozvěně myšlenek, které zůstaly s námi po tomto prvním loučení. Už uplynul rok od té doby a myšlenky, provázející odcházejícího kamaráda, se častěji opakovaly s menší či větší naléhavostí. Dvojka, zavěšená na dveřích cely, se opět změnila v trojku a opět v dvojku a zase tři, dva, tři, dva, přišli noví spoluvězňové a zase odešli — jen ti dva, kteří tenkrát zbyli v cele 267, sedí v ní spolu věrně dál:

„Otec" a já.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

„Otec" — to je šedesátiletý učitel Josef Pešek, starosta učitelů, zatčený pětaosmdesát dní přede mnou, protože vypracováním návrhu na reformu svobodné české školy se dopustil úkladů proti Říši.

„Otec" — to je...

Ale jakpak tohle, hochu, vypíšeš? To bude těžká práce. Dva,

inslav

jedna cela a rok! Za tu dobu už zmizely uvozovky kolem jména „otec", za tu dobu ze dvou spoluvězňů různých věků se stal skutečný táta a syn, za tu dobu jsme si navzájem vyměnili zvyky a oblíbená rčení a třeba i tón řeči — poznej dnes, co je moje a co tátovo, s čím přišel do cely on a s čím já!

Ponocoval nade mnou a bílými mokrými obklady plašil smrt, když se blížila. Obětavě čistil hnis z mých ran a nikdy nedal najevo, že cítí jeho hnilobný pach, který se šířil kolem mého slamníku. Pral a látal ubohé cáry mé košile, která se stala obětí prvního výslechu, a když už jí nebylo pomoci, oblékal mě do svého prádla. Přinesl mi sedmikrásku a stéblo trávy, které s risikem utrhl při ranní půlhodince na dvoře pankrácké věznice. Provázel mě laskavýma očima, když jsem odcházel k novým výslechům, a přikládal nové obklady na nové rány, s nimiž jsem se vracel. Když mne odváděli k nočním výslechům, neusnul, dokud jsem nepřišel zpět a dokud mě neuložil na slamník a pečlivě nezabalil do přikrývek.

Takové byly naše začátky a společné pokračování je nezradilo, i když jsem již mohl stát na vlastních nohou a splácet synovské dluhy.

Ale takhle jedním dechem všecko, hochu, nevypíšeš. Cela 267 měla v tom roce bohatý život a vše, co žila, žil po svém i otecko. To musí být řečeno. A vypravování není ještě konec. (Což má dokonce zvuk naděje.)

— —

Cela 267 měla bohatý život. Snad každou hodinu se otvíraly dveře a přicházela inspekce. Byl to nařízený zostřený dozor nad těžkým komunistickým zločincem, ale byla to i prostá zvědavost. Často tu umírali lidé, kteří zemřít neměli. Ale zřídka se stávalo, aby nezemřel ten, o jehož smrti byl kdekdo přesvědčen. Přicházejí dozorci i z jiných chodeb, dávají se do hovoru nebo mlčky odkrývají přikrývky, znalecky vychutnávají rány a pak podle nátury dělají cynické vtipy nebo nasazují přátelštější tón. Jeden z nich — začínáme mu říkat Prášek — přichází častěji než ostatní a se širokým úsměvem se ptává, jestli ten „rudý d'ábel" něco nepotřebuje. Ne, děkuji, nepotřebuje. Po několika dnech objevuje Prášek, že ten rudý d'ábel přece jen něco potřebuje: oholit. A přivádí holiče.

inslav

Je to první vězeň mimo naši celu, s nímž se tu seznamuji: soudruh Boček. Dobrosrdečná úsluha Praškova ukazuje se být úsluhou medvědí. Otecko drží mou hlavu, soudruh Boček klečí u slamníku a tupou žiletkou se snaží proklestit si cestu bukovým podrostem. Ruce se mu chvějí a v očích má slzy. Je přesvědčen, že holí mrtvolu. Snažím se ho ukonejšit.

— Jen odvahu, hochu, když jsem vydržel výslech v Pečkárně, snad vydržím i tvé holení.

Ale sil je přece jen málo a musíme odpočívat oba, on i já.

Za dva dny poznávám další dva vězně. Páni komisaři v Petschkově paláci jsou netrpěliví. Poslali si pro mne, a protože polizeimeister denně píše na předvolánku „transportunfähig", dávají příkaz, abych byl dopraven jakkoli. Dva vězňové v trestaneckých uniformách chodbařů čili hausarbeitrů zastavují tedy před naší celou s nosítky, otecko mě s námahou navlíká do šatů, kamarádi ukládají na nosítka a nesou. Jeden z nich je soudruh Skořepa, budoucí pečlivý táta celé chodby, druhý je *. Naklání se ke mně, když kloužu po šikmé ploše nosítek, nesených právě po schodišti, a říká:

— Drž se!

Pak dodává tišeji:

— Tak i tak!

Tentokrát nezastavujeme v přijímací kanceláři. Nesou mne dál, dlouhou chodbou k východu, chodba je plná lidí — je čtvrtek a příbuzní přicházejí pro prádlo svých uvězněných — všichni se dívají na ten neveselý průvod, v očích mají soustrast a to se mi nezamlouvá. Vysunuji proto ruku k hlavě a zatínám ji v pěst. Snad to uvidí a pochopí, že je zdravím, snad je to jen blahové gesto, ale víc nemohu, víc ještě nemám sil.

Na pankráckém dvoře naložili nosítka do nákladního auta, dva SS sedli k šoférovi, dva SS s rukama na rozepjatých pouzdrech revolverů se rozkročili u mé hlavy — a jeli jsme. Ne, nemají tu právě ideální cestu: jeden výmol, druhý výmol — a než jsme ujeli dvě stě metrů, ztratil jsem vědomí. Byla to komická jízda pražskými ulicemi: nákladní pětitunka, určená pro třicet vězňů, tratí teď benzin pro vězně jednoho a dva SS vpředu a dva vzadu

* Jméno v rukopise není uvedeno.

inslav

s revolvery v rukou dravými pohledy střeží mrtvolu, aby jim neutekla.

Druhého dne se komedie opakovala. Tentokráte jsem však vydržel až do Petschkova paláce. Výslech nebyl dlouhý. Komisař Friedrich se poněkud nešetrně dotkl mého těla a zpátky už mě vezli zase v bezvědomí.

Teď nastaly dny, kdy už jsem nemohl pochybovat, že žiju. Bolest, rodná sestra života, připomínala ho velmi zřetelně. I Pankrác už se dovídala, že jsem jakýmsi nedopatřením živ, a přicházely první pozdravy: silnými zdmi, které zněly ťukáním, i očima chodbařů, když rozdávali jídlo.

Jen moje žena nevěděla o mně nic. Sama na cele, jen o poschodí níž a o tři čtyři kobky dál, žila v úzkostech a nadějích, až jí sousedka na ranní půlhodince pošeptala, že už je se mnou konec, že prý jsem na cele podlehl ranám z výslechu. Pak bloudila po dvoře a svět se s ní točil a ani necítila, jak jí dozorkyně pěstmi v obličeji poskytuje útěchu a snaží se ji zahnat do řady, která znamená regulérní vězeňský život. Co asi viděly její velké, dobré oči, když se pak bez pláče dívaly po bílých stěnách kobky? A druhého dne zase jiná zvěst, že ne, že jsem nebyl docela utlučen, že jsem však neunesl bolest a oběsil se v cele.

A já se zatím hemžil na ubohém slamníku a každého večera a každého rána se úporně obracel na bok, abych mohl Gustině zazpívat písně, které měla ráda. Jak je mohla neslyšet, když jsem do nich vkládal tolik vroucnosti?

Dnes už ví, dnes už slyší, ačkoli je vzdálenější než tenkrát. A dnes už i dozorci vědí a zvykli si, že cela 267 zpívá, a už ani nehartusí za dveřmi, aby bylo ticho.

Cela 267 zpívá. Zpíval jsem si celý život, nevím, proč bych měl přestat právě na konci, kdy se žije nejintensivněji. A otecko Pešek? Ach, to je neobyčejný případ! Zpívá vášnivě rád. Nemá ani hudební sluch, ani hlas, ani hudební paměť; ale miluje zpěv takovou krásnou a oddanou láskou a nalézá v něm tolik radosti, že ani neslyším, když klouže z tóniny do tóniny a tvrdošíjně zpívá „g“, kde tvoje uši přímo touží po „a“[1]. A tak zpíváme, když se vtírá stesk, zpíváme, když je veselý den, zpěvem provázíme kamaráda, který odchází a s nímž se snad už neshledáme, zpěvem vítáme dobré zprávy z bojiště na východě, zpíváme pro útěchu

inslav

a zpíváme z radosti, tak, jak lidé zpívají odedávna a budou zpívat, dokud budou lidmi.

Není života bez zpěvu, jako není života bez slunce. A my tedy potřebujeme zpěv dvojnásob, protože slunce k nám nepřichází. Číslo 267 je cela severní, jen v letních měsících na několik okamžiků nakreslí zapadající slunce na východní stěnu stín mříží — a pak otecko stojí opřen o kavalec, dívá se na tu letmou sluneční návštěvu... a to je ten nejsmutnější pohled, jaký tady můžeš spatřit.

Slunce! Tak štědře svítí ten okrouhlý kouzelník, tolik zázraků činí před lidskýma očima. A tak málo lidí žije ve slunci. Bude. Ano, bude svítit a lidé budou žít v jeho paprscích. Je krásné vědět to. A přece bys tak rád věděl také něco neskonale méně důležitého: bude svítit — také pro nás ještě?

Naše cela je cela severní. Jen někdy v létě, když se den vydaří, vídáme slunce zapadat. Ach, otecko, chtěl bych jednou přece vidět východ slunce.

KAPITOLA IV.

Čtyřstovka

Májové intermezzo 1943

Dnes je První máj 1943. A právě služba, při které mohu psát. Štěstí! Být v tento den opět na chvilku komunistickým novinářem a psát zprávu o májové přehlídce bojových sil nového světa!

Nečekej, že uslyšíš o vlajících praporech. Nebylo nic takového. Ani ti nemohu vyprávět o nějakých strhujících činech, kterým se tak rádo naslouchá. Bylo to dnes všecko mnohem prostší. Ne prudká, výbušná vlna desetitisíců, kterou jsem jiná léta vídal proudit ulicemi Prahy, ne nádherné moře milionů, které jsem viděl zaplavovat Rudé náměstí v Moskvě. Nemůžeš tu vidět ani miliony, ani sta. Vidíš tu jen několik soudruhů a soudružek. A přece, cítíš, není to menší. Není, protože to je přehlídka síly, která právě prochází nejprudším ohněm a nemění se v popel, nýbrž v ocel. Přehlídka v zákopech za bitvy. A v zákopech se nosí polní šeď.

Je to všecko v takových maličkostech, kdoví, zda tomu vůbec

inslav

porozumíš ty, který to jednou budeš číst a kterýs to všecko neprožil. Ale snaž se porozumět. Věř, je v tom síla.

Ranní pozdrav sousední cely, která vyťukává dva takty z Beethovena, je dnes slavnostnější, důraznější a stěna jej tlumočí vyššími tóny.

Oblékáme, co máme nejlepšího. Je to tak ve všech celách.

Snídaní přijímáme už v plné parádě. Před otevřenými dveřmi cely defilují chodbaři s chlebem, černou kávou a vodou. Soudruh Skořepa podává tři bochníčky chleba místo dvou. To je jeho májový pozdrav; činný pozdrav starostlivé duše. A pod bochníčky se prst přitiskne k prstu. Mluvit nesmíš, i na oči ti dávají pozor — ale což němí nedovedou zřetelně mluvit prsty?

Na dvůr pod oknem naší cely vbíhají ženy k ranní půlhodince. Vylézám na stůl a dívám se mřížemi dolů. Snad mě zahlédnou. Zahlédly. A zvedají pěst na pozdrav. Opětuji. Dole na dvoře je dnes živo, docela jinak, radostněji živo, než jiné dny. Dozorkyně nic nevidí nebo dokonce nechce vidět. A i to už patří k letošní májové přehlídce.

Teď naše půlhodinka. Předcvičuji. Je První máj, hoši, začneme dnes jinak, ať se stráže třeba diví. První cvik, ráz dva, ráz dva, údery kladivem. A druhý cvik: kosení. Kladivo a kosa. Při troše fantasie snad soudruzi pochopí. Kladivo a srp. Dívám se kolem. Usmívají se a opakují cviky s vervou. Pochopili. Tak, hoši, to je náš májový tábor a tahle pantomima — to je náš májový slib, že třeba na smrt jdoucí, věrni zůstaneme.

Zpátky na cele. Devět. Teď hodiny na Kremlu odbíjejí desátou a na Rudém náměstí začíná přehlídka. Otecko, jdeme s sebou! Tam zpívají teď Internacionálu, teď zvučí Internacionála po celém světě, ať zní i z naší cely. Zpíváme. A pak se revoluční píseň řadí k písni, vždyť nechceme být sami, vždyť nejsme sami, vždyť patříme k těm, kteří je teď zpívají volně, na svobodě, ale stejně v boji jako my...

Tovaryšči v turmach,
v zastěnkach cholodnych,
vy s nami, vy s nami,
choť nět vas v kolonnach...

Da, my s vami.

Tak jsme my na cele 267 plánovali slavnostní zakončení májové přehlídky 1943. Ale je to skutečně konec? A což ta chod-

inslav

bařka z oddělení žen, která se teď odpoledne prochází po dvoře a hvízdá pochod Rudé armády a hvízdá Partyzánskou a hvízdá jiné sovětské písně, aby dodala mysli mužům na celách? A což ten muž v uniformě českého strážníka, který mi přinesl papír a tužku a který teď střeží na chodbě, aby mě nepřekvapil nikdo nepovolaný? A což ten druhý muž, který je vlastně iniciátorem tohoto psaní a který odnáší a pečlivě ukrývá tyto lístečky, aby se objevily na světle až v pravý čas? Za tento kousek papíru platili by hlavou. Riskují ji, aby byli mostem mezi zamřížovaným dneškem a svobodným zítřkem. Bojují. Bojují oddaně a beze strachu na svém místě, jak jim terén přikazuje, a všemi prostředky, které mají. A jsou zcela prostí a nenápadní a tak docela bez pathosu, že bys ani nepoznal boj na život a na smrt, v němž jsou na straně přátel a v němž mohou stejně padnout jako zvítězit.

Desetkrát, dvacetkrát jsi viděl pochodovat vojska revoluce na májových přehlídkách a bylo to slavné. Ale teprve v boji oceníš pravou sílu této armády, a jak je nezničitelná. Smrt je prostší, než sis myslil, a hrdinství má tvář bez svatozáře. Ale boj je ještě krutější, než jsi předpokládal, a vytrvat v něm a dovést ho až k vítězství — k tomu je třeba síly nezměřitelné. Denně ji vidíš v pohybu, ne vždy si ji však cele uvědomuješ. Vždyť všecko se zdá tak samozřejmé.

Dnes sis ji opět uvědomil.

Na májové přehlídce 1943.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1943

inslav

Четвертый раздел

ЛИТЕРАТУРА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ

(с 1945 года)

inslav

inslav

Четвертый раздел хрестоматии посвящен литературе народно-демократической Чехословакии.

В мае 1945 г. Советская Армия освободила Чехословакию от фашистской оккупации. Трудящиеся страны установили народно-демократический строй и приступили к строительству основ социализма. Коренные преобразования, происшедшие в экономике и общественной жизни Чехословакии, определили и новые пути развития национальной культуры, способствовавшей утверждению новой действительности.

Основным содержанием литературной жизни Чехословакии стало дальнейшее развитие и обогащение литературы социалистического реализма, борьба за ее правдивость и революционную идейность. Приобщение массы писателей к идеалам коммунизма обусловливает интенсивный идейный рост литературы. Социалистическая литература развивается в борьбе с влияниями буржуазной идеологии и различными модернистскими извращениями в искусстве. Передовая литературная общественность Чехословакии выступает за углубленное, творческое понимание принципов социалистического реализма, избавление от догматизма и упрощенчества, которые приводили к схематическому изображению явлений действительности. Важную роль в развитии современной чешской литературы сыграли IX (1949) и X (1954) съезды Компартии Чехословакии, нацелившие писателей на осуществление важных общественных задач. Большое значение для роста новой чехословацкой литературы имело создание единого Союза чехословацких писателей, который был учрежден на I съезде писателей в 1949 г.

II съезд чехословацких писателей (1956) подвел итоги развития чешской и словацкой литературы за истекший период и осудил догматическое толкование принципов социалистического реализма, отрыв некоторых писателей от жизни народа, пренебрежение к совершенствованию художественного мастерства. Справедливой критике подверглись некоторые формы организации литературной жизни. Решения съезда ставят целью дальнейшее развитие чешской и словацкой литератур в русле социалистического искусства.

Крупнейшими периодическими изданиями Союза чехословацких писателей на чешском языке являются газета «Литерарни новины» („Literární noviny“) и журнал «Новы живот» („Nový život“).

Больших успехов достигло чешское литературоведение, ведущим представителем которого является Зденек Неедлы. Современные чешские критики и литературоведы успешно борются за идейность и высокое художественное мастерство литературы, за марксистскую оценку литературного наследства. Принципиальное осуждение чешской критики находят тенденции принизить значение идейного содержания литературы, измельчание тематики у отдельных писателей.

Опираясь на прогрессивные традиции чешской классической литерату-

inslav

ры, на творчество пролетарских писателей Неймана, Майеровой, Ольбрахта, Фучика, заложивших основы социалистического реализма, лучшие чешские и словацкие писатели идут по пути создания высоко идейных и подлинно художественных произведений.

Чехословацкая литература творчески использует опыт советских писателей, произведения которых широко переводятся и издаются большими тиражами.

В литературе новой Чехословакии большое развитие получила тема героического народного сопротивления оккупантам и освобождения страны Советской Армией (сборник рассказов «Немая баррикада» Я. Дрды, романы «Деревня под землей» Й. Марека, «Жизнь против смерти» М. Пуймановой, стихи В. Незвала, В. Завады, Ф. Грубина и др.).

Коренные преобразования, происходящие в процессе строительства социализма, борьба за упрочение народно-демократического строя в городе и деревне, новое отношение к труду, организация единых сельскохозяйственных кооперативов и т. д. составляют содержание многих литературных произведений (романы В. Ржезача «Наступление» и «Битва», роман Т. Сватоплука «Без шефа» и К. Ф. Седлачека «Луизиана пробуждается», стихи В. Незвала, В. Завады, Ф. Грубина, Й. Кайнара, М. Кундеры и др). Многие литературные произведения посвящены жизни интеллигенции, ее участию в культурной революции, переменам, в сознании той части интеллигенции, которая раньше стояла на пассивных и даже враждебных позициях, а теперь активно включилась в строительство нового общества (роман Я. Отченашека «Гражданин Брих», пьеса М. Яриша «Интеллигенты» и др.). Чешские писатели и поэты создали галерею прекрасных образов положительных героев — сознательных строителей социализма, воплощающих в себе лучшие качества гражданина народно-демократической Чехословакии.

Образ человека новой социалистической эпохи раскрывается и в драматургии («Орденоносцы», «Сельская любовь» М. Стеглика, «Хорошая песня», «Такая любовь» П. Когоута и др.), и в лирике (В. Незвал «Города и васильки», В. Завада «Полевые цветы», М. Пуйманова «Прага», стихи Я. Сейферта, Я. Ноги, М. Флориана). Большое место в современной чешской поэзии занимает жанр политической лирики, которая выражает стремление чешского народа к миру, его протест против войны, его солидарность с борьбой колониальных народов.

Наряду с темами современности, писателей привлекает историческое прошлое чешского народа, его борьба за свободу. Традициям революционной борьбы чешского пролетариата посвящены романы-хроники Антонина Запотоцкого «Встанут новые борцы», «Бурный 1905 год», «Красное зарево над Кладно».

Получил развитие своеобразный жанр путевых очерков, посвященных успехам социалистических стран и борьбе народов капиталистических и колониальных государств за свои права, за мир (Я. Глазарова, Я. Дрда, Й. Марек, Я. Пиларж, М. Зигмунд, Й. Ганзелка и др.).

Литература современной Чехословакии богата и многообразна. Лучшие произведения чешских писателей в яркой, эмоциональной форме обобщают новый общественно-исторический опыт народа, строящего социалистическое общество.

inslav

MARIE PUJMANOVÁ

МАРИЯ ПУЙМАНОВА

(1893—1958)

Мария Пуйманова принадлежит к числу крупнейших писателей народно-демократической Чехословакии. Своим большим художественным талантом она безраздельно служит народу, строящему новую жизнь.

Пуйманова родилась в семье профессора Пражского университета. Ее первые рассказы появились в конце 10-х — начале 20-х гг. Тематика этих произведений не выходила еще за пределы представлений и интересов буржуазно-интеллигентской среды.

После опубликования первых рассказов Пуйманова обратилась к журналистике, выступала в качестве литературного и театрального критика. В 20-е гг. она активно участвовала в общественных мероприятиях прогрессивной чешской интеллигенции, проводившихся в целях защиты интересов трудящихся.

В начале 30-х гг. вместе с Юлиусом Фучиком Пуйманова выехала в район крупной забастовки шахтеров в Северной Чехии, где выступала с защитой бастующих. Тогда же она посетила с професором Зденеком Неедлы промышленный город Либерец, увидела там закрытые в связи с кризисом текстильные фабрики, измученных голодом рабочих.

В 1932 г. в составе рабочей делегации Пуйманова совершила поездку в Советский Союз, в результате которой появилась книга очерков «Взгляд

inslav

на новую землю» („Pohled do nové země"). Писательница выступила в ней как друг советского народа.

Знакомство с жизнью рабочих на родине и поездка в СССР оказали благотворное идейное воздействие на творческое развитие писательницы, помогли ей прийти к последовательно реалистическому изображению действительности.

Замечательные качества прогрессивного художника-демократа, борца за интересы трудящихся обнаружила Пуйманова в лучшем из произведений, написанных ею в годы буржуазной республики, — романе «Люди на перепутье» („Lidé na křižovatce", 1937).

С большой радостью приветствовала писательница май 1945 г. После освобождения Чехословакии она вступила в ряды коммунистической партии и стала активным общественным и культурным деятелем страны. Созданные Пуймановой в последние годы романы «Игра с огнем» („Hra s ohněm", 1946) и «Жизнь против смерти» („Život proti smrti", 1952), а также поэтические сборники «Выражение любви» („Vyznání lásky, 1949), «Миллионы голубок» („Miliony holubiček", 1950), «Улыбка Китая» („Čínsky úsměv", 1954), «Прага» („Praha", 1954), свидетельствуют о большом творческом росте писательницы. Появление каждой из этих книг было крупным вкладом в развитие новой социалистической литературы Чехословакии. Все они были удостоены Государственной премии.

«Игра с огнем» и «Жизнь против смерти» являются продолжением романа «Люди на перепутье» и вместе с ним составляют трилогию о жизни Чехословакии, охватывающую период от окончания первой мировой войны до освобождения Праги в мае 1945 г.

В трилогии правдиво изображена действительность буржуазной республики, картины кризиса, последствия мюнхенского сговора и время фашистской оккупации. Пуйманова рисует жизнь разных слоев общества, создает яркие образы их представителей.

Ведущая мысль трилогии — утверждение правоты тех, кто пошел по пути борьбы за осуществление коммунистических идеалов. Коммунисты борются за счастье народа, они указывают ему правильный путь, их правда — правда жизни — побеждает смерть. Об этом с большой художественной силой говорят книги Пуймановой. Трилогия завершается торжеством жизни — картиной освобождения Праги советскими войсками от гитлеровцев в мае 1945 г.

Через всю трилогию проходит тема дружбы и любви трудящихся Чехословакии к Советскому Союзу. Для героев трилогии, борцов за новую Чехословакию, советская действительность была живым примером торжества идей социализма.

Подлинно народные романы Пуймановой получили заслуженное признание читателей многих стран.

Правдивые картины жизни, оптимизм, мягкий лиризм и тонкий юмор, глубокое проникновение в психологию героев, мастерское раскрытие их духовной красоты и героизма — эти отличительные черты трилогии прежде всего привлекают читателей. Правда, писательницу можно упрекнуть в том, что в первом романе события и явления оцениваются иногда с известным объективизмом, что ей не всегда одинаково успешно удается отобрать из

inslav

жизни типическое, что в последней книге недостаточно глубоко показана жизнь советских людей. Но все это никак не умаляет огромной идейно-художественной ценности трилогии в целом.

В годы народно-демократической Чехословакии раскрывается и поэтическое дарование Пуймановой. В книги «Выражение любви», «Миллионы голубок», «Прага» вошли ее лучшие стихи. Созидательный труд чехословацких трудящихся, их любовь к Советскому Союзу и мужественная последовательная борьба за дело мира явились основным содержанием этих сборников.

С литературной деятельностью писательница сочетала деятельность общественную, была активным борцом за мир и социализм. «Лучшей защитой мира я считаю путь к социализму», — писала Пуйманова в 1949 г.

В 1953 г. писательнице было присвоено звание Народного художника.

LIDÉ NA KŘIŽOVATCE

Первая часть трилогии посвящена изображению жизни Чехословакии после первой мировой войны и в 30-е годы. С большим мастерством показана в ней борьба чехословацких рабочих в годы кризиса, рост их классового сознания.

В первом романе, как и во всей трилогии, в центре внимания писательницы семья прогрессивного адвоката-коммуниста Петра Гамзы и семья вдовы слесаря Анны Урбан. Судьба членов этих семей, многообразие их жизненных путей и взглядов изображены на фоне исторических событий, в неразрывной связи с окружающей их общественной средой.

Одним из наиболее ярких мест романа является описание рабочего митинга в Драхове, на котором с разоблачением буржуазной демагогии и призывом к борьбе выступил один из ведущих героев произведения, коммунист Гамза.

Правдиво и убедительно раскрыто в произведении идейное развитие молодого рабочего Андрея Урбана. Попав вначале в сети буржуазной пропаганды, он постепенно, под влиянием действительности, приходит к пониманию необходимости борьбы. Решающим событием, после которого Андрей становится на путь протеста, явилось его присутствие при расстреле полицией бастующих рабочих в Нехлебах, когда была убита Франтишка Поланская, жена одного из руководителей забастовки.

Průvan protáhl sálem a na podiu nastal ruch. Tlupa mladých hochů, sportovně oblečených, s několika prostovlasými děvčaty nezávislého vzhledu, ve svetrech, se nahrnula bokem na tribunu a nastavěli se tam ke stěně, takže záda komisařova a předsedících nebyla kryta, a to policejní řád nedovoluje. Útlounká sekretářka vyšla ze svého místa, dotýkala se krajních ramen a domlouvala mládeži, ať sejdou do sálu, aby jim pro takovou hloupost nerozpustili schůzi. Hoši chvíli zamračeně vyjednávali; a jak odcházeli druh za druhem neochotně s podia, ohlíželi se k zadnímu vchodu

inslav

a za chůze tleskali. Neustávajíce tleskat, seskupili se pod řečništěm.

„Tamhle máte Gamzu," prohodil Rosenstam, a slečna Kazmarová viděla přijít nenápadného muže dobrého držení, hubené svěží tváře, s očima položenýma daleko od kořene nosu. Postavil se před stolek a začal mluvit obyčejným hlasem, dost tiše a velice zřetelně. Slova jako by bylo vidět.

Nejdřív vítám ty úlecké dělníky, kteří měli kuráž sem dnes přijít (Francek Anténa se vyjasnil); víme, že v Úlech to není maličkost; tam jde hned o kůži. Ty Úly mají pověst jakéhosi ostrova blažených; dělníci tam žijí v lepších podmínkách, jsou slušněji placeni, lépe bydlí a laciněji nakupují. (Kolůšek se jal pozorně naslouchat s nastraženým obočím.) Bylo by hloupé, neuznat to a skreslovat skutečnost; skreslováním skutečnosti se nikam nedojde; však my si to povíme od začátku do konce. Hořelo před čtrnácti dny v přádelně, opravuje se tam a nedělá se. Část osazenstva, zejména muži, pomáhají, pokud to dovedou, za denní mzdu při opravách, a mají slib, že je Kazmar vezme zpátky do práce, až bude zracionalisovaná přádelna v provozu. Čtyřicet žen pak dostalo výpověď. Abych tady hřměl proti Kazmarovi a dovolával se jeho citu pro povinnost a svědomí, nemá smysl a je škoda slov; je podnikatel a počítá. Ale zrovna tak my, kamarádi, máme počítat a nepočítáme, a to je chyba, která se vymstí na těch netečných. Slyším, soudruzi, že většina dělníků, zaměstnaných u Kazmara, ty výpovědi klidně strpěla, nestará se o ty propuštěné a nebere se o kamarády; bojí se, aby si nepoškodili. Nebudu užívat silných slov a neřeknu, že je to hanba a zrada; řeknu vám jen a vyřiďte jim, že jsou ve své domnělé opatrnosti trestuhodně neopatrní. Když už ti dělníci nemyslí na druhy, že nepamatují na sebe! Každého z nich může zítra potkat týž osud, co potom? Kdo se jich ujme? Pes po nich neštěkne.

Když jsme byli chlapci a chodili jsme do školy, všem nám učitel vypravoval tu pověst o prutech Svatoplukových. Všichni ji znáte. To je moudré podobenství a podnes platí, a co bychom si z něho nevybrali, co nám patří. Pamatujete, soudruzi, jak hravě se lámalo těm kralevicům proutek po proutku, člověka po člověku, ale jak ti mladí bohatýři, ať se namáhali jak chtěli, nedovedli zlomit otep prutů, kolektiv? „A to bych se na to rád podíval," najednou jiskrně hodil Gamza do shromáždění, „kdyby deset tisíc Kaz-

inslav

marových dělníků a Kazmarových chlapců dnes mu položilo práci pro těch čtyřicet výpovědí, co by mohl dělat? Ten by si to rozmyslil! Není tak prosté, shánět deset tisíc a třeba jen polovičku zaběhaných lidí, nevěřte tomu. Jafeta je zdravý podnik, neskladuje, zařizuje prodejny, rozpíná se, musí dělat, nesmí stát. Dnes, v době takového rozkvětu! Vy sami neznáte svou moc."

„Pane komisaři, to je pobuřování!" vzkřikl svým pronikavým ženským hlasem Kolůšek.

„Ven!" zahučelo několik hlubokých hlasů zlověstně, a sportovní hoši se hrozivě hrnuli směrem ke Kolůškovi. Sekretářka, chůva schůze, se k nim vrhla a popadla zadního za rukáv. Všechny krky se natahovaly ke Kolůškovi.

„Ale braši," vyřkl s politováním se stupínku Gamza, „já se těšil, že si pohovoříme, a vy takhle. Nechte ho, jen ať poslouchá! Ať se taky něco naučí."

Ozval se smích, a Kolůšek, tváře se hrdě a odmítavě, nehledě na nikoho, seděl bez hnutí.

„Je, soudruzi, žalostná podívaná," pokračoval Gamza, „na malé lidi, na chudáky střádaly, jak každý se svým hliněným prasátkem se tlačí a strkají okolo zlatého telete a čekají skrčeni na bobečku, až je to zlaté tele kopne. Veliký kapitalista, ten vidí do hry, ten zná souvislosti, ten ví a nepoví, jak se podmiňují vlastenecké nadšení a potřeba nových odbytišť či lacinějších plantáží, jak souvisí bursa a válka, zbrojařská akcie a vojákův život, ten ví, co obnáší svět, a nelže si o zlatě na papíře pohádky. Ty jsou jen pro děti, co ho poslouchají s ústy dokořán. Ano, malinký, chudý, závislý člověk s několika tisíci naškrcených úspor na knížce, ten vzhlíží s dětskou a nábožnou úctou k bohatství, které se mu kryje s ctností, a hájí jeho čest, to je ten věrný hafálek a hlídač velkého kapitálu, pes svého pána. Zmítá se na řetěze, je k domu, má pánovo stavovské povědomí a štěká na proletáře. Ale abych nekřivdil psovi. Cvičený ohař pánovi vystavuje a aportuje zvěř, dobrá, ale přece nesní o tom, vzít pušku přes rameno a myslivecký klobouček a napodobit pána. (Francek se dá do dětského smíchu, když si představil takto vystrojeného psa a zároveň Kolůška.) Je hrůza, soudruzi, pozorovat ty vypůjčené mozky, ty žalostné karikatury v šatech od panstva odložených, to rošťáctví lokajů, ty číšnické ideály, být kavárníkem a oplatit sklepníkům pohlavky, co od nich utržil jako pikolo. Na maloměšťákovi stojí

inslav

starý svět; to jsou ti ponocní soukromého řádu, který se pozdí za dvacátým stoletím jako hodiny, co docházejí.

Žijeme, soudruzi, dobu přechodnou a přípravnou; to jistě všichni dobře víte z vlastní zkušenosti: jsme lidé na křižovatce. Jedna válka skončila a s druhou se nepřestává počítat; žijeme v ozbrojeném míru; na západě se smráká, na východě svítá, nikde není plný den. V sovětském Rusku zvítězila zbraní a vítězí prací dělnická revoluce, na západě žije v myšlence —"

„Té se nenajíte!" vpadl Kolůšek.

„Nechte ho!" volal Gamza na syčící a dupající. „Prý děti a blázni mluví pravdu. Ale my jsme muži, doufám, a vidíme dál, než za špičku nosu. Buď to budou dělat dělníci politiku záplat ze dne na den, nebudou se dívat před sebe, nebudou se starat o druhy, budou brát mzdu, pokud je konjunktura, a nechají se vyhodit na dlažbu, až přestane, věčně nebude, to vám poví každý národní hospodář, a přejdou k nám nakonec přece — až jako vyšinutí a zlomení lidé, anebo se rozhodnou včas na té křižovatce, kde jsme se octli všichni, kudy se dát. Proč čekat, až z těch čtyřiceti propuštěných, pro které jsme se dnes tady sešli, budou miliony nešťastných a hladových lidí, proč nechat běžet věci, jak pánbůh zdraví dá, proč nechat jednat až zoufalství. Je všeho dost pro všechny na této krásné zemi, obilí, vína, vodní energie, železa, bavlny, nafty, dostatek všeho, čím je živ člověk, z čeho vyrábí stroje a čím je pohání, pro všechno obyvatelstvo světa. To není má fantasie, abyste myslili, na to jsou přesné statistické tabulky a čísla, a je dobře, abyste to všichni věděli a pověděli o tom kamarádům. My nejsme pochmurná armáda vyděděnců a ztroskotanců, jak nás s oblibou líčí měšťáci; milujeme život na zemi, nevěříme v život po smrti a chceme rovné právo na slunci pro všechny pracující světa. Kdo jste mladí lety nebo srdcem, kdo máte v žilách krev a ne vodu, kdo máte jasnou hlavu a dvě ruce, dejte se k nám!..."

Františka Polanská

...Muži vážných tváří a ženy, které vyšly z domovů na náměstí, poslouchali pohromadě, jak táborový řečník proměňuje jejich denní malé Nechleby; jak z úmorné tahanice s Latmano-

inslav

vou správou, z mlýnku domácích starostí, z kolečka sacharinu bídy se klube myšlenka, jež hnula stoletím. Poslouchali, muži vystouplých ohryzků a ženy vpadlých prsou a děti, které vzhlížely tázavě k matkám za některého tuřího zařvání řečníkova — byli tu všichni a ztělesňovali to pravdivé, co karikoval řečník.

Nedomluvil, když Ondřej si povšiml, že jakýsi chlapec se proplétá tlačenicí jako s novinou. Ondřej neviděl jeho tvář, viděl jen pohyb, směřující k protější straně náměstí. Rýha, kterou za sebou vyplouhal, se scelila, a poslíček zapadl v obilí davu. Nad náměstím dusným lidmi dál duněl řečník. Závan první roztržitosti se dotkl množství. Lidé kolem Ondřeje se ohlíželi, jako by někoho hledali. Neklidné bubliny pryskaly odspodu k hladině hustého, horkého rašeliniště. I na protějším křídle, od lorečské strany, něco jako by proskakovalo. Ondřej zaslechl, jak za ním povídá jeden druhému: „To je přece museli vést tudy." Druhý na to: „Nezapomínej, že je z radnice druhý východ do Cihlářské uličky." Bůh ví, kdo první přinesl tu zprávu; jestli to byl ten hoch, nebo kdo. Ondřej se bezděky podíval na paní Polanskou, a ona zachytila jeho pohled a začala se nedůvěřivě rozhlížet. Náhle proběhl pohyb shromážděním; pole hlav sebou zavlnilo, a Ondřej obrátil oči, kam všichni, k radnici. Z radnice vycházeli nějací muži, snad zástupci stávkujících, lidé před Ondřejem se k nim nahrnuli, nával mu je skryl. Paní Polanská už nedbala nikoho, drala se kupředu, dělnice za ní, a odřízli ji od Stanislava. Naopak, k pomníku se tlačil komisař v lišícím se stejnokroji, se zaměstnanou a rozhořčenou tváří. Nahoře, na pomníkové desce najednou stál Gamza, veselý, jako by byl běžel a tady se zastavil, jak někdy vypadají vzrušení lidé, a volal:

„Kamarádi! Latmanova správa nechce povolit, ale nedejte se! Vydržte! To by bylo škoda energie. Pamatujte na Polanského. Ptali jste se, co s ním je." Nabral dech a vykřikl, jak Ondřejovi připadalo, radostně: „Teď ho vedou s Franckem Černým na vlak do Hradce do kriminálu."

Komisař zdvihl paži, volal, že rozpouští shromáždění, a přeškrtl Ondřejovi Gamzu. Nepřirozeně vysoký a v té výšce jako osamělý ženský hlas vykřikl: „Nedejte Polanského! Nedejte ho!" a malá žena v zástěře vrhla se, ruce napřed, do návalu, jako by skočila do vody. (Ondřej si nemohl srovnat, že ten křečovitý a jako strojený výkřik byla tichá paní Polanská.) Hlavy a ramena

inslav

se zakomíhaly, lidé volaly: „Nedáme ho! Nedáme Polanského! Anténu nedáme! *Hecha hecho hecháme! Hecháme!*" Mnohohlasý pokřik, jásavě úpěnlivý, znetvořený pod širým nebem; zadusal takový dupot, jako by ten pěší národ obracel koně, a dav se hnul k Nádražní ulici.

Ondřej se Stanislavem se ocitli uprostřed mačkanice a bylo by zbytečno rozhodovat se. Jiní chtěli za ně. Tu je tlačili, tu strkali, tu vrhali na přední chodce. Pomník — s něhož příval spláchl řečníka, a Stanislav marně hledal očima otce — pomník byl v cestě, překážel, podobal se balvanu v řece, o nějž zadrhuje vír; ale ti hbitější přebíhali desku a mezi nimi oba přátelé, a tu na mžik postřehli už kus před sebou paní Polanskou v zástěře zapjaté na zádech, a zástup se nad ní uzavřel. Jednoho starého člověka hodil nával o schod pomníku jako příboj o bradla. Zakopl, roztáhl ruce a padl tváří na kámen. Jestli mu pomohli na nohy, jestli ho ušlapali, Ondřej se nedověděl. Strž je nesla té chvíle značnou rychlostí a lidé se stran tak je obkličovali a nadnášeli, až Ondřejovi bylo, že cizí nohy jdou za něho. Pochopil, že táhne se Stáňou, se všemi na nádraží osvobodit Francka s Polanským, a ani se tomu nedivil; teprv když umlkl, poznal, že křičel s ostatními co hrdla měl, až nemohl, ani o tom nevěděl. V přechodu z náměstí do Nádražní ulice pohyb se škrtil; jako by všechno víno z baňaté láhve mělo najednou protéci úzkým hrdlem. Tady přešlapovali, supěli, snášejíce nápor zezadu, oddychovali na cizí kabáty a krky před sebou, až se provalili do ulice.

Znáte ji všichni, tu neblahou ulici z náměstí k zastávce, byť jste v Nechlebách nikdy nebyli. Ani stará; ani nová, ani město, ani ves, postupuje dvojí řadou kasárenských domků nepřetržitě a úmorně jako týden bez neděle, a její jedinou přírodou je řada lipek a jediným půvabem byl toho dne jarní vzduch — Nádražní ulice všech českých městeček, pokud je neodřízla od hlavní trati petice postilionů a zvláštní milost císařská. V nechlebské Nádražní ulici bydlí půl Latmanky, ale toho dne nezbyly doma, než stařenky s vnoučaty. Sebraly batolátka se silnice (starší děti se jim dávno rozutekly), vzaly je za ruku a postavily se k oknům, když slyšely valit se průvod. Hučel jako povodeň. Před chviličkou vedli z Cihlářské uličky dva muže v želízkách četníci. Vyčíhali si chvíli, kdy všichni čekali před radnicí, jak to s nimi dopadne, a zadem je vyvedli.

inslav

Zvučné kladívko se nadzdvihlo a uhodilo, a spustila návěst k vlaku na Hradec. Znáte to, znáte to? Nádražní zvonky obsahují neklid, i pokojný občan s košíkem přidává do kroku, když zazní na silnici signál. Což teprve dnes! Jako když uhodí na poplach. Lidi posedl děs, ať nezmeškají, a dali se v běh. Nedáme Polanského! Nedáme Anténu! Nedáme je! a kdybychom měli zastavit vlak. Na nádraží, hurá! Ke dvěma tisícům jich bylo, a běželi.

Městečko s Latmankou se rozkládá na pravém břehu řeky, která pohání tkalcovny, trať na Hradec běží po levém břehu. Kdo chce z Nechleb na vlak, musí přes most — a měli zataženou cestu. Most hlídal kordon četníků. (Ten pro civily i ten pro tovární kolejku, oba mosty zatáhli.) Muž vedle muže stáli tu ve vycepované nepohnutosti. Stáli jako malovaná zeď proti mračnu. Byl to jen mžik, trhlinka v čase. I popatřili si zblízka do tváří se všemi tělesnými podrobnostmi ti přední z řady, ženy v zástěrách i venkovsky malí muži vyzáblých obličejů a vycvičení, ramenatí četníci. Všichni měli mámy, všichni vznešli z chudoby, všichni milovali, všichni jednou umrou, dělníci i četníci, ani nemluvili jinou řečí, rozuměli česky. Mezi nimi ležela neviditelná čára, a nenáviděli se. Na most se nesmí. Je nařízení. Na most nevkročí ani noha. Rozejděte se!

„A — baoiii!“ odpověděl znetvořený řev. Napřed byla řeka, vzadu ulice davem praskající, nad stráňovitým břehem vpravo i vlevo domky, před nimi pěšinka jako dlaň. Ať už ti přední chtěli nebo nechtěli, valící se lidé odzadu je napřeli na četníky; četník obuškem; a letěl první kámen. Byla mela. Kluk jako jehla, z oněch kluků, kteří se všudy dostanou a všude musí být první (nebyl to ten, co první přinesl zprávu?), hbitě jak opice vyšplhal na mostní zábradlí, které se pne vznosnými oblouky z dopuštění okresního stavitele, a s vychytralou tváří ukázal se nad četníky davu. Uviděl pohnout se šikmo natlačené obličeje až z Nádražní ulice jako sobě na pozdrav. Četník s hlavou u jeho chodidla se ohnal, praštil jej obuškem přes lýtko, chlapci sebou škubly a povolily nohy, vykřikl spíš udiveně: „Je!“, máchl jednou rukou do prázdna, pustil se a spadl. Voda se rozstříkla nesmyslným, neohrabaným plácnutím, ženy vysoko vyjekly hrůzou jako vítězně, zástup poskočil. Několik mužů popadlo krajního štábního, toho nejblíž po ruce, a rozhoupali ho nad vodou, jako když dávají

inslav

hobla, chtěli jej hodit za tím chlapcem to řeky; tu se již kolem nich schumelili četníci.

„Pozor! To jsem já," hloupě měl na jazyku Ondřej, ale už seděla. Dostal jednu na rameno pendrekem, že na ni bude pamatovat. Jednou ho praštila v Úlech sjíždějící zdviž. Podobně tupá rána to byla, ne jako od člověka v pračce, ale jako od rozjetého tělesa. Už se to všechno vymklo z lidské moci. Tam vpředu jako nepříčetný řval — rozkazoval zupácký hlas, zezadu lítaly nad hlavami kameny. Ondřej si nesl zdravou rukou tu pohmožděnou levici (ani nebolela, jen byla těžká a nesmělá) a marně se snažil propracovat se k některému z domků. (Stáňu dávno ztratil.) Pohyb, jejž neviděl, stín pohybu, zachycený jen v zorném poli — chřestivé švihnutí se vyměnilo vzduchem, jako když stráže hromadně vzdávají čest, a na vteřinu se učinilo bílé ticho.

Lidé zepředu zaječeli cizími, novými hlasy, jaké ještě sami neznali, vypadalo to, že oni tím divokým zavýsknutím propíchli ze zadýmání jiskřičku a ty růžencovitě bouchající rány, užasli, že se to opravdu stalo, popadli se za hlavy, obrátili se a utíkali, utíkali co mohli od toho. Co křičí, když praskne pneumatika, je horší rána — vtom něco malinkého prudce veselého hvízdlo, proletělo Ondřejovi zrovna nad tím potlučeným ramenem — a jak překrásný k nenavrácení byl život *před tím*. Děravým sítem kroupy v loterii, snad mě netrefí, když je nás tolik, jenže si hrozně překáželi, dělej, dělej, nebo ti odzadu tě povalí a předeženou. Zrovna tamhle ten nešika klopýtl, čepici na ucho, ruce dopředu a jako by si chtěl sednout. Co děláte, četníci, vždyť už to víme! „Už víme!" volal Ondřej, nevěda o tom, nahlas, bez sebe tím nedorozuměním. Bůh je mu svědkem, že poctivě utíkali. Četníci měli opakovačky, to se asi musí. Spíš, než hrozné, bylo to divné: střílí se přece s myslivcem a se psem po oranicích, a ne do lidí na obyčejné ulici. Skla řinčela, okenice tloukly, jak je v domcích zevnitř přiráželi jako před bouřkou, a ke všemu se jim někde rozbilo okno, s vysokým smíchem sklo se roztříštilo, když na třináctce hořelo, horší střelby poplach z ní. Ježíši Kriste! Zabili dítě! To se ví, ženské; Ondřeje zdaleka nenapadlo spojovat rozbité okno s tím výkřikem, nic nesouviselo.

Poslední, jako příčinlivý, za své opoždění omlouvající se výstřel dozněl, a bylo ticho. Bylo neuvěřitelné ticho s trochou vůně střelného prachu v slunci. Ani za zavřenými okenicemi nic se ne-

inslav

hýbalo. Ondřej se pevně tiskl k zamčeným dveřím jednoho z domků, a vyzíraje zpod obočí, opatrně pootočil hlavu, jako se bojíme hnout sebou po zlém snu. Tu spatřil: Několik kroků k němu jde žena. Viděl ji celou v zástěře a v střevících uprostřed prázdné rovné ulice s dvojí řadou lipek tak podivně hmotně jako ve vzduchoprázdnu stereoskopu: dlouho si ji potom pamatoval. Držela se taková schoulená, že málem nepoznal paní Polanskou, a vrávorala.

„Jen se mne chyťte," řekl, „to přejde." Neviděl krev, neviděl, že by byla raněna. Přesto v ní bylo něco, co jej hluboce odrazovalo. Odvrátila se, jako by si to chtěla odbýt sama, zastavila se a nahrbena, zaujatě, opatrně kašlala. Snažil se ji odvést zpátky na chodník ke zdi s pocitem varovné nejistoty v lopatkách: nestůjme tu, takhle nemám krytá záda. Náhle zahmatala kolem sebe do prázdna a chytila se ho oběma rukama za bolavé rameno s takovou křečovitou bezohledností, jako by ho chtěla potopit s sebou; visela na něm a chrčela. A to jí to začalo pracovat v prsou, s kloktáním a rachoty, tak ukrutně spěchala a nemohla, v úzkosti tloukla v ní křídly lapená duše. Nic nezbývalo, než držet ji, a pomoc nebyla žádná. Kdy, jak a kam se rozprchl dav, kterým byla ulice nabitá, že by jablko nepropadlo, je u boha, ale ulice byla pustá. Františka Polanská pohnula hlavou, pohlédla na Ondřeje, na cizího člověka na ulici, jako by chtěla nabrat odvahu z živých očí, snad chtěla promluvit, v těžkém odhodlání vzdychla a místo slova vylila se jí z úst krev. To jí, zdá se, ulevilo nesmírně. Podchytil ji. Napadla naráz, ale pomalu se hroutila ke straně, a hlava jí přepadla s onou strašlivou bezvládností spáčů ve vlaku. Jak byla těžká, těžká, ta malá, slabá žena. Myslil, že ji upustí. Volal, zatloukl loktem na dveře domku, ale uvnitř se neozývali. Událost ještě neoschla a báli se. — Tu se k němu žene po chodníku Stanislav, všecek červený v obličeji, se svými bílými vlasy a s dívčím nosem. „Žes tu," volal z daleka. „Tak co, jsi celý? Táta jel na kole do Hradce, jel za nimi, to jsem se dověděl. Neviděls —"

Umlkl, už viděl. A do toho ticha v pravé poledne jel vlak — to nebyl ten, Polanského s Franckem dávno odvezli. Teprve, když zaslechl vlak, Ondřej se rozpomněl, proč to bylo a jak se to všechno stalo...

inslav

Hospodáři, tomu nevěřím

... Už několik dnů houstlo v šestnáctce dusno před bouřkou. Kontrola vracela zboží, v účtárně strhovali, z ředitelství chodily nosy, správce tkalcovny mlčel jako mrak, a Lechora, jeho poháněč, hromoval, přepínal úkoly, utahoval dělníky, a lidé bručeli. V takové dni i stroje jako kdyby cítily předbouřkový tlak v dílně a plaší se: ten si přetluče řemen u prohozu, onomu se utrhl hod a třetí hned by nakrčil hnízdo. Pozor, pozor. S tím nejsou legrace! Nic dnes neprojde. Ty tam jsou časy, kdy na šestnáctce tkali i v sobotu až do hvězdiček a krejčovna to brala apretuře div ne mokré a horké a na ňáký ten škráb se nehledělo. Dnes jsou jako čerti na vady — berou si záminky. Jak se to onehdy stalo Stejskalovi (na kterého mistr sočil pro Ždeninku podavačku): za žebříček výpověď; zkažený kus mu dali na cestu a šel spánembohem. Jaképak rozhodčí komise, to je na oko, každý se tu třese o chleba. I Kazmarovi už prý se houpá půda pod nohama, jenže to umíněný obr nepřizná. (A nemá dobře? Lépe mlčet.) V ty dni se rozneslo po dílnách, že se zas mají nač těšit, čeká se návštěva — jako po každé, kdykoli je potřebí šikovně vyšoupnout pár přespočetných lidí a pobídnout ostatní. Přijde *Beduin* — dělníci tak přezděli bodovacímu inženýrovi podle firmy, od které Kazmar koupil to tajemství, ten patent, ten bič na lidi. Trousili se i takové pověsti, že po zimní kolekci se rozmontují stroje, složí se do beden, a Jafeta se postěhuje sakumpak někam do Maďárie. (Kdo by dal na tu řeč. Strach má velké oči.) Všechny posedala hrůza z tajemného zla, z hospodářského moru, jehož jméno se v Ulech zakazuje vyslovit, i strkali vinu druh na druha od správce dolů, a to víte, ten nejnižší to vždycky odnese, natož, není-li zadobře s mistrem. Halačka si kolikrát po straně stěžovala, že jí Lechora nemůže přijít na jméno, pořád že na ní něco vidí od té doby, co byla na jedné schůzi v Drachově. Ondřej si pak na to vzpomněl.

Zmíněné středy před polednem Ondřej dotkal partii, károvaný flanel pro švédskou dodávku, zarazil a šel za Lechorou, aby si to dal zapsat. Na sále mistra nenašel, i vstoupil do osnovny; a jiskra jím trhla. Přece už nebyl kluk, byl mladý muž. Ale podnes v něm cuklo, kdykoli znenadání spatřil Kazmara z obrazu živého nebezpečně zblízka. Ne, Hospodář se nevznáší neviditelný jako

inslav

duch banky nad Latmankou a neposílá za sebe četníky, ale stará se, jak z kalamity. Sám přichází do dílen, sám dbá. Chlapík Hospodář! Stál u nich v osnovně, obr v obnošeném kabátku, po pravici měl elegantního dlouhána tak krásného jako ze špatného filmu, se stopkami v ruce, Beduina, postrach továrny, po levici měl hřmotného mistra, který se zastavil samou úctou k šéfovi o krok pozadu, ale po těle napjatém jako ke skoku svaly mu zrovna nabíhaly pohotovostí chopit vál za čep nebo člověka za límec a vyhodit — podle rozkazu. Ti tři chlapi jako hory se skupili nad Halačkou, která seděla nízko u okna se schýlenou tváří, temnou proti světlu, před stojanem, kde visely listy, a z listů rozdělaná osnova s proužkováním vzoru jako na vodě — dechni, a rozfoukne se. Ondřej vkročil a pohled se mu svezl tam, kam se upíraly troje číhající zraky, Kazmarovy rázné čárky, Beduinovy krasavčí oči, kulaté jako koňský trus, a bledá chlípná očka mistra Lechory — Halačce na ruce. Spěchá, div jehlu nezlomí, zachytává háčkem o přízi, prsty se jí chvějí a zmátla se. Znal ji, jaká byla nervóza, vždyť jí kdysi podával, když se učil. „Ženská, jste slepá?" s chutí ji okřikl Lechora. „Nedovedete dát pozor? Chyba! Vemte to zpátky, ale honem." Taková zkušená naváděčka! Dělávala rekordy. Měla lehké prsty, práce jí šla od ruky jedna radost, ale to nesnášela, aby na ni zevlovali: jak ji někdo špehoval, ztrácela fortel. Už je to tady, před čím se třásla, bodovací komise! Stopek se bála jak čerta. A spuštěná ručička rejdí dokola a honí Halačku jako kočka myš; a Halačce jako by prsty zchromly; a Zdeninka podavačka nic jí není na ruku a podává naschvál hurtem; a Beduin znamená do svého proklatého archu Halačce vroubky a Kazmar k tomu mlčí zlověstně; honba, honba, lovci, štvaná zvěř a naháněč.

„Vy si u toho brda děláte *somrvónuk*," obořil se na ženu Lechora s hrubostí dychtivou zalíbit se pánovi. „To u nás nemůžem potřebovat. Pořád máte dost času. Pro vozdobu si vás nedržíme."

Halačka pojednou hodila jehlou o zem, až zazvonilo, skočila na nohy a jako když se v ní něco překotí, vyhrkla:

„Však je to moje škoda a ne vaše! Vy zkrátka nepřijdete! Vždyť jsem podle toho placená, jak co uspěchám!"

Padesátiletý Kazmar se nenadále sehnul jako mladík pro jehlu a zdvihl ji prve, než Lechora s Beduinem ťukli o sebe čely u šéfových nohou ochotou posloužit; a jako by tím bystrým pohybem

inslav

byl uzemnil svůj hněv, Hospodář pronesl s rozvahou, otáčeje naváděcí jehlou v prstech:

„Paní Hálová, když nám dělník hodí prací, my ho nezdržujeme. Nikdo není nenahraditelný a vy jste od soboty volná. Hlaste se v pokladně.“ A šel dál. Halačka ostala jak omámená. Stála tu, pootevřela ústa, zírala z prázdných očí a držela ruce poněkud od těla. Nevěděla, kam s nimi. Ženské v osnovně pozvedly hlavy a ohlédly se po ní; zase sklopily oči k úkolům. Hned jako žába dělala u Kazmara, od čtrnácti tu dělala, dvacet pět let tu dělala, on se na ní nepodíval a šel dál. „Zdeno, vzala to za ní,“ zavolal mistr, a sám, chlap stará — že mu není hanba, takovou ženskou práci, stydívali se za ni učedníci ze školy, když musili —, postavil se k válu, aby dokázal, že je štramák, že se práce neštítí, tak, aby to Kazmara zrovna trkalo, a jal se pro tu chvíli všem na příklad podávat Zdenince, která usedla na Halaččinu stoličku před načaté brdo. Halačka neřekla už nic. Vtáhla hlavu mezi ramena, jako člověk, který mrzne, a pomalu, pomalu jako stařenka, a nebylo jí ani čtyřicet, šátrala se k šatnám. Všechna dílna na ni hleděla. Odstřelili ji, jako Polanskou; a Ondřej šel do cesty Kazmarovi.

„Hospodáři,“ začal, „tomu nevěřím —“ Kazmar po něm bleskl překvapeným úsměškem zpod rysích brv a spletl ho v řeči, ale nezvrtl v rozhodnutí. Tak hrozné jest odhodlati se nesmělému člověku, že, když se jednou rozhodl, už od úmyslu neupustí; a Ondřej Kazmarovi zastoupil cestu a nepustil ho. „Hospodáři, vy jste spravedlivý člověk,“ vyřkl v úzkosti, jako by běželo ještě o něco jiného a Ondřejovi závažnějšího, a chytal se ho hlasem. „Vždycky jsem vám věřil. Halačka je u vás pětadvacet let, nic vám neudělala, přece ji nevyhodíte jako uličnici, jako — jako ňákou směť—“

Kazmar mu pohlédl ne do očí, ale kamsi na temeno hlavy.

„Dělníky mám na práci,“ stručně řekl, „a pořádek tu dělám já. Vám se ten pořádek nezdá, tož si vyzvedněte legitimaci a běžte taky.“ V Ondřejovi se na mžik zastavilo srdce; hned o překot, v zkratkách jako před utopením, metalo mu do zornic obrazy těch let, blázna Miškeříka, usmívajícího se oddanou tváří, Horýnkovy cukající a popraskané nohy, Francka, jak pohazuje hlavou tam nahoře a řeční na němo do hudby, bubliny balonů, děravý kroužek mikrofonu a vyznamenání za statečnost na Prvního máje. To

inslav

byl ten muž, pro něhož šel do ohně. Stál před ním zpříma jako voják a neodvracel oči. Něco v tom neúplatně mladém pohledu vydráždilo Kazmara. „Už ať vás tu nevidím," dodal svým přiškrceným hlasem, který překvapoval u obra, a potlačuje stoupající vztek jako kašel, odvrátil se.

„Hospodáři, Úly nejsou svět," odpověděl Ondřej, otočil se a odešel...

1937

HRA S OHNĚM

В романе «Игра с огнем» показана жизнь чехословацкого народа в период от Лейпцигского процесса до оккупации Чехии гитлеровцами в 1939 году. Несколько глав произведения посвящены описанию Лейпцигского суда. Поистине богатырский образ Димитрова создает писательница в главе «Богатырь». Умело, сильно и выразительно изображены в романе картины возмущения народа в 1938 и 1939 гг., когда буржуазия предала его национальные интересы.

Bohatýr

Dnes se odpovídá z požáru říšské sněmovny Jiří Dimitrov, syn makedonského dělníka, z osmi dětí, vyučený typograf, bývalý poslanec v sofijském parlamentu, politický uprchlík, žijící ve vyhnanství na desátý rok. Má papíry v nepořádku a nevyřízené účty ve vlasti. Je to, jak se říká, podezřelá firma.

Předseda senátu zdvihl od spisů lesklou lysou lebku, podobnou holbám, z kterých popíjeli buršáci.

„Dimitrove, v Bulharsku byl na vás vydán zatykač. Byl jste odsouzen k doživotní káznici a dodatečně na smrt. Máte k tomu co podotknout?"

„Ne," zlehka odpověděl Dimitrov. „Nezajímá mě to."

Je v pořádku stát rovně, když s vámi mluví nadřízený, zejména v Německu, a Dimitrov se držel zpříma. Ale předsedu senátu, doktora Büngra, to dráždilo. Není jeho vinou, že je lysý, ani zásluhou žalovaného, že mu hlava obrůstá lví hřívou. Ale předsedu senátu to dráždilo. Všechno na tom chlapovi z Balkánu ho dráždilo, neslušný vzrůst, nedovolené rozpětí ramen, hlas, který se

inslav

netřásl. Mračna se stahují nad čupřinatou hlavou žalovaného; a on ji drží naschvál zpříma, jako by vyzýval blesk, aby po ní sjel.

„Povězte nám, Dimitrove, jakpak to bylo, když sofijská katedrála vyletěla do povětří."

„Zařídila si to bulharská fašistická vláda, aby mohla honit komunisty," odpověděl Dimitrov zřetelně na celou síň. „Jinde se to dělá také."

Ta drzost! Německé obecenstvo ztrnulo.

„Žalovaný," zahřměl předseda, „víte vy vůbec, proč tady jste?"

„Abych hájil komunismus a sebe," prostě odpověděl Dimitrov. Jeho samozřejmost byla k zešílení. Ubohý Bünger! Včera nevidět na krok v lubbeovské mlze, dnes — prorážet čelem zeď Balkáncova přesvědčení.

„Když hořela sofijská katedrála, byl jsem v Moskvě," vysvětloval Dimitrov. „Žil jsem už půl druhého roku za hranicí jako politický vystěhovalec. Odsouzen jsem byl za povstání v roce dvacátém třetím,[1] nikoliv za atentát v sofijském chrámu roku pětadvacátého. Ani bulharská fašistická vláda mě z něho nepodezírala, a ta mě opravdu nemá ráda. Jen můj vyšetřující soudce, tady pan rada Vogt, mně prostě přisoudil berlínský parlament i sofijskou katedrálu."

„Zakazuji vám, obžalovaný, abyste urážel naše soudní úředníky."

„On mě urazil," nečekaně zahřměl Dimitrov, až se okna starobylé síně třásla, a krucifix, na který přísahají svědkové, poskočil na stole. Žalovaný stojí a ukazuje prstem na jednu z hlav za zeleným stolem. „Aniž jste mě předtím slovem vyslýchal," mluví soudci do svědomí, bodaje ukazováčkem do vzduchu, „uveřejnil jste hned první den v novinách úřední zprávu, že jsem zapálil říšský parlament. Uveřejnil jste to nebo ne? Mluvte!"

„To je neslýchané!"

Karta se obrátila a žalovaný vyšetřuje soudce. Vidíte ho, soudruzi právníci? Je na něm znát, že jeho tatík se bil za svobodu s Turky; to je rod třikrát otužilý tvrdou zemí, tvrdými dějinami a tvrdou chudobou, rod, který se nezalekne. Marcel Willard, francouzský advokát, si vzpomněl, jak před shromážděním v pařížském sále Wagram chtěl upozornit Dimitrovovu matku, která se vydala do světa burcovat lidská svědomí, co zvláště je třeba říci.

inslav

Ale stařenka v plachetce si zakryla uši rukama před tlumočníkem. „Ne, nechte mne. Já vím." Jakživa nestála na podiu: ale vyšla pokojně před dvacet tisíc Francouzů, jejichž řeči nerozuměla slova, a tam jim o synovi pověděla všechno po pravdě; a dělníci se naznali nadšením. Ano, logický Francouz a zkušený Američan, který už toho něco viděl na světě, a Gamza, starý kozák, zešedivělý v soudních sečích, všichni planou nadšením pro Dimitrova — Nebojsu.

„Žádám, aby rada Vogt právě tak veřejně odvolal v novinách, z čeho mě tenkrát bezdůvodně nařkl," burácí.

„Ovládejte se, žalovaný, nebo vám vezmu slovo."

„Také byste se neovládal, pane předsedo, kdybyste byl nevinen jako já a žil byste v cele pět měsíců ve dne v noci v okovech. To trochu poruší krevní oběh. Nedivte se, že jsem netrpělivý. Musím se bránit, když jste mi nepovolili žádného z obhájců, kterým jsem dal plnou moc."

„Nemohli jsme vám ho povolit, když nemáte doklady v pořádku," odpověděl předseda znuděně jako člověk, jehož omrzelo opakovat stále totéž.

„Dobrá, suďte mě za to, že je mám v nepořádku, a ne pro takový pustý výmysl. Založil jsem oheň v parlamentu asi jako vy, pane předsedo."

„Že vás dám vyvést, obžalovaný!"

„Sněmovnu mohli zapálit jen političtí blázni nebo provokatéři. Nebyl jsem v Berlíně, když hořela. O tom ohni jsem se dověděl ve vlaku z Mnichova do Berlína z ranních novin. Prohlašuji tu veřejně na svou komunistickou čest, v plném vědomí toho, co pravím, že s tím nesmyslným zločinem nemám pranic společného. Nejsem dobrodruh, jsem komunista vyznáním i kázní, a takovou teroristickou zvůli odsuzuji jako celá má strana. Přes půl roku sedíme ve vazbě docela zbytečně, mi bulharští soudruzi a já — z toho pět měsíců v okovech! Ani nejsprostšího lupiče a vraha takhle nespoutáváte. To je proti vězeňskému řádu," volal Dimitrov mávaje jakousi listinou. „Pane předsedo, stěžujeme si na špatné zacházení!"

Vyšetřující soudce Vogt se opovržlivě usmál.

„Když jsem se obžalovaného vyptával na ženy, které ho navštěvovaly, šel na mne pěstmi," povídá.

„Co tomu říkáte, žalovaný?"

inslav

Dimitrov otočil hlavu, a stráže v střehu po něm. Je to nebezpečný člověk. Hlídají každé jeho hnutí. Gamza spatřil urputný profil pod vzpurnou kšticí, vypouklé oko, k němuž se hrne krev, tvář nabíhající hněvem. Je silák a jde z něho strach.

„Jakým právem," zahřměl, až se obecenstvu v očích zajiskřilo, „bude se rada Vogt párat v mých soukromých věcech! Co je mu po nich?! Jak k tomu přijdu?"

„Podívejte, Dimitrove," znechucen řekl předseda. „Nehrajte nám tu komedii. Máte už přece dostatek soudní praxe z Bulharska. Mohl byste vědět, že před vyšetřujícím soudcem přestává soukromí. To přece uznáte sám."

Dimitrov se podíval předsedovi do očí.

„Vyšetřující soudce byl v mém případě zbytečný," vyslovil nahlas, aby všichni slyšeli. „Pane předsedo, víme přece oba, co je má vina. Vyznávám Leninovo učení, Sovětský svaz a Stalina, a to se dnes v Německu neodpouští."

„Odveďte ho," suše řekl předseda.

Dimitrov se ve dveřích zastavil.

„Až budete předčítat místo mých výpovědí protokoly vyšetřujícího soudce — neplatí," hodil do sálu. „Ani jeden z nich jsem nepodepsal, pane předsedo. Upozorňuji!"

A odvedli Dimitrova, zastánce ovčáků z hor a skladačů zboží u Černého moře, havířů z Perniku, tabákových dělnic, lamačů kamene, žen v růžových plantážích a dělníků na vinicích. Potom že už nejsou bohatýrské zpěvy! Dejte se za sluncem na jitřní stranu, do slovanských zemí, tam posud zní. Kdo měl plíce, dýchal, jak se po té bouřce osvěžil vzduch v dusné soudní síni.

„Ten nepotřebuje obhájce," řekli si jedním dechem Američan s Francouzem.

Gamza mlčel. Když je člověk v právu a nebojí se, jak je všechno prosté, pomyslil. Zvítězí anebo padne, ale to už není jeho věc. Myšlenku nemohou zabít. Podivné vytržení ho uchvátilo a byl velmi šťasten, ačkoliv osobně neměl, proč...

Národ z továren

Nazítří ráno dělníci v Kolbence zastavili práci. Stejně jim padala z ruky. Člověk stál nad tím ponkem, u té frézy, u toho hydraulického lisu, mezi těmi revolveráky, a nic ho netěšilo. U pecí se

inslav

řeklo: „Pro Hitlera dělat nebudeme," byla schůze *před malejma strojema,* a šlo se. Začali to slevači; kdo zachází s ohněm a kovy, ten jde na věci od základu. Sedivá to začala a na kujné byli s nimi hned; šli do cidírny a ta se zvedla; stačí začít jedna dílna, ty druhé už se přidávají. A kovárna šla a konstrukce a brusiči a truhláři a mechanika. V modelárně jim drželi dveře. Nejdřív s tím nechtěli nic mít. Ale pak se modelárna také sebrala, a šlo se. Přijdou na hlavní točnu, předseda závodního výboru je nechtěl pustit.

„Kam letíte," povídá, „vždyť jste blázni."

Přednosta provozu jim nechtěl vydat klíč od hlavní brány.

„Nechte té politiky," vzkázal jim. „Stejně nic nevíte."

„Klíč tady bude," odpověděl. „A jestli ne, prolomíme bránu. A noční šichty vám nepřijdou, za to vám stojíme. Ať vyhasnou martinky, nám už je všechno jedno."

Klíč tady byl, a šlo se. Kdepak zákaz jednoho pána, když se rozhodne národ kovodělníků.

Vrátný se koukal ze své kukaně.

„Nechoďte," volal za nimi, „nebuďte hloupí. Na Balabence na vás čekají četníci."

Říkal to na *štrych.* Chtěli je vrátit. Ale oni se odradit nedali. Aerovka, kde pracoval Toník v konstrukci motorů, vytrhla s Kolbenkou a Siemenska se na ně také napojila; srovnali krok a dali se na pochod Královskou třídou svých Prvních májů, obrovskou tepnou, která prorůstá tré průmyslových čtvrtí a spojuje Vysočany, Libeň a Karlín, ty ruce velké Prahy, s jejím historickým srdcem, Starým Městem.

Na Harfě řidly kouře; také zastavovali. Spalovna hlavního města a továrny na lak a barvy, vydechující ostrou chemickou vůni a zbarvený dým, Tebeska a Šmolkovna, položily práci, nechaly všeho a vstaly. Celá Harfa byla na nohou; a Hloubětín jí v patách. Phillipska, ucho světa, Tungsramka, oko Prahy, Sana milionů krychliček, všechno šlo. Sesterská továrna Kolbenky, Českomoravská v Libni, ta mamutí porodnice strojů, přestala se zmítat, svíjet, křičet a byla tiše. Muži vyšli z dílen, ženy z domovů, továrny i domy se daly na pochod a čtvrti práce směřovaly k jádru republiky, k parlamentu. Cestou se k nim přidávaly menší fabričky; a všechno se to sbíralo na místě srazů, na Balabence. Elek-

inslav

triky dávno přestaly jezdit. Královská třída byla plná. Lidé se zastavovali a dívali se za průvodem.

Kdo chce bránit republiku
ať nestojí na chodníku!

Malí obchodníci stahovali rolety, zavírali krámky a připojovali se k nim. I babička, co si šla s drobnými pro droždí, se k nim přidala. Učedníci v Svobodárně, ti měli trhání, aby mohli s sebou! Nesměli, zamkli je. Celá Svobodárna byla u oken, hlava na hlavě.

Dělníci šli. Mysleli rovnou a věděli, co chtějí. Svrhnout vládu, která se vzdala, aniž bojovala, a bránit republiku, až ji Hitler napadne. Rodná země jim nebyla laskavou matkou. Ba spíše si vedla jako macecha z pohádek — z té o Zlatém kolovratu a o Popelce. Podstrojovala svým mazlíčkům, synkům z velkostatků, a odstrkovala bezzemky. Leckdo z nich neměl, kam by hlavu sklonil, tenkrát, když lidé byli bez práce. Bydlili v lomech, na lodích, v starých vagonech. Otec vlasti[1] dal kdysi svým chudým stavět Hladovou zeď. Ale matka republika si pro ně příliš nelámala hlavu. Místo práce je odbývala žebráckým grošem. Nebyl ani k životu, ani k smrti. Podnes stojí na památku těch hubených let kolonie Bída a Na krejcárku. Než co je to platné, krev není voda, matka je matka, byla to jejich rodná země,nyní jí hrozilo nebezpečí. Majitelé dolů a hutí, cukru a lihu se polekali a couvli. Ale vyděděnci, kteří na ně vydělávali, troufali si hájit rodnou zem.

Dejte nám zbraně,
dali jsme si na ně!

Potkali u Invalidovny vojenské nákladní auto, vojáci na ně mávali: Jsme s vámi! s lidem.

A kolonie Bída a Na krejcárku táhly na pomoc republice, která do nich kdysi střílela, když se hlásily, že nechtejí umřít hlady.

Pryč s Hodžou!
Pryč s vládou kapitulantů!
My nedáme republiku
německému čalouníku!
Ať žije generál Syrový!
Ať žije Sovětský svaz!

inslav

Pořadatel šel rychle podle průvodu.

„Soudruzi, Syrového nevolejte, vždyť on je fašista."

Ale jednooký hrdina jim ztělesňoval vojenskou vládu a toho si nedali vzít.

Šli. Desítky tisíců jich bylo, a to pochodovala jedna vůle: Nedáme se. Ani nepotřebovali stejnokroj jako Sokolové, to Gottwaldovo vojsko práce. Šli a přes francouzskou zradu věřili: Až se budeme bránit, nezůstaneme sami, Stalin pomůže. U komunistů to bylo politické přesvědčení, u ostatních legendární důvěra k velkému bratrovi, k Rusku. Táhli kolem „Rudého práva", odtamtud je pozdravovali z oken; a zatím co jedni procházeli karlínským viaduktem, druzí už dorazili na Staroměstské náměstí. Je tam deska na památku jedenadvaceti popravených českých pánů. A kolik jich odešlo na věky ze země po bělohorském neštěstí! Celé rody se vystěhovaly; jejich statků se ujali cizinci; ti, co zbyli, se odrodili; zůstali jsme národem bez šlechty. Snad proto mají k sobě v Čechách dělníci a studovaní lidé blíž, že jsme všichni měli pradědečka chalupníka a prababičku kořenářku. Pán nepán, v odboji se Češi domluví.

Je takový zákon: Když zasedá sněm, na kilometr cesty kolem dokola se lidé nesmějí shromažďovat. Ono se to řekne. Ale co zmohou strážníci, když všechna krev periferie se nahrne k srdci města? Břeh s břehem si šly naproti, severo-východ všech kouřů odshora, a Smíchov přišel přes Vltavu, starý černý Smíchov uhlí, lokomotiv, skla, piva a špiritusu, a valil se po nábřežích se zlíchovskou Škodovkou a s jinonickou Waltrovkou. Muži, kteří vyrábějí zbraně a motory, koleje a mosty, vozy a letadla, přetrhli policejní kordon jako provázek, smetli strážníky a obsadili Smetanovo náměstí. S Podskaláky také nejsou žerty. Podolské vápenky, branický pivovar, vodárna, ledárna a pankrácká Zbrojovka stály od Křižovníků až k Národnímu divadlu. A vždyť jsem jich plno vynechala. Byla by to litanie továren. Bez toho vojska práce, které vyrukovalo k sněmovně, Praha by nejezdila, nelétala, netopila, nesvítila a za chvíli by byla o hladu.

„Vidíte," řekl Gamza umírněnému socialistovi, jednomu ze spravedlivých, s nimiž se komunisté scházeli v osudném září k poradám, jak zachránit stát. „Potom jste nevěřili, že vyvoláme

inslav

přes noc generální stávku. Pro nějaký rozmar by do ní ovšem nešli. Ale jak běží o republiku, všichni jdou."

A byli to dělníci nejméně čtvera politických zabarvení.

Dejte nám zbraně,
dali jsme si na ně!
Lépe vstoje umřít,
než na kolenou žít!

Pryč s Hodžovou vládou! Pryč s vládou kapitulantů!...

1948

ŽIVOT PROTI SMRTI

В последней книге трилогии изображена Чехословакия во время оккупации, непримиримая борьба народа против фашистского ига. В ряде глав показана жизнь в Советском Союзе и боевые действия чехословацкого Корпуса против гитлеровских захватчиков. В приводимой ниже главе романа воспроизведен один из эпизодов борьбы чехословацкого народа с оккупантами. Буреш — конспиративное имя известного по двум первым книгам коммуниста Антонина Скршиванека, мужа дочери Гамзы Елены.

Bludný žal cizince bez domova

Štěpka Hájků si tuze oblíbil nového podnájemníka, pana Bureše. Ten dovedl věcí! Pořád něco robil pro Štěpánka a jeho kamarády. Dělal vozíčky a loďky z prázdných krabiček od zápalek, zohýbal Štěpánkovi turbinu s lopatkami ze staré lepenkové krabice, a z maminčiných krejčovských zbytků zhotovil letadélko. Křídla mělo z kostic a z hadrů, trup ze zátek, spojovaných špendlíky, vrtuli ze špejlů. Panečku, to bylo! Jen létat!

„Umíte s děcky," chválila Lidka Bureše. „Jestlipak doma také něco máte pro potěšení?"

„Nemám, paní Hájková, jsem starý mládenec."

„Co není, může být," žertovala Lidka. „Však vy se oženíte, až bude po válce."

„To sotva. Nejsem dost zdráv. Plival jsem krev."

„Ale jděte. Nikdo by to do vás neřekl," těšila ho Lidka úleckou chlácholivou mluvou chův a ukolébavek. „Vypadáte jako míšeňské jablíčko."

inslav

„Ale červivé, paní Hájková. Gumárna mi škodí. Ty výpary. Sbohem, jdu na vzduch, dokud je slunce."

V dílnách ho měli také rádi. Byl k lidem, a třebaže práci moc neublížil jako *totálně nasazený*, ani parťák, ani *verkšucové*[1], jejichž manželkám leccos zřídil v domácnosti a jejichž dětem stavěl na struze vodní mlýnky, nedali na něho dopustit. Nikoho ani nenapadlo uvádět v souvislost s Burešem maléry, které se jim poslední dobou stávaly při vulkanisaci. Čert aby vzal mizerný válečný materiál! Jen Lidka, když zaslechla ty řeči, se uvnitř usmívala. Ale ani Lidka nevěděla to hlavní. O takových věcech se ženským neříká.

Hájek s Burešem vzali udice a šli po práci na pstruhy. Dali se lesním údolím proti proudu horské řeky Úlečky, směrem k lomu. V Úlech pod regulací vypadá Úlečka taková civilní; u olšinek, kam chodívají na procházku uznané dvojice, působí idylicky; ale tady už je to dravá, byť mělká říčka mezi skalami a lesy, ještě nezkalená průmyslovými odtoky, a prohánějí se v ní kropenatí pstruzi. Údolí se stáčelo a pojednou se objevil nečekaný pohled na horskou trať, vinoucí se po úbočí skalnatého ostrohu. Pro skálu nebylo vidět do zatáčky. Byla to vlastně dvě údolí, řeky a potoka, vstupující jedno do druhého. Pod tratí se svažoval příkrý sráz, zarůstající diviznami a lopuchou, až do údolí Úlečky. Usedli na břeh a ponořili udice s třpytkami do průzračné vody.

„Tamhle by to bylo," ukazoval Hájek.

Průzračné ticho se klenulo v tu chvíli na trati, jako by tudy ani nikdy nejezdil vlak a nenaplňoval úleckou noc svými kovovými nárazy a baladickým kvílením. Ve dne je všechno jiné. Otakárek se vznášel nad jiskřícími kolejnicemi a zaletěl do divizen. Z lesa zakřičela sojka. Bureš se rozhlédl, vytáhl blok a tužku a načmáral si na koleně plánek běžným způsobem, z něhož bylo znát, že to nedělá po prvé. Místo bylo výhodné svou odlehlostí. Nikdo tu nehlídal.

„Ani v noci ne?"

„Ne, to jsme si vyčíhali."

„Jak daleko je k lomu?"

„Čtvrt hodiny."

„Taky dobré. Mají dost materiálu?"

Hájek se jen usmál.

inslav

„Tam toho je! Každou chvíli trhají skálu. Ale teď pojď, pojede osmička."

Byl to obyčejný odpolední dělnický vlak, hučící mezi skalami a lesy, z Úlů do Ztracené. Horská ozvěna množila supot a syčení páry a prodlužovala řetězce kovových nárazů o spoje kolejnic. Vlak dlouho doznívat v úzkém lesním údolí a neustále tvrdil svou: Bludný žal cizince bez domova. Bludný žal cizince bez domova. Bureš měl za sebou už několik takových úkolů se soudruhy z jam a lomů. *Udělali* tunel a *udělali* most. Tunel je zvlášť výhodný chaosem, který natropí. Opravovat vyhozený tunel, to trvá, to je složitá technická záležitost. Dá to po případě větší fušku než obnovit most. Jenže Němci si teď tunely a mosty zatraceně dobře hlídali. Ostatně byl poslán do Úlů za tímto úkolem a splní jej, to je jasné. Bureš byl rozhodně stvořen k tomu, sestrojovat dobré věci, aby lidé šťastněji žili. Konstruovat pro ně motory, aby jezdili, aby létali. Místo toho se potlouká bez domova a vyhazuje s dělníky do povětří vojenské vlaky, aby to bralo rychlejší konec. Dělá svědomitě svou práci, ale je to práce, která netěší.

„Vida ho," povídá Hájek, a sehnul se pro křemeňák. „To bude mít máma radost!"

„A ty ještě jedno alibi. Je to pravda, můžeme taky chodit do lesa na houby."

Setkali se s dělníkem z lomu a s traťmistrem u jeskyňky v lese proti ostrohu a všechno si vysvětlili a dohodli. Bureš vyložil plán, traťmistr dodá přesnou zprávu, kdy pojede j e j í c h vlak, Pepa z lomu materiál. Komunisté se tajně scházeli v horském hvozdu, jako před staletími Čeští bratří[1]. Ale podlouhlý špargál, který přinesl Pepa z domu, bible to nebyla.

I nadešla noc j e j i c h vlaku.

Ať se v tobě vzpouzí, co chce (kdopak z pokojných českých lidí rád ničí? nikdo!), západ přece dohoří a nebe zbledne jako jindy za úleckými horami, j e j i c h dračí obrysy vystoupí, za chvíli kraj i s horami se potopí do tmy a *ta noc* nastane. A ty jdeš, protože jsi slíbil, protože je to tvá parta, protože nezradíš, protože víš, že je to nutné. Musí to být a jiní zkusili víc a podstoupili všechno, přece dobře víš, že jedna žena podstoupila smrt. O smrti není ani řeč, všechno dobře dopadne, zítra tou dobou, až si vzpomeneme, to si oddychneme, že to máme za sebou. Nemyslit na následky, myslit jedině na věc, abychom ji přesně provedli a dokonali. Bureš, kdy-

inslav

koli to dělal, cítil před tím lehkou horečku nedočkavosti; jsou to ty chvíle, kdy člověk se jaře a pohotově baví o hloupostech s nezasvěcenými osobami, než jim zmizí s očí.

Bureš šel do lesa z odpolední směny jako denně, už ho znali, že potřebuje na vzduch, Hájek se vytratil ze Zátořanky, aby je nikdo neviděl spolu, a sešli se u jeskyně s Pepou z lomu. Plán měli jasně v hlavě; nálož se zapuštěnou rozbuškou a baterku i dráty na rozněcovač přichystané; a to citlivé místo na horské trati, kde kolejnice opisuje oblouk kolem ostrohu v zatáčce nad srázem, dobře si vštípili do paměti. Bureš si je už dřív ohledal. Ostatně, traťmistr, který v tu noc neměl službu, je dovede.

Sedíce dole v lese a přemáhajíce nervosní chuť si zakouřit, nechali přejet devítku, poslední civilní vlak, tak řečený „flamendrák". Jen zmizel v zatáčce, Bureš a Pepa přešli za traťmistrem po „hladových" kamenech mělkou Úlečku a jali se šplhat na násep.

Kolem jedné v noci přijede ten jejich, dva vozy říšských vojáků za lokomotivou, právě takové dva střážné vagony s maskovanými kulomety na konci vlaku, a jinak samá munice. Za hodinu to musí být hotovo. Hájek hlídal dole; kdyby hrozilo nebezpečí od lesa, zahouká jako divoký holub.

Vysoké lopuchy na břehu Úlečky studily jako ropuší tělo. Jedle a jeřáby, kterých se chytali, šplhajíce, byly chladné, jakoby uzamčené, jako by nechtěly propustit člověka. I stromy v noci spí. Čím více stoupali z rokle po skále k náspu, tím bylo tepleji; lezli opatrně, a přece se Burešovi zdálo, že každý ševel divizen a každé zaharašení štěrku je slyšet na dálku jako zesilovačem v křišťálovém horském vzduchu. To všechno tmou; jakmile vypne zrak, hned ostřeji slyšíš a tvůj hmat se slepecky zjemňuje. Bureš ucítil pod rukou kovovou hladkost kolejnice. Oči se přizpůsobily tmě; na vysokém náspu bylo mnohem světleji než dole v rokli; na kolejnicích i na štěrku ležel poprašek hvězd. Bureš se okamžik pocítil takový nahý vysoko nad srázem, za zády i před sebou stáčející se trať, po níž se celý den prohánějí vlaky. Ne, nemám závrať, nikdy jsem netrpěl závratí; dali se do toho.

Podhrábl štěrk pod vnější kolejnicí, tou nad roklí, a Pepa mu podal cihlu třaskaviny se zapuštěnou rozbuškou. Bureš založil nálož a přidrátoval ji. Pak upevnil vedení k baterii a couvaje, rozvinoval šňůru směrem proti příjezdu vlaku a napojil ji ke kontaktu, který Pepa zatím připevnil na kolejnici směr Úly. Ještě než

inslav

Bureš vrátil okruh proudu do rozbušky, Pepa stiskl dotyk a Bureš zkusil na jazyku, jestli proud opravdu prochází. Mravenčilo to. Procházel. Teď už se to může připojit k rozbušce a hotovo. Až přední kola lokomotivy najedou na kontakt —

Ale zatím bylo ticho na trati, jen hvězdy na ní svítily, dole šuměla Úlečka. Katastrofa v zárodku, zakletá do nehybných a nepatrných věcí potmě, čeká na svou chvíli. Až přisupí zpupný vlak, vezoucí smrt, sám si smáčkne svůj osud.

Odněkud z divizen drnčel cvrček — návěšť to ještě nebyla. Práce trvala chvilku, bez příhod, bez překážek, jaksi obyčejně. A přece Pepa z lomu, když se zase ocitli dole u lesa, si vzdychl: „Fuj, jsem z toho celej vyplivanej."

Jak to Bureš znal, depresi po takovéhle práci. S pustým srdcem a prázdnou hlavou zvedl oči k hrozivému černému masivu ostrohu. Zdálo se mu, že to byl jen sen, že tam nahoře nikdy nebyl. Pohlédl vysoko, na jiskřící letní nebe, a vdechl ozonitý vzduch. Taková noc, taková kouzelná noc a my tady — O bože, mír! Aby člověk zase mohl dělat lidskou práci.

„Ani noha," hlásil dole Hájek. „Koukejte mazat."

Zvučné kladívko na úleckém hradlu se nadzdvihlo a uhodilo a spustila návěšť k j e j i c h vlaku. Rozutekli se do lesa, co nejdál od toho. Zvonky melodicky zvonili křišťálovou horskou nocí nad šumotem Úlečky. Bureš už je neslyšel. Utíkal, co mohl, hloub a hloub do lesa, a přesto, že pospíchal, zdálo se mu to dlouhé. Co to? Ještě nic? Úzkostné zoufalství ho naplnilo. Snad to selhalo?

To už se Bureš provlekl otevřeným okýnkem od lesů do své komůrky, trápen pochybností, jestli podnik neselhal, když ho něco bolestně popadlo za uši, stisklo mu hrdlo, zabolelo ho v plicích a rozlehla se ohlušivá detonace. Hned po ní kovové hřmění, asi jak se lokomotiva i s tendrem řítily s prasklé kolejnice do rokle, strhujíce za sebou vagony. Přední zavřená okna u Hájků se zatřásla a popraskala. Sklo zacinkalo, Štěpánek v posteli křičel, odlétlý střep ho škrábl do tváře. Všichni psi v Zátořance se rozštěkali a vyli. Úlecké sirény ječely na poplach. Ty už něco pamatovaly, úlecké sirény! Lidé myslili, že je zase nálet. Růžová záře se rozlila nad černými lesy; a do ní to lítalo a bouchalo, jako zátky pekelného šampaňského; nebezpečné rachejtle šlehaly po nebi a sprchávaly jako barevné biče; granátové střepiny se rozletovaly na všechny strany. Kdepak, ruční granáty, s těmi se musí jako s vejci, nesne-

inslav

sou ani prudší posunování — natož smrtelný kotrmelec s vlakem do propasti. V lesním údolí patrně hořelo, to dá rozum, žhavé uhlí se rozsypalo z překocené lokomotivy a zapalovalo nové a nové náboje. Štěstí, že v lesním údolí nikdo nebydlí! V Ulečce prý to pobilo všechny pstruhy. Co oheň načal, voda dodělala. Která střela nevyletěla do povětří, leží zneškodněna na dně řeky. Z tohoto muničního vlaku nedojede na východ ani puma.

Když starý sklenkář putoval po kolika dnech z Jadliny do Ulů, zvedl z mechu leskle hnědý granátový střep až u drachovské myslivny.

1952

ZDRAVICE RUDÉ ARMÁDĚ

Vy naši miláčkové
v kouzelném měsíci máji,
z růží ran život se klove,
hroby se zelenají.

Po zemi pouvadlé
východní vítr vane,
plačíce pro naše padlé
za ně se usmíváme,

bez sebe radostí pláču,
směju se, voláme všichni,
beze sebe radostí, my i já:
Da zdravstvujet Krasnaja armija!

Radost i žal, 1945

MOSKVA ČARUJE

Chystám se pomalu ke spaní,
do okna Kreml se dívá
rubínovými hvězdami,
noc krásná je, jasnozřivá,

inslav

nad Kremlem východní půlměsíc
zasvítil nad kopulí,
jako by Šeherezada sníc
zlomila prsten v půli

a polovina propadla
v hlubinu modrého zrcadla.

Usínám, blažena usínám,
zdá se mi, že ještě letím
k srpečku měsíce do sina,
jakoby nad stoletím,

veliký pilot u stroje;
pod ním pláň sněhobílá —
tu z kremelského orloje
hodina s půlnoci bila.

Nad historickým náměstím —
dnes voní od benzinu —
zachvěl se vzduch a přešel stín
a zvonky hrály hymnu.

Pak bylo ticho zdaleka.
Takové ticho zhluboka,

že z velikého náměstí,
kam hukot cév se vlévá,
jsem slyšela v svém zápěstí
tep srdce z mausolea.

Vyznání lásky, 1949

MLADÍ

Na prsou bez a v očích světla,
děvčata,
aby nám práce pod rukama kvetla
načatá

inslav

hned v máji s odklizením starých časů,
hej rup!
jen kakabus se mračí nečasu
jak sup.
A nám se směje srdce v těle,
mládenci,
kdopak má kdy na šplechty nepřítele
v kadenci
té zpívající cirkulárky míru,
hej rup!
krov k nebi pozvednem, když máme víru,
hej rup!
kdo nevidí na rukou bohatýrů
než chlup,
ať vypadne, kde tesař nechal díru,
hej rup!
Kladívky srdcí nové tempo vniká
do písně,
tesáme budoucnost, my republika
mladí jsme.

Vyznání lásky, 1949

SBOROVÝ ZPĚV

Mé Čechy, země zimomřivá,
kde srdce leckdy zazebou,
však z dýmu práce je tvá hříva
a oblak hudby nad tebou.

V klapotu mlýnů, v znění zvonů,
v cinkotu kos, v úpění pil,
uprostřed jásotu a stonů
národ svou melodii pil,

z vinice Páně hořký kalich,
z mateřské země režný chléb —
narovnal kříž můj národ malý
a česká píseň zvedla cep.

inslav

Jak táhli boží bojovníci,
jak kopí rostla podle cest
a česká píseň hromující
je porážela jako pěst,

jak v exulantských starých hvozdech
hrál vítr v jedlích chorály
a robotník si písní povzdech —
vždycky jste, Čechy, zpívaly,

jak pod rozkvétající stráně
si usedali milenci,
sníh vonný květů pršel na ně,
jak nevěsta šla ve věnci —

ba svatby, funusy a bály
a vždycky hrála muzika,
když matky děti kolébaly
při bzukotu včel jazyka,

když foukalo už ze strnisek
a rekruti šli na vojnu,
do kroku s vojákem šla píseň,
nadlehčovala náboj mu.

Jak proskakoval český Betlem
a do krajiny plné mhly
pastýřské zpěvy s dívčím světlem
se z jeskyň chrámů rozběhly —

i kdepak anděl! regenschori
a něžný průvod štíhlých not
v líbánkách s venkovskými sbory,
než národ dal se na pochod.

Přes půlstoletí prvních májů!
milion kroků dunících
se vzdalovalo od šalmajů,
v továrnách padal černý sníh,

inslav

a muži s prsty od olova
a ženy s prsty od křídy —
ach zpívej, zpívej, víc než slova
tvé kroky píseň okřídlí.

Když v komůrce máš zamračeno
a tlačí tě tvé úzké já —
v sborovém zpěvu svlékneš jméno
a zpíváš do aleluja:

Vy Čechy krásné, Čechy naše
s žilovím zpívajících řek,
vy Čechy! vždycky se tu vznášel
ten melodický obláček.

V sborovém zpěvu shodíš jméno
a žal a stud pro něčí ne —
ach zpívej, roztesknĕná ženo,
tvé hoře v sboru utone.

Budoucnost modrá jako pleso,
dnešek — ohnivé lilie.
To soudruzi tě v rukou nesou,
soudruzi tebe a ty je.

Ach zpívej, lásko, zpívej, země,
a všechno od kořenů zjev:
to rodná země zpívá ze mě
svou píseň železnou jak krev,

svou velkou píseň na předmostí,
jak spojili se všichni prostí
jít za radostí proti žalu —
zpíváme Internacionálu.

Miliony holubiček, 1950

inslav

BLUDNÁ LOĎ

Vyjela loď pod sochou Svobody,
fare well a dobrý vítr!
Kdo ví, co veze? Nikdo. *Nobody.*
A pozor na sanytr.

Houpá se modrobílý Atlantik,
kolébka Kolumbova,
a jede loď a nad ní raččí křik,
připlouvá do Janova.

„Hej, tady jsme, ty město nádherné,
co vezeme, má cenu,
nenechávejte nás na rejdě,
pusťte nás do bazénu."

Ale když málem přistali
dalecí mořeplavci,
najeli na tvrdé úskalí.
„Dost, ani ránu, chlapci!"

zavolal velký jeřábník,
siréna zahoukala,
že pašerák jim k molu vnik.
No passaran, zní skála,

přístavní skála dělníků,
již věnčí břehy moře
a znělec tors a pomníků
lámou ze svého hoře.

„To není loď, to pluje hrob,
kam naše kosti složí —
vidíte truhle do útrob,
jaké to veze zboží?"

„Věřící," odpovídá loď,
„ať vzácný náklad zbraní

inslav

jen vpilotuje lodivod,
zbraň vaše svaté chrání".

Smáli se muži z loděnic:
„A kdyby všichni svatí —
Páni! z toho nebude nic,
nás učil Togliatti".

Založil ruce nakladač:
„Já ani prstem nehnu.
Zas válku, válku? proč a nač?
nepusťte sem tu běhnu,

kdyby to nařídil sám Řím,
který z nás duše ždíme."
Jeřábník pravil: „Nesložím."
Rozhodli: „Nevylodíme."

A od těch dob ta hříšná loď
objíždí oceánem
a hledá dok a hledá dok —
není-li s ní už amen.

Znám, světe, věrnou pevninu,
má kladivo i lyru,
nesmírný tábor komínů
tam kouří dýmku míru.

Miliony holubiček, 1950

LÁN DO DÁLKY

Lán do dálky a modré, modré nebe,
docela bez oblaků,
tam v dálce zlatý kolovrátek přede,
poslouchám dálku.

Snad bzučí slunce, snad se rojí včely,
snad vrčí pila,

inslav

obrátky naplno teď zazvučely,
zář slz mne zatopila.

Tu píseň znám, ó bože, znám tu píseň,
tak důvěrně ji znám,
voní z ní teplá zem i vlhká plíseň,
jak jede k nám,

jak slunný bzukot v hučení se mění,
jak roste čelo stroje —
mne rozechvělo divné rozechvění —:
jste blízko, Čechy moje,

tak blízko, blizounko, ani se věřit nechce,
na zemi rozorané.
A se zetoru seskočilo čínské děvče,
sluncem a větrem plane.

I kdepak mrtvý stroj, je na něm živý člověk
a jede proti bídě,
jakápak exotika, poskočili o věk,
všude jsme lidé,

tisknem si ruce — krásné čínské mládí,
ty dívky — světlonoši.
Pak neodolám, na zetor si sáhnu kradí:
je z Čech, to naši hoši.

Čínský úsměv, 1954

PRAŽSKÉ VŮNĚ

Jsou v Praze místa důvěrná a tichá,
kde nic se neudálo z dějin,
a přece za mne Praha dýchá
a já pulsuju tepem jejím.

Ne zlatá ani stověžatá,
to patří leda do průvodce,

inslav

jenž honí památky a chvátá,
ne, Praha žil mých, mého srdce.

To je to, co se neprodává
a v apatyce nekoupí
a z čeho není žádná sláva,
jen něha srdce prostoupí.

Jsou v Praze náměstí jak kapesníček,
z kterého vypadl už monogram,
přecházíme je polo sníce,
pražské vůně se loudí k nám,

jdeš, poprchává, vlhké saze
důvěrně voní v akátí,
ta vůně, ta už patří k Praze
a těžko se z ní vytratí.

Modř fialek a sivost máku
na chřupajícím rohlíku,
růžová jitřní řeka žáků,
těch vytáhlých i knoflíků,

šeď stříbra břidlic, mléčná mlha
kol modré báně Musea,
kopt, v němž je obsažena duha,
bručounství, které humor má,

červená elektrická dráha,
podloubí starých pověstí —
to vše je Praha, moje Praha
i s kominíkem pro štěstí.

Praha, 1954

inslav

VÍTĚZSLAV NEZVAL

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

(1900—1958)

Незвал — один из самых талантливых чешских поэтов, имя которого широко известно за пределами Чехословакии. Он родился в 1900 г. в моравской деревне, в семье сельского учителя. Окончив местную гимназию, учился в Пражском университете, но вскоре целиком отдался литературной деятельности, пробуя свои силы не только в поэзии, но и в прозе и драматургии. С 1924 г. Незвал — член компартии. В своих политических взглядах он всегда оставался неизменно верен передовым революционным позициям. Вместе с тем, развитие его эстетических воззрений отличалось большой сложностью и противоречивостью. Ранние поэтические произведения поэта («Мост» — „Most", 1921, «Удивительный чародей» — „Podivuhodný kouzelník", 1922 и др.) говорят не только о самобытном поэтическом таланте Незвала, его богатой образности и проникновенной лиричности, но и о революционном неприятии им буржуазной действительности. Вскоре Незвал увлекается творческой программой поэтизма (сб. «Пантомима» — „Pantomima", 1924), а в 30-е гг. его творческий путь усложняется влиянием поэзии сюрреализма. Поэт становится главой чешских сюрреалистов. Незвал публикует ряд сборников: «Пять пальцев» („Pět prstů", 1932), «Обратный билет» („Zpáteční lístek", 1933), «Прощай и платочек» („Sbohem a šateček", 1934) и др. Произведения поэта этого периода нередко отличают чисто формалистические эксперимен-

inslav

ты в области образной системы, ритмики, рифмовки. Однако, несмотря на увлечение эстетством, Незвалу удалось создать ряд подлинных шедевров чешской лирики, отмеченных удачными поэтическими находками, тонким чувством прекрасного. Большим творческим достижением поэта явились поэмы 1927—31 гг. «Эдисон» („Edison") и «Сигнал времени» („Signál času"). В первой из них поэт воспевает богатый духовный мир человека-творца, во второй — предсказывает неминуемую гибель прогнившим капиталистическим порядкам.

Накануне мюнхенских событий Незвал распустил возглавляемую им группу сюрреалистов. Настраивая свою лиру в лад с гневным голосом народа, он резко выступал против фашизма. В 1939 г. Незвал пишет острый антифашистский памфлет «Швабы» („Svábi"), который ходил по рукам в списках и был напечатан лишь после освобождения Чехословакии. В годы оккупации поэт начинает работать над поэмой «Историческая картина» („Historický obraz"), законченной в год освобождения страны Советской Армией. В этой поэме запечатлены трагические дни мюнхенского предательства и оккупации, героическая борьба чешского народа с гитлеровцами и подвиг советских воинов, разгромивших фашизм. После освобождения страны Незвал — в авангарде писателей, борющихся за новую социалистическую культуру. Всемирную известность приобрела его поэма «Песнь мира» („Zpěv míru", 1950), удостоенная золотой медали Всемирного Совета мира. Эта поэма — страстный, вдохновенный гимн жизни, созидательному труду человека, любви, миру, родине, Праге, всему тому, что сливается для поэта в едином слове — мир. Гневными, полными презрения словами клеймит Незвал поджигателей новой войны, призывая трудящихся всего земного шара объединиться в борьбе за мир. В 1951 г. Незвал создает лирическую поэму «О родине» („Z domoviny"), рассказывая в ней о своем детстве, о темном и нищенском прошлом маленькой моравской деревни перед первой мировой войной и в годы буржуазной республики. Поэт рисует картины новой радостной жизни, которая пришла теперь в родные края.

Высокий гражданский пафос и глубокий лиризм присущи последним сборникам стихов Незвала — «Крылья» („Křídla", 1952) и «Васильки и города» („Chrpy a města", 1955). Разнообразные по темам и форме, эти стихи отличаются смелостью образов, богатством и яркостью поэтических красок, своеобразием ритмического строя стиха. Все они свидетельствуют о пламенном патриотизме Незвала, друга Советского Союза и борца за мир и демократию во всем мире.

SBOHEM A ŠATEČEK

Sbohem a kdybychom se víckrát nesetkali
bylo to překrásné a bylo toho dost
Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali
možná že nepřijdem že přijde jiný host

inslav

Bylo to překrásné žel všecko má svůj konec
Mlč umíráčku mlč ten smutek já už znám
Polibek kapesník siréna lodní zvonec
tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám

Sbohem a kdybychom si neřekli už více
ať po nás zůstane maličká památka
vzdušná jak kapesník prostší než pohlednice
a trochu mámivá jak vůně pozlatka

A jestli viděl jsem co neviděli jiní
tím lépe vlaštovko jež hledáš rodný chlév
Ukázalas mi jih kde máš své hnízdo v skříni
Tvým osudem je let mým osudem je zpěv

Sbohem a byli-li to všecko naposledy
tím hůř mé naděje nic vám už nezbude
Chcem-li se setkati nelučme se radš tedy
Sbohem a šateček Vyplň se osude!

Sbohem a šateček, 1934

DIVOKÉ HUSY

Vesničko ty jsi stále stejná
Máš tytéž domky tatáž hejna

Je konec léta skřípe vůz
Nad tebou letí hejno hus

Dnes je jich dvanáct Jsou to Musy?
Daly si nad kapličkou schůzi

Divoké husy pro váš let
Mě začal kdysi vábit svět

Och jaká touha nerozumná
Opouštět svoje rodná humna

Vy znáte kouzlo obzorů
Letět ach letět nahoru!

inslav

Když vraceli se ženci s pole
Bývalo krásně v staré škole

Když čítals stáda pastýřů
Měls oči vlámských malířů

Hleděl jsi upřeně jak slepý
Na hoše kráčející s cepy

Divoké husy schnoucí sena!
Vesnička byla vylidněna

Za kuchyněmi bez ohně
Na polích konaly se žně

Nad kosami a jejich brusy
Pluly ty stěhovavé husy

Letěly v hejnu nad žitem
Pod červencovým blankytem

A ty jak malý hlídač kouzel
Ses z vytržení neprobouzel

Bylo to před lety či dnes?
O husy vraťte mi tu ves!

Pět minut za městem, 1940

HISTORICKÝ OBRAZ

Část III.

...Přišli včas jak legendární vojska z dávných kronik.
Zvítězili! Nyní sedí v hloučcích u harmonik.
Mají kouzlo ruských písní, jejich zvláštních tonik.

Jejich světlé oči září nad osmahlou pletí.
Jsou tak lidští, chovajíce malé pražské děti.
Vybojovali nám mír a teď jej s námi světí.

Ruce zdrsněly jim bojem, duši mají hebkou.
Pěticípá hvězda, jež jim vyšla nad kolébkou,
zvítězila za svět v boji s umrlčí lebkou.

inslav

Milují svůj domov s vřelou oddaností syna,
který zachránil svou matku v bitvě u Berlína,
pyšni na svou rodnou zemi, pyšni na Stalina.

Dnes se valí ulicemi Prahy jako Něva,
za jásotu, za jásotu, který neumdlévá,
pyšni na svou rodnou zemi, pyšni na Koněva.

Nikdy nebyla jsi, Praho, krásnější, tak pestrá,
jako v dnešní den, kdy zdravíš je jak rodná sestra,
připíjíš si s novým věkem jako na Silvestra.

Ač jsi plná trosek, ač tě Němci zbídačili,
ač ti snažili se přeťat zabijákem žíly,
jsi dnes slavná. Tvoje duše samým štěstím šílí!...

1945

ZPĚV MÍRU

...Zpívám zpěv míru. Volám lid
všech národů, všech barev pleti,
volám vás, muži, ženy, děti,
vás všecky, kteří chcete žít,
zpívám zpěv míru.

Volám vás, pastuchové stád,
vás, mlatci s oteklými palci,
volám vás, krejčí, selky, tkalci,
volám vás, ženy z promenád,
zpívám zpěv míru.

Volám vás, staří lodníci,
volám vás, žnečky, listonoši,
volám vás, děvčata a hoši,
volám vás touto polnicí,
zpívám zpěv míru.

Volám vás, jak se volá den,
volám vás, jak se volá štěstí,

inslav

volám vás všecky na náměstí,
volám vás ranou na buben,
zpívám zpěv míru.

Vás, invalidé z trafiky,
vás, muži od výčepních stolů,
vás, nevolníci alkoholu,
vás z plantáží, vás z Afriky,
zpívám zpěv míru.

Volám vás, myčky, uhlíři,
volám vás, porážeči z jatek,
volám vás, dívky od zrcátek,
vás, slévači, vás, hrnčíři,
zpívám zpěv míru.

Volám vás, sniví příručí,
vás, tanečnice za volánky,
vás, lidé z vlaku, lidé z banky,
vás, muži z dívčích náručí,
zpívám zpěv míru.

Vás, přebíračky krupice,
vás, kováři, vás, pozounisté,
vás, čistí, jimž je všecko čisté,
vás, kteří mlčí trpíce,
zpívám zpěv míru.

Vás, neposlušní farníci,
jež honí šerif do vězení,
vás, na galeje odsouzení,
vás, poklizečky v márnici,
zpívám zpěv míru.

Vás, bezúhonní občané,
zarmucovaní škarohlídy,
kteří se děsí dobrých lidí
a toho, co se nestane,
zpívám zpěv míru.

inslav

Zpívám zpěv míru. Volám vás
volám vás, Jolio-Curie,
ustavte grandiosní jury
všech vědců, dokavad je čas,
zpívám zpěv míru.

Volám vás, akademici,
pod vyhrůžkami lidojeda,
vy víte, že i mír je věda,
volám vás touto polnicí,
zpívám zpěv míru.

Volám vás, Charlie Chapline,
s nímž lidé plačíce se smáli,
čas letí vpřed, čas nezahálí,
i když se zdá, že neplyne,
zpívám zpěv míru.

Volám vás, věční buřiči,
Bezruči Petře, slezský barde,
vás, Picasso, vás, Eluarde,
vás, Iljo Grigorjeviči,
zpívám zpěv míru...

Pro toto město, pro matky,
jež vidí z okna dávné věky,
jimž hudba Smetanovy řeky
vypráví české pohádky,
zpívám zpěv míru.

Pro toto město, pro otce,
kteří v něm tvoří nová jara
při pilnících a při kytarách,
při chlebu, pivě, při vodce,
zpívám zpěv míru.

Pro překrásné ty paláce,
v nichž se to po celý den hemží
jak v dokách na nějaké Temži,

inslav

kde nelze žít však bez práce,
zpívám zpěv míru.

Pro středověká náměstí,
dostavěná až za templářů,
pro sakristie bez farářů,
pro krásu starých pověstí
zpívám zpěv míru.

Pro křivolaké ulice,
kde zněly kroky Beethovena
a kudy právě kráčí žena
z tovární ženské milice,
zpívám zpěv míru...

Aby byl člověk dlouho živ,
aby měl pastýř hojnost mléka
a rybám nevytekla řeka
v mé vesničce a kdekoliv,
zpívám zpěv míru.

Ať tlampač z Wall Street vyráží
dál svoje smrtonosné skřeky,
nevysuší to naše řeky!
Zpívám si, stoje na stráži,
zpívám zpěv míru!

1950

Z DOMOVINY

...A tu je hlouček sousedů!
Antonín, Karel, Jan a Josef
se sešli na soukromou besedu,
domluviti se na společný osev.
Ač zprvu neměl žádný chuť
do družstva, ač se spolu spikli,
již uznali je, už si zvykli.
Snad půjde prý to, pánbůh suď!

inslav

Dřív milovali kousíček
své země, teď ji mají rádi celou.
Dřív pekl každý doma chlebíček,
však dnes, kdy dohromady melou
a kdy si pořídili sklep,
v němž mléko nenačichne plísní,
dnes v polích při společné písni
žvýkají tentýž dobrý chléb.

Družstvo má svého pekaře,
kterého platili by v Praze zlatem.
Má lékárnu a lékaře
s poctivě nabytým doktorátem.
Vyvařuje se v jídelně,
při níž je klub a nové kino.
K pití lze dostat denně pivo, víno
a denně prý se vaří nedělně.

Když navštíví někdy družstvo host,
hned by mu modré s nebe snesli.
Dětem se vštěpuje způsobnost
už v kouzelné hrací skříňce jeslí.
Slavnostní večery na řece,
konané z radosti nad skončenou setbou,
končí se večer společnou četbou
lyrických básní v bibliotéce.

A přec je leckdo bohatý
a leckdo jiný chudý.
Ne, že by nosil záplaty,
však proto, že neumí zbavit se sobecké nudy.
A přec je někdo oblíben
a jiného si lidé méně váží.
A přece planou na zápraží
po každé jinak oči žen.

Vzpomínajíc si na předky,
to mladé pokolení vidí,
že družstva jsou jen prostředky

inslav

k osvobození pracujících lidí,
které jim přináší dobrotivý stroj,
ten syn a přitom zvelebitel ducha,
brázdící vzduch jak hvězdná poletucha,
kouzelný jako ohňostroj.

Vesničko, dobře vím, že máš,
jak mělas, jenom dvášedesát čísel,
a přec se za pár roků nepoznáš.
Tvůj krtek, křeček, vrápenec a sysel,
tvůj kur, tví slimáci, tvůj šnek,
tví komáři, tvůj včelí bzukot,
tvůj vřes a slavičí tvůj tlukot,
s nímž závodí jen skřivánek,

to, čím se tvoji sedláci
neměli času potěšiti
pro starosti a pro práci,
tvá pupava, tvé luční kvítí,
to vše, co nabalzamoval
tvůj básník, jenž to dodnes živě vidí,
to všecko bude těšit lidi
a přemáhati jejich žal.

A proto, kdybych znovu měl
trpěti za tuto svou víru,
a proto, kdyby nepřítel
vrh znova na tvé střechy síru,
i já bych řekl, mám vás rád,
vás, lidé, tebe, krásný světe,
miluji vás a bděte, bděte,
zni, salvo, já se nemám čeho bát! . . .

1951

KŘIDLA

Ne se ptákem do výšky nad triangulační bod,
ne s vážkou nad rybník, ne s letem šídla,
ne s tryskovým letadlem o závod
rozpínám křídla.

inslav

Ne nad mešity či nad vítěznou bránu,
ne nad hromosvody a nad kormidla,
ne nad supy a hejna kormoránů
rozpínám křídla.

Ne nad bukolický podvečer,
ne nad olše, ne nad bělidla,
ne nad chrámy do mezihvězdných sfér
rozpínám křídla.

Ne nad vichřice,
ne nad pěnivá tryskající vřídla,
ne nad sady, dušné velkoměstské plíce,
rozpínám křídla.

Ne nad rozhoupaný zvon,
ne nad hory mračen, ne nad královská sídla,
ne nad pyramidy, jež stavěl faraon,
rozpínám křídla.

Ne nad bojiště,
kde horká krev národů tváří v tvář slunci stydla,
ne nad malebná dětská hřiště
rozpínám křídla.

Ne nad Himalaje,
jež lidská pýcha jenom ve snách zhlídla
a proti nimž zeměkoule malá je,
rozpínám křídla.

Nad všední den,
prostě lidský,
nad lidský sen
každodenní a heroický,

nad lásku a nenávist,
která se nikdy na prodej nenabídla,
jak vlaštovky nad teplo svých hnízd
rozpínám křídla.

Křídla, 1952

inslav

ČERNÝ UHLOKOPE

Černý uhlokope, už přichází ta doba,
už zaznívají ty písně, už brzy přijde ten mír,
na nějž čekám jak ty, na který čekáme oba,
věř, z galejníka šachty stává se inženýr.

Tam dole pod zemí rozhlaholí se stroje,
obrovská chobotnice zazvoní klekáním.
V těch dolech, v nichž jsi dřel a jež jsou teď opravdu tvoje,
poplašná siréna tě nezmate štěkáním.

V tom světě krápníků stává se z otroka vladař,
technikou obrněný moderní sochaři!
Budeš bez bolesti sklízeti uhlí jak sadař
v občanském kabátě, s úsměvem na tváři.

Tvoji umělou noc ozáří světelné můry
místo strašidelných půlnocních kahanců.
Budeš bez rozpaků sjíždět jak turisté shůry
do jeskyň dobrodružství, ty potomku vyděděnců!

Budeš mít, milovaný Bezručův uhlokope,
jednu z nejzářivějších dílen, jakou kdo měl.
Podoben hvězdáři pod ametystovým stropem,
budeš hoden své cti, o které básník pěl.

Černý uhlokope, buď na chvíli trpělivý.
Socialismus s vědou zbaví tě trápení.
Potom uvidíme, co jsou to lidské divy.
Věř mi, uhlokope, ta věštba se vyplní.

Křídla, 1952

POVZDECH

Škoda lesů
na špatné knihy,
škoda slunce

inslav

na uschlou větev,
škoda lodí ztroskotaných na řekách,
škoda slzy pro špatného člověka.

V ZÁŘÍ

Podzim už platí listím
svou útratu.
Je konec láskám, konec nenávistím,
podzim už platí listím
a není návratu.

I ze tvých očí padá
cosi jak list.
Je pustý park, je zpustlá promenáda,
z tvých očí slza padá
a listí z ptačích hnízd.

Chrpy a města, 1955

SYNU OTROKA

Čekáš, až zazní karabáč,
synu otroka?
Čekáš, až zazní karabáč?
Proč hrbíš svůj hřbet, ach, proč a zač?
Vydechni zhluboka!
Čekáš, až zazní karabáč,
synu otroka?

Proč stále jenom hrbíš hřbet
jak krocan v ohništi?
Proč stále jenom hrbíš hřbet?
Ty, jenž chceš tvořit nový svět,
čekáš, až rána zasviští?
Proč stále jenom hrbíš hřbet
jak krocan v ohništi?

inslav

Proč otrocky se ukláníš
do všech čtyř stran?
Proč otrocky se ukláníš,
vždy stále hloub, vždy stále níž,
čekaje, až tvůj pán ...
Proč otrocky se ukláníš
do všech čtyř stran?

Bez biče nic ti není vhod,
s ním zvyk sis bdít i spát.
Bez biče nic ti není vhod!
Jen pohleď zpříma na Východ
a uč se rovně stát,
k zářivé hvězdě na Východ
a přestaneš se bát
a naučíš se s hlavou vzhůru
ctít lidský majestát,
svůj lidský majestát!

Chrpy a města, 1955

inslav

T. SVATOPLUK

Т. СВАТОПЛУК

(род. 1900)

Первые произведения видного чешского писателя-коммуниста Т. Сватоплука (Сватоплук Турек) появились в начале 20-х гг. Сватоплук учился в Пражской художественной академии, где организовал коммунистическую ячейку. Окончив академию, он проработал несколько лет в г. Злине художником на обувном предприятии чехословацкого промышленного магиата Бати.

Наблюдения, сделанные им в эти годы, легли в основу его лучшего произведения — романа «Ботострой» („Botostroj", 1933). В романе изобличается чудовищная эксплуатация, которой подвергались рабочие на обувном комбинате чехословацкого бизнесмена, показаны страшные, нечеловеческие условия труда, явившиеся следствием введения капиталистической конвейерной системы, а также методы идейного развращения рабочих, к которым прибегал Батя.

Общественный резонанс этого произведения был необычайно велик. Батя пустил в ход все доступные ему средства — шантаж, запугивание, подкуп — и добился запрещения и конфискации романа. Против писателя было возбуждено судебное дело, в результате которого он оказался безработным.

inslav

Борьба с Батей не сломила Сватоплука. Разоблачению деятельности капиталистического хищника, впоследствии сотрудничавшего с гитлеровцами, были посвящены написанные Сватоплуком позже повести «Ангелы успеха» („Andělé úspěchu", 1937) и «Трест Гордон обращается в суд» („Gordonův trust žaluje", 1940). Первую повесть решилось опубликовать лишь коммунистическое издательство.

После освобождения Чехословакии Сватоплук деятельно участвует в строительстве новой жизни, выступает с публицистическими статьями и новыми художественными произведениями.

В 1947 г., четырнадцать лет спустя после выхода в свет «Ботостроя», он вновь вернулся в Злин, ныне г. Готвальдов, на обувной комбинат, перешедший в собственность народа. Работая там редактором многотиражной газеты предприятия, писатель собрал материал для нового произведения.

В 1953 году вышел роман Сватоплука «Без шефа» („Bez šéfa"), в котором он рассказывает читателям о радостном созидательном труде рабочих на предприятии «Свит», об их свободной жизни и борьбе с врагами социалистического строительства в Чехословакии.

BOTOSTROJ

Описание городского рабочего митинга является одним из наиболее ярких мест романа «Ботострой». Якуб и Антонин, с которыми читатель встречается в приведенном отрывке, — сыновья «шефа», владельца Ботостроя. Первый из них идет по стопам отца и становится злейшим врагом рабочих, второй порывает со своим классом и переходит на сторону трудящихся.

Konečně nadešla očekávaná chvíle.

Okolo tribuny se zprvu prochází, pak zastavuje sto, dvě stě lidí. Okolo na chodnících se rovněž shromažďují lidé. Plní už i okolní ulice. Středem náměstí jde hlouček lidí s rudým praporem. Odněkud ze vsi.

Přijíždí několik prvých aut, zalarmovaných Jakubem. Filmaři, fotografové. Napětí se stupňuje. K tribuně přichází Hora, poslanec Potočný, komunisté.

Nová a nová auta přijíždějí, celé skupiny aut.

Řečnická tribuna je obsazena.

Dav pod tribunou houstne. Tisíc, dva tisíce lidí. Už se hnuli i s chodníků, z ulic. Odvážně vyšli. Celá ostatní plocha náměstí je zaplavena automobily. Ozvou se motory, houkačky. Zprvu ojediněle.

Poslanec Potočný se marně pokouší promluvit několik slov. Vozidla se podobají stádu řvoucích býků, kuňkajících žab, vyií-

inslav

cích vlků. Motory vyhrávají, řvou, běsní. Dým spáleného benzinu stoupá v modravých obláčcích.

Naproti tribuna.

Několik nových pokusů o slovo. Zvedá se pěst, dalších deset, sto, tisíc pěstí se zvedne, dva tisíce. Jediný možný projev.

Jakub, který zmotorisoval tábor, je tu rovněž s vozem, a hned v prvé řadě. Rozvaluje se za volantem, řve, otevřeným oknem mává paží, dává takt, povzbuzuje, rozkazuje šoférům.

„Hergot, ať se to třese, řežte do toho, ať jedou po zadnici!"

A tak všichni řvou, hulákají, klátí pažemi, jen aby Jakub viděl, jak šoféři Botostroje táhnou partu s Jakubem.

„Ať je švanda, hoši!"

Naproti zvednuté pěsti.

Podivné divadlo, podivný zápas, podivná hra.

Antonín, kterého sebral Jakub v továrně a přivezl na náměstí, zdá se být unaven, neposlouchá téměř, nevšímá si Jakuba, jak buší do dveří auta, jak se natřásá, až vozem pohybuje, přidává plyn, div motor nezavaří, jak řve až do ochraptění.

Když vidí Antonín tisíce těch, kteří demonstrují zvednutou pěstí, jímá ho zvláštní pocit. Ostře mrazivý. Vystoupí z auta, hledí po střechách okolních domů. Schválně, aby Jakub viděl. Snaží se nevidět Jakubovu tvář, zdá se mu, že jižjiž přistoupí a zakřikne ho.

Mlčí.

Někteří z těch, kteří stáli poblíž tribuny, se vytrácejí. Několik desítek těch, kteří se přece jen pro jistotu hledí ztratit.

Ostatní zůstávají pevni.

Hluk, hrdinství, vzpoura, zrada, zbabělost, drzost, hulvátství, to všechno je dílem několika okamžiků.

Konečně dávají pořadatelé pokyn, všichni opouštějí náměstí a odcházejí do domu Karla Marxe, kam je projev přeložen.

Antonín chce nejprve odejít, někam ven, za město, do polí, obrátit se ke všemu zády. Leč přece jen zaváhá, poodejde několik kroků, ale vrátí se a vejde s ostatními do dělnického domu.

Projev zahajuje obuvnický dělník. Vítá poslance Potočného, a dost neumělými slovy se zmiňuje o těžkostech současné hospodářské situace. Hovoří o nenasytném kapitálu, o fašistických methodách zdejšího panstva, o bídném životě těch, kteří byli šéfem vyhozeni na dlažbu. O některých případech, které dopadly tragicky.

inslav

„Je to i poslední případ lisovače Bělíka, který zanechal po sobě tři siroty. Tento Bělík byl —."

„Lenoch!" houkne do sálu Jakub.

„Ticho tam!"

„Mlč! Nemáš slovo."

„Správný chlap si vezme slovo sám," poznovu se ozve Jakub.

Ozývají se výkřiky pobouření.

Vstává Hora, povídá: „Soudruzi, je pravda, že si pan továrník vzal slovo sám. Co na tom, ať ho má. Jen ať nám pěkně poví, co má na srdci, alespoň mu pak lépe odpovíme."

„Prosím, pane továrníku."

Ticho.

Tak stojí pojednou Jakub na podiu sálu a před lidmi vlastně cizími, samostatnými a nezávislými. Nějak se ani na to nepřipravil, nečekal, že dostane jen tak slovo, nepřipravil se prostě na tuto chvíli. Ještě okamžik, ticho. Pak přece jen začne, začít musí.

„Vážení, řečník, co tu stál — dělník nějaký nám řekl, ale já pravím — není tomu tak. Ku příkladu, ty stroje — tedy myslím, že usnadnily práci, a ne aby ožebračovaly, jak se naznačilo v řeči té — takže dík tomu lze vydělat každému peníze. Ale je tu závada, která překáží a zdražuje. Ovšem —"

Naprosté ticho, které opět zavládne, škádlí myšlenky. Na některých tvářích v sále se objevuje úsměv.

Silák Jakub ztěžka nějak obrací jazyk. Jeho tváře zrudnou. Okamžik jako by před sebou viděl docela propast a prázdnotu, ne a ne si vzpomenout na jediné slovo. Trochu i vztek jim zalomcuje, zdá se mu, že ho doběhli, když ho tu nechali tak stát a mluvit. U dveří se dokonce někdo nahlas zasměje.

„A kdo zná tedy ty poměry v továrně, tu práci, ten to pochopí a —" Těžká věta, ale přece jen kus záchrany.

„Je tu, myslím, mnoho chyb, které byly opominuty v našem hospodářském dění — národním, a proto —." Nyní se Jakub dokonce rozpaluje, svírá pěsti, jako by z těch to chtěl vymáčknout. Trochu rychleji se však rozjel, cítí závrať — brání se jí, káže si ovládnout nervy, jazyk, krev. Co chceš, můžeš! A již vzplane: „A vůbec ten tak zvaný socialismus. Dnes přichází, aby ještě větší zmatek přinesl. Ale co s tím u nás? Zatím co my si tu pochutnáváme na kdovíjakých cergulátech, až nám to krkem leze, zatím co my si tu krášlíme dílny květinami a elektrickými žárovkami mě-

inslav

níme noc v den, přicházejí k nám proroci a prorokují. Ale co, my se nedáme! Už víme, co je to. Ono se jim to naše bohatství líbí, tak by si rádi, s prominutím, čuchli."

Smích.

Jakub toho nedbá, jede, nic mu není po těch „smradech". Pustil se do toho, tak se nedá. Hledá po kapsách něco, konečně to drží, otevírá dopis.

„Však tu je dopis, hned vám ho přečtu. Je od jednoho z Ruska. Vrátil se a napsal nám v těch dnech tehdy. Píše: Vážený pane továrníku. Pokládám za nutné seznámiti širší veřejnost s poměry, jaké panují v tom tak zvaném socialistickém ráji. Poměry věru neuvěřitelné. Hotové peklo hladu a bídy. Lid se živí kůrou stromů a odpadky. Pohřešují se dokonce celé desítky ubohých dětí a žen. Nikdo neví, kolik životů padlo za oběť hladu. Má skromná slova potvrdí kdekdo. Psaly už o tom mnohé noviny, ač někdy nebyly ani přesně informovány. Já jsem tam žil. To jsou poměry, které by měly být voláním na poplach proti všem, kteří ještě dnes štvou důvěřivý lid do záhuby. Mohu kdykoliv podat bližší informace. Rád posloužím dobré myšlence, neboť je to moje povinnost. Poznal jsem jen pravdu. Nemohu také ani vyjádřiti svůj dík za dobrodiní, které mi poskytly vaše závody, když mě učinily svým spolupracovníkem a poskytly mi práci. Teprve teď jsem poznal, co je to život a blahobyt. — S nejhlubší úctou Otakar Dykast."

„Tak to vidíte," pokračuje Jakub i přes výkřiky v sále. „Myslím, že se z vás žádnému nezachce jít tam do té zaslíbené země."

Ozývají se hlasy odporu.

„Zavolej sem toho pisálka!"

„To je podvod!"

„Lež!"

U dveří hlučí šéfovi rváči, které pobízí Kurz.

Antonín, který sedí uprostřed sálu, poblíž uličky, upírá už notnou chvíli oči na šedý kabát svého souseda. Trochu se při bratrově řeči zpotil. Nenápadně si otře čelo lícem ruky. Ještě chvíli sedí, pojednou vstává. Jeho tvář je bledá, ruce se mu chvějí. Marně se snaží zakrýt rozčilení. Poněkud zvedne ruku. Obrácen k bratrovi říká celému sálu, téměř se rozkřikne:

„To není pravda, je to lež."

Rázem je v sále ticho.

inslav

Antonín cítí, že je zapotřebí všech jeho sil, aby právě tak promluvil. Vždyť se tu vlastně staví proti svému otci, proti celému jeho dílu, proti Botostroji.

„No, co ty," překvapeně řekne Jakub, nadutě se povytáhne, vypne prsa. Chce zmást bratra, ale ve tvářích mu již kvetou rudé skvrny vzteku, rozpaků i uleknutí. Klid v sále ho sráží, dusí, cítí pohromu. Zná přece bratra. Je zle. Kdyby ho teď tak mohl vzít pod krk!

„Lež je to," opakuje Antonín. „Celý ten dopis je lež! Ty jsi byl při tom, když se to psalo. Dopis nepsal Dykast, ale šéfredaktor tisku Fuchs, který Rusko ani neviděl. Ty sám jsi to s ním skládal, a závěrečná slova —‚teprve teď jsem poznal, co je to život a blahobyt' — jsi tam kázal připsat ty sám. Byl jsem u toho náhodou. Dokonce, když Dykasta nesehnali, ty sám jsi řekl, že toho vola u toho není třeba a že to za něho může podepsat Fuchs."

„Podepsal to!" křičí Jakub.

Smích v sále.

„Musel to podepsat, když nakonec přece jen přišel. Ale nedali jste mu to ani pořádně přečíst, ano, a ty sám jsi mu řekl: Dělejte, dělejte, je to o těch bolšánech, podepiš, není kdy, jde to do novin."

„No, co ty tu —"

Ozývají se výkřiky.

„Vidíte je!"

„To jsou oni!"

„Lháři!"

„Podvodníci!"

Mnozí vstávají.

Antonín se už opět posadil. Jakub pořád ještě hrozí směrem k němu, rozkřikuje se: „Co, lež? To se ukáže. První cenu dostaneš, vole."

Za všeobecného vzrušení se ujímá slova poslanec Potočný.

„Tak, přátelé, myslím, že jste slyšeli dobře. Byla to závažná slova, a nepronesl je zde ani dělník, ani komunista. Je to velké a statečné svědectví. Teď už bude naše beseda o to lehčí. Povídáme si tedy už pěkně od srdce."

Hluk v sále se již uklidnil.

Jakub je jako opařen. Jednoho je si vědom, že je synem šéfa Botostroje, a že to, co se stalo, je svinstvo prvního řádu. I když lhal, hájil přece práci, otcovo slavné dílo. Ale Antonín je prase.

inslav

Zdá se mu dokonce, že právo je a musí být na jeho straně. Narovná se, podívá se na hodinky a obrátí se přímo k policejnímu komisaři.

„Myslím, že by to mohlo skončit, je už čas."

Říká to nahlas, naléhá, dává tomu úředníčkovi najevo, že jeho povinností je poslechnout, neboť to zde, to je podvratná bolševická pakáž.

„Myslím, že v zájmu pořádku je třeba to rozpustit."

Tato poznámka Jakubova zapaluje.

Vzrušení uvolňuje komisař, mladý člověk, který s úsměvem říká, jako by nechápal: „Počkáme. Bude toho hodně?" To se ptá řečníka.

„Ale kde, několik slov závěru, to je všechno."

„Chválabohu," dodává komisař a zapaluje si cigaretu. Ví, že páchá zlou věc, že ho za to přeloží jinam. A ostatně přeje si být přeložen. Má už, i jako komisař, Botostroje až po krk.

Jakub, který má pocit, jako by dostal poliček, pohodí hlavou, znovu se obrátí k tribuně.

„Pánové, chci ještě dodatečně vysvětlit útok, který —"

„No, prosím, co ještě?" táže se Potočný. „Tak dobrá, ale snad jen několik slov, abychom to neprotahovali."

Znovu se ujímá slova Jakub.

„Stala se trapná příhoda, vážení."

„To už víme! Co dál?"

„Totiž je to téměř hanebné a v rozporu —"

Ticho v sále.

„V rozporu s čím?" pomáhá mu Potočný.

Jakub rudne, opakuje několik nesouvislých slov. Sál se usmívá. Jakub hoří. Ještě nakousne: „Sprostota, protože to není pravda, ale tvrzení prolhané, neboť —"

Znovu propast, nic, prázdno. Slyšet smích, Jakubovi se zdá, že ho doběhli do druhé. Vždyť vlastně už ani nečekal, že ho nechají promluvit po druhé. Přál si spíš vyvolat odpor, zmatek, křik, aby se pak do toho mohl pustit se svými rváči. Nestalo se tak. Stojí tu teď jako sloup a neví, co vlastně chtěl. Neví prostě nic.

Smíchu přibývá a jeden z výrostků mu do toho na dovršenou ještě i hvízdne. Nakonec Jakuba vlastně zachraňuje Potočný, když říká: „Snad promluvím nejdřív já, abyste se zatím mohl připravit."

inslav

Jakub ještě neusedá, ale pak přece jen zapadne do židle, zadrží poněkud dech, nafukuje se. On, milionář, oproti té verbeži tady. Hledí do stropu, ale tváře mu jen hoří. Má vztek, že se posadil. Nadává si oslů. A tomu usmrkanému policajtovi to ukáže! Pojede! Ale ani to není to pravé, je tu něco hroznějšího. Je tu Antonín. Při té myšlence jako by ho polil horkou vodou. Co teď? Jak to setřít? Zavolat Dykasta, svědky? Jaké? Pozdě, pozdě je na to! A vůbec, nač se špinit s takovými mamlasy?

Jakubovi je nanic, sedí tu jako spráskaný pes. On, Jakub, syn šéfa, jeho zástupce. Ach, proklatá věc! Zuří. Vrtí se na židli, hledá tužku, něco si poznamenává, nějaké písmo, čárku, tečku, docela jako by vážně o něčem přemýšlel, chystal si něco.

Hovoří poslanec Potočný.

„Co bych zvláště chtěl vyzvednout, je to, že s nepřítelem lze bojovat, a to vždy a všude, a tedy i zde v Botostroji. Stejně jako před několika dny, kdy došlo k bouřím a k prvé velké stávce v dějinách tohoto světového podniku. Šéf Botostroje byl také po prvé donucen k ústupu a k rozhodnutí, jak zněl telegram, prozatím upustit od jakýchkoliv pokutových akcí."

„Nás nikdo nedonutil," křikne Jakub. „My sami jsme tak rozhodli."

„Správně, ale až po stávce."

„To jsou bolševické žvásty!"

„Nikoliv, to jsou fakta. A faktem je i to, že dělníci Botostroje udělali čáru přes šéfovo lživé tvrzení o šťastné spolupráci podnikatele s dělnictvem, se zaměstnanci, prý spolupracovníky. Nic takového zde v Botostroji neexistovalo. To jako byste mluvili o spolupráci metly a bitého . . ."

Jakub poposedne, opět jako by chtěl psát. Jen tak na oko si udělá poznámku. Tím houževnatěji přemýšlí, jak teď z toho všeho ven. Je zapotřebí dát příkaz. Hlavně však ukázat to policii a četnictvu, naučit je konat svou povinnost. Jakub cítí, že zde v tomto přeplněném sále naprosto nemá dostatek svých lidí, že sem vlastně vlezl jako do pasti. Ohlédne se ke dveřím, pravda, vidí tam nějaké své lidi. Hrstku. Kolem dokola mrak čertvíjakých tváří. A znovu až pot ho obejde, když zahlédne Antonína.

Krysa!

Potočný hovoří o nezaplacených daních, kterými šéf okradl republiku o stamiliony. Hovoří o přečasech, kterými byli zamě-

inslav

stnanci Botostroje v jediném roce obráni o více jak čtvrt miliardy korun. Hovoří o pokutách, které šéf lstivě převádí na tak zvaný Podpůrný fond.

„Zatím však, co za celý loňský rok vzal šéf dělnictvu pokutami přes sto sedmdesát milionů, bylo na podporách sociálně potřebným vyplaceno všeho všudy dva tisíce pět set šedesát korun, osmdesát haléřů.

To jsou fakta. Zde je doklad o vyplacených podporách. Jediné koruny nevyplatil šéf Botostroje nezaměstnaným, všem těm tisícům a tisícům, které vyhodil na dlažbu, ač ve stanovách Podpůrného fondu uvádí pod bodem tři zmínku o hojné podpoře těch, kteří dočasně, ne svou vinou, ztratí práci. Podvod a lež, soudruzi!

Kam tedy jdou všechny ty miliony a stamiliony? Šéfovi do kapsy. Celé město Botostroj, tisíce obytných domů, svých činžáků a domků, postavil šéf z pokut a z peněz tak zvaného Podpůrného fondu, z peněz, o které obral dělníky, zaměstnance."

„Protestuji proti tomuto zneuctění," vyskakuje poznovu Jakub. „To je sprosťáctví!" To už Jakub nečeká, hrne se ke dveřím. Tváří se, jako by těch lidí v cestě ani neviděl. Shledává však, že i lidé se tváří tak, jako by opět jeho, Jakuba, neviděli. Jen tak tak se protlačí ke dveřím a pak přeplněnou chodbou ven. Sotva dech popadá. Vztekle pot otírá, svým lidem nadává do blbců, oboří se i na strážníky. Je prý to skandál, zbabělost a zrada...

1933—1953

BEZ ŠÉFA

Роман Сватоплука «Без шефа» начинается с освобождения Чехословакии войсками Советской Армии от гитлеровского порабощения. В стране устанавливается новая жизнь без «шефов», капиталистов и эксплуатации.

Первый из приводимых отрывков посвящен описанию майских дней 1945 года.

Во втором рассказывается о деятельности директора одного из отделений предприятия, коммуниста Паздеры, который активно борется против тайных и явных врагов народа, мешающих восстановлению и развитию промышленности. Впоследствии Паздера становится руководителем всего комбината.

...Poslední noc. Na úsvitu projíždí kolem pozavíraných vrat a dveří činžáků dlouhá kolona německých aut a tanků. Prchají na západ. Poslední možný ústup, poslední cesta. Poslední špetka sil.

inslav

Kousek poslední setrvačnosti. Projeli zamlklí, chmurní. Uzavření jako všechny ty domy kolem.

V zahradách a zahrádkách rozkvétají bezy. Kvetou třešně. Nad stráň nahlédne jiskrné slunko. Pojednou z dálky, z aleje, je slyšet výstřely a křik. Schulz a Batzke nemířili špatně. SS-Gruppenführer Schaub padá naznak do příkopu. Je to vzpoura a zoufalství, je to horečka a záchvat, bolest. Tečka za větou. A konec. Poslední rány, poloprázdný zásobník. A smrt. Miliontá, desetimiliontá smrt.

Batzke jde, a podél něho projíždějí auta, temný proud železa, tanků, kamionů, temný proud úzkosti, porážky, kalný proud nedávných ještě křižáků, temný proud nástrojů smrti, lidí kdysi zpitých němectvím, světovládou, vyvoleností.

Jako bys ostrým nožem oddělil všechny ty krásy otevírajícího se jara, života, štěstí a milování, od všech těch tady, kteří prohráli svět, své lidské jméno, své lidství, své všechno, sama sebe. Své rodiny a lásky. Své děti. Své lidské místo na této zemi.

Batzke cítí bolest, která roste kapka ke kapce. Vidí u nohou sedmikrásku, ještě se nerozevřela, kvíteček — a pak sad. Třešňový sad. „To všechno jsme prohráli," myslí si Batzke. A teď, zrovna teď vyšlo slunko. Naplno, jasně, oslnivě.

Batzke překročí příkop, jde sadem. Jde prostovlasý, s rukama v kapsách. Bluzu si porozepjal, uvolnil. Chtěl by zhluboka vydechnout, neví jak. I vzduch, povětří, oblohu prohrál. Tak jde Batzke proti slunci, proti květům. Ještě snad nikdy nebylo v třešňových květech tolik bolesti. V takových chvílích lidé stárnou o celé desítky let ve vteřině, šediví, tkáň odumírá málem jak v ohni.

Poslední věc, která toho dne rozhodla o životě a smrti Batzkeho, byla první rozespalá včelka, která přeletla kolem a zabzučela. To všechno zde, jitro, květy, to byl život. To všechno tam vzadu, to byla smrt. Nebylo kam jít, všechno se končilo. Sněhobílé řady rozkvetlých třešní, to byla Batzkeho poslední cesta, cesta úzkostné krásy, vyprahlé bolesti, úzkostného loučení. To byla chvíle, okamžik před tím, než Batzke zvedl ruku. Nevěděl o revolveru ani si toho neuvědomoval. Zbyla jen závrať, mdloba, smrtelná únava. Myšlenka na sestru, na maminku, myšlenka na práh někdejšího domova, na dvorek.

Vlahý jarní vánek, jitřní, svěží.

Batzke jde, očí ani neotevírá, ještě jeden krok, vratký, jako ve

inslav

snách. A konec. Batzke znenáhla nějak přiklekne, jako k modlitbě. Bokem, tváří ulehne do trávy.

Poslední proud železa, tanků, kamionů se valí dál. Nikdo se nestará, nezajímá o smrt nějakého Batzkeho, Wilzka, Toopa, kteří prohráli a už nenašli sílu, smysl života.

Na domech vlají československé prapory, vlají svorně vedle rudých. Vlají svobodně do nového jitra, do nového dne. Vlají už poznovu a všude, i na činžáku s bílými kachlíky, číslo 2458. Dole na dvoře je živo. Prokop s několika pomocníky dokončuje oslavné uvítací nápisy. Kolem dokola je plno diváků, rádců i kritiků, tak jak vyšli ze sklepů a vrátili se z ulic.

V prvním poschodí stáhla roletu paní radová, řekla jen: „Stejně jsme se už týden pořádně nevyspali." Její manžel, kterého škrtí límeček a kterému se všechny ty události nezdají být zrovna nadvakrát, podotýká, že ještě není všem dnům konec, a kdoví prý, jak to nakonec dopadne.

„Radio hlásilo už ledacos. A tamti pitomci a těmi hesly na dvoře, však oni ještě poznají, co je to nekulturní národ, ti východáci. Jen aby ještě nelitovali, že Němci odtáhli. Měli jsme se snad pod Němci špatně?"

„Já ty Rusy stejně vítat nepůjdu," ozve se energicky radová. Cítí pot na čele, záda jí nějak rozbolela. Lehne si na bok, chtěla by usnout. Ne a ne. Rozčiluje ji kdejaký hlásek v domě, na dvoře.

„To nemohli ti Američané přilízt dřív?"

Pojednou se paní radové zdá, že je vlastně už stará a že celý ten život nestojí ani za zlámanou grešli. Užila vlastně kdy čeho dobrého na světě?

Obloha je modrá, tichounká, radostná. Děti už snesly kdejaký zbytek provázku, jak to vyprosily na partajích; děvčata vijí věnce, posnášela kdejaký kousek rudé látky na stuhy. První taková veselá dívčí brigáda.

Anči si dá na hlavu rudý šátek se srpem a kladivem, volá — „tati"! Prokop se ohlédne, hledí a jako by uviděl sluníčko, tolik světla. Jakou to má krásnou dceru, jako by ji viděl dnes po prvé! Vždyť už vlastně nevěstu. Myslí si, z vás mladých něco bude, celičký život máte před sebou. A jaký život!

„Mamko, hleď, Anči! Naše Anči."

„Ach, ty čerte," usmívá se mamka, ale pak se poleká. Srp a kladivo, není-li přece jen ještě brzy na takové věci. Pak se jí však

inslav

zalejí oči slzami, že jen ten jejich prvorozený, Pavlík, se nedočkal tohoto slavného dne. Chudinka. Zdá se jí, že jí srdce pukne.

Před dům vyběhlo stádečko dětí, zvesela, ani jako by války nebylo, hrůz. Toník vpředu, přede všemi se tam vytáčí jako nějaký bombarďák. Ručky od sebe, křídla. Divoce zavrčí motorem, jako by bral vývrtku.

„Hurááá," křikne Jarda a hned všichni za ním. Před nimi uhání foxterier, běží, obloukem mizí za rohem. Smích, takový šťastný, dětský, veselý, rozpustilý, svobodný.

Je časně zrána. Na dlažbě dvorku leží příložníky, metry, barvy, štětce. Řečí plno. Štěbetání, radosti, jako o velkém svátku. Jen dole v přízemku Mertlová, ta hledí zpod záclony všechna znepokojena, vystrašena ze všech těch barev a nápisů. To s tím nemohli ještě trochu počkat? Dívá se ven všecka jak promrzlá a čte nápisy: Ať žije Stalin! Ať žije Rudá armáda, osvoboditelka! Sláva vítězům...

Radio už ohlásilo, že sovětští dorazili k městu a že vstoupili do předměstí Prahy. Dvorek se prázdní, všude je plno očekávání, plno vzrušení. Jedni namítají, že je to nesmysl, že sovětská armáda byla přece ještě včera večer někde na severu u Mostu. Snad prý přijdou, ale tak do dvou, do tří dnů.

„Povídám vám, že to hlásilo radio, tak co?"

A najednou je slyšet z ulice volání, křik, někdo vběhne do vrat, volá do předsíně. Je slyšet hlasy, někdo běží po schodech.

„Rusi jsou tu, sovětští!"

„Mami, už jsou tu," sotva vydechne Anči, půl toho spolkne.

„Tati!" volá Toník. Vidíš jen ty jeho oči, má z toho až zimnici. Běží.

Je to jako jiskra. Prokop, který chce dopsat poslední slovo, najednou vidí, že je pozdě. Všichni už vyběhli, běží a je takové májové jitro, docela teplé, větříček.

Na křižovatce je vidět auta, osobní i nákladní, jak zastavují.

„To jsou oni," volá někdo. Děvče, Anči. Vysokým hláskem, stříbrným, sladkým, vzrušeným, takovým, že až srdce zmírá úzkostí. Nějak ani dech nevystačí člověku, a už se lidé s lidmi objímají, naši se sovětskými, ten jeden je to krasavec, důstojník, druhý, postava jak na dva sáhy, ožehlý slunkem. Zaprášení. Drazí naši. Náruč za náruči. Pro slzy ani nevidíš, a div srdce se ti nezastavuje tím citem. To jako by okovy snímali celé tvé zemi. Nic

inslav

takového tu ještě v životě nebylo. Tak lidé snad plakali o vzkříšení, když k smrti odsouzeným četli o milosti, o svobodě, o volnosti. Když vrata věznic a koncentráků otevírali.

Ulicí otřásají sovětské tanky, hory železa. A až mrazí od té síly, kterou zrodila sovětská zem. Nový sovětský člověk.

Největší kytici rozkvetlých bezů nese v náručí Švarcová, a on, Švarc, má tvář jako rozsvícenou žárovku. Teď volá: „Ať žije Rudá armáda! Ať žije Stalin!"

„Co ty tu chceš, ty zrádče!" křičí Prokop, sotva dech popadá. „Vždyť je to Švarc, ten kolaborant, špína." Prokop se chvěje rozhořčením, urážkou, hněvem. Viděl to kdy svět? Takovou drzost? Padouch!

To je ta prvá kapka jedu. Prvá, a daleko ne poslední. Vždyť boj za osvobození práce, za očistu, ten teprve započal...

...Kol dokola lány obilí. Z dálky je slyšet houkání lokomotiv. A až tam, kde se sbíhají koleje, je vidět obláček páry, černou tečku, vláček. Prvou lokomotivu, prvý vlak, který se rozejel. Blíží se. Vláček o jednom voze. A na něm, na otevřeném železničním voze, stojí lidé, těsně napěchovaní vedle sebe. Nad nimi vlaje rudý prapor, a na voze je neumělou rukou psaný nápis: Roztočíme kola výroby!

Prokop, který stojí s Toníkem na přejezdu nad tratí, cítí, jak mu něco stoupá k hrdlu, jak ho to dusí, sevře. Říká Toníkovi, děcku: „Vidíš?" Víc ani nemůže. Jako by viděl něco zázračného, něco, co vůbec nelze vypovědět slovy. Jako by viděl něco podobného zázračné vidině, něco, co je obrazem naplnění dávných tužeb, staletých tužeb národa a lidu. Samotného lidského srdce. Podobá se to zpěvu, slunci a květům. Div se srdce člověku nezastavuje tím citem — a rty, ty se zachvívají nevyslovitelným díkůvzdáním.

„To je vlak, co?" říká Toníkovi, hned však pevně sevře rty, aby se nechvěly.

„Ten kouří, viď, tati?" povídá Toník. Pohledem zrovna hltá blížící se lokomotivu. I na něho jako by přešel kousek otcova citu. Říká to obdivně, uznale, nadšeně.

„Dobře se dívej," nakousne Prokop. „To je náš prvý vlak," sotva dopoví, poznovu jat citem.

Je to prvý vlak, který se rozejel po odumřelých, zmrtvělých

inslav

kolejích. Prvá šichta, první lidé, kteří se rozjeli do města, aby pomohli křísit práci, výrobu.

Vpředu na lokomotivě je neumělá rudá hvězda.

„Hleď, pěticípá. Stalinova."

Otec bere synka do náruče, nejen bere, ale pevně tiskne ke své hrudi to drobné tělíčko. Pro slzy ani nevidí. Oba mávají tamtěm na pozdrav. On, otec, naslepo, slzami nezměrné radosti.

Taková je to chvíle. Lidé zde po prvé bez pánů, sami o své vůli jedou organisovat práci. Jedou obhlédnout svá příští pole, své lány. Továrny. Co a jak, s čím započít. Dělníci, soudruzi.

Na takovou chvíli se v životě nikdy nezapomíná.

Tak začínala nová éra československých dějin...

*

...Když Pazdera po prvé vstoupil jako ředitel do kanceláře malého pobočného závodu číslo 10, začal prostě tak, jak pracoval předtím už jako mistr v dílně. Myslel si, jakápak věda, my lidé jsme tu na to, abychom se pěkně po lidsku domluvili.

Zašel si do závodní rady.

„Tak co, soudruzi, jak to budeme dělat?"

Zašel si do sekretariátu komunistické strany.

„Čest práci, soudruzi. Víte, to čest práci myslím krvavě vážně. Ne, aby si zas nějaká liška myslela, že si tu svou slávu bude drobit jen do svého hrníčku. Celý náš závod se musí dožít slávy. Pravda, jsme malý závod v porovnání s mateřským Botostrojem, ale abychom se jim postavili, co kdybychom zrovna my jim ukázali, jak se to má dělat? To je tak: když si pěkně podáme ruce, to by v tom byl čert, abychom to nevyhráli."

„Jak na to? Kde začít? Já bych myslel, že každopádně je třeba začít v dílně. Pojďme se tam podívat. Dost jsem se namakal u stroje, a to by v tom byl šlak, abychom nepochytali všechny ty zlodějíčky času. Víte, hrstka k hrstce a ošatka bude plná."

Jedno Pazderu mrzelo, že ho v závodě uvítali kyticí. „Co s ní, hrome? Co s kyticí? Růže nějaké. Co s nimi?" Pozderovou zrovna tak až horko obešlo, když jí podávali kytku. „Ach, propána, jako nějaké nevěstě!" On, Pazdera, vzal toho gratulanta stranou a řekl mu: „Hleď, my jsme z chudoby, a na takové orace si nepotrpíme.

inslav

S tou kytkou počkáme, až jak to dopadne. Já mám raději, když to nakonec vyjde, jak to máme v plánu. To znamená, za prvé, překonat bývalou šéfovskou produktivitu. No, a s tím plánem, myslím, bude třeba započít."

Když potom šli dílnou, hned bylo vidět — ó, sakra, Pazdera, to je kulísek, ten se vyzná v tlačenici, to je švec! Vidí botě a ševcům, celé té ševcovině, až do žaludku. Viděli, že se neobtěžuje sám se postavit ke stroji, a je jasné, že řeči nevede naplano. Je jako jeden z nás. No, zkrátka, Pazdera. Jeden, ani nevíš kdo, okřtil ho na „strýce Pazderu". A hle, celá továrna od té chvíle zná Pazderu už jen jako „strýce Pazderu".

I když je v tom kus humoru, hned je jasné, že to s ním lidé myslí dobře, že i ta práce pod rukama hned vypadá nějak jinak. To ředitel Vovsík, který tu byl před Pazderou, to byl botostroják, a toto přezvisko tady venku nemá pěkný zvuk. Botostroják, jak tady říkají, znamená nenažrance, člověka dvojí tváře, chrta na peníze, člověka, který se rád chlubí cizím peřím, vyjídá med z cizího. Člověka, který rád potápí druhého, je pln falše, panské nepřístojnosti. Člověka, kterého učil šéf dolízat za pány, vyjet na procenta, kapesné, bez ohledu na prospěch celku, který hrbí hřbet před mocnými a přehlíží ty pod sebou.

O Pazderovi se hovořilo jinak už od prvé chvíle. Slečinky v kanceláři byly toho názoru, že je to spíš sedlák a že má ruce jako lopaty. Dcerky v dílnách, ty se kolem něho nahrnuly, okukovaly ho — a když jim řekl, proč se sběhly jako slípky ná šrot, všechny v jeden ráz se daly do smíchu.

„A kdoví, však si vyberte."

„To by mi stará dala!"

Nový smích. Pak ale zvedne Pazdera jeden dílec a povídá: „Hromi jedni, to je nějaké šití? Je to, jako když jde starý Kubela po flámu přes pole do Hrobic. Která z vás to šila?"

„Tos šila ty? Taková pěkná dcerka a šije jako švec Holeňa ze Lhoty. Víš, já být tebou, ani bych si v sobotu pro výplatu nešel."

„A ty, Hašpico, ty jsi tu mistrem, cože neporadíš dcerkám, jak co dělat? Proč jim neukážeš kousek vzorné práce? Dílenskou tabuli, jak vidím, tu máte prázdnou. Hleď, a zrovna tento dílec tam dejte na výstavu. Od které je to? Jak ti říkají? Milena Husková? Tak a pěkně pod to napsat, od koho je toto vzorné šití. Špatné vrchy tam pověsíme až za týden, jestli se nepolepšíte."

inslav

„Och, kruci!“ vyhrkne Madléna. „Panebože, abych tak já tam visela!“

„Za nohy,“ vyhrkne jiná.

„Nač za nohy, copak tady budeme někoho věšet?“ přimhuřuje oči Pazdera, usmívá se lišácky. Tak nějak zlehka se mu jde dílnou. Zdá se mu — ať je, jak je, jsme tu jako jedna rodina. Zrovna jako tam v té bývalé dílně. Nikdo ho neučil, jak jednat, jak co vyřizovat. Ví jen jedno, žádná z děvčat se už neopováží mu na oči s takovou špatností, s takovou lajdačinou. Děvčeti pochválil ručky, ty prý by dovedly šít i jiné věci, takové dvě mlaďounké čiperky! A ručky, čiperky? Ty si teď už samy popílí šít botičky jako malované.

Když po prvé vešel Pazdera do ředitelny, řekl: „Chlapci, tady ty vycpávané židle vyneste na půdu, já tady přece nechci spát.“ Od té doby, a uplynulo už několik neděl, tu byl tak dvakrát, třikrát. Neposeděl nadlouho, hned zas do dílen.

Vidí třebas chlapce, jak si u stroje odpočívá, stroj v náručí, bradu přes loket, usmívá se. Je hotov, čeká. Povídá mu Pazdera: „Hleď, synku, vidím, že jsi číman, kluk šikovný, mladý jsi, škoda takovému odpočívat. Hleď, no — a co kdybys mezitím i tu rysku přejel? Vyděláš si a ušetříme jednu pracovní sílu. A ještě tě pochválíme.“

„A kolik dáte?“

„Ach, ty liško! No, hleď, jednu práci přibereš, pravda, ale zatím jsi se tady nepřetrhl. Zubíš se na celou dílnu, myslíš si, kam se na mne hrabete! Podívej se, dáme ti polovinu za tu druhou práci, kterou zastaneš.“ Ptá se ho, kolik bere. „Půl platu k tomu za úsporu, to stojí za řeč, co? Plácnem si?“

Plácli si, Pazdera, ředitel, s tím chlapcem. Oči, ty se mu jen-jen svítily. A Pazdera nakázal připsat jeho jméno na dílenskou tabuli, na kterou dosud psávali, jen když byla nějaká schůze nebo tancovačka, anebo když prodávali zvláštní příděl zmetkových punčoch.

Doma potom řekl Pazdera Žofce: „Vidíš, a jednu pracovní sílu máme pěkně v pytlíku. To uvidíš, za chvíli bude pytlík plný. Ohrabečný koš toho dáme naší republice darem.“

„Nebo, kolik to bylo řečí, že dělníci už dávno před koncem práce se myjí a převlékají, postávají u brány. Čert ví, jaké trestné body na to vypsali. Až nám to všem včera pověděla Vahalíková

inslav

z manipulace. A co řekla? Vy mudrlanti, co se honíte, řekněte tomu v té červené čepici u dráhy, ať vlak jezdí o deset minut později, a máte po kalupu. Stejně pak v Lešné tvrdneme přes čtvrt hodiny, než přijede vlak od Lukova. Tak nač ten spěch?"

„Hle, jak pořád a pořád nestačíme na rozum těch v dílnách. A to si myslíme, jací nejsme direktoři a funkcionáři. A teď si představte, jaká to bude síla rozumu, až všichni začneme myslet jako jedna hlava, celý národ, kdekdo z nás."

Na schůzi závodní rady hovoří Pazdera o tom, že je třeba šetřit s každou nitkou, že i taková plátěná pojistka, namísto kožené, je velká věc, to znamená úsporu kůže, která se dá jinde a lépe využit.

„Ale co víc, ušetří se dva sekací stroje, stroj kosicí, to máte dvě a půl pracovní síly. Když to všechno spočtete, dělá to za půl roku na sto čtyřicet tisíc úspor. Z toho vidíte, že jsme si tu doopravdy žili jako baroni. A Vaculík, náš zlepšovatel, také nevyšel naprázdno, dostal dvacet tisíc. Účetní pravda přiběhl, hlavu ve smutku, jak prý si to zodpovíme a kdesi cosi. Vidíte ho, byrokrata, násobilce se nenaučil a dělá účetního. Vzal jsem to tedy na sebe, a safra, ať jen mi někdo řekne, povím já mu to po pazderovsku. Zodpovím si to před Langem a třebas i před samotným čertem. Přece nebudu čekat, až tam nahoře někteří ti ospalci, a možná i kulískové, procitnou. Tu je počet a výsledek, úspora jako hrom. To kdybych s tím měl třebas běžet i za samotným soudruhem Gottwaldem. Však ten už by jim to vytmavil."

Povídá doma Žofce: „Vím, komu se zodpovídám. Komunistické straně a všemu lidu..."

1953

inslav

KONSTANTIN BIEBL

КОНСТАНТИН БИБЛ

(1898—1951)

Библ принадлежит к поколению чешских писателей и поэтов, идейный и творческий рост которых проходил в годы первой мировой войны и образования Чехословацкой республики. Поэт родился в Славетине (Средняя Чехия) в семье врача, получил медицинское образование. Три года Библ провел на фронте, испытав на себе все ужасы войны. Первые, талантливо написанные сборники стихов «Путь к людям» („Cesta k lidem", 1923, создан вместе с А. Ражем), «Верный голос» („Věrný hlas", 1924), «Излом» („Zlom", 1925) свидетельствуют о том, что поэт избрал путь гражданской поэзии, верной борьбе народа за лучшее будущее, за социализм. Библ становится близким другом и единомышленником поэта И. Волькера.

В 20-е годы Библ испытал на себе, однако, известное влияние поэтизма, а в 30-е — сюрреализма, экспериментировал в области формы ради формы, увлекался экзотической тематикой.

Во время фашистской оккупации поэт молчал.

Лишь в освобожденной народно-демократической республике дарование поэта развернулось в полную силу. В 1951 г. выходит в свет большая книга стихов Библа «Без опасений» („Bez obav"), которая свидетельствует о новом этапе его творчества. Поэт выступает в своих стихах как защитник и пропагандист новой, социалистической жизни, рождающейся на

inslav

его родине, как непримиримый враг угнетателей человеческого труда, поджигателей новой войны, как верный друг Советского Союза и сторонник международной пролетарской солидарности. Стихи Библа отличаются большой эмоциональностью, чувством глубокого оптимизма, оригинальностью и выразительностью поэтических образов.

TICHOUNCE

Milenko, broučku malý,
tvůj hoch se o tebe bojí.
Růže ti s tváří opadaly
na šicím stroji.

Od osmi ráno, večer do šesti,
se schýlenou hlavou sníš
ještě o štěstí.

Za čtyři sta korun měsíčně
co se tvé prsty nabolí.
Z chudých rukou chléb roste pomaleji
než na poli.

Milenko, broučku malý,
nedá mi to v noci spáti,
proč za ty ruce, za ty ruce
tak málo se platí?

Já bych dal za ně život.

Večer v koutku někde na Žofíně,
když hlavu svou ti složím v klíně,
ruce tvé s bledými rameny
jsou jako dva vyprahlé prameny
horské vody,
jež se mi po celém těle roztéká
a z níž poutníku, před kterým je cesta šerá a
daleká,
se ještě zachce tolik, tolik pít.

Věrný hlas, 1924

inslav

BÁSNICI JSOU PRO MÍR

Kdyby bylo zapotřebí
Na hranicích ohrožené vlasti
S vámi bych v řadě stál
Třímaje jak vy v ruce ze železa
Stejný samopal.

Kdyby se však kroky moje mladé
V boji stále vpřed a s vámi v řadě
Jednoho dne za vámi zpozdily
Pak rány z mého samopalu
Slyšeli byste po boji na oslavu
Vítězství
i z mé mohyly.

Bez obav, 1951

V TRAMVAJI

Lesní brigáda baví se nenuceně
Na zadní plošině
To se nelíbí ve voze elegantní ženě
Velmi distinguované blondýně

Ještě pohoršena tím že nemá na taxi
A musí jet z divadla tramvají
Jak jezevec spící v klubku
Svou rozmrzelost ostražitě rozbalí

Pomalu otáčejíc hlavou
Ještě stále skrytou v kožešině
Směrem k brigádníkům
Smějícím se na plošině

Pokrčením ramen zježila své dlouhé chlupy
Její vzácná modrá liška
Poslední dar pana továrníka
Poslední dar letos od Ježíška

inslav

Co asi celý den děláte
Že jste tak nervosní slečinko?
Nosíte prsteny a těžké náramky
To je tak asi všecinko

Americký účes
A krev kapající z rubínů vašich náušnic
Jsou pro mne míň než seškrabané bláto
S bot smějících se brigádnic

Nad kterými ohrnula čenich
Kožešina vaší modré lišky
Jež má pro mne menší cenu nežli v lese
Nasbírané borůvky a šišky

Které si vezou domů ty prostovlasé dívky
Jedoucí z lesní brigády
Co stojí vzadu na plošině
A smějí se vám za zády

Co asi celý den děláte
Vy chvíli bruneta a chvíli blondýna
Kromě toho vysílání
Jež posloucháte večer z Londýna?

Kdo vám dal voňavku
Jež z Paříže až vane?
Ani k hře na klavír se nehodí
Ty vaše dlouhé nehty lakované

Snad aspoň čtete?
Máte v klíně knížku
Dost dobrou přitlačit si žaludek
Když zakručí vám v bříšku

Ještě nedávno když mnozí
U nás hladověli
Vy odstrkujíc talíř
Nechala jste na něm ležet řízek celý

inslav

Abyste neztratila linii
Ztratila jste hlavu
Obědváte grenadinu
Večeříte citronovou šťávu

Vy smutná módo
Starého a ztraceného světa
V jaké vlastně hrozné bídě
Strávila jste svoje mladá léta

Vy bledší a nemocnější
Nežli zvonek konvalinky
To všechno jenom k udržení
Vaší pracně získávané linky

To všechno jenom abyste si zachovala
Svou chimérickou krásu
Která už není rentabilní
V společnosti ani na Parnasu

Unavená víčka
K modře žilkované skráni
Rozvírají vějíř vrásek
S datem věnování

Snad ještě váš pan továrník
Se špičkou z mořské pěny
Spatře vás vzdychne si
A zapije s vámi svůj podnik znárodněný

A políbí vás na rty
Jež se neobejdou bez rumělky
A políbí vás bez vášně
Na jejich úsměv studený a mělký

A políbí vás na oči jež sklopeny
Jsou bez azuru
A přitiskne vás k svému cvikru
Jako na sklo noční můru

inslav

Řešení je jedno
Ale zdá se dvoje
Pro vaše rty rozkousané jež se nezahojí
Ani silnou vrstvou jeleního loje

Buď ty vaše dlouhé nehty
Zhasnou s vámi na purpuru
Nebo něčím poučeny začnou loupat
S lesních stromů chorou kůru

Tak jako to dělávají v ohroženém lese
Vám na plošině smějící se brigádnice
Když jdou dobrovolně sloužit
Naší republice

A proto ptám se znovu
Co děláte vy dlouhá líná kočko?
Nic! Nasliníte prstem punčochu
Když povolí vám na ní očko

Řešení je dvojí Buď začít pracovat
Anebo skončit někde u Vltavy
Plout po vodě
Jak Ofelie bez leknínů slávy

Bez obav, 1951

JAVANKA

Bílý tuan
Tvářil se tak udiveně
Když jsem se ho
Jednou večer ptala
Jak se daří v Amsterodamu
Jeho bílé ženě

Řekla jsem to
Z pouhé zdvořilosti
Nebyl jiný důvod

inslav

Proč bych lhala?
Chtěla jsem jen vědět
Kolik mívá hostí

Kolik hostí mívá
Veľká bílá dáma
Když je celý život
V Amsterodamu sama

Kolik mívá hostí
Že ze Surabaje
Posílá jí bílý tuan
Tolik beden čaje

Tolik beden čaje
Tolik kakaových bobů
Posílá jí bílý tuan
V každou roční dobu

Tolik beden čaje
Tolik žoků kávy
Posílá jí bílý tuan
Každý týden z Jávy

Tolik pytlů cukru
Z chvějící se třtiny
Která vrhá na plantáži
Dlouhé černé stíny

Tolik pytlů beden žoků
Všechno jedné ženě
Která snídá jeden šálek
Bílé kávy denně

Bez obav, 1951

PÍSEŇ PRÁCE A MÍRU

Jdou dívky s nářadím
A s jarní hlínou na opánku
Jdou chlapci s tváří proti větru
Jak o tom zpívá celá brigáda

inslav

Stáčejíc pod lesem svou kolonu
Až k troskám letadel a tanků
Na jejichž ohořelých modelech
Se ještě leccos pro výstrahu
Demonstrovat dá

Kdo zavčas nejedná
Sám sobě ani jiným nepomůže
Je jak ta stíhačka která tu leží v trávě
S ohrnutou páteří

Je jak ten tank
Který to dostal do své hroší kůže
Je vyřaděn
Na každém z nás však tolik záleží

Už přišel čas
Kdy rozmontujem celé tělo války
Nestoudnost její mršiny
Jež nedovede sama shnít

Jako by doufala že ještě jednou
Třebas z dálky
Sirény dlouhým zavytím
Ji přijdou v noci probudit

V armádě traktorů
Teď slouží voják budoucnosti
A zpívá si
Když zaorává vzrostlý pýr

Na starých bojištích
Doznívají flétny lidských kostí
A všude kolem v terénu se bojuje
Za mír

Bez obav, 1951

inslav

JAN DRDA

ЯН ДРДА

(род. 1915)

Ян Дрда — известный новеллист, журналист и общественный деятель народно-демократической Чехословакии. Первый роман писателя «Городок на ладони» („Městečko na dlani"), опубликованный в 1940 г., посвящен изображению жизни провинциального городка Чехии перед первой мировой войной. Опираясь на традиции Неруды, Чеха, Гашека, Дрда мастерски раскрыл мир простых людей и едко высмеял обывателей, их ненависть и страх перед всем новым. Роман написан красочным, насыщенным народными выражениями языком.

В романе «Живая вода» („Živá voda", 1942) изображена судьба талантливого мальчика из народа, ставшего скульптором. Писателю удалось убедительно показать духовное развитие своего героя и рост его художественного мастерства. Из драматических произведений Дрды заслуживает упоминания пьеса-сказка «Игра с чертом» („Hrátky s čertem"), в которой автор поэтизирует человечность и мужество простых людей, побеждающих силы зла.

Непосредственное участие Дрды в антифашистском движении Сопротивления, в Пражском восстании (май 1945 г.), освоение марксистско-ле-

inslav

нинской философии, вступление в 1945 г. в компартию — все это определило стремительный творческий рост писателя. Сборник рассказов «Немая баррикада» („Němá barikáda"), вышедший в свет в 1946 г., — качественно новое явление в творчестве писателя, яркое свидетельство углубления реализма и идейности его произведений. Рассказы сборника посвящены героической борьбе чехословацкого народа против фашизма за свою национальную свободу и независимость. Заглавие сборника раскрывает его содержание. Немая баррикада — символ несломленного народа, мужественно и упорно сопротивляющегося врагам. Перед читателем проходят образы бесстрашных коммунистов, закаленных и опытных борцов с фашизмом («Третий фронт» — „Třetí fronta", «Немая баррикада» — „Němá barikáda") и скромных, ранее далеких от политики людей, рядовых тружеников, проявивших в решающие для родины дни исключительное мужество и стойкость («Пчеловод» — „Včelař", «Высший принцип» — „Vyšší princip", «Сторож динамитного склада» — „Hlídač dynamitu"). В рассказах сборника автор рисует исторические дни Пражского восстания, когда героически сражающейся Праге пришли на помощь советские воины. Образ русского матроса Якимчука («Павший без имени» — „Padlý beze jména") символизирует дружбу русского и чешского народов, скрепленную кровью.

После сборника «Немая баррикада» появились новые рассказы писателя. Бурные февральские события 1948 г., когда чехословацкие трудящиеся разгромили реакцию, готовившую государственный переворот, нашли отражение в рассказе «Политик» („Politik"). Радости мирного созидательного труда советских людей и граждан народно-демократической Чехословакии, завоевавших счастье новой жизни в жестокой борьбе, посвящен рассказ «Радостная встреча» („Radostné setkání") и повесть «Красная Тортиза» („Krásná Tortiza"). В этих произведениях писатель утверждает идею вечной дружбы советского и чехословацкого народов.

В 1955—56 гг. Дрда выступил с яркими очерками о поездке в Южную Америку — «Горячая земля» („Horká půda").

С 1949 г. по 1956 он был председателем Союза чехословацких писателей.

HLÍDAČ DYNAMITU

Sešli se na konci šichty, když bylo jisto, že dozorci vyťárali, v nejzazší sloji dvacátého pátého obzoru. Suchý kolohnát Martínek. Jarda Jehně s široko rozšklebenou hubou, z níž mu vytloukl zuby předčasný pšouk dynamitové patrony, Karas z Lažce, Petr Havránek z Doubí, Liška, Karnet a František Milec.

„Kamarádi," řekl jim Karnet, který je svolal, „vyklopím vám rovnou, co si myslím. U nás vraždějí ty bestie po stovkách, a v Rusku po celejch milionech. A my sme tu byli do teďka... jak králíci v děrách. Pořád se říká, že sme bezbranný. Ale my máme v rukou zbraň, a bylo by hanba, dybysme jí nepoužili."

inslav

Nebylo třeba říkat víc. Den co den chodívali ze šichty kolem trati. Počítali za večerů i při rozednívání množství vojenských transportů, ujíždějících na východ.

„Je nás šest, to sou dvě dobrý party po třech. A svej práci všichni rozumíme. Tuhle Milce do toho nepotáhnem, ten vobstará to druhý. Dyž pudem na tu svou šichtu, dáme ti vizo, a pudeš se ten den válet do hospody, abys byl čistej. Kolik nám toho můžeš dát, Frantíku?"

František Milec, hlídač důlního dynamitového skladiště, si otřel čelo, lesklé studeným potem. Tak najednou mu vyrazil. Až v páteři, v žaludku, ve všech útrobách cítil ten prudký útok tělesného strachu, a sliny, v tom okamžiku husté a lepkavé, mu přilepily jazyk k patru.

„Tejdně ... tak deset kilo ... Pepíku ..." vykoktal tiše.

Když se vracel z této šichty domů, točila se mu hlava hrůzou z toho, co přijde. Nebyl z rodu hrdinů. Šedesátiletý, malinký, slabý, ušlápnutý, od dětství vtloukán do pokory k pánům.

„Ne, kamarádi, nenuťte mě," byl by je prosil se sepjatýma rukama, kdyby ho byli přemlouvali, kdyby nutili. Ale oni jenom řekli:

„Frantíku, kolik nám toho můžeš dát?"

A pro tu prostou, důvěřivou, samozřejmou otázku nemohl říci ne. Musil jít s nimi i na tuto šichtu, v níž všichni nesli za pasem svou vlastní smrt. Vojenské vlaky noc co noc prořezávaly svým těžkým supěním ticho havířských vesnic. František Milec, leže s otevřenýma očima, naslouchal jejich dunivému rytmu, a spínaje mimoděk ruce, modlil se mlčky a úpěnlivě, aby to všecko bylo jenom sen, aby to byla noční můra, z níž je člověku popřána neskonalá milost procitnutí. Neboť každého dne vynášel ze šachty dvě, tři kila dynamitu, který za tmy odevzdával Karnetovi.

Za deset dní vylétl kolem půlnoci transportní vlak SS. Nálož byla připravena v zátočině trati u Černých blát, na vysokém náspu mezi slatinnými bahnisky. Lokomotiva s sebou strhla osm vagonů a střemhlavý pád po příkrém náspu je rozmačkal jak dětské krabičky.

O tři dny později byla přerušena trať patnáct kilometrů dále na sever. Vojenský nákladní vlak vyjel z kolejí a roztříštil se

inslav

pod náspem. Gestapo obrátilo na ruby celý kraj. Přišli i na šachtu Annu Marii, spočetli Františku Milcovi každou patronu. Skladiště bylo v dokonalém pořádku.

„Unsinn," ušklíbl se závodní Blaschke, když gestapáci vyslovili podezření nad Františkem Milcem. „Neškodné, bojácné hovádko. Absolut unpolitisch!"

A za týden letěl zas vlak s protileteckým dělovým parkem. Kraj se třásl pod gestapáckým terorem. Ženy hleděly utrápenýma očima do tváří svých mužů, hledajíce znamínko přiznání. Ale tváře mužů zůstávaly pochmurně tvrdé. Náhlá noční zavytí psů budila hrůzu ve všech staveních. Pro koho... pro koho přijdou teď?

Čtvrtý vlak, s municí, vylétl na Carvánkách, u borového mlázíčka slabou hodinku od Milcovy vesnice. Strašidelné ohňostroje vzníceného střeliva třaskaly až do samého rána, rýsujíce na nebi krvavé šmouhy.

František Milec odešel na šichtu jak obvykle, přijav od své ženy Bětušky bandasku s kávou a políbení na rozloučenou. Sotva se udržel na nohou. Tentokrát mu kamarádi ani neřekli, že půjdou na novou noční šichtu. Zrovna včera přinesl tři kila roubíků. Hledal v podvečer Karneta, ale ten prý odjel k švagrovi do Ouholic pro trochu hrachu. A tak, nevídáno pro jednu noc, uložil dynamit na dno jarmary, pod staré krámy a pracovní harampádí.

Třikrát se cestou na jámu rozhodoval, že se přece jen vrátí, že radši nahází všecko do hnojůvky, že to vynese do rybníčka. Ale po každé ztratil sílu, jakmile se obrátil tváří k domovu. Jak může teď, za bílého dne, před Bětuščinýma starostlivýma očima, před celou vesnicí, vzepjatou strachem, provést takovou věc? I shledával v sobě aspoň drobínky naděje, že i tentokrát to všecko dopadne dobře, modlil se zmatené kousky otčenášů, prose o boží pomoc, v pošetilostech hledal šťastná znamení. Na Annu Marii přece jen došel. Karnet s ním sjížděl ve stejné kleci.

„Klid, Františku. Teď si dáme ňákej čásek pohov!"

„Mám toho ... tři kila ..." nemohl Milec ani v šepotu přemoci rozčilení. Ale Karnet ho vzal za ruku, dlouhým, posilujícím stiskem ji podržel ve své, jako by chtěl i do Milce přelít svůj klid:

„Do večera to počká. Večer to uklidíme."

O půl desáté přijelo na Annu Marii gestapácké auto s pěti

inslav

muži. Komisař Glaser, div ne vzteklou pěnu z huby, vběhl do kanceláře závodního.

„Sie Idiot!“ zařval na inženýra Blaschkeho, „znáte tenhle papír?“ V ruce, zpocené rozčilením, držel kus pomuchlaného dynamitového obalu se zřetelným evidenčním číslem. Kus, který vypadl z kapsy Karasovi, když potmě pěchoval pod kolejnici nálož. Blaschke zezelenal vzteklou hrůzou.

„Kde je ten chlap ze skladiště?“

Nebylo pochyb, že třaskavina pocházela z Anny Marie. Těžní klec se čtyřmi gestapáky sjížděla k Milcovu obzoru. Blaschkemu se tak třásly ruce, že upustil kahanec. Na nárazišti natrefili dozorce Balcara.

„Přiveďte sofort Milce!“ rozječel se Blaschke.

Balcar se rozběhl do ohybu štoly. Sotva popadaje dech, přiběhl ke skladišti. František Milec seděl na bedničce, ruce sepjaty v klíně, pln podivné malátnosti. Balcar jím musel zalomcovat, aby ho přivedl k životu.

„Frantíku, prokristapána, přišli pro tebe! Utíkej dušničkou, je-li život milej!“

A Balcar, sám v zajetí hrůzy, se vracel pomalu k nárazišti, s nasazením vlastního života vykonav kamarádskou povinnost.

Suď bůh, jaká síla zvedla Františka Milce k útěku. Klopýtavě vběhl do překopu, ponořil se do tmy opuštěné štoly, kterou se kdysi vyvážel jalový forot, utíkal strašnou důlní tmou s tupým úsilím člověka, jenž nenávratně vběhl do smrtelné slepé uličky. Utíkal neuvěřitelným způsobem půl druhého kilometru, než uviděl denní světlo, zatím co Balcar nalhával gestapákům, že po Milcovi není v jámě ani potuchy.

Teprve na polní cestě k domovu sebral František Milec své roztříštěné myšlenky. Nejsou-li už v chalupě, přijedou jistě za půl hodiny. To bylo jasné. Musel vydat všecky své síly, aby je při této poslední příležitosti předběhl, aby aspoň Bětušku zachránil, aby zničil to hrozné svědectví na dně jarmary.

Proběhl vesnicí, rozháněje svým úprkem pokojná husí hejna, a jako posel neštěstí uváděje do strachu každého, kdo zahlédl jeho divoký chvat. Bětuška rozdělávala oheň v kamnech.

„Je zle . . .“stačil jí říci z posledního dechu, než se docela vyčerpán zvrhl na postel. Pozorně přidržela zápalku k chrastí, nedávajíc se vyrušit z navyklého řádu svých prací, kus za kusem

inslav

přikládala do kamen bílé smrkové dříví, a neobracejíc se k muži, pravila k rozrůstajícímu se ohni:

„Přišli vám na to, viď? Dynamit...“

Tiše přikývl. A jeho pokorná žena, jíž po třicet let kromě tohoto posledního tajemství ničeho nesmlčoval, mu řekla:

„Já sem to stejně věděla, Františku.“

Bál se jí podívat do očí. Čekal, že bude bědovat, že ji to podetne, že ještě zvětší propast zoufalství, do kterého se sám řítil. Ale její klidný hlas mu najednou zazníval jako sama naděje, ze budou přece jenom vykoupeni.

„Máš něco doma?“ zeptala se zavírajíc dvířka u plotny.

„Tři kila ... dole v jarmaře ...“

Pozoroval ji, ochromen na celém těle, jak bere zpod lavice velký prádelní hrnec, slyšel kovové chrastění harampádí, jež odsunovala stranou, vnímal pravidelné pohyby jejích rukou, jimiž nakládala dynamit na dno prádelňáku. Pak vzala starou sukni, napěchovala ji do hořejší půlky hrnce, přikryla poklicí a zvednuvši hrnec oběma rukama, opřela si jej o život.

„Svleč se a lehni si, jako dyž stůněš. Pudu to vysypat do rybníčka, nikdo si mne nevšimne.“

František Milec se mechanicky sklonil k botě a roztřesenými prsty hledal konce tkaniček. Viděl při tom bosé Bětuščiny nohy, jak pleskají po prknech podlahy, míříce ke dveřím. Jeden krok, druhý, třetí. Pak prudké, nenadálé zastavení plné zmatku, jako když slepec vrazí do zdi.

Ve dveřích stáli čtyři gestapáci s napřaženými pistolemi. Vřítili se do světnice a odstrčivše Bětušku stranou, hnali se rovnou k Milcovi. Glaser jej na přivítanou uhodil kovovou hlavní do čelisti.

„Vstaň, lumpe! — Teď už nám neutečeš!“

František Milec, ohromen do němoty, si sáhl na zkrvavenou tvář a ztěžka zkoušel povstat. A tu ho srazili novou divokou ranou pod spánek:

„Přiznej se, prase! Tys kradl dynamit!“

Po druhé vstal. Jako když už odchází do jiného světa, s očima v sloup, rozlomeným hlasem se přiznal:

„Krad sem.“

„Františku!“

Leč tento výkřik Milcové nebyl hlas zoufalství. Ani lítostně

inslav

zalykavé ženské výčitky. Byla v něm divoká, napřimující přísnost, která vrátila Františka Milce znovu k životu. Opět uviděl Bětušku, uvědomil si ji, jak stojí dosud u kamen s prádelním hrncem v náručí, na tváři mlčenlivé slzy nenávisti. A najednou mu rostla před očima jako zjevení, jako strašné vidění anděla spravedlnosti.

Ne před těmito cizími zabijáky, ale před ní, před Bětuškou, mlčenlivou a pokornou družkou svého života, nese on, havíř František Milec, všecku odpovědnost.

„Mlč, mrcho, na tebe taky dojde!" zařval na Bětušku Glaser.

„Na všecky dojde," řekla mu klidně, „na každýho z nás už ukazuje spravedlivej prst boží!"

Jeden z gestapáků k ní skočil a uhodil ji pěstí mezi oči. Zavrávorala, ale nepustila hrnec z rukou. Sotva se vzpamatovala, sotva popadla bolestí dech, vykřikla:

„Dobře si udělal, Františku! Dobře si udělal!"

Františka Milce objal najednou podivný, jasný klid. Už nevnímal tělesnou bolest, ani tělesný strach. Očima, přes jejichž víčka mu crčela krev, se díval na svou ženu. Ne na to, jak pro ni chystají nové rány. Na klidný, navyklý, a přece tak významný pohyb zkušené hospodyně, jímž náhle postavila prádelní hrnec doprostřed horké plotny.

Hle, už je rozsouzeno.

Ne oni, ne tihle trapiči těla i duší, ale jeho vlastní žena soudila, a její rozsudek se vteřinami blíží k spravedlivému naplnění. Popadla ho dychtivost člověka po prvé v životě svobodného a sebejistého, říci jim do očí pravdu, vysmát se jejich slepé zuřivosti. Když jej sráželi na zem, křičel jim do obličeje:

„Krad sem! Krad! Padesát kilo sem svejma rukama ukrad! A budou lítat, znova budou lítat vlaky do vzduchu, všecko vyletí! Všecko vyletí!"

Rozdivočeni takovým nepochopitelným vzdorem, zahnali gestapáci oba staré lidi do kouta světnice. Kopali do nich, bili je do obličejů i přes temena gumovými obušky, srazili je na zem a pak po nich dupali vysokými botami. Ale nemohli zabránit, aby se ti dva mučení nechytli za ruce, aby se strašnou silou navzájem nezakloubili stařeckými prsty, aby neodcházeli se světa věrně spojeni. A když už byli gestapáci unaveni vlastní zběsilostí, když na minutku přerušili bití, zvedla se nad bezvědomým Milcem hlava

inslav

jeho ženy, a její rozbitá ústa řekla svou poslední větu: „To nám pámbu nemůže mít za zlý, dyž takový bestie... pobijeme!“

Bylo to vteřinu předtím, než je všecky pohltilo strašné světlo výbuchu, jenž naplnil její rozsudek.

Němá barikáda, 1945

POLITIK

Ministra v kabinetě ani nečekali.

Nechodíval tam v sobotu, věren starému zvyku oddychat, slastně lenošit na konci týdne nad zamilovanými knížkami nebo ve své venkovské vile. Pátečním zasedáním vlády se pro něho končila týdenní práce, ostatně v tento den dosti vysilující. Sedávali v předsednictvu vlády mnoho hodin, v kouři, v rozčilujícím ovzduší, v neustálém napětí, s čím přijde druhá strana a jak ji nejlépe vymanévrovat.

Říkával ironicky, že se tato páteční práce podobá přetahování lana, a rád přitom zdůrazňoval, že se i zde více vyplácí důvtip než síla. Myslil tím na svůj důvtip. Oddaně v něj věřil. Cítil v sobě s hlubokou vnitřní jistotou ohromný politický talent. A že miloval klasické vzdělání, rád uvnitř myšlenek hledal svou podobu se státníky Hellady i starého Říma.

Svému řečnictví se nejen na Ciceronovi učil, ale také je s ním srovnával. Trávíval mnoho času tím, že vymýšlel nové, elegantní slovní obraty, jemně ironické hříčky, znamenitě vybroušené pointy, jímavé lyrické pasáže. Ach, říkal si, kdybych já se byl rozhodl pro psaní, jaký by ze mne byl znamenitý spisovatel! Uplatňoval tento svůj talent dřív v žurnalistice — s jakým zalíbením dosud čítával staré řádky svého skvělého pera! — a nyní, ve svém ministerském životě, zejména v řečnictví.

Klasikova slova o medové výmluvnosti vskutku nepovažoval za prázdnou frázi, ve svém případě rozhodně ne! Když poslouchával sám sebe, měl někdy úplně hmotnou představu zlatistého medu, linoucího se v jemném, hebkém praménku, zářícího jako jantar, vábného, okouzlujícího. Už mnoho známých, zejména přítelkyň, mu dosvědčilo, že právě takto zníval jeho hlas, když v čase okupace mluvil z londýnského rozhlasu.

inslav

„Vhánělo nám to slzy do oči a přitom to hladilo srdce... a člověk třeba někdy ani nevnímal slov... věřte mi, pane profesore..." říkávaly dámy.

„Byl jsem jako Odysseus," odpovídal jim jemně modulovaným, jímavým hlasem, „a jenom éter mne spojoval s rodnou Ithakou... Hrdina, stíhaný nepřátelskými bohy, a přitom toužící aspoň zahlédnout kouř z rodné země..."

Ovšem byli tu i materiální starosti: když utíkal do emigrace, musel tu zanechat dvě tiskárny, tři prosperující závody, do nichž mnoho investoval, noviny, které byly jeho chloubou a přirozeně i tu příjemnou pokojnou vilu v moravském pohraničí, do níž se sedl čert ví kdo. Na štěstí však podniky, jak i za moře dostal zprávu, neztratily v rukou treuhänderových[1] svou prosperitu, ba jejich hospodářská situace byla dokonce lepší než před válkou. Měl jenom strach, nepřežene-li se Moravou ničivý vír fronty a nerozvrátí-li budovy zařízení. Leč i v tomhle měl štěstí: podniky, ztučnělé přes válku jako ovce, zůstaly nedotčeny, a Němec treuhänder mu v květnových dnech před svým zatčením dokonce poslal oddané psaní, kde vylíčil, s jakou úzkostlivou poctivostí je spravoval. Dokonce se mu ten naivka nabízel i nadále za spolupracovníka, třeba na podřízenějším místě!

To ovšem nebylo možné.

V košickém programu[2] byl odsun Němců, a třebaže k němu ministr měl své vnitřní výhrady, otevřeně se nemohl postavit proti. A kromě toho zaměstnanci jeho závodů s velkým rozhořčením sami dovedli treuhändera na policii, když jej po pár dnech skrývání našli v bytě jeho české milenky. Ale ministr zůstal gentelmanem k tomuto nacistovi, ostatně jistě slušnému. Že měl v ten čas ve svých rukou resort spravedlnosti, podařilo se mu celkem hladce vytáhnout milého treuhändříka z drápů SNB[3] a konečně to diskretně zařídit, aby byl od krajského soudu bez úrazu odsunut nejbližším transportem do Německa. Fair play[4], to bylo ministrovo životní heslo, zejména vůči člověku, jenž si tak rozumně vedl po stránce hospodářské.

Dnes tedy ministr proti svému sobotnímu zvyku do úřadu přece jenom přišel. Elegantní, ku podivu odpočinutý, v znamenité kondici. A přece téměř nespal. Nedalo mu to po tom významném včerejšku. Téměř celou noc jeho taktická hlava, plná zápalu a kombinačních nápadů, promýšlela ten grandiosní politický tah,

inslav

který včera podle úmluvy konečně provedli. Nemohl zůstat o samotě, nemohl o tom rozprávět se svou celkem naivní, i když mírnou a hodnou ženou. Potřeboval jít mezi lidi, do štábu, potřeboval být, jak si říkal, na bojišti, i když tím mínil jenom svůj ministerský pokoj a stůl.

Tak včera tedy podali demisi!

Jeho strana i dvě ostatní, s nimiž bylo v tomto punktu dokonalé dorozumění. Čtrnáct ministrů! To se, panečku, komunistickému premiérovi zakolísala půda pod nohama! I vnější forma, kterou to bylo provedeno, byla velmi rafinovaná. Nedostavili se prostě do zasedací síně. Poslali tam po jakémsi tajemníčkovi jenom jednu ministerskou aktovku, slabý vlásek, na němž visel Damoklův meč jejich hrozby. Doufali, že premiér pochopí, že změkne, že půjde do prosíka, že se nevydá nebezpečí úplné isolace své strany.

Bylo by to samozřejmě marné, neboť oni byli rozhodnuti vést věci až do konce, přitlačit předsedu vlády i komunistickou stranu ke zdi, až ztratí dech.

Byl to jen psychlogický trik, jemný psychologický trik, vypočtený na znervosnění nepřítele. Pak, po delším otálení a průtazích, pro tu jednu ministerskou aktovku poslali zřízence. Odnesl ji do Zenklových místností, zůstalo jen čtrnáct prázdných židlí. Ale to, co bylo za čtrnácti prázdnými židlemi, ta velkorysá, jemně promýšlená šachová partie, na jejímž konci se předseda vlády octne v ničím už nezachranitelném, definitivním šachmatu, to zrovna labužnicky vzněcovalo ministrův vytříbený smysl pro intriku.

Sotva se ministr posadil za stůl, přichvátal tajemník a oddaně se na něho zašklebil trochu nepravidelnou tváří. Ministra popadla okamžitá touha, dát se s ním do delšího rozhovoru, zeptat se, co je tu nového od včerejška, jak na to reagují páni v ministerstvu, co tomu říká Praha, která přece podle ministrova mínění už dávno čeká na svržení komunistického jha. Cožpak ti dobří Pražané nakřičeli loni o sjezdu ministrovy strany: „Všechny hvězdy půjdou ke zdi! Do příštího sjezdu ani jednu hvězdu!“

Měl sto chutí si zařečnit, rozvinout oslnivý řetěz státnických úvah. Ale pak se znova podíval na křivou tajemničí tvář a zmocnil se ho pocit marnosti. Nač házet perly tomuto... obyčejnému človíčku, který by přece tak jako tak nepochopil všecku jemnost

inslav

jejich demisní taktiky. Řekl proto jen s blahosklonnou vyzývavostí, jako by uděloval vyznamenání:

„Nuže, pane kolego?“

„Komunisti se začínají rojit, pane ministře...“ pošeptal tajemník, a jeho tvář, toužící vyjádřit nejpoddanější oddanost, se ještě víc zkřivila.

„I od nás někteří vytáhli na Staroměstské... račte rozumět... těch pár skalních... svévolně opustili úřad v pracovních hodinách. Gottwald dal ještě v noci svolat tábor lidu!“

Ministr o tom přirozeně věděl. Už od včerejší půlnoci. Ale přece ho toto sdělení znova ponouklo k smíchu, perlivému, blahovolnému smíchu člověka, povzneseného nad takové pošetilosti.

Bůh chraň, nechtěl Gottwalda podceňovat. Ostatně bylo-li to už dílo osudu, že na krátký čas se věci dají do pořádku, měl být předsedou československé vlády komunista, byl Gottwald celkem nejpřijatelnější. Je to dost rozumný člověk... říkal si ministr v duchu — nevyskakuje, nekřičí, má trpělivost v jednání, je vidět, že mu opravdu jde o to, aby to v Národní frontě dobře klapalo. Ale propánaboha, jak to může klapat při té jejich ideové zatvrzelosti, při té komunistické nedovednosti jít na kompromis, při tom jejich jakobínství, které je rozumnému člověku k smíchu! Kdyby se byli na svých premiérských a ministerských křeslech víc učili od starých praktiků, od nebožtíka Tusara, od Bechyně, od Meissnera! Za takových okolností by bylo bývalo možno Národní frontu udržet... ostatně co je tento honosný název pro rozumného člověka víc, než nová koalice, při které je samozřejmě nutno koordinovat zájmy všech partnerů?

Ale dělat na jedné straně koalici, i když se tomu slovu umíněně vyhýbají, a na druhé straně to hnát k socialisaci beze všeho ohledu na zájmy, které my hájíme, jako kdyby doopravdy chtěli uskutečňovat to, co hlásali na předvolebních schůzích... ale pánové, takhle přece koaliční politika nevypadá! Však už jí taky bude definitivní konec! Pro komunisty to stejně bude nejpřirozenější posice, dostanou-li se tam, kam jejich francouzští kompaňoni. Oposice, demonstrace, tábor lidu, protestní projev, stávky, rvačky s policií ... ach ano, to jsou ty pravé prostředky té jejich uhlířské víry, kterou oni nazývají politikou!

„Tak pan premiér Gottwald dělá protestní projev? Inu, stará láska nerezaví, pravda?“ vypustil znova kaskádu pobaveného

inslav

smíchu ministr a ukázal štíhlým prstem na teploměr za oknem.

„Kolik je tam venku stupňů, pane kolego?“

Tajemník skočil k okenici:

„Patnáct pod nulou... Pěkný mrazík, pane ministře!“

„No, vystydnou tam soudruzi, vystydnou... Dobře jim tak, když nechápou, že se politika nedělá na rynku!“

A uspokojen tímto zdařilým slovním obratem, docela už odpustil tajemníkovi jeho méněcennost a obrátil se na něho naplno se státnickým poučením:

„Ano, pane kolego! Oni dělají politiku na rynku! Do smrti patrně nepochopí, že se ta pravá, rozhodující, velká politika vždycky dělala v klidu u stolu! To jenom romantikové... Pan předseda se ničemu nenaučil. Je takový, jako za první republiky. Romantik!“

Umlkl a zlehounka se usmál, neboť si v ten okamžik vzpomněl, že i on sám by se byl kdysi zatáhnut tehdejším poslancem Gottwaldem do jednoho takového romantického podniku. Bylo to v osmatřicátém, ve dnech zářijové krise. Rozumnému člověku vlastně mělo být ihned jasno, že jsou tu všecky důvody, aby si Britanie s Francií nepřála válku ... aby se československá krise likvidovala nějakou suchou cestou. V evropském koncertu přece Československo nehrálo nijak zvlášť významnou roli ... to řekl Churchil Ripkovi už někdy v šestatřicátém. Nehledě k tomu, že Západ samozřejmě nemohl připustit, aby se Československo stalo trojským koněm, v němž by do Evropy vtáhl komunismus.

Nu ovšem, ministr se v duchu přiznává, že tenkrát přece jenom nepochopil všecky jemnosti velkomocenské politiky. Kdyby byl býval měl takové styky s Anglií, jaké má chválabohu dneska, to by ovšem bývala jiná! Ale on byl tehdy jenom poslancem, dokonce trochu outsiderem ve straně, a neměl informace z nejpřímějších pramenů. Zdálo se mu tehdy mylně, že Západ není proti tomu, aby se Československo tvářilo odhodlaně, aspoň na čas, a že je tedy doba, aby odstoupila agrárnická koalice, až po uši namočená ve spiknutí a úkladech s henleinovci, a by se nastolila koalice nová, trochu levější.

Komunisté tenkrát přišli s takovým romantickým nápadem, utvořit prý vládu národního odporu. Nu což, název to nebyl špat-

inslav

ný, i když zbytečně pathetický. Kdyby to bylo schváleno a podepřeno z Londýna, a samozřejmě taky z Paříže, kdyby to mělo tuto reálnou základnu, dalo by se s tím počítat, i když komunisté ani tehdy nebyli příliš „salonfähig". Ostatně se dalo vůči Západu argumentovat tím, že v zájmu soustředění všech sil a vyloučení sociálních nepokojů... ach ano, hradní mír, a nějaké to nevýznamné ministerstvo komunistům... to by byl ten pravý termín a ta pravá taktika v takové situaci...

Ministru až přejde lehké mrazení po zádech, do jaké šlamastyky se mohl dostat, kdyby byl včas necouvl. Komunisté tenkrát opravdu přes noc zburcovali Prahu, všecky karlínské, libeňské, vysočanské, smíchovské, košířské závody. Lidé křičeli na ulicích: „Dejte nám zbraně, dali jsme si na ně!" Hrůza lidí přitáhla před parlament. Hodžova vláda, kompromitovaná kapitulantstvím, se položila a Gottwald mluvil k tomu statisícovému davu s balkonu starého parlamentu. „Držte se a nedejte se," bouřil davy, a lidé mu zdola odpovídali, že republiku nedají. Romantik! Zatím co řečnil, zatím co davy zvedaly ruku k přísaze, nahoře na Hradě se pěkně upekla Syrového vláda, a všecko bylo jasné. Gottwald byl tvrdošíjný, ještě téhož dne chtěl jít k presidentovi, domáhal se toho stůj co stůj... nu, ministr se samozřejmě omluvil, že musí na oběd, do Společenského klubu. V tu dobu už věděl, že Beneš nechal sedět v předsíni delegaci sovětských generálů, nesoucích pevné ujištění, že Sovětský svaz je rozhodnut pomoci ihned a významně. Kdepak za takových okolností táhnout po ministrově čele. Ještě dnes je mu ta vzpomínka nepříjemná... zejména když si pomyslí na potomní setkání s Gottwaldem. Propadl tehdy okamžité trémě a řekl Gottwaldovi: „My jsme zbabělci... Máte právo nám naplivat do obličeje..." Nesmělo si to ovšem ani tehdy brát tak doslova. Chvíle byla prostě vzrušená a člověk má právo propadnout někdy společenské trémě. Byl to jen obrat, slovní obrat, samozřejmě...

„Kdybyste laskavě dovolil... snad už mluví!" vytrhl tajemník ministra z té náhlé nepříjemné vzpomínky. Mlčky mu přikývl. V přijimači to tiše cvrnklo, zelené magické oko se začalo rozehřívat. Pak se šum zformoval do nepříliš hlasitého, nevzrušeného, ale pádného útoku řeči. Poznal ten charakteristický hlas, s jemným názvukem moravské výslovnosti.

inslav

„Volám vás všecky k bdělosti a pohotovosti," znělo už jasně z amplionu. „Volám vás, všecky dobré Čechy a Slováky, vás všechny, dělníky, rolníky, živnostníky a intelektuály k jednotě a svornosti. Tvořte v obcích, okresech a krajích akční výbory Národní fronty z demokratických a pokrokových představitelů všech stran a všenárodních organisací. Zmařte v zárodku jakékoli provokace reakčních agentů... "

Poslední slovo Klementa Gottwalda ještě doznívalo, a najednou se pod ním jako z hlubokosti moře zvedlo silné, dunivé zahřmění, táhlé, jako když bouřka rachotí mezi vrchy, rytmisované obrovskou společnou vůlí.

Jednotlivá slova, nejasná jak rachot balvanů, řítících se se skal, vybuchovala v nových a nových explosích. Teprve podle rytmu uhádl ministr, že tu stotisícová ústa opakují po druhé i po třetí stejnou větu. Teprve při dalším opakování postihl její smysl.

„Zrádci z vlády ven! Zrádci z vlády ven! Zrádci z vlády ven!"

„Zavřete to, pane kolego!" křikl znervosněle na tajemníka. Přijimač ztichl. Ministr našel rychle svůj smích, i když ne tentokrát klokotavý, ale naráz zkyslý a křivící ústa, a docela už nedbaje na to, že vylévá proud svých podzemních myšlenek na povrch, do sluchu úslužného tajemníka, vybuchl:

„Akční výbory! Slyšel jste? Diletantské hlouposti! Zrovna jako v osmatřicátém! Tenkrát chtěli dělat hnutí národního odporu, rozdávat pušky po fabrikách a vesnickým strejcům, bránit prý každou chalupu, každou mezičku, každou zídku! A dneska, místo aby jednali na patřičných místech, buntují lidi z fabrik, odtrhují je od práce, a vymýšlejí akční výbory! Teď si zařvou po ulicech, aby se v tom mrazu zahřáli, a chlapi i fabričky z Vysočan si budou přitom myslet, že oni jsou taky politikové, že to dělají s sebou, že tomu rozumějí víc než ministři! Demagogie! Ale my ukážeme za pár dní panu Gottwaldovi vládu, že nebude stačit otvírat oči!"

Teprve teď si uvědomil své rozčilení a zarazil se nad ním. Nu ovšem, dal se strhnout před tím hlupákem tajemníkem. To jejich pojetí demokracie mu vždycky přivádělo krev do varu: deputace lidu do parlamentu, masové demonstrace, davy na náměstí, člověčí pach lidských zástupů, který mu byl vždycky

inslav

protivný. Nu dobře, bylo jich tam jistě mnoho, na tom Staroměstském ... ale tak jsou lidé protivní, ba odporní právě v té mnohosti! Sto, dvě stě, tisíc... pořád je to dav! A kdyby milion, dva miliony, šest milionů ... dav, dav, tupý dav! Odi profanum vulgus et arceo[1], jak řekl kdysi básník. Nenávidím hloupý dav a straním se ho! Šest milionů ... ale to už je národ, ne? pošeptal mu najednou ďáblík pokušení. Národ? Já nevěřím na národ, abych si to upřímně přiznal! Není národa! Je dav, dav jako ten, jenž hlučel z rozhlasu, bezhlavý, protivný... a pak jsou osobnosti, osobnosti jako já! A tyto osobnosti budou provozovat to vzrušující, dráždivé umění sui generis[2], kterému se říká politika, a budou při tom zachovávat rovnováhu světa! Jejich vzdělání, jejich výjimečné inteligenci a ne nakonec i hospodářskému postavení a moci to po právu přísluší. A tento dav je bude poslouchat, na věky věků poslouchat, anebo...!!

Nedokončil tuto podzemní myšlenku a s úporným zaujetím se vrátil k té elegantní taktice, kterou tentokrát zvolili: včera podalo demisi čtrnáct ministrů, dneska to mohou položit další. Majer[3] je přece náš, a v jeho straně máme vliv, Laušman... lalala... kdopak mu pomohl k předsednictví strany na brněnském sjezdu? ... a pak ať si soudruzi hrají pár dní na vládu sami. Nakonec budou musit na Hrad s prosíkem, aby to president přidělil někomu druhému protože oni nemohou tu vládu jaksi dát dohromady... A pak budem diktovat my, co chceme. Vnitro. Národní obranu. Zemědělství... a tak dále, a tak dále! Pak bude mít pan poslanec Gottwald víc času na tábory lidu a na protestní projevy!

Ministr se zrovna zachvěl radostí, když pomyslel na velké důsledky, jež z toho poplynou. Uvolní se to tíživé spojenectví s Rusy, které nám tak kazilo náladu, přimkneme se k Marschallovu plánu, provede se revise znárodnění, která vrátí průmysl do rozumných podnikatelských rukou, přizve se opět k spolupráci cizí kapitál. Nastane život vlídný, rozkošný a radostný, zkonsoliduje se naše klasická demokracie, rozpustíme národní výbory, pošleme své spolehlivé lidi, už za války vycvičené v Anglii, na místa okresních hejtmanů, uděláme rozhodný škrt přes tu hloupou uhlířskou ideu lidovlády!

Budeme tam, kde jsme byli před Mnichovem! Budeme mít opět širokou důvěru velmocí, přijdou k nám se svými investi-

inslav

cemi, pozvednou to tu hospodářsky. Ach, co se dá všecko v takovém mezinárodním měřítku podnikat!

Nepříjemný pocit byl rázem pryč, ministrovi šumělo v hlavě radostným vzrušením. S gustem pomyslil na tu včerejší aktovku, kterou dali odnést na znamení konce, a zamnul radostně rukama jako člověk, který se má nač těšit...

*

Na Staroměstském náměstí metal národ svůj los.

Stáli tu už třetí hodinu v mraze hnedle dracetistupňovém, a nad zástupy pevně sevřené stoupala Píseň práce, vážná a vznešená ve své prostotě jako starobylý chorál husitských předků. Teprve o polednách se zástupy hnuly. A dějiny jejich vlasti se hnuly s nimi.

Byla sobota, jedenadvacátého února roku tisícího devítistého čtyřicátého osmého.

1948

inslav

ANTONÍN ZAPOTOCKÝ

АНТОНИН ЗАПОТОЦКИЙ

(1884—1957)

Антонин Запотоцкий, выдающийся революционный деятель, Президент Чехословацкой республики в 1953—1957 гг., является автором широко известных художественных произведений. Все они представляют собой мемуарно-хроникальные романы из истории чешского рабочего движения.

Книга «Встанут новые борцы» („Vstanou noví bojovníci") посвящена зарождению чешского социал-демократического движения в последней трети XIX века. Роман «Бурный 1905 год» („Bouřlivý rok 1905") рисует борьбу чешского пролетариата в 1905 году. Событиям 1917—1921 годов посвящена книга Антонина Запотоцкого «Красное зарево над Кладно» („Rudá záře nad Kladnem"). В ней автор показывает процесс роста классового сознания чешского пролетариата под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, процесс, который привел чешских трудящихся к пониманию предательской политики лидеров социал-демократии. Книга повествует о борьбе за создание Чехословацкой коммунистической партии.

Написанные крупнейшим деятелем коммунистического движения, связавшим всю свою жизнь с борьбой за счастье трудового народа, романы Антонина Запотоцкого в образной форме раскрывают основное направление, закономерности и логику борьбы чешских рабочих в разные исторические периоды.

46—1469

inslav

Запотоцкому присуща оригинальная манера искусного и живого повествования. Его произведения, совмещающие жанровые особенности мемуаров и хроники, памфлета и романа, представляют собой художественную летопись революционного движения чешского пролетариата и являются ценным вкладом в современную чехословацкую литературу.

RUDÁ ZÁŘE NAD KLADNEM

V zemi Sovětů. — U Lenina

... A Tonda jde. Jde k Leninovi.

Ukazuje se, že Lenin ví o Československu víc, než si Tonda myslil. Zná Prahu. Byl tam na illegálním sjezdu bolševické strany ruské v r. 1912. Však hned také vzpomínkami na Prahu zahajuje soudruh Lenin rozhovor.

„Jak je v Praze? Jedí tam stále ještě knedlíky?"

Jak je vidět, soudruh Lenin si dobře české záliby v knedlíkách povšiml a na ni nezapomněl.

„Nu a co soudruh Modráček? Pamatuji se na něho. Šmeral mi o něm říkal, že už není v sociálně demokratické straně. Zahnul ještě více doprava? Už mu ani oportunistická politika dnešní sociální demokracie nestačila? Nu, není divu. Byl obdivovatelem Bernsteina a jeho reformismu, o tom se nikdy neví, do jakého až bahna sklouzne.

A co dr Šmeral? Píše o své návštěvě v Sovětském svazu? To je dobře. Umný člověk. Bylo by ho škoda, kdyby se ztratil. Co myslíte? Vydrží? A co váš sjezd? Sejde se v krátké době? Tak tedy už v září? Jaké má levice naděje? Budete míti většinu? Nevím, nevím, nejásejte předčasně. Nevíte ještě, co pravice udělá a čeho všeho je schopna. Naprostá většina je s vámi. To je hezká věc, ale vedení strany má pravice. Dokud má vedení, může ještě mnoho podniknout. Může sjezd odvolat. Myslíte, že by to znamenalo rozkol? Vy se domníváte, že by se před rozkolem vaši pravičáci zastavili? Nebuďte bláhoví! Nezastavili se jinde, nezastaví se ani u vás. Uvidíte ještě, čeho všeho jsou pravičáci schopni, když jde o to, udržet moc a vládu ve straně. My jsme frakční boje prožívali a máme zkušenosti.

Proč jsem vás ale hlavně pozval? Chtěl bych se informovat o poměrech v Maďarsku. Jste tam v bezprostřední blízkosti. Máme

inslav

zde mnoho soudruhů z maďarské emigrace. Ale chtěl bych znát vaše názory. Vím příliš dobře z vlastní zkušenosti, že emigrace líčí poměry ve své zemi podle toho, jak by si je přála mít, ale ne tak, jak ve skutečnosti jsou."

Během tohoto rozhovoru přistupuje soudruh Lenin k mapě Evropy, která visí na stěně. Nechá si na mapě modrou tužkou zakreslovat hranice Československa a Maďarska. Vyptává se na poměry na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Chce vědět, jaký je zde početní poměr maďarského obyvatelstva ke slovanským národům. Chce vědět bližší podrobnosti konfliktu mezi Československem a Maďarskou republikou dělnických rad. Podrobnosti o sporu překročení demarkační čáry. Živě luská prsty, když se dovídá, že otázka překročení demarkační čáry nebyla u nás objasněna. Kdo ji překročil, nebylo ani zkoumáno, ani zjištěno. — Pak zas přechází na poměry v Čechách. Zajímají ho masové organisace.

„Co Sokol? To je u vás velká sportovní organisace? Jaké je její složení? Zdá se, že je většinou maloburžoasní. To je velké nebezpečí. Jaké jsou tam dělnické posice? Uplatňuje se tam frakční práce strany? Neuplatňuje! Strana má svoje vlastní sportovní organisace! Jak silné? K Sokolu nemohou se přirovnávat? To je chyba. Masové organisace se nemají tříštit. V těch se má pracovat. Co legionáři? Jak se nyní chovají? Půjdou s reakcí nebo proti ní? Je v jejich řadách kvašení? Mnozí vystřízlivěli již z nacionálních ilusí? To je dobře. Nutno jim věnovat pozornost. A co odbory? Odbory jsou na západě velkou silou. Jak je to u vás? Jsou jednotné? Nejsou! Které jsou nejsilnější? Sociálně demokratické? A jejich vedení? Kdo je má v rukou? Většinou pravice? To je velká chyba a slabina. Odbory budou u vás hrát velkou roli. Nepodceňujte je. Bez odborového hnutí a jeho podpory není možno podnikat žádné revoluční akce. Je nutno v odborech pracovat. Měli byste vydat heslo „sjednocení odborů".

U vás jsou tendence zakládat samostatné levičácké odbory? To nedělejte. Revoluční politická strana, to je něco jiného. Zde je potřebí střežit čistotu strany a vylučovat oportunisty. V odborech je to jiné. Odbory mají být jednotné. Za prosazení správné revoluční taktiky je nutno na jejich půdě bojovat. Přitom ale jednotu chránit a ne ji rozbíjet."

Tak mluví Lenin. Klade otázky i odpovídá. Prostě a srozumi-

inslav

telně. Tonda cítí, co v každé větě je pravdy i velké praktické zkušenosti... —

Když se po rozloučení s Leninem octl na nádvoří Kremlu, teprve si uvědomuje velikost a historický význam této chvíle pro celý svůj další život. Cítí vřelý stisk Leninovy ruky i jeho poslední slova: „Přeji vám šťastnou cestu, abyste opravdu na svém budoucím sjezdu strany slavili vítězství nad oportunistickými zrádci."

Tonda se v duchu rozhoduje a slibuje „Jít vždy s Leninem, jít se Sovětským svazem, jít s Komunistickou internacionálou, děj se co děj."

Všecky rozpory a nerozhodnost jsou překonány. Tonda ví, co řekne Kladeňákům.

Nemyslí již na nic jiného než na návrat domů. Je třeba být doma co nejrychleji. Připravovat sjezd. Zužitkovat všecky zkušenosti získané v Sovětském svazu. Udělat vše, co je možno učinit aby také v Československu proletariát mohl slavit své vítězství...

1951

inslav

VÁCLAV REZAČ

ВАЦЛАВ РЖЕЗАЧ

(1901—1956)

Вацлав Ржезач, один из лучших мастеров чешской прозы, вступил в литературу в 30-е годы. Его первые романы — «Тревога в Коваржском переулке» („Poplach v Kovářské uličce“, 1934), «Тупик» („Slepá ulička“, 1938) и др. В годы фашистской оккупации писатель создал романы: «Свидетель» („Svědek“, 1942) и «Рубеж» („Rozhraní“, 1944). Во всех этих произведениях Ржезач проявил себя как писатель, которому близки интересы народа. Однако он не пришел еще к глубоким социальным и художественным обобщениям.

После образования народно-демократической Чехословакии в творчестве писателя наметился новый этап. Ржезач принимает активное участие в общественной и литературной жизни страны. В его последних произведениях получили полное развитие реалистические тенденции, проявившиеся еще в довоенном творчестве. Писатель одним из первых обратился к важнейшим темам строительства социализма в Чехословакии.

В 1951 г. вышел из печати роман Ржезача «Наступление» („Nástup“), в 1954 г. — роман «Битва» („Bitva“). Эти романы составляют первые две части задуманной, но не оконченной трилогии, в которой автор поставил своей целью показать духовный и политический рост простых чешских

inslav

людей в народно-демократической Чехословакии. В «Наступлении» нарисованы события первых месяцев существования народно-демократического строя, процесс размежевания социальных сил в сложных условиях чешского Пограничья. Автор рисует заселение чехами пограничных областей, ранее отторгнутых от Чехословакии, изображает борьбу чешского народа с внутренней и внешней контрреволюцией. «Битва» посвящена теме окончательной победы и упрочения народной власти. Роман завершается февральскими событиями 1948 г.

Основные герои романов — коммунисты, рядовые рабочие и крестьяне, осуществляющие национализацию промышленных предприятий немецких капиталистов, организующие в Пограничье сельскохозяйственные кооперативы. Центральным героем обоих романов является коммунист Багар, вдумчивый политический руководитель. Писатель разоблачает действия замаскированных врагов народно-демократического строя, приспособленцев, которые, стремясь к личному обогащению (Тимеш, Трнец), завязывают связи с англо-американскими капиталистами. Типичный путь всех честных людей страны — путь к компартии, к социализму — Ржезач показывает на образах Антоша, Клинека и почтового чиновника Брендла. В образе немецкого антифашиста Пальме раскрыты лучшие черты пролетария-интернационалиста. В романах ярко звучит тема нерушимой дружбы с Советским Союзом.

NÁSTUP

Kapitola patnáctá

„Vím já, co se tam děje?“ otázal se Bagár řečnicky Antoše a sám si odpověděl.

„Nevím. A musím to vědět. Mám dost případu s Klínkem. Byla to má vina? Galčík mi ji hází na hlavu. Má pravdu, ačkoli mě pomátl svým křikem. Neměl jsem se dát poplést. Viděl jsem věci se svého místa a měl jsem je řešit po svém.“

„To padá taky na mě,“ řekl Antoš. „Bylo mi líto těch pár kroků do Klášterce. Kruci, kdybych byl jen tušil, že ten kluk se dá tak nachytat. Jak se to jen mohlo stát?“

Bagár přecházel dlouhými kroky bývalou Röhligovu úřadovnu. Jeho mohutná ramena byla nachýlena dopředu, jako by na nich spočívala tíže větší, než stačil unést. Trhl jimi občas, napřímil se a opět poklesl. Zastavil se u vysokého okna.

Nad horským bokem stály bílé ledovce mohutných oblaků ozářených sluncem a oslepovaly zrak.

Průsvitné dýmy roztávaly nad střechami domů, do pryskyřičné vůně větrných nárazů se mísil dřevěný smoud. Městečko pách-

inslav

lo svými ohništi, jež jen zřídka kdy poznala uhlí, teple a rodně, a přirůstalo k srdci. Bílé prapory kapitulace visely z vikýřů a zmítaly se neklidně. Pryč s nimi! Pryč se vším, co chce přetrvat minulost a visí na nás jako kámen na plavcově šíji.

Za lesním ostrohem se objevil chlapec, ženoucí před sebou dvě strakaté kravky. Cípek lesa, hoch a stračeny. Právě takový cípek lesa, jako je ten, kde našli Bohuše Klínka. A ty si říkáš mír.

„Jak se to mohlo stát?" opakoval Bagár Antošovu otázku, dávno vytracenou v dlouhotrvajícím tichu. Musila mít spojence. Někomu se podařilo vyklouznout za nimi z města.

„Nejlepší by bylo," řekl Antoš, „vykašlat se tady na to a vrátit se do Prahy. Ať si to tu vylíže někdo jiný."

Bagárova červená tvář vzplála návalem krve. Rozhodil trhnutím paže a vzpřímil se v celé výšce.

„A proč někdo jiný, co? Jsi lepší nebo horší, udělali tě z jiného těsta? Navykl sis něco rozdělat a pak od toho utéct? Komu to tedy máme nechat? Ľumpům? A i když ne lumpům, přijdou sem také obyčejní, průměrně poctiví lidé, ale příležitost z nich bude dělat zloděje. Od toho chceš utéct? Od toho, aby tenhle kousek země byl co nejdřív poctivě český, aby byl v pořádku?"

Antoš si pokryl sepjatýma rukama temeno hlavy a uši a zaskučel:

„Už dost! Copak člověk nesmí říct ani slovo? Ty to tady budeš držet a vedle tebe jiný se na to vykašle a možná, že si ještě sám přisadí."

„Počkej, neuhýbej," řekl Bagár. „Nemohu ručit za to, co udělá někdo jiný, ale za to, co budu dělat sám, ručit musím. Jsme tu jako na frontě. Vzal sis na sebe Halskeho autodílnu. Veď ji jako četu v útoku. Odpovídáš za ni národu a jednoho dne se tě zeptáme a ty se sám budeš musit zeptat sebe, jak sis počínal. A tady jsme u toho, co jsem povídal. Trnec si vzal na sebe textilku. To už máš rovnou, jako by vedl prapor. A vím já, co se u něho děje? Ani pořádná závodní rada u něho není, abych si s ní mohl popovídat. Závodní rada složená z Němců, vždyť je to pro kočku. Palme v ní není, Palme stojí u stavu, ani dílovedoucího z něho Trnec neudělal, ačkoliv jím vždycky byl. Běhá na mě a skučí: Tenhle a tenhle byli zaručeně antifašisty. Prověř je. Jenomže já si je prověřuji po svým a vychází mi něco docela jinýho. Proč odstavil Trnec Palmeho a udělal dílovedoucím Knauseho, který

inslav

sloužil nacistům, to bych chtěl vědět. A vůbec bych chtěl vidět Trncovi pod pokličku dnes, zítra a každý příští den."

„A co chceš dělat?" otázal se Antoš.

„Zavolat české textiláky. Znám chlapce z okolí Humpolce. Válčili jsme spolu v době výluk, v letech třicátých. Snad si ještě na mne vzpomenou."

„To je má řeč," řekl Antoš, jako by Bagár vyslovil jeho starou myšlenku. „Musíš sem dostat český dělníky, jinak se tu nehneš."

„*Soudruhu Dejmku,* napsal Bagár starému textilnímu předákovi v Jamnicích u Humpolce, *jestlipak si ještě vzpomínáš na toho bělovlasého, rudohubého soudruha, který Ti pomáhal organisovat stávku v jednatřicátém roce? Vzpomínáš si, jak jsi nedovedl pochopit, od čeho takový flousek má šedivé vlasy a jak sis libovaľ, že dokážu překřiknout největší kravál? Už tak nekřičím, fašisti mi pokazili hlasivky. Ale už také nebudeme organisovat stávky, ale docela jiné věci. A proto Ti píši. Sedím tady na severu Čech, v městečku Grünbachu. Je tu textilka jako klícka, robí zrovna takové dílo jako vy tam u vás a čeká na české ruce. Pověz o tom soudruhům. Vzpomínám si, jak bídně tam u vás bydlíte, a tady si můžete vybrat domky, o jakých se vám ani nesnilo. Přijeďte se podívat, tady můžeme stavět nový život od základů. Co Tvá dcerka? Bylo jí osm let, když jsem ji viděl naposledy. Dnes už je z ní asi maminka. Pozdravuj ji ode mne, byli jsme dobří kamarádi. Snad si ještě vzpomene na šedivého strejdu, který jí pomáhal roznášet letáky. Pozdravuj ženu a soudruhy a hlavně se přijeď podívat.*

Čest práci! Bagár."

Přijeli. Uplynul sotva týden a byli tady. Dejmek s dcerou a šest jeho kamarádů. Tři mohli být tak v Dejmkových letech, odchovali už děti a říkali si, že život ještě neskončil, aby to nemohli zkusit znova a v lepších podmínkách. Bydlet jako člověk, když ses celý život mačkal ve dvou dírách, stálo by za to, Mařenko. Za podívání nedám víc, než kolik bude stát dráha. Tři další byli svobodní třicátníci, s touhou po ženitbě a bez vyhlídky na slušný byt. Omrkneme to, kluci, a jestli ten Bagár nelhal, buchneme do toho.

Přišli plaší a nedůvěřiví, rozhlíželi se zkoumavýma očima. Po ránu drobounce mžilo a nyní lesy na horských úbočích dýmaly

inslav

parami. Potrhané mraky bloudily nad vrcholky, ostré slunce oslepovalo, probouzelo vůně a blýskalo se na mokrých krytinách střech. Grünbach, přitulený pod horský bok, svítil a zářil čistotou, domky rozptýlené ve stráních vypadaly jako vtělení snu o přívětivém domovu a vábily.

Bagár se díval zkoumavě po tvářích svých hostí a cítil, jako místo samo vyhrává a získává je přesvědčivěji než jeho řeči. Zastavili se na můstku nad Potočnou a obhlíželi dlouho textilku.

„Pěkná," řekl Dejmek za všechny a ostatní pokývali hlavami. „Jestli je konkrétně uvnitř taková jako navrch, povídám, pěkná. Doufám, že ji znárodníme. Stačí?"

„Náš táta by znárodňoval od rána do večera," řekla Zdena Dejmková.

„A je ti to snad líto?" broukl starý.

„Ba ne," zasmála se. „Já jsem přeci celà ty. Máma to alespoň říká pětkrát za den. Proč jenom majetek Němců, zrádců a kolaborantů? Jako by všichni buržousti nezrazovali. Já bych to chtěla mít všechno jedním vrzem, aby se to zas nějak nezvrtlo."

„Jen mi neúchylkař a nebuď tak horká. Stačí?" řekl Dejmek. Znělo to navrčeně, ale byla v tom zároveň těžce skrývaná něha a pýcha nad dcerou.

„Tentokrát to nebude jako v osmnáctém," pokračoval. „Soudruzi jsou ve vládě a nikdo je z ní nedostane. Na Klemu je spolehnutí, stačí? A když dnes říká A, řekne zítra B a odříká jim tu abecedu celou až do Zet. Záleží konkrétně na nás, jak rychle to bude. Strana rozhodne, silná strana. Musíme přesvědčit lidi, že máme pravdu a že musí jít s námi. Stačí?"

„Už tady máte stranu?" obrátila se Zdena Dejmková na Bagára.

Bagár se chraptivě zasmál a řekl:

„Ber, ale nekraď. Kde ji mám vzít?"

„Jak to, že ne," vybuchla Zdena. „Copak tu nejste dost dlouho? Strana měla být vaší první starostí. Co si chcete bez ní počít?"

„Podívejte se na ni," řekl Dejmek, jako by žasl. „Jen se na ni podívejte. Jestli ty, holčičko, nejsi drzá?"

„Jen ji nech," zasmál se Bagár. „Má pravdu. Strana by tu měla být, jen by mi měla poradit, kde vzít straníky. Mám ji snad organisovat z německých fašistů?"

inslav

Zdena temně zčervenala a upadla do rozpaků, z bojovné soudružky se naráz proměnila v bezradnou dívku, která neví, jak by měla čelit spojenému výsměchu mužských pohledů.

„Já nevěděla, že je to tady takové," řekla omluvně. „A vy jste se jistě urazil."

Bagár zavrčel a mávl odmítavě rukou. Proč mi vyká, myslil si, je to přece soudružka a všem ostatním tyká. Starý, to je to, připadám jí starý. A vzpomínal na děvčátko se střapatou hlavou, v kartounových šatech a prodřených, na boso obutých teniskách, které roznášelo v lýkové nákupní kabele letáky mezi stávkujícími textiláky. Vzhlížela k němu velikýma, vážnýma očima, které tehdy byly šedomodré a dnes jsou šedozelené, sledovala pozorně jeho ústa, když vykládal o stávkových bojích soudruhů v severočeském uhelném revíru. Učil ji zpívat revoluční písničky a později ji slyšel, jak je předzpěvuje skupině dětí, které kolem sebe shromáždila.

Osm v jednatřicátém roce, to znamená ve čtyřicátém sedmnáct a teď jí bude dvaadvacet. A mně je sedmatřicet. Bylo mi třiadvacet, když jsem organisoval stávku v Jamnicích, a už tenkrát jsem měl šedivou hlavu. Musím jí připadat jako úplný dědek.

Měla rychlé pohyby, něco jako by stále hnalo kupředu a k činnosti její nevysokou postavu s plnou, pevnou hrudí, vystupující i pod volným pláštěm. Její tvář byla kulatá a růžová, jako by stále připravená ke zpěvu nebo smíchu, ale její oči se dívaly soustředěně a vážně. Husté hnědé vlasy, hnědé jako zralý kaštan, který se právě vykutálel ze svého ostnatého lůžka, byly sepjaty nad šíjí v hladký, tuhý uzel. Vypadala dělně, jako člověk, který neví v klidu, co sám se sebou počít, a jehož ustavičně popichuje myšlenka na nevykonanou práci.

„Jak dlouho tady budeme stát?" řekla. „Jsem zvědavá, jak to vypadá uvnitř."

Ve vratech je uvítal starý Willi Krohne a oznámil jim, že Trnec někam odjel a neřekl, kdy se vrátí. Kolem vily byl ruch. Viděli ženské myjící okna a jiné, které vynášely kbelíky se střepy a krámy. Bagár se podíval tázavě na Krohneho.

„Říká se, že brzy přijede paní Trncová. Dům má být do soboty v naprostém pořádku."

„A ty ženské? Kde je sebral?"

„To jsou ženy našich dělníků," vysvětlil Krohne a zkřivil trochu spodní ret. „Moje tam dělá taky."

inslav

Dychtivý, překotný hřmot běžících stavů je uvítal, když vstoupili do chodby v přízemí továrny. Jamničtí na sebe pohlédli a zaposlouchali se do pravidelného hukotu. Dejmek přikývl spokojeně, ostatní se rázem usmáli. Knause jim vyšel vstříc ze své kukaně, na tváři služebný úsměv, zmačkanou čepici v hrsti. Bagár na něho pohlédl s neskrývaným odporem.

„Kde je Palme?"

„U stavu."

„Zaskočte za něho a pošlete mi ho sem. Nevyvalujte na mě oči, snad jste mi rozuměl. Pospěšte si a postavte se zatím na jeho místo."

BITVA

Kapitola dvacátá pátá

Vyšli z tovární brány a zastavili se na betonevém příjezdu, vyhlížejíce do ulice vedoucí do vnitřního města. Viděli hloučky lidí před ploty zahrádek, a třeba slova k nim nedoléhala, mohli se dohádat ze vzrušených posuňků, co je předmětem rozhovorů. Stáli tu beze slova a nikomu z nich se nechtělo vykročit. Těch několik set kroků, jež je dělilo od bývalé radnice a dnešního sídla místního národního výboru, bude hořce vykoupeno útočnými dotazy, výčitkami, posměšky a snad i nadávkami.

„Nedá se nic dělat, chlapci," povzdychl si Dejmek. „Musíme do toho. Soudruhu Palme, snad bys udělal líp, kdyby ses vrátil domů. V tom vzteku, který mají, začnou sečítat, že dvě a dvě je pět, a je zbytečně dávat jim k tomu příležitost."

Hans Palme se vzepřel o hůl s gumovým koncem, ale chystal-li se něco namítnout, nedostal se k tomu, protože v tu chvíli vběhla na betonový sjezd s cesty vedoucí k domku Brendlových a dále nahoru k Měděnci jeho dcera Mariechen a za ní Zdena, obě zardělé ve tvářích.

„Soudruzi, ani slovo před Zdenou o tom, k čemu se chystáme," stačil ještě vyhrknout polohlasně Dejmek, a už obě stály před nimi.

„Kam s tím spěchem, děvčata?" uvítal je Dejmek. „Zdeno, máš ty vůbec rozum?"

inslav

„Ale na tom teď přece nesejde, tati," odpověděla Zdena rozčileně. „Tady Mariechen má pro vás něco důležitého."

Pohladila dívku, která se zatím přitiskla k otcově paži a stála tu se sklopenýma očima, po hustých vlasech a vybídla ji:

„Tak mluv, prosím tě, mluv!"

Ale když viděla, že děvče váhá, že obrací zardělou tvář prosebně k otci, vyhrkla chvatně, jako by šlo o věc, o jejímž zdaru či nezdaru rozhodují vteřiny:

„Tak já začnu za tebe a ty už povíš ostatní. Soudruzi, Mariechen si myslí, že ví, jak bychom mohli znovu dostat vodu do vodárny a do vodovodu."

Hans Palme uchopil dcerku pod bradou rukou, v níž svíral hůl, a řekl užasle:

„Mariechen, ty že víš něco takového?"

Přikývla a pak slovo za slovem, zprvu zvolna, jak přemáhala ostych, a pak stále směleji a s rostoucím zanícením jim pověděla, jak jí kdysi dědeček, Palmeův otec, vyprávěl o velkém suchu, kdy vodárna byla bez vody, která se tehdy začala vytrácet i ze studen. Byl ještě mladík, ani vojnu neměl za sebou, a začínal se zaučovat v textilce, kterou postavili asi dvě léta předtím.

„Propánajána," vyrazil Dejmek, „jen už nám, děvečko, pověz, jak to tenkrát udělali."

„Přehradili řeku nad městem a zatopili louky. A odtud voda prosákla zpátky do vodárny a do studní."

„Přehradili řeku a zatopili louky," opakoval po ní Dejmek užasle. „Podívejte se, jak je to jednoduché, a řekněte, jestli by nás to napadlo."

A pak náhle, jako by před sebou uviděl nové potíže, se zamračil a řekl:

„Ale přehradit řeku, to není jen tak. To se musí vědět, kde. A víš to ty?"

Mariechen se usmála a přikývla.

„Vím. Dědeček mi to ukazoval. Pásli jsme spolu husy a já se ho ptala, proč jsou v těch místech na každém břehu takové hrboly, jako by je tam někdo naschvál nasypal. A dědeček mi začal vyprávět o tom suchu."

„Lidičky, to znamená, že jsme z nejhoršího venku," vydechl Dejmek a posadil se na betonovou obezdívku sjezdu, jako by ho

inslav

to nečekaná úleva zbavila poslední špetky síly. Ale vzápětí vyskočil:

„Kdepak. To si jen tak namlouvám. Ještě zbývá presvědčit lidi, aby vzali motyky a lopaty, pak čekat, až se louky zatopí, a navrch ještě, jestli se opravdu objeví v potrubí voda. Ale nedá se nic jiného dělat. Musíme do toho. Zdeno, co tvoji mládežníci? Potřebovali bychom jako sůl, aby nastoupili do jednoho a dali ostatním příklad. A Václave, ty bys měl obejít alespoň některé soudruhy, abychom se měli o koho opřít. Rejpalů bude dost."

Dejmek se nemýlil, čekaly na něho perné chvíle a jazyky nabroušené vzrůstající panikou, o jejíž rozšíření se starali svorně všichni, kdo si přáli, aby správa veřejných věcí nejen v Potočné, nýbrž v celém státě přešla do jiných rukou.

Obyvatelé městečka se nakupili před bývalou radniční budovou a dožadovali se vysvětlení. Krutě palčivé léto, jež jim neposkytlo jediného dne úlevy, jim sedělo v nervech. Ani nedávný rozruch a strach, vzbuzený epidemií záškrtu, v nich dosud zplna neutuchly. Takové řeči, jako že by bylo nejlépe praštit tady se vším a vrátit se do pokojných vnitrozemských měst, kde je bezpečí a klid a kde dnes ani o práci není nouze, se znovu šířily a přeskakovaly od člověka k člověku jako plamínky ve vyprahlé trávě.

Nejvíce štvali ti, kteří nebyli postiženi ani epidemií, ani se neměli bezprostředně proč obávat výsledků sklizně, ti, kdo si kdysi v prvé vlně osídlení zakrojili nejtlustší krajíce a nyní, po skončených odsunech, žehrali, jak se jim tenčí a osychají.

Leč v Dejmkovi, postaveném proti nebezpečí porážky, jež hrozila státi se něčím větším než pouze jeho osobní prohrou, se probudil starý bojovník z dob těžkých stávkových zápasů. Proto se neproplížil k budově MNV zadem, jak by byl snadno mohl, ale prodíral se přímo zástupem. Máme my snad co skrývat? ptal se sám sebe. Nemáme. Lidé ti vždycky porozumějí, když jim povíš pravdu.

I nějaký šťouchanec utržil tou cestou, někdo se mu dokonce pokusil podrazit nohy, ale Dejmek si toho nevšímal a tam, kde se v davu setkal s tváří některého ze soudruhů, kývl povzbudivě hlavou, jako by ne jemu, ale ostatním bylo třeba posily.

Byl by mohl vejít do budovy a promluvit s balkónku před úřadovnou, v níž nyní vysedával společně s Václavem Brendlem. Spokojil se tím, že vystoupil na nejvyšší ze tří schodů vedoucích

inslav

do budovy. Když se rozhlédl kolem sebe, viděl s uspokojením, že v zástupu přibylo soudružských tváří, že je tu většina dělníků z textilky a že tu nechybějí ani soudruzi z kuličkárny. Povšiml si, jak se protlačují k němu. Přivítaly ho zesílené posměšné výkřiky.

„Pan předseda propil vodárnu a my budeme sušit hubu!"

„Dej si ještě jednu, soudruhu abstinente!"

„Nechcete ještě jednoho slepého na MNV, aby neviděl, jak hospodaříte?"

„To nejsou žádné žerty, bratři a přátelé," ozval se z pozadí zástupu pronikavý hlas, a když Dejmek pohlédl tím směrem, poznal, že se Trnec rozhodl zasáhnout přímo. „Továrny bez vody, to znamená nezaměstnanost a nespočitatelné hospodářské ztráty. A kdo nám může zaručit, že těch několik studen, které zůstaly v Potočné v provozu, vystačí pro potřeby všeho obyvatelstva? A co když mnozí zvolí raději návrat do vnitrozemí, než by čelili nebezpečí, že tu zůstaneme celé měsíce bez vody, co pak? Celé toto kvetoucí místo propadne zkáze a bude těžké znovu dávat dohromady, co bylo jednou ztraceno. A proč? ptám se. A vy se ptejte taky, a hodně hlasitě."

Ze zástupu se po jeho slovech ozvala divoká změť výkřiků. Dejmkovi mimoděk vyvstaly v paměti schůze, na nichž bylo třeba zápasit s podobnými zrůdami, jež děsily dělníky co nejrychlejší smrtí hladem, jestli se dají strhnout komunisty a vstoupí do stávky, aby bojovali proti trvalé vyhladovovací politice zaměstnavatelů.

Smekl čepici, nabral dechu k odpovědi a přitom si všiml, že se kolem něho sevřel několikanásobný kruh soudruhů. Srdce mu zatepalo rychleji, vláha vděčnosti mu vstoupila do očí. Co znamenali všichni ti křiklouni, zbabělci, kořistníčkové a rozvraceči proti těmto lidem, kteří si sem přišli vydělávat na živobytí vlastníma rukama a byli odhodláni za žádnou cenu se nepoddat a neustoupit s místa, jež zaujali. Spolkl slinu dojetí a začal mluvit. Nebyl řečník, nedovedl křičet a vymáhat si potlesk osvědčenými triky táborových mluvků. Říkal prostě jen to, co se stalo, co o tom věděl, ukazoval východisko a podtrhoval všechno svou pevnou vírou poctivého, v práci zestárlého dělníka.

Vodárna je prázdná, z vodovodů ani nekápne, to je nepopiratelná skutečnost a nikdo ji také nechce zapírat ani hledat plané výmluvy a omluvy. Nedovedli jsme si prostě představit, co dovede natropit takové sucho jako letošní. Není mezi námi pamětníka ně-

inslav

čeho podobného, a jak jste tu tak všichni pohromadě, sotva by se kdo z vás, i z těch nejstarších, na něco takového rozpomněl. Nikoho z nás nenapadlo, že by kalamita takových rozměrů mohla postihnout právě Potočnou. Svahy nad naším městem přece oplývaly vodou, navzdory suchu jsme na nich sklízeli seno tak dobré jako předtím, a louky se zdály plné vláhy.

Zkrátka, a to je má vina, čerpali jsme vodu bez úsporných opatření, až jsme se dostali na dno. Jako předseda místního národního výboru jsem měl myslit o něco dál než vy ostatní, proto jste mě zvolili. Ale podlehl jsem domněnce, že se nemůže nic stát, jako každý druhý. Přišel jsem domů, otočil jsem kohoutkem a voda tekla, ani v továrně se neprojevoval nedostatek vody, a tak se to nakonec semlelo.

Někdo tu vykřikoval, že správce vodárny, občan německé národnosti Beutel, se záměrně dopustil sabotáže. Nejde o sabotáž, vyšetřovali jsme tu věc důkladně, nejde o sabotáž, ale o lidský smutný případ. Občan Beutel oslepl a bál se nám povědět o svém neštěstí, aby nepřišel o zaměstnání. Jenom lidé bez srdce, jenom surovci by mohli vytloukat z jeho neštěstí politický kapitál. Najdou-li se takoví, dobře se na ně podívejte.

A nyní, kudy vede cesta z toho, co nás postihlo? Je vůbec taková cesta? Občané, bratři a soudruzi, přátelé, je taková cesta a náš vodovod se opět naplní vodou.

„Čekat, až naprší", vykřikl někdo v pozadí zástupu pronikavě, ale ku podivu nikdo se nezasmál.

Dejmek se nadechl, otřel si obrácenou dlaní zpocené čelo, neboť na místo, kde stál, dopadalo ještě palčivé slunce, a pokračoval v řeči.

Někdo může počkat, až mu naprší pod čepici více rozumu, ale my si můžeme pomoci k vodě okamžitě.

„Má na radnici schovaného Mojžíše," vykřikl opět týž hlas, ale Dejmek přesto, že tentokrát vlna smíchu přeběhla shromážděním, mluvil dál.

Také jsem udělal podobný vtip, když jsem se po prvé dověděl, co nás postihlo, a teď teprve vidím, že nic zoufalejšího jsem nemohl říci. Jestliže je tu někdo, kdo přes všechno, co jsem o naší situaci pověděl, je ochoten vinit z ní občana německé národnosti a tak rozsívat šovinismus, mohu vám naopak povědět, že cestu, jak bychom se dostali z tísně, nám ukázala občanka německé ná-

inslav

rodnosti. Nepřeje si, aby byla jmenována, a já vám nebudu v této chvíli vykládat podrobnosti. Ale stačí, abychom na určitém místě, a to místo všichni známe, přehradili řeku Potočnou, a voda se opět vrátí do potrubí.

Dejmek chtěl ještě pokračovat v řeči, aby vysvětlil, jak si mohou Potočenští sami pomoci z tísně, ale tu k nim dolehl z nevelké dálky silný zpěv mladých hlasů, doprovázených harmonikou. V zástupu nastalo pohnutí, všichni se otáčeli v tu stranu, odkud zpěv přicházel, a tu již ti, kteří byli na okraji, zahlédli vlajky. Lehký vítr vanoucí v podvečer z horského sedla jimi třepotal nad čelem pochodující skupiny děvčat a chlapců. Všichni měli na rameni buďto lopatu, nebo motyku. Dejmek je zahlédl se svého vyvýšeného stanoviště první, a když mezi nimi rozpoznal svou dceru, nesoucí nářadí jako všichni ostatní, polekal se. Co to tu naši holku napadá, pomyslil si. Snad nechce ve svém stavu taky kopat nebo házet lopatou? Taková byla vždycky, uvědomil si s trpkostí a strachem, ale také s pýchou. Jestli si to už jednou vzala do hlavy, bude dělat a nikdo jí to nerozmluví.

Jak se pochodující řady potočenské mládeže blížily, zpevněla ve sluchu zástupu obklopujícího vchod do bývalé radnice nejen melodie, ale zároveň i slova písně, která nesla ta mladá srdce do práce jako do rozhodující bitvy, se stávala zřetelná:

Halí, haló, od lodě k lodi,
od fabriky k fabrice jdem,
a s dělníky ruku v ruce
prapory revoluce
po celé zemi rozvinem.

„Slyšíš, čemu je učí?“ zasyčela Trncová do ucha svému muži. „A pak budou někomu namlouvat, že ten jejich Svaz mládeže je celostátní organisace a že nepěstuje politiku. Já bych tam tak poslala své dítě, aby mi je naváděli, jak má rozvíjet prapory revoluce po celé zemi.“

Trnec trhl odmítavě ramenem, aby ji utišil, a pomyslil si hořce: Zrovna tohle by ti nemusilo dělat starosti. Jaktěživa jsi dítě neměla a mít nebudeš.

Písnička ztichla, oddíl, v němž mohlo být dobře na padesát mladých lidí, se zastavil před zástupem a zřejmě se k něčemu chystal. Kde jen ta naše holka, myslil si Dejmek, sehnala tak

inslav

rychle tolik lidí. Vytáhlý Korynta vykročil před vyrovnané řady mládeže, zakroutil dlouhým krkem odprava doleva, aby se ujistil, že všichni na něho dávají pozor, zdvihl paže nad hlavu, a když je opět spustil, vybuchlo to sborem v jasně skandovaných rytmech:

Chcete mít zas pitnou vodu
v potočenském vodovodu?
Popadněte lopaty,
šlápnem žízni na paty!

Jednou a zas a zas. Třikrát, čtyřikrát po sobě. A pak: „Pochodem chod!"

Harmonika znovu zhluboka zabrala a za ní vzlétla píseň. Zástup se díval za vzdalujícím se oddílem. Lojzík Mareš vyskočil na vstupní schody a postavil se vedle Dejmka.

„Občané!" zvolal. „Naše mládež, vaše vlastní děti vám dávají příklad. Chcete za nimi zůstat pozadu? Slyšeli jste je. Kdo chce mít zas pitnou vodu, ať popadne lopaty. Šlápnem žízni na paty."

„Až jednou někdo šlápne na paty vám, tak bude po trápení a po starostech," řekl Trnec, ale jen tak, aby to slyšela jeho žena, a někdo na jiném místě vykřikl:

„Vy tomu natrhnete žaket i s vaší mládeží. Za chvíli bude tma a můžete si místo práce hrát na bubáky."

Ale Lojzík Mareš se nedal.

„Neposlouchejte rejpaly, občané! Kdyby na světě byli jenom rejpalové, lezli bychom ještě dnes po stromech jako opice. Čím víc se nás pustí do práce, tím rychleji s ní budeme hotovi. Každý z vás má doma nějakou tu lopatu nebo motyku. Kdo jde s námi, za čtvrt hodiny na shledanou tady před emenvé."

Ještě se ozvaly různé posměšné výkřiky a pochybovačné hlasy. ale lidé se začínali rozcházet ke svým domovům. Zprvu se loudali, aby nevypadali, jako by jen tak lehko naletěli na každou hloupost, ale postupně přidávali do kroku a pospíchali.

Dělníci z textilky a z továrny na kuličková ložiska se dostavili první i se svými ženami. A protože tvořili podstatnou část obyvatelstva Potočné, byla jich vydatná skupina a pohled na ni vyvábil z domů i váhavce, kteří se rozhodli vyčkávat, aby se nevydali posměchu. I živnostníci, řemeslníci a kupci, pokud byli závislí na

inslav

domácím obyvatelstvu, se začínali trousit. Vypadali zprvu, jako by si přáli, aby budili co nejmenší pozornost, ale když je uvítaly srdečné pozdravy, pokřiky a přátelské šprýmy, vypjali hrudníky a stavěli se, jako by jen a jen na nich záviselo, zda se v potočenském vodovodu objeví opět voda či ne.

„Není to báječné, táto?" radoval se Lojzík Mareš a tiskl Dejmkovi paži. „Podívej se, co jich přišlo. Až na nějaké ty vyslovené paďoury je tady celá Potočná. Vyhráli jsme a ještě mockrát vyhrajeme."

Ale na Dejmka po vypětí, s jakým čelil nárazu veřejné kritiky a s jakým se pokusil přesvědčit obyvatelstvo, že si může pomoci ze své nouze samo, padly nové pochybnosti.

„Teď jen aby to Palmeovo děvče mělo pravdu. Jinak mě tam můžete rovnou zakopat někam pod hráz a vy ostatní se raději vystěhujte."

„Hlavu vzhůru, soudruhu předsedo," řekl vážně Václav Brendl a pozdvihl ukazovák. „Jsem přesdvědčen, že Mariechen má pravdu a že už zítra bude mít Potočná opět svou vodu."

„Občané, seřaďme se a zazpívejme si, ať ukážeme těm mláďatům, že za nimi nezůstaneme ani o krok."

To Dejmek pochopil, že nesmí slevit na své víře ve zdar podniku. Bledý Arnoštek, hostinský od „Zeleného stromu", se k němu přiblížil a podával mu motyku.

„Tady je krumpáč pro vás, pane předsedo. Abyste nám mohl jít příkladem vstříc."

„Podívej se! To duspivo je tady taky," ozvaly se výkřiky a smích.

„Bodejť by nebyl. Bez vody by musel zavřít živnost."

Ale Dejmek už si hodil motyku na rameno a obrátil se na Lojzíka Mareše:

„Tak jakou začneme?"

A Lojzík Mareš spustil tu, o níž věděl, že je všem přijatelná a že ji všichni znají.

Kolíne, Kolíne...

A obyvatelé Potočné vykročili za předsedou svého místního národního výboru, aby scedli zápas, který jim měl ukázat, jak jsou spolu spjati a jak ve chvílích nebezpečí a nouze se mohou spolehnout jeden na druhého...

1954

inslav

VILÉM ZÁVADA

ВИЛЕМ ЗАВАДА

(род. 1905)

Вилем Завада, крупный современный поэт Чехословакии, родился и вырос в шахтерском крае близ Остравы. С этим краем связан весь жизненный опыт Завады, с детства наблюдавшего картины бесправной жизни и изнурительного труда углекопов. Тяжелая доля труженика и в то же время его духовная красота составляют основное содержание довоенного творчества поэта (сборники стихотворений «Панихида» — „Panichida", 1927, «Сирена» — „Siréna", 1932, «Путь пешком» — „Cesta pěšky", 1937). Хотя в отдельных стихах Завады 20—30-х годов звучат еще мотивы одиночества, рефлексии, творчество этих лет в целом проникнуто верой в силы народа; эта вера поддерживала поэта и в период гитлеровской оккупации (сб. «Замковая башня» — „Hradní věž", 1940, «Воскресение из мертвых» — „Povstání z mrtvých", 1945).

Подлинный расцвет поэтического дарования Завады наступил после освобождения Чехословакии. Его лирика (сборники «Город света»—„Město světla", 1950, «Полевые цветы» — „Polní kvítí", 1955) отличается глубиной мысли, своеобразием построения образов, доступностью для широко-

inslav

го читателя. Основная тема стихотворений — строительство новой жизни, созидательное творчество народа, счастье братских отношений между людьми. Герой Завады — рядовой строитель социализма. С большим мастерством рисует поэт картины преображенной природы. Ему принадлежит много проникновенных произведений пейзажной лирики.

JARNÍ KRAJINA

Ve štole noci
kutají hvězdy
s hornickým kahancem.

Ráno vychází slunce z mlh
a v kouři svítí na Ostravu,
jako by vylévalo na haldách
do běla rozžhavenou lávu.
A klenba oblohy se dme
jak gigantický plynojem.

Nad krajinou se plazí dým
a když se zamračí a mží,
crčívá voda jako v jímadle,
kde se čistí svítiplyn.

Až sejde sazovitý sníh,
tu objeví se v kalužích
květy chemických barev,
kola dehtová a olejová,
vždyť nebe je studené
jak z ocele kalené.

Pod oblaky kouře,
v dunění hamrů,
za hukotu sirény
krajina se zvolna promění
ve struskovité mimikry,

a tajně sní
o duhovém deštíku,
jenž voní fialkami.

Siréna, 1932

inslav

PO DEŠTI

Po dešti.

Pomněnky,
drobounké pradleny bledé,
v ozonu perou vzduch.

Duha
na bělidle nebes.

Země
z hloubi lesů vydechne
a blankytně si promne oblohu.

Jen tobě
hrdlo lítostí se svírá.

Proč nesvlaží letní déšť
lodyhu tvou podťatou?

Cesta pěšky, 1937

OSTRAVA

Sirá země kamenitá
— popelavá skořápka —
v kaňonu hald skryta.
Černý deštík nad ní lká.

Pod vrstvičkou černé hlíny
je jak v mraveništi slují.
Z uhlí jedovaté plyny
třaskavě tam vybuchují.

Pod nebesy z plynné škváry
krabatina ztvrdlé lávy
prostírá se do dálavy
za soptění sirné páry.

Hle, má drahá rodná země —
spáleniště opuštěné.
Jenom jeden havíř — hlad —
neustává dolovat.

Cesta pěšky, 1937

inslav

LETNÍ

V řekách princezny rybí stříbrné
si navlékají šperky své.
Borové lesy zadržují světel lavinu
a beze stop se zřítí peřej v hlubinu.
Jediná jiskra rosy zrána na trávě —
a léto vybuchne a srší modravě.

Vyhnaných z ráje se léto ujímá.
vřes, mateřídouška a sladká lipina.
Kam padne slunce, nebesa se otvírají,
tak jako v ráji, tak jako v ráji.

Ale proč slzí květ, když slunce zapadává
a v noci úzkostně tak šelestívá tráva?

Hradní věž, 1940

HAVÍŘI

Jak myslivci v kamenném háji
havíři při rubání naslouchají

šelestům visícího kamene,
praskání v stojce dřevěné,
šplounání za přehradou stěny,
tichu po větrech zadušených

a s rukou na tepu zuhelnatělých cév
a celou šachtu
majíce ve sluchu i hmatu,

sbíječkami
a porubními pluhy
dobývají a odstřelují uhlí

a nahoře ty černé kameny
v koksárně explodují v plameny
s všemi barvami duhy.

inslav

To noční ohně jsou,
aby necloumal zemí mráz
a nezavalil nám ji tmou.

My však začínáme též těžit
z vlastních svých šachet slunečných,
z hlubinných dolů,
skrývkových lomů
svých srdcí,
rukou,
hlav.

A to teprve začne
naše zem vonět,
svítit a hřát,

až všechna srdce ložiska svá odkryjí
anebo vylejí se lávou.

To pak
zapálí nejtemnější noc
jak nad Kladnem a nad Ostravou.

Město světla, 1950

ČERNÝ KRAJ

Bílé páry — černý dým —
nad Ostravskem hořícím.
Hory kouře — hory mračen.
Vzduch pod nimi syčí stlačen.

Šachty těží, hutě kují,
jak motory vybuchují.
Od Ostravy k Těšínu
zdvíhají zem k lepšímu...

Město světla, 1950

inslav

BEZE JMÉNA

Mé jméno není na plakátech,
ani nehraji na podiu.
Chodívám v obyčejných šatech,
jak obyčejní lidé žiju,

co vystavěli v dávném věku
hrady a opevněné valy,
hrobky pro pozůstatky reků,
vodovody a katedrály,

v čas válek táhli se svou zbrojí
a v bitvách stáli jako skála.
Své nepřátele bili v boji,
až celá zem se drkotala.

Se šrámy vraceli se domů
a jak za směnou chodí směna
lámali znovu kámen v lomu
na města válkou vyvrácená.

Jim nikdo nepostavil sochu,
památník z bronzu odlévaný.
Ač slávy nedbali ni trochu,
pomník si sklenuli svou dlaní.

Ten pomník — zalesněné hory,
krví zbrocené barikády,
v zeleném poli bílé dvory
a země vzdělaná jak sady.

Mé jméno není na plakátech,
ani nehraji na podiu.
Chodívám v obyčejných šatech,
jak obyčejní lidé žiju,

však hrdě vyzírá z mých rysů,
z mých očí hledí nezmenšena
ta moc neznámých statisíců,
ta sláva lidí beze jména.

Polní kvítí, 1955

inslav

VODNÍ PŘEHRADA

Sladká voda českých řek
padá do hlubiny siné,
padá, padá do moře,
do hořkého moře plyne,

do cizího moře vtéká,
do žíravé vody slané,
s beznadějí vod se vzteká,
ze slz země posbírané.

Na těch nejpěknějších místech
rodné země veselé
lože hluboké a čisté
pro své řeky ustelem,

ať nám svítí černá voda,
ať nás hřeje chladná voda,
ať nám zpívá němá voda,
ať dá život mrtvá voda.

Polní kvítí, 1955

NOVÉ SÍDLIŠTĚ

Ty nemáš rád ulice rozkopané,
raději chodil bys hned po asfaltu.
Pro mě není pěknější podívané
nad sídliště, kde cítit ještě maltu.

Topí se v blátě cesta rozježděná
však na dně srdce bude mít ji vrytu
za stěhovacím vozem jdoucí žena,
tu zlatou cestu do nového bytu.

Polní kvítí, 1955

inslav

POMNĚNKY

Tak jsi mě popálila očima,
že jsem jak země v rozvalinách.
Vidíš, kterak to ze mne zadýmá
a jak se oheň k tobě vzpíná?

Já jsem zas tebou celá zmámena.
Přišel jsi jako velká řeka.
Voda mi podemlela kolena
a unáší mě kamsi do daleka.

Řeka se valí dále do dáli
a voda točí se a točí,
ale u břehu po ní zůstaly
pomněnky modré dětských očí.

Polní kvítí, 1955

VOJÁK V POLI

Jen kopce vzpínají se kolem
jako ty koně bez pána,
co v trysku pádívali polem,
když bitva dobojována.

Pod nimi hroby bez věnců,
hromádky hlíny bez zábradlí.
Nespí tu kostry skrčenců,
v nich leží hrdinové padlí.

Tvrdě se do posledka bili
a rovně padli v rodnou zem.
V drobné svůj život neměnili,
platili celým životem.

A země volně vydechla,
obloha vysoko se klene.
Jako by dolů padla mha,
sluncem zas všechno pozlacené.

Polní kvítí, 1955

inslav

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 12

[1] **man** *(нем.)* — вассал, в данном случае — подданный, подчиненный.

К стр. 14

[1] **Filis** — Филида, распространенное в пасторальной поэзии имя пастушки (от греч. philéo — любить).

К стр. 18

[1] Речь идет о собранных по всей Европе войсках католической, феодальной реакции, выступивших против гуситов.

К стр. 20

[1] **Ганнибал** (ок. 247—183 г. до н. э.)—выдающийся карфагенский полководец, разгромивший римлян под Каннами (216 г. до н. э.), где он осуществил блестящий тактический маневр на окружение и уничтожение крупных сил противника меньшими силами (так что сравнение Жижки, замечательного стратега, именно с Ганнибалом, не случайно). Позже он сам потерпел поражение от римлян. Жижка однако не знал поражений — он умер во время одного из походов от чумы (1324 г.).

К стр. 28

[1] Имеются в виду земли полабских славян, онемеченных в процессе колонизации. По одной из гипотез колларовских времен, эти земли считались прародиной славян.

[2] Имеется в виду русский народ.

К стр. 29

[1] Имеются в виду славянские племена, жившие в разных частях центральной и восточной Европы и позже частично ассимилированные в процессе немецкой колонизации. **Obodritská říše** — Западнославянские племена ободритов в XI—XII вв. образовали сильное и независимое государство; под натиском немецких феодалов оно распалось, процесс ассимиляции ободритов закончился примерно к XIV — XV вв., от ободритского языка остались лишь отдельные слова.

К стр. 30

[1] **Arkona** — средневековый город балтийских славян, на северном мысе о-ва Рюген (*слав.* Руя), где помещался храм венедского бога Сванто-

inslav

вита; знаменит своим богатством. Название происходит от корня urkan «на конце».

[2] **Retra** (*слав.* Радгощь, Радигощь) — религиозный центр и укрепление балтийских славян в X—XI вв., находилась в нынешнем округе Нейбранденбург ГДР, в 2,5 км к сев.-вост. от Фельдберга на мысе, выдвигающемся в Брейтер-Люцинское озеро (обнаружено раскопками 1922 года). Ретра была разрушена в 1068—69 гг. войсками Бурхгардта Гальберштадтского (при императоре Генрихе IV), новым центром стала Аркона (см. прим. выше).

[3] **dva světy Indů** — имеются в виду Индия и племена северо-американских индейцев. Обозначение Америки как Индии объясняется тем, что довольно длительное время после ее открытия предполагалось, что это не новый континент, а неисследованная часть Индии.

[4] **Miliduch** — упоминаемый в хрониках военачальник и народный герой лужицких сербов, павший в борьбе с франками в 806 г.

К стр. 33

[1] **a zlatý paběrek zašlých Srbů jest má přítelkyně** — возлюбленная Коллара, послужившая прототипом героини поэмы Мины, происходила из онемеченного рода лужицких сербов.

К стр. 37

[1] **Kodrus** — Кодр, легендарный царь Аттики (11 в. до н. э.). По преданию, во время войны Аттики с дорянами, оракулом было предсказано, что победит та сторона, чей король погибнет. Кодр пожертвовал собой. Переодевшись дровосеком, он проник в лагерь врага и, завязав ссору, был убит. После этого афиняне решили упразднить царскую власть и назначили сына Кодра первым архонтом.

[2] Речь идет о неудачном ночном нападении галлов на Рим в 390 г. до н.э. Римская стража не заметила галлов, но потревоженные гуси, подняв крик, выдали присутствие врага. Первым из римских воинов проснулся Манлий. Он разбудил остальных и первым бросился на врага. **Brenn** — Бренн, вождь одного из галльских племен, осаждавших Рим.

[3] **Tell** — Вильгельм Телль — легендарный швейцарский герой XIV в., боровшийся против королевского гнета и произвола.

[4] **Ohio** [Ohajo] — Огайо, река и штат в США.

[5] **Xante, kdes větší ve světě měl sokyni?** — Очевидно, Коллар имет в виду эпизод из «Илиады», рассказывающий о сопротивлении троянской реки Ксанф: она покорилась только после того, как Гефест поджег ее воды. «Соперница» Ксанфа — Москва — не сдавалась и пылая. Предположить сравнение с древней столицей Ликии Ксантом невозможно, т. к. раскопки города относятся к более позднему времени, чем написание стихотворения.

К стр. 38

[1] По легенде, великий полководец гуситской армии Ян Жижка перед смертью завещал сделать из его кожи боевой барабан, который призывал бы чехов к борьбе с врагами.

inslav

[2] ...v storukého Briaréa... — По античной мифологии, одним из первых порождений Земли и Неба явились гекатонгейры, сторукие чудовища. Боясь их силы, Уран заключил их вглубь земли, но несколько раз они выходили оттуда, сокрушая все на своем пути. Бриарей — имя одного из гекатонгейров, означает «силач».

[3] „Nápisy" созданы в разное время, большая часть в 1821 г.

К стр. 42

[1] Лихвин — город на Оке, ныне (с 1944 г.) носит название Чекалина.

К стр. 44

[1] **Čurila Plenkovič** — поэт использует здесь имя известного героя русских былин для создания нового образа богатыря.

К стр. 115

[1] **černožluté znaky** — цвета государственного флага Австрии в то время.

К стр. 116

[1] **Raků** — каламбур: rak «рак» ассоциируется с чешским названием Австрии — Rakousko.

К стр. 117

[1] Чаша была эмблемой гуситов, требовавших отмены церковных привилегий и одинакового с духовенством причащения хлебом и вином для всех. Со времени гуситских войн она символизировала всеобщее равенство, что имело уже не только религиозный, но и политический смысл.

К стр. 121

[1] „Lid a lůza" — стихотворение написано к 40-й годовщине Святовацлавского митинга (11 марта 1848 г.), который носил характер выступления чехов против абсолютизма и положил начало событиям 1848 г. Стихотворение обличает либеральную буржуазию и ее лидеров — Палацкого и Ригера, сыгравших контрреволюционную роль в событиях 1848 года.

[2] **...za dnů březnových** — в мартовские дни 1848 г.

К стр. 122

[1] Имеется в виду сговор чешской либеральной буржуазии с Габсбургами, облегчивший восстановление абсолютизма в Австрии. 7 марта 1849 г. императором был разогнан рейхстаг, находившийся в то время в Кромержиже.

К стр. 125

[1] **treu und bieder** (*нем.*) — верный и честный (в значении «благонамеренный»).

inslav

К стр. 126

[1] Бах, Александр (1813—1893) — министр внутренних дел в правительствах Шварценберга и Буоль-Шауэнштейна. Время его «правления» (до 1859 г.) вошло в историю под названием баховской реакции. Он был главным вдохновителем и проводником политики бюрократического абсолютизма и полицейских репрессий.

К стр. 127

[1] **oktrojírka**—«октроирка», так в насмешку прозвал чешский народ «октроированную» («дарованную», введенную императором в марте 1849 г. без согласия сейма) конституцию. Провозглашение этой конституции означало восстановление в Австрии абсолютизма.

К стр. 128

[1] Дедера — полицейский комиссар, арестовавший Гавличка.

К стр. 130

[1] **Špilberk, Kufstein** — австрийские крепости — тюрьмы для политических заключенных.
[2] **Kdybyste radš ve Vídni přepřáhli a namazali!** — намек на необходимость изгнания венского правительства.

К стр. 131

[1] **mělnického** — т. е. мельницкого вина (Mělník — городок в Чехии, известный виноделием).
[2] Намек на революционное брожение в чешских и итальянских провинциях Австрии.

К стр. 140

[1] **Demonstratio miraculorum** (*лат.*) — показ чудес

К стр. 141

[1] **Erdengötter** (*нем.*) — земные боги

К стр. 142

[1] **Poeta laureatus** (*лат.*) — увенчанный поэт

К стр. 155

[1] „Věštkyně“ — форма этого стихотворения, поданного как прорицание, основана на многочисленных преданиях о легендарной чешской княгине и прорицательнице Либуше. В этих преданиях, известных по хроникам, рассказывается о мудрости Либуше, о ее пророчествах, а также о призвании на чешский княжеский престол Пршемысла — «рыцаря от плуга».

inslav

К стр. 156

[1] Эрбен использует здесь легенду о призвании Пршемысла на чешский княжеский престол. Содержание легенды заключается в том, что послы, отправившиеся по повелению Либуше к Пршемыслу, застали его пашущим поле. Не допахав поля, Пршемысл отпряг волов, и они скрылись в горе, которая их поглотила. Ореховое кнутовище, воткнутое Пршемыслом в землю, пустило три зеленых побега, но два из них завяли; **trojí bujný prut** — скорее всего, поэт имеет в виду Чехию, Моравию и Словакию.

К стр. 157

[1] **půl hrdiny... státi spatříte** — статуя вооруженного воина на выступе старинного Карлова моста в Праге, наполовину разрушенная во время средневековых войн. Этим образом Эрбен хочет сказать, что придет время, когда чехи поднимутся на вооруженную борьбу за свою свободу.

К стр. 159

[1] С русским ученым-славистом И. И. Срезневским Эрбен встречался во время путешествия Срезневского по Чехии (40-е годы XIX в.).

К стр. 176

[1] Введенные Немцовой в речь действующих лиц рассказа немецкие слова и выражения, подчеркивающие антипатриотизм буржуазно-мещанской среды, часто употреблены неправильно, с нарушением грамматических норм, произношения, а иногда и с чешскими окончаниями — так, как пользовались ими толком не знавшие ни чешского, ни немецкого языка обыватели. В примечания внесены затрудняющие чтение немецкие слова и выражения.

ich will nich di Schond haben — я не желаю срамиться

К стр. 177

[1] **wie heisst er denn, je to prý Gutbesitzra syn z lantu** — как там его, ну, это сын помещика, приехавший из деревни

mud — wie zerschlagen — устала, точно разбитая

ich hobs gezahlt — я все пересчитала

das weist — это известно

Auch die! — И эта!

cugmein — вульгарная

das war schon — это было бы красиво

hast keine Kipfel? — а кренделя нет?

Kopfputz — головной убор

herein — войдите

Erlauben — Позвольте

Wunderschon — Прекрасно

К стр. 178

[1] **zu einfach** — слишком просто

šlak trefí — хватит удар

Nein, das ist unerhort! — Нет, это неслыханно!

unzertrennlich — неразлучны

inslav

tanzunterhaltung — танцевальный вечер
Ach, nicht moglich — pfui Teufl! — Ах, не может быть — фу, чёрт!
Wundert mich — Меня удивляет
ein intimes Verháltnis — интимная связь
bildunk — образование

К стр. 179

[1] **Gott bewohr** — Боже сохрани
ungebildet Folk — невоспитанный народ
ich kann nicht begreifen — я не могу понять
unsereiner — наш брат, мы (ср. чеш. **našinec**)
gebildet — образована
Weltkenntnis — знание света
Aufführung — поведение
lieber — лучше, охотнее
neulich — вновь, снова
Jsem neugierig — Мне любопытно
jak se unterhaltovali — как вы провели время, беседовали
auffuhrovala — представила

К стр. 180

[1] **nóbl** — благородный
zum voraus — заранее
solid betragen — солидное поведение
frei tón — вольный тон
im hochsten Grad unschicklich — в высшей степеии неприлично
v ... Verlegenheitu — в ... смущении
v Sitzzimru — в диванной
Ah, das ist infam — Ах, ведь это позор
Ich sag's Ihnen — Говорю вам
štandepéde — тотчас же
entschuldigovala — извинилась
irunk — ошибка
do ksichtu — в лицо
entberuje — обойдется без..., может обойтись без ...
überspannt — экзальтированна
schon ihre Sproche — уже один язык ее
cu — слишком

К стр. 181

[1] **ajncik** — *зд.* исключительно

К стр. 182

[1] **Ausschus** — комитет

К стр. 184

[1] **ze Springenfeldu**—фамилия Skočdopolová в переводе на немецкий язык.

inslav

К стр. 197

[1] Так называет Неруда эпоху жесточайшей реакции, наступившей в Чехии после подавления революции 1848 г.

К стр. 205

[1] В стихотворении воспеваются революционные события 1848 г. в Чехии.

К стр. 207

[1] **Jen jednou krajem tím šel národ lev** — поэт имеет в виду гуситов.

К стр. 211

[1] В этой эпиграмме поэт едко высмеивает порядки современной ему Чехии, где патриотам уготована виселица. Неруда мастерски использует для этого слова известной песни Тыла, ставшей национальным гимном: „Kde domov můj?"

[2] В эпиграмме высмеиваются противники музыки крупнейшего чешского композитора Б. Сметаны, в частности его первой оперы «Брандербуржцы в Чехии».

К стр. 229

[1] В этой полемической статье Неруда выступает с защитой и пропагандой реалистического направления в чешской литературе. Статья направлена против чешского реакционного литератора Я. Малого, объявившего реализм «порочным направлением» в чешской литературе.

[2] Кнебель, Карл Людвиг (1744—1834) — немецкий поэт и переводчик с древних языков, друг Гёте.

К стр. 280

[1] «Сельские баллады» Врхлицкого во многом перекликаются с чешским народным творчеством времен крестьянских восстаний XVII—XVIII вв. Во время большого крестьянского восстания, охватившего в 1775 г. всю восточную и северо-восточную Чехию, было известно несколько вариантов своеобразных народных рифмованных воззваний под названием „Selský Otčenáš", в которых говорилось о тяжести барщины, непомерных поборах и произволе, царивших тогда в чешской деревне.

К стр. 289

[1] «Господине помилуй ны» и «Песнь св. Вацлава» — древнейшие чешские литературные памятники, духовные песни, относящиеся ко времени славянского богослужения в Чехии, которое предшествовало периоду засилия католицизма и господства латыни.

К стр. 294

[1] Побывавший в России в 1879 г. пражский торговец картинами Леман привез в Чехию репродукции картин Верещагина. Они произвели большое

inslav

впечатление на чешскую общественность. Стихотворение Врхлицкого, наряду со статьей Неруды (1881), явилось откликом на это событие.

К стр. 303

[1] В 1683 г. турки, наступая, дошли до Вены, но тут потерпели поражение, которое приостановило турецкую экспансию и ознаменовало собою начало крушения Оттоманской империи. Леопольд — австрийский император (1640—1705).

К стр. 337

[1] Стихи Антонина Марека (1785—1877), чешского поэта и переводчика периода «возрождения».

К стр. 340

[1] Имеется в виду разгром гуситами пяти крестовых походов католической реакции, инициатором которых была римская церковь, и последовавшее затем в 1433 г. приглашение вождей Табора для мирных переговоров на Базельский собор.

К стр. 345

[1] **Artušovy mani** — рыцари короля Артура, герои рыцарских романов.

К стр. 357

[1] (Mene) **Tekel ufarsin** (*арамейск.*) — «взвешено, определено» — слова, которые, по библейскому сказанию, были начертаны таинственной рукой перед вавилонским царем Валтасаром, предвещая ему возмездие за жестокость.

К стр. 360

[1] Имеется в виду русская революция 1905 г.

К стр. 363

[1] Этими строками начинается один из «Крымских сонетов» Мицкевича — «Аккерманские степи».

К стр. 366

[1] **Václav** — Вацлав IV, чешский король (1378—1419).

[2] **podjednou** — т. е. католик, сторонник причащения «под одним видом»; гуситы же, в противоположность этому, называли себя «подобоями».

К стр. 367

[1] **Zikmund** — Сигизмунд I (1361—1437), император с 1411 по 1437 г. т. наз. Священной Римской империи, один из главных организаторов крестовых походов европейских феодалов против Чехии.

[2] **Chval** — Хвал из Маховиц — один из четырех гетманов таборитов, сподвижник Жижки.

inslav

К стр. 370

[1] **Čapek** — Ян Чапек, таборитский проповедник, автор ряда трактатов и песен.

К стр. 383

[1] Имеются в виду события 1848 года в Вене.

К стр. 397

[1] **Haná** — Гана, плодородная долина в Моравии.
[2] **Beskyd** — Бескиды, горы в чешской части Силезии.

К стр. 398

[1] **Modrá strana** — так Безруч называет часть силезских земель, принадлежавших в конце XIX — начале XX в. Пруссии.
[2] **Hučín, Benešov** — шахтерские поселки в чешской части Силезии, недалеко от Остравы.
[3] **Těšín** — город в чешской Силезии.

К стр. 400

[1] **pod Lipinou** — Липина, село в Бескидах.

К стр. 401

[1] **lankasterka** — ружье английской марки.
[2] **Gero** — Геро, маркграф, в затем герцог Германской империи, живший в X веке, последовательный германизатор в славянских землях. Известен как злейший и коварный враг полабских славян.

К стр. 403

[1] **Frydek** — Фридек, городок в чешской части Силезии.

К стр. 404

[1] **Žor** — то же, что Žár; в тешинских говорах в соответствии с литературным *á* произносится *o*.
[2] **aby prokletých pariů řečí** — речь идет о народных тешинских говорах сев.-вост. Моравии.

К стр. 405

[1] Это стихотворение посвящается стачке шахтеров в Остраве в 1894 г., которая закончилась кровавым столкновением с правительственными войсками.

К стр. 407

[1] Здесь и далее называются города и села чешской Силезии.

inslav

К стр. 408

[1] Речь идет о крупнейших металлургических заводах в Остраве.

К стр. 409

[1] Фригийский колпак — головной убор у древних фригийцев, народа Малой Азии. После Великой французской буржуазной революции 1789—94 гг. изображение фригийского колпака входило в герб первой французской республики, т. к. ношение фригийского колпака было отличительным знаком якобинцев. В дальнейшем красный якобинский колпак стал символом революционности.

К стр. 443

[1] **modus vivendi** (*лат.*) — установленные взанмоотношения

К стр. 445

[1] **krvavá internacionála** — иначе, силы международного капитализма.

К стр. 446

[1] **marné však není žádné volání** — здесь поэт как бы полемизирует с Махой (ср.: „Dalekát'cesta má — marné volání!" *Máj*).

[2] **Laoce, Konfuce** — Лао-цзы (6 в. до н. э.) и Конфуций (551—479 до н. э.) — древнекитайские философы.

К стр. 448

[1] В 1931 году в Скотсборро (США) проходил инспирированный американскими расистами процесс над девятью негритянскими юношами, ложно обвиненными в насилии. Вынесенный судом приговор (смертная казнь восьми и пожизненное тюремное заключение одному) вызвал бурный протест всей прогрессивной общественности мира, что привело к пересмотру приговоров. Стихотворение „USA" является откликом Неймана на процесс в Скотсборро.

[2] **na stygickém voru** — Стикс — одна из рек античного подземного царства; изображалась как страшное, засасывающее, зловонное болото.

[3] Верховина — район Карпат, расположенный над реками Изой и Латорицей.

К стр. 449

[1] **Krušné hory** — Рудные горы, расположенные на северо-западе Чехословакии; богаты серебром и другими полезными ископаемыми.

К стр. 451

[1] В октябре 1934 г., в связи с попыткой фашистов захватить власть в свои руки, в Испании вспыхнула всеобщая стачка. В горной Астурии забастовка переросла в вооруженное восстание. В течение 15 дней героически сражались шахтеры и рабочие Астурии против фашистов. Этим событиям посвящается стихотворение.

inslav

К стр. 452

[1] **a nepřátel se neleká** — эти слова заставляют вспомнить строки широко распространенной гуситской песни, автором которой считается Жижка:

„Nepřátel se nelekejte,
na množství nehleďte...“

К стр. 459

[1] **Dalibor** — чешский рыцарь Далибор из Козоед. В 1496 г. за поддержку восставших крестьян был заключен в одной из башен пражского кремля — Града. Башня с тех пор называется Далиборкой. По преданию, Далибор в заточении играл на скрипке, и народ сходился к башне слушать его чудесную игру.

К стр. 463

[1] „Moře“ — в основу стихотворения легли впечатления поэта о поездке на Адриатическое море, куда он ездил лечиться (1922 г.).

К стр. 471

[1] Арне Новак (1880—1939) — чешский буржуазный литературовед, один из представителей официального литературоведения в буржуазной Чехословацкой республике.

К стр. 473

[1] Шейнпфлуг, Карел (1869—?) — чешский буржуазный литератор.

К стр. 489

[1] **ite, missa est** — идите с миром, служба окончена

К стр. 493

[1] **roráty** — рождественская обедня; название происходит от первых слов службы „rorate coeli“ — «источайте росу, небеса...»

К стр. 496

[1] **ad akta** — к делу

К стр. 497

[1] **K. u. K. Militärgericht** — Императорско-королевский военный суд

К стр. 499

[1] Имеется в виду первый чешский архиепископ, св. Войтех (957—997).

К стр. 501

[1] **učitel v. v.** — учитель в отставке

inslav

К стр. 505

[1] **To nějaký hloupý ‚et cum spiritu tuo' na to vaše ‚dominus vobiscum'...** какое-нибудь дурацкое «и со духом твоим» на ваше «благословение господне на вас»...

К стр. 509

[1] Ярослав Квапил (1868—1950) — поэт, драматург и видный культурный деятель. Известны сборники его стихов «Падающие звезды» (1889—1897), «Реликвии» (1890), «Дневник поэта» (1890), «Тихая любовь» (1891), цикл «Вуали» (1907) и др., отличающиеся лирическим звучанием и символической окраской. В драматургии выступал с фантастическими сказочными пьесами, из которых особой известностью пользуется либретто для оперы Дворжака «Русалка». Квапил сыграл большую роль в качестве режиссера Национального театра. В 1918—21 гг. Квапил занимал крупный пост в министерстве культуры чехословацкого буржуазного правительства. В годы гитлеровской оккупации, несмотря на возраст и болезнь глаз, он участвовал в движении Сопротивления, сидел в тюрьме. После освобождения Чехословакии был удостоен звания Народного художника.

К стр. 512

[1] Намек на „Křest sv. Vladimíra" Гавличка-Боровского (см. стр. 137 настоящего издания).

К стр. 514

[1] **císaře Karla a císaře Viléma** — Карл I (1887—1922), австрийский император; Вильгельм II (1888—1941) — прусский император; оба низложены в ноябре 1918 года.

К стр. 532

[1] Олекса Довбуш — историческое лицо. Он жил в XVIII веке. Впоследствии стал легендарным героем народных преданий и сказок о благородных разбойниках, которые «у богатых брали, бедным давали».

К стр. 545

[1] **Nidaros** — старое название Тронхейма.

К стр. 614

[1] Фучик цитирует стихотворение Неруды „Jen dál" (полностью см. стр. 209 настоящего издания).

К стр. 618

[1] **„Achtung! Celecvózíbnzechcikbelegtmittrajmanalesinordnung".** — «Смирно! В камере двести шестьдесят седьмой заключенных трое все в порядке».

inslav

К стр. 623

[1] „a“, „g“ — обозначение нот ля и соль; в Чехословакии принято буквенное обозначение нот вместо итальянского словесного; до — c, ре — d, ми — e, фа — f, соль — g, ля — a, си — h.

К стр. 646

[1] **povstání v roce dvacáťém třetím** — В сентябре 1923 г. в Болгарии вспыхнуло антифашистское народное восстание, жестоко подавленное силами реакции. Влияние сентябрьского восстания на рост классового самосознания пролетариата и крестьянства и развитие революционной борьбы болгарских трудящихся было очень велико.

К стр. 650

[1] **Otec vlasti** — так чешские историки называли короля Карла IV; «голодную стену» строили по его указанию бедняки, получая за это пищу за счет казны.

К стр. 653

[1] **verkšucové** — охранники (из нем. Werkschutz — заводская охрана)

К стр. 654

[1] **Čeští bratří** — Чешские братья, религиозная секта XV—XVII вв., возникшая после поражения таборитов. Первоначально отрицали государство, сословность и т. п., но постепенно пришли к примирению с существующим положением. Движение Чешских братьев было разгромлено после Белогорской битвы.

К стр. 713

[1] **treuhänder** (*нем.*) — доверенное лицо
[2] Политическая программа, принятая после освобождения Чехословакии правительством Национального фронта 5 апреля 1945 года в словацком городе Кошице.
[3] **SNB** — Корпус национальной безопасности.
[4] **Fair play** (*англ.*) — Честная игра

К стр. 715

[4] **Tusar, Bechyně, Meissner** — правые социалисты, министры правительства буржуазной Чехословацкой республики.

К стр. 719

[1] **„Odi profanum vulgus et arceo“** (*лат.*) — «Я презираю невежественную чернь и сторонюсь ее». Строка из «Од» Горация.
[2] **sui generis** (*лат.*)— в своем духе, в своем роде, по-своему
[3] **Majer** — правый социалист, министр снабжения до 1948 года.

БИБЛИОТЕКА
Института
Языкознания
А Н. СССР

inslav

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей 3

Первый раздел 5

Вацлав Там 10
Život venkovský 11

Антонин Ярослав Пухмайер 16
Óda na Jana Žižku z Trocnova 17

Вацлав Ганка. Йозеф Линда 21
Lubušin soud 22

Ян Коллар 26
Slávy dcera 28
Vlastenec 36
Nápisy 38

Франтишек Ладислав Челаковский 40
Bohatýr Muromec 42
Čurila Plenkovič 44
Láska nad bohatství 49
Toman a lesní panna 50
Pocestný 54
Český sedlák 55
Stasa čarodějnice 56
Kalendár a ne farár 57
Kosmópolitství 57
Svoboda tisku 57
K Rusům 57

Карел Гинек Маха 58
Baláda 59
Aniž křičte 60
Máj 61
Marinka 78

inslav

Йозеф Каетан Тыл 82
Kde domov můj 84
Krvavý soud aneb Kutnohorští haviři 85
Strakonický dudák 88
Zloděj 93

Второй раздел 105

Йозеф Вацлав Фрич 111
Vzpoura 112
Vzdorná lyra 113
Z vězení roku 1850 113
Orel 114
Národní hymna 115
Mistr 116
Kalich 117
Slován 118
Dumka 119
Českým jezovcům 119
Co neví lid 121
Lid a lůza 121

Карел Гавличек-Боровский 123
Tyrolské elegie 125
Křest svatého Vladimíra 134
Satyry a epigramy 140

Карел Яромир Эрбен 143
Kytice 145
Zlatý kolovrat 145
Věštkyně 155
Píseň o vítězství u Domažlic léta 1431 158
J. J. Srezněvskému 159
Král Tchoř 160

Божена Немцова 162
Babička 164
Kávová společnost 176
V zámku a v podzámčí. 183

Ян Неруда 195
Z časů za živa pohřbených 197
Vším jsem byl rád! 199

inslav

A chceš-li ještě, osude 201
Písně kosmické 201
Náš kraj se ženil dnes 203
Baláda o polce 204
Romance o jaře 1848 205
Ve lví stopě 206
Láska 207
Jen dál 209
Výtečníci 210
Kde domov můj? 211
Z tábora konservativního 211
Také úsudek o „Braniborech“ 211
Pan Ryšánek a pan Schlegl 211
Výlet do kraje bídy 220
Máj 1890 225
Škodlivé směry 229
Gogolův Revisor 230

Витезслав Галек 232
Mým písním 233
V přírodě 234
Dražba 238
Rekruti 239
Husar 240
„Student“ Kvoch 242

Йозеф Вацлав Сладек 257
Na hrobech indiánských 259
Básníkům 261
Je proti nám, kdo není s námi 262
Malá prodavačka 262
Role chudých 263
Kyklop 263
Lid 264
Rodné mluvě 264
Volnost 266
Není-li pomoci 266
Hlavy vzhůru 267
V mé duši tisíc skřivánků 267
Velké, širé, rodné lány 268
Ne, ta moje pole 269
České znělky 269
Oči 271

inslav

Kovářovic Andula 272
Chudá dívčina 272
Vráný koník 272
Naše země 273
Byli jsme a budem 273
Housátka 274
Hrdina 274
Májová 275
Hornická balada 276
Na bouranici 278
Tvou dlaň 278

Ярослав Врхлицкий 279
Selský otčenáš 280
Balada vánoční 282
Hrabě Breda 285
Čechy. 286
Naší řeči 289
Tichá láska 290
Ekloga 290
Jitro 291
Hovor na moři 291
Ty ani nevíš 292
Dary jara 292
Jen krátko! 293
Věčné žití 293
Za trochu lásky 294
Básník a moře 293
Sloky 294
Vereščagin 294
Hold Puškinovi 295
Práce 296
Dělníci 297

Алоис Ирасек 298
Psohlavci 301
Proti všem 309
O Janošíkovi 319
Blaničtí rytíři 328
F. L. Věk 330

Сватоплук Чех 338
Dosti nás 340

inslav

Podzemní hlas 341
Hrdina budoucnosti 343
Vyznání 346
Buď práci čest 346
Písně otroka 348
Step 359
Výlet pana Broučka do XV. století 364

Антал Сташек 374

O ševci Matoušovi a jeho přátelích 376

Йозеф Сватоплук Махар 384

Sloky polemické 385
1848—1898 386
Letem přes Halič 388
Selská rebelie 389
Rusko v lednu 1905 390
Lístek 391
Mladosti moje 392
Vodičko bystrá 392
Extrakt našeho dějepisu 393
Svobodomyslný člověk 393
Pes 393

Петр Безруч 394

Slezské písně 396
Červený květ 396
Jedna melodie 397
Jen jedenkrát 398
Kantor Halfar 400
Setkání 401
70.000 402
Maryčka Magdonova 403
Bernard Žár 404
Ostrava 405
Oni a my 406
Kdo na moje místo 408
Ty a já 409
Horník 409
Úspěch 411
Žil jsem jak stepní kůň svobody 411

inslav

Антонин Сова 412
Ne, nevěřím 413
Dělník ve svém 414
A revoluční, silné větry duly 414
Dnešním vládcům 415
Scenerie potopeného důlu 416
Sloky spisovatelům 417
Píseň pro nová srdce 418
Píseň o dnešku 419
Olše 419
Červnové noci 420
Táborské kraje 420
Rybníky 421
Po bouři 421
Romance o ženách 421
Sloky o prostém štěstí 422
Píseň z jižních Čech 423

Третий раздел 425

Станислав Костка Нейман 429

V dubnu 432
Dedikace 432
Žalm z roku 1919 433
Pozdrav 435
Zpěv jistoty 437
Zpěv z dvacátých let 438
Setkání s velikou rodinou 439
Listopad 440
Poděkování Sovětskému svazu 440
Život 445
Třicet dvě misie 446
USA 448
Píseň o Verchovině 448
Pod Krušnými horami 449
Asturští horníci 451
Každý se bojí o svou kůži 451
Nezrazuj 452
Pracujícímu netřeba války 453
A hrdý buď 453
První máj 1946 454

inslav

Иржи Волькер 455
Jitní píseň 456
Ne samým chlebem 457
Žebráci 458
Dopoledne 459
Píseň o Daliboru 459
Balada o očích topičových 460
Moře 463
U roentgenu 465
Na nemocniční postel padá svět 466
Epitaf 466
O milionáři, který ukradl slunce 466
Ochránci umělecké svobody 471

Ярослав Гашек 474
Příklad ze života 476
Historie prasete Xavera 479
Osudné sezení odzbrojovací konference 482
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války . . 485

Иван Ольбрахт 507
Obrazy ze soudobého Ruska 509
Kariéra Eduarda Žáka 512
Anna proletářka 523
Nikola Šuhaj loupežník 532

Карел Чапек 540
Prometheův trest 542
Cesta na Sever 545
Válka s mloky 552
Bílá nemoc 567

Мария Майерова 576
Havířská baláda 578
Krásný les 597

Юлиус Фучик 601
Historie stalingradského traktoru 604
Na shledanou, SSSR 607
Feuilleton o feuilletonistovi Nerudovi 609
Otevřený list ministru dr. Goebbelsovi 612
Náš pozdrav Rudé armádě 617
Reportáž psaná na oprátce 618

inslav

Четвертый раздел 627

Мария Пуйманова 631
Lidé na křižovatce 633
Hra s ohněm 645
Život proti smrti 652
Zdravice Rudé armádě 657
Moskva čaruje 657
Mládí 658
Sborový zpěv 659
Bludná loď 662
Lán do dálky 663
Pražské vůně 664

Витезслав Незвал 666
Sbohem a šateček 667
Divoké husy 668
Historický obraz 669
Zpěv míru 670
Z domoviny 673
Křídla 675
Černý uhlokope 677
Povzdech 677
V září 678
Synu otroka 678

Т. Сватоплук 680
Botostroj 681
Bez šéfa 688

Константин Библ 697
Tichounce 698
Básníci jsou pro mír 699
V tramvaji 699
Javanka 702
Píseň práce a míru 703

Ян Дрда 705
Hlídač dynamitu 706
Politik 712

Антонин Запотоцкий 721
Rudá záře nad Kladnem 722

inslav

Вацлав Ржезач 725
Nástup 726
Bitva 731

Вилем Завада 739
Jarní krajina 740
Po dešti 741
Ostrava 741
Letní 742
Havíři 742
Černý kraj 743
[illegible] jména 744
Vodní přehrada 745
Nové sídliště 745
Pomněnky 746
Voják v poli 746

Редактор *Н. Шульгина*
Издательский редактор *Н. Беляева*
Художественный редактор *В. Самсонов*
Технические редакторы *М. Натапов* и *Я. Гольдфельд*

Ш—06260. Подписано к печати 19/V-58 г.
Формат 60×92 1/16. Бум. л. 24—48 00 печ. л. Уч.-изд. л. 41,56.
Заказ 1469. Тираж 3 000. Цена 16 руб.

Отпечатано в 15-й типографии «Искра революции»
Управления полиграфической промышленности
Мосгорсовнархоза. Москва.

57

79

inslav

inslav

VÝBOR
z LITERATURY
ČESKÉ
XIX. a XX.
STOLETÍ

inslav